М17
7077-к

Николай
МАКСИМОВ

Место в жизни
Сон шизофреника

Национальная библиотека ЧР
k-027077

ВОЗВРАТИТЕ КНИГУ НЕ ПОЗЖЕ
обозначенного здесь срока

Кф
Кс(нуб)
М17

Николай
МАКСИМОВ

место в жизни

сон шизофреника

Чебоксары
Чувашское книжное издательство
1994

К84.09(=Чув)6-444я444.3
84(2Рос=Чув)6-444я444.3

ББК 84 Чув 7—4
М 17

ПРОВЕРЕНО
20 22 СЕН 2017

27077-кр.

НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА
ЧУВАШСКОЙ
РЕСПУБЛИКИ

М $\frac{4702710201-58}{\text{М } 136(03)-94}$ 69 — 94

ISBN 5-7670-0788-8

© Чувашское книжное издательство, 1994

место в жизни

Роман
о том, что было и чего не было

ВОЗМОЖНО, ЭТО БЫЛО НЕ ТАК

Автор не служил большим начальником.
Потому за достоверность описанного
в этой главе не ручается

Скопившиеся за выходные письма и жалобы в папку не вмещались, и их принесли прямо в стопе. Миклай Абдулович Важаватов осторожно придвинул эту слоеную «сдобу» к себе, вздохнул и принялся разбирать. Прочесть все за двадцать минут, которые он отпускал себе на просмотр, не было никакой возможности. Приходилось в основном доверяться опытному помощнику. Тот уже набросал проекты резолюций на прикрепленные к письмам небольшие листочки из мелованной бумаги. Теперь следовало аккуратно переписать его мнение набело: «В отдел... Тщательно разобраться». «Окажите помощь». «Направить в министерство...» «Дельное предложение. Следует использовать...» Благодаря такому четкому разделению труда стопа уменьшалась быстро. Не зря говорится: глаза боятся, а руки делают. Наконец, показалось последнее письмо, самое крепкое и объемистое, видно, оказавшееся внизу как бы в качестве подноса. Оно состояло из двенадцати страниц стандартного формата, отпечатанных на машинке через два интервала. Такие опусы не внушали доверия, обычно Важаватов их даже глазами не пробегал. Но тут он обратил внимание на неуверенный проект резолюции. Вначале было предложено: «В отдел торговли и бытового обслуживания». Затем это было зачеркнуто и сверху нарисовано бисером: «В Президиум Верховного Совета АССР». Но такой замах, видимо, показался неоправданным, и всечуящий помощник, зачеркнув и это, с новой строки указал: «В отдел адм. органов. Разобраться совместно с отд.

торг.». Обычно аккуратный почерк его при этом почему-то оказался неровным, будто буквы здорово сомневались, вставать им в предложенный ряд или нет.

Важаватов взялся было письменно подтвердить мнение своего надежного помощника, но до этого его глаза — шайтан! их дернул! — как-то машинально успели пробежать по первым строчкам жалобы. Наверное, потому, что строчки были жирно подчеркнуты красным фломастером.

«Это письмо — в защиту пенсионера, участника Великой Отечественной войны, над которым вот уже третий год глумятся зав. отделом торговли и бытового обслуживания ОК КПСС И. И. Шибаев, министр бытового обслуживания населения В. Ф. Стеклов, зам. прокурора республики Ф. П. Тыхтаман...»

Перед глазами сами собой на какое-то мгновение возникли образы добродушного толстяка Шибаева, молодого и энергичного Стеклова, пожилого («вот-вот на пенсию»), строгого и делового Тыхтамана. Они — глумятся над пенсионером, участником Великой Отечественной войны? Вот уже почти три года? Чушь какая-то... Однако кто же этот человек, так нагло их чернящий? Наверняка какой-нибудь прохвост, трусливый анонимщик.

Важаватов перевернул письмо, брезгливо открыл последнюю страницу, взглянул на подпись. И озадаченно крякнул. Вот уж не думал, не гадал... Письмо, оказывается, написано писателем, Борисом Арысланом. Важаватов знал Арыслана. Правда, вещей его, за исключением газетных статей, не читал, с самим коротко не беседовал. Но, помнится, в начале года секретарь по идеологии Асырханова завела разговор об обновлении руководящих кадров в периодических изданиях. Дескать, пора и в этой сфере действовать в духе времени. Фигурировала и фамилия Арыслана в качестве возможного главного редактора литературного журнала. А это говорило о многом. Во всяком случае о том, что человек никогда не обострял отношений с вышестоящими руководителями. И вдруг такое... Здесь наверняка не все просто. Что-то же толкнуло его на отчаянный шаг. Иначе он не выступил бы против такой внушительной тройки с подобным серьезным обвинением. Если бы даже имел некоторые основания.

Да, это письмо, конечно, желательно было прочесть. Но время... Оно, как всегда, поджимало, торопило. Пора уже начать планерку работников аппарата. А на чтение и осмысление этих двенадцати страниц уйдет столько же времени, сколько на просмотр всей остальной части бу-

мажной «сдобы». Важаватов от всех требовал прежде всего четкости и точности в работе и никогда не задерживал начало планерки даже на пять минут. Так что... Но и просто переписать набело резолюцию старательного помощника на этот раз почему-то не хотелось.

Важаватов встал, вышел из-за стола, походил по кабинету, в какую-то минуту очутился у окна. Только что казавшийся массивным и крупным, он оказался обыкновенным, среднего роста, средней полноты человеком.

Погода лютовала. В природе шла бескомпромиссная борьба. Весна широким фронтом наступала на зиму. Но та не собиралась сдаваться, неистово сыпала на землю миллиарды хлопьев снега, желая все и навсегда законсервировать под иссиня-белым — вообще-то красивым, но холодным, безжизненным — покрывалом. Весна приносимым откуда-то с юга сильным, порывистым ветром старалась все это сдуть, пока не затвердело. И завьюжило так, что тошно, наверное, самому шурале[2]. Из окна, например, не видно и даже не слышно в натужном реве копошащихся внизу, на площади перед зданием обкома партии, снегоочистительных машин. Однако даже беснующаяся вьюга не мешала Важаватову видеть до мельчайших подробностей, вплоть до сломанного забора в каком-нибудь глухом закоулке, свой город Башколу — столицу Вакхалыхии. Да что город — всю республику, окружающие ее с севера густые леса, с юга — степное раздолье, с востока — старые седые горы, с запада — одну из крупнейших в Европе рек. Он мог видеть все это не только сквозь вьюгу, но и с закрытыми глазами, в любое время дня и ночи, представить в зимней белой спячке и в летнем зеленом убранстве, в весеннем многоцветном буйстве и в осенней серой смиренности.

Но в данный момент действительность удручающе отличалась от этих запечатленных в памяти на всю оставшуюся жизнь картин. В общем-то тревожила не безрассудная лютость погоды сама по себе. Как это ни банально, у природы свой закон, которого она придерживается весьма строго: хочет того или нет старое, а зазвонит колокол по прошлому — уйдет, никуда не денется. Но эти, возможно, последние метели здорово помешали народному хозяйству, особенно транспорту. Пришлось на очистку снега бросить столько людей, сколько не посылалось даже «на картошку». Ну да ничего, скоро весна вступит в свои права. Она поможет природе и людям наверстать упущенное...

Важаватов снова подошел к рабочему столу, не садясь за него, отложил письмо Арыслана в сторону. Надо все-таки постараться его прочитать. Когда удастся.

Без вызова вошел помощник: пора забрать просмотренную стопу. Заметил, что в ней нет самого объемистого письма, но даже бровью не повел. Напомнил лишь: «Все собрались».

Важаватов слегка кивнул головой и уверенной, сильной, можно даже сказать, массивной походкой направился к двери, ведущей в зал заседаний. Теперь его никак нельзя было назвать обыкновенным, среднего роста, средней полноты человеком.

ЧТО БЫЛО

Примерно месяцев за семь до этого, знойным летом, писатель Борис Арыслан уезжал из Башколы. Он сидел в самом заду салона автобуса, неторопко пробирающегося из центра города на автомагистраль, то и дело останавливаясь перед, казалось, бесчисленными однообразно перемигивающимися трех-четырехглазыми светофорами. Позади были толчея в многолюдном шумном автовокзале, неравная борьба с вечно торопящимися и потому пробивающимися к билетной кассе без очереди молодцами, оторванная «с мясом» и потерянная пуговица новенькой куртки. Но Арыслан не вздохнул облегченно, как бывает обычно, когда после такой немыслимой кутерьмы наконец-то занимаешь свое законное место в автобусе, и он трогается в путь. Наоборот, ему стало как-то тревожнее, тоскливее, тяжелее. Забытое на время в предотъездной суматохе неприятное происшествие вновь и вновь всплывало перед глазами и не уходило, как ни старался Арыслан отвлечься, отмахнуться от него, призывая на помощь разум, жизненный опыт, примеры других.

А произошло действительно нечто из ряда вон выходящее.

Арыслан[3] или, как записано в паспорте, Борис Викторович Львов с понедельника находился в творческом отпуске. Так называется у писателей обыкновенный административный отпуск без содержания, который они берут, чтобы поработать над своей рукописью, если на ее завершение не хватает очередного, а также выходных дней и ночных бдений. Просидев дома три дня и три ночи безвыходно, он в четверг с утра, как только жена Тертту

Ульясовна ушла на работу, привычно сел было за стол в «комнате взрослых». Но порядком уставшая за эти дни голова отказывалась подчиняться трудовой дисциплине, требовала передыха. К тому же сын Юман в зале сел за пианино. Он нынче перешел в восьмой класс, после окончания которого собирался поступать в музыкальное училище. Мешать ему музицировать, если даже это имело весьма отдаленный от программы приемных экзаменов характер, в семье считалось подавлением таланта. Из другой комнаты доносилось громыхание тяжелого рока, будто громовержец катался на своей колеснице над самой крышей дома. Зять Владик ни в телевизоре, ни в магнитофоне не признавал ручек регулировки громкости. Уговаривать его убавить звук было бесполезно, так как за мужа тут же вступилась бы Вероника, дочь Львовых. Она требовала, чтобы музыка была слышна и в кухне, иначе грозилась, несмотря на каникулы, вообще там не возиться, что могло привести к осложнениям в сфере и так не важнецки поставленного семейного питания. Понимала Львова-старшего лишь полуторагодовалая внучка Натали. Она, не очень уверенно перебирая ногами, уже прибежала к деду и, когда он усадил ее на колени, начала что-то успокаивающе лепетать на своем полуразумном-полунепонятном языке. В трехкомнатной квартире панельного дома улучшенной планировки уединиться больше негде, потому о работе нечего было и думать. В принципе, живя с такой семьей уже немало лет, а раньше имея еще худшие условия, Борис Викторович должен бы научиться писать и при таком шумовом фоне. Так оно, может, и было бы, если из колонок лились бы классические мелодии, вакхалыхские или русские народные песни. Но рок-музыка... Нет, теоретически Борис Викторович, конечно, признавал право на ее существование. Как говорится, на вкус и цвет товарищей не наберешься. Но сам-то он человек старого воспитания. В бытность его молодости даже джаз считался пропагандой загнивающей буржуазной культуры, а егеть[4], носящий суженные брюки, непременно удостаивался презрительного слова «стиляга». К тому же возраст устанавливает человеку свои пределы нормального восприятия децибелов. Особенно невыносимы для Бориса Викторовича звуки синтезатора, похожие на разнотональные завывания каких-то жуков-великанов. От них не только глохнут уши, тупеет мозг, но начинают болеть даже зубы.

Самое лучшее в такой ситуации — идти гулять, что

Борис Викторович и сделал, осторожно запустив Натали в кухню к матери.

Львовы проживают в заводском микрорайоне под названием Новое село. За что, между прочим, Борис Викторович постоянно получает уколы от Тертту Ульясовны. В зависимости от ее настроения, уколы эти бывают более-менее терпимые («Эх ты, ничего-то не можешь. На твоем месте другой давно бы четырехкомнатную в «Рябинке» получил!») и совсем невыносимые («Недотепа ты, недоделанный! Только из-за тебя чахнем здесь под дымом, до сих пор не можем перебраться в «Рябинку»).

Завидного в Новом селе, действительно, маловато. Вопреки ободряющим газетным информациям о фильтрах и дымоуловителях, которые якобы ставятся на трубах, вокруг с неиссякаемым постоянством оседает сажа, изрыгаемая крупнейшими, крупными, менее крупными и мелкими заводами и заводишками, понатыканными здесь чуть ли не друг на друге. Строительство жилья в микрорайоне имеет уже свою историю. И все же в углах кварталов неприятно зияют пустыри, давно обросшие бурьяном и всякой другой бесполезной растительностью. По рассказам «отцов» города, аккуратно отчитывающихся перед избирателями, на этих пустырях должны быть воздвигнуты прекрасные, самые современные объекты соцкультбыта. Но сами собой воздвигаться они не хотят, потому пока на улицах нет даже нормального, не расколупанного там и тут связистами и электриками, сантехниками и бог знает кем еще тротуара. Так что чисто сельская обувь — резиновые сапоги — здесь отнюдь не анахронизм.

Вообще-то, несмотря на все очевидные минусы, Арыслану больше по душе Новое село, чем престижная «Рябинка». Здесь живет в основном народ простой, бесхитростный, дружелюбный. Он не выслеживает твои поступки, не сует носа в твою личную жизнь, не обсуждает твое поведение. Все это рядовому человеку, как говорится, до лампочки. К тому же он на фискальстве выигрывает дырку от бублика, теряет же доброе имя, потому, конечно, не заинтересован в нем абсолютно. И если об Арыслане и о его семье не ходит в определенных кругах худая молва, этим, конечно же, они обязаны прежде всего проживанию в Новом селе, чего никак не хочет понять Тертту Ульясовна. Единственно существенное неудобство для Арыслана то, что здесь негде гулять. Не то что парков и скверов нет, просто тихой, опрятной улицы длиной в двести-триста метров трудно найти. Вот и приходится ездить подышать

«свежим воздухом», как ни странно, в центр города, если нет времени на более дальние поездки на природу.

Так поступил Борис Викторович и на этот раз.

Посидев часок в тихом, уютном скверике, где даже подстриженные под одну прическу липы стеснялись шелестеть листьями, он почувствовал себя бодрее и решил походить по центральному проспекту. Старый, по современным меркам тесный, он, тем не менее, тянул к себе сильнее, чем вновь создаваемые с широченными многополосными автострадами, с могучими однообразными бетонно-стеклянными глыбами, высящимися по обе стороны. Здесь на каждом шагу понатыканы какие-то магазинчики, кафе, закусочные, киоски, ларьки, лотки. И везде суетятся, толкаются, примеряют, рассматривают, едят, пьют, обсуждают что-то люди. Молча передвигаться в этой толкотне, угадывая, кто есть кто, по обрывкам разговоров узнавая, что кого сегодня больше интересует и волнует,—одно удовольствие для писателя.

Дойдя до книжного магазина, Борис Викторович, естественно, не мог не зайти туда. На полке под названием «Новинки» он увидел только что изданную в Москве книгу своего товарища Солбона Инжеватова. Солбон был неплохим поэтом, но, по мнению многих, конечно же, не самым лучшим из вакхалыхских акынов[5]. Однако если даже народные поэты считали за честь издаваться в Москве хотя бы раз за пять-шесть лет, Инжеватов «выпекал» там свои книжки почти что ежегодно. Многое в них повторялось, поскольку написать за год новые стихи и поэмы на целую книгу мало кому под силу. Во всяком случае, не непоседливому Инжеватову. А ведь их надо еще пристроить на перевод... Как бы ни было, хотелось поближе познакомиться с новым московским изданием друга. И Арыслан, прихватив изящную книжку, направился к кассе, но тут вспомнил, что, кроме мелочи на трамвай, не взял с собой ни рубля. Он покраснел, будто его поймали на краже, неуклюже повернулся и пошел обратно, поставил книжку на место, затем, так и не посмотрев на кассиршу, с опущенной головой проскользнул мимо нее на улицу. Тут только пришел в себя. «А что, собственно, произошло? Хотел купить, но в кармане денег не оказалось. Тоже мне, повод для переживаний,— подтрунивал он уже в душе над собой.— Кассирша, поди, и не заметила ничего...» А книжку все-таки стоит купить. Надо зайти к Тертту Ульясовне на работу и взять у нее пару рублей...

Театр, где она работает, находится недалеко от мага-

зина. Труппа почти вся давно выехала на гастроли. Но Тертту Ульясовна по штату числится завлитом и играет только иногда и только на стационарной сцене, потому даже летом большей частью находится в Башколе.

Вахтер, увидев Арыслана, козырнул по-военному, сказал: «Тута должна быть», хотя Борис Викторович ничего у него не спрашивал. Но в своем кабинете на первом этаже Тертту Ульясовны не оказалось. Правда, дверь была оставлена незапертой, с доверительно торчащим в замочной скважине ключом. Значит, был смысл дождаться хозяйки. Арыслан вошел в кабинет, устроившись в единственном обтертом кресле времен царя Гороха, начал безразлично перелистывать подшивку журнала «Театральная жизнь». Однако время шло, а Тертту Ульясовна все не появлялась. Книжный магазин скоро мог закрыться на обед, жди потом еще час, а впустую провести весь день в расчеты Арыслана не входило. Не для того берутся творческие отпуска за счет своего кармана. Он встал, вышел из кабинета и пошел искать жену; заглянул в бухгалтерию, торкнулся в закрытый кабинет главного режиссера. В гримерной или в репетиционном зале, естественно, в такое время ее не могло быть. Пришлось подняться на второй этаж, к директору. В приемной никого не оказалось. Очевидно, секретарь была в отпуске или ушла куда-то по своим важным делам. Борис Викторович, слывший здесь по известным причинам своим человеком, зашел в кабинет, стукнув ради приличия костяшкой пальца в дверь, когда уже приоткрыл ее. Зашел и... обомлел. Тертту Ульясовна стояла, вся напружинившаяся в... объятиях директора театра. При этом они так исступленно и «всамделишно» целовались, что даже услышав стук и заметив вошедшего Бориса Викторовича, не смогли сразу оторваться друг от друга.

Арыслан все еще стоял перед ними ошарашенный, готовый провалиться хоть сквозь землю. Не лучше чувствовали себя, похоже, и Тертту Ульясовна с директором. Но они опомнились быстрее.

— Ты?— удивилась она, широко раскрыв и без того большие красивые — да, шайтан побери, они были красивы и в такой непристойный момент!— глаза.— А я тебя искала...

Нелепее слов нельзя было найти даже в самом глупом водевиле. Не хватало ему еще подловить их на этом и разыграть дурацкую сцену из какой-нибудь не менее дурацкой мелодрамы.

Борис Викторович резко повернулся и вышел, даже не закрыв за собой дверь: чего доброго, хлопнет нечаянно и подумают еще о нем что-нибудь этакое...

В душе... Нет, ничего не кипело, не клокотало. В душе было просто пусто. Друзья и недруги его не раз предупреждали о слишком «современном» образе жизни жены. Однако Арыслан не обращал на это внимания. Тертту Ульясовна — артистка. А это народ особый. Их жизнь нельзя мерить мерками учительницы, врача, журналистки, заведующей столовой, каковыми являлись жены заботящихся о чистоте супружеских отношений Львовых... Но на этот раз что, не верить увиденному? Как в том скверном анекдоте, где застигнутая врасплох с любовником жена говорит мужу: «Не верь глазам своим, а верь моей совести!»

Шайтан побери, Борису Викторовичу сейчас бы вернуться, крушить в театре все и вся, в том числе и их двоих. Но такое даже в голову не приходит. К тому же обезоруживала явная, на его взгляд, несуразица: ведь директор театра был моложе Тертту Ульясовны лет на семь, а то и на все десять. Ей же недавно исполнилось сорок пять лет. Бабушка она уже! Правда, такая, что когда изредка выходит с внучкой на улицу, незнакомые думают, что она гуляет с дочерью. Да и как может быть иначе, если содержание своего тела Тертту Ульясовна превратила в главную заботу. Ежедневный бег трусцой, с недавних пор — вошедшая в моду ритмическая гимнастика, плавание, разные массажи сказываются-таки на внешности... Впрочем, ну и что? Ну и что-о!

К приходу Бориса Викторовича дома уже не надрывались в завывании «жуки-великаны», в зале не бренчало пианино. Значит, или уснула Натали, или Владик ушел на занятия. За недолгое пребывание в семье Львовых зять обучался уже на пятых профтехкурсах, на этот раз — электросварщиков... Оказалось, и Натали уснула, и Владик ушел, да еще Юман, пользуясь отсутствием родителей, смылся куда-то. Самое время сесть за письменный стол.

Вдруг Борис Викторович остро почувствовал, что страшно голоден. Хотя он сегодня на самом дел ни крошки в рот не брал, а время было уже за полдень, все же в такие минуты думать о еде вроде бы чуть ли не кощунство. Рушится святая святых — любовь, быть может, семья, а тут глупый желудок нудно требует свое, что-то низменное, повседневное. И тем не менее он пока победил, этот ни-

чего не соображающий курдюк[6]. Или Арыслану захотелось, чтобы победил?

Борис Викторович вошел в зал, где, лежа на диване, Вероника просматривала какой-то зарубежный журнал, привезенный подругой Тертту Ульясовны из заграничной поездки.

— Что-нибудь найдется поесть?— спросил Борис Викторович у дочери.

— Торт есть. Коржики,—ответила Вероника.

— Торт... Коржики... А посущественнее ничего нет?

Борис Викторович понял, что начинает срывать зло, постарался тут же взять себя в руки.

— А из чего готовить?— возмутилась дочь.— Сами денег не оставили.

— У мужа своего почему не спрашиваешь?

Вероника резко вскочила с дивана, уничижительным взглядом (как мать!) окинула отца с ног до головы и ушла в свою комнату, не удостоив его ответом. Дескать, что ты такой бестолковый, будто не знаешь, что Владик пока учится, специальность получает. А учился зятек на таких курсах в общей сложности уже больше двух лет, да все не спешил начать рабочую биографию. Вроде бы все выбирал специальность по душе. Борису Викторовичу же казалось, что он просто отлынивает от настоящей работы. На курсах можно ходить на занятия через день, опоздать или уйти пораньше. На карманные расходы давали стипендию, которая выше, чем иная зарплата. Дома зятя содержали тесть с тещей, так что никаких забот о еде, о плате за квартиру он не знал и, похоже, знавать не собирался. Самое удивительное то, что Владик — сын потомственных рабочих, настоящих трудяг, из-за чего Борис Викторович, собственно, и не был против выхода дочери за него замуж. Но, как говорится, все смешалось в доме... Сын уважаемых людей оказался просто уличным мальчиком, к тому же замешанным в недалеком прошлом в какую-то уголовщину. Так что женитьба оказалась для него очень кстати. Иначе не отделаться бы ему лишь легким испугом, то бишь условным осуждением. А бестолковая дочь хлипких интеллигентов Вероника, в старших классах средней школы заставлявшая родителей провести немало бессонных ночей, как ни странно, вроде бы потихонечку бралась за ум, поступила в пединститут и перешла уже на выпускной четвертый курс. К тому же училась в последнее время весьма успешно. Но в своем Владике, к сожалению, не опознала еще обыкновенного трутня. Ни-

чего, бог даст, со временем поймет, дойдет до всего своим умом. Лишь бы, как говорится, жареный петух не успел клюнуть до этого.

Борис Викторович пошел на кухню. Она сегодня блестела аптечной чистотой. Но кроме самодельного торта и пары коржиков там, действительно, съестного ничего не оказалось. Холодильник, хотя и работал вовсю, был пуст, хлебница — тоже. В столе, правда, имелись какие-то крупы в пачках, но без масла или мяса из них даже хитрый солдат с топориком из сказки не смог бы приготовить что-либо вкусное. Одним словом, привычная ситуация. В семье готовили в основном лишь после отоваривания талонов, на которые можно купить в месяц на человека или килограмм мяса, или чуть меньше колбасы. Но талоны давно кончились, а любителей ходить на рынок в семье не было. Да и особо ходить, честно говоря, не на что. Кроме Львовых-старших, все пока учились. А зарплата писателя или артистки давно враждует с базарными ценами.

Вернувшись ни с чем в комнату «взрослых», Борис Викторович сел за стол, придвинул к себе начатую рукопись, попытался поработать. Но мысли не сосредотачивались, герои повести, которую он начал писать еще в прошлом году, куда-то разбежались и скрылись, явно не желая показываться. Не видя их перед глазами, трудно писать, даже почти невозможно. По крайней мере Арыслан пока не умеет этого делать. Ему обязательно надо быть среди них, жить их жизнью, говорить, спорить с ними, радоваться их удачам, а неудачи переживать как свои.

Он в сердцах бросил ручку, встал, походил по комнате: три шага к двери, три — к столу. Затем остановился, окинул все взглядом. Шифоньер, письменный стол с портативной машинкой на нем, две койки — его и Тертту Ульясовны, два переполненных книжных шкафа да кучи книг на полу, на шифоньере, три чемодана с домашним скарбом под койками, два стула каким-то чудом умещались в комнате размером три на четыре метра. Все это давило, угнетало, возмущало своей хаотичностью, отсутствием не только уюта, но и возможности создать его. Люстра давно покрыта серым слоем пыли, с потолка на нее и с нее дальше, вниз, обвисала паутина, тоже покрывшаяся пылью и оттого казавшаяся сплетенной из шерстяных ниток веревкой. На небольшом куске паласа на полу примагнитились пушинки от подушек, клочки бумаги, скрепка и бог знает что еще. Убираться в комнате поч-

ти что бесполезно: пройдут каких-нибудь два-три часа — и все здесь снова окажется таким же. Потому что, кроме Вероники с Владиком, все хранят здесь одежду и заходят переодеваться. Если растворить окно — с улицы тучным клубом прет пыль, поднимающаяся из-под трудяг КамАЗов и КрАЗов. А уж если нагрянет Натали со своими игрушками — быть здесь вавилонскому столпотворению... Борис Викторович, как всякий неприхотливый человек, вообще-то на это царство хаоса не обращал особого внимания. Ему лишь бы куда приткнуться со своими бумагами. А Тертту Ульясовне в последнее время эта комната вообще не была нужна. Тут она только переодевалась, спать предпочитала в зале, на раскладном диване, уступая свою койку Юману. Тот, конечно, был рад такому повороту в своей жизни, так как, кроме ничего еще не понимающей Натали, пожалуй, единственный в семье в душе обожал отца и даже подражал ему кое в чем.

Да, пусто дома, пусто... Да нет же, не то. Как это пусто, когда ступить некуда. Может, постыло?

Как бы ни было, Борису Викторовичу вдруг страшно захотелось уйти отсюда, убежать, уехать. Уехать сейчас же, немедленно, куда глаза глядят. Зачем он здесь живет? Кому он тут нужен? Кому он вообще нужен в этой Башколе?

Не долго раздумывая, Борис Викторович вытащил из-под койки видавший виды обшарпанный чемодан, открыл его, прежде всего сгреб со стола и бросил туда свои бумаги, затем выдрал из шифоньера кое-какую одежонку и кинул ее вслед за бумагами, захлопнул крышку...

И вот он едет. Куда? Надо полагать, в деревню, в отчий дом, поскольку оказался в рейсовом автобусе, идущем в Айдарово.

Деревня Хыркасы, где вырос Арыслан, расположена как бы в углу некоего квадрата — километрах в пяти от районного центра Айдарово и на таком же расстоянии от шоссейной дороги. Поэтому Борис Викторович решил не доезжать до райцентра. День клонился уже к вечеру, и неизвестно, найдется ли там попутный транспорт до Хыркасов. Лучше остаться на развилке и не спеша пройтись по проселочной дороге. Успокоиться, остыть, вдыхая волнующие душу запахи поспевающих хлебов и слушая однообразные, но довольно-таки заливистые трели жаворонка и немудреные напевы перепела, которые, несмотря на все больше и больше применяемые гербициды и всякие другие химикаты, каким-то чудом все еще выживали.

Так Арыслан и сделал.

Встречь дул слабый ветер и освежал лицо не только запахом хлебов, но и васильков, то и дело игриво мелькающих меж упругими желтыми стеблями озимой ржи, полыни, буйно растущей в небольших овражках, куда не заглядывал плуг с безжалостными стальными лемехами, дождевых червей, прелого навоза и бог знает чего еще. Все это было густо перемешано с сыростью, которую нагретая за день почва щедро возвращала атмосфере, и называлось запахом земли. Уже много-много лет — больше половины своей жизни — Арыслан числится горожанином, но запахи нагретого асфальта, выхлопных газов и даже кондитерские никогда не были ему по душе. А этот, идущий от земли, снова и снова волнует его, тянет к себе, бодрит, ласкает, успокаивает. Так и кажется, что он схож с запахом молока матери, а может, не только с запахом. Эй-ей, не только в сказках придает земля силы человеку!

Растроганный, Арыслан на время даже забыл, зачем он здесь, куда идет размашистыми шагами, перекидывая полупустой чемодан из руки в руку. Опомнился только когда дошел до широко раскинувшегося рядом с деревней пруда. И остановился. Ведь надо будет как-то объяснить отцу, матери, почему он оказался здесь, так вдруг, даже без гостинцев и подарков. Не рассказывать же о том, что он увидел сегодня в театре. Эта сцена — совершенно не для зрителей. А наврать что-то другое — нет у Бориса Викторовича таких способностей, да и отец воробей стреляный, его на мякине не проведешь. В свои семьдесят лет он сохранил удивительную ясность ума.

Чтобы немного поразмыслить и чуточку отдохнуть, Арыслан свернул с дороги и спустился к пруду, присел на невесть откуда оказавшееся здесь корявое, без коры, бревно, отполированное до блеска, судя по подсолнуховой шелухе вокруг и следам обуви, сидящими тут по вечерам парочками. Вышедшие на берег погреться под уже уходящим солнцем лягушки попрыгали в воду, тут же высунули свои морды и вылупили глаза на пришельца, так бесцеремонно прервавшего их покой. Справа и слева буйствовал камыш, а сзади, в единственном месте вокруг пруда, по пологому берегу вплоть до дороги поднимался ивняк. Укромностью, видно, и привлекает это место молодых.

Когда запрудили этот довольно-таки широкий и глубокий овраг — Арыслан точно не знает. Но, помнится, в молодости он тоже любил приходить по вечерам в эти места. Тогда на дне оврага однообразно журчал жаворо-

27077-Нр.
НАЦИОНАЛЬНАЯ БИБЛИОТЕКА ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ

ньей трелью тонюсенький прозрачный ручеек, берущий свое начало где-то за версту отсюда, возле рощи, а густой ивняк сплошной полосой тянулся до самой деревни, где расчетливые вакхалыхские мужики не давали ему дальше ходу, безжалостно вырубали, незаметно от колхоза и сельсовета используя высвобожденную землю под дополнительный огород или выгон для скота.

Но бог с ним, с прошлым. Что же должен Арыслан сказать отцу сегодня? И почему это человек частенько вынужден говорить не то, что есть на самом деле? Ну хотя бы в данном случае. Что случится, если отец узнает правду? Солнце начнет всходить с запада? Земля полюсами перевернется? Тем не менее Арыслан каким-то седьмым, десятым чувством знает, что именно эту правду он не имеет права сказать старикам. Во-первых, отец в последнее время частенько стал прихварывать. Значит, его нельзя волновать. Во-вторых, мать. Она ведь вторая жена Виктора Васильевича Львова, Борису Викторовичу приходится мачехой. Да и не в том дело. По существу, она, Пелагея Петровна, все равно настоящая мать ему, поскольку вырастила его как родного сына. А дело в том, что когда в свое время Борис начал дружить с Тертту, Пелагея Петровна почему-то категорически воспротивилась этому, а на брак по сути так и не дала благословения. Хотя молодые и не спрашивали разрешения...

Мать (мачехой Борис Викторович ее даже в мыслях не называл) его — вообще женщина удивительно своеобразная. Говорит мало, улыбается еще меньше, с утра до ночи на ногах, все работает, работает. Сколько помнит Борис Викторович, детей она не ласкала, да и с отцом они не то чтобы обниматься, за столом рядом редко сидели, ведя какой-нибудь задушевный разговор. Арыслану до сих пор невдомек, как это отец, выходец из семьи интеллигента, сам интеллигент до мозга костей, в послевоенные годы, когда женщин было выбирай не хочу, женился на такой малограмотной и необщительной. Да и, правду сказать, не очень привлекательной. Но что удивительно, несмотря на эти странные обстоятельства, жили они, Виктор Васильевич с Пелагеей Петровной, душа в душу, вырастили и вывели в люди троих сыновей. Жаль, дома вот никого из них не осталось, улетели все в стольный град Башколу и — не чета перелетным птицам — так и не возвращаются в те места, где родились и оперились. Если не считать случайные опустошительные наезды в выходные то за картошкой, то за яблоками, то за гусями.

Но все-таки, все-таки, что же должен Арыслан сказать отцу, матери?

«А не говори ничего, красавец. Кто может тебя заставить, если ты свободный человек!»

Постой, чьи это слова? Такие знакомые, услышанные своими ушами. Откуда они вспомнились? Даже голос, произносящий их, будто бы слышится наяву. Грудной такой, с небольшой хрипотцой...

От неожиданности Борис Викторович даже невольно оглянулся, как бы ища человека, заведшего с ним разговор. Но кругом все было то же самое, что и полчаса назад. Разве что тени от камышей вытянулись и доходили уже до лягушек, которые так и не убрали свои пузырчатые глаза с зеркальной поверхности воды.

И вдруг все-все вспомнилось, живо возникло перед глазами, будто и не прошло с тех пор почти... сколько же?.. да-да, почти тридцать лет.

«А не говори ничего, красавец. Кто может тебя заставить...» Да, это ее слова, цыганской девушки Азы. И сказала она их где-то здесь, может, чуть повыше. Нет, кажется, там, совсем на другом конце деревни, на Чанга ту[7], у самого обрыва.

ЧЕГО НЕ БЫЛО

В этой главе все —
от начала до конца — вымысел автора

Весть о том, что недалеко от деревни расположился цыганский табор, облетела Хыркасы со скоростью птичьего полета. Вакхалыхи по природе своей народ добродушный, гостеприимный, без причины муху не обидят, но цыган не любили. Худая молва о конокрадах, ворах и мошенниках делала свое дело. Правда, цыганки-фалчы[8] считались самыми правдивыми и искусными, и женщины охотно им доверялись, прося погадать каждая о своем самом сокровенном, но дальше этого связи обычно не шли... Короче, не успел еще табор расположиться в кривом овраге как следует, а в деревне всей детворе строго-настрого велено было жить запершись, пока родители находились на колхозной работе. На обычно пустеющих в эту пору улицах даже днем, будто бы предостерегаясь от пожара, ходили дозорные. Пастухам придали по паре помощников для охраны скота, особенно коней и овец. Гусей и уток пере-

стали выводить в казу[9]. А ведь летом и так дорога каждая пара рук...

Борису было тогда лет семнадцать. Точно. Он тогда как раз закончил среднюю школу и собирался поступать в университет. Потому даже на сенокос не ходил с народом, все корпел над книгами. Семнадцать лет — возраст самый любопытствующий. А перед любопытством пасует даже страх, не говоря об осторожности. Потому нет ничего удивительного в том, что однажды после обеда Борис отодвинул порядком надоевшие учебники в сторону, и ноги сами понесли его к таинственному табору, находившемуся, помнится, как раз в районе этого нынешнего пруда.

Ничего страшного в цыганах он не увидел. Люди как люди, только одеты как-то не так. Особенно женщины. Не поймешь, то ли по несколько юбок напялили они, то ли одна такая невообразимо широкая. Цыгане все занимались своим делом, не обращая внимания на появившегося откуда-то вакхалыхского юношу. Двое пожилых мужчин внизу мыли лошадей скребками из щетины, поливая из ведра набранной в ручейке водой. У костра возились женщины, что-то варили в двухведерном черном котле, а одна, более молодая, сидела в кибитке и кормила грудью младенца. Несколько мальчиков лет десяти-двенадцати проворно помогали старшим: и мужчинам, мывшим лошадей, и женщинам, готовящим обед; причем все делали вроде бы одинаково охотно. Остальные взрослые, видно, подались в близлежащие деревни и районный центр. Они, как говорили знающие вакхалыхи, промышляли во всей округе. Одним словом, в таборе текла мирная жизнь... Но вот со стороны Айдарова показался всадник в ярко-красной шелковой рубашке, развевающейся от встречного ветра, и над табором словно недобрый дух пронесся. Все засуетились, забегали, начали зло кричать друг на друга гортанными голосами. А когда всадник подъехал — это был здоровенный цыган лет сорока,— все вдруг замолкло, остановилось. Подъехавший ловко спрыгнул с коня, хозяйским шагом прошелся по табору, мимоходом перешагнув через сидевшего в траве Бориса, на одного прикрикнул, другого, судя по тону, похоже, и похвалил. Вдруг он заметил кого-то в кибитке, видно, сидевшего за кормящей матерью, поманил к себе толстым и коротким пальцем. Из кибитки вышла стройная девушка лет пятнадцати-семнадцати, подбежала к цыгану, остановилась перед ним, виновато опустив голову. Цыган что-то строго спросил у нее, на что девушка лишь отрицательно мотнула головой

с коротенькими черными косичками. И тут же... получила пощечину. Удар был довольно-таки размашистым, девушка даже пошатнулась, однако устояла, подняла голову и смело посмотрела цыгану в глаза, затем, не проронив ни звука, повернулась и медленно побрела в сторону деревни. Борису отчего-то стало так нестерпимо жаль ее, что он, даже толком ничего не поняв в происшедшем, готов был тут же наброситься на обидчика, и лишь его могучий вид остудил такое буйное желание: цыган стоял посреди табора, как каменная глыба, казалось, ударь кувалдой — и та лишь отскочит, не оставив даже вмятины на его круглой голове с коротко остриженными черными кудрявыми волосами.

Больше сидеть здесь не хотелось. Борис встал и быстро пошел, затем побежал вслед за девушкой-цыганкой и вскоре догнал ее. Та, услышав позади себя бег юноши, остановилась, когда он подбежал, смело посмотрела ему в лицо.

— Тебе что, красавец?— спросила звонко, насмешливо сверкнув черными, словно спелая черемуха, глазами.

— Ты не горюй,— вместо ответа начал успокаивать ее Борис.— Придет время — отомстишь за все.

Девушка, наклонив голову, еще раз пытливо взглянула ему в глаза и вдруг засмеялась. Громко так, заливисто. Это было странно, это было совершенно непонятно. Как же так? Ведь она только что у всех на виду получила пощечину! От мужчины! Разве можно терпеть такое?

— А зачем мстить, красавец, если меня побили за дело,— объяснила тем временем девушка, насмеявшись вдоволь то ли над незадачливым защитником, то ли сама над собой.

Она разговаривала так, словно была по крайней мере лет на десять старше Бориса.

— За какое дело?— недоумевал Борис.— Ты же ничего не делала, сидела себе спокойно в кибитке...

— Вот именно,— хитро поддакнула девушка, пожав худенькими плечиками, тут же посерьезнев, добавила: — А я должна на хлеб зарабатывать. Мне ведь почти семнадцать. Понимаешь, подошла к матери, засмотрелась на сестренку и обо всем забыла. Так люблю малышей...

— Тебе — семнадцать?— воодушевился Борис.— Знаешь, и мне. Так, значит, мы с тобой ровесники... Как тебя хоть зовут-то?

— Азой... А тебя?— спросила в свою очередь девушка, на этот раз с любопытством разглядывая его.

Борис назвался.

— Послушай, Борис, хороший, отведи меня, пожалуйста, к магазину, а?— попросила тут же Аза.— Мне нравится с тобой говорить, но...

— Хочешь купить что-нибудь?— поинтересовался Борис.

— Не-а. Я же сказала, мне надо зарабатывать на хлеб. Себе. Матери. Сестренке. Да еще для вожака табора. Так у нас принято. Понимаешь? Иначе вожак меня убьет,— объяснила Аза, правда, почему-то нисколько не переживая за такую мрачную перспективу.

— Ничего не понимаю. Зачем ты тогда ездишь с ним? Да плюнь ты на него. Подумаешь, вожак. Без него, что ли, нельзя прожить? Не те нынче времена. Останься хотя бы в нашей деревне. Или подайся в райцентр. Работать будешь, учиться в вечерней школе. В люди выйдешь. На воле же лучше жить,— с юношеской горячностью начал убеждать Борис. Ему эта смуглая девушка в цветастой темно-красной кофте, колышащейся от малейшего движения желто-зеленой юбке нравилась все больше и больше.

Аза опять залилась звонким смехом, показывая ровные белые зубы. «Не мелкие,— вспомнив народную примету, подумал Борис про себя.— Значит, не злая она.»

— На воле-е? Лучше? Это постоянно жить в одном и том же месте — воля? В одно и то же время вставать, ходить каждый день на одну и ту же работу? Без разрешения не сметь отлучиться... Слыхали мы про такую волю. Хы, не смеши меня, мальчик. Скажи лучше, дорогой, где у вас в деревне магазин?

Борис, конечно, уже догадался, почему она хочет идти именно к магазину и как там будет «зарабатывать на хлеб» для себя, для матери, для сестренки и еще «для вожака табора».

— Ты знаешь, магазин наш пока закрыт,— объяснил он Азе смущенно, будто оправдываясь.— Летом у нас всегда так. Днем все на работе, потому магазин открывается по утрам и вечерам. Так что людей ты там все равно не встретишь. Все же на сенокосе.

Цыганочку эта весть, похоже, не очень смутила.

— Что ж, придется ходить по дворам,— вздохнула она и пошла вперед, твердо вышагивая босыми ножками, ступни которых лишь чуть виднелись из-под длинной юбки.

Борис живо представил, как эта хрупкая девушка будет ходить по дворам крестьян, стучать в запертые калитки высоких ворот, через которые куры не могут перелететь, как строго-настрого предупрежденные родителями дети

вообще не откроют ей, предусмотрительно спустив с цепей собак, а те редкие взрослые женщины, оказавшиеся по разным причинам дома, все равно откажутся погадать у нее, потому что такое серьезное дело не доверяют молодым фалчы, пусть даже цыганкам. Самое же главное, со стороны это будет выглядеть весьма жалко, даже унизительно для нее. Но что же делать? Заработать что-то Аза все равно должна. В этом Борис сам убедился там, в таборе. Как же тогда помочь ей?.. И тут он вспомнил, что отец дал ему на покупку хороших ботинок перед поездкой в город, на экзамены, целых пятьдесят рублей. Конечно, тогдашними, дореформенными деньгами.

— Аза, постой,— остановил он девушку.— Скажи, а сколько ты должна заработать?

— Ну-у,— чуть подумав, ответила Аза,— нам с матерью и сестренкой червонец, ему червонец, всего — двадцать пять рубликов.

И засмеялась своей удачной, как ей казалось, шутке, снова показывая белый ряд «добрых» зубов.

Вообще, смеялась она часто, и причинно, и беспричинно. И всегда смех ее получался искренним, заразительным, при этом она, и так симпатичная, становилась очень и очень привлекательной. Как красавицы из индийских фильмов. Белые ровные зубы четко выделялись на смуглом продолговатом лице с прямым тоненьким носом, глаза искрились, а легкие морщинки, появляющиеся вокруг них во время смеха, казались продолжением этих искринок. И вся она была в движении, просто даже улыбаться не могла, не шевельнув ногами, не качнув слегка бедрами, не двигая плечиками, руками, не закидывая то туда, то сюда маленькую голову на тонкой, но крепкой шее. И все это получалось так естественно, так восхитительно, что просто дух захватывало. Честное слово! Борис даже не представлял, что на свете могут быть такие вот живые и удивительно притягательные девушки.

— А что, если я тебе найду эти двадцать пять рублей?— то ли предложил, то ли просто спросил Борис.

— Не откажусь,— не стала лукавить Аза.— И что я тебе должна сделать за это?

А, была не была! «Не обязательно покупать ботинки,— подумал Борис.— А оставшихся двадцати пяти рублей вполне хватит на приличные полуботинки».

— Ничего,— сказал сам вслух.— Просто немного походишь со мной...— Увидел, что девушка нахмурила брови.— Будешь ходить просто так, без всяких целей. Я тебе

покажу, как мы живем, работаем. Может, понравится...

— На такую работу я согласна,— обаятельно улыбнулась Аза после непродолжительного раздумья. При этом тонкие губы ее чуть раскрылись и стали еще тоньше, а зубы аж блеснули на солнце.— Ну, где твои деньги, красавец?— протянула тут же узенькие ладошки с длинными пальцами, никогда не державшие, очевидно, лопаты, вил, не поднимавшие носилок, не доившие корову. У вакхалыхских девушек, например, руки с малых лет широкие, короткопалые, с растрескавшейся от жары и холода, от воды и земли кожей.

— Я счас... Я только сбегаю за ними домой. Они у меня там,— торопливо объяснил Борис, не ожидавший такого быстрого согласия цыганки.

— Ведь обманешь, красавец?— с прищуром посмотрела ему в глаза Аза.

— Что ты! Честное комсомольское! Если не веришь, пошли вместе...

— Ладно, я здесь подожду,— снисходительно сказала Аза, тут же бесподобным змееобразным движением вытянула руку направо.— Во-он за тем кустом буду сидеть.

Теперь уже засомневался Борис: подождет ли? Но вслух ничего не сказал, что есть мочи побежал домой. Вернулся он быстро, через четверть часа, но... Так и есть: Азы ни у куста, ни на тропинке не было. Борис обиженно сплюнул, расстроившись, повернулся в сторону табора и, приставив ладошку ко лбу козырьком, стал высматривать, сам не зная что.

Вдруг сзади нежные теплые руки обхватили его голову, прикрыли глаза. Ждала-таки! Борис почувствовал спиной все горячее тело девушки. Особенно плотно касались его под лопатками две упругие точки. Борис догадался, что это, и замер в приятном оцепенении. Весь он запылал невесть откуда внезапно появившимся жаром, на лбу выступила легкая испаринка.

— Ты!— восхищенно выдохнул он, собравшись наконец с духом. Затем схватил ее руки, оторвал их от глаз и резко повернулся. Так стояли они долго, взявшись за руки и глядя друг другу в глаза, и непонятно от чего громко смеялись. Потом он отпустил ее, смутился и тихо сказал:— Ну, пошли?

— Куда?— игриво спросила Аза.

— Я же сказал, хочу показать, как живет народ моей деревни,— еще раз объяснил Борис.— Ты что, против?

— Деньги твои, ты — хозяин,— разумно согласилась

Аза. Похоже, в первый раз она приняла это предложение за шутку и ожидала чего-то другого.— Кстати, где они?

— Что — «они»?— не понял Борис.

— Да деньги. Двадцать пять рублей.

Вот ведь шайтаненок! Даже в такой момент не забывает о своем заработке, удивился Борис. Он вытащил длинную сине-зеленую гознаковскую бумажку, поводил ею перед глазами девушки и снова положил в карман.

— Тогда — пошли!— первая тронулась в путь Аза.

Сначала он повел ее на пойму реки Борылмалы[10]. Она протекает всего в версте от Хыркасов, но с другой стороны, и делает такие немыслимые изгибы и загибулинки, что вздумай кто пройти вдоль нее с километр, так получатся все десять. Речка сама по себе такая, что, как говорится, ее курица вброд запросто перейдет. Оттого, видно, и не хватает у Борылмалы сил течь прямиком, срывая препоны и преграды на пути. Таков уж удел слабых... Но по веснам она набирается такой неукротимой силы, что выходит далеко-далеко за берега и течет прямиком в более крупную реку, а через нее — аж в саму Волгу. Течет так мощно и напористо, так широко и бурно, что все сметает на своем пути. А потом буквально через две-три недели враз успокаивается, снова входит в свое русло и даже во время ливневых дождей не норовит показывать свой отчаянный характер, дожидаясь следующей весны и накапливая силы именно к ней. Зато на ее пойме даже в самые засушливые годы до глубокой осени буйствует зелень. Потому испокон веков места эти хыркасинцами оставлялись на сенокос. Даже в самые трудные лета считалось за грех пасти здесь деревенское или колхозное стада.

На лугах, куда Борис привел Азу, второй день шел сенокос. С одного конца тарахтел трактор ХТЗ, тащивший за собой комбайн «Коммунар» без соломокопнителя. Но, видно, дела шли туго, жатка, рассчитанная больше на уборку хлебов, плохо брала сочную траву, агрегат то и дело останавливался, чумазый комбайнер тут же суетливо спускался на землю и, чертыхаясь, начинал выдергивать застрявшую в ножах зеленую массу. А с другого конца встречь шло множество людей — обнаженных до пояса загорелых мужчин, женщин с завязанными назад разноцветными платками и завернутыми за пояс сапунами[11]. Они шли, широко взмахивая руками справа налево. Взмахи эти казались богатырскими, особенно потому еще, что руки и косы в них издали воспринимались чем-то целостным, длинным и сильным. Двигались люди вперед вроде бы

медленно, но приближались довольно-таки быстро. Сзади них оставались тучные темно-зеленые валки и широкие ровные полосы, приобретшие после «стрижки под нулевку» желтоватый оттенок. Звуки мотора, булатная звень кос, шелест падающей травы, металлический перестук точил, веселые, возбужденные переклички людей — все это, смешиваясь воедино, создавало какой-то единый шум труда— труда хваткого, могучего, всеобщего. Борис краешком глаза видел: Аза смотрела на все это с восхищением, как бы завороженно, даже стояла, против обыкновения, не шевелясь, вытянувшись в сторону приближающихся косарей.

— Нравится?— не удержался от вопроса Борис.

— Ага,— просто сказала Аза, мотнув головой.

И так простояли они довольно долго, пока косари не приблизились совсем вплотную.

— Ну и как, есть разница между вашим трудом и нашим?— спросил Борис, когда вышли уже на дорогу.

Аза промолчала, оглянувшись на какое-то мгновение, еще раз окинула взглядом весь луг и быстро пошла вперед, обогнав своего спутника.

Молчала она и когда шли полем вытянувшейся в колос озимой пшеницы, и когда пришли к колхозной роще, на опушке которой паслось деревенское стадо. А когда вышли на другую сторону Хыркасов, на Чанга ту, откуда вся деревня видна как на ладони, Аза вдруг побежала по горе, подставив лицо ветру, и остановилась лишь на ее обрывистом краю, совсем близко от огородов крестьян ближайшей улицы.

Хыркасы и тогда располагались точно так же, как и сейчас. Триста с лишним дворов разбросаны на площади длиной в три и шириной в полтора километра, вдоль ручейков и склона горы. И вся эта площадь с ранней весны и до глубокой осени кудрявится зеленью садов и огородов, ив, берез и тополей, щедро понасаженных вдоль по улице и по оврагам. Среди этой буйной зелени разноцветными пятнами выделяются крыши домов и хозяйственных построек, придавая всему какую-то приятную мозаичность. Когда смотришь на Хыркасы вот отсюда, с Чанга ту, будь то зимой или летом, весной или осенью, всегда кажется, что от деревни веет теплом, уютом и еще чем-то таким, о чем ни словом не рассказать, ни пером не описать: чувством нимейности[12] человеческого бытия, что ли...

— Аза, смотри,— сказал Борис, широко раскинув руки, как бы желая объять всю свою деревню.— Здесь в каж-

дом доме — тепло, уют, в саду — фрукты, в огороде — овощи, во дворе — скотина, птица. И не надо разъезжать по всей стране, добывая себе хлеб. Просто надо работать в поле, на ферме — и все. Так зачем тебе мотаться в поисках пропитания? К тому же горбатиться на паразита вожака...

Он от всей души желал девушке добра, хотя понимал, что такой лобовой атакой вряд ли переубедишь ее. Но на более тонкое объяснение у него пока не хватало ни опыта, ни знаний, ни житейской хитрости.

Аза и на этот раз промолчала. Затем она вдруг раскинула руки, словно готовясь вот-вот спрыгнуть с горы в полет, и запела. Пела она громко, протяжно, на непонятном Борису цыганском языке. Ее чуть с хрипотцой, но все же звучный голос несся с Чанга ту на всю деревню, заглядывая во многие дворы, возвращался оттуда двойным, тройным эхом. И вот уже будто кто-то мягко провел пальцами по струнам шестиструнной, пробуя мажорный аккорд. Он пришелся к месту. Тут же раздались звончатые переборы другой гитары, третьей, четвертой... А вот и хор жизнерадостных беззаботных мужчин и женщин в ярких шелковых рубашках и блестящих хромовых сапогах, в цветастых платках и таких же широченных юбках, вьющихся на ветру, запел, казалось бы, мощно, но все же не заглушая голосистую Азу. И хотя на горе они стояли лишь вдвоем, Борис — ей-ей! — слышал и видел и музыкантов, и хористов... Уж о чем она пела, эта молоденькая цыганская девушка,— ей одной было ведомо, но Борис чувствовал: о широте души, о просторе мира, где человеку, как бы ни было, все же прекрасно живется. Ему тоже захотелось вот так же раскинуть руки и запеть свое, вакхалыхское, тоже о широте души, о просторе мира, где человеку, как бы ни было, все же прекрасно живется. Запеть так, чтобы его тоже поддержал мощный хор вакхалыхских мужчин и женщин. Пусть напевы и слова этих песен были бы разными, но они слились бы в одну и заполнили деревню, эту гору, борылмалинские луга, весь мир. И Борис в порыве души уже подошел к крутому обрыву, раскинул руки, резко закинул головушку назад... Но тут же внутри что-то неизвестное властно подтолкнуло его, остановило. Он встряхнулся... Постой, что за глупость он собирается выкинуть? Да здесь же буквально в ста метрах внизу ютится улица, и люди наверняка услышат его. Услышат и узнают, кто это, страдая от безделья, распевает песни вместе с цыганской девушкой, когда весь народ в поте лица трудится

там, на борылмалинской пойме. Что они подумают тогда о нем, готовящемся стать студентом сыне уважаемого в деревне человека?

Борис почувствовал, как к щекам, к ушам, вообще в голову хлынула кровь. Так обычно бывает, когда очень и очень стыдно... Ему стало неудобно не только за себя, но и за эту прекрасную Азу. Хотя она, конечно, цыганка, и вовсе не обязана придерживаться вакхалыхских обычаев. Да и в Хыркасах ее никто не знает. Однако все видят, кто стоит рядом с ней... Борис невольно отодвинулся от Азы, отступил назад на несколько шагов, как бы уходя подальше от опасного крутого обрыва.

Будто поняв его настроение, Аза так же внезапно смолкла, как и запела.

— Мне пора,— сказала, как показалось, подавленным голосом.

Борис не стал задерживать ее, вытащил из кармана гознаковскую сине-зеленую бумажку, отдал. Что поделаешь, уговор дороже денег.

— Не жалко?— спросила Аза, глядя ему в глаза. Кажется, смотреть на человека по-другому она просто не умела.

— Нет,— коротко ответил Борис.— Раз обещал... Только вот не знаю, что родителям сказать.

— А не говори ничего, красавец. Кто может тебя заставить, если ты свободный человек!

То ли шутит, то ли подтрунивает, то ли всерьез советует — поди разберись.

— Ну, прощай, красавец...

Аза с места побежала в сторону табора. Из-под длинной и широкой с оборками юбки, которая, от скорости вытягиваясь назад, теперь смахивала на развернутый разноцветный парус, засверкали быстро мелькающие светлые пятки. Даже не верилось, что можно так быстро перебирать ногами.

Вдруг Аза резко остановилась, развернулась и медленно пошла обратно. Подойдя к Борису, протянула деньги:

— На, бери. Мне они не нужны.

Борис смутился, покраснел.

— Да что ты, я же обещал... Да притом и вожак ваш побьет тебя,— начал он не очень настойчиво уговаривать ее.

— Побьет — не убьет. А в душе я все равно останусь сама себе королевой,— гордо сказала Аза. Затем тихо добавила:— А твоя свобода мне не подходит. Красивая

она, может, сытная, уютная, а с горы петь на весь мир не разрешает...

Вдруг она схватила его правую руку, повернула ладошкой к себе, внимательно рассмотрела ее и сказала совсем как взрослая фалчы:

— Ждет тебя, красавец, долгий жизненный путь с вечной борьбой. Почет и слава, достаток и богатство будут на этом пути. Но будут также бедность и лишения, муки совести и отречение друзей. Ты волен выбрать из них то, что тебе по душе. Выбрав же, обязательно добьешься того, чего желаешь. Но никогда — всего сразу. Будешь ли ты счастлив и свободен или будешь вечно жить в каторге, куда тебя никто никогда не пошлет — это будет зависеть только от того, чего ты пожелаешь в жизни. Я же тебе, дорогой, желаю всего-всего хорошего...

Девушка отпустила его руку, глянула в глаза.

— А теперь прощай, красавец!

Она пошла в сторону табора твердыми, по-мужски размашистыми шагами. Оказывается, умела ходить и так. Борис стоял, ошарашенный ее гаданием. Он все еще словно не верил, что все это говорила ему девушка, которой семнадцати-то не исполнилось. Нет, он, комсомолец, конечно же, в гаданье и прочую такую чепуху не верил. Но слова Азы почему-то впечатляли.

— Аза, а завтра встретимся?!— опомнившись, с опозданием крикнул Борис ей вдогонку.

Девушка остановилась, на секунду повернулась к нему боком, ничего не ответив, помахала ручкой и пошла дальше тем же сильным и размеренным шагом.

А утром цыганского табора уже и след простыл. Пришел он сюда неожиданно, и также ушел бесшумно, бесследно, словно и не было ничего, словно лишь приснилось все это в теплую летнюю ночь. Но нет же, был табор, и Аза была. С их уходом, казалось, бесследно ушла какая-то важная струна и из души Бориса. Как струна семиструнной гитары, без которой она хоть и осталась музыкальным инструментом, но только шестиструнным.

Но это Борис понял лишь позже, гораздо позже...

ЧТО БЫЛО

Все больше давал знать о себе вечер. Из деревни послышались мычанье коров, блеянье овец и коз, окрики встречающих свою скотину хозяев.

Стал подкрадываться молочный туман. Он пока тонким слоем стелился над прудом, прикрывая его зеркальную поверхность, словно чадрой. Сочно заалел горизонт на западе, где от солнца осталась лишь макушка. Скоро начнет темнеть.

Пора было идти в отчий дом. Если появиться затемно, старики могут встревожиться еще пуще. А тут, у пруда, рядом с деревней, сиди не сиди, а ничего путного, похоже, уже не высидишь.

Арыслан по широкой перемычке плотины перешел на противоположный берег и, пройдя еще немного, вошел в деревню. На улице прохожих не было: у крестьянина начались последние хлопоты по хозяйству. Осталось лишь напоить скотину, подоить корову, закрыть на запор калитку, после чего можно наконец отойти ко сну. Но на перекрестке двух улиц, где образовалось что-то наподобие небольшой площади, все еще резвилась ребятня. Наверное, они были из тех, кто днем домовничает, и освободились лишь недавно, с приходом родителей с работы. При появлении Арыслана ребята все разом смолкли, перестали играть, переключив внимание на одетого по-городскому незнакомца. А когда Борис Викторович поравнялся с ними, поздоровались хором по-русски:

— Здра-асьте!

— Силы вам, ребята, в вашей игре!— улыбнувшись, поприветствовал их Борис Викторович по-вакхалыхски.

Ребята весело загалдели:

— Пусть дорога ваша будет удачной!

— Тавах[13] вам за доброе слово!

Видно, им здорово понравилось, что незнакомый горожанин сам перешел на вакхалыхский и говорит на нем очень даже чисто.

— А что же вы, ребята, вначале со мной заговорили по-русски?— спросил Арыслан отнюдь не только из праздного любопытства.

— Вы же городской!

— А нас учат только русским приветствиям!

— В школе так велят!— еще сильнее загалдели ребята.

Их ответы как-то сразу поразили Арыслана. Он, заговоривший с ними просто так, остановился и решил вполне серьезно продолжить разговор, на какое-то время даже забыв про отчий дом.

— Что — велят? Кто велит? Кто-нибудь один объясните-ка потолковее,— попросил Борис Викторович.

Вперед выдвинулся мальчишка лет двенадцати. Похо-

же, он считался за главного, потому обязан был быть самым смелым и бойким.

— Нам учителя велят больше разговаривать по-русски,— начал он объяснять.— Говорят, вакхалыхский язык годится только в Хыркасах, а уже в райцентре нужен русский...

Арыслан вообще-то знал эту тенденцию учительства республики. Исходила она, похоже, от самого Министерства просвещения. Хорошо еще, после долгой борьбы удалось наконец добиться, чтобы хоть в начальных классах детей учили на родном языке. А ведь было время — обучение с первого класса шло на русском. Сколько вреда это нанесло детям. Как раз в том воспитывающем возрасте, когда нужно заложить крепкий фундамент для будущих больших знаний, они сидели в классе и непонимающе таращили глаза на говорящего непонятным языком учителя... Кто придумал это — как всегда, осталось тайной за семью печатями. Но официально объяснялось, что такое обучение введено по просьбе родителей. Кто, когда проводил по этому поводу опрос ли, исследование или референдум — истории неизвестно... После долгой борьбы, особенно писателей, эта глупость по отучению ребенка от языка матери была все же официально отменена. А вот поди же..

— Ребята, вам не нравится наш народ?— спросил Борис Викторович.— Он что, плохой?

— Не-ет!

— Ленивый?

— Да не-е...

— Отец говорит, что и на целине, и в Сибири, где он бывал, вакхалыхов принимали на работу в первую очередь. Они там самыми работящими считались.

— Тогда, может, вакхалыхин воровать учит? Или глупый?

— Да что вы. У нас раньше и замков не было, это каждый знает.

— Однажды в школу приезжал лектор. Он сказал, что в расчете на тысячу человек у нас в республике ученых намного больше, чем в самых развитых странах мира.

— Даже космонавт есть у нас,— наперебой начали убеждать ребята Бориса Викторовича.

— Тогда почему же вы не хотите быть вакхалыхами?— продолжал допытываться Арыслан.

Ребята замолкли. Чуть погодя выступил вперед главный.

— С чего это вы взяли?— обиженно сказал он.— Мы вакхалыхи и есть. Самые настоящие.

— Но ведь человек, не любящий или даже не знающий родного языка, не будет уже настоящим сыном своего народа. Потому что без языка нет народа. Понимаете?

— Понима-аем!— согласно закивали головами мальчишки.

Они-то это понимали, а вот иные дяди и тети... Впрочем, ребята за них не отвечают. Они пока еще патриоты своего народа. Это хоть немного успокаивало, вселяло надежду.

Арыслан хотя бы по лицам попытался определить, чьи же это дети, да где там: он наверняка не знает даже их отцов, потому как, по всему видно, они не ровесники ему, а младше лет на десять-пятнадцать. Борис Викторович, ушедший в армию в девятнадцать и с тех пор наведывающийся в Хыркасы лишь два-три раза в год на выходные, конечно, не видел, как они росли, стали взрослыми, родителями. Впрочем, что говорить, разве только этого не знает он в своих Хыркасах, деревне, которая вырастила его.

— Ребята, а вы русский тоже учите хорошо,— сказал на прощанье Арыслан.— Без него, действительно, будет нелегко в жизни. Это язык великого, могучего народа. Если вы его будете знать хорошо, у вас прибавится много знаний, силы, уменья. Но родной... Родной он и есть. Вы меня поняли?

— По-оняли!— хором, как в классе, ответили ребята.

...Насчет предстоящих объяснений с родителями Борис Викторович, оказалось, волновался напрасно. Дома никто не лез к нему с расспросами. Только отец поинтересовался как бы мимоходом:

— Что так неожиданно нагрянул?

— Да вот пришлось,— неопределенно ответил Борис Викторович, за весь день так и не придумавший приличную причину.

Отец пытливо посмотрел ему в глаза и больше ни о чем не стал допытываться. Опытный педагог, проработавший в школе не один десяток лет, на своем веку достаточно повидавший, как говорят в народе, и белое, и черное, он умел вычитывать в глазах человека то, чего тот сам, даже желая, не смог бы никогда рассказать.

Мать же вообще ни о чем не стала расспрашивать, лишь вздохнула тяжко, затем, попросив Бориса Викторови-

ла поставить самовар, прихватила пустое ведро и вышла во двор доить корову.

После ужина — а время, в общем-то, было уже позднее — Борис Викторович извинился перед стариками, пообещав завтра поговорить обо всем, и попросился на сеновал.

— Дак пыльно же там!— попыталась урезонить его Пелагея Петровна.— Нешто в чистой постели хуже? Чай, не дитя.

— Да пусть идет, вспомнит молодость,— заступился за сына отец. Тут же сказал Борису Викторовичу:— Сено там свежее, пахучее. Недавно Владимир с Иосифом приезжали. Пожили тут с недельку во время отпуска. Вот и заготовили...— И снова Пелагее Петровне:— Дай ты ему лучше, мать, пару старых одеял да простыню...

Владимир с Иосифом — младшие братья Бориса Викторовича, но от этой матери. Они работали в Башколе на недавно построенном машиностроительном гиганте. Владимир уже вырос до начальника цеха. Иосиф, правда, был рабочим, но тоже довольно известным бригадиром. Борис, как любой горожанин, встречался с братьями редко, о чем сейчас от души пожалел. Знай он, что братья едут в деревню сено заготавливать, взял бы отпуск пораньше и тоже прикатил вместе с ними, помахал бы косой в свое удовольствие. Тогда и сегодняшней неприятности не случилось бы. Впрочем, как это не случилось бы? Ведь она в самом деле давно произошла, может, давным-давно уже. Только он этого не замечал, пока не натолкнулся совершенно случайно на Тертту Ульясовну с директором театра сам... А то, что человек непосредственно не видит или не ощущает вещь, явление, это, как говорят философы-материалисты, еще не значит, что их вовсе не существует в природе. Впрочем, какие-то другие философы из идеалистов, кажется, утверждают обратное.

Хотя не надо сейчас думать об этом, не надо, не надо...

Под навесом, чувствовалось, действительно было пыльно. К тому же стоял запах птичьего помета. Видно, куры сидели на насесте где-то рядом. Но все-таки сладковатый запах свежевысушенного разнотравья перебивал все другое. И как-то постепенно Борису Викторовичу стало казаться, что он — это вовсе и не он, а молодой Борис Львов лет семнадцати-восемнадцати. И не под навесом на шуршащем сене он лежит, запрокинув голову, а идет размашистым шагом по широкой пойме с той же, скажем, цыганочкой Азой, вдыхает бодрящие запахи свежескошен-

ных трав и медоносных цветов и чувствует, как вливается в его тело богатырская мощь. Или плетется за девушками из Турикаса[14], возвращающимися домой с выйи[15], слушает, как журчаньем родниковой воды расплывается их тихое пение по улице, и на душе становится чисто, спокойно, хорошо... И как щемяще тоскливо стало от мелькнувшего тут же голоса бесчувственной разумности о том, что все это ерунда, плод нездоровой фантазии о давно прошедшем, которое никогда не вернешь, и просто глупо думать об этом, глупо предаваться ушедшим в полусказку-полубыль воспоминаниям. Так тоскливо стало, что в душе будто надорвалось что-то, к горлу подступил комок горечи, а в закрытых глазах — он чувствовал это — появились слезы.

Борис Викторович постарался взять себя в руки, если можно в данном случае употребить это выражение, и отогнать от себя рацио, разум. Им сейчас не место было здесь. В конце концов разве он не имеет права хотя бы в одиночку, хотя бы в душе предаваться приятным воспоминаниям, помечтать пусть о заведомо несбыточном, но все же возможном в воображении, когда ему плохо, очень плохо. Не потому только, что увидел он сегодня утром в Башколе, в театре. Вообще в последнее время обстоятельства складывались так, что жизнь его словно бы стала теснить, замуровав в какую-то шарообразную каменную емкость без окон и дверей. К тому же емкость эта все уменьшалась и уменьшалась, а стены шара становились все толще и толще, так что, казалось, вот-вот должны зажать, расплющить, раздавить каким-то образом оказавшегося в этой безжалостной среде ничтожно слабого человека.

Впрочем, прочь все это, прочь! Лучше уж вспоминать о былом и небылом.

Итак, допустим, Борис Викторович сумел-таки возвратиться в то далекое вчера, когда ему было семнадцать-восемнадцать лет...

Но то ли рацио все-таки успело помешать, то ли Арыслан так и не сумел до конца взять себя в руки, воспоминания уже не шли на ум, образы прошлого даже тенью не хотели больше возникать перед глазами. Да и обстановка для этого, похоже, не из подходящих. Сеновал крытый, не видно ни звезд, ни земли. Самое же главное — время нынче совершенно другое. В среде его ярких примет трудно уживаются скромные детали былого. Даже сейчас деревенские звуки и шорохи во многом не такие, какими были тогда, в годы юности Бориса Викторовича. Не слышно

хрипловатой, несколько дерганой игры на гармони-двухрядке, пения девушек в хороводе или подбадривающего хлопанья в ладошки в такт искрометной пляске. А ведь летом ежедневно почти до полуночи раздавалось все это со стороны Аслы урама[16]. А потом оттуда же растекались песни по всей деревне. Это пели возвращающиеся домой с выйи девчата, пели в два, в три, в четыре голоса, в зависимости от того, сколько их шло попутно на свои улицы. Простые вакхалыхские песни, но этой простотой так трогающие, пронизывающие душу, что парни, провожающие своих невест, оставшись затем наедине с ними, долго не смели даже дотрагиваться до них: настолько вычищали из них дурное, нахальное девчата своим незамысловатым пением. И долго еще там и тут возле калиток, на крылечках, под березами и ивами слышно было тихое воркование молодых, время от времени все-таки не удерживавшихся и прыскавших смехом, прикрывая рот ладошкой... Нет, подобных звуков сегодня в Хыркасах почему-то не слыхать. Хотя, казалось бы, самое время. Только собаки, как и тогда, в годы молодости Арыслана, нет-нет да и побрехивают незнамо на кого, да лягушки неугомонно заливаются звончатой трелью, пуская ее длинными очередями, пока кто-то из лапчатой же братии не прервет их, хрипло и хулиганисто квакая, будто смеясь над своими сородичами, так старательно выводящими эти извечные мелодии.

А отсутствие других привычных шумов настораживало. Неужели в такой большой деревне совсем не осталось молодежи? Или она по вечерам чем-то другим занимается?

Вообще, Арыслану надо однажды пройтись по деревне. По всем ее улицам и переулкам. Пешком. Не спеша. Посмотреть, какой она стала. Не с Чанга ту, сверху, а вблизи, изнутри посмотреть. Ведь, по правде, хоть и наведывается Борис Викторович иногда в Хыркасы, но дальше отчего дома редко куда выходит, обычно, переночевав и наскоро позавтракав, на следующий же день с утра торопится обратно, в Башколу. Нет же, ему и раньше хотелось, ох как хотелось посмотреть свою деревню, да все было недосуг: все дела, дела... Такие ли уж они все были важные? Неужто нельзя было выкроить лишний денек-другой, чтобы лутем прожить в гнезде, откуда ты есть пошел, где обрел крылья, набрал силы, затем улетел в люди. Не-ет, Борис Викторович завтра же пройдется по всем Хыркасам. И вообще весь отпуск проработает здесь, а там видно будет...

А что будет видно — об этом Арыслан пока думать не решился.

Приняв такое решение, он будто немного успокоился, стал наконец-то засыпать.

Петухи пропели полночь.

Утром Борис Викторович проснулся поздно. Духмяная трава да здоровый воздух заставили-таки и его отведать богатырского безмятежного сна.

Спустившись с сеновала, Борис Викторович не стал заходить в избу. Он взял цинковое ведро, торчащее вверх дном на столбике изгороди, отделяющей хлев от двора, принес воды из колодца, который вырыт на улице, чуть наискосок от дома Львовых, наскоро умылся студеной водой, не осмелившись помочить даже шею, но фыркая так, будто обливался с головы до ног.

— Встал, сынок?

Это вышла из хлева мать, держа в левой руке опорожненное ведро. Оттуда было слышно, как, хрюкая друг на друга, споро чавкали поросята, которым на слух можно дать все три месяца.

— И зачем вам столько скотины? Пожалели бы себя, что ли. Корова, бычок, овцы, гуси, куры, поросята... Куда все это девать?— искренне недоумевал Борис Викторович.

— Дак нам что, без дела сидеть? А девать было бы что, куды — найдется. Вон вас одних трое, да все в городе живете, да у всех семьи,— невозмутимо объяснила Пелагея Петровна.

— Мы же ничего не просим у вас, мама,— тепло улыбнулся Борис Викторович.— Хватит о нас беспокоиться. Мы и так по гроб жизни в долгу перед вами.

— В магазинах просите. А откудова там возьмется столько молока, мяса? Вот мы и сдадим туды через колхоз наш, на вашу долю, раз сами от нас не берете,— сказала Пелагея Петровна сыну и, сама удивляясь своему многословию, сконфуженно махнула рукой:— Ты это, заходь, позавтракай. Все на столе. Отца не тревожь. Пусть отдохнет. Что-то занедужил опять... А я через часок вернусь.

Она, отставив ведро к приступкам сеней, тут же торопливо пошла на улицу, на ходу поправляя подол сапуна. Борис Викторович с минуту постоял, глядя, как на ведро набросились куры во главе с бравым петухом и начали долбить его короткими клювами, выискивая остатки предназначенной поросятам еды, и вошел в избу. Завтрак был поставлен в передней половине, называемом залом. Вообще-то так делалось лишь когда дома особо важные и до-

рогие гости. Но сегодня это, наверное, связано с состоянием главы семьи...

Поев, Борис Викторович решил осуществить вчерашнее желание — побродить так просто, как бы бесцельно, по родной деревне. Вместо прогулки перед работой. Помня наказ матери, перед уходом он все-таки решился заглянуть в комнату отца и предупредить о своем уходе.

Отец неуклюже лежал на боку, укрывшись по грудь ватным одеялом, и что-то писал в тетради, раскрытой на стоявшей рядом с койкой табуретке. Сыну приветливо улыбнулся, поздоровался, подав худую дрожащую руку, но не встал. Вообще — это Борис Викторович заметил еще вчера — похудел он сильно. От этого некогда круглое, гладкое лицо его стало продолговатым. На нем сейчас вовсю хозяйничали морщины, будто дождались наконец своего часа и решили наверстать упущенное. Еще пару-другую лет назад крутые плечи совсем сузились, рубашка на них висела, словно мешок, надетый на огородное пугало. Да и ростом отец стал намного ниже, а ведь был вровень с Борисом Викторовичем — под метр восемьдесят. Тем не менее на него и сейчас приятно смотреть: серебрящаяся седина, голубые живые глаза, еще не знающие старческой матовости, прямой греческий нос, тонкие небольшие губы, всегда аккуратно выбритые щеки придавали ему благородный, чистый вид, как бы даже внешне подчеркивали его интеллигентность.

— Чем ты болеешь, атте[17]?— спросил Борис Викторович, присев на табуретку. С его приходом отец убрал с нее тетрадку на подоконник.— Может, я смогу чем помочь? Лекарства привезти, доктора хорошего вызвать...

— От старости, сын, никто не поможет,— слабо и безнадежно махнул длинной рукой Виктор Васильевич.— Если бы вот вы почаще приезжали... Радость родительская— единственное лекарство от старости. Ты лучше о себе расскажи. Как дома? Что на работе? Над чем сейчас корпишь? Вчера так и не успели путем поговорить.

— У меня все нормально, атте,— коротко ответил Борис Викторович.— К вам вот приехал, почти на целый месяц. Хочу здесь поработать над новой повестью. Заодно подышать, так сказать, целебным воздухом родного яла[18].

— Это хорошо. Это ты правильно сделал, сын,— приободрился Виктор Васильевич.— Тут тебе никто не будет мешать. А дома у тебя как в муравейнике. Да и я давно хочу о многом потолковать с тобой. В мире происходит много кое-чего, непонятного мне, старому. А посоветовать-

ся в Хыркасах не с кем. Нет, нет, я тебе не буду мешать. Поговорим мы, когда ты устанешь от работы и захочешь передохнуть. Ладно?

Борису Викторовичу от таких слов стало даже неудобно. Он знал, что отец читает очень много, по крайней мере наверняка больше, чем его сын писатель, у которого времени всегда в обрез.

— Зачем так говоришь, атте. Разве я знаю что-то такое, что тебе не было бы известно? У тебя вон какая богатая библиотека, — окинул Борис Викторович взглядом книги на полках.— Это я должен всю жизнь учиться у тебя.

— Нет, сын,— без всякого кокетства возразил Борис Васильевич,— у каждого человека наступает момент, когда дети его в чем-то обгоняют: в здоровье, в знаниях, в успехах... У меня такой момент давно наступил. Знаешь, книги, газеты, журналы — это, конечно, хорошо. Но чтобы знать всю правду, надо много видеть самому. А я что тут вижу, безвыездно живя в деревне? Это лишь рыбе в аквариуме кажется, что перед нею — весь мир... А если кое в чем ты не прочь прислушаться к моему мнению, что ж, я буду только рад...

Разговор на этот раз вроде бы и закончился. Да и мать, наверное, не зря предупреждала, что не надо беспокоить отца. Но, раз заявился, так просто тоже неудобно уходить.

— А что это ты пишешь, не жалея себя, если не секрет?— спросил Борис Викторович, встав с табуретки.

— Да вот, приходится защищать одного человека. Очернило его, понимаешь, начальство. Может, ты и знаешь его, Ивана Прокопьевича Василькова? Правда, переехал он из Айдарова сюда, в Хыркасы, всего лишь лет десять назад. Но когда-то работал в райгазете фотокорреспондентом, так что вы вполне могли встречаться...— Увидев, как сын неопределенно пожал плечами, потому что не приходилось ему встречаться с фотокорреспондентом Васильковым, тут же прервал разговор:— Ну ладно. Не для тебя эти заботы. Ты, вижу, хочешь уйти. Так иди, иди, а я отдохну еще чуток...

Борис Викторович вышел на улицу, нерешительно оглянулся по сторонам, раздумывая, куда податься. Как бы мимоходом вспомнил имя, названное отцом,— Иван Прокопьевич Васильков. Нет, не знает такого, не помнит. Когда работал в республиканской газете, он знавал многих журналистов из районов, это правда, но только пишущих,

а не фотокорреспондентов. А что такой человек к тому же живет в Хыркасах — об этом вроде первый раз слышит. Ведь за эти десять лет, как этот самый Васильков переехал сюда, Борис Викторович побывал-то здесь раз десять-пятнадцать, не больше. Вернее, переночевал раз десять-пятнадцать... Постой, вообще-то фамилию такую он слыхал. Но где, в связи с чем? Может, в связи с некоторыми фотографиями, появившимися у родителей? Впрочем, не все ли равно...

Наконец Борис Викторович решил пойти вниз, по Хырахкасу[19], решив сегодня дойти до нижней окраины деревни, затем подняться по Аслы ураму. А остальные улицы он посмотрит во время предрабочих прогулок в следующие дни.

Увиденное и не удивляло, и удивляло. Не удивляло, потому что до перехода в Союз писателей Борис Викторович много лет проработал в газетах и всяких сельских новостроек за счет государства перевидел предостаточно. Удивляло, потому что многое из того, что раньше он встречал лишь в показательных хозяйствах, происходило в Хыркасах, в обыкновенном в общем-то колхозе. И, надо полагать, строили не тунеядствуя, на свои средства. Дом культуры, детский сад, швейная мастерская, столовая, три магазина, пекарня... Все они выросли в последние годы и остались почти что незамеченными Борисом Викторовичем. «Не знать, что происходит в родной деревне, которую ты, кстати, мало ли, много ли, систематически навещал — айяй-яй!»— подтрунивал он в душе над собой. Особо радовали добротные, не стандартные жилые дома. Это значило, что они наверняка построены самими колхозниками. Стало быть, люди не торопились сниматься отсюда и подаваться в город. Стало быть, ошибался Борис Викторович, думая, что молодежи здесь, наверное, осталось раз-два и обчелся... И совсем безрадостно выглядели между такими красавцами-домами, разукрашенными резьбой и узорчатыми рисунками, покрытыми железом и шифером, обветшалые старые избушки. Их было немного, но и не так уж мало. В них жили наверняка старики, пенсионеры. Многие из них, конечно, не могли уже держать в руках топор или молоток. А плотника на колхозную пенсию не наймешь... Однако знание такового положения ничего не оправдывало, не успокаивало, а просто саднило душу. Неужели и их дом, вырастивший несколько Львовых, неплохих в общем-то людей, когда-нибудь станет таким же? Не-ет, они не допустят этого. Но что делать тем старухам, которые всю

жизнь прожили одни и не имеют детей, потому как после войны для них не нашлось женихов? А денег на черный день не припасли: вплоть до шестидесятых годов работали в колхозе бесплатно, за голые трудодни.

Впрочем, зачем из-за этого бередить душу? Для этого, что ли, он приехал в Хыркасы? Сейчас ему вообще не надо думать ни о других, ни о себе. Категорически нельзя! Все мысли должны быть только о работе, да, только о новой повести.

Свернув на улицу, пролегшую параллельно с Аслы урамом, у крайнего двора Борис Викторович неожиданно увидел женщину одних с ним лет. Он узнал ее сразу и оттого немного растерялся, остановился, не зная, что делать: то ли поздороваться и пройти мимо, то ли заговорить. Женщина пока не замечала его, старательно подгребала метлой в одну кучу опилки, щепки, куски древесной коры. Видно, на днях здесь управились с дровами и теперь приводили предворье в порядок. Женщина — ее звали Илемби — наконец почувствовала на себе пристальный взгляд, настороженно выпрямилась, повернула голову.

— Борис? Борис Викторыч? — искренне удивилась она, тут же узнав Арыслана. — Какими судьбами в наших краях?

— Да вот, раз в жизни решил пройтись по деревне. Шел, шел и наткнулся на тебя... Совершенно случайно, честное слово... Разве ты здесь теперь живешь, Илемби Дугаровна?

— Как видишь...

Она почему-то зарделась, как, бывало, в годы юности, опустила голову. В рабочем синем халате, в завязанном назад и съехавшем набок выцветшем платке, в глубоких галошах на босые ноги, с метлой в руке, она еще была привлекательна. Да что привлекательна, была женственно красива. Не зря в молодости считалась первой пиге[20] в деревне... Но сама Илемби Дугаровна, похоже, думала о своей внешности совершенно по-другому, заметив, как Борис Викторович внимательно разглядывает ее, засмущалась окончательно.

— Ты прости, мне скоро на ферму идти, — как бы спохватилась она вдруг и, нерешительно потоптавшись, заторопилась домой, прихватив метлу.

Дальше идти по этой улице Борису Викторовичу уже не хотелось. Да и что там, собственно, смотреть. Дома да дома. Общественных построек здесь, на окраине, никаких нет. .

Он повернулся и, перейдя через овраг по небольшому мосту, каковых в деревне множество, вышел к Аслы урам, медленно побрел по ней вверх. Дойдя до небольшого оврага, тянущегося вдоль улицы, не выдержал, свернул к роднику: до того был он родным для любого хырьялца старшего поколения. Рядом с оврагом, на пригорке, когда-то молодежь собиралась на вью, где водили хороводы, танцевали, как бы соревнуясь в песне и пляске, играли в разные игры. А когда становилось жарко от искрометных плясок или просто от прикосновения девичьей руки, спускались сюда, чтобы напиться чистой ледяной воды из родничка и остудиться.... Он все такой же. Толстая витая струя из него по узенькому желобку текла в ту же большую деревянную колоду, выдолбленную в дубе в три обхвата. Колоде этой, по рассказам, без малого сто лет, а то и все сто пятьдесят. Тогда, в годы юности Арыслана, днем сюда приводили на водопой лошадей, женщины приходили полоскать белье... Лошадей в колхозе сегодня раздва и обчелся. А женщины, наверное, и сейчас приходят хотя бы за самой вкусной водицей, между делом судачат о том, о сем. Но молодежь по вечерам, похоже, сюда уже не собирается, потому что там, на пригорке, где когда-то от топота парней и девушек во время перепляса или хоровода площадка становилась похожей на вычищенную сковороду, сейчас зеленеет трава.

А ведь, если подумать, какое это было святое место! Тут решались судьбы большинства хырьялцев, потому как многие влюблялись именно здесь, под журчанье родниковой воды и подмигивание звезд, под одобрительный веселый шум выйи, договаривались о создании семьи. И только потом, перед праздниками, в дома невест засылались свячи[21], которые, конечно же, все удачи посольского похода приписывали исключительно своему мастерству и умению.

Да, не может Борис Викторович не заглянуть к этому вечному роднику. Ведь его первая любовь тоже пустила свой слабенький розовый росточек именно здесь, и кто знает, что бы из него выросло, окажись это зернышко хотя бы чуточку заделанным в почву...

А влюбился он в Илемби. Она тогда жила на Турикасе. С выйи возвращались обычно вдвоем с подружкой. И всю дорогу они пели песни. В два голоса. А Борис, восемнадцатилетний тогда юноша, шел сзади и слушал. Ему казалось, что прекраснее песен быть не может на свете, чем эти о почему-то всегда неразделенной любви, о девичьей тоске по хорошему, доброму егетю. Именно

так: не по красивому, статному, а по хорошему, доброму... Затем, когда подруга прощалась с ними у своего дома, Илемби с Борисом шли дальше одни. Дойдя до дома Илемби, они садились на скамейку у ворот и, если были, щелкали семечки, если их не было, сидели просто так, изредка говоря что-то несущественное, не смея даже коснуться друг друга. Конечно, Борис уже тогда был довольно-таки начитан, в душе мог говорить Илемби добрые, теплые, нежные слова бесконечно, но молчал, потому что девушки казались ему какими-то нежнейшими, хрупкими, загадочными существами. Раз так, его даже самые-самые! слова могли оказаться неуместными, грубыми, способными разбить эту самую хрупкость и загадочность? К тому же Борис от природы был стеснителен до невозможности. Спроси тогда у него, какого цвета глаза, какие брови, какие губы у Илемби, ей-богу, не смог бы он ответить, потому как даже издали не смел пристально взглянуть ей в лицо.

Тем не менее по деревенским обычаям они считались женихом и невестой. Вакхалыхские парни тогда просто так, лишь ради собственного удовольствия провожать девушек не имели права.

...Борис Викторович давно уже оторвался от родничка и шел по улице, все еще чувствуя холод ломящей зубы воды, отвечал на приветствия немногочисленных прохожих, из которых он редко кого узнавал, а перед глазами все стояла Илемби, в синем рабочем халате, в завязанном назад и съехавшем набок выцветшем платке, в глубоких галошах на босые ноги, с метлой в руке. Борису Викторовичу далеко уже не восемнадцать, и сегодня он даже при этой непродолжительной встрече сумел рассмотреть ее лицо до каждой мелочи. Оно все такое же овальное, худощавое, потемневшее от солнца. На широком прямом лбу и вокруг глаз заметны россыпи морщин. Они выделялись еще потому, что солнце не сумело добраться до их донышка и кожа там оставалась белой-белой, и казалось, лицо женщины покрыто какой-то тоненькой светлой вуалью. Небольшие выпуклые губы в двух-трех местах потрескались. По всему видно, Илемби много работает, причем зачастую под палящим солнцем и в грязи, или, говоря облагораживающими словами, в неблагоприятных условиях, а за кожей, как любая деревенская женщина вакхалычка, не следит вовсе. И все же в ней есть какая-то красота, которая не бросается в глаза, как у городских дам, сверхискусных в косметике, а проникает незаметно,

но сразу куда-то внутрь, в душу человека. Может, это из-за широких, чуть раскосых глаз, смотрящих пронзительно из-под высоких густых бровей, удивляя сохранившейся родниковой синевой и чистотой? Или из-за выдающихся характерных вакхалыхских скул и ложбинки на полукруглом подбородке, говорящих о мягкости и задушевности характера?

Интересно все-таки получается в жизни. Ведь она, эта красивая не броской, а настоящей красотой женщина с мягким и задушевным характером могла, скажем, стать женой Бориса Викторовича. Помнится, родители даже намеком не возражали против его дружбы с Илемби. Не придавали значения, решив, что это обычное юношеское увлечение? Да нет, как истинные вакхалыхи, они прекрасно знали, что парню с серьезной девушкой просто так проводить время нельзя. И должны были по крайней мере разузнать о намерениях сына. Если же они оказались бы легкомысленными, запретить пятнать девичью честь, как поступили бы в те времена любые родители. Но они молчали. Значит, надеялись на что-то серьезное? И что же тогда в итоге получилось бы? Арыслан по сей день работал бы в правлении колхоза счетоводом-кассиром? Все перебрасывал бы костяшки счетов справа налево и слева направо? Или теперь в колхозе тоже есть электронные счетные машины?

Впрочем, никаких «бы» не произошло, что теперь переливать из пустого в порожнее...

Борис Викторович постарался отогнать нахлынувшие мысли и ускорил шаг. Хватит на сегодня прогулки, хватит воспоминаний, пора приниматься за работу. Вчера день зря прошел, сегодня — полдня. Так весь отпуск можно растранжирить. Плевать на все, плевать! На все, на все! И на давно прошедшее, и на случившееся лишь вчера. Надо только работать! Надо показать этим крикунам, а заодно и своим близким, что способен еще на кое-что Борис Арыслан. Не-ет, он еще не замурован в каменный шар. В свои сорок восемь лет сил и энергии у него пока достаточно, чтобы разбить его стену и не дать раздавить себя.

Борису Викторовичу солью на свежей ране вспомнилась статья критика, опубликованная пару месяцев назад в газете. В той самой, где он когда-то работал сам. Критик, как говорится, в пух и прах разнес его последнюю книгу. Оказывается, автор чернит нашу действительность, выпячивает лишь негативное, нарочито не замечает выдающихся достижений общества на пути... Впрочем, Арыс-

лан вообще-то старался наложить табу на восприятие высказываний критиков. Он еще ни разу не видел, чтобы они объективно оценивали хотя бы одно произведение одного современного вакхалыхского писателя. Оценки зависели только от занимаемой должности автора, его почетных званий и тому подобных «тонкостей». Поэтому Арыслан решил больше вообще не обращать внимания на критику. Но это сказать легко...

Вернувшись в отчий дом, Борис Викторович вытащил из чемодана свои бумаги, в чулане прихватил здоровенный ломоть пшеничного хлеба и утреннего молока в двухлитровой банке и, предупредив мать, чтобы его к обеду не звали, пошел в баню. Баня у Львовых по-белому, просторная и чистая, расположена прямо в саду, под старыми раскидистыми яблонями. Даже в такую жару там было чуть сыровато и прохладно, что просто благодать для работы. И Борис Викторович безвыходно просидел в бане до самого вечера, кончил писать только тогда, когда света, проникающего через единственное небольшое квадратное окошко, не стало хватать. В углу, под потолком, правда, торчала электрическая лампочка, но она включалась только из сеней.

К вечеру отцу стало лучше, он уже встал и вышел из своей комнаты к ужину, потихоньку помогал Пелагее Петровне расставлять посуду на кухонном столе, священнодействуя, разливал из самовара чай. Борису Викторовичу было неудобно, что за ним ухаживают старые родители, он порывался сам что-то сделать, помочь им, но мать тут же строго заметила:

— Сиди!

Действительно, он своей суетой только мешал старикам, нарушая их привычный ритм жизни.

После ужина мать пошла встречать стадо, а отец с сыном вышли в сад — гордость Львова-старшего. Виктор Васильевич завел его еще в начале пятидесятых годов, когда в Хыркасах никто другой не решался иметь столько плодоносящих деревьев. Ведь не только, скажем, за яблоню, даже за каждый кустик смородины приходилось платить немалый по тем временам налог. Тогда сад, конечно, и у Виктора Васильевича был небольшой, а теперь разросся, да и по возрасту далеко не молодой. И все же он оказался хорошо ухоженным. Высохших веток на деревьях и кустах не видно совсем, почва везде обработана до рыхлости, чтобы не топтать ее где попало, между деревьями проложены узенькие тропиночки, посыпанные

песком. Только в углу, вдоль небольшого оврага, изгибом прихватывающего участок Львовых, царило полнейшее запустение. Кусты малины, смородины, крыжовника все перемешались, переплелись, между ними горделиво торчали уже довольно высокие вишни и сливы, сами собой проросшие то ли от корней, то ли из семян, подброшенных птицами. Поймав недоуменный взгляд сына, Виктор Васильевич улыбнулся и тут же объяснил, что там живет соловей, а он любит чащобу, да чтобы ему не мешали, так что туда лучше вовсе не соваться. Сами старики в этом углу даже ягод не собирают.

В центре сада находилась небольшая пятиугольная беседка. Ее построили братья, Владимир и Иосиф. В отличие от Бориса Викторовича они уже имели личные машины и, естественно, приезжали сюда чаще, иногда с семьями, потому и создавали себе кое-какие удобства для отдыха. В беседке действительно приятно сидеть. Пахнет наливающимися яблоками, спелой вишней, малиновым нектаром, прелым навозом. Кроме зелени листьев, разноцветья плодов да угла потемневшей от времени избы, кругом ничего не видно, даже солнце, низом уже зацепившееся за горизонт, еле пробивает сюда свои отдельные лучи... Много ли надо трудиться человеку, чтобы совершить волшебство и оказаться в сказочном царстве? Стоит лишь захотеть!

— Что, сын, тяжело тебе?

Отец, видно, спросил это неспроста. Он смотрел на Бориса Викторовича прищуренными глазами и ждал серьезного ответа.

— С чего ты взял, атте?

В такой обстановке не хотелось говорить о серьезном, тем более сегодняшняя утренняя прогулка, удачная работа, садовая идиллия размягчили душу, наконец-то хотя бы на время сгладили остроту восприятия событий последних месяцев и даже дней.

— Статью про твою книгу читал. Да вот приезд твой внезапный, неподготовленный...

В голову снова полезли факты реальности. Они начали наступать на желания, мечты и все другое абстрактное, чтобы снова захватить побольше места в мозгу, в сердце, в душе. И потихоньку побеждали, причиняя тупую, непонятно где начинающуюся и кончающуюся боль.

— Тяжело, атте...

Обманывать отца не было смысла. Да и невозможно это.

— Я так понял, Борис, что автор той статьи — не только критик, а твой противник. Иначе он не попытался бы превращать очевидное в невероятное. Злой противник, в выражениях не стесняется.

Это точно подмечено. Впрочем, не заметить такое, наверное, просто невозможно, потому что из статьи так и выпирало стремление очернить, низвергнуть автора книги, коим был Борис Арыслан. О цели этой статьи как-то объяснил уже ему всезнающий Солбон Инжеватов.

— Знаешь, атте,— сказал Борис Викторович словами Инжеватова,— это ведь упреждающий удар по мне. Кое-кто увидел, что я могу еще расти. И в творческом плане, и, возможно, даже в служебном. А кое у кого на этот счет свои задумки...

— Может быть... Похоже на то...— быстро согласился Виктор Васильевич. Наверное, он тоже размышлял об этом и пришел к подобному же выводу.— Но я тебе, сын, другое хочу сказать. Из всего на свете, даже из того, что тебе доставляет жесточайшую неприятность, можно и должно извлечь выгоду, вернее, пользу. В том числе и от нападения врагов. Вот мы величайшую войну с фашистами выиграли. А кто учил нас этой победе? Сам враг тоже. Да, да! Только воюя с ним, узнавая его жестокость, коварство, хищнические повадки, мы узнавали точно, как его побеждать. И только в жестоком испытании, которому он нас подвергал, мы сумели доказать свою правоту.

— Что-то не пойму, к чему это сравнение,— пожал плечами Борис Викторович.

— А к тому, сын, что в статье, на мой взгляд, есть совершенно справедливые замечания в твой адрес. Другое дело, как это подано и каким «соусом» приправлено. Я внимательно читаю все, что тебе удается публиковать. Рад, что ты сильно вырос творчески. Но... Понимаешь, вот ты смело критикуешь недостатки, показываешь их. Но ты не смелый. Ты не решаешься дойти до глубин явлений, показать их корни, хотя сам, возможно, и знаешь их. Может, я многого не понимаю, многого не вижу из своих Хыркасов. Но я достаточно прожил. Понимаешь, сын, жизнь она всегда сложна и жестока. Это не зависит от того, справедливый у нас социальный строй или несправедливый, хорошие у нас руководители или не очень. В любом случае жизнь — это борьба. И она не кончается победой справедливости. Потому что после очередной победы справедливости, правды начинается очередное наступление несправедливости, неправды. А читаешь книги твои, и кажется,

что справедливость все равно восторжествует. Нет, в них есть, конечно, и борьба, и сюжеты их интересны, иногда даже захватывают. Но конфликты между героями всегда заканчиваются одинаково. Что из этого следует? А то, что добро всегда побеждает зло... Но вот вопрос: раз так, зачем вообще бороться? Ведь в конце концов все равно все будет хорошо... И критик частично прав, утверждая, что в твоих произведениях нет правды жизни. Хотя что он под этим подразумевает — дело другое... Не обижайся за прямоту, но ты до сих пор действительно писал полуправду. Я твой отец, желаю тебе только добра. Может, поймешь меня, старого преподавателя литературы и кое-чего повидавшего на своем веку шурсухала[22], правильно и хоть чуточку учтешь его мнение. Тогда ты сразу на целую ступень вырастешь и как художник, и как общественный деятель. Ведь советский писатель должен не только писать, но и быть активным общественником. Так я понимаю.

Борис Викторович не ожидал, что отец начнет такой серьезный разговор. Причем язык его, больше похожий на книжный, свидетельствовал, что готовился он к нему тщательно, может быть, давно. И Борис Викторович не сразу нашелся, что сказать в ответ.

— А ты других писателей много читаешь?— спросил он.

— Я же филолог, сын,— укоризненно напомнил Виктор Васильевич.

Да, конечно, по отношению к нему такой вопрос был неуместен.

— Тогда назови мне, пожалуйста, кто из вакхалыхских ли или вообще из советских писателей писал до сих пор о современности правду и только правду?

— Не назову, сын, не назову,— спокойно ответил Виктор Васильевич.— Во-первых, таковых, действительно, не знаю. Во-вторых, правду и только правду никто не напишет. Потому что правда — она, конечно, одна, но многоликая. У меня, например, правда хыркасинская. У тебя — вакхалыхская. Есть еще более крупного масштаба, а есть и совсем мелкая правда. Причем все они полосатые: кому нравится светлый цвет, кому — темный. И отобразить все это в целом никто не в состоянии. Но истинный, талантливый, честный художник должен стремиться к этому, а не подлаживаться под очередные лозунги, под мнение секретаря обкома, известного критика и бог знает под чего и под кого еще.

С улицы доносился шум спускающегося стада. Коровы, овцы, козы одни давали знать хозяевам, что возвращаются

с пастьбы домой, другие подзывали к себе затерявшихся в стаде своих детенышей. Затем уже во дворе послышалось, как мать незлобливо прикрикивает то ли на корову, то ли на овец. Неугомонные воробьи наконец-то успокоились, видно, туго набив за день зобы, устроились в теплых уютных гнездышках на ночь. Со стороны колхозной фермы, расположенной на большом пригорке рядом с новым прудом, раздавался монотонный гул электродвигателей: там шла вечерняя дойка... Подходил к концу еще один день еще одного года. Неизвестно, каким он окажется для Бориса Арыслана. С одной стороны, он сегодня, кажется, удачно поработал. С другой — встретился с Илемби и разбередил душу. С третьей стороны, его раскритиковал родной отец, быть может, самый уважаемый человек на свете...

Борису Викторовичу бросилась в глаза чащоба в нарочно запущенном уголке сада. Там было уже сумрачно. Интересно, живет ли там сейчас соловей? Наверное, уже перебрался в лес. Птенцы-то, должно быть, выросли.

— Атте, ты говоришь, что мы пишем только полуправду,— сказал Борис Викторович отцу.— Как ты думаешь, вот если твоего соловья заставить петь лишь вполголоса, какими бы вышли его трели, а?

— Соловья, сын, невозможно заставить петь вполголоса,— тут же ответил Виктор Васильевич.— Он или поет в полную силу, если даже внизу под кустом сидит кошка, а вверху кружит ястреб, или совсем не поет.— Затем тяжко вздохнул и продолжил.— Я, признаться, раньше о жизни так глубоко не задумывался. Некогда было. Полагал, что наши перекосы, в Хыркасах или, скажем, в районе — это только здесь, на месте. А об остальном мире в основном судил по газетам, радио, телевидению, по книгам вашим. Но вот столкнулся с вопиющей несправедливостью. Я ведь тебе говорил о Василькове. Он мой фронтовой йолташ[23]. Тихий, скромный, честнейший человек. Так вот, его обвиняют в злостном преступлении. В последние годы перед уходом на пенсию он работал выездным фотографом в объединении «Объектив». Якобы путем обмана тем причинил государству огромный ущерб и только за год переполучил зарплаты более чем на полторы тысячи рублей. Знаешь, когда он два года назад пришел ко мне со своей бедой и рассказал обо всем, я даже рассмеялся: такими безосновательными показались его опасения. Даже мне, простому человеку, мало знакомому с законами, видна вся нелепость обвинения в его адрес. Но вот начал я

ему помогать защищаться. Сам он, Иван Прокопьевич то есть, всего-то два класса кончил. И что же? Словно на глухую железобетонную стену натыкаюсь. Причем, чем выше инстанция, тем толще стена... Вот тогда и начал я по-настоящему глубоко задумываться о жизни. Вообще-то, разумеется, как любой нормальный человек, я о ней всегда думал. Тем более, ты знаешь, мне от нее много кое-чего досталось, а это заставляет шевелить мозгами. Но в последнее время почему-то полагал, что все худшее позади. А как же иначе, ведь даже мой сын, журналист и писатель, так писал в газетах и книгах. Его ведь я сам вырастил, воспитал, разве после этого мог ему не верить? А тут и партия сама сказала народу о многом. Но оказалось... Так что не верю я теперь никому и ничему.

Услышать такое от отца, вплоть до последнего времени остававшегося большим оптимистом, несмотря на множество неприятностей и бед, доставшихся ему за долгую жизнь, было по крайней мере странно.

— Почему, атте? Ведь партия не только говорит, но и делами подтверждает свои намерения,— возразил Борис Викторович.

— Эх, сын! Сколько уже было такого на моем веку!— безнадежно махнул рукой Виктор Васильевич.— Что значит партия говорит, партия меры принимает? Нам слово «партия» всегда преподносили как нечто магическое. Будто не земная это организация из обыкновенных людей, а что-то наподобие божественного из архангелов и ангелов, только без крылышек. Так нас воспитали. Так мы тоже вас воспитали. Так вы сейчас других воспитываете. А она ведь не что-то такое сверхъестественное, она из обыкновенных смертных людей состоит. Меня, ладно, в члены партии не приняли. Может, на самом деле не достоин этого — не знаю. Но ты, мой сын, стал коммунистом. Да, ты был честным, надеюсь, таким и остался. Довольно умен, образован, трудолюбив. Думаю, достойно носишь красную книжицу. Но, к примеру, при всех своих достоинствах ты не пробился в высокое начальство, реально владеющее властью. Как теперь понимаю, и не мог пробиться. Туда протолкнулись другие. Как теперь вижу, не такие уж честные, справедливые. Не глупые, это правда, но от других особыми умственными способностями не отличающиеся. Обо всех опять-таки не могу сказать, сужу по тем, с кем сам столкнулся. Есть среди них и честные. Однако они погоды не делают, потому что, как и ты, несмелые, не нахрапистые, могут лишь вполголоса петь. Так кто же

теперь будет добиваться справедливости, правды, если руководители те же остались?

— Так ты, атте, не веришь, что все наладится? Не веришь, хотя вся страна об этом говорит как никогда остро и открыто?— искренне удивился Борис Викторович, на самом деле никак не ожидавший такого от отца.

— Да, не верю,— еще раз махнул слабой рукой Виктор Васильевич.— Потому и не верю, сын, что заговорили как никогда остро и открыто. Раньше я, конечно, тоже не слепой был, и из Хыркасов, если внимательно смотреть, кое-что видно. Но у меня и в мыслях не было, что распад — да, да, распад! общества принял такие масштабы, что микробы, бациллы его проникли в каждую ячейку. Раз так, вряд ли болезнь излечима. Начался сепсис, как говорят медики.

— Почему не излечима, если все сообща возьмемся за врачевание?— настаивал на своем Борис Викторович.

— Сообща? Все? Знаешь, сын, на ниме люди приходят добровольно, с искренним желанием помочь соседу, другу, родичу. А работают все-таки по-разному. Один жилы надрывает, другой — глотку... Да посмотри ты получше, оглянись вокруг: кто это — все мы? Чтобы осилить такую задачу, нужна смелость, самоотверженная смелость миллионов, понимаешь? А тут... Вспомни-ка историю. Чего только не претерпел наш народ. А почему? Если хочешь знать мое мнение, беды нашему народу приносили не отдельные личности, и не кучи личностей, и не бюрократы, карьеристы, взяточники, прихвостни начальства и тому подобное хамье. Беды принесли трусы. Те, кто дрожал за свою шкуру. Видели они, что их товарища зря репрессировали — молчали. Лишь бы его не трогали. Видели, что секретарь райкома барином становится — молчали. Их хата с краю. Видели, что тот же секретарь в обком пролез — опять молчали. Для них, как говорится, обе стороны под уклон. Видели, что такие люди из обкома в Москву перебрались— поздравительные телеграммы посылали. Авось, мол, заметят, запомнят. Сидели на собраниях, сессиях, съездах, чувствовали, что не то постановление принимается — все равно голосовали «за». Лишь бы не выделяться. Ведь до смешного же дошли: на весь мир хвалимся тем, что решения единогласно принимаем, слуг народа единогласно избираем... И ты надеешься, что мы, такие, сумеем сообща подняться на борьбу за правду и справедливость?

Вдруг Виктор Васильевич остановился, закашлялся, затем долго сидел, схватившись за грудь: мучился то ли от

невозможности перевести дух, то ли от сильной боли. Чувствовалось, что ему нельзя ни волноваться, ни даже много говорить.

— Давай, атте, сегодня больше не будем об этом,— предложил Борис Викторович, жалея отца.— К тому же я спорить не собираюсь, во многом согласен с тобой.— И тепло улыбнулся:— А ты, оказывается, далеко видишь из Хыркасов.

Виктор Васильевич наконец отдышался, слабо улыбнулся сыну в ответ.

— Я и сам не хотел. Даже не заметил, как завелся,— виновато объяснил он.— Живешь вот так, думаешь, думаешь в одиночку. С матерью о таком особенно-то не потолкуешь. Вот встретил тебя и... А в сущности чем ты-то виноват? Примерное дитя примерных родителей...

Может, оно и так, но как раз теперь Борис Викторович почувствовал себя виноватым и перед отцом, и перед незнакомым ему Васильковым, и перед многими совсем неизвестными ему людьми. Потому как он хоть и правда не был большим начальником и не делал политику, но, с другой стороны, в течение многих лет работал в газете и делал ее, поддакивая, иногда, прямо скажем, без раздумий, высоким руководителям, пропагандируя любые их мысли и решения как нечто абсолютное. Да и как писатель он далеко не соловей, нет, не скворец даже, тут отец прав... Это чувство вины, пришедшее в самый неподходящий и неожиданный момент, потихоньку начало давить его, постепенно вытесняя из головы другие мысли. Надо было срочно изгнать его из сознания, иначе беда: начатая с большим желанием и уже немного осуществленная работа наверняка полетит к шайтану.

— Атте, а что же случилось с твоим йолташом, с фотографом этим?— спросил Борис Викторович.—Может, я смогу ему чем-то помочь?

— Да не фотограф он теперь, а пенсионер,— недовольно объяснил Виктор Васильевич. Может, ему было неприятно незнание родным сыном его фронтового товарища, может, другое раздражало больного человека.

Недалеко скрипнула калитка и через несколько секунд в сумерках показалась мать. Она всматривалась в тени между деревьями, видно, искала мужа и сына, наконец, увидела их в беседке, сказала, будто приказала:

— Пора домой.

Виктор Васильевич перечить ей не стал, поднялся.

— Коли уж ты сам напросился, мы с тобой об этом

еще поговорим,— сказал сыну.— Я ведь и сам хотел просить у тебя помощи. Оттого и развел философию. Нет, чтобы прямо сказать, дуралей старый...

В его тоне было что-то такое, незнакомое, похожее даже на заискивание, что ли. Странное дело, спорить с сыном, как говорится, о высоких материях, пропесочить его как следует за творческие промахи он может напропалую, а попросить у него простой помощи, похоже, не набирается храбрости. Как же он тогда относится к нему? Как к товарищу? Похоже даже, как к старшему по отношению к себе человеку? Или как к более образованному? Может, как к очень деловому и занятому? А он ведь просто сын ему, в сущности обязан делать все, что отец прикажет. Испокон веков так заведено у вакхалыхов.

...В эту ночь Борис Викторович на сеновал не пошел. Не захотелось. Он облюбовал веранду, лег на старый, скрипящий от каждого движения диван, стоявший там с назапамятных времен. Опять долго не мог заснуть, ворочался, ворочался. Вначале на миг появилась перед глазами Тертту Ульясовна, страстно обнимающаяся с директором театра. Но остроты восприятия этой сцены не было, сердце даже не кольнуло. «Может, оно и к лучшему,— подумал только Борис Викторович.— По крайней мере, в наших отношениях после этого все должно быть ясно». Затем откуда-то вдруг появилась Илемби. Она уже не была в рабочем халате и глубоких галошах на босые ноги, к тому же почему-то оказалась сказочно молодой.

Она была в характерном для низовых вакхалыхов двухоборочном — верхняя короткая, нижняя почти в два раза длиннее — платье из ярко-зеленого сатина, в белоснежном сапуне с вышитыми узорами, в таком же белом с цветочками платке, повязанном по-вакхалыхски — со складками на скулах, из-за чего верхняя часть платка треугольным козырьком опускалась вниз и прикрывала лоб. На ногах черные, на низких каблуках, туфли со шнурками, больше похожие на мужские полуботинки. На лице выделяются только глаза, округлившиеся от удивления, от растерянности, просящие, умоляющие что-то объяснить, разъяснить... Где же состоялась эта встреча? Кажется, лет двадцать восемь назад, когда Борис с Тертту выходили из тогда единственного в деревне сельмага. Они, оживленно обсуждая, покупать ли для клуба поступивший в магазин аккордеон или съездить в сельпо за баяном, спускались по деревянным ступенькам, а Илемби как раз поднималась навстречу... Нет, кажется, не тогда это было.

а в сенцах клуба, называвшихся почему-то непривычным словом тамбур. В клубе в тот вечер молодежь разучивала переходную польку. Показывали Тертту с Борисом. Само собой, им пришлось больше всех попотеть. И когда наконец многие пары стали танцевать под музыку самостоятельно, оба они, запыхавшиеся, вспотевшие, возбужденные, выбежали на улицу освежиться, передохнуть. А навстречу по ступенькам как раз поднималась Илемби...

Впрочем, черт знает где произошла эта приснившаяся в полудреме встреча. Столько лет прошло, разве все упомнишь. Да и была ли она, такая встреча? Но глаза эти, округлившиеся от удивления, от растерянности, просящие, умоляющие что-то объяснить, разъяснить, запомнились на всю жизнь. И, что страшно, они ведь не в первый раз возникают, хотя появляться начали почему-то лишь лет пять - семь назад, может, чуть раньше или позже. Возникали изредка. Однако, похоже, с сегодняшнего дня они зачастят к нему. Это Борис Викторович чувствовал интуитивно, значит, наверняка.

Тогда, в семнадцать лет, когда привелось повстречаться с удивительной цыганской девушкой Азой, Борис не смог поступить в университет. Теперь он сам не понимает, почему ему хотелось учиться именно на отделении русского языка и литературы. Наверное, виноваты были не только Пушкин с Лермонтовым, Есенин с Шолоховым, а и собственный отец, учивший сына в школе русскому языку и литературе. Учивший так, что даже будущие технари или — того удивительнее — самые отъявленные озорники сидели на его уроках тихо, раскрыв рты от удивления, восхищения, сопереживания и еще от каких-то редко испытываемых чувств. Как бы то ни было, Борис подал заявление на филологический факультет университета, что находился в N-ской области.

Сочинение он написал на «отлично». Абитуриенты со стажем говорили, что на филфаке это первейшее дело, что дальше все пойдет как по маслу. Для Бориса же самым трудным оказался устный экзамен по литературе и языку. Нет, на вопросы он отвечал толково, хорошо. Но произношение... Оно никуда не годилось. К тому же от волнения Борис смягчал русские звонкие звуки еще сильнее, чем при обычном разговоре.

— Молодой человек, вы кто по национальности? —прервав его ответ, участливо спросил седой экзаменатор. Когда же узнал, посоветовал с искренним сочувствием:— По-

чему бы вам не поступить на отделение вакхалыхского языка и литературы у себя, в Башколе? Или на такое же отделение, как и наше, но опять-таки у себя, где готовят кадры для вакхалыхских школ. Понимаете, знания у вас хорошие, основательные. Но произношение... Его очень трудно переделать. А вы после нашего вуза должны будете работать в русских школах, среди русского населения. Представляете ситуацию?

Ситуацию Борис представил. Честно говоря, раньше он об этом просто не думал. Но ему хотелось именно в университет, потому что почти все великие люди выходили оттуда. А в Башколе тогда университет еще не открыли, был только пединститут, и то недавно преобразованный из учительского института...

Одним словом, Борису пришлось вернуться домой, разделив участь провалившихся на экзаменах. Отец долго успокаивал его, говорил, что и произношение можно выправить, если захотеть, а вообще, в стране много всяких вузов с сотнями разных специальностей... Так-то оно так, но горечь от своего провала у Бориса сохранилась надолго.

Вскоре его, как сильно образованного, приняли на работу в правление колхоза счетоводом-кассиром. Если учесть, что старшим бухгалтером был человек с семилеткой, к тому же ему далеко за шестьдесят, перспективы у Бориса высматривались неплохие. И все же настроение продолжало оставаться паршивым. Казалось, в душе все над ним подтрунивают. Как же, три года в жару и в холод, в дождь и в метель ежедневно ходил в райцентр, в среднюю школу, учился отлично — и все зря... Его сверстники в это время в поте лица трудились в колхозе. А Борис, выходит, просто отлынивал от работы. В вуз как следует подготовиться умишка не хватило, хоть и сын учителя местной семилетки. Не объяснишь же всем, почему ему дали «отлуп» в университете. Иногда, когда особенно сильно захватывала черная тоска, даже думалось: эх, почему это цыгане перестали останавливаться у Хыркасов табором? Если бы вдруг появились сейчас, укатил бы Борис с ними, нашел бы Азу... Девушку эту он вспоминал частенько. Сильно затронула она в его душе какую-то чувствительную струну.

Борис в первые месяцы после позорного возвращения с экзаменов среди молодежи старался не показываться: в клуб не ходил, в улах[24] тоже забыл дорожку. А тут конец года подошел, бухгалтерия начала составлять годовой отчет, так что все трое — старбух, бухгалтер и счетовод-

кассир недель пять ежедневно сидели в правлении с утра до первых петухов.

Уже где-то весной, после сабантуя[25], в правление однажды пришла Илемби с подругой. Они попросили Бориса подсчитать, по сколько трудодней у них набралось с начала года, заодно проверили, все ли выходы на работу бригадир записывал. Пользы-то от этих трудодней тогда было с гулькин нос — одни палочки в ведомостях, по итогам года на каждую такую «палочку» давали всего-то по двести-триста граммов зерна, так что самые трудяги и те более двух-трех мешков в год не получали. Гарантийно, по три килограмма, колхоз платил лишь механизаторам да правленцам, к которым как счетовод-кассир относился и Борис. И все же колхозники счет трудодням вели строго, так как иные, выполнив обязательный минимум, который в разные годы колебался от ста пятидесяти до ста восьмидесяти, норовили податься на сторону, на заработки. Удавалось это немногим, поскольку для этого требовалась еще справка от сельсовета. Ведь сельский житель не имел тогда паспорта. Но едущим на особо тяжелые работы такие справки выдавались... Илемби с подругой тоже хотели уехать на торфоразработки, поэтому прикидывали, успеют выполнить минимум до вербовки или нет.

— Эх, хорошая девка растет у Беловой. Трудяга, даром что без отца!— сказал старший бухгалтер, когда девушки ушли.

— Чего растет-то, выросла уже, спелое яблочко,— поддакнул бухгалтер.— Ей бы замуж побыстрее. Не то поездит по торфоразработкам, спортят девку.— Тут же заговорщицки подмигнул Борису:— А, Львов, как думаешь, поспело яблочко аль пусть еще повисит на яблоне-то, дозревает? Только мотри, не проморгай, сорвут чужие-то, не станут дожидаться...

Борис же ничего не думал, просто сидел ошарашенный. Это про Илемби, что ли, такие слова говорят? Про девчонку, которая даже моложе него, которая живет-то недалеко от Львовых, через каких-нибудь семь дворов.

Он еще раз вспомнил, как вошли подруги в правление, одновременно кашлянули от смущения, затем, будто решившись на что-то значительное, быстро подошли к Борису, скороговоркой, запинаясь, попросили все подсчитать, проверить... А чего подсчитывать-то? Зимой в колхозе работы кот наплакал, и та по крестьянским меркам не трудная. Навоз на поля вывозили, птичий помет, золу по дворам собирали, дороги после метелей отрывали, солому с

полей к фермам подвозили. За них в ведомости больше одной палочки в день не появится. Правда, весной приходилось погорбатиться: семена протравливать, полугнилой картофель в подвалах перебирать, затем сажать. Все равно у девчат пока накопилось не более пятидесяти-шестидесяти трудодней. Составители примерных расценок тоже были не дураки. Основное количество трудодней можно было набрать лишь в горячую летнюю и осеннюю пору: на сенокосе, на жатве и обмолоте хлебов, на копке картофеля и уборке свеклы... Так что не видать было девчатам торфоразработок как своих ушей. Вначале Борис в душе посочувствовал им, а после однозначных намеков бухгалтеров даже обрадовался, что так вышло.

Дня через три, вечерком, увидев в окно, как подруги, держась под ручки, шли по улице вниз, наверняка в клуб или на выо, Борис не удержался, одел редкий в ту пору в деревне шевиотовый костюм и, сам еще толком не осознавая зачем, потопал вслед за ними. А домой он возвращался уже вместе с Илемби и ее подругой. По пути же... А дальше как-то получилось так, что Борис не остался у своего дома, а пошел с девушками дальше. Подруга Илемби, дойдя до своего двора, многозначительно хихикнула и нырнула в калитку. Илемби с Борисом оказались одни на всей улице, а может, во всем мире...

И кто знает, чем бы все это кончилось со временем, если бы в Хыркасы не прислали новую заведующую клубом, Тертту Ульясовну, выпускницу библиотечных курсов...

Сонно попытался прокукарекать петух, но с первого раза у него не получилось, и он взялся за это важное дело еще раз, собрав все силы. Его мощный хриплый «баритон» раздался так громко, будто усиливался через мегафон. Видно, крыша навеса хорошо резонировала. Тут же торопливо откликнулся соседский петух, словно устыдившись, что проспал такой нужный, обязательно положенный пропеть момент. И пошло, и поехало по всей деревне. Да что же это такое! Опять уже полночь, а Борис Викторович все еще не спит. Нет, так нельзя, нельзя так. Спать, спать! И никаких воспоминаний! Прошлое не должно перетягивать сегодняшнее, тем более будущее.

...На следующий день Борис Викторович снова с утра закрылся в бане и просидел там до обеда лентяя, как вакхалыхи называют полдник. Затем быстренько похлебал густой айран[26] с накрошенным зеленым луком и, поблагодарив мать за обед, вышел прогуляться. Ноги почему-то

сами собой понесли его по знакомому маршруту, не желали заворачивать на другие улицы, хотя, кажется, вчера решено было пройтись именно по ним. Вскоре Арыслан дошел до запомнившегося уже перекрестка, остановился. Сердце почему-то застучало сильнее. Что поделаешь, сорок семь это все-таки возраст... Чуть передохнув и успокоившись, Борис Викторович решительно завернул за угол.

На улице никого не было. Там, где Илемби еще вчера подметала опилки и стружки, стало чисто, как на току. Борис Викторович почему-то воровато оглянулся по сторонам и кошачьей поступью пошел вдоль палисадника. Так он прошел двор, дом и вдруг остановился, как вкопанный. За домом показалась часть огорода. Там, среди местами уже начинающих желтеть картофельных рядков, возилась женщина в синем рабочем халате. Борис Викторович всем телом повернулся в ее сторону, вцепился руками в решетки и так стоял, пока Илемби, почувствовав его взгляд, не подняла голову и не посмотрела на него пристально. Она, с ведром в руке, приподнялась, постояла с минуту в нерешительности, затем медленно подошла к Арыслану.

— Салам, Борис... Викторыч,— произнесла тихо низковатым голосом.— Что случилось?

— Да ничего...— растерялся от такого вопроса Борис Викторович.— С чего ты взяла?

— Вид у тебя какой-то...

Больше она не знала, что говорить. Он — тоже.

— Может, зайдешь?— предложила затем Илемби, по тону же можно было понять: «Может, уйдешь?»— Только не через полчаса идти на работу. Так что, кроме чая, ничем не успею угостить.

Уйти так просто, не поговорив хотя бы чуточку, Борису Викторовичу не хотелось, но и торчать так на виду у прохожих тоже вроде бы неприлично. Не пацан же.

— Если можно, я только на минутку зайду. Посмотрю, так сказать, как живут современные колхозники,— попытался он пошутить.

Дом был небольшой, но пятистенный. Снаружи выглядел даже несколько мрачновато. Бревна давно почернели от времени, некоторые, видно, уже погнили: правый угол немного осел. Но внутри было светло, все блестело чистотой. Занавески, скатерти, покрывала все были самодельные, с вышивками. Узоры вышивок Борису Викторовичу показались знакомыми. Ну да, видел он их когда-то. На супруге Илемби... Мебель старая, простая. В прихожей были

одни стулья да обеденный стол у окна. В передней, кроме полутораместной металлической койки, стояли шифоньер и комод. Еще в углу блестел своим прямоугольным глазом черно-белый телевизор «Рекорд». Судя по обстановке, в доме детей не было.

— Давно здесь живешь?— спросил Борис Викторович у возящейся в небольшой кухонке, перед газовой плитой, Илемби.

Та, хотя и не обещала ничего кроме чая, быстро поставила варить в кастрюльке только что выкопанный картофель.

— С прошлого года,— нехотя сообщила Илемби. Она, видно, все еще не освоилась в создавшейся ситуации, голос ее был глухой, движения резкие, несколько суматошные.

Значит, замужем она. Но почему с прошлого года? До этого за другим, что ли, была? Или совсем не выходила? Однако настойчиво допытываться о таком, конечно же, неудобно.

— А дети у тебя есть?— все же спросил Арыслан.

— Какие дети, Борис? Мне же сорок шесть, а замужем, сказала же, год всего...— грустно усмехнулась Илемби.

Час от часу не легче. Значит, до прошлого года она замужем не была. Не сватались, что ли, к ней? Не может быть, в молодости она такая пиге была. Да и сейчас, если бы побывала у парикмахера и косметолога, она дала бы сто очков вперед городским майрам-сверстницам. Тогда что же, выходит, она сама женихов браковала? Впрочем, какое ему дело...

— А муж твой где?

Илемби уже несла небольшую дымящуюся кастрюлю, поставила ее на стол, подставив кухонную доску. Быстро все-таки варится молодой картофель. Двадцать минут — и готово. Значит, Арыслану можно посидеть еще минут десять.

— А муж мой в больнице лежит. В Айдарове. Приступ случился у него. Приступ сердца... Да ты, Борис, не пытай меня вопросами, а ешь картофель, ежели не брезгуешь нашей крестьянской едой. Вот турых[27] тебе налью. А вот огурчики малосольные...— быстро и сноровисто ставя на стол полные бокалы и тарелки, ответила Илемби на вопрос гостя.

В какой-то момент она где-то успела-таки снять халат и теперь, в простом вакхалыхском платье, казалась помолодевшей.

Борис Викторович от еды отказываться не стал. Что может быть лучше, вкуснее молодого картофеля с малосольными огурчиками да с тянущимся от густоты турыхом! Он уж и не помнит, когда в последний раз ел такую вкуснотищу.

Вообще в этой небольшой избе Арыслана так и обволакивал уют, убаюкивал, успокаивал. Чистота, порядок, горячая немудреная еда на столе. И тишина... Боже мой, как мало надо писателю! Если подумать, немного же это, совсем немного. А вот нет дома, в Башколе, у Бориса Викторовича и этого. Кое-какая мебель, посуда — это теперь и у него имеется, а вот уюта, вовремя поданной горячей еды на столе, так нужной для работы тишины как не было, так и нет.

От Илемби не хотелось уходить. Но она уже убрала со стола посуду, встала у двери и выжидательно смотрела на гостя. Борис Викторович медленно встал, вздохнул и, поблагодарив за хлеб-соль, вышел из избы. Илемби молча проводила его до калитки.

— Приходи в гости, когда муж возвернется,— сказала она на прощанье. Сказала, кажется, без всяких задних мыслей.

Борис Викторович хотел спросить, кто же ее муж, ведь наверняка он его сверстник, стало быть, должны друг друга знать, но калитка уже закрылась и слышно было, как ее заперли на металлический засов. Потом, уже перейдя на Аслы урам, Борис Викторович подумал: а куда Илемби должна сейчас идти на работу? День клонится к концу. Может, доярка она? Тогда у нее еще оставалось свободное время. Летом вечерняя дойка начинается поздно... Теперь он корил себя за то, что так быстро ушел. Ведь не пошла же Илемби никуда, дома осталась... «А вот у двери стояла, выжидала, когда я уйду»,— обожгла тут же мысль. Она была неприятна, словно после пощечины по лицу. Борис Викторович даже почувствовал, как загорелись щеки.

Стоп! Обиду или другие трудно управляемые чувства сейчас надо отбросить. Лучше следует спокойно разобраться в происшедшем до конца. Потом решить, стоит краснеть за это или просто махнуть рукой и забыть.

Итак, зачем он оказался у дома Илемби? Хотя, помнится, осознанно и не ставил такую цель. Но со вчерашнего дня было желание сказать ей что-то такое... Неизвестно что, но такое, чтобы стало как-то легче на душе. Еще хотел услышать от нее нечто такое... Неизвестно что, но

такое, чтобы опять же стало легче на душе. Ни то, ни другое не получилось. Вместо облегчения навалилась какая-то тяжесть, чувство вины непонятно за что.

Больше всего Бориса Викторовича угнетало именно такое неясное чувство вины за что-то перед кем-то и перед самим собой, неудовлетворенности неизвестно чем. Оно в последнее время возникало все чаще и чаще, иногда доводило просто до отчаяния. В такие моменты хотелось хоть раз в жизни дать волю душе, пошире раскрыть рубаху на груди, вдохнуть глубоко и начать крушить все, что под руку попадется: заставленность и тесноту в квартире; полки с одними рыбными консервами в магазине; автобус, которого никак не дождешься в самое нужное время; столовую, где торчишь в очереди целый час, чтобы получить кое-какую похлебку; тесный зал Союза писателей, где заседают, заседают, заседают; зятя Владика с его маговой аппаратурой, изрыгающей металлические скрипы и жужжание жуков-великанов... Да мало ли что еще хотелось крушить в сумасбродные минуты. А кончались такие приступы обычно тем, что Борис Викторович надолго замыкался в себе, становился молчаливым, угрюмым и злым бог знает на что, оставляя все это в душе. Но сколько можно там копить желчи, кислоты, огня? Сколько она может выдержать, душа?

Мысли прервал скрип тормозов автомобиля. Борис Викторович, не оборачиваясь, быстренько сошел на обочину, если можно так назвать края грунтовой дороги с глубокой колеей, остановился, пропуская машину. Но уазик тоже остановился, из него вышел сияющий в улыбке председатель колхоза, однокашник Арыслана по средней школе Керим Ишмулович Шакуров.

— Ты поезжай к правлению,— приказал он молоденькому шоферу, — я пешком доберусь. — Затем раскинул руки и заторопился к Борису Викторовичу, приговаривая:— О-о, сколько лет, сколько зим! Салам, дорогой, салам!

Они обнялись, по-мужски крепко похлопали друг друга по спине, словно проверяя на прочность. Проверкой остались довольны.

— Говорят, ты давно приехал. А что не заглядываешь ко мне? — полушутя-полусерьезно упрекнул Шакуров, глядя на Арыслана снизу вверх. Он ростом на полголовы ниже него, правда, заметно превосходит по ширине и плотности. Этакий дубовый кругляш.— Или люди республиканского масштаба не хотят снизойти до местного начальства?

— Да нет, Керим, что ты. Я ведь только к родителям приехал. Хотел немножечко поработать дома, в смысле над рукописью посидеть,— виновато объяснил Арыслан. Ему, только что размышлявшему о другом, трудно было вот так резко перейти на шутливую волну.

— Опять, поди, новый роман строчишь? Молодец ты, гляжу я на тебя, продуктивно трудишься. Прославил наши Хыркасы,— все в таком же духе продолжил Шакуров. Вообще, как давно заметил Арыслан, деловые люди почему-то обычно ведут разговоры на шутливой волне. То ли добиваются расположения к себе, то ли таким путем маскируют неприятные оттенки иных своих просьб.

— Сам-то ты как?— повернул разговор в серьезное русло Борис Викторович.— Небось, блаженствуешь теперь? Наконец-то колхозам дали свободу, хозяйствуй, как хочешь. Ты, помнится, так желал этого. А башка у тебя варит, я знаю.

Шакуров почему-то помрачнел, неопределенно махнул рукой:

— А-а, с нашим рапо похозяйствуешь... Слушай, Борис,— тут же ухватился за какую-то мысль. Как всякий настоящий деловой человек, он всегда и везде думал о деле, о выгоде от встреч, от бесед с любыми людьми.— Ты ведь можешь мне здорово помочь!

— Я — тебе? Я же не работник госагропрома,— теперь уже Борис Викторович, немного отошедший от своих тягостных мыслей, попытался пошутить. Плохое настроение потихоньку рассасывалось.— Трактор тебе не выделю, кредита не дам.

— Тракторов у меня, честно сказать, полно лишних. Лучше бы их иметь поменьше да по две смены использовать. Кредита тоже не надо, неиспользуемых денег на счету более миллиона. Ты мне, Борис, помоги обещанную сверху свободу, хозяйственную самостоятельность заполучить.

— Какую еще свободу? Какую хозяйственную самостоятельность?— удивился Борис Викторович.— Вам теперь права даны — дальше некуда. Как только использовать умеете. Я ведь газеты тоже читаю...

Они неторопко поднимались по улице, подошли к строительной площадке, где ставили сразу четыре щитовых дома. Чувствовалось, работа здесь началась давно, уже обшивочные доски от времени успели посереть, а на домах поднята еще только стропила, на четвертом же и тех нет. Тем не менее на всей площадке копошились всего три че-

ловека. Арыслан думал, что Шакуров сейчас подойдет к строителям, задаст им перцу за медлительность, но тот даже бровью не повел в их сторону.

— Это что, для колхозников столько строите?— кивнул головой в сторону домов Арыслан.

— Да-а...— махнул рукой Шакуров,— глаза бы не видели...

— Как это?— не понял Арыслан.

— Как... Навязали нам эти дома. Бывший «Межколхозстрой» их ставит. Знаешь, во сколько обходится каждый домишко? В тридцать пять тысяч рубликов! Мы силами колхоза его поставили бы за десять тысяч, при этом за полгода все сдали бы под ключ. Но не разрешают нам. Нельзя, говорят, для этого есть строительные организации. У них механизмы, квалифицированные кадры... Одним словом, как высасывали из нас, колхозов, втридорога средства за строительство, удобрения, ремонт техники и тэдэ, и тэпэ, так и продолжают высасывать. А ты толкуешь — свободу дали, права...

Оказывается, и Шакуров не всегда говорит на шутливой волне. И у него белые коротковолосые брови умеют хмуриться, а синие — есенинские, говорили в молодости — глаза могут излучать не только веселые искорки.

Видимо, сам того не понимая, Арыслан наступил на самое больное место Шакурова. И тот уже вполне серьезным, даже несколько жестковатым тоном, будто во всем этом был виноват и Борис Викторович, продолжил разговор:

— Это вы, пишущая братия, дали нам свободу и самостоятельность. На бумаге. Это у вас в газетах и телепередачах все прекрасно идет. А на деле... Ты что, не знаешь нашего предрапо Ишуткина? Вот говорю ему: «Никанор Филиппович, я со следующего года площади под сахарную свеклу уменьшу в два раза, под картофель — на одну треть. А продукции дам больше. Согласен?» А он мне: «Будешь сеять и сажать столько, сколько положено». Если бы он один такой был. Так ведь Ишуткин не от себя это говорит. С него в республиканском агропроме так требуют... Какая же может быть самостоятельность, если делами аллаха заправляет старый шайтан?

— Погоди, погоди, Керим. Я вот не специалист, не все сразу доходит до меня. Ты мне толком объясни, почему хочешь делать так, а не этак?— прервал его Борис Викторович.

Как бы там ни было, он любил при редких встречах

слушать этого горячего человека, душой болеющего за свое дело.

Председателем Керим стал, помнится, лет десять назад совершенно случайно. Тогда за каких-нибудь три-четыре года на этом посту поменяли целую обойму варягов, как называли колхозники присланных из района руководителей. И когда у райкома и райисполкома иссяк список номенклатурных кандидатур, скрепя сердце предложили должность председателя Шакурову, беспартийному, со среднеспециальным образованием, ранее работавшему зоотехником в этом же хозяйстве, женатому, имеющему четверых детей. И вдруг, вопреки самым мрачным предчувствиям райкомовцев, в Хыркасах начались невероятные перемены. Хотя в укладе жизни вроде бы ничего не изменилось. Но через пару лет оказалось, что хозяйство каким-то образом завершило год без убытков. Потом рассчиталось с долгами. Дальше — больше. И вот теперь даже в газетах о колхозе пишут только в уважительном тоне... Произошли изменения за эти десять лет и в анкетных данных самого председателя. Теперь он член КПСС, имеет высшее образование, орденоносец; жена, медсестра,— мать-героиня... Так что Шакурова сейчас уже из Хыркасов трактором не выкорчуешь, настолько глубокие у него здесь корни. Вот и болеет он за свое дело, за судьбу своего яла всей душой, всем сердцем.

Впрочем, Керим Ишмулович и не будучи начальством наверняка не вздумал бы уезжать куда-либо. Дело в том, что род Шакуровых — из некрещеных вакхалыхов. Уж как они сумели сохранить свою языческую веру со времен Ивана Грозного, во что обошлось им такое упорство — теперь мало кому известно. Однако они, некрещеные вакхалыхи, все еще нет-нет да и встречаются, иногда целыми улицами или даже деревнями. Что сохранили эти люди от своей веры и сохранили ли саму веру — трудно сказать... Но одно у таких вакхалыхов с тех далеких времен осталось определенно: они очень любят природу, землю, крестьянский труд, и эту любовь умеют передавать своим потомкам... А способности некрещеных вакхалыхов всем известны. Нужда, гонения властей научили их жить так, чтобы, как говорится, и в воде не тонуть, и в огне не гореть. И это пока остается в крови. Хотя, прямо говоря, нынешние потомки некрещеных вакхалыхов далеко не те, что прежним...

— Дело, Борис, проще пареной репы,— широко размахивая руками, поделился своими задумками Шакуров.—

Я в два с лишним раза увеличиваю урожайность свеклы и картофеля, тем самым освобождаю половину площади из-под них. Это составит сто двадцать гектаров. На них я буду растить корм для скота. В результате дам государству больше и картофеля, и свеклы, и молока, и мяса. Чего же тут непонятного?

Как большинство хозяйственных руководителей, Шакуров не признавал слов «мы», «коллектив». Хотя это вовсе не означает, что он ни во что не ставит рядовых колхозников. Просто так легче изъясняться.

— А ты на всей площади увеличь урожайность. Кто тебе мешает? Разве картофель и свекла не могут быть кормом для скота?— заметил Борис Викторович.

— Могут. И если бы можно было так сделать, было бы совсем прекрасно. Но рад бы в рай, да грехи не пускают. Картофель и свеклу, сам знаешь, мы выращиваем почти что дедовским способом. Потому они требуют много ручной работы. А у меня людей не хватает. Как-никак, райцентр рядом. Многие живут в Хыркасах, а работают там. Правда, в последние годы у нас заработки выросли, потому некоторые не прочь бы вернуться в колхоз. Да где я им найду постоянную работу? Ведь лишние руки мне нужны только летом и осенью... Так что беда с этими корнеплодами. А трава она что, посеял — вырастит, косить ее — тоже не свеклу выдергивать. Подкормили бы удобрениями, полив бы организовали. Знаешь, если считать по кормовым единицам, ее тоже можно получить с гектара в два раза больше, чем зерна.

Разговор этот, в сущности, о весьма далеких от его интересов делах начал все больше и больше захватывать Арыслана.

— А разве можно так: раз — и в два раза увеличить урожайность свеклы, картофеля?— засомневался Борис Викторович. Хотелось, конечно, и товарищу верить, да замах показался слишком размашистым.— А если не получится?

— Можно, в этом не сомневайся. Да мы же получали когда-то по пятьсот центнеров свеклы, по триста — картофеля,— еще пуще разгорячившись, доказывал Шакуров.— Видя такое дело, стали нам прибавлять плановые площади. Думали светлые головы, что так резко возрастет производство. Но чем больше площадей, тем ниже урожайность. Потому что по-настоящему ухаживать за растениями рук не хватает. Вовремя не прореживаем, не окучиваем, не пропалываем... А будет площадей меньше, как

раньше,— все успеем сделать, и от земли возьмем все, что она способна дать.

Горячность и уверенность однокашника постепенно переходили и к Борису Викторовичу. Такие люди, как Шакуров, наверное, способны заряжать своими идеями любого человека, а своей энергией — даже аккумулятор.

— А чем же в этом деле я могу тебе помочь?— все-таки до конца еще не понял замысел председателя Борис Викторович.— В начальствах не состою, близких друзей среди сильных мира сего не имею.

— Ты статью напиши,— начал уговаривать Шакуров.— Знаешь, такую, чтобы правдой в глаза била. Я тебе о нашей так называемой самостоятельности, которую снова пожирает упырь[28], миллион фактов подберу, выбирай только. Вон прошли новостройку века,— махнул рукой назад, в сторону щитовых домов.— Я ведь когда рассказывал тебе о них, цифры не с потолка брал. Как-то, понимаешь, сумел закупить для молодых специалистов два таких дома через райпо, по розничным то есть ценам, поставил их силами колхоза, так они в два с половиной раза дешевле обошлись. И что же? Схлопотал выговор. Оказывается, так нельзя. Колхозные деньги выбрасывать на ветер — пожалуйста, можно... Э-э, да что там!.. Нет, не скажу, что в нашем деле все плохо. Дышать стало чуточку легче, то верно. Но... Одним словом, напиши статью, а? Христом богом прошу. Если после твоего выступления я заимею не сто двадцать, а хотя бы пятьдесят освободившихся гектаров, я тебе... Да я специально для тебя установлю колхозную премию за лучшее литературное произведение года. Не меньше государственной, в смысле финансов, может, и весомее будет, учти. Есть же такие премии в некоторых хозяйствах.

— Ну ты скажешь,— засмущался от такого намека Арыслан.— А насчет статьи... Не понимаю, почему ты ее сам не напишешь?

— Неужели непонятно?— даже остановился Шакуров.— Во дает. Я же в русском, как говорится, ни бельмеса. Деловые бумаги составлять — еще туда-сюда, а чтобы статью написать...

— При чем здесь русский?— не понял его Арыслан.

— Статью-то, я думаю, лучше все-таки напечатать в «Советской Вакхалыхии». Она же на русском издается. Если написать на вакхалыхском, из обкомовских да совминовских вряд ли кто обратит на нее внимание,— почему-то убежденно сказал Шакуров.

— Я так не думаю,— не согласился с ним Арыслан.— По-моему, они и вакхалыхскую газету читают.

— Может быть,— не стал с ним спорить Шакуров.— Это тебе виднее. Да и не в языке, конечно, главное дело-то. Понимаешь, ну напишу я. Но я —это я, обыкновенный аграрник. Причем лицо заинтересованное. А слово писателя — это ого-го! Какие «проекты века» перестали существовать в стране после выступления вашего брата. Сибирские реки перестали на юг заворачивать... И еще, не скрою, мне ведь тут жить. С тем же Филиппычем, то есть Ишуткиным, с тем же председателем райисполкома, с тем же секретарем райкома. А ты далеко, тебя не достанешь, а и достанешь — с тебя взятки гладки... Да чего тебе объяснять, ты же не пацан. Ну как, согласен помочь родному колхозу?

Вообще-то, наверное, Шакуров прав, и ему следует помочь. Но слишком уж резко, с ходу он напирает. Такая открытая настойчивость почему-то заставляет сомневаться в верном, казалось бы, деле. Тут надо хорошенько все обдумать, все взвесить.

— Я подумаю,— неопределенно ответил Борис Викторович.

Это он, между прочим, сказал не только по причине каких-то сомнений. Просто привычка еще у него такая, особо не торопиться.

— Думай. Только не долго,— не очень охотно согласился Керим Ишмулович.— Мне скоро план севооборота на следующий год составлять. До этого надо добиться изменений... В общем, приходи в правление. Со специалистами поговоришь, годовые отчеты последних лет проанализируешь, посидишь на заседании, послушаешь...

На том разошлись.

Оказывается, проговорили они достаточно долго. Солнце клонилось уже к закату, и тень от Арыслана вытягивалась вплоть до домов на противоположной стороне улицы. Сквозь тонкую белую сорочку с короткими рукавами пробиралась к телу пока лишь чуть заметная вечерняя сырость. Значит, быть сегодня росе. Впрочем, зачем все это Арыслану? Ему сейчас надо быстрее идти домой, чтобы стариков зря не волновать, да сесть за свою работу... И он ускорил шаг.

Поскольку источника энергии, то есть Шакурова рядом уже не было, аккумулированная в Борисе Викторовиче горячность однокашника постепенно начала разряжаться. Он уже размышлял более спокойно и трезво. Да, правиль-

но сказал Шакуров, председателя рапо Ишуткина Никанора Филипповича Арыслан знал хорошо. Года три или четыре назад, когда работал в республиканской газете, даже очерк о нем написал. Редактор говорил, неплохой получился, передовой опыт ясно показан. Хотя, конечно, если в очерке бросается в глаза прежде всего передовой опыт, то понимающему толк в жанре автору за это должно быть просто неудобно. Однако у редактора были свои требования и приходилось к ним приноравливаться, писать так, как «нужно газете». Но это между прочим. Главное же заключается в том, что Ишуткин, тогда начальник управления сельского хозяйства Айдаровского района, слыл одним из новаторов среди работников сельского хозяйства республики. Он энергично начал внедрять хозрасчет и прочие передовые методы и, судя по отчетам, район тогда в этом деле преуспевал. Да и сейчас он считается в числе передовых. И вот Борис Викторович теперь, спустя три с небольшим года, должен раздраконить своего положительного героя? Товарищи по перу засмеют его после этого. Среди пишущей братии анекдоты пойдут... Впрочем, не в этом только дело, продолжал думать Арыслан. Если Ишуткин несмотря на множество опубликованных постановлений и речей высокопоставленных лиц все же поступает так, а не иначе, он, конечно же, неспроста это делает. Вполне вероятно, что причину надо искать в инстанциях повыше, о чем и намекал Шакуров. И вообще, колхоз обещает удвоить урожайность картофеля и свеклы. Разве председатель рапо может иметь что-нибудь против этого? Конечно, нет. И если он тем не менее все-таки возражает против сокращения площадей под эти культуры, значит, есть-таки у него основания. Это Арыслана смог Шакуров убедить в своей правоте за каких-то полчаса. А Ишуткин — специалист, он в своем деле собаку съел... А Керим хорош, хоро-ош, шайтаненок. Каков хитрец, а? «Мне ведь жить тут». Арыслан, стало быть, далеко, его не достать, а достанут — с него взятки гладки. Как бы не так. Писатель тоже зависит от тех же инстанций, что и предколхоза. Все же под одним небом ходим. А если еще по незнанию ляпнешь такое, что куры будут смеяться? Выступить в печати это ведь не на колхозном собрании речь толкать. Раз опозоришься, потом по гроб жизни не отмоешься.

«Ждет тебя, красавец, долгий жизненный путь с вечной борьбой. Почет и слава, достаток и богатство будут на этом пути. Но будут также бедность и лишения, муки совести и отречение друзей. Ты волен выбирать из них то,

что тебе по душе...» Вот именно, выбирать. А кто добровольно выберет себе вечную борьбу, чтобы заработать бедность и лишения, муки совести и отречение друзей. Хватит, навоевался Арыслан, пока работал в газете. Столько критических статей и фельетонов писал, что собрать — несколько томов получится. А чего добился? Жизнь после этого улучшилась? Справедливость восторжествовала? Как бы не так. Разве выпьешь море...

Что-то часто стали вспоминаться слова цыганочки Азы. Признак старения, что ли. Не зря шурсухалы говорят: под старость лет молодость больше вспоминается, это потому, что душа очищения просит...

Одним словом, по всему выходило, что лезть в перипетии взаимоотношений колхоза с рапо ему не стоило. Это дело специалистов, пусть они и разбираются. К тому же недавно перед Арысланом мелькнула малю-усенькая такая искорка надежды на возможное повышение его в должности. Настолько малюсенькая, что он в нее просто не верил, боялся верить. В жизни нет ничего хуже разочарования. И все же... Дело, конечно, не в должности. Но надо же когда-нибудь по-настоящему испробовать свои силы. На полный максимум. Чтобы понять наконец, какое место ты занимаешь в жизни. Не-ет, в такой ситуации искать себе приключения просто глупо.

Приняв вроде бы верное решение, Борис Викторович повеселел. Теперь уже ни о чем особо не думалось. Он просто шел по родной, знакомой улице, которая, хотя тоже претерпела кое-какие изменения, в целом осталась такой же, как в годы его детства, и оттого была самым дорогим местом во всей деревне.

После ужина Виктор Васильевич, как и вчера, повел сына в сад, подышать воздухом. Чувствовал он себя опять неважно, но бодрился. Однако ходить ему, видимо, было тяжеловато, и они остановились в беседке.

— Знаешь, сын,— сказал Виктор Васильевич тихо, словно боясь, что их могут услышать какие-то нежелательные лица.— Видно, жить мне осталось совсем немного. Не успокаивай,— вскинул руку, заметив порыв Бориса Викторовича,— пустое все. Я знаю точно. Весной ездил в военкомат. Накануне праздника Победы нам, ветеранам, юбилейные награды вручали. Попутно был на приеме у врача... Он мне все открыто сказал. Злокачественная... Оперировать бесполезно. Стар я... Понимаешь, сын, мне умирать не жаль. Вы, дети мои, давно на ногах, а от меня пользы людям никакой. Старое дерево должно свалить-

ся, чтобы дать место и свет молодым. Единственное, что меня очень и очень волнует, сын, это то, что Пелагея Петровна останется одна-одинешенька. Очень боюсь за нее, хрупкая у нее душа...

Борису Викторовичу и верилось и не верилось в то, что говорит отец. Умом такие вещи, конечно, понимаешь, но когда думаешь о самых близких, дорогих тебе людях, почему-то кажется, что бренность их не касается, не должна касаться. Однако невозможно отрицать всем известную истину: ничто в мире не вечно. Разумеется, прекрасно понимал это и Виктор Васильевич, потому и просил не успокаивать. Это его, реалиста, просто покоробило бы своей логической фальшью. Но самое главное и удивительное в словах отца, пожалуй, другое. Он, по крайней мере на памяти Бориса Викторовича, в первый раз в жизни дал оценку своей жене. «Хрупкая у нее душа...» Конечно, Борис Викторович очень и очень уважительно относился к матери, но, по правде, никогда не замечал, чтобы у нее душа была хрупкая. Может, отец так сказал просто по старческой жалости, а может, кто знает, в его словах была и доля правды. Как бы ни было, Борису Викторовичу захотелось услышать о ней побольше. Ведь по существу он ничего и не знает о матери: кем она была раньше, как оказалась женой его отца...

— Атте, скажи, пожалуйста, а почему ты женился на ней?

Виктор Васильевич пристально посмотрел сыну в глаза, что-то подумал про себя минуты две-три, словно решая какой-то сложный вопрос, после чего медленно отчеканил:

— Потому что она тебя полюбила, сын.

Затем, вздохнув, отвернулся и замолк, уставившись взором сквозь листву яблонь и вишен куда-то вдаль, за гору, за горизонт. Так просидел он долго. Снова повернувшись к сыну, уже без его дальнейших расспросов неожиданно рассказал, быть может, о самом затаенном в своей жизни.

— Понимаешь, сын, твоя родная мать, пусть земля ей будет пухом, она ведь умерла много лет спустя, как я взял тебя к себе. Но мы с Пелагеей Петровной тебе об этом никогда не говорили, и ты, конечно, до сих пор думал, что я женился второй раз после смерти твоей родной матери... Ты не должен осуждать нас за сохранение этой тайны. Мы с матерью, то есть с Пелагеей Петровной, боялись, как бы по молодости лет ты не ошибся... не сломался... Ну, ты

понимаешь. А на самом деле было так. Мать твоя родная не дождалась меня с фронта, вышла замуж за одного... оставленного по брони. Поверь, я ее не осуждаю, нет. Она была молода, красива, образованна, работала учительницей. Ей жить хотелось. А я как ушел в конце сорок первого, так только в сорок шестом и вернулся. И все время был на фронте. Если не считать лечения в госпиталях да послевоенный год, у меня было мало шансов выжить, она это понимала. И, конечно... Не все же декабристки... А когда я вернулся из армии, естественно, там, где мы с ней жили раньше, до войны, не мог оставаться... Попал сюда, в Хыркасы. Прожил не более полугода, и вдруг получаю страшную телеграмму: «Забирай сына, иначе сдадим его в детдом». То есть тебя, значит. Это при живых-то матери и отце! Я, естественно, тут же съездил к ним, привез тебя... Ты, сын, не осуждай ее. В этом она тоже не была виновата. Я так думаю, ее муж заставил отказаться от тебя. Молодой он был, моложе нее, ревнивый... Ну, привезти-то я тебя привез, а куда девать? Тебе шестой год, стало быть, самостоятельности никакой. Сам я с утра до ночи, в две смены в школе работал... А-а, да что там,— махнул рукой Виктор Васильевич,— долго рассказывать, не люблю я такие вещи рассусоливать. Одно скажу: желающих выйти за меня замуж в Хыркасах нашлось бы немало, после войны женщин, как говорится, хватало. А вот матерью тебе могла стать и стала только она, Пелагея Петровна.

Скупым и коротким оказался рассказ отца, но перевернул всю душу Бориса Викторовича. И все же значимость услышанного он, может быть, еще долго не сумеет осознать и оценить до конца. Одно ясно: с этого момента Арыслан не может оставаться таким, каким был. Не его дело осуждать или даже обсуждать поступки родителей, тем более, если матери давно нет в живых. Ему, возможно, никогда не понять полностью их жизнь, как и жизнь, поступки, деяния всех людей того поколения. Но во всем этом есть и то, что задело непосредственно его, Бориса Арыслана, решило в какой-то степени и его судьбу. И еще не раз и не два, возможно, будет влиять на нее. Бог мой! Сколько таинств держит в себе человек! И многое сгинет вместе с ним, так и оставшись неизвестным никому. Неверно это, неправильно, несправедливо...

— Атте, а как ты попал именно в эту деревню, Хыркасы? Ведь, оказывается, мы оба пришельцы здесь...

— Этим я обязан Ивану Прокопьевичу,— задушевно и как-то задумчиво сказал Виктор Васильевич. Потом твер-

до добавил:— Да и тем, что вообще живу на этом свете... Мы ведь с ним воевали вместе больше двух лет. Хотя он намного моложе меня, но смерть, которая с косой ходила, тогда сравняла наши возрасты и подружила нас. А стояли мы перед ней не раз. В один из таких роковых моментов спас он меня от верной погибели. И еще раз спас, когда я вернулся из армии и узнал, что супруга моя давно замужем... Понимаешь, на фронте сквозь такое пришлось пройти, такое перетерпеть — и выжил, не потерял себя. А тут сдал... И вот думаю: дай напоследок хоть погуляю от души. А где гулять-то? Приехал в Айдарово, к другу... Он, Иван Прокопьевич, впрочем, звал и зову я его по-вакхалыхски просто — Йываном, вроде не мешал мне. Хочешь пить — пей, пожалуйста! Хочешь посуду бить — бей, пожалуйста! Одного только меня не оставлял. Ни на шаг не отходил от меня... И после почти месячного буйства я наконец выдохся, злости уже ни на что не осталось. И понял: а жить все равно надо. Не для того мы вернулись с победой, чтобы так просто распрощаться с белым светом... Пошел я в роно. В айдаровской школе места не оказалось. Из других выбрал хыркасинскую. Хотелось быть ближе к единственному другу... Ну вот, в итоге остался здесь на веки вечные. Это теперь уж точно... Еще раз повторяю: нет, умирать мне не жаль. Волнуют лишь две вещи. О матери я уже сказал. Еще вот успеть бы помочь ему, Йывану. Он ведь на фронте был настолько могуч и храбр, что защищал от врага всех: и себя, и Айдарово свое, и Вакхалыхию, и всю нашу огромную Родину. А в мирной жизни перед бюрократами, лжезаконниками и крючкотворами, не имеющими совести властьимущими он беззащитен, аки младенец. И мой долг — спасти его от незаслуженного позора. Конечно, не ахти какая плата за двойное спасение жизни, а все-таки доброе имя человека тоже чего-то стоит... Вот тогда бы ушел в мир иной со спокойной совестью.

— Я помогу тебе, атте, в твоем деле, обязательно помогу,— горячо пообещал Борис Викторович.

В эту минуту для него не было человека ближе и дороже, чем отец. Не только потому, что он родитель, нет. Борис Викторович, быть может, только сейчас начал по-настоящему понимать, насколько чист душой, честен его отец. Чище, честнее тех, положительных героев, которых он выводил в своих романах, повестях и рассказах.

— Вот и ладно,— как-то потеплел голос Виктора Васильевича.— Жаль, конечно, что сам Йыван в больнице лежит. Мне бы первым делом познакомить вас поближе.

Ну да ничего. У меня есть копии всех необходимых документов, подтверждающих его невиновность. Завтра я тебе их покажу. И растолкую суть. Главное — нельзя допустить, чтобы Йывана судили еще раз. Сколько же можно измываться...

В эту ночь Борис Викторович уснул рано. И даже не слышал, как разноголосый хор деревенских петухов безуспешно пытался разбудить его в полночь. Несмотря на множество потрясающих новостей, обрушившихся на него сразу, на душе было спокойно и чисто. Наверное, потому, что он на этот раз без сомнения принял ясное, объяснимое решение. И еще потому, что эти новости, более значимые и чистые, выдавили из его души все мелкое, грязное, незаслуженно занимающее столь большое место. Хотя бы на время.

На следующий день Борис Викторович после завтрака снова «заточил» себя в баню. Но успел поработать не более двух часов, как к нему пришла мать, не постучавшись, широко растворила дверь, сообщила:

— К тебе жена приехала.— Затем, поразмыслив, добавила:— Бумаги забери. Баньку затоплю. Седни суббота.

Борис Викторович возражать не стал, начал собирать свои записи К тому же, если приехала жена, надо было все-таки выйти к ней. Иначе что подумают родители. Короче, сегодня о дальнейшей работе, похоже, нечего было и мечтать.

Тертту Ульясовна ожидала его в избе, о чем-то оживленно беседуя с Виктором Васильевичем, которого чуть ли не через каждые два-три слова называла ласковым «атте». Она встретила мужа так, словно вчера только расстались. Причем со стороны могло показаться, что и приехать-то в деревню надоумила его именно она.

— Ну, как работается, милый?— спросила Тертту Ульясовна, вместо приветствия протягивая Борису Викторовичу ручку. Так что тому ничего не оставалось делать, как наклониться и поцеловать ее по-светски.— Я же говорила, что в деревне лучше будет писаться. Тишина, свежий воздух, природа... Я ведь понимаю, все это способствует... А дома у нас теснота, шум, гам,— это уже Львову-старшему,— какое там сосредоточиться, от давления бы уберечься.

Виктор Васильевич лишь согласно кивал головой, внимательно вглядываясь в лица сына и снохи.

— Борис, может, пойдем прогуляемся к пруду. Что-то

соскучилась я по деревенской идиллии,— предложила Тертту Ульясовна, для приличия посидев в обществе свекра еще минут десять. Тут же вежливо предупредила:— Атте, мы долго не будем, к чаю как раз подойдем. В общем-то у меня мало времени, я ведь только проездом. Еду в Айдарово, договориться о гастролях...

На улице, действительно, стоял серый «Москвич» театра; задняя дверца его была раскрыта, оттуда далеко в сторону торчала нога спящего водителя, а другая свисала на землю. Похоже, хозяин этих ног был довольно-таки долговязым.

— Уже храпит,— усмехнулась Тертту Ульясовна.— Вот божье создание. Сто лет будет жить. Не то что некоторые, получат укольчик, так переживают, словно шпагой насквозь продырявили.

В чей огород камешек — понятно без слов, однако Борис Викторович промолчал. После вчерашнего дня, когда он наконец-то вроде бы успокоился, не хотелось портить бодрое настроение, желание напряженно поработать.

— Так ты что, милый, всерьез обиделся на меня за небольшую шалость?— ровным голосом продолжала допытываться Тертту Ульясовна.— Но ты хоть поинтересовался, хотя бы спросил себя в душе, почему это твоя верная супруга вдруг позволила себе этот легкий флирт?

Борис Викторович только неопределенно крякнул. Возражать жене, он знал, рискованно. Тогда бы она взорвалась водопадом слов, в котором мог захлебнуться сам Нептун. Чего доброго, в итоге еще окажется, что во всем виноват сам Борис Викторович. Так что лучше уж не давать повода для словоизвержения. Да и нормальное настроение во что бы то ни стало надо сохранить на последующие дни. Испортить его — раз плюнуть, а вот поди восстанови после.

Тертту Ульясовна, не дождавшись какого-то определенного реагирования мужа, тем не менее выплеснула-таки свой словопад.

— А потому, мой милый,— ответила она на свой же вопрос,— что ей надоело видеть, как ее в общем-то талантливый муж позволяет обгонять себя всякой серости, окололитературным дельцам и халтурщикам. Сколько же это можно терпеть? Люди совершенно бездарные, пишущие намного хуже и намного меньше тебя, ежегодно выпускают книги и в Башколе, и в Москве, и бог знает где еще, получают премии, звания, награды, чины, вселяются в шикарные квартиры. А ты даже многое из давно написанно-

го не можешь до сих пор издать. А в каких условиях мы живем — об этом вообще стыдно сказать. Я ведь подруг приглашать к себе стесняюсь. Если тебе это все равно, мне хочется по-человечески пожить хотя бы под конец жизни. И еще. Мне ведь тоже нужны условия порепетировать, знакомиться с текстами, я еще актриса, если ты помнишь. А дети? Они что, до конца дней своих должны при нас находиться?.. Вот я и решила: раз ты не чешешься, в меру своих возможностей хоть себе пробью дорогу. Может, и тебе смогу помочь. Чтобы стало хоть чуточку лучше всем нам: мне, дочери, сыну, внучке... Вспомнила, например, что в другом театре уже седьмой год лежит твоя пьеса. Хорошая пьеса, я ее читала. Ты ведь специально отдал ее туда, чтобы никто не посмел сказать, что драму твою протолкнула на сцену жена. Конечно, очень благородно с твоей стороны. Но там, смею тебя заверить, пьеса твоя пролежала бы еще столько, и никто пальцем бы не пошевельнул, чтобы ее поставить. Потому что я знаю: там традиция соавторства режиссера, пусть не открытого, а лишь гонорарного, все же соавторства, а ты на это никогда не пойдешь. Сколько за эти годы в том театре, да и у нас, поставили пьес, которые даже сравнивать с твоей неправомерно: настолько они слабы. Терпеть такое безобразие у меня просто нет сил, понимаешь, душа болит, как подумаю о тебе... Так вот, я забрала твою драму оттуда к себе. Ее уже отрецензировали, худсовет одобрил, решили включить в репертуар будущего сезона. Полагаешь, так просто это было провернуть? Но ты не думай, что легкий поцелуй, свидетелем которого ты оказался, связан с этим делом. К тому же такое случилось в первый и последний раз. Больше у меня с ним ничего не было и быть не могло. А то, что ты при этом появился, это, знаешь,— лучше не придумаешь. Теперь наш глупый директор в любом случае будет помогать тебе, да и мне как миленький. Он сильно дорожит своим местом и репутацией... Ну, уяснил? Эх, дорогой мой человечек! Дал тебе бог хорошие мозги, да, видать, забыл наполнить их клетками практицизма...

Словопад, кажется, иссяк. Если бы Борис Викторович возразил ей хотя бы в какой мелочи, это лишь придало бы Тертту Ульясовне новый прилив энергии. А так, наобум лазаря, она тоже продолжить щепетильный разговор не решилась.

Борис Викторович старался не думать о только что услышанном, не обращать на него особого внимания. Что-

бы как-то отвлечься, он осмотрелся. Оказалось, шли они не к пруду, а в совершенно противоположном направлении. Тертту Ульясовна уводила его в сторону, наверное, потому, что водоем со всех сторон был облеплен купающейся и галдящей ребятней... Вот уже поднялись на Чанга ту, откуда видны почти все Хыркасы, остановились.

— Помнишь?— спросила Тертту Ульясовна.

Она, конечно, намекала на то, как в молодости иногда поднимались сюда вдвоем по ночам, после закрытия клуба, и слушали деревню: как молодежь еще продолжала веселиться на вые у родника, этот шумный клубок потом распадался на несколько небольших самостоятельных частей, располагающихся уже в разных концах деревни, и как в тех местах, где пели песни под гармошку, где плясали под гусли, а где просто веселились, то и дело взрываясь искрометным смехом. А потом и эти части распадались, в основном, конечно, на пары. А пары не любили шуметь, не стремились выдавать свои места пребывания, и деревня затихала. Лишь сверчки, и деревенские, и полевые, нестройным хором тянули свое однообразное чир-р-р! чир-р-р! да иногда кое-где хлопала калитка, до следующего вечера разлучая влюбленных...

Но Борису Викторовичу вспоминалось совсем другое: как он однажды поднялся сюда с цыганской девушкой Азой. И как она вдруг побежала по горе, сверкая босыми пятками, и остановилась прямо на краю обрыва. Затем вдруг раскинула руки, словно готовясь вот-вот спрыгнуть с горы в полет, и запела... Понравилось ей здесь, очень понравилось. А когда прощалась, все же сказала: «А твоя свобода мне не подходит. Красивая она, сытная, уютная, а с горы петь на весь мир не разрешает...»

Борис Викторович вдруг ни с того ни с сего стал припоминать уже давно завершенное объяснение жены. В нем начало закипать и подниматься чувство возмущения. Чем конкретно — этого еще он сам не понимал. Надо было его остановить, пока оно не переросло в негодование.

— Выходит, я еще должен благодарить тебя?— с издевкой спросил Борис Викторович.

Тертту Ульясовна, обычно горячая и не терпящая возражений, на этот раз промолчала. Она прекрасно понимала, что ей придется, просто необходимо выслушать от мужа в свой адрес много нелицеприятного, ибо надо дать ему возможность, как говорится, выпустить пар. Ведь в душе у него за эти дни наверняка накопилось немало злости, обиды, желчи.

— А может, мне следует идти с поклоном к твоему... директору? Виноват, мол, что застал вас в таком непотребном положении, больше, мол, не буду...— продолжил тем временем Борис Викторович.— Да я плевать хотел на ваши решения. Не надо мне ваших постановок. Пролежала пьеса семь лет, пусть бы лежала еще столько. Я ее писал, я, понимаешь? Зачем ты-то лезешь в это дело?

— Хорошо, хорошо, мой милый, если ты против, мы, конечно, не будем ее ставить,— охотно согласилась Тертту Ульясовна.— И я признаю свою вину. Наверное, нельзя было так. Понимаешь, как вспомню, так самой на душе гадко становится... Но пьесу твою худсовет одобрил без всякого моего вмешательства. Я только представила ее. Так при чем здесь мое легкомысленное, по-твоему, поведение? Да и глупый директор ни при чем. Театр — он ведь не из одного директора состоит. Сегодня он сидит в этом кресле, завтра — другой. А театр тот же. Если он хочет поставить твою пьесу, скажем, чуть побыстрее, то... Впрочем, Борис, дорогой, давай договоримся: твое дело решать, что делать со мной, с такой бестолковой, что делать с пьесой. Но ты не торопись, ладно? Хорошенько все обдумай. Поживи тут, пока в отпуске. А пьеса... Когда еще за нее возьмутся? Новый сезон только в октябре начнется. Пока же пусть включат ее в репертуарный план. На всякий случай. Отказаться никогда не поздно...

На такой неопределенной концовке и остановились. Тертту Ульясовна слишком хорошо знала своего мужа, отходчивость его характера, слишком хорошо знала и чудодейственную силу времени...

Она уехала, даже не попив чаю. Сослалась на то, что «слишком долго гуляла с Борисом», потому, дескать, просрочила время. Она не очень приязненно относилась к родителям мужа, особенно к свекрови, чувствуя ее так и не прошедшую со временем недоброжелательность к себе.

Пелагея Петровна, ради приличия тоже вышедшая провожать невестку, стояла не шевелясь, высокая, худощавая, сжав тонкие губы аж до появления вокруг них новых морщин. И вообще вся она — широкий покатый лоб, узкие немигающие глаза под мохнатыми, почти мужскими бровями, прямой длинный нос, жилистые руки с широкими ладонями, сложенные на груди крест-накрест — будто бы и не видела, как невестка сделала ручкой, аккуратно и изящно села на заднее сиденье «Москвича» и продолжала махать из открытого окна салона одними пальчиками, пока машина не скрылась за поворотом. Только после этого

Пелагея Петровна опустила руки, повернула голову к сыну, сказала, будто отрезала:

— Пора тебе, Борис, от нее ослобониться.

Даже Виктор Васильевич, похоже, не ожидал от нее такого, сурово посмотрел на нее:

— С чего это тебе пришло в голову, мать?— спросил строго.— Или ты знаешь, о чем они столь долго говорили?

— Неча знать,— стояла на своем Пелагея Петровна.— Видать же, как расстались. Слова что — звуки одни. А как ведет себя человек — все на глазах.

— Ну ты, мать, даешь,— усмехнувшись, покачал головой Виктор Васильевич.— Может, ты и мысли на расстоянии читаешь?

— Неча смеяться, старый,— не на шутку разговорилась Пелагея Петровна.— Нешто тебе сына не жаль? Не кукла же, чтоб им вертеть туды-сюды. Добро бы с пользой... Борис, слушай меня, старую да неграмотну. Переезжай-ка ты сюды, к нам. Внука, Юмана, прихвати. Те сами проживут. А мы тут со стариком жильцы-то ненадежные. На кого все останется, как помрем? Переезжай не мешкая. Места много. Не хошь в колхозе работать, в школу иди. Аль дома сиди, пиши, коль сможешь на этом пропитанье обеспечить.

Виктор Васильевич снова взглянул на жену, на этот раз, правда, без суровости, покачал головой, однако ничего не сказал, призадумался. Пелагея Петровна, словно застеснявшись своего многословия, вдруг засуетилась, не зная, в какую сторону податься, потом вспомнила, что пора бы баню закрыть на пропар, и заторопилась туда.

— Или вправду учуяла старая что-то неладное между вами?— прищурив левый глаз, посмотрел на сына Виктор Васильевич, когда за Пелагеей Петровной захлопнулась калитка.

— Может быть,— неопределенно буркнул Борис Викторович, тут же поспешно добавил:— Однако не зря молвит пословица, что не бывает так, чтобы чашка с ложкой не пошумели.

— Это верно!— вздохнул Виктор Васильевич.— А вообще, давай-ка, сын, в баню собираться. Скоро готовенька будет, парься, сколько можешь. Хоть и не компаньон я тебе в этом деле, однако на полу усижу. Хоть будет что вспомнить: как же, с известным писателем в баньке мылся. Как с тем царем, на равных... Еще мемуары буду писать, гонорар зарабатывать на этом, ха-ха.

От такой шутки отца у Бориса Викторовича даже серд-

це заходило. Он тут же вспомнил вчерашний разговор с ним, о том, что обещал под конец. И сразу все, что произошло сегодня, показалось ненужным, пустым, мелким, никчемным.

— Что ж, пошли, атте, в баню.— согласился он, осторожно взяв его за локоть.— Там и расскажешь мне о вашем с Васильковым деле поподробнее...

ЧТО СТАЛО ИЗВЕСТНО

Эта глава составлена
по рассказу Виктора Васильевича

Было это почти двумя годами раньше.

Хмурым осенним утром Иван Прокопьевич Васильков ехал в автобусе в Башколу. Настроение у него было и приподнятоое, и грустное одновременно. Всезнающий читатель, может, уже сообразил, в чем дело. Да, такое настроение бывает тогда, когда человек собирается на заслуженный отдых, говоря более прозаически, на пенсию. Как раз такая пора подошла тогда у Ивана Прокопьевича, выездного фотографа производственного объединения «Объектив». Вообще-то он понятия не имел, что это за объединение, хотя и числился в нем почти два года. Дело в том, что вначале Иван Прокопьевич лет пять проработал выездным фотографом в райбытуправлении. Работал на всем своем, начиная от аппаратуры, фотоматериалов и кончая транспортом, то есть мотоциклом «Урал». За все получал через кассу райбытуправления пятьдесят три процента от вырученных денег. Но потом Министерство бытового обслуживания населения затеяло какую-то очередную реорганизацию, смысл которой до Василькова, честно говоря, доходил смутно, потому что он на эти дела мог смотреть лишь со своей колокольни. А с нее видно одно и то же: «и до того как», и «после того как» он фотографировал людей одинаково, той же аппаратурой, тем же способом. Тем не менее приказом министра его как бы перевели в объединение «Объектив». Особо подчеркивая: на тех же условиях, на каких работал раньше. В результате для Василькова изменилось только одно: зарплату он получал теперь не в кассе, а на почте, переводом из Башколы. Хотя выручку или счета, выписываемые предприятиям и организациям для оплаты за фотоработы, сдавал по-прежнему в ту же бухгалтерию райбытуправления. Оказыва-

ется, та затем полученные деньги перечисляла на счет объединения «Объектив». Зачем создавались такие сложности — одному богу известно.

Впрочем, все это для Василькова, как говорится, было до лампочки, потому что никаким боком не влияло на его оперативность, на качество снимков. И мы, вопреки традициям художественной прозы, так подробно остановились на этом деловом моменте только потому, чтобы впоследствии легче было понять положение Ивана Прокопьевича, совершенно неожиданно оказавшегося в центре вдруг невесть каким образом разыгравшейся бури.

Итак, ехал Иван Прокопьевич в Башколу с тем, чтобы встретиться наконец-то со своим, если можно так выразиться, новым начальством, сообщить ему, что намерен уйти в отпуск, а когда он кончится — и на пенсию; а также пригласить представителей «Объектива» на свой юбилей, который он собирался скромно отметить дома хоть раз в жизни, в связи с шестидесятилетием. Конечно, с одной стороны, все-таки грустно: что ни говори, старость — не радость. С другой, Василькова успокаивала надежда, что и на пенсии ему дадут работать. Был будто бы на хорошем счету. Планы всегда перевыполнял, в последний год — чуть ли не в два раза: чего скрывать, хотелось заработать все-таки максимальную пенсию, чтобы в старости иметь надежду хотя бы на минимальное благополучие. Да и дело свое Васильков знал неплохо. Это не он о себе так считал, люди говорили.

Вообще-то Васильков не был прирожденным фотографом. От отца по наследству он получил топор в руки. Работа чисто мужская, естественно, мало осталось после войны их, плотников-то. А зарабатывать можно было, не ленись только да с устатку самогону не больно-то зашибай. Так что не собирался Васильков менять профессию. Но, как говорится, человек предполагает, а судьба располагает. Случился у него заворот кишок. Последовала операция, по тем временам сложная. Прошла вроде бы удачно, но доктора сказали: «Все, Иван Прокопьевич, судьбу не пытай, ищи легкую работу...» А где ее найдешь, легкую работу, в Айдарове? Да при его двух классах образования... Оказалось, жизнь заставит — и пятый угол в избе найдешь. Стал Васильков фотографом... Видно, сказались природная смекалка и истинно вакхалыхское трудолюбие: не прошло и пары лет, как он взял в руки фотоаппарат, в шестьдесят пятом его пригласили в только что открывшуюся после восстановления района газету фотокоррес-

пондентом. И трудился бы он там до сих пор, если бы совесть не заела. Ведь фотокорреспондент должен не только качественные снимки давать, а и описать, кто и что, за какие заслуги засняты. А у Василькова, естественно, это дело шло туго. Так что тексты под снимками приходилось писать другим сотрудникам редакции. Нет, никто его не укорял. Но для Ивана Прокопьевича, не привыкшего свои дела перекладывать на плечи других, это было как нож острый. И в конце концов он не выдержал, ушел-таки в райбытуправление. Правда, в фотоателье не пошел. Там тогда орудовали забулдыги, а Васильков терпеть не может расхлябанности, распущенности. Потому и стал выездным фотографом, где ты во всем сам себе хозяин. К тому же жил он тогда уже не в Айдарове, а в Хыркасах. Так что ежедневно топать на работу в райцентр и обратно тоже резону было мало... На его долю приходились самые ответственные съемки: для досок почета, книг Трудовой Славы, аллей Славы. Сам секретарь райкома партии давал Ивану Прокопьевичу задания, не доверяя важные дела другим фотографам. И Васильков ни разу никого не подводил... Поэтому и надеялся он, что дадут работать и на пенсии. Это фотографам разрешалось, он по этому поводу справлялся у своего товарища Виктора Васильевича Львова.

...Дирекция «Объектива» находилась на какой-то невзрачной улице, о существовании которой Васильков, вообще-то неплохо знающий главный город республики, первый раз слышал. Тем не менее он успел-таки отыскать и попасть туда еще до обеда.

Директор Маргарита Федоровна Зубова, обаятельная женщина лет тридцати пяти, приняла его очень радушно.

— Давно хотела с вами лично познакомиться, да все вот никак не выберусь в ваши края, — развела она руками. При этом ее большие карие глаза так лучились теплотой, что нельзя было не верить в искренность ее слов.— Все дела, знаете. Объединение разрослось, триста шестьдесят человек теперь у нас. Конечно, это не причина. Опытных мастеров, ветеранов войны и труда я просто обязана знать в лицо... Вот наконец-то удалось встретиться.

Васильков, смущенный таким приемом, даже не знал, с чего начать разговор об уходе на пенсию, который теперь казался ему совсем неуместным. Маргарита Федоровна тоже на время замолкла, пристально вглядываясь в него и незаметно играя на полированном столе длинны-

ми красивыми пальцами со слегка накрашенными ногтями. Затем она как бы случайно сама помогла ему высказаться.

— Знаете, уважаемый Иван Прокопьевич, мы тут с экономистом как-то просматривали, кто сколько получал зарплату в этом году, и нам показалось, что вы собираетесь на пенсию,— улыбнулась она, сверкая белыми ровными зубами, среди которых не было еще ни одного вставного.— Хотела бы ошибиться, да ведомость о таких вещах говорит безошибочно.

— Точно, есть у меня такая мысль,— признался Васильков, покраснев до кончиков ушей, словно его уличили в намерении скрыть что-то очень важное.— Правда, я мог бы...

— Да уж, заметили мы, что вы старались заработать как можно больше,— не дала ему договорить Зубова.— А это обычно делается перед пенсией. Так вот... Вообще нас за такие вещи... ну, понимаете, когда фотографы больше министра получают... по головке не гладят. И все же мы идем навстречу ветеранам, даем им возможность подзаработать. Дело житейское...

Маргарита Федоровна опять на время замолчала и снова пристально посмотрела Василькову в глаза, слегка побарабанила пальчиками по столу. Вроде бы она ждала от него чего-то, но не дождалась и снова заговорила, почему-то начиная немножечко нервничать.

— Иван Прокопьевич, вы живете в стороне, сами по себе, и, видимо, не знаете наших традиций. А они имеются в любом коллективе. Как бы являются неписаными законами... Так вот, у нас те, кому мы даем зарабатывать, часть зарплаты потом отдают. Понимаете?...— сказала она тихо, стараясь улыбаться все так же обворожительно, как и в первые минуты.

Васильков, старый вдовец, при такой улыбке такой очаровательной женщины, на которой все сверкало, вплоть до завитых химией каштановых волос, растерялся совсем. Он еще никак не мог взять в толк, чего же от него хотят.

— Это как, взнос, что ли, куда внести аль отдать профкому на подарок какой?— спросил он наивно.

— Я же сказала русским языком!

Да хоть бы вакхалыхским. Васильков все равно этого не понимал. То есть он наконец-то, конечно, докумекал, о чем речь, но воспротивился этому сразу же, даже не прикинув в уме, что к чему и как. Надо же предлагать такое...

— Я эти деньги заработал честным трудом,— сдер-

жанно ответил он.— Не понимаю, чего вы хотите. Отдавать часть зарплаты? На каком основании?

Зубова встала. Стройная, изящная. Встал и Васильков. Вспотевший, полный, как многие сердечники, оттого казавшийся грузным.

— Вот что, уважаемый,— сквозь зубы четко произнесла Маргарита Федоровна,— мы тут с тобой один на один и не вздумай болтать где о нашем разговоре. Так вот, не такие, как ты, люди с высшим образованием отдают. Или ты до сих пор жизни не понял, ветеран? В ней все друг другу дают, все друг друга выручают. Мы тебе дали заработать, «не заметили» твой обман. Ты получил большой навар, и всю жизнь будешь получать в виде потолочной пенсии... Но ведь и чувство благодарности должно быть. С меня, уважаемый Иван Прокопьевич, тоже требуют. Те, кто не замечает моих «ошибок». Например, того, что предоставила таким, как вы, возможность подзаработать. А я что, из своего кармана, что ли, из-за вас должна расплачиваться? Так что не ерепенься, ветеран. Пять сотен на стол — с тебя не убудет. И будешь ты в нашем коллективе вечно уважаемым и любимым человеком. Примером для молодежи. А если начнешь глупить — будем судить. За обман государства в целях наживы. И взыщем в несколько раз больше. Боюсь, к тому же на старости лет придется тебе и кирпичики посчитать в местах не столь отдаленных. Усек?

— Вы... Вы что... За кого меня принимаете?— разозлился Васильков.— Аль я обманывал кого? Я честно все заработал — и все тут! Потому не дам ни копейки. Теперь — и подавно!

— Ну что ж!— гневно сверкнув глазами, закруглила разговор Зубова.— Даю тебе неделю на размышление. Не одумаешься — пеняй, ветеран, на свою мудрость. Или глупость. Я предупреждаю на полном серьезе.

Васильков не помнил, как очутился на улице. Только попав под тихонечко накрапывающий холодный дождик, пришел в себя. Но возмущение не проходило. А угрозу судить он даже не воспринял всерьез. За что его судить? Как он мог обмануть государство, если честно работал? Причем на всем своем, не беря у него ни копейки, отдавая же почти половину заработанного. Не-ет, похоже, угроза эта — лишь обыкновенный шантаж со стороны наглого директора. Слыхал он про таких негодяев... О Зубовой как о приветливой и очаровательной женщине он уже не думал.

Ни через день, ни через неделю желание ни за что ни про что выложить на стол пятьсот рублей у Василькова не появилось. «Эх, знать бы, где упасть, соломы бы постелил!— частенько вздыхал впоследствии Иван Прокопьевич. И неизменно добавлял:— Да пропади они пропадом, эти пять сотен. Знал бы, что так все обернется, отдал бы не глядя, пусть бы она подавилась ими. Дак ведь не подумал, что красным бывает не только помидор, но и перец.»

Дней через десять почтальон Илемби Белова принесла Василькову телефонограмму райбытуправления. «Срочно прибыть в бухгалтерию. Сегодня же»,— было сказано там. В предчувствии недоброго екнуло сердце. Тут же во всем теле появилась нервная дрожь.

— Что с тобой, Иван Прокопьевич? Аж побелел весь!— забеспокоилась Илемби. Тут же, налив полкружки воды, подбежала к обессиленно опустившемуся на табуретку хозяину дома.

— Да ничего,— выдохнул Васильков,— просто чую что-то неладное.— Сделав два-три глотка, он с минуту посидел с закрытыми глазами, немного успокоившись, объяснил коротко:— Я ведь повздорил со своим начальством... Да что ж поделаешь, придется ехать. А дома столько работы, даже убраться не успеваю,— сказал уже виноватым голосом.— Прихварываю в последнее время...

Дома у него, действительно, было неуютно. На стульях, на столе валялись фотобумага, готовые снимки, на сундуке в углу стоял глянцеватель, за печкой висели фотопленки, прикрепленные к веревке бельевым зажимом; кровать была не заправлена, хотя солнце подходило уже к зениту; на полу, похоже, давно не гуляла мочалка. Чувствовалось, хозяин жил отшельником.

— Ты, Иван Прокопьевич, езжай! Не переживай больно-то. Мало ль вызывают, не всегда ж по плохому делу. Ежели за каждый звонок так кручиниться... А за порядок в доме не беспокойся. Хошь, я приберусь у тебя тута? Пока ты в разъезде будешь. Вот разнесу быстренько почту и приду.

Васильков слабо улыбнулся, встал.

— Был бы рад,— сказал тихо.— Я бы в долгу не остался. Ну да ладно, раз так, я поехал...

Он вывел из сарая видавший виды «Урал», который, однако, завелся с ходу, выехал за ворота, открытые Илемби, остановившись, затворил их сам, убрал с наружной стороны калитки шнур щеколды: это означало, что хозяина дома нет; затем, попрощавшись с Илемби, поехал.

В райбытуправлении Василькова уже ждал главный бухгалтер. Он повел Ивана Прокопьевича в какой-то закуток, где им никто не мешал, и объяснил, почему так срочно пришлось его вызвать. Оказывается, из «Объектива» ожидалась комиссия по проверке работ выездного фотографа. Поэтому срочно требовалось переписать некоторые счета, которые Васильков выписал колхозам и предприятиям, а бухгалтерия приняла к исполнению. «Зачем?»— недоумевал Васильков. «Понимаешь, Иван Прокопьевич,— продолжал объяснять полушепотом главбух,— ты в счетах в графе «за что» писал: «За выполненные фотоработы». И указывал количество снимков, их размеры, сумму к оплате. На самом деле в счетах надо еще указывать, какие именно фотоработы тобой выполнены. Например: снимки для Доски почета, или: снимки для аллеи Славы». «Зачем?»— еще сильнее недоумевал Васильков. «Да потому,— услышал в ответ,— что не все снимки, сделанные тобой, входят в выполнение плана по быту. Ежели ты плату берешь наличными и выручку сдаешь в кассу, можно снимать что угодно, и все войдет в план. А когда снимаешь в организациях и за снимки они оплачивают по перечислению, получается совсем другая петрушка. Тогда в выполнение плана по быту входят лишь портреты передовиков производства, ветеранов войны и труда, ежели они сделаны для досок почета, аллей и комнат Славы, книг Трудовой Доблести. Остальные, скажем, снимки с сабантуев, с каких-то торжественных мероприятий и тому подобные, все называются ситуационными и в план по быту не входят. Есть, понимаешь, такая мудреная инструкция, утвержденная ЦСУ страны... Вот теперь пораскинь мозгами. Ты ведь ситуационных тоже много делал, правда?» «Получается, да,— несколько растерявшись, согласился Васильков.— Но я же не знал, что они «не быт». Почему вы не предупредили меня об этом?» «Потому что мы на эту дурацкую инструкцию сами до сих пор внимания не обращали,— признался главбух.— Знаешь, сколько бумаг к нам ежедневно приходит. К тому же теперь не наше дело знакомить тебя с инструкцией. Ты же, Иван Прокопьевич, фотограф «Объектива». Но мы должны были контролировать твою работу, так что в случае чего и нам на орехи достанется. В общем, чтобы все в ажуре было, придется оперативно переписать часть счетов и копии отвезти в организации, заменить на оставленные тобой раньше. И не просто переписать, а указать, будто делал ты те самые портреты «по быту», будь они неладны... Транспорт

у тебя есть, объедешь быстро, слава богу, район наш не из больших. С бухгалтерами договоришься. Им все равно, за какие снимки платить... Я тебе добра желаю, потому и решил предупредить о комиссии». «Что, большое нарушение я допустил?»— не на шутку встревожился Васильков. «Большое ли, нет ли, а выходит— обманул государство,— вздохнул сочувственно главбух.— Я ведь тебе самого главного не сказал: за снимки «не быт» работа должна оплачиваться в несколько раз меньше. Такова инструкция. На этом, похоже, и хотят тебя прижучить. Вот такие дела, Иван Прокопьевич. Так что поспешай. «Не быта» у тебя немного. Я знаю, ты в основном снимал по заданию райкома именно передовиков и ветеранов, стало быть, за сегодня-завтра успеешь все провернуть. Я ведь к чему клоню: ежели у тебя в счете указана работа по оформлению, например, Доски почета, комиссия, думаю, его и проверять не будет. А другие, законные счета, пусть проверяет. Все равно обнаружит, что ты фотографировал правильно, для плана по быту. Хоть и не указывал конкретные виды работ. И уедет ни с чем...

После такого разговора Васильков почувствовал себя крайне дурно. Подумать только! Он оказался обманщиком! Получается, он, в самые голодные и трудные годы куска хлеба не кравший, защищавший страну от врага, не щадя жизни, сам оказался врагом государства? Это же какой позор! Однако делать, казалось, было нечего. А краснеть ни за что ни про что перед всем честным народом — разве можно! Хотя как это — ни за что ни про что? Выходит, все же обманывал... Эх, если бы он хоть краешком уха слышал об этой инструкции, пропади она пропадом...

И Васильков, второпях ухватившись за совет главного бухгалтера, как утопающий за соломинку, заспешил. До конца рабочего дня он уже объехал сельхозтехнику, лесокомбинат, совхоз. Действительно, бухгалтеры оказались понятливые, выслушав, о чем речь, охотно помогали ему, иные даже сами переписывали счета, зная малограмотность фотографа. Наверное, тут сказалось и то, что Василькова, бывшего фотокорреспондента райгазеты, обязательного человека, мастера своего дела, в районе уважали. Потому что когда нужно было срочно запечатлеть какой-то важный момент, в районе только он выручал. Просить работников фотоателье часто было бесполезно. У них то выходной, то рабочее время кончилось, то пленок не хватает, то транспорта нет. Василькову же скажи только, объясни, почему срочно нужен фотограф — поймет и прибудет обя-

зательно, и дело сделает. А в жизни, оказывается, часто человек ли родится или умирает, свадьба ли у кого или документ какой надо получать,— всегда нужен был этот человек в общем-то неприметной, казалось бы, профессии.

Однако хоть и споро взялся Васильков за переоформление документов, в душу его закрались сильные сомнения: правильно ли он поступает? А что, если взять да и признаться комиссии честно во всем. Не расстреляют же... И он решил вечером посоветоваться со своим йолташем Львовым.

Виктор Васильевич в таких вопросах, конечно, был не силен. Однако, как любой образованный человек, он силен в логике. И сразу сообразил, что «желающий добра» главный бухгалтер райбытуправления, вовлекая Василькова в неприглядную историю, по-видимому, желает добра лишь себе. В случае чего у него будет возможность оправдаться перед проверяющими. Дескать, он верил счетам, выписанным фотографом, а тот, мол, просто обманывал его, выдавал снимки с сабантуя за снимки для Доски почета.

— Ты, Йыван, эти счета, которые успел поменять, верни обратно, а вновь переписанные порви — и на этом ставь точку. В этой истории ты не просто формально, фактически не виноват. Виноваты те, кто тебя при приеме на работу не проинструктировали как следует. Так что плюнь на все. А комиссия пусть работает, пусть найдет истинных виновников такого безобразия и накажет их. Это правильно, другим неповадно будет,— посоветовал другу Виктор Васильевич.

Так Васильков и сделал. И стал жить-поживать как прежде. Хотя, конечно, как прежде не получалось. Потому что вскоре он узнал, что комиссия из «Объектива» все-таки приезжала, составила какой-то большой акт, и именно на него. После этого, естественно, его постоянно стало что-то тревожить, вызывать беспокойство. О праздновании своего юбилея нечего было и думать. Хорошо еще далеким друзьям-фронтовикам приглашения не успел отправить. Вот бы получилась ситуация... Вновь и вновь вспоминался разговор с Зубовой. Тогда он не придал ее угрозе особого значения, но, как оказалось, кое-какие прегрешения у него все-таки были. Хотя в них сам он и не виноват, но поди докажи теперь. Так что кто знает, чем все это обернется... Если люди с высшим образованием не решались ей перечить и давали мзду, в случае чего каково придется ему, полуграмотному?

А это «в случае чего» не заставило долго ждать.

Недели через три, когда весь небосвод был закрыт тяжелыми свинцовыми тучами и с утра до ночи беспрерывно шел дождь со снегом, к Василькову нежданно-негаданно заявился следователь ОБХСС, молоденький лейтенант милиции. Увидев, как он входит в калитку, Васильков аж оцепенел. Ясно же, в такую погоду, про которую говорят, что добрый хозяин даже собаку на улицу не выпустит, люди так просто, ради прогулки, не ходят. Тем более милиционеры.

Лейтенант лукавить не стал, сразу сообщил, что пришел по неприятному делу. Оказалось, он был сыном одного из ветеранов войны, проживающего в Айдарове и знавшего Василькова довольно-таки близко.

— Иван Прокопьевич, объединение «Объектив» обвиняет вас в мошенничестве,— вытаскивая из кожаной папки несколько листов испечатанной на машинке бумаги, прямо сказал следователь.

— И что же я там намошенничал?— настороженно спросил Васильков.

Они сидели за столом, друг против друга. Василькову, за всю свою жизнь не имевшему дела с милицией, от одной близости человека в форме было как-то не по себе. А тут еще такое обвинение... И хотя он разумом не чувствовал за собой вины, все же в душе зародился какой-то холодок, который постепенно завладевал всем телом, отчего движения стали какими-то неуверенными, голос предательски задрожал.

— Да вот, прочтите сами, секрета тут никакого нет,— протянул следователь бумаги.

Васильков, и так чувствовавший себя неловко, покраснел.

— Знаете, я их буду читать полчаса, а може, и больше. Такой я читальщик. Расскажите уж лучше сами, что там понаписано,— попросил он.

Следователь посмотрел на него, что-то подумал, затем коротко изложил суть написанного в бумагах:

— В общем, производственное объединение «Объектив» обвиняет вас в том, что вы намеренно нарушали инструкцию I-быт от 31 декабря 1982 года, в результате чего за десять месяцев этого года обманным путем переполучили в виде зарплаты более полутора тысячи рублей.

— Полторы тыщи?— не веря своим ушам, переспросил Васильков.— А не полторы сотни? Може, опечатка какая на лишний нуль?

— Нет, здесь словами написано,— беспристрастно сообщил следователь. Тут же спросил в свою очередь:— Что вы можете сказать по поводу такого обвинения?

Васильков растерялся окончательно, развел руками. Затем, чуточку придя в себя, сказал глухим голосом:

— Ведь я не только об обмане думать, об инструкции-то этой впервые услышал три недели назад.

— Ну, ну,— словно бы поддакнул следователь.

И Васильков, взяв себя в руки, хоть и сбивчиво, но все же более-менее подробно и по порядку рассказал, каким образом возникло это письмо дирекции «Объектива» в следственные органы.

— Та-ак,— выслушав его, неопределенно протянул следователь.— Как я понял, вы это обвинение отрицаете начисто?

— Отрицаю,— подтвердил Васильков.— Да вы, молодой человек, у родителя своего спросите: могу ль я подобное сотворить умышленно. Он-то меня хорошо знает.

Следователь пристально посмотрел ему в глаза, не выдержал взгляда, чуть отвернулся. И все же, кажется, он не очень верил Ивану Прокопьевичу.

— Да у меня ж и это... трудовое соглашение сохранилось. И приказ этот... министра, стало быть, о переводе меня...— спохватился Васильков. Тут же из-под койки вытащил старый, еще сороковых годов сундучатый чемодан, где хранились все документы, нашел в нем нужные бумаги, вернувшись к столу, дрожащими руками протянул их лейтенанту.— Вот, можете посмотреть, аль с собой забрать — как вам лучше.

Следователь взял бумаги, повертел в руках, сунул в папку. Сказал:

— Я их вам верну, только копии сниму.

Затем встал, попрощался и пошел к двери. Там остановился, предупредил:

— Может статься, мы вас будем вызывать к себе. Каждый раз домой к вам ездить — времени не хватит. Вы уж поймите нас.

И ушел.

Правда, почему-то он Василькова так и не вызвал. Но от этого было не легче. Иван Прокопьевич жил теперь как бы под поднятым над головой мечом. Этот меч сопровождал его всюду: на улице, во дворе, за столом, при езде на мотоцикле, во сне... Кто знает, что случится: может, уберется он потихонечку, а может, в один прекрасный день как ах!.. Впрочем, дальше додумывать не хотелось.

Уже в последние дни декабря лейтенант из ОБХСС приехал вновь.

— Дорогой Иван Прокопьевич, я специально примчался, чтобы успокоить вас перед праздником: Новый год можете встречать без тревог,—едва поздоровавшись, сообщил с порога. Видно, здорово торопился.—Дело ваше мы закрыли, так что ни о чем не беспокойтесь. Тут же вытащил из папки бумаги, положил на стол; две из них оказались трудовым соглашением и приказом министра, отданными в свое время Васильковым, а другую следователь придвинул к Ивану Прокопьевичу, сунул ему в руку шариковую ручку:— Вот, распишитесь, что ознакомились с этим решением, и все!

Васильков, услышав такое известие, на радостях даже не стал читать. «Впрочем, какая нужда в этом, лишь задержишь человека, ишь, как торопится,— думал он.— Напечатано тут много, ежели перебирать каждое слово по слогам, ишшо на сколько это затянется. Человек же сказал суть... Лучше я ему предложу пообедать».

Но следователь обедать не стал, хотя время как раз приспело к этому, тут же собрался уехать. Уже у калитки вспомнил и сказал на прощанье:

— Вам большой привет от папы!

«Глядь-ка, милиционер, а стеснительный какой,— подумал Васильков, провожая лейтенанта.— Даже в глаза не смеет смотреть, будто сарпиге[29] какая».

В этот день у него словно камень с души свалился. На радостях он даже гостей позвал на Новый год: Виктора Васильевича с Пелагеей Петровной да Илемби, которая до праздника — уже второй раз!— убралась в его доме так, что Васильков своим глазам не верил: неужто и его невзрачная изба так может блестеть чистотой! А убралась она потому, что случилось ей недавно у него сниматься. Пора пришла в паспорт дополнительную фотокарточку вклеивать. Помня, как она привела в порядок избу после той злополучной телефонограммы,— тогда она провозилась аж до самого позднего вечера,— Васильков, конечно же, сделал ей снимки бесплатно, да еще не только на паспорт, а просто так, на память. К тому же один из портретов ему и самому очень уж приглянулся. Он поместил его в рамку и повесил на стену, рядом с другими лучшими своими работами. В свободные минуты нет-нет да и присматривался Иван Прокопьевич к этому портрету и будто бы многое открывал для себя. Раньше он и не замечал, что Илемби такая красивая и добрая женщина. Да и как за-

метишь, когда встречаешься-то с почтальоном лишь мельком. А фото — вот оно, перед глазами. Оно не обманет, показывает все как есть... Такой уж народ вакхалыхи — на добро отвечают двойным добром. И Илемби, так и не уговорив Василькова взять плату за снимки, обещалась еще раз прибраться в его доме. Капитально, перед Новым годом. Во время этой уборки, которую они в общем-то произвели уже вместе, и пригласил ее Васильков посидеть в новогоднюю ночь с его друзьями. Хоть и сильно смутилась Илемби от этого приглашения, отнекивалась вначале, а когда поверила, что это сказано всерьез, а не просто ради уважения, согласилась прийти. Большой все-таки праздник. Знал бы кто, как тоскливо встречать его каждый год одной. Ведь в деревне у Илемби никого не осталось, а подруги давно все матери, некоторые даже бабушками стали, у них свои интересы...

Приключился в ту праздничную ночь, правда, небольшой конфуз.

Встретили первое января как полагается: с шутками, с песнями, которые пели все, кроме Пелагеи Петровны; выпили по фужеру шампанского. Мужчины, то есть Виктор Васильевич с Иваном Прокопьевичем, употребили по рюмочке и кое-чего покрепче, развеселились, начали вспоминать фронтовые годы, не оставив, конечно, тот случай, когда по белорусским болотам возвращались с задания — это было у них при таких встречах обязательным. Илемби вообще-то хотелось еще спеть что-нибудь из старинного или из девичьего прошлого. Что-нибудь грустное-грустное, чтоб непременно слезу вышибало. Но Пелагея Петровна, сидевшая неподвижно, словно столб киреметя[30], вряд ли поддержала бы ее, и она начала прислушиваться к разговору мужчин. Поняв, о чем речь, Илемби подумала, как много вытерпели эти старики, воевавшие в Великой Отечественной. Впрочем, почему старики? Здесь вообще-то сидел один старик, Виктор Васильевич. А Васильков, хоть ему на днях, оказывается, стукнуло шестьдесят, выглядел еще свежо. Хотя, может, оттого только, что был полный. В деревне все знали: это из-за слабого сердца. А сердце — оно что мотор у машины: сдает из-за сильных перегрузок. И эта мысль, пришедшая на ум в такой момент, когда душа размягчилась и стала особенно чувствительной, заставляла Илемби сочувствовать ему, такому же неудачнику в личной жизни, как и она сама. Опять же в деревне всем было известно, что он очень любил свою жену, которую в конце пятьдесят второго года, на шестом месяце после

свадьбы, засудили за что-то и которая так и не вернулась из тюрьмы. Люди говорили, она повесилась там...

Илемби с любопытством посматривала, как этот обычно хмурый толстяк сегодня не на шутку развеселился, как он слушает Виктора Васильевича, чуть наклонив круглую, с розовой лысиной на темени голову, глядя другу в лицо живыми зеленоватыми глазами из-под светлых, а может, седых, как и волосы, бровей, которых издали почти не было заметно, теребит почему-то чуть рыжеватые усы. И в ее душе только что зародившееся сочувствие постепенно превращалось в жалость. И жалость к этому пожилому мужчине теплыми волнами расползалась по всему телу. Странно, от этого Илемби почему-то почувствовала себя лучше, чище, свободнее, будто забыла уже все свои невзгоды, личные обиды на жизнь, на судьбу. И казалось, где-то — неизвестно где — замерцал свет затаенного счастья, указывая путь и маня к себе... И тут, когда мужчины на какое-то мгновение замолкли, раздался, словно утиный кряк среди голубиной воркотни, грубоватый голос Пелагеи Петровны, весь долгий вечер бесстрастно наблюдавшей за всеми:

— Дак что я скажу вам, люди...

Все трое поневоле повернулись к ней.

— Йован, Илемби, гляжу я на вас и думаю: почему эти два хороших человека врозь живут? Супружничать вам надобно, неча поодиночке век коротать. Вот так вот,— неторопливо, тоном, не терпящим возражения, высказалась Пелагея Петровна.

Илемби почувствовала, как онемела вся, будто и сердце остановилось, стремясь послушать и понять, что же такое тут говорят. Опешил и Иван Прокопьевич. Он со слабой улыбкой пытался что-то сказать, желая превратить все в шутку, но лишь хватал открытым ртом воздух. Виктор Васильевич же, глядя то на растерянно застывшую Илемби, то на так и не опомнившегося пока от неожиданности Ивана Прокопьевича, то на Пелагею Петровну, все так же невозмутимо сидевшую столбом, вдруг весело, заливисто захохотал, приговаривая:

— Ай да Пелагея, ай да ма-ать, ай да старушенция моя! Вот выдала — так выдала...

— Я дело сказала. Нешто можно над этим смеяться?— обиделась Пелагея Петровна, тут же поднялась, категорически предложила:— Айда лучше домой. Скоро утро уже, пора печь топить, скотине корм приготовить.

Но раньше всех на улицу выскочила Илемби и побежала,

побежала, подставляя разгоряченное лицо прохладному ветерку.

Молча проводив гостей — говорить что-либо он уже просто не смел — и сев затем за опустевший стол, Васильков снова вспомнил слова Пелагеи Петровны, затем подошел к портрету Илемби, пристально стал рассматривать его. И словно помолодел на десяток лет. Так удивительно тепло, с добротой и задушевностью смотрела она на него, что просто дух захватывало. Невольно вспомнились еще и еще раз слова Пелагеи Петровны: «Супружничать вам надобно, неча поодиночке век коротать». Они, конечно, были неосуществимы, а все же вызывали душевную благодать и отчаянные надежды.

После этого Иван Прокопьевич почти месяц не встречал Илемби. Но то теплое и животворительное чувство, возникшее в ту счастливую новогоднюю ночь, его так и не покидало, постоянно поддерживая в нем надежду на лучшие перемены. Ушло оно, это чувство, причем сразу, моментально, как вешняя вода под снег, после получения повестки с указанием явиться в один из дней февраля в райпрокуратуру.

Оказалось, лейтенантик из ОБХСС дело Василькова закрыть-то закрыл, но не из-за отсутствия его вины, а «в связи с указом об амнистии». Не потому ли он опускал очи долу, словно красна девица, когда давал Ивану Прокопьевичу подписывать бумагу об отказе в возбуждении уголовного дела. Наверняка чувствовал, что хоть и не подвел Василькова под монастырь, а все же свинью подложил. Почему не посмел молодой следователь прямо заключить, что никакого состава преступления в деяниях Ивана Прокопьевича нет — остается только гадать... Однако объединение «Объектив» даже такой вывод, похоже, не удовлетворил, и оно обратилось в прокуратуру...

Дело вела помощник прокурора Софья Ильинична Тунюк, женщина лет тридцати-тридцати двух. Она в отличие от лейтенанта ОБХСС держала себя строго, не скрывая высокомерия. Приехать к Василькову самой ей наверняка и в голову не приходило. Тунюк лишних вопросов не задавала и много говорить не давала. Прежде всего она ознакомила с выдвинутыми «Объективом» обвинениями. Они были все те же. Потому вроде бы беспокоиться особо не о чем. Ведь лейтенант из ОБХСС тоже действует по тем же законам, что и прокуратура. Значит, вывод должен быть одинаковым. И хотя почему-то Василькова все давно считали виновным, но судить, слава богу, не со-

бирались. А несправедливое обвинение, которое, кроме этих казенных людей, никто не увидит, так и быть, придется перетерпеть... Так думал Васильков. Но тон Тунюк был строгим и суровым. Причем беседа происходила в учреждении, одно название которого в бытность Василькова молодым заставляло людей содрогаться. Его же самого — тем более. Поэтому Ивану Прокопьевичу показалось, что на этот раз его обвинят в очень страшном преступлении и исход предрешен. Чтобы совсем не впасть в отчаяние прежде времени, он попытался рассмотреть лицо этой суровой женщины, понять хотя бы чуть-чуть, что она сама думает об этом деле. Но кроме завитой челочки из смолянисто черных волос, почти полностью прикрывающей небольшой выпуклый лоб, да узких, почти закрытых и оттого ничего не выражающих глаз почему-то при всем старании ничего не сумел разглядеть.

— Гражданин Васильков, что можете объяснить по существу дела?— спросила Тунюк после небольшого диалога, упорно продолжая смотреть на лежащие на столе бумаги.

Василькову скрывать было нечего, он несколько сбивчиво, но вполне последовательно рассказал все как есть на самом деле. И тут же пожалел...

— Чем вы можете доказать, что Зубова вымогала у вас взятку?— строго спросила помощник прокурора, наконец-то пристально взглянув на него. При этом из щелей глаз показались тусклые зрачки, равнодушные, холодные, как куски свинца в патронах.

— Да... ничем,— растерялся Васильков.—Разговор промеж нас происходил с глазу на глаз. Да и не знаю я, взяткой называется это или еще чем. Требовала денег. Пять сотен. И все.

— Тогда не надо наводить тень на плетень,— прикрикнула Тунюк.— Советую об этом не болтать где попало, раз не можете доказать. Иначе вот впаяем за клевету дополнительный срок...

Тут же упомянула какую-то статью Уголовного Кодекса РСФСР. Оказывается, только за «клевету» в адрес Зубовой можно отсидеть целый год в казенном месте. Выходило, нельзя говорить даже о том, что происходило на самом деле, если ты не сможешь это доказать.

— Гражданин Васильков, есть у вас еще что сказать по существу дела?

Голос помпрокурора звучал все так же: беспристрастно, холодно, сурово.

Васильков по совету Виктора Васильевича заранее приготовил кое-какие документы: копии трудового соглашения с райбытуправлением и приказ министра о переводе его в объединение «Объектив» на прежних условиях, объяснение бывшего директора райбытуправления о том, что Васильков при приеме на работу с инструкцией I-быт действительно не был ознакомлен, корешки извещений полученной по почте помесячной зарплаты. Их он и предложил в качестве доказательств своей правоты. Они, по мнению Виктора Васильевича, должны ясно показать, что Василькова при приеме на работу с инструкцией не знакомили, а перейдя на другую работу, он по существу ни разу не был в дирекции и с руководителями не встречался, следовательно, на новом месте тоже не получил никаких разъяснений. Последнее можно подтвердить и тем, что в бухгалтерии «Объектива» нет ни одного оплаченного командировочного удостоверения на имя Василькова, о чем Иван Прокопьевич тоже сказал помощнику прокурора.

Тунюк нехотя просмотрела предъявленные Васильковым бумаги, вернула все обратно, равнодушно сказав:

— Эти к делу не относятся, можете их оставить у себя. Что касается того, какие еще документы и где надо смотреть, позвольте это знать нам.

Васильков хотя и не осознал до конца всю опасность своего положения, но уже почувствовал, что перед ним некая кирпичная стена, у которой нет души, и стучаться в нее бесполезно.

— И что же теперь будет?— все-таки спросил он дрожащим голосом перед уходом.

— Судить будем. А там... что суд решит,— в первый раз скривила губы в подобие какой-то улыбки Тунюк.

И что же теперь будет?

Этот вопрос обсуждали и вечером с Виктором Васильевичем. Старый учитель, в жизни повидавший многое, несмотря на все был настроен оптимистически.

— Ты, Йыван, не расстраивайся,— успокаивал он друга.— Помощник прокурора — это еще не вся прокуратура. И судить будут по нашим, по советским законам, а не кому как вздумается.

— Так-то оно так,— и соглашался, и не соглашался Васильков.— Но ты бы видел ее, эту Тунюк...

— Чудак ты!— убеждал Львов, заодно приободряя и себя.— Нынче как-никак не сталинские времена. Знаешь, я тут, как тебе повестку в прокуратуру прислали, начал в кодексах разных копаться. И, понимаешь, понял одно.

Даже если паче чаяния ты обманул бы объединение намеренно, чтобы нажиться, ни преступником тебя невозможно считать, ни взыскивать с тебя ничего нельзя. Потому что ты фотограф, рядовой работник. А рядовой работник за отчетность не отвечает. На это есть бухгалтерия, она должна была контролировать, поправлять тебя, если надо. И переполученная рабочим зарплата не возвращается. Яснее ясного сказано! А на трепотню, что де ты нанес ущерб государству, чихни. Никакого ущерба ты не наносил, поскольку работал на своем материале, своей аппаратурой, используя свой транспорт. Государство тебе, понимаешь, в любом случае только спасибо должно сказать, что ты ему из ничего давал сорок семь рублей из каждых ста тобой заработанных. Грубо говоря, конечно. Сам посуди, в план по быту ли они пошли, эти деньги, или не по быту — какая разница, все одно в государственной кассе оказались...

Так-то оно так, на словах складно вроде получается, а все же на душе у Василькова кошки скребли. Как вспомнит, бывало, среди ночи холодный, металлический голос помощника прокурора, ее свинцовые зрачки, тут же на лбу пот проступает, сердце начинает бешено колотиться. Всем ведь не докажешь, что ты не верблюд. А объяснишь, кому человек поверит: тебе или прокурору?.. И лежит Васильков один-одинешенек в своей небольшой избе, не смыкая глаз до вторых петухов, слушая, как за печкой неутомимо стрекочет сверчок, как от крепкого мороза нет-нет да и лопаются старые бревна, как февральский ветер норовит засвистеть в печную трубу, но у него получаются лишь какие-то завывания, и он, обозлившись, потрясет ее как следует, обсыплет снегом со всех сторон и, сердито протопав по железной крыше, уходит дальше восвояси. Да, ветер-то уходит, ища место податливее к его прихотям, а человек остается. Василькову, видно, здесь и только здесь век свой доживать. Одному. Не дай бог, к тому же, в позоре... И так тоскливо, обидно на душе становится за то, что есть вот на свете Зубовы, и есть такие ослы, как он сам, старый уже хрыч Васильков. Что бы ему отдать тогда эти пятьсот рублей, подавись она ими. И жил бы себе не тужил, пользовался всеобщим уважением как ветеран войны и труда. Обещала же ему Зубова... А теперь нет, не отдашь, завертелась карусель...

И однажды не выдержало-таки сердце переживаний. Хорошо хоть Илемби, принесшая вечером газеты, увидела его состояние и тут же побежала к фельдшеру... После

этого пришлось Василькову полежать в постели уже не дома, а в районной больнице, почти два месяца. Все это время Илемби присматривала за его домом и хозяйством. Раньше, бывало, если зимой приходилось отлучаться куда он с подобной просьбой обращался к Пелагее Петровне. Ведь в холода просто закрыть дом и уехать невозможно в подполье картофель померзнет, в избе — висящий за печкой в связках лук. Да и во дворе кое-какая живность имеется, она тоже требует ухода. В деревне даже одинокому человеку нельзя хотя бы без кур, гусей, поросенка. Да мало ли что еще... Спасибо Илемби, уважила она просьбу. Раза два даже навещала Ивана Прокопьевича в больнице, успокаивала, что дома у него все нормально, пусть не беспокоится.

Вышел Васильков из больницы уже весной, когда в колхозе вот-вот должен был начаться сев. Но ни подобревшее весеннее солнце, ни только что проклюнувшаяся нежная зелень, ни веселые свадьбы птиц, уже успевших прилететь и обустроиться на серебристых ивах и тополях, в емких дуплах и рукотворных скворечниках, не радовали его нынче. Потому что сразу два неприятных известия обрушились на голову...

К моменту, когда разгорелся весь этот сыр-бор с Зубовой, у Василькова имелось исполненных и отданных заказчикам фоторабот еще почти на две тысячи рублей. Поскольку приближался конец финансового года, предприятия и организации за них спешно перечислили деньги райбытуправлению. Но тут неожиданно показала характер Зубова. Она категорически отказалась принять эти деньги от райбытуправления на счет объединения. И довольно-таки большая сумма как бы повисла в воздухе. В результате Васильков не смог получить зарплату. А хуже всего было то, что у многих бухгалтерий возникли осложнения с отчетами. В том числе и у хыркасинского колхоза. Обо всем этом Васильков узнал лишь после выхода из больницы у Шакурова. Тот как-то встретился с ним у сельского универсама, справившись о здоровье, вдруг сказал:

— Не пойму, Иван Прокопьевич, что делается в вашем райбытуправлении. Все деньги, что мы перечислили за твои снимки, вернули колхозу обратно. Ты что, дядя Йыван, настолько разбогател, что бесплатно начал работать?

У Василькова, давно ожидавшего из Башколы зарплату за последние проработанные месяцы, внутри аж похолодело от ожидания какой-то очередной неприятности.

— Да я, Керим Ишмулович, первый раз слышу об

этом,— искренне ответил он.— Уж и не знаю, что бы это значило. Може, съездить в Айдарово, узнать?

— Зачем ездить. Айда, заходи ко мне, позвони,— предложил Шакуров, кивнув головой в сторону правления колхоза. Оно находилось тут же, рядом с универсамом.

Главный бухгалтер райбытуправления обиделся-таки на Василькова за то, что не послушался его и не заменил старые счета на вновь переписанные, поэтому говорил с ним по телефону неохотно. Но все же коротко объяснил суть дела. И у Ивана Прокопьевича совсем опустились руки.

— Как же быть мне теперча, ума не приложу,— растерянно сказал он.

Шакуров, слышавший весь телефонный разговор, хитро улыбнулся.

— Да ничего не надо делать. Ты, Иван Прокопьевич, давай эти деньги нам, в колхоз — и все дела.

— Как это — отдать в колхоз?— не понял Васильков.

— А так: мы как бы откроем подсобное предприятие— фотоотдел. Как я знаю, ты с нового года уже не работаешь. Значит, можешь заключить с нами договор. От имени фотоотдела и предъявим счета за твои снимки. Не нужны деньги «Объективу», нам они пригодятся. Получать прибыль, не затрачивая ни копейки — какой же дурак от этого откажется? Так что ты и дальше можешь работать фотографом, но от имени колхоза,— объяснил Шакуров.

— А это — можно?— только и сумел спросить Васильков.

— Это — моя забота,— успокоил его председатель.— Ну что, пишем договор? И с сегодняшнего дня ты — фотограф колхоза. К тому же мы будем тебе платить больше. Знаю я, фотоматериалы подорожали в два раза...

Вскоре не прошедшие через райбытуправление деньги поступили на колхозный счет, и Васильков наконец получил причитавшуюся зарплату. Но не успел он отдышаться, прийти в себя, как нагрянула вторая неприятность, на этот раз похлеще первой. И принесла ее... Илемби. Такая уж у ней была работа.

— Иван Прокопьевич, чую, недоброе что-то в этом казенном конверте, да не могу не отдать,— виновато сказала она, протягивая письмо со штемпелем райнарсуда.

Васильков и сам обеспокоился, дрожащими руками взял невзрачный конверт. Илемби что-то не торопилась уходить. Пришлось открыть конверт при ней. Там была судебная повестка. Ничего особенного, маленькая бумажка с ла-

донь. Но слова жесткие, беспощадные: «Явиться в качестве ответчика... В случае неявки без уважительных причин...» Стало быть, он должен держать ответ. За что?

— Ничего страшного, Илемби. Спасибо, что принесла,— собрав всю силу воли, улыбнулся Васильков.— Ты иди, иди, раздавай почту. Со мной все в порядке.

Уже после ее ухода Иван Прокопьевич обнаружил в конверте еще одну малюсенькую бумажку. Видно, здорово экономят в нарсуде. В бумажке предлагалось прибыть к народному судье на предварительную беседу. Перед утопающим появилась соломинка, то есть какой-никакой шанс на победу правды. Васильков, конечно, в него вообще-то верил мало, но верить хотел, и одно это придавало кое-какую бодрость.

Народный судья Александр Илларионович Варсанофьев оказался человеком лет сорока. Среднего роста, полноватый, крупноголовый, он выглядел добродушным, мягкохарактерным человеком. Небольшие голубые глаза постоянно лучились каким-то теплом, толстые губы расплывались в легкой открытой улыбке. Хотя и был обычный рабочий день — кажется, среда,— судья был одет в темно-синюю тройку из тонкого шерстяного материала, в белую сорочку, при в меру модном узком галстуке темно-вишневого цвета... Одним словом, от него так и веяло интеллигентной степенностью. Впрочем, наверное, так и должно быть. Ведь по годам он не чета следователю ОБХСС или даже помощнику прокурора — находится в том самом цветущем возрасте, когда человек мужает и становится во всем самостоятельным, если бог дал ему способность быть таковым.

А когда Варсанофьев стал его расспрашивать обо всем подробно, при этом слушая весьма внимательно, Васильков, проникшись к нему доверием, вообще приободрился.

— Ну что ж, Иван Прокопьевич,— совсем успокоил его под конец Варсанофьев, — волноваться вам не следует. На суде все будет сделано по закону и только по закону. Правда, все мы люди, все человеки, можем иногда и ошибиться. Чтобы не допустить этого, советую нанять адвоката. Знаете, в обслуживающей наш район юридической консультации есть толковый мужик, Геннадий Васильевич Кочергин. Конечно, человек он очень занятой, ведь, как в любом деле, хороший спец всегда нарасхват. А все-таки постарайтесь встретиться с ним, поговорите. Завтра он как раз приезжает к нам на суд...

Адвокат Кочергин, ссылаясь на отсутствие времени,

согласился поговорить с Васильковым во время обеденного перерыва. Само собой, пришлось пригласить его в ресторан. Сам Иван Прокопьевич, по правде говоря, туда ни разу в жизни не заходил, потому держался стесненно. Видя такое дело, Кочергин тут же взял бразды правления за столом в свои руки.

— Иван Прокопьевич, если позволишь, я закажу себе граммов сто пятьдесят коньячка,— сказал он сразу.— Давление, понимаешь, мучает. А сегодня, как назло, такой сложный процесс...

— Да, да, конечно,— поспешно согласился Васильков.— Только вот табличка тут висит. Вроде бы не отпускаются спиртные...

Но Кочергин его уже не слушал, что-то нашептывал подошедшей официантке на ухо. Та вскоре принесла ему вместе с холодными закусками полный стакан чаю, который почему-то был выпит в первую очередь и залпом, после чего адвокат очень уж энергично начал закусывать.

На вид Кочергин внушительнее даже самого Варсанофьева. Почти двухметрового роста, косая сажень в плечах, крупная голова на мускулистой шее атлета.

— Ты, Иван Прокопьевич, не волнуйся,— успокаивал Кочергин, мощно работая челюстями: шашлыки были приготовлены из старой говядины и приходилось их тщательно разжевывать.— Сделаем все возможное и даже невозможное, чтобы тебя оправдать. Но, не обижайся, скажу прямо: на те рублишки, что мне положено по прейскуранту, я много не наработаю. Ведь придется несколько раз съездить в Башколу, ознакомиться там, в объединении вашем, с документами, да и в Айдарово не раз придется приезжать в прокуратуру и в нарсуд. Сам видишь, на положенную адвокату четвертную всего этого не сделаешь. Так что, думаю, сотенную на командировочные расходы придется добавить. Можешь, конечно, и не добавлять, твое право. Но тогда, признаюсь, я не смогу как следует подготовиться к защите. От его мощного голоса, будто усиленного через громкоговоритель (когда он под действием коньяка, то бишь «чая», забывался и включал его на полную силу), нет-нет да и дрожали оконные стекла, словно низко над рестораном пролетал реактивный самолет. Так что Василькову временами становилось жутко неудобно: в зале все-таки было полно людей. Движения Кочергина тоже уверенные, лунообразные глаза, казалось, не знали сомнений. Вакхалыхи говорят: подбирай работника за столом. Или: как ест, так и работает. Василькову тоже

казалось, что такой хваткий адвокат может все. Он тут же, не раздумывая, выложил на стол сто рублей. Что деньги, честь дороже!

Через несколько дней состоялось заседание суда. Проходило оно в старом, невзрачном деревянном здании, в небольшом зале с чуть ли не довоенной мебелью. За столом восседали народный судья Варсанофьев и заседатели — седой брюзгливый пенсионер и доярка из какого-то отдаленного колхоза. Слева от стола судей сидела, нервно посматривая на часы, помощник прокурора Тунюк, справа — адвокат Кочергин и Васильков, перед ними, чуть ближе к середине,— директор «Объектива» Зубова. Недалеко от стола судей за маленьким столиком расположилась еще судебный секретарь, худенькая девчушка лет восемнадцати, которая вошла в зал раньше Варсанофьева с заседателями и, судорожно привстав при их появлении, мальчишеским дискантом громко крикнула: «Встать! Суд идет!» Хотя в зале кроме названных лиц никого не было.

Васильков почувствовал, как у него задрожали руки, затем — все тело, словно озноб насквозь прошиб. Думал, не удержится на ногах, пока усядутся судья с заседателями. Что ни говори, он находился в таком серьезном заведении, причем в качестве ответчика. Ему казалось, здесь или может произойти что-то страшное (а что — даже не представлял), или же придет облегчение, как яркое теплое солнце после долгих пасмурных и холодных дней. И в том, и в другом случае, конечно же, вначале должно произойти какое-то чудодейственное таинство... нет, не то... магическое воздействие святости законов на сидящих в зале людей. А раз так, выходит, после суда к Василькову могло прийти только облегчение, поскольку он себя никак не чувствовал виновным.

Но все происходило до странности обыденно, даже просто буднично. Вначале судья монотонно зачитал, в чем обвиняется гражданин Васильков. Как понял Иван Прокопьевич, это была бумажка, составленная помощником прокурора. Он никак не мог взять в толк, почему же ее читал судья, а не сама Тунюк. Или он заранее согласен с ее мнением? Затем дали слово Зубовой, которую почему-то называли истцом. Она рассказала то же самое, к тому же безбожно привирая, будто Васильков был несколько раз предупрежден за нарушения, однако выводов сделать не захотел, продолжал игнорировать инструкцию и обманывать объединение в целях наживы... От наглого вранья директора у Василькова внутри аж все кипело, хотелось тут

же встать и какими-то сильными, насквозь пронизывающими словами, которые вряд ли нашлись бы, пригвоздить ее перед всеми к позорному столбу; он удерживал себя лишь из-за боязни, как бы сгоряча не наговорить чего лишнего. Тем более Кочергин сидел спокойно, невозмутимо, выделяясь среди всех мощной фигурой, как скирд среди копен. Это вселяло надежду, что все будет поставлено на свое место.

Затем начали задавать вопросы истцу.

— Скажите, э-э, уважаемая Маргарита Федоровна, а часто у вас в объединении случаются такие безобразные факты обмана?— спросил заседатель-пенсионер.

— Знаете, хоть это говорит о моей недостаточной воспитательной работе в коллективе, но я вынуждена признать, что подобные факты, к сожалению, случаются,— вздохнув, ответила Зубова.— Фотографы — это такой народ...

— Да, да,— согласно закивал седой головой пенсионер.— Вот неделю назад я сфотографировался. У нас же, в районе. Заплатил за три снимка. А мне сделали шесть. Говорят, бумага такого формата, что ежели шесть не напечатать, половину придется зря выбросить. Пришлось брать. Правда, взяли с меня полцены, но без квитанции же. Вот народец...

— Протестую!— гаркнул Кочергин.— Это к делу не относится.

Услышав его мощный голос, другой заседатель — доярка, сидевшая, не смея поднять головы, аж вздрогнула от неожиданности, виновато кашлянула в кулак, краешком глаза осмотрела всех сидящих в зале и снова уставилась в стол.

— Действительно, давайте говорить только о деле,— сделал замечание заседателю-пенсионеру судья.— Времени в обрез. На два часа другое заседание назначено.

— Гражданка Зубова, судя по акту комиссии вашего объединения, фотограф Васильков за десять месяцев прошлого года — а именно об этом периоде идет речь в документе — вообще не делал снимков, входящих в план по быту. Неужели так-таки ни одного?— ехидно спросил Кочергин.

— Я сама, разумеется, не участвовала в работе комиссии,— объяснила Зубова ровным голосом.— Но членам комиссии я верю. Это наши надежные, проверенные товарищи.

— Скажите, а есть ли доказательство того, что ответ-

чик, будучи фотографом вашего объединения, был ознакомлен с упомянутой вами инструкцией?— опять спросил Кочергин.— Скажем, журнал, где он в этом расписался, или протокол собрания фотографов, где бы обсуждался какой-нибудь подобный вопрос.

Зубова немного замялась, нервно задергала тоненькими изящными пальчиками края сверхмодной кофты, похожей на перевернутый колокол. Это не голова торчала из кофты, а язычок из колокола. Он позвенькивал, не зная, удариться ли как следует об стенку, чтобы пошел настоящий звон, или обойтись пока без этого. Но замешательство продолжалось недолго.

— Да тут и доказывать нечего,— ответила Зубова.— Выдержки из этой инструкции висят у нас в дирекции, в красном уголке. Любой может подойти и почитать.

У помощника прокурора вопросов вообще не оказалось.

Затем судья немного, словно лишь для видимости, порасспросил Василькова. Тот рассказал все как есть. После чего судья и заседатели удалились в соседнюю комнату, посовещались минут пять, пришли снова. И судья Варсанофьев зачитал решение суда.

На основании каких статей какого кодекса, с какой формулировкой объявили его виновным, в связи с чем немного смягчили наказание — Васильков не запомнил, да и запомнил бы — все равно не понял бы о чем речь. Он осознал одно, страшное, позорное: его все-таки признали мошенником; заставляют выплатить половину искомой объединением суммы и госпошлину — всего округленно восемьсот рублей. И еще понял: это решение не окончательное, его можно в десятидневный срок обжаловать в Верховный Суд автономной республики.

Все разошлись. Зубова взяла под руку помощника прокурора, и они вышли через зал, судья и заседатели — через заднюю дверь.

— Ну а мы что сидим, Иван Прокопьевич?— громыхнул своим басом Кочергин.— С благополучным исходом тебя, во-первых. Во-вторых, пора обедать. Слышал, в два часа другое заседание начнется? Там я тоже одного защищаю. А на голодный желудок защищаться трудновато, хо-хо-хо!

Адвокат встал, начал собирать в папку свои немногочисленные бумаги.

— О чем вы говорите, Геннадий Васильевич?— глядя на него снизу вверх, жалобным голосом проговорил Васильков.— Аль не поняли: обвинили меня не знамо за

что, взыскивают восемьсот рублей. Нешто это благополучный исход? Слыхали, что судья сказал: решение можно обжаловать в течение десяти дней... Вы меня лучше надоумьте, как это сделать?

— Да ты что, Иван Прокопьевич!— Кочергин даже сел, посмотрел лунообразными глазами на своего подзащитного, словно на несмышленыша.— Добровольно в петлю хочешь лезть? Тебе же льготы дали как участнику войны и ветерану труда. А так могли бы все сто процентов взыскать. Так что отдай ты эти восемьсот рублей и забудь все, как дурной сон. А сунешься с кассацией... Да ты знаешь, какие в Верховном Суде дяди сидят? Там с нами миндальничать не будут.

— Разве в сумме дело? Да пусть ишшо взыщут, коли есть за что,— попытался объяснить адвокату свою мысль Васильков.— Но я ни в чем не виновен, понимаете? А из меня преступника сделали. Вот в чем дело.

— Какого преступника?— сделал удивленное лицо Кочергин.— Это же не уголовное дело. У тебя же амнистия. Это, слава богу, только... гражданское дело по иску «Объектива».

— А ежели бы не было этой амнистии?— стоял на своем Васильков.— Стало быть, получается, я вообще-то преступник, но государство меня жалеет как фронтовика... Дак перед людьми же я все равно мошенник. Геннадий Васильевич, давай напишем эту... как ее... кассацию. Я суммы не боюсь. Один я живу, мне много не надобно. Аль я буду честный человек, аль мошенник — одно из двух. А деньги — восемьсот ли рублей, полторы ли тыщи — все одно.

— Нет, Иван Прокопьевич, дорогой, не советую я тебе писать, не советую,— уже решительно стал настаивать на своем и Кочергин.—Ты пойми, жизнь-то она штука сложная. Ты вот живешь в своей деревне... как ее... Хыркасах. Кто может быть у тебя самым могущественным покровителем?

— Кем, кем?— не понял Васильков.

— Ну, кто из авторитетных людей может за тебя лезть в огонь и воду?

Васильков задумался, стараясь прежде всего осмыслить вопрос адвоката.

— Есть один... Правда, пенсионер он, но шибко грамотный человек, учитель бывший,— сказал через минуту.

Сильный хохот адвоката затряс все старенькое деревянное здание нарсуда. Смеялся он от души и долго, хотя только что говорил, что спешит на обед. Затем вплотную

приблизил свое мясистое, огромное лицо к Василькову, сказал, словно уличил в глупости:

— Вот видишь, у тебя самый высокопоставленный друг — учитель-пенсионер. А Зубова в Башколе живет, с министрами знается. Куда тебе с ней тягаться! Ты извини, что так грубо, но говорю прямо, по-мужски. Выше головы, брат, не прыгнешь, нет, не прыгнешь.

— Все-таки напишем эту кассацию, а?— хоть и начал терять надежду, а все же еще раз попросил Васильков.

— Нет, брат Иван Прокопьевич, нет. Я не желаю выглядеть дурачком, потому категорически отказываюсь это делать!— отрезал Кочергин и встал, взяв папку под мышку, решительно потопал из зала. В дверях крикнул:— И ты не вздумай глупить, очень тебе советую! Себе дороже выйдет!

Весь опустошенный, измочаленный вернулся Васильков домой. Хоть и ехал по знакомой до каждой колдобины дороге, на небольшой скорости, на повороте чуть в кювет не залетел на своем «Урале».

Дня три он жил безвыходно, палец о палец не ударив, чтобы хоть чуть наладить дела по хозяйству. А время было горячее, про которое говорят, что день год кормит. Соседи давно управились с посадкой картофеля, а Васильков еще и огород не вскопал. В небольшом саду тоже царило полнейшее запустение: высохшие ветки не обрезаны, стволы яблонь не побелены, кустарники не опрысканы, кусты земляники не обработаны. В свинарнике отчаянно визжал поросенок, согласный под нож прежде времени пойти, чем голодать, куры тоже требовали корма, не довольствуясь диетой из зеленой травки. Васильков только чертыхался: пропади оно все пропадом!

На четвертый день к нему с утра заявился Виктор Васильевич. Одет он был по-праздничному: в темно-коричневом в полоску костюме, белой рубашке, при галстуке. Правда, орденов и медалей на груди не было, хотя, знал Васильков, имелось их у него предостаточно. Львов не носил их из принципа, говорил, не за них защищал Родину... Увидев своего йолташа при параде, Васильков вспомнил, что сегодня праздник — День Победы. Надо же, из-за этих невзгод такая дата вышиблась из памяти!

— Ты что до сих пор не собрался?— удивился Виктор Васильевич, увидев Ивана Прокопьевича в домашней одежде.— И вообще, я смотрю, начал жить затворником. После суда даже не показался, не рассказал, что да как. Наверное, все благополучно обошлось, потому и молчишь?

— А-а, благополучно... для Зубовой!— махнул рукой Васильков.

Виктор Васильевич явно не ожидал такого ответа.

— Что, засудили тебя?— то ли удивился, то ли возмутился он.— И ты до сих пор молчишь?

— А что говорить-то? Расстраивать только людей почем зря...

Виктор Васильевич нахмурил брови, на его широком лбу четче обозначились многочисленные морщины. Значит, глубоко задумался.

— Ты, Йыван, давай переодевайся быстрее. На митинг мы с тобой все-таки сходим. Грех нам не отметить такой праздник. Товарищи погибшие не простят. Заодно поговорим, обмозгуем все как следует...

С митинга они снова спустились к Василькову. Иван Прокопьевич поставил на электроплитку чайник. Газ у него давно кончился, а идти за новым баллоном через всю деревню не хотелось. Какое там, даже сегодня, на митинге, ему стыдно было людям в глаза смотреть. Хотя, похоже, весть о том, что его засудили, еще не дошла до Хыркасов.

— Та-ак, стало быть, вон как завершилось твое дело,— подытожил Виктор Васильевич. Васильков по дороге туда и обратно подробно рассказал ему о том, как проходил суд и какое вынес решение.— И что же ты молчал до сих пор? У тебя же всего десять дней, чтобы написать кассационную жалобу. Теперь уже даже не десять.

— Зачем писать? Куда? Толк какой от этого!— крикнул, будто застонал, Васильков.— Понимаешь, этот здоровяк адвокат мне все растолковал. Писать кассацию отказался. Наотрез! Поскольку все это пустое дело, сказал. И вообще, знаешь, живем мы с тобой, словно с Луны свалились...

Виктор Васильевич на что человек выдержанный, и то прямо-таки был ошарашен такой вестью.

— Ка-ак? Отказался?— переспросил он недоуменно.— Я, конечно, не знаю их правил, но в книгах, в кино всегда показывают, что адвокаты даже явных преступников защищают до последнего. А тут... Отказаться защищать честного человека! Да что же это такое, товарищи, а? Да где мы живем? Не-ет, обязательно надо писать кассацию в Верховный Суд. Не может у нас такого быть, не верю. Не те нынче времена...

...Откуда знать ему, да и Василькову, что накануне суда Кочергину позвонил из Башколы заместитель прокурора республики Тыхтаман.

«Добрый вечер, Геннадий Васильевич!»

Услышав хриплый высокий голос, Кочергин сразу насторожился, чуя недоброе. Пусть бы земля проглотила этого человека с бабьим голосом! Сколько неприятностей перетерпел он из-за него.

«Не узнал, Геннадий Васильевич?»— опять захрипело в телефонной трубке.

«Что вы, разве можно вас не узнать, Феофан Петрович. И вам желаю доброго вечера!»— по возможности сбавляя мощь своего голоса, ответил Кочергин.

Тыхтаман ради приличия порасспросил немного о житье-бытье адвоката. Но Кочергин знает: не стал бы он звонить ради этого, если бы даже умирал от скуки и безделья. И точно, вскоре Тыхтаман заговорил о деле:

«Слушай, мне сказали, что ты в Айдарове защищаешь какого-то фотографа. Что это за дело?»

«По-моему, фотографа следует оправдать на все сто процентов. Честно говоря, я даже не понимаю, зачем прокуратура такое дохлое дело вытаскивает на суд»,— прямо сказал Кочергин.

«Зачем — это знают те, кому надо,— заметил Тыхтаман.— Твое дело — не мешать прокурору».

«Да намекал мне Варсанофьев... Я сразу подумал, что вовлекли меня в это дело по вашему предложению. Но ведь, если кассацию напишут, Верховный Суд все равно оправдает фотографа»,— попытался объяснить Кочергин.

«Это тоже не твое дело. Все же, чтобы ускорить решение вопроса, ты, повторяю, не мешай обвинению. Ну, защищай для виду... Что я, учить тебя должен?.. Но, главное, как раз постарайся, чтобы никакой кассации не было. Ясно?»

Еще бы не ясно. Просто так Тыхтаман разве будет такие вещи говорить.

«Феофан Петрович, вы, наверное, забыли, что я как-никак адвокат»,— все же возразил Кочергин.

«А вы не забыли кое-что другое?— резко оборвал его Тыхтаман. — Наверное, с бедного фотографа тоже содрали «командировочные»? Не раз мы спасали вас от беды, но удастся ли в следующий раз?..»

Они еще минуты две-три поговорили о том о сем. Но это нам, полагаю, не интересно, потому вернемся к разговору Львова с Васильковым.

— Так где у тебя решение райнарсуда?— спросил Виктор Васильевич.— Давай его сюда, я сам напишу, раз

они так. Пусть неправильно, пусть не по форме, а напишу. Наверное, не в форме изложения дело, а в сути...

— Дак... нету у меня решения,— растерянно развел руками Васильков.— Разве дают его на руки?

Виктор Васильевич долго-долго смотрел йолташу в лицо. Затем грустно улыбнулся, обнял его, похлопал по плечу.

— Эх, Йыван, Иван Прокопьевич, дорогой ты мой,— сказал, горько усмехнувшись.— Живем жизнь называется. Простофили мы с тобоой, дурачины, вот кто. Действительно, с Луны свалились. С таким страшным врагом воевали в войну, победили, а тут не знаем, как себя от внутренних супостатов защищать. Вот потому и топчут нас, рты нам затыкают. Ты-то знаешь, мне в жизни несправедливостей тоже немало досталось. Но я никогда даже на мгновение не сомневался, что исходят они не от Советской власти, а от отдельных зарвавшихся личностей, узурпировавших эту власть. Я всегда верил в конечное торжество справедливости. К тому же когда все это было. Сейчас вроде бы совершенно другие времена... Одним словом,— оптимистически закончил мысль Виктор Васильевич,— завтра же езжай в нарсуд, забери решение и прямиком ко мне! У нас еще есть время.

Много ли человеку надо! Одно обещание йолташа помочь, заступиться за него тут же приободрило Василькова, вновь вселило надежду. Хотя, понятно же, это обещание само по себе не гарантировало еще ничего: из памяти не выходили слова Кочергина о покровителях. Тем не менее после ухода Львова, несмотря на праздничный день, Иван Прокопьевич наконец-то рьяно взялся за домашние дела: покормил поросенка, кур, вытащил из подполья мелкий картофель на семена (хотя и понимал, что опоздал с яровизацией, а все же лучше поздно, чем никогда), затем, взяв садовые ножницы, дотемна провозился с деревьями, освобождая их от ненужных сухих веток.

На следующий день Васильков с утра поехал в Айдарово, в райнарсуд. Варсанофьев встретил его все так же приветливо, с теплой улыбкой. Но, узнав цель приезда Василькова, несколько помрачнел.

— Что, Иван Прокопьевич, решил-таки кассацию написать?— переспросил он.— А Кочергин мне обещал... э-э... говорил, что вы отказались от этой глупой затеи.

— Да нет, не отказался вот,— виновато подтвердил свое намерение Васильков.

— Обиделись на меня? Считаете, неправильно засудил

судья Варсанофьев? А зря. Можете, конечно, попытаться оспорить наше решение. Это ваше право. Однако ничего у вас не выйдет, только лишняя нервотрепка получится,— все объяснял судья, не торопясь отдать экземпляр решения.— Вы пожилой человек, и я не мальчик. Так я вам с глазу на глаз могу прямо сказать: да, с вас можно было и не взыскивать ничего. И все же пришлось. И решение это останется в силе. Такова жизнь.—Варсанофьев тяжело вздохнул, сморщив широкий прямоугольный лоб, отчего вдруг показался старым, несмотря на изысканную одежду — неинтеллигентным.— В ней не всегда получается так, как надо бы... Надеюсь, вы меня поймете и не станете сами себя загонять в угол. Да отдайте вы эти восемьсот рублей. В конце концов, здоровье и спокойствие дороже стоят.

Вроде бы и правильно говорил судья, но все получалось шиворот-навыворот. Впрочем, Васильков особо не вникал в смысл его слов. Судья — человек чужой, хочет ли он добра или преследует какие иные цели — бог его знает; а Львов — йолташ, его искреннее желание помочь проверено четыре с лишним десятилетия назад и с тех пор ни разу не подвергалось сомнению. И Васильков молча и требовательно протянул руку в сторону Варсанофьева. Тот посмотрел на эту полную, но жилистую руку, вздохнул еще раз, улыбнулся и вручил копию решения; когда Иван Прокопьевич вышел, холодно попрощавшись, с сильным хлопком закрыл папку с документами, зло стукнул кулаком по столу. Кажется, злился он не на Василькова, а на кого-то другого, не присутствующего здесь, а может, и на самого себя.

А дальше события завертелись на удивление быстро.

Через два дня к Василькову неожиданно нагрянул адвокат Кочергин и своим громоподобным голосом битый час уговаривал его не отправлять кассационную жалобу. Даже заявил, что за делом следят очень большие люди в верхах, они заинтересованы только в нужном для них исходе и, конечно же, не позволят какому-то фотографу взять верх. А если Иван Прокопьевич станет рыпаться, его просто-напросто поставят на место, но так, как ставили в старину мужики конокрадов. Не в прямом смысле, конечно... Но ему пришлось убраться ни с чем.

Через неделю Кочергин вернул Василькову сто рублей, взятых якобы на командировочные расходы. На корешке почтового перевода было написано: «Уважаемый Иван Прокопьевич! Поскольку вы отказались от моих услуг,

возвращаю не отработанный мной гонорар». Одновременно с переводом пришло от него письмо с распиской на остальную сумму. Расписка якобы дана еще в апреле. Но была еще квитанция, подтверждающая внесение этих денег в кассу юридической консультации. На ней указана дата майская. Значит, внес он их лишь после неудачных переговоров с Васильковым.

Через два месяца Верховный Суд автономной республики рассмотрел кассационную жалобу. Самого Василькова туда почему-то даже не вызывали. Вопреки предсказаниям Кочергина и Варсанофьева, Верховный Суд нашел, что райнарсудом вынесено неправильное решение. Правда, дело не закрыл. Оно было отправлено на дорасследование. Как объяснил Варсанофьев, передавший решение Верховного Суда Василькову, после дорасследования снова состоится суд, где учтут выявленные новые обстоятельства и примут более объективное решение.

Еще одно важное событие произошло за это время в жизни Василькова: он женился на Илемби. Правда, без шума, без свадьбы, и все же... Как это произошло, Виктор Васильевич подробно не знал, а потому и сыну толком не смог ничего рассказать. Лишь добавил в конце, что, как бы ни было, этому и он, и Пелагея Петровна очень рады.

ЧТО БЫЛО

«Значит, Илемби — жена этого самого йолташа отца — Василькова! Вот почему она оказалась на той улице, хозяйкой в том доме....»

Они с отцом давно уже вышли из бани и теперь сидели на веранде, накинув на шеи махровые полотенца и время от времени вытирая с лица, с груди все еще обильно выступающий пот, гоняли чаи, приготовленные Пелагеей Петровной по разным рецептам: из магазинного грузинского чая, из цветов липы, из листьев смородины, из зверобоя, из смесей трав. Все они были очень вкусные, хотелось каждый попробовать по стаканчику, но, как говорится, дальше уже было некуда.

Только что узнанная весть о том, что Илемби — жена Василькова, несколько разочаровала Бориса Викторовича в ней. Он, конечно же, понимал, что она когда-никогда должна была выйти замуж, но почему же именно за человека, который намного старше нее? Или она раньше не могла семьей обзавестись? Но хуже всего то, что Борису

Викторовичу почему-то казалось, будто его обокрали, обманули. Конечно, для подобных мыслей у него нет абсолютно никаких оснований. Илемби не обязана соблюдать ему верность, требовать от нее этого значило быть в высшей степени эгоистом. Тем более сам он давным-давно женился и многие годы вообще не вспоминал ее. Образ Илемби начал изредка являться перед глазами только тогда, когда все чаще и чаще Арыслана стала одолевать горестная мысль, что жизнь вообще, а семейная в особенности, не удалась, и впереди его не ждет ничего хорошего. Иногда, правда, думалось, что, может быть, мысль эта, как говорится, лишь продукт пессимизма. Вот получат они когда-нибудь квартиру, вот придет время, когда будут издаваться лишь книги, принимаемые читателем, да и труд писателя будет оцениваться как подобает... И Львовы заживут тогда «как люди». Но годы шли, ничего не менялось. А увиденное в кабинете директора театра, казалось, поставило крест на последние надежды хотя бы о семейном благополучии. После всего этого, встретив случайно (случайно?) Илемби, он в какой-то момент даже подумал, что она по-прежнему дорога, мало того, она близка ему. И пусть бы эта воображаемая близость не грела, лишь светила. Но вдруг такое ошеломляющее известие... Значит, и тут у него ни малейших надежд, а промелькнувшая мысль о близости Илемби была лишь самообманом, самовнушением, основанным, быть может, на излишней самонадеянности.

И все-таки: почему она до сих пор не выходила замуж? Ему очень, очень хотелось это знать. И, чего скрывать, хотелось услышать: из-за тебя не смотрела она ни на кого, только из-за тебя. Но как о таком спросишь? И Борис Викторович решил все разузнать окольным путем.

— Атте, скажи, а почему твой йолташ, то есть Васильков этот, до сих пор был холост?— спросил он.

— Почему «был холост»? Он был женат,— охотно объяснил Виктор Васильевич.— В пятьдесят втором во время симека[31] женился. Однако через полгода его жену засудили. А в тюрьме она, говорили, повесилась будто бы. Видать, не вытерпела позора.

Вот так новости! Час от часу не легче...

— Значит, она была воровка? Или еще чего-то натворила?

Виктор Васильевич неодобрительно крякнул, сердито посмотрел на сына.

— Она была очень и очень порядочной женщиной, ка-

ких еще поискать надо,—сказал затем тихо, но твердо.

Вошла мать, принесла целый поднос свеженспеченных блинов, чашку только что растопленного масла.

— Ты что не идешь в баню?— спросил ее Виктор Васильевич.

— Успею. Я жару не выношу,— отмахнулась Пелагея Петровна и тоже села за стол.— Вот почаевничаю с вами и пойду. Можно, чай?

Борису Викторовичу хотелось продолжить начатый разговор. Ведь главного-то он еще не узнал.

— И все-таки, атте, как же так: была порядочной женщиной... и угодила в тюрьму. Непонятно,— сказал он отцу, отставив свой полупустой граненый стакан с напитком из липовых цветов.

— Это вы об чем?— поинтересовалась Пелагея Петровна.

— Да о жене Йывана... Первой...— неохотно объяснил Виктор Васильевич.— Сын интересуется, как она в тюрьму угодила.

Пелагея Петровна сурово посмотрела Борису Викторовичу в глаза, твердо, даже жестко сказала:

— Честная была сверх меры, вот и угодила.

Это уже совсем из области непонятного. Ясно же, просто так в тюрьму не сажают. С другой стороны, его родители слов на ветер не бросают, если утверждают что-то, значит, глубоко уверены в своей правоте.

— Ну а все-таки? Или это секрет какой?— настоял Борис Викторович.

— Ладно, расскажу, если тебе так интересно,— согласился отец. Отпив глоток чаю, ровно продолжил:— Вернулись мы с Йываном с войны, как я уже рассказывал, в разное время. По идее, он по возрасту должен был еще оставаться в армии, но в апреле сорок пятого его в который раз ранило, и из госпиталя Йывана сразу отправили домой. Весь изрешеченный, не годился уже для строевой службы. А я как бывший учитель вроде бы должен был демобилизоваться в числе первых. Но тут узнали, что я в школе преподавал математику. До войны я ведь не имел специального педагогического образования, после окончания в Москве рабфака работал в школе так, без диплома, математиком...

— Атте, ты кончил рабфак? В Москве?— сильно удивившись, прервал его рассказ Борис Викторович.— В первый раз слышу. Почему мы, дети твои, об этом не знаем?

— Раньше вам, сын, не надо было этого знать. А потом

не нашлось удобного момента, чтобы рассказать. Но если тебе интересно, скоро узнаешь и об этом,— пообещал Виктор Васильевич.— А сейчас давай дослушай об Иване Прокопьевиче... Так вот, когда узнали, что я математик, оставили меня в армии еще на год. Перевели в строительный батальон на должность инженера, хотя я был всегонавсего сержантом пехоты. Батальон восстанавливал после войны мосты, а инженеров не хватало. Я как-никак мог делать хотя бы несложные расчеты... Так вот, когда я после демобилизации... по воле случая... оказался в Айдарове, а затем в этой деревне, Йыван, видно, как раз начал дружить со своей будущей супругой.

— С Варвари-то?— вмешалась Пелагея Петровна.— А как с ней раньше можно было дружить, ежели ей тогда было-то всего семнадцать от роду.

— Я и говорю,— продолжил Виктор Васильевич.— А Йывану тогда пошел уже двадцать третий. К тому же война за плечами. Одним словом, к созданию семьи он относился весьма и весьма серьезно, не то что современная молодежь. Считал, что пока своего дома не будет, не имеет права жениться. Вообще-то дом у него был, от матери остался, только не больше нашей бани, и то полусгнивший, под соломенной крышей... Вот он и начал копить средства. А что в те годы честным трудом накопишь, коли зарплаты кот наплакал. И затянулось у него это дело. В пятидесятом начал-таки строиться. В пятьдесят втором подвел дом под крышу. И не выдержал, летом женился. Ведь Варвари пошел тогда двадцать третий. По деревенским понятиям, она стала старой девой. К тому же Йыван, похоже, понадеялся, что на оставшиеся кое-какие деньжата уже сумеет поставить печь, достроить сени. Сам же плотником был, да и многое другое умел... Так оно и вышло бы, да тут начали заем распространять. На это дело имелся жесткий план, и его выполняли не глядя ни на что, иначе районное начальство само не снесло бы головы. Нас, учителей, заставляли подписываться на месячную или двухмесячную зарплату, в зависимости, какая у кого семья. А колхозников, помню, заставляли так: если в семье нет детей, мужчины должны подписываться на тысячу, женщины — на семьсот рублей. Йыван тогда как раз в своем айдаровском колхозе плотничал. Вот так они с Варвари сразу оказались должниками перед государством на целых тысячу семьсот рублей. Да еще всякие налоги прибавь...

— Так заем же — дело добровольное,— начал было возражать Борис Викторович, но взглянул в глаза отцу и

замолк: понял, что сморозил глупость. Впрочем, Виктор Васильевич будто бы не заметил этого, продолжил ровно:

— А время идет, год подходит к концу, стало быть, подходит и время рассчитаться с долгами. А где колхознику столько денег найти? Хоть недостроенный дом продавай... И Варвари поддалась уговорам одной спекулянтки, решила на этом непристойном деле хотя бы немного заработать. В сельских магазинах тогда мало что можно было достать, вот и возили спекулянты из города платки разные, батарейки к карманным фонарям, нитки и прочие такие вещи. На их покупку тоже нужны деньги. Да еще на дорогу. И ухнула Варвари на это предприятие почти все оставшиеся деньги Йывана. А выручить ничего не успела. Кто-то, видать, подал на спекулянтов сигнал в милицию. Наверное, хотели схватить ту, настоящую мошенницу, а получилось, сцапали обеих. Ну та, настоящая, отвертелась, наврала, что накупила вещи для соседей, родных и знакомых. Уж очень, мол, они просили. Видно, на такой случай у ней и договоренность была с некоторыми, чтобы, значит, подтвердить ее слова. А Варвари что, хлопала глазами от неожиданности и испуга, наврать с три короба у ней смелости и нахальства не хватило, вот и призналась, что продать вещи хотела... А уж они с Йываном любили друг друга!.. Потому и не женился он потом ни на ком. И дом новый не достроил, пришлось-таки его продать, чтобы уплатить заем. Я предлагал ему взаймы все, что имел, но он не взял. Гордый был. Да и меня, видно, жалел. Я с семьей тогда только на ноги поднимался... Так вот, подремонтировал Йыван старый дом, да так и жил в нем. А потом и вовсе уехал. Долго колесил по стране. Когда же вернулся, прожил в Айдарове недолго, в Хыркасы переехал. Это он со мной рядом захотел быть, других друзей так и не сумел завести. Однолюб он...

История давно минувших дней... Она Бориса Викторовича, казалось бы, ни с какого боку не касалась. Но почему-то стало грустно, да нет, даже тоскливо и тяжело. Хотелось быстрее отвлечься от услышанного, перевести разговор на что-то другое. Нехитрый, давно известный прием, к которому прибегают все, начиная от малышанесмышленыша и кончая глубоким старцем! Хочется добавить, нехитрый прием слабохарактерных, слабовольных людей.

— Послушай, атте, если Васильков тебе настоящий йолташ, стало быть, он все-таки был частым гостем у нас. Почему я его не знаю?—спросил Борис Викторович.

— Видишь ли, сколько тогда тебе было-то, в пятьдесят втором? А после несчастья с женой Йыван ни к нам, да и вообще ни к кому долгое время не ходил. Все работал на стороне, плотничал, говаривал, аж до Астрахани доходил вниз по Волге-то. Потом на целине проработал лет пять. Ну а вернулся — тебя уже в деревне не было... А может, все-таки помнишь его? Такой веселый был гармонист. В конце сороковых годов мы иногда гуляли вместе по праздникам.

Точно! Гармонист приходил. Это Борис Викторович помнил. Среднего роста, худощавый, но крепкий был мужчина. Веселый такой. Ну, это, наверное, оттого, что под хмельком находился... На двухрядке играл не ахти как, плясовую русскую да вакхалыхскую, несколько песен, в том числе «Катюшу», выводил. Но, помнится, Борис сильно ему завидовал. Лицо гармониста, правда, так и не вспомнилось... Вот, значит, кто теперь муж Илемби... Как только Борис Викторович подумал об этом, мысли его снова вернулись к изначальному моменту разговора. Да, главного же он так и не узнал.

— А Илемби, его нынешняя жена, что, до этого замуж так и не выходила?— не удержавшись, спросил-таки он напрямик.

— Нет,— мотнул головой отец.

— Почему?

На минуту воцарилась тягостная тишина. Только где-то под навесом тревожно кудахтала курица, собираясь снести яйцо... Мать с отцом вопросительно переглянулись.

— Из-за тебя, сынок!— ответила наконец Пелагея Петровна за мужа.

Слова оказались как раз такие, какие хотелось услышать Борису Викторовичу. Но сказаны не той, к тому же таким тоном, что лучше бы их не слышать.

— А при чем тут я?— как-то даже опешил он от металлического голоса матери.

Виктор Васильевич укоризненно взглянул на жену. Та сидела, плотно сжав губы, будто говоря: понимаю тебя, мне надо было молчать, но нет сил терпеть...

— Понимаешь, сын,— теперь уже вынужденно объяснил Виктор Васильевич,— в тот год, когда ты в Башколе женился на Тертту, Илемби чуть себя не порешила. Ее, уже висевшую под черемухой в овраге, вытащили из петли при последнем издыхании... По времени этот прискорбный случай почти совпал с вашей свадьбой, только чуть позже произошел, и некоторые могли подумать, что это...

— Чего там думать,— разжала-таки губы Пелагея Петровна,— аль так не ясно? Из-за Бориса все это она. Тогда ведь вакхалыхские девушки еще по-старинному любили... Ну а опосля такого случая, поскольку об этом по всей деревне слух прошел, кто бы захотел ее замуж-то взять. Такую в нашем народе не принято в дом пускать...

Сказала так и тут же встала, поспешила удалиться. Похоже, почувствовала себя виноватой перед мужем. Через минуту она уже хлопнула дверью сеней, затем калиткой. Видно, пошла в баню.

Отец и сын остались сидеть одни, не смея взглянуть друг другу в глаза.

На следующий день Борис Викторович с утра попытался поработать на веранде: в бане от печи все еще отдавало вчерашним теплом и сидеть было невмоготу. Однако или от перемены места, или от шума возившейся во дворе матери: то зачем-то во весь голос отчитывающей непутевую хрюшку, то начинающей монотонным «кыт-кыт-кыт!» зазывать кур, то скребущей железной лопатой дощатые тротуарчики,— сегодня не писалось. Почему-то нисколько не сожалея об этом, Борис Викторович отложил бумаги, накинул свою куртку со множеством замков и кнопок в самых ненужных местах и вышел прогуляться. Пошел по проторенному уже маршруту. Он, естественно, опять-таки привел к дому Васильковых. Но на калитке сегодня шнура от щеколды не было. Значит, дома никого нет. А после вчерашнего неожиданного открытия так хотелось поговорить с Илемби, да и с самим Иваном Прокопьевичем, возможно, не мешало бы встретиться. Борис Викторович после разговора с отцом решил помочь ему. Но сначала нужно узнать мнение самого Василькова на этот счет.

Из соседнего двора вышел мальчуган лет двенадцати-тринадцати с велосипедом, увидев незнакомого городского человека, с любопытством остановился, затем неуверенно приблизился к нему.

— Вы ищете Васильковых?—спросил он. Не дожидаясь ответа, тут же сообщил:— Дядя Йыван в больнице лежит. А тетя Илемби только недавно ушла в Айдарово. Наверное, к нему... Может, дяденька, что передать им?— тут же предложил свои услуги.— Я тоже еду в Айдарово за хлебом, могу заехать в больницу...

— Спасибо, мальчик, не надо,— отказался Борис Викторович и, вздохнув, повернул назад.

Милые деревенские картины сегодня не радовали его, наоборот, их постоянство, монотонность, отсутствие уличной суматохи раздражали, заставляя самовозбуждаться возмущением то ли на себя, то ли на деревню эту, то ли вообще на весь этот сложный и в то же время весьма примитивно устроенный мир, где все друг с другом встречаются, сталкиваются, переплетываются.

Приближаясь к дому, он увидел стоявший перед ним красный «Жигуленок». Кто же это заявился в такую пору? У братьев, помнится, машины не такого цвета, да и не приедут они в воскресенье. Их расписание: в пятницу вечером, после работы — в Хыркасы, в воскресенье утром — в Башколу. Среди знакомых Тертту, помнится, нет человека с красным «Жигуленком». А-а, это же Солбон Инжеватов приехал, догадался наконец Арыслан.

Так оно и оказалось.

— Да вот, приехал в Айдарово на встречу с читателями, попутно решил тебя проведать,— объяснил Солбон Арданович, еще не отпустив руку Бориса Викторовича.

Что-то часто все начали ездить в Айдарово...

Для приличия поговорив с Арысланом о том о сем, Солбон Арданович сразу перешел к делу. Он не из тех, кто тратит драгоценное время впустую, даже с товарищами.

— Я заехал к тебе сообщить, что через неделю, в понедельник, состоится совместное заседание секций прозы и поэзии,— деловито сказал Инжеватов.— Тебе там обязательно следует быть.

— А зачем? Ничего не случится, если один раз и пропущу,— проворчал Борис Викторович.

В Башколу, домой, не хотелось.

— Может случиться, Борис. Понимаешь, вопрос серьезный. Сейчас, сам же знаешь, план издательства по разделу художественной литературы рассматривается в секциях. Что и будет делаться на следующем заседании,— объяснил Инжеватов.

— Ну и что? Заявку в издательстве я оставил, рукопись представил. Насколько знаю, она отрецензирована, отзывы положительные. Зачем суетиться-то?— все еще не хотел соглашаться Арыслан, хотя, конечно, понимал, что вопрос на самом деле серьезный. Ведь план этот, как и раньше, составляется на два года вперед. И если твою рукопись туда не включат, не видать тебе книги раньше чем года через три. А она написана еще несколько лет назад... Кому хочется, чтобы о его творчестве судили по

творениям семи-восьмилетней давности. К тому же самое страшное — за это время книга может просто устареть и вообще не увидеть свет. И весь многолетний кропотливый труд пойдет насмарку... Тем не менее от одной мысли о необходимости ехать в Башколу становилось неприятно.

— А потому надо ехать, друг мой, что другие сильно суетятся,— с нажимом на последнем слове сказал Инжеватов.— Ты хоть знаешь, сколько заявок лежит в издательстве? На каждую позицию по две, даже больше. Так что... Вообще, мое дело предупредить, а там как знаешь, хозяин — барин. Да, вот еще что, Тертту Ульясовна передала тебе кое-что. Пойдем, сверток лежит в багажнике.

Значит, похоже, все-таки она попросила Солбона заехать или даже специально приехать к нему. Ангел-хранитель... Попечитель... Впрочем, на Солбона-то зачем сердиться.

Борис Викторович быстренько занес сверток и, поскольку Инжеватов, сославшись на спешку, от чая отказался, тут же вышел его провожать.

— Солбон, ты в Башколу отсюда напрямую поедешь или через Айдарово?— вдруг что-то сообразив, спросил Борис Викторович.

— Напрямую я дорогу не знаю. К тому же до Айдарова отсюда хоть и плохой, но все же асфальт,— объяснил Инжеватов, из чего выходило, что домой он поедет через райцентр.

— Тогда я с тобой. Мне в Айдарове надо кое-где побывать,— решительно сел в машину Борис Викторович.

С Инжеватовым он расстался еще на краю села, у райбольницы. Среди множества небольших деревянных и кирпичных зданий как-то быстро нашел корпус терапевтического отделения. Васильков, как ему сказали, вышел на прогулку в сад. Больничный сад оказался довольно-таки большим. Пришлось по нему изрядно походить, прежде чем через четверть часа наконец-то натолкнулся на Ивана Прокопьевича. Он сидел на скамейке со сломанной спинкой, под сплошь обсыпанной золотисто-зелеными плодами яблоней. Борис Викторович узнал его сразу, потому что... рядом с ним была Илемби.

— Салам, Иван Прокопьевич, Илемби Дугаровна!— поздоровался он, подойдя к ним не очень решительно.

— Добрый день!

— Салам!— дружно поприветствовали его Васильковы.

— Это — старший сын Виктора Васильевича,— объяснила Илемби мужу.

— Я знаю,— ответил тот, встал, тепло улыбнувшись, подал руку.— Борис, да? Известный писатель Борис Арыслан. Когда ты был махонький, возился я с тобой иногда. Киме[32] тебе выдолбил однажды. Поди, забыл все, а?

— Да помню немного,— соврал Борис Викторович.

— Ну, садись с нами,— предложил Васильков.— Рассказывай, как поживаешь. Как родители? Надо думать, ты из Хыркасов сюда попал? Когда встречаемся с Виктором Васильевичем, он частенько тебя вспоминает.

— Да, оттуда. Несколько дней уже дома живу...— Борис Викторович заметил, что Илемби почему-то смотрит на него настороженно, даже как бы с опаской, и сразу решил внести ясность в обстановку.— Отец рассказал мне о ваших мытарствах, попросил помочь. Вот я и приехал к вам... В общем-то он меня со всеми обстоятельствами ознакомил. Я только хотел узнать, где теперь находится ваше дело, Иван Прокопьевич?

— В последний раз меня вызывал к себе прокурор,— вдруг помрачневший, побагровевший, нехотя ответил Васильков.— Видать, у него это дело. Правда, опосля я сюды попал, може, поменялось что...— Затем взглянул Борису в глаза, сказал с отчаянием в голосе:— Ежели бы ты помог мне от этого позора избавиться...

— Думаю, никто вам ничего не сделает,— успокоил его Борис Викторович.— Вы не волнуйтесь, пожалуйста. Все будет нормально, вот увидите. Я, конечно, не юрист, но когда работал в газете, готовил немало материалов о работе правоохранительных органов. По крайней мере, что рабочий за искажение отчетности ответственности не несет, а переполученная зарплата не возвращается — это всем известно.

Васильков горестно вздохнул, сказал виновато:

— Эх-ха-ха-ай, Борис, разве я против этой самой ответственности, ежели виновен. И что лишку получил — вернул бы, ежели путем объяснили и попросили. Да и вообще...— безнадежно махнул он рукой.— Было бы только это. Тут другое ишшо прибавилось. Отец-то твой, Виктор Васильевич, пока не знает об том.

— А что такое?— насторожился Борис Викторович. По голосу Василькова можно было понять, что случилось что-то непоправимое. По крайней мере, сам он, видимо, так и думал об этом.— Расскажите, пожалуйста. Лучше, если я буду знать все.

Васильков грузно опустил плечи, начал дышать чаще и тяжелее.

— Не надо,— положив руку на его плечо, успокоила Илемби.— Я сама ему расскажу. А ты не волнуйся, не думай об этом. Не то снова приступ случится... И ты, Борис, не пытай его.

— Да, пожалуй,—согласился Васильков.—Ты, Борис, не обижаешься, что так, по-деревенски, тебя называю? Не обессудь. Я одно скажу: перед объединением у меня вины никакой, но вот в этом, новом случае окончательно запутался. То ли прав я, то ли виноват на самом деле — теперича и сказать ничего не смею.

Несколько минут посидели молча. Да и вообще было опасно продолжать этот разговор. Что ни говори, а происходит он в больнице.

— Знаете что, вы, оба, не тратьте-ка из-за меня времени попусту, идите по своим делам,— спохватился Васильков.— Я тут посижу ишшо маленько. Больно уж хорошо дышится...

Борис Викторович и Илемби послушно встали, попрощавшись с Иваном Прокопьевичем, медленно пошли по натоптанной тропинке, провожаемые любопытными взглядами других больных и посетителей.

От разносортных яблок исходил такой аромат, что, казалось, не воздухом дышишь, а пьешь шербет. Какие-то птички-невелички величиной с воробья, не больше, однако природой великолепно одетые и оттого франтоватые, порхали, играя друг с другом. Борис Викторович не знал, как они называются, а спросить у Илемби не решился. Вообще-то сад был изрядно запущен, под деревьями росла густая высокая трава, местами уже несколько пожухлая. Узенькой тропинки на двоих не хватало, потому оба шли по ней. В ней заплетались ноги, поневоле приходилось идти медленно, осторожно. Но это было так приятно, по крайней мере Борису Викторовичу. Он не выдержал, сказал:— Словно в раю идем!— Тут же сорвал с одной яблони золотисто-алый плод, протянул Илемби:— На, попробуй. Думаю, не обругают за одно яблочко.

Илемби посмотрела на него, ладошкой отвела его руку. Сказала грустно:

— Не надо нам райскими яблоками друг друга угощать... Лучше я тебе, пока есть время, растолкую, что за напасть еще навалилась на Ивана Прокопьевича.

И она рассказала, что до ухода на пенсию Васильков сделал снимки еще почти на две тысячи рублей и что перечисленные за них райбытуправлению деньги Зубова категорически отказалась принять на расчетный счет объ-

единения. Хотя Иван Прокопьевич еще числился фотографом. И потом так получилось, что Иван Прокопьевич заключил договор с хыркасинским колхозом о создании фотоотдела, от имени которого иногда все еще работал.

Все это Арыслан уже знал от отца. Однако дальше, оказывается, события приняли неожиданный оборот...

Эта хитрая лиса, то есть Зубова, запретить-то запретила принимать васильковскую выручку, а сама следила, куда эти деньги, как говорится, поплывут. И когда их принял на свой счет колхоз, тут же организовала жалобу районных фотографов в объединение. Дескать, махинатор Васильков в целях наживы незаконно открыл в колхозе фотоотдел, перехватывает все заказы. Теперь районная фотография якобы остается на голодном пайке, потому и план не выполняется, и вообще дело труба... Зубова эту «жалобу» тут же переправила в прокуратуру... И закрутилась карусель по новой.

Арыслан, как уже сам признавался, по части законов не мог тягаться с юристами. Но он знал, что колхозы могут открывать подсобные цехи, это даже поощряется. Когда работал в газете, сам об этом писал не раз. И если в случае с Васильковым все-таки есть какие-то перегибы, по логике за них не фотограф должен ответ держать... Поэтому Борис Викторович как мог успокоил Илембн. Когда они расстались у какого-то магазина, где она осталась («От меня убегает»,— с сожалением подумал он при этом), Арыслан всю дорогу до дома думал лишь о том, как помочь Васильковым, не откладывая дело в долгий ящик.

В понедельник он встал с рассветом, на свежую голову часа три-четыре поработал над рукописью и снова пошел в Айдарово, где направился прямо в прокуратуру.

Прокурора на месте не оказалось, хотя, по словам секретаря, он должен был подъехать с минуты на минуту. Пришлось зайти к помощнику прокурора, к С. И. Тунюк, как было указано на табличке. Она встретила его крайне холодно. Наметанным глазом опытного журналиста и писателя Арыслан сразу определил, что это не просто манера держать себя официально, а ее сложившийся, настоящий характер. Узкие черные глаза на широком скуластом лице будто вообще не могли тепло и дружелюбно смотреть на человека, тонкие сжатые губы, мелкие рыбьи зубы под ними, маленький носик с постоянно шевелящимися тонкими ноздрями, казалось, были созданы лишь для того, чтобы выцеживать каждое слово.

— Вам надо кое-что разузнать по делу Василькова?— переспросила она, когда Арыслан представился и объяснил цель своего прихода.— Простите, а вы кто будете?

— Я же сказал: писатель Борис Арыслан.

— Ах, писа-атель?— сыронизировала Тунюк.— Я думала, из прокуратуры республики с проверкой нагрянули... Так что вы конкретно хотели бы узнать? На какую сумму этот хапуга обжулил государство?

У не привыкшего к такому тону Бориса Викторовича внутри начинало что-то закипать. Больше всего выводит его из терпения хамство, особенно служебное хамство. Он считает это хуже даже уличного хулиганства, избиения человека. Возможно, оттого, что в жизни ему пришлось лишь два раза столкнуться с настоящими хулиганами. Причем в обоих случаях удалось ему самому хорошенько проучить их, поскольку от природы он наделен кое-какой силушкой... Однако в данной обстановке приходилось остужать страсти. Арыслан не имел какого-либо официального поручения разобраться в деле Василькова, потому ему, как частному лицу, могли просто указать на дверь. Хотя, строго говоря, можно ли писателя считать частным лицом?

— Да, вы угадали,— будто согласился он.— Очень хотелось бы посмотреть, как люди деньгу делают. Есть у меня в будущей повести мошенник, так вот очень нужен ему прототип.

Тунюк посмотрела на него недоверчиво, но тон все же смягчила сколько могла. Хотя особой разницы не чувствовалось.

— Вообще-то мы можем не показывать такие дела даже корреспондентам центральных газет, если не сочтем нужным,— сказала она явно высокомерно.— Однако вам... помочь можно. Только дело это находится у прокурора. Он сейчас сам его ведет. Подождите в приемной, Вашуров вот-вот должен подъехать.

Чертыхаясь в душе (сильно любезничал с этой кислятиной, и все зря: дело-то не у нее!), Арыслан вышел в приемную, стал терпеливо ждать. Через четверть часа действительно подъехал прокурор. Это был мужчина среднего роста, лет сорока, с серыми умными глазами и с характерными вакхалыхскими скулами на почти треугольном лице.

— Вашуров,— представился он, когда Арыслан, войдя вслед за ним в кабинет, назвал себя.— Аркадий Михайлович. Очень рад видеть вас. Читал ваши книги. Не все, конечно... Какими судьбами у нас? Да вы садитесь...

Арыслан, помня об отношении Тунюк к себе, осторожно объяснил цель своего визита.

— Да, это дело у меня,— почему-то вздохнул Вашуров.— Показать? Конечно, можем. Никаких секретов в нем нет.

Он тут же достал из сейфа тонкую бумажную папку, положил ее перед Борисом Викторовичем, сказав:

— Вы пока полистайте. Если что не поймете — спросите. А я быстренько просмотрю вот эти документы — и к вашим услугам.

И углубился в чтение каких-то деловых бумаг.

Смотреть в папке, в общем-то, оказалось нечего. В деле были прошнурованы: акт обследования работ Василькова, подписанный тремя работниками аппарата «Объектива»; счета, одни из которых написаны корявыми каракулями Василькова, другие же аккуратной женской прописью; решение айдаровского райнарсуда; кассационная жалоба в Верховный Суд, которую Борис Викторович прочитал не без интереса, поскольку знал, кто ее автор; решение Верховного Суда; жалоба местных фотографов и сопроводительное письмо дирекции «Объектива», переславшей ее в прокуратуру.

— И это все, чем располагали следствие и суд, чтобы осудить человека?— не без удивления спросил Арыслан, когда прокурор освободился, подписав последний документ и отдав всю кучу бумаг секретарю.

— И это все,— подтвердил Вашуров.— А что, по-вашему, нужно еще что-то?

Чувствовалось, что он не собирается уклоняться от открытого разговора.

— Я, конечно, не юрист, но...

— «Если бы был на вашем месте» хотите сказать? Давайте валяйте,— поддержал его Вашуров.

— Так вот, я первым делом от составителей акта потребовал бы и образцы снимков, подтверждающие обоснованность претензий.

— Видите ли, этот акт составлен представителями объединения «Объектив», то есть специалистами,— охотно объяснил Вашуров.— Мы сами слабо разбираемся в фотографии. Потому доверяем им. Даже если, допустим, дело против фотографа было бы возбуждено каким-нибудь иным путем, мы все равно вынуждены были бы обратиться за консультацией именно в «Объектив». Понимаете?

— Понимаю. Только это в том случае. А в данном случае дирекция объединения прямо заинтересована в очер-

нении Василькова. Из его объяснения это ясно видно. И вот я думаю: неужели достаточно подписей трех лиц заинтересованной стороны, чтобы посчитать человека преступником? Этого я не понимаю,— не согласился с ним Арыслан.

— А из чего вы заключили, что объединение заинтересовано в обвинении Василькова? Ведь оно исключило его работы из плана. Разве это в интересах «Объектива»?— резонно заметил прокурор.

Но это не застало врасплох Арыслана. Пока шел сюда, затем сидел в приемной, ожидая хозяина кабинета, он успел немного подготовиться к встрече.

— А из того хотя бы, что, судя по акту, все снимки, сделанные фотографом, отнесены к категории не входящих в план по быту. Между тем Васильков большинство работ выполнял под руководством отдела пропаганды райкома партии. Его снимки в основном предназначались для досок почета, аллей Трудовой Славы, для фотохроники о ходе полевых работ... То есть они — портреты передовиков. Судя по всему, по инструкции как раз они и зачисляются в выполнение плана по быту. Разве такое несоответствие между актом и фактом не должно настораживать?— тоже логично возразил Борис Викторович.

Вашуров задумался, взял дело, полистал его, почему-то взвесил на ладошке.

— Вообще-то в ваших словах есть резон,— согласился он.— Но из дела этого не видно. Ответчик не представил никаких документов, подтверждающих, что делал именно такие снимки, что работал по заданию райкома.

— Не представил, потому что товарищ Тунюк отказалась принять от него эти документы. Не только эти, но и подтверждающие, что Васильков ни на прежней работе, ни в объединении с соответствующей инструкцией ознакомлен не был. Но разве следствие может отказаться принять документы в пользу ответчика или обвиняемого?

— А у него что, были такие документы?— поинтересовался Вашуров.

— И были, и есть,— подтвердил Арыслан.— А если бы и не было. Ведь в объяснении Васильков все-таки вполне логично обосновывал свои действия. Разве следствие не должно было заинтересоваться его доводами, проверить все?

Вашуров твердо и пытливо посмотрел в глаза Арыслану, побарабанил пальцами по столу, очевидно, о чем-то размышляя про себя.

— Вы правы, Борис Викторович,— согласился он.—

Правда, в данном случае просить справку от райкома партии... согласитесь, это не совсем удобно. А остальное мы запросим.

— Зачем запрашивать? Я вам завтра же доставлю подтверждение бывшего директора райбыткомбината. Это раз. В объединении Васильков не мог пройти инструктаж и не мог читать эту самую инструкцию даже в красном уголке, потому что до последних дней своей работы там ни разу не был. Даже зарплату получал только по почте. Есть все корешки извещений. На совещания и собрания он не вызывался. А если Зубова утверждает обратное, пусть подтвердит это документально. Скажем, если Васильков вызывался в Башколу, ему должны были оплатить суточные или дорожные расходы. Пусть покажут, когда Васильков получал такие деньги. А насчет райкома... Если вам неудобно, я сам схожу туда, попрошу подтвердить. В итоге вы увидите, что известный в районе ветеран труда, участник Великой Отечественной войны, честнейший человек оклеветан почем зря.

— М-да...— неопределенно поддакнул Вашуров.— С этой Тунюк не соскучишься... Почему она отказалась принять документы от Василькова?.. И такое, я вам прямо скажу, она допускает не первый раз.

— Странно вы говорите, Аркадий Михайлович,— заметил Арыслан.— Будто о каком-то постороннем человеке. Она же ваша подчиненная. Призовите ее к порядку, потребуйте работать как положено.

— Да, да, Борис Викторович, вы, конечно, правы,— согласился Вашуров.— Но не все в жизни так просто. Если бы мы были шахматными фигурами, которые могут двигаться только так, как им положено. Но мы люди, нас связывают миллионы условий, обстоятельств... Ну да ладно,— махнул тут же рукой.— Спасибо, что зашли. Разберемся во всем этом. Дело теперь я веду сам. Правда, работы по горло, вот и лежит оно до сих пор... Но что делать с колхозным фотоотделом? Это уже, простите, явное нарушение примерного Устава сельскохозяйственной артели*.

Сказать что-либо конкретное в отношении этого Арыслан пока не был готов. «Угораздило же Василькову влипнуть в такую историю в такое время»,— чертыхнулся он про себя.

— Мне кажется, логически тут опять возникает вина Зубовой,— все-таки попытался он как-то объяснить и

---

* Имеется в виду Устав, действовавший до 1988 г.— *авт.*

это.— Если бы она не отказалась принять уже перечисленные за работы деньги... Ведь Васильков тогда еще числился в объединении...

— Это, конечно, немного объясняет,— согласно кивнул головой Вашуров.— Но не оправдывает. Видите ли, по примерному Уставу открывать подсобные производственные подразделения колхозу разрешается только с целью занятия избыточной рабочей силы хозяйства. А ваш Васильков не был даже членом колхоза, хотя и жил на его территории.

— Скажите, а кто должен лучше знать этот самый примерный Устав?— заметил Арыслан.— Видел ли его когда-нибудь Васильков? И отсюда: кто больше в ответе за это нарушение?

Вашуров еще раз посмотрел Борису Викторовичу в глаза, неожиданно улыбнулся.

— Оказывается, писатели здорово мыслят логически,— одобрительно сказал он.— Вам бы в следственном отделе работать... Ну ладно, посмотрим, разберемся,— пообещал тут же как-то неопределенно.

Это значило, что разговор окончен. Впрочем, подошло уже время обеденного перерыва. Как большинство районных руководителей, прокурор, видимо, обедал дома. Распрощавшись на крыльце с Борисом Викторовичем, он куда-то пошел прямо через дворик прокуратуры. Наверное, дом его находился где-то рядом.

Поскольку во время обеденного перерыва не было смысла идти в райком, Арыслан тоже направился в ближайшую райповскую столовую. Несмотря на ресторанные цены, готовили здесь скверно, к тому же подавали в плохо вымытой липкой посуде. Поэтому, похлебав несколько ложек непонятного супа и поковырявшись вилкой в пересоленном шницеле, он поспешно вышел из пахнущего чем-то прокисшим зала, из-за духоты расстегнув ворот рубахи на целых две пуговицы, медленно зашагал к административному, пожалуй, единственному в селе трехэтажному зданию.

Поразмыслив, Арыслан решил попробовать зайти прямо к первому секретарю. Хотя, как он знал, Васильков и не был коммунистом, к судьбе ветерана войны и труда здесь не должны отнестись равнодушно. Тем более в беду он попал отчасти и по вине райкома, поскольку работал в основном по его заданиям.

В райкоме было пусто до гулкости в коридорах. Чувствовалось, в кабинетах мало кто сидел. Только из общего

отдела доносилось, как кто-то громко, многократно повторяя каждое предложение, говорил по телефону, да еще чуть была приоткрыта дверь сектора учета, показывая, что там есть живая душа. И тем не менее Арыслану повезло.

— Вам повезло,— так и сказала ему секретарь приемной.— Федор Георгиевич только что приехал из колхоза подписать кое-какие документы. Правда, не знаю, сможет ли вас принять. Через полчаса он опять уезжает. Однако доложу...

К счастью, ее опасения оказались напрасными. Владимиров — такая была фамилия первого секретаря — тут же пригласил Арыслана, встретил его с почетом, выйдя из-за стола. Похоже, писатели не были здесь частыми гостями и не успели надоесть.

— Приветствую вас, Борис Викторович, рад встрече с известным писателем,— сильно потряс он руку гостя. Ростом и здоровьем, кажется, он не был обижен.— Давно ли в наших краях? Вы ведь земляк наш. Наверное, сначала побывали у отца? Уже несколько дней живете? Ай-яй-яй, и до сих пор не заглянули к нам... Правда, если честно, в райкоме сейчас людей-то нет. Вчера начали уборку. В страду у нас закон: по кабинетам не рассиживаться. Вот и мне надо... Так что давайте сразу о деле, ладно? И как можно короче. Вы уж извините...

Но Борису Викторовичу оказалось достаточно и пяти минут. Привычка говорить и писать кратко, но насыщенно осталась у него со времен работы в газетах.

— Я вас понял,— тут же по-деловому отреагировал Владимиров, на ходу записывая что-то в настольную тетрадь. Затем посмотрел на испещренный записями календарь.— Значит, так. Вы, конечно, из деревни добраться сюда в утреннюю рань не сможете. А потом мы все выезжаем... Завтра в семь вечера сумеете заглянуть к нам? Вот и ладненько. И справку к этому времени приготовим, и обсудим, чем можно помочь ветерану. А сейчас... Еще раз простите, но...

Арыслан понимающе кивнул головой, вышел из кабинета.

С новым секретарем райкома своего района он встретился впервые. Правда, из газет знал, что его избрали недавно, по возвращению из Академии общественных наук при ЦК КПСС, вместо ушедшего на повышение заведующим отделом в обком партии Шибаева Иллариона Ивановича. Судя по первому впечатлению, Владимиров был деловым человеком. К власти, похоже, пока относился не

как к дарованным ему за какие-то выдающиеся отличия привилегиям, а как к ответственным обязанностям. Смело и пытливо смотрящие на человека серые глаза светились умом. Несмотря на сравнительно молодой возраст — ему, наверное, не больше тридцати пяти лет,— волосы успели заметно поседеть. Это придавало Федору Георгиевичу некоторую солидность, как бы компенсируя отсутствие наживных морщин на широком лбу и вокруг глаз.

Вспоминая быстрые движения, быстрое решение энергичного Владимирова, толковый, как казалось, разговор с прокурором, Арыслан, не спеша шагая вдоль асфальтированной дороги в Хыркасы, понемногу успокаивался. Не за себя. За Василькова, за Илемби, за отца. А может, наоборот: за отца, за Илемби, за Василькова. Впрочем, от перестановки слагаемых сумма не меняется...

Кругом было тихо, спокойно. Вдали, на линии горизонта, сновали челноками зерноуборочные комбайны, но их натужный гул сюда не доходил. Здесь, в чащобе недоспелой еще яровой пшеницы, пели редкие перепела, высоко в небе заливался невидимый глазу жаворонок. Трудяги-птицы, с утра набившие свои зобы, они в прямом смысле слова жили припеваючи, не думая о том, что пройдет каких-то две недели, а то и меньше, и сюда тоже придут железные бесчувственные махины и остригут все поле, чтобы, убрав хлеба, удовлетворить запросы более сильного существа — человека. Удовлетворить запросы, не жалея при этом ни птичьих гнезд, ни норок всякого мелкого зверья. И не поможет этому несчастью ни жалобный плач самих птиц и зверушек, ни даже осознание человеком того, что он поступает по отношению к ним варварски. Так уж заведено в природе испокон веков: когда сильный исполняет свои желания, слабому приходится стонать...

Однако, как бывает часто после напряженного момента, мозг не хотел философствовать, разум, логика желали отдохнуть, и человеком начали управлять чувства, фантазии и воспоминания.

Арыслану вдруг, ни с того ни с сего, вспомнилось, как он шел по этой, тогда еще без асфальта, дороге лет двадцать назад. Наверное, это был один из тех редких случаев, когда он, тогда сотрудник молодежной газеты, оказавшись в Айдарове по журналистским делам, заезжал попутно к родителям на часок, в лучшем случае на ночь. Шел он ходко и вскоре догнал женщину, тащившую за собой тележку со специальными термосами и еще с кое-какими вещами. Догоняя, он и подумать не мог, что эта женщина,

шагающая так тяжело и горбатясь, одетая в серый рабочий халат и резиновые сапоги, которые в колхозах выдают животноводам, окажется Илемби Беловой. Ей тогда должно было быть всего-то двадцать шесть-двадцать семь... Не только по фигуре, даже с лица Илемби тогда казалась постаревшей, кожа была вся в пятнах, напоминала цветной фотоснимок лунного ландшафта. Идти рядом с такой молодухой — небольшое удовольствие, а обогнать ее, оставив позади с тяжелой телегой — тоже неприлично. Поневоле пришлось, проявляя джентльменство, взяться за сучкастый конец оглобли. Разговорились. Оказалось, Илемби работала на ферме осеменатором. Глуповат, конечно, был Борис тогда, молод, хотя и работал в газете, еще не полностью уразумел, что слово не воробей, вылетит — больнее ястреба ударить может. Помнится, сморозил он какую-то пошлую шутку насчет этих самых термосов да еще вроде того, что, мол, не коровы ли хвостом шандарахнули ее по лицу за замену их любимого быка, уж очень оно здорово разбито... Илемби ничего не ответила, шла, криво и мученически улыбаясь, потом остановилась, сказала Борису вдруг охрипшим голосом:

— Ты иди.

Видя, что тот не решается оставить ее одну, нетерпеливо крикнула:

— Иди же!

Борис пошел. Пройдя метров сто, оглянулся. Илемби сидела на тележке, согнувшись, опустив голову. Он уже понял: сделал что-то не то. Ему бы вернуться тогда назад, попросить прощения, объяснить, что пошутил он сдуру, не подумавши. Ведь так оно и было на самом деле. Но он был молод, ему в жизни пока здорово везло, после армии он уже успел получить высшее образование и устроился сразу в республиканскую газету, у него жена была самой красивой артисткой театра, ему тогда только что дали отдельную большую комнату в коммунальной квартире. И он в тот момент даже не почувствовал, что своей глупой шуткой не только обидел, а жестоко оскорбил Илемби, не понял до конца, что она не просто так, от усталости, скорчилась на тележке, а от душевной боли, забыл, наконец, что это он с ней сидел когда-то по ночам, стесняясь даже прикоснуться к нежному молодому телу, тем не менее чувствуя его жар, чувствуя преданность ее, готовность идти ради него на все, пожелай он только потребовать что-нибудь от нее, потеряв привитые настоящему вакхалыкскому парню с молоком матери и сединой стариков чувство ува-

жения к девичьей чести; забыл, что осознание всевластия над ней, такой красивой и кроткой, делало его самого чище, духовно возвышало над самим собой и над товарищами... То, что он натворил, Борис до конца понял в тот день только в родительском доме, когда узнал, почему лицо Илембн стало таким обезображенным. Но и тогда не поспешил к ней просить прощения, хоть чуточку ослабить, смягчить нанесенную ни за что обиду.

Если читатель успел заметить, дом Львовых расположен почти что в конце улицы. Дом же Беловых, тоже на этой улице, находился рядом с воротами околицы. В соседях с ними в небольшой избушке под соломенной крышей жила многодетная семья. А на берегу речки, где сейчас раскинулся пруд, в одно время было что-то наподобие склада горюче-смазочных материалов. Проще говоря, колхоз вкопал там в землю две цистерны с бензином, а также хранил в металлических бочках солидол и автол. Для пары автомашин — полуторки и ГАЗ-51 — большего не требовалось... Сказать, что многодетная семья жила бедно — значит ничего не сказать. Ведь денег не хватало даже на керосин. И глава семьи наловчился доставать бензин из колхозной цистерны. Дома он сыпал в него соль и использовал эту смесь вместо керосина. Но однажды случилась беда. То ли соль не помогла, то ли уж хозяева очень беспечно вели себя, только вспыхнула эта смесь при заправке горящей лампы. Державшая лампу хозяйка от неожиданности и боли выронила ее. Горящая смесь разлилась по полу, тут же мгновенно вспыхнула одежда на супругах — отце и матери восьмерых детей мал мала меньше. Обезумевшие хозяева, забыв обо всем, выскочили на улицу, бросились к речке, надеясь там потушить одежду. А в избушке огонь уже полыхал вовсю. Оттуда раздавались душераздирающие крики детей... Первой, кто заметил это страшное бедствие, была находившаяся дома Илембн. Она даже не подумала, что огонь может перекинуться на их двор и надо бы спасать имущество, а бесстрашно бросилась в соседскую избу, стала вытаскивать детей. Спасла всех... После этого и стало лицо девушки таким. Наверное, немало лет прошло, пока оно поправилось. А уж сколько она, девушка, переживала за свой вид — ей одной знать.

Вот такой случай ни с того ни с сего вспомнился Борису Викторовичу, не спеша возвращающемуся из Айдарова в Хыркасы вдоль асфальтированной дороги, по краю поля яровой пшеницы. Воспоминание не из лучших. После

такого сам себе становишься противным. И думалось: как все-таки безжалостен человек. Ведь если честно, у каждого в жизни наберется множество таких моментов, когда он не со зла даже, не из-за того, что плохой, испорченный, а просто так, походя, не обращая на творимое должного внимания, приносит другим столько переживаний и неприятностей, причем таких, которые иногда остро влияют на судьбу людей, приносят им неисчислимые обиды, беды и несчастья. А что говорить тогда о человеке злом, высокомерном, эгоистичном.

От этих дум так муторно стало на душе у Арыслана, что хоть иди к священнику и вымаливай отпущение грехов. Однако не для него этот легкий способ очищения, потому что высший судия его не далекий неведомый бог, а своя совесть, терзающая душу чуть ли не ежедневно. Она требует очищения только делом. Наверное, поэтому Арыслан, вернувшись в Хыркасы, даже не заглянул в родительский дом, а сразу спустился по Аслы ураму вниз, оттуда свернул на мост и пошел к избе Васильковых. Он решил сейчас же рассказать Илемби о том, что успел сделать в Айдарове в защиту Ивана Прокопьевича, этим хоть как-то успокоить ее, поскольку новости были неплохие, в целом в пользу ее мужа.

Илемби оказалась дома, к тому же встретила на этот раз более приветливо. На газовой плите уже жарилось что-то, с приходом Арыслана она поставила туда еще и чайник. Через четверть часа на столе уже стояли продолжающая шипеть сковородка с подрумяненной колбасой, очевидно, только сегодня купленной в магазине кооптторга, салат из свежих, на корню поспевших помидоров, обильно политый подсолнечным маслом, разрезанные дольками малосольные огурцы, свежий, тоже райцентровский черный хлеб, нарезанный толстыми ломтями, которые лежали на самой буханке, чай в больших керамических кружках с нехитрыми узорами. Особо привлекало только что вытащенное из духовки улма хыбартни[33] в глиняной миске, покрытое сверху желтой корочкой и потому похожее на маленькое солнышко. На нем потихоньку таяли большие куски сливочного масла, и «солнышко» становилось все блестящее и привлекательнее.

Вся эта простая деревенская еда настолько разнилась с той, какой кормили Бориса Викторовича дома, в Башколе, что он почувствовал некоторую зависть к хозяину этой избы. Надо же, в таком уюте живет человек! Наверное, даже не думает о том, какое это счастье... Впрочем, воз-

можно, Арыслан тут глубоко ошибается. Ведь не всю же жизнь вот так жил Васильков, это счастье ему привалило лишь нынешней весной, когда пошел шестьдесят второй год. «А что, если Илемби до сих пор жила бы одна?»— вдруг мелькнула провокационная мысль. Она, похоже, возникла потому, что Борис Викторович на сегодняшний день так и не знает точно, возвращаться ему теперь домой или нет. Приезд Тертту, ее объяснения, претензии не оставили в его душе сколько-нибудь незаметного следа... Впрочем, стоп! Разве место здесь сидеть и думать об этом...

— Ты почему не кушаешь? Давай приступай. Вот тарелка. Накладывай, что по душе,— предложила Илемби, выводя его из раздумий.

Арыслан положил сразу всего понемногу в одну тарелку, с аппетитом начал есть, не очень соблюдая застольный городской этикет. Одновременно он рассказал о своих встречах с прокурором и первым секретарем райкома партии. О разговоре с помощником прокурора решил просто не упоминать.

— Дай-то бог взять верх справедливости,— тяжело вздохнула Илемби, слушая его внимательно, даже не дотрагиваясь до еды.— Я так за него переживаю. У него уже второй приступ случился из-за этих неприятностей. Ежели третий раз случится такая беда? Не выдержит он боле. Нет, не выдержит.

Арыслан посмотрел ей в лицо. На нем даже неопытный глаз увидел бы истинное страдание. От этого она вся казалась какой-то чистой, светлой, каким бывает человек в совсем юные лета, когда еще не успевает наделать грехов. Впрочем, много ли их совершила Илемби даже за свои в общем-то немалые годы?

— Ты его любишь? Сильно?— не удержался от вопроса Борис Викторович.

Илемби вдруг как-то окаменело посмотрела на него и застыла... в немом укоре. Так она сидела минут пять, может, и больше. В уголке правого глаза появилась одна слезинка, она все увеличивалась и увеличивалась, стала величиной с горошек, вдруг стронулась с места и покатилась вниз, прозрачная и бесцветная, тем не менее оставляя за собой темный зигзагообразный след на смуглом от загара ненапудренном лице.

Арыслан понял, что задал вопрос, не подлежащий не только обсуждению, но и произношению вслух, тем не менее не удержался от второго такого же:

— Как получилось, что ты вышла замуж за Ивана Прокопьевича?

В нем словно сидел какой-то бес, завистливый, безжалостный, эгоистичный, и толкал на что-то несуразное, неуместное, невозможное.

— Долго рассказывать, Борис,— наконец дрожащим голосом ответила Илемби.— А так все просто получилось. Помогла я ему дома прибраться. Весной это было. Прибралась, значит, и сели мы чай пить. Тут Иван Прокопьевич и говорит: «Как хорошо-то, когда в доме чистота, на столе горячий чай, а рядом понимающий тебя человек! Так бы до смерти — мне нечего было бы больше и желать...— Потом не то просит, не то предлагает:— А, Илемби?» «Хорошо, конечно»,— говорю я. Я ведь тоже много лет одна жила. Конечно, прекрасно понимала его. Вот и... Борис, прошу тебя, не пытай меня больше. Ладно?

Арыслан снова взглянул ей в лицо, на котором сейчас было видно лишь глубокое страдание, молча встал, вышел из-за стола. Встала и Илемби. Арыслан долго-долго смотрел в ее влажные глаза, затем тихо сказал, словно умоляя:

— Прости меня, Илемби, за все прости. И за то, что было, и за то, чего не было. Ладно?

Ответа он не дождался. То ли Илемби сказать ему было нечего, то ли смелости ей не хватило, она лишь утвердительно моргнула своими большими синими глазами, и из них тут же побежали вниз еще два алмазных горошка. У Арыслана больше не было сил смотреть на это и дожидаться ответа, он с болью глотнул набухший в горле какой-то комок и, резко повернувшись, вышел из избы. У калитки перевел дух, осмотрел безлюдную улицу, небольшой пруд в овраге напротив, кишмя кишащий утиными и гусиными выводками, и неохотно побрел домой.

Ах, если бы все то происходило не тогда, а сейчас! И Арыслан был бы не тогдашним, а нынешним... Но не растет дерево корнями вверх, не движется время задом наперед, не рождается ребенок с умом шурсухала. И не быть такому никогда!

Дома Борис Викторович сразу пошел на веранду. Вспомнил, что Инжеватов привозил ему какой-то пухленький сверток от Тертту, перед сном решил посмотреть его. Наверное, бельишко. Точно. Еще зонт. Японский. Подарок семьи в день рождения. Его Борис Викторович никогда не носил, в дождь предпочитал болоньевый плащ с капюшоном. Дома все знали об этом. И все-таки зонт оказался в свертке. Наверное, он должен напоминать о семье...

А это что еще? Письмо. Из Москвы, из молодежного издательства... Арыслан полгода назад послал туда подстрочник своей повести «Синяя дорожка». Она о жизни учащихся профтехучилищ, готовящихся встать на «синюю» дорожку рабочего человека. За всю жизнь ничто не писалось так трудно. И пока ни одна вещь не удовлетворяла Арыслана так, как эта. Потому что повесть получилась, кажется, действительно интересной и честной до конца. В Вакхалыхни после журнальной публикации она вызвала горячие споры, особенно среди молодежи и педагогов. Спорили в основном о взглядах автора на жизнь современной молодежи. О том, что из этой жизни можно типизировать, а что можно было бы и не показывать, поскольку эти «что» не характерны... О художественной же стороне никто плохо не отзывался. Наоборот. И все же Вакхалыхское книжное издательство отказалось принять повесть к изданию. Вот и решился он предложить ее в Москве...

Письмо это долгожданное боязно было открывать. Оно почему-то тонкое, совсем тонюсенькое. Борис Викторович уже определил, что туда заложена лишь половина стандартного машинописного листа. Неужели приняли? Если отказ, в письмо были бы вложены рецензия, редакционное заключение...

Борис Викторович, будто решаясь нырнуть в ледяную прорубь, глубоко вздохнул, выдохнул и вскрыл конверт, вытащил казенный бланк издательства.

«Уважаемый тов. Арыслан!

К сожалению, наше издательство перегружено материалами авторов союзных республик, работать с авторами из автономных республик просто не имеет возможности.

Рукопись выслана бандеролью.

С уважением.....»

Вот и все письмо. Отказ. И никаких рецензий, никакого редзаключения. Для этого издательство «...просто не имеет возможности».

Это действительно было равносильно прыжку в ледяную прорубь. Его повесть даже не прочитали! Потому что «работать с авторами из автономных республик...»

Обессиленный, Борис Викторович скомкал, сжал в кулаке письмо. Но не выбросил. Увидят еще старые, расстроятся...

И вообще, стоп! Не надо расстраиваться и самому. Надо взять себя в руки! Иначе надолго притормозится работа. Разве так важно это письмо, когда людей вон ни за что ни про что в преступлении обвиняют. Вот об этом следует

сейчас думать. И больше ни о чем, ни о чем! Ни о доме, ни о себе, ни об издательствах всяких...

...На следующий день, еле-еле проработав до обеда, Борис Викторович через отца попросил у какого-то соседского мальчика велосипед и отправился к семи часам вечера в Айдарово, в райком партии. К удивлению, здесь его ждала не только обещанная справка. Оказывается, Владимиров вызвал к себе также Вашурова и Варсанофьева. Вчетвером попытались объективно разобраться, виноват ли Васильков в создавшейся ситуации, если виноват, то в чем и в какой степени. Как сказал Вашуров, он этим вопросом два дня занимался вплотную, собрал все документы, на которые указал Арыслан, а с бывшим директором райбытуправления успел встретиться и поговорить. В итоге прокурор пришел к выводу, что Василькова ни при приеме на работу в райбытуправление, ни при переводе в объединение «Объектив» с инструкцией ЦСУ не ознакомили. Естественно, если он делал снимки, не входящие в план по быту, то только из-за незнания ее. А сколько было таких снимков из всего количества — пока неизвестно. Но, судя по справке райкома партии, где точно указано, сколько досок и книг почета, аллей славы оформлено фотографом, их могло быть только меньшинство. Впрочем, теперь это не имело значения и просто незачем было уточнять, поскольку невозможно обвинять Василькова в намеренном мошенничестве. Что касается трудового соглашения с колхозом, то здесь основная вина ложится на руководителей хозяйства.

— Почему же вы не разобрались в этом до суда? И почему суд не сумел заметить, что из обвинения в адрес Василькова торчат чьи-то длинные уши?— сурово спросил Владимиров.— Мы, конечно, не вмешиваемся в дела прокуратуры и нарсуда, но мы будем требовать от коммунистов Вашурова и Варсанофьева честного и добросовестного исполнения своих обязанностей.

Судья с прокурором переглянулись. Вашуров пожал плечами: дескать, я свое слово уже сказал. Пришлось объясниться судье.

— Во-первых, в деле не было этих документов, о которых сейчас сказал Аркадий Михайлович,— попытался оправдаться Варсанофьев.— Во-вторых, в любом случае, как я понимаю, совсем не обвинять Василькова мы никак не сможем. Даже в Верховном суде, возвращая дело, недвусмысленно намекнули на это. Между нами говоря, там меня просто предупредили, что взыскиваемая сумма не

должна быть столь значительной, ее надо установить лишь символически, чтобы ответчик махнул на нее рукой и не стал больше писать кассацию.

Такое объяснение привело Арыслана в полнейшее недоумение. Он, сам журналист и писатель, воспитанный такими же журналистами и писателями, искренне верил, что органы правосудия независимы ни от кого и должны действовать строго по закону и только по закону, то есть стоять на страже правды и справедливости. Исключения могут быть разве что тогда, когда тот или иной закон сам не в ладах со справедливостью... А здесь происходила какая-то немыслимая мешанина. Вроде бы ясно, что человек не виновен, но его все-таки в угоду кому-то надо наказать, но наказать опять-таки так, чтобы это было лишь символически и тем самым как бы не обидеть ответчика. Как в известной сказке: сварить кашу из крупы, да масла, да соли, а считать, что приготовлена она из топора.

— Позвольте, товарищи,— не смог и не захотел скрыть своего возмущения Арыслан.— При чем здесь сумма? Если, уважаемый товарищ Варсанофьев, вас незаконно обвинят в воровстве, разве так важно, о прикарманивании какой суммы идет речь? Главное — вы окажитесь вором! Понимаете? И вообще, как это понимать: человек ни в чем не виновен, но совсем не обвинять его вы никак не можете? Вы же судья, не зависящий ни от кого человек. Вашу независимость охраняет закон, как я понимаю. Вы же для того и избраны народом, чтобы работать по закону и по совести, защищать права и честь советского гражданина.

— В самом деле, как понимать ваше заявление, Александр Илларионович? Объясните, пожалуйста,— сурово спросил Владимиров.

Варсанофьев изучающе посмотрел на Арыслана, затем на секретаря райкома, словно спрашивая, можно ли здесь говорить все открыто.

— Давайте, давайте, объясните,— подбодрил его Владимиров.— Здесь все свои. Борис Викторович много лет проработал в партийной печати, думаю, все поймет правильно.

Это несколько успокоило судью.

— Так вот... Аркадий Михайлович в курсе, нас в этом деле одной ниточкой связали... Так вот, в таком исходе почему-то заинтересованы некоторые высокопоставленные лица. Ко мне беспрестанно звонили, насколько я знаю, звонят они и в прокуратуру, министр Стеклов, завотде-

лом обкома партии, бывший секретарь нашего райкома Шибаев. Я уж не говорю о заместителе прокурора республики Тыхтамане и его друге из Верховного Суда Хелипкине.

— Ну и что?— возмутился Арыслан.— Ну и что, если звонят! Вы все равно решайте по закону и по совести.

— Я-то могу решить,— вздохнул Варсанофьев, будто сожалея, что вроде бы не глупый человек этот писатель, а таких простых вещей не понимает.— Но скоро выборы народных судей. Тогда изберут на мое место другого. Он все равно пересмотрит это дело после очередного возвращения его из Верховного Суда. И решит так, как потребуют рекомендовавшие его в народные судьи товарищи. Я же тем временем работу буду искать. Иллариона Ивановича Шибаева вы прекрасно знаете... Мне кажется, он и вам, Федор Георгиевич, спасибо не скажет. Напомнит, кто рекомендовал вас на это место...

Владимиров недовольно поерзал в кресле, давая понять, что подобным высказываниям здесь абсолютно не место.

— Скажет, не скажет — не в этом дело. Нужно все-таки сделать так, чтобы честный человек, ветеран войны и труда, не пострадал необоснованно,— возразил он судье. Но возразил уже без прежней настойчивости, вяло. Мнение Шибаева, передавшего ему, молодому в сущности человеку, свое ответственное кресло, конечно, для него что-то значило.

Понял это и Арыслан. Жизнь есть жизнь. Из-за какого-то случая, который на фоне масштабных дел, возможно, кажется пустячком, идти против того, кто тебя вывел в люди,— не совсем благодарное дело, и тут приходится многое взвешивать. Тем более, если этот человек сидит на Олимпе и может, если и не вершить твою судьбу, так здорово повлиять на нее.

— Аркадий Михайлович, а почему ты сразу не выяснил все обстоятельства? И судье было бы легче, и тебе. Теперь могут сказать: а куда смотрели раньше? И человеку лишняя нервотрепка. Свое дело все-таки надо делать квалифицированно,— заметил Владимиров.

— Да вот...— замялся прокурор,— помощник такой у меня. Почему-то не приняла документы от Василькова в его пользу.

— Опять эта Тунюк...— поморщился Владимиров, словно у него заныл давно беспокоящий зуб.— Не понимаю, почему не можешь заставить ее работать как положено?

— Да все потому же...— неопределенно пожал плечами Вашуров.— Федор Георгиевич, я же вас давно прошу: ради бога, подпишите вы характеристику на Софью Ильиничну. Иначе не избавиться от нее. Под крылышком Тыхтамана она ничего и никого не боится. Тот многие дела, не относящиеся к нашему району, поручает расследовать ей. Лично. Три с лишним года назад они таким образом одного типа оправдали. Главврача санэпидстанции соседнего района. Тот попытался изнасиловать девушку, спекулировал, злоупотреблял служебным положением. Про это даже в республиканской газете фельетон был. Все равно не подействовало...

И тут Арыслан вспомнил: это же он писал фельетон! Правда, под псевдонимом. А материалы предоставил ему под большим секретом товарищ из прокуратуры. Конечно, только о проступках бывшего главврача. С какой целью это было сделано — об этом Арыслан тогда не задумывался. Похоже, однако, что и в правоохранительных органах идет какая-то борьба.

— Нынче, сами знаете, директора швейной фабрики, присвоившего десятки тысяч государственных денег, под амнистию подвели. Тоже забота Тыхтамана с Тунюк. А в случае чего виноват буду я, потому что спросят с прокурора...

Видимо, у Вашурова с Владимировым продолжился давнишний разговор.

— Но ведь речь идет о переводе ее в другой район прокурором,— попытался объяснить Владимиров.— Как можно поставить ее на такую должность? Она же...

— Иначе мы от нее не избавимся,— настаивал на своем Вашуров.— И ничего страшного не случится. Когда за дело отвечаешь непосредственно сам, о многом передумаешь, прежде чем поставишь подпись. А пойдешь против закона — когда-нибудь все равно шею свернешь. Случится и с ней такое. Ведь ее покровитель Тыхтаман через год должен уйти на пенсию.

Владимиров посмотрел на него изучающе, махнул рукой.

— Ладно, об этом после,— сказал он. Тут же перевел разговор в нужное русло.— Значит, по Василькову... Давайте так, товарищи.— Сейчас уже поздно, девятый час пошел. Вы, Александр Илларионович, Аркадий Михайлович, подумайте еще, как лучше выйти из создавшейся ситуации. Я постараюсь выяснить в обкоме, нет ли тут еще чего-то такого, что нам неизвестно. Ведь не просто так они настаивают на своем. Не случайно сам Илларион

Иванович вмешался в это дело... Потом втроем соберемся снова, придем к единому мнению. Мы вам это обещаем, Борис Викторович. Так ведь, товарищи судья и прокурор? Во всяком случае, если Васильков не виноват, его никто не обидит.

Варсанофьев и Вашуров утвердительно кивнули и, попрощавшись с хозяином кабинета, торопливо вышли вслед за Арысланом.

— Борис Викторович, подождите минутку!

Это уже на улице прокурор остановил Арыслана, взявшегося было за руль велосипеда.

Судья посмотрел на них, о чем-то поразмыслил, но не подошел, как говорится, сделал ручкой и пошел.

— Борис Викторович, вот что мне пришло в голову,— сказал Вашуров.— Я так понимаю, что если за защиту Василькова взялся ваш отец,— а я его хорошо знаю,— потом и вы, писатель, впряглись в это дело, то, конечно, будете идти до конца. Так вот, я предлагаю, по-моему, самый разумный выход. Работая в колхозе, Васильков получал шестьдесят процентов от выручки. Нарушения вроде бы здесь нет, таково было трудовое соглашение. Просто колхоз в отличие от объединения учел его возросшие расходы из-за удорожания фотоматериалов. Но давайте все же взыщем с Василькова те семь процентов, полученных сверх прежних расценок. Для него в этом ничего страшного нет. Насколько я понимаю, задача тех,— кивнул прокурор головой на север, в сторону Башколы,— доказать, что Васильков обманывал объединение — тем самым оправдать Зубову, которая в горячке исключила из прошлогоднего плана сумму в шесть с лишним тысяч рублей, наработанную им. Но это они вряд ли докажут. По крайней мере, идти на такое в наше время — все-таки некоторый риск. А что касается лишних семи процентов, полученных Васильковым в колхозе — это не обман, деньги выданы ему по трудовому соглашению. Значит, Васильков опять, по вашему выражению, не вор. Думаю, при таком обороте дела он отдаст эти деньги без возражений. И мы кому надо можем сказать: все-таки наказали его. Как говорится, и овцы будут целы, и волки сыты... Совсем ничего не делать — это в данной обстановке нереально. Такие высокопоставленные люди просто так от меня и от Варсанофьева не отстанут. Поймите, мы, районные работники, все-таки самая низшая ступенька в системе правосудия.

— Не понимаю, почему они идут на такое? Почему нельзя не наказывать невиновного человека? Мы же в

демократическом, в самом справедливом государстве мира живем,— то ли спросил, то ли просто высказался Арыслан, глядя прямо в лицо Вашурову.

Тот отвел глаза, вздохнул: дескать, что делать с этим человеком, ничего не хочет понять.

— Все это так, Борис Викторович,— сказал затем.— Но давайте жить реальной жизнью. Я всего вам не могу сказать, а, кстати, и не знаю. Полагаю,— только между нами,— те... они каким-то образом связаны. И друг с другом, и с Зубовой. С ней, возможно, только кто-то один, но это не меняет дела. Понимаете? А у них власти больше, чем у меня... Так что вариант, который я предлагаю, самый приемлемый. И просто глупо возражать против него. Если мы с Варсанофьевым сумеем его осуществить — это с нашей стороны уже будет... Ну да ладно, не о том речь. Речь о том, что, пожалуй, без вашей помощи мы и этого минимума не добьемся.

Час от часу не легче! Зачем тогда он талдычит об этом битых четверть часа, подумал Арыслан, хотя вслух ничего не сказал, только взглянул еще раз прокурору в глаза. Но какого-либо конкретного выражения в них трудно было различить, поскольку сплошной тенью опускались сумерки.

Тем не менее Вашуров, видно, понял его мысль, тут же высказал свою.

— Если бы вы об этом написали статью в газете, дело незаслуженно опороченного ветерана повернулось бы совсем по-другому. Оно приняло бы общественное значение. И тогда тем,— снова кивнул головой в сторону Башколы,— труднее станет давить на нас. Не скажу, что статья в газете будет целиком в мою пользу. Тот же Тыхтаман, реагируя на выступление печати, наверняка расчехвостит меня за плохое ведение следствия. И все же это не беда по сравнению с нанесенной честному человеку обидой. Вы понимаете меня?

Чего же не понимать. Человек страхуется. Потом будет оправдываться перед начальством, что после статьи в газете он не может идти против закона. Ну что же, если у прокурора на большее не хватает смелости...

— Хорошо,— согласился Арыслан.— Я постараюсь...

Однако легко сказать: «Я постараюсь». А что значит на деле написать такую статью? Это значит, что все задетые высокопоставленные лица ополчатся теперь уже на ее автора... Об этом напряженно думал Арыслан, ожесточенно крутя педалями велосипеда. Стало уже сумрачно,

а на старом, давно не ремонтированном полотне дороги находилось множество колдобин, ямок, которых днем почему-то не было видно. Колеса то и дело целились в них, отчего Бориса Викторовича трясло хоть и не сильно, но неприятно. Впрочем, куда это он так спешит? Расстояние-то до Хыркасов — пять километров, из них пара верст уже позади.

Арыслан слез с велосипеда, пошел пешком. А при ходьбе думается особенно ясно.

Вспомнился Борису Викторовичу недавний намек председателя правления Союза писателей Казачкина. Из него выходило, будто его, Арыслана, держат в качестве кандидата на освобождающуюся должность главного редактора одного из журналов. И будто бы это не только его, председателя, мнение, но и высокопоставленного лица из обкома партии. И как же теперь будет? Придет к тому высокопоставленному лицу однажды другой высокопоставленный Шибаев и скажет в дружеской беседе: «Я слышал, что вы хотите повысить некоего Арыслана. Так он же, знаете...» И наговорит о нем с три короба. Борис Викторович и объяснить ничего не сможет, потому как у него никто ничего не спросит.

Почему-то вспомнилось: «Ждет тебя, красавец, долгий жизненный путь с вечной борьбой. Почет и слава, достаток и богатство будут на этом пути. Но будут также бедность и лишения, муки совести и отречение друзей. Ты волен выбрать из них то, что тебе по душе...» Наивная цыганская девочка! Повторяя то, чего у матери нахваталась, она думала, что сказала нечто умное, многозначительное, пригодное на все случаи жизни. Ан нет, больше половины отпущенного времени Арысланом давно прожито, а ничего из нагаданного ею не желает сбываться. Почет и слава, достаток и богатство? Хоть бы одно из них досталось на долю Арыслана. Бедность и лишения, муки совести и отречение друзей... Нет и их. Что касается возможности выбора по душе — чего выбирать-то? Пойти туда, не знаю куда, и принести то, не знаю что? Единственное, что можно выбрать — так это борьбу. Ее на всех на все времена хватает. А толку-то...

«Ага, обвинять в страховке и трусости других ты мастак, а чуть коснулось конкретное дело самого, сразу норовишь в кусты?— съязвил Арыслан тут же над самим собой.— А как же обещание помочь Василькову? Как долг перед Илембн? Как слово, данное отцу?»

В самом деле, если в жизни на все смотреть, все учи-

тывать... На кой ляд, к примеру, писателю руководящий пост? Писатель,— если он настоящий,— это уже высокая и почетнейшая должность. По крайней мере, так считает народ. Даже наивно полагая, что писатели чуть ли не все миллионеры, люди тем самым как бы подчеркивают их значимость. Впрочем, даже если бы они узнали, что писатели — одни из самых низкооплачиваемых людей в стране, наверное, все равно не изменили бы своего мнения о них: такова сила слова.

Итак, статью в газету надо писать. И немедля. Не глядя ни на какие возможные последствия. И вообще, почему он скверного мнения о руководителях? А может, получится как раз наоборот: они поймут все как надо. Так что о последствиях бабка надвое сказала...

Как часто бывает в таких случаях, окончательно решив написать статью, Арыслан будто раскрепостил себя: сразу стало легче на душе, свободнее, свежее...

Свежее — это точно. Вечер уже сдал дежурство ночи, и та начала хозяйничать вовсю. Откуда-то подул волглый ветер. Он забирался в один рукав летней сорочки и вылетал в другой, попутно общупывая живот, грудь, спину, так что в какой-то момент Арыслана даже бросило в дрожь от прохлады. В темноте полностью размылась линия горизонта и казалось, что земля — она только тут, где шагает Борис Викторович, да впереди, где рассыпчатыми огнями электричества светятся Хыркасы, а кругом — какая-то неопределенная густая масса, с расстоянием становящаяся темнее. Даже на небе не видно звезд. Похоже, этот волглый ветер совсем не случайный, наверное, он откуда-то пригнал множество туч. И все же эта ночь не была похожа на ту, которую слушал Арыслан в первый день своего приезда, лежа на сеновале. Сегодня почти везде вокруг слышен шум двигателей. Где-то справа по горизонту продолжал работать отряд зерноуборочных комбайнов. К ним и от них то и дело двигались автомобили. Они вроде бы даже и не двигались, только свет их фар становился все мощнее и мощнее, потом вдруг ослеплял глаза остановившемуся завороженно Арыслану; машина переезжала тракт и по грунтовой дороге двигалась дальше, к току, теперь уже светясь только красными огнями габаритных фар. На току надрывно гудели разные механизмы. А на уже очищенном от соломы поле, где только вчера еще сновали комбайны, вовсю трудились два трактора. По тому, как натужно ревели дизели, можно предположить, что они начали вспашку зяби... Ничего не скажешь, однокашник

Арыслана председатель Керим Шакуров, похоже, здорово наладил дела в колхозе, если у него все идет так ладно, в комплексе. Может, и насчет повышения урожайности пропашных он не просто прожектерствовал, а говорил, имея объективные расчеты? И если ему дадут возможность, он и в самом деле может освободить лишние гектары под кормовые? Что, если и ему поможет Арыслан? Возьмет и расчехвостит как следует рапо. За то, что вместо всяческой поддержки чинит колхозам препятствия. Раз взялся за один рог, берись и за другой. Тем более такой статье сейчас враз дадут зеленую дорогу, потому как модно писать на тему агропромышленных комплексов и объединений, словно от этих мудреных названий сами собой прибавятся и хлеб, и мясо, и молоко... Нет уж, Борису Викторовичу не подобает поддаваться моде. На его взгляд, вся эта постоянная чехарда с реорганизациями в сельском хозяйстве происходит только от того, что верхи не могут заставить низовых руководителей работать по совести. Вот и в этот раз не смогли заставить «Сельхозтехнику», «Сельхозхимию», строителей и других трудиться по-честному, без приписок, получать с хозяйств лишь за сделанную работу, и решили их объединить в одно целое. Чтобы, так сказать, все друг от друга зависели. А что изменилось? Видно же: такие же приписки идут, также сдирают с колхозов и совхозов три шкуры, то бишь незаработанные деньги. Вот если бы за обман кое-кому воздали по заслугам, тогда, может, и не приходилось бы так часто менять исподнее экономики. Бессилие перед чем-то вынуждает обойти это нечто. Но не всегда это лучший выход. Иногда необходимо, вопреки пословице, идти по прямой, проламывая преграду на пути... Вон загнивающий капитализм, он ведь экономическую систему не меняет, хотя она, всем ясно, давно уже отжила свой век. Он только жестко требует от каждого твердого выполнения своих обязанностей. И, хотя со скрипом, а идет еще вперед, кое в чем нам даже фору дает. Фермеры, скажем, существуют с оных времен. И ничего у них за это время не изменилось. Кроме замены лошадей на лошадиные силы. Выходит, фермеры — анахронизм? Ан нет, кормят свои страны да еще другим, в том числе и нам, кое-что подкидывают... Впрочем, подумал Арыслан, специалистам, конечно, все это виднее. А тебе надо совать нос только туда, где ты компетентно можешь разобраться хоть кое в чем. А так со своим профанством черт знает до чего можно додуматься. «И все это ты городишь для того, чтобы найти повод отказаться помочь Ша-

курову»,— вдруг пришла мысль в голову. Многолик же человек! И мало из этих лик таких, с какими не стыдно в люди выйти... «С другой стороны,— подумал тут же,— Шакуров — не Васильков, сам за себя и за свое дело постоять обязан. Иначе зачем занимать кресло руководителя».

А очередная машина уже пересекла шоссе и, как бы враз убрав свои ослепляющие фары, замелькала красными огоньками, раскачиваясь на колдобинах проселочной дороги. Видно, хлеб нынче уродился отменный, раз приходится отвозить его от комбайнов беспрерывно. «Может, это как раз оттого, что агропром создали?»

Но думать дальше уже не хотелось, ночная прохлада пробирала насквозь, и Арыслан пошел ходким шагом. В темноте сесть на велосипед он так и не решился.

...Забросив на время свою рукопись, Арыслан три дня просидел над статьей в защиту Василькова. Чтобы она наверняка прошла, пришлось поработать как следует. Насчет стиля изложения или языка Борис Викторович не беспокоился. Дело в другом. Он слишком хорошо знал редактора газеты, с которым сам проработал многие годы. Чтобы он пропустил материал с критикой в адрес министра, прокуратуры республики, тем более заведующего отделом обкома партии? Скорее солнце начнет выходить с запада... Поэтому приходилось довольствоваться лишь фамилией директора объединения «Объектив» Зубовой. О следственных и судебных перипетиях тоже приходилось умалчивать, потому что для газеты решение суда есть истина последней инстанции. По крайней мере, для этой газеты при этом редакторе. Хотя окончательного слова пока как раз и не было. Тем более статья могла задержаться «до принятия судом решения». В то же время пришлось высказаться о случившемся так, чтобы не только оправдать в глазах общественности Василькова и заклеймить Зубову,— это лишь полдела,— но и решительно дать понять ее покровителям, что если они продолжат и дальше потакать прихотям своей подопечной, это им так просто не пройдет. То есть в статье надо было, как говорят вакхалыхи, так ругать дочь, чтобы невестка слышала.

Наконец, желаемое вроде бы получилось. И что удивительно, даже при таких авторских самоограничениях статья казалась весьма хлесткой. Это признал даже Львов-старший, внимательно прочитавший окончательный вариант. После чего пустился философствовать:

— Все-таки до чего богат иносказаниями наш язык, а,

сын? Понимаешь, у вакхалыхов даже шутки такие, что, как говорится, лишь на седьмые сутки до ума доходит. А уж как дойдут, так насквозь проймут... Ты здорово овладел этим мастерством. Наверное, сам Эзоп, прочитав твою статью, перевернулся бы в гробу.

То ли одобрял он, то ли подтрунивал, то ли высказал свое неодобрение — поди разберись. Действительно, на седьмые сутки поймешь — и то хорошо.

— Единственное, чему мы здорово научились за последние лет двадцать-тридцать-сорок-пятьдесят, так это иносказательности,— согласился Борис Викторович с отцом, будто не замечая многозначности его замечания.

— А разве плохо?— невозмутимо ответил Виктор Васильевич.— Я понимаю, к чему ты клонишь. Но я о другом. Вот, скажем, ссорятся люди. Каких только слов не наговорят, чтобы очернить друг друга. Думают, чем сильнее и громче будут ругаться, тем больше шансов быть в глазах других победителем. Но как раз самые грубые в глазах других остаются ничтожеством, потому что произносят миллионы бездоказательных слов, а в сущности этим чернят лишь самих себя. Ведь мы-то, слушающие их нейтральные люди, прекрасно видим, кто есть кто. Люди же умные как раз и учитывают это. Они говорят мало, но емко. Вот в связи с этим приведу пример. Я ведь рассказывал, первая жена у моего йолташа Йывана попала в тюрьму за спекуляцию. Но сказать просто это — значит не сказать правду. Потому что как бы тяжело ни жилось тогда, а люди воров и спекулянтов презирали как во все времена человеческого бытия. И когда вставал на такой путь честный, он поступал так не только из-за великой нужды — ее терпели в деревне очень и очень многие. Его толкал на это какой-то из рук вон выходящий повод, безвыходность, близкая к абсолютной. На пути Варвари, к сожалению, такой повод как раз и оказался.

Я ведь тебе рассказывал, сын, что Йывана заставили подписаться на заем, причем на большую сумму. А пришло время — начали ее требовать. У нас, у учителей, это происходило проще: удерживали с зарплаты — и все. А что удержишь тогда у колхозника? У него же одни палочки, то есть трудодни в ведомости... Вот и собирали у них эти «добровольно отдаваемые в заем» государству деньги... налоговые агенты. Пришел один такой и к Йывану. Тот объясняет, что не до выплаты займа ему сейчас, зима на носу, дом надо достроить и обжить. Агенту что — у него своя работа: он должен собрать необходимую сумму...

В общем, получился конфликт. В пылу Йыван возьми и скажи: «Когда только перестанете соки из нас выжимать!» Дорого же ему эти слова обошлись. Так дорого, что он наверняка до самой смерти их не забудет...

А дело так обернулось. Уже на следующий день из района прибыл прокурор и вызвал Йывана с Варвари в сельсовет. И давай допекать. Нет, он не кричал, не стучал кулаком по столу, не грозил упечь в тюрьму или выслать в Сибирь. Прокурор был большой мастер своего дела и до такого примитивизма не снизошел. Он просто искусно повторял слова Йывана, добавляя от себя лишь вводные: «Значит, соки из вас выжимают? Ха, соки, стало быть, выжимают. Из вас выжимают? А-а, соки, понимаете, выжимают...» И так в течение часа, с каждым очередным повторением меняя тон: то иронизируя, то угрожая, то издеваясь. А ведь надо понимать, что за время тогда было. За такие слова Йывана, при желании, запросто могли в «черном вороне» увезти... Но этот прокурор был сочувствующий. Он ограничился тем, что заставил Йывана согласиться «добровольно помочь государству». Впрочем, согласился Йыван не из-за боязни перед ним, а из-за слез насмерть перепуганной за мужа Варвари... Так перед молодой четой возникла реальная угроза стать нищими, жить в недостроенном доме, без налаженного хозяйства, без скотины. А как без всего этого жить в деревне? Особенно в те годы, когда работали в колхозе бесплатно. Вот и пошла Варвари на такое. Но разве сможет кролик стать лисой?..

Печальная история, в которую не хотелось даже верить... Перед нею как-то тускнели свои неурядицы, сомнения и даже невесть откуда появившаяся было в одно время ревность. Нет, ревновал он не Тертту, а, как ни странно, Илемби, одновременно завидуя Василькову, на старости лет заполучившему вторую жену. Такую, что... Но разве можно завидовать его жизни? ...Поневоле сравнивалось тогдашнее с нынешним несчастьем Ивана Прокопьевича. И Арыслану казалось, что есть и в них нечто поразительно схожее. Хотя между ними лежит период продолжительностью в три с половиной десятка лет. Да и по степени воздействия они абсолютно несопоставимы. Вроде бы. Там речь шла об отборе последних рублей, а вместе с ними вообще человеческого счастья, сегодня же из-за выплаты указанной судом суммы Васильков по крайней мере не пошел бы с сумой по миру. Тогда, понятно, деньги отбирались как бы по нужде, чтобы укреплять истощенное не-

бывало опустошительной войной государство, которому империализм угрожал грибообразным всеуничтожающим кулаком. А сейчас они отбирались просто так, по прихоти директора небольшого объединения, который, как кажется, решил преподнести урок строптивому фотографу за отказ дать взятку, чтобы другим неповадно стало артачиться. Какая же тогда в них схожесть? А такая, подумалось Арыслану, что все это и тогда делалось, и сейчас делается от имени закона, святого Закона, призванного защищать честного гражданина. При этом и тогда, и сейчас в первую очередь растаптывалось именно самое дорогое — человеческое достоинство... Это особенно возмущало и одновременно укрепляло решимость Бориса Викторовича опубликовать написанную статью. Не глядя ни на какие возможные неприятности. Не повысят в должности? Чепуха! Если бы имелась возможность содержать семью на литературный труд, он бы и так, ни на минуту не задумавшись, ушел с работы. Его врагами будут столь высокопоставленные лица? Ну и что! Ничегошеньки они ему не сделают. Ведь Арыслан не ворует, не спекулирует, не хулиганит, не пьет и даже не курит...

Беседа отца с сыном происходила у постели Виктора Васильевича, который опять чувствовал себя наважно и лег, когда даже солнце еще не скрылось за горизонтом. Это тревожило Бориса Викторовича. Он-то знал теперь, чем болен отец, в отличие от матери, понимал, что всякие травяные настои, которыми она его поила, пожалуй, ему уже не помогут.

— Атте, я хочу завтра уехать,— сказал он, взяв его за костлявую руку.— Мне надо статью эту отдать лично редактору, объяснить кое-что, иначе она может пролежать месяцы и потом нужна будет, как насос после пожара. К тому же послезавтра должно состояться объединенное заседание секций прозы и поэзии. Мне необходимо там быть.

— Езжай, сын, конечно, езжай,— согласился тут же Виктор Васильевич.— Насчет меня не беспокойся, я еще продержусь. Просто не поостерегся, старый дуралей, на сквознячке посидел утречком, вот и прихватило немножко...

Хотелось верить, что он занемог действительно из-за небольшой простуды. Но, зная его состояние, всякое подумаешь. Поэтому сразу уйти от отца Арыслан не решился.

— Атте, коли разговор зашел о прошлом, скажи все-таки, почему тебя не приняли в партию? Понимаю, тебе

тяжело, так ты коротко, в трех словах. Помнится, ты обещал,— попросил он.

Виктор Васильевич пытливо посмотрел сыну в глаза, затем неожиданно улыбнулся. Только он умел, наверное, так тепло, умно и нежно улыбаться, одновременно показывая этим, что понимает тебя, подбадривает и даже одобряет.

— Да уж, очень подробно, извини, я в другой раз расскажу. Не из-за того, что сейчас слаб, на разговоры-то сил у меня хвата-ает,— сказал он.— Настроения нет вспоминать, вот беда. А в трех словах, ладно, так и быть... Как говорится, для страховки. А вдруг... ну... ты задержишься надолго и вообще ничего не узнаешь. Братьям твоим я пока ничего не хочу рассказывать. Они, боюсь, не готовы еще к этому.. Ты уж, когда увидишь, что они тоже поспели к такому разговору, сам растолкуй им на правах старшего брата... Так вот, сын,— тут Виктор Васильевич на какое-то мгновенье затаил дыхание, словно решаясь на окончательный шаг—...я вам постоянно твердил, что мы потомки вакхалыхского интеллигента, сельского учителя. Но отец мой, твой дед то есть, он ведь служил священником приходской церкви. Такая вот петрушка получилась... В то же время, говоря о нем как об интеллигенте, я перед вами не кривил душой. Отец мой действительно долго работал учителем. Но жил он в большой нужде. И нужда эта сжимала его с каждым годом все сильнее и сильнее, вытесняя из головы высокие думы о служении народу, простыми мыслями о хлебе насущном. Дело в том, что у моих родителей росло одиннадцать детей, причем все мужского пола. Тогда ведь не знали понятия «регулирование семьи». Как любили, так и рожали. Детей надо было не только кормить и содержать, но и выводить в люди. Не скажу, что учителя тогда получали мало, как пишут иные историки. И все же жалованье отца не было рассчитано на такую семью. К тому же мать, естественно, не могла нигде работать, хотя и имела кое-какое образование... Одним словом, после неоднократных предложений отец принял сан священника. Не знаю, нравилась ему эта работа или нет. Мы привыкли считать, что религия — опиум для народа. Но это в целом. Если же человек предан просветительству, он свои идеи в какой-то степени мог претворять в жизнь и в сане священника. По крайней мере, я не помню, чтобы отец говорил что-то плохое о коммунистах... Но главное — старшие мои братья после этого свободно могли продолжать образование: кто в гимназии,

кто в учительской школе, а самый старший дошел уже до университета. Однако нам, так сказать, последней четверке, с получением образования пришлось туго. Потому что скоро грянула Октябрьская революция, потом вихрем промчалась гражданская война. И пока мы, младшие, подросли, церковь закрыли, отца как врага революции забрали. Прихожане все как один убеждали приехавший из уезда ликвидком, что отец Василий никогда не говорил худого про Советскую власть. Правда, как выяснилось, за Советскую власть он в церкви тоже не ратовал. Видимо, поскольку церковь отделили от государства, он, как священник, придерживался нейтралитета. Но все эти показания отцу не помогли. Так же как и то, что его старшие сыновья служили один — в Красной Армии комиссаром полка, другой в Сибири — в ЧК. Вернее, мои старшие братья могли ему помочь, но они очень поздно узнали о случившемся. Тот, который комиссарил, где-то через год побывал на приеме у Председателя ЦИК Калинина, сумел убедить, что отец наш никакой не враг Советской власти... Короче, он с распоряжением освободить гражданина Львова и в дальнейшем разрешить ему работать в сельской школе прибыл в Пермскую губернию, на лесоразработки, очень поздно... И кто знает, какова была бы наша, младших братьев, судьба, если бы через несколько лет к нам однажды не пришел председатель волостного Совета, друг детства брата-комиссара, и сказал: «Ребятки, я знаю, вы, Львовы, все способные. Вам надобно учиться. Советской власти очень нужны образованные люди. Очень. Без них она задохнется. Но здесь вам как сынам врага народа учиться не дадут. Нате вот вам справки, и езжайте-ка все в Москву, к брату старшому. Он вас как-нибудь пристроит...» Справки, выписанные на имя каждого, говорили одно и то же: «Предъявитель сего... является гражданином села... Выходец из бедной крестьянской семьи...»

Виктор Васильевич на минуту замолк, потому что голос его вдруг как-то предательски осекся, задрожал. Затем, несколько успокоившись и набрав силы, он продолжил опять ровным тоном:

— Век буду проклинать себя за то, что не запомнил имени этого человека... Так вот, мать, распродав последние кое-какие ценные вещи, собрала немного денег, и мы, все четверо младших братьев, отправились в Москву. Старшему шестнадцать, мне — пятнадцать, за нами еще двое малолеток... К счастью, брат-комиссар был еще на службе и, опять-таки к счастью, нас, двоих старших, устроил

в типографию вакхалыхской газеты учениками наборщиков, а также добился на всех четверых комнаты в общежитии. К себе не только никого не взял, но и строго предупредил, чтобы мы даже не заикались о том, что являемся его родными. Вначале мы, не понимая истинных причин такого поведения, даже возмущались за это, считая его зазнавшимся. Но, видно, он уже чувствовал надвигающуюся беду: вскоре его арестовали. Полагаю, из-за отца... Но мы, слава богу, уже были на ногах: работали, поступили в рабфак; подрастали потихоньку меньшие братья, тоже устраивались так, что могли учиться дальше. А с окончанием рабфака каждый возвращался в Вакхалыхню. Разумеется, жили подальше от родных мест, но все же среди своего народа, дышали одним с ним воздухом. Для нас и это было высшим счастьем. Старшие наши братья, оставшиеся на воле, были лишены даже такой возможности. На родине друг за другом, вернее, помогая друг другу, все четверо стали учителями, потихоньку учились заочно дальше, правда, уже после войны... Многие из братьев погибли в войну, чекист — еще раньше, на службе, один из старших — он был ученый — в своей лаборатории... В итоге из одиннадцати сегодня в живых один я...

Так вот, после смерти «отца всех наций и народностей страны и всего мирового пролетариата» мне секретарь парторганизации колхоза предложил вступить в партию. Я подумал и согласился. Ведь в сущности я всю свою сознательную жизнь жил как коммунист. Обманул государство лишь однажды, в юношестве, и то—ради получения образования. А полученные знания опять-таки использовал на пользу государству и партии. Естественно, об этом я мог и умолчать, но разве имел бы тогда право называться коммунистом? Короче, бюро райкома мою кандидатуру отклонило. Сын попа, дескать. Разозлился я. Говорю членам бюро: а когда я на фронте воевал, трижды ранен был, почему же никто не спрашивал, чей я сын? Молчат, опускают очи долу. А проголосовали вслед за первым секретарем все против. Хотя сам Сталин не раз подчеркивал, что сын за отца не отвечает. Но, знаешь, слова нам всегда говорили правильные, верные, вдохновляющие, а делали...— Виктор Васильевич слабо махнул рукой.— Правда, лет через пять мне опять предложили вступить в партию, вроде бы даже гарантировали прием. Но я решил: хватит испытывать судьбу. Да и, собственно, зачем мне партбилет? В начальство не лез и не стремился к этому. А коммунистом можно быть и без партбилета.

Тягостное впечатление оставил рассказ отца в душе Бориса Викторовича. Человек он, конечно, не такой молодой, вот-вот пятый десяток закруглится. Однако о такого рода трудностях, противоречиях тех далеких времен знал больше понаслышке. Чего скрывать, близко к сердцу их не воспринимал, хотя умом и понимал, что не все было ладно в нашей истории. Но все эти рассказы о перегибах, о репрессиях вроде бы касались каких-то ему неизвестных, пусть даже больших людей, и это не так уж здорово пронизывало душу. А что не проходит через душу, известно, и в голове не очень задержится. Теперь же оказывается, что все это коснулось в какой-то мере даже его. Кто знает, кем мог стать его отец, наделенный природой недюжинным умом, если бы имел возможность учиться и делать карьеру в хорошем смысле слова в открытую. Кем могли стать его братья, видимо, тоже бывшие далеко не бесталанными. И как бы в таком случае сложилась судьба самого Арыслана? А взять масштабнее — судьба всей страны, если бы все подобные люди могли трудиться с полной отдачей сил и таланта во славу ее... Поистине неотделима судьба человека от судьбы своего народа...

— Атте, а почему ты до сих пор скрывал это от нас?— спросил Борис Викторович, на самом деле недоумевая по этому поводу.

— Знаешь, сын, боялся вашу жизнь испортить. Пуганый воробей даже мыши боится, слыхал? Я вот как-то думал, почему мы допустили, что опять начали брать верх такие, как та Зубова, ее покровители, кое-кто и похлеще. Ведь они по существу противники Советской власти, а может, даже и враги. Помнишь, я тебе говорил, что трусы в этом виноваты, трусы и равнодушные, допустившие их к власти, позволящие им измываться над извечными святыми принципами цивилизованного человечества — справедливостью и уважением личности. И это правда. Но, с другой стороны, откуда взяться смелым людям? Их миллионами выбивали из наших рядов войны, в войну на смерть шли опять же истинно героические, ставившие превыше всего свободу люди; после войны начали расправляться с оставшимися храбрецами; затем это дело вроде бы заметно прекратилось, но все же, хотя словами говорили другое, делами постоянно напоминали нам: это нельзя делать, тут нужно быть осторожным, свой умишко-то имей, а используй его, чтобы получше исполнять указания сверху: там все видят, все знают... Вот и взяли верх иные: не смелые, но нахальные, не деловые, но деляги, не имеющие своего

лица, но многоликие. А все другие причины, которыми объясняют наши беды — лишь следствие. Сорняк — он и так вверх быстрее других норовит вылезть, а когда с поля убираешь культурные растения, так уж тут ему, конечно, самое раздолье...

Стемнело. Борис Викторович встал, зажег свет. Чувствовалось, отец сильно устал. Но уходить из этой маленькой комнаты все не хотелось, словно здесь имелось что-то очищающее, от чего сам становишься как бы чище. Борис Викторович, поневоле ища причину задержаться хотя бы еще на несколько минут, подошел к книжным полкам. Одна стена комнаты от пола до потолка сплошь покрыта ими. На них на самом доступном месте отдельным разделом стояли все тома полного собрания сочинений В. И. Ленина. Выше, под самым потолком,— труды Маркса-Энгельса. Видно, при нынешней жизни отец открывал их меньше. Нижние полки заставлены справочной и художественной литературой, среди которой большое место занимали произведения вакхалыхских писателей. Почти пустой оставалась лишь одна. На ней, слева, стояли несколько книжек Бориса Арыслана...

Перед уходом Борис Викторович задал отцу еще один вопрос, волновавший вообще-то давно, а сегодня показавшийся особенно острым.

— Атте, сколько я тебя знаю, ты мне кажешься незаурядным человеком. Ведь если бы были другие условия, ты же мог, наверное, стать ученым, известным общественным деятелем. У тебя же могло быть совсем другое место в жизни. Скажи, ты здорово жалеешь об этом?

Как ни странно, Виктор Васильевич ответил сразу. Видно, он тоже думал об этом многократно, потому, наверное, и ответ на такой вопрос давно был готов.

— Нет, сын, не жалею. Если в чем мне и повезло в жизни, так это в выборе места в ней. Я не имею в виду Хыркасы. Сюда я попал случайно. Но стал учителем — отнюдь... И слава богу, что стал им. Сравни себя со мной. Сколько ты написал произведений о добре и справедливости. Наверное, их прочитали десятки, сотни тысяч людей. И все же, мне кажется, работая простым учителем, я вырастил в людях добра не меньше тебя. Почему? Потому что ты сеял тысячи семян, но ничего не сделал, чтобы они проросли и выросли. А я ухаживал за каждым растением, спасал его от сорняков, старался создавать условия для роста. Ты воспитывал массы. Но — вообще. А вообще— это значит никого конкретно... Впрочем, ладно, давай кон-

чим,— вдруг неожиданно завершил разговор Виктор Васильевич.— Устал я, сын.

Борис Викторович наконец-то попрощался и вышел, пошел к себе на веранду. Из сеней слышалось равномерное несильное уханье жидкости. Там мать по-старинному, в пахталке — деревянной кадушке с продырявленным поршнем, двигаемым вверх-вниз рукой,— взбивала пахту. Сепаратор она не признавала. Во дворе однообразно жевала жвачку корова, время от времени тяжко вздыхая о чем-то своем. Из окна было видно, как рядом с ней веером разлеглись овцы. Похоже, они признавали корову за старшую во дворе. Все тянутся к тем, кто сильнее.

Ближе к полуночи пошел дождь. Он сначала редкими тяжелыми каплями постучал по жестяной крыше, затем, словно убедившись в ее прочности, пошел барабанить изо всех сил. Как ни странно, такой барабанный бой не мешал, наоборот, помог наконец уснуть до этого все еще лежавшему с открытыми глазами Борису Викторовичу.

На следующий день к обеду Арыслан был уже в Башколе. По дороге он успел заехать на дачу, как все называли маленькие садовые участки с летним домиком, и входил в здание издательства, где находятся редакции республиканских газет и журналов, налегке, с тоненькой кожаной папкой в руке. Редактор принял его сразу, при нем же начал читать статью. Он вообще хорошо относился к Арыслану, в свое время прочил ему место своего заместителя, собирающегося тогда на пенсию. Но тяга к литературе у Бориса Викторовича взяла верх, и года два назад он, оставив перспективную в смысле служебной карьеры работу в газете, перешел в правление Союза писателей. Должность литконсультанта, конечно, менее престижна, да и оплачивается так себе, зато имеет одно существенное преимущество: она дает возможность писать беллетристику, поскольку дни в целом не так напряженно заполнены, как у газетчика...

— Ну что ж,— сказал редактор, прочитав статью,—криминала не вижу. Судя по копиям документов, которые ты представил, факты все достоверные. Такая критика нам очень нужна, особенно сегодня... Да, слушай, Борис, а кто она такая, эта Зубова? Из какого хоть района? Или не местная? Что-то не помню...

Редактор никогда не говорил «не знаю». Арыслан, хорошо знавший его, конечно, понял, к чему он клонит. Хотел, видно, прощупать, кто ее выдвигал и, соответственно, кто может попытаться защитить ее.

— Откуда вам помнить,— тоже схитрил Арыслан.—Объединение небольшое, каких-то триста-четыреста человек. Видно, вынужденно ее поставили, никто не шел туда... А откуда она выдвинута — даже не представляю.

— Да, да,— неопределенно поддакнул редактор, про себя оценивая услышанную информацию.— Одним словом, статью дадим. В ближайших же номерах. Время сейчас такое, что с подобными горе-руководителями надо бороться беспощадно. Да, беспощадно!

Похоже, он пришел к выводу, что за критику такого мелкого директора большое начальство шума не поднимет.

Раз попал в этот дом, Арыслан попутно поднялся на несколько этажей выше, в редакцию литературного журнала. Месяца три назад он представил туда рассказ. Конечно, хотелось узнать его судьбу. Но в редакцию он не попал. Навстречу оттуда как раз спускался Инжеватов.

— О-о, кого я вижу! Салам, старик. Ты откуда?— воскликнул он, будто и не сам приезжал в Хыркасы и приглашал на заседания секций.

— Из лесу, вестимо!— отшутился Арыслан.

— Если ты в редакцию журнала, не поднимайся дальше, не расходуй зря лишней энергии,— предупредил Инжеватов.— У них сегодня день читки, так что кроме машинистки там никого нет... Слушай, ты обедал? Нет еще? Давай спустимся в столовую, пообедаем,— тут же перешел на деловой тон.— Заодно потолкуем о том о сем.

Но в столовой была очередь — не продохнуть. Конечно, о деловом разговоре здесь нечего было и думать. Да и проторчать пришлось бы изрядно.

— Поехали в кафе. Тут недалеко,— предложил Инжеватов.— Или ты хочешь меня к себе пригласить? Ты ведь тоже не очень далеко отсюда живешь. Давай купим в гастрономе чего-нибудь да сообразим настоящий домашний обед, а?

— Домой не приглашаю,— сухо отрезал Арыслан.

— Ясненько!— двусмысленно поддакнул Инжеватов.

Он, конечно, понял все. Такой уж всегда сообразительный.

Они вышли наружу, подошли к красным «Жигулям».

— Значит, едем в кафе?

— Давай все-таки в гастроном,— попросил Арыслан, садясь на заднее сиденье. — Накупим запас продуктов и отвезем ко мне на дачу. В авоське мне много не дотащить. Там же и обед сварганим. Сад мой, сам знаешь, рядом с

городом, так что в общей сложности тебе обойдется в лишних десять минут, не больше.

— Согласен,— почему-то без традиционных взвешиваний всех «за» и «против» кивнул головой Инжеватов и лихо отъехал от стоянки. Наловчился же ездить, шайтан его побери, любому профессиональному водителю может дать фору. Впрочем, такой уж он универсальный человек, за что ни возьмется — все у него ладится. К сожалению, кроме литературы. Но и тут он давно перегнал тех, у кого это дело получается лучше. По издаваемости. Одним словом, «его пример — другим наука». Не одна жена писателя завидовала его супруге, не один писатель-муж проклинал его после попреков своей дражайшей половины, в качестве примера постоянно выставляющей одного и того же человека...

Сад Арыслана весьма скромненький, занимает три сотки суглинистой земли. Одноэтажный маленький домик с толщиной стен в один кирпич, низкий, с постоянной сыростью, без печки и электричества, был построен прежними хозяевами участка. Даже в самую жаркую пору по ночам здесь прохладно, потому очень не нравится Арыслану. Однако переделать домик у него не хватало духу. Одна мысль о том, сколько придется бегать из-за каждой мелочи, искать рабочих, транспорт, приводила его в тихий ужас. И в ответ на ворчанье Тертту Ульясовны за «бесподобную беспомощность» Борис Викторович лишь упрямо сопел. Правда, нравится ему совершенно небольшая, раза в два меньше избушки веранда, обитая обычными тарными дощечками и наполовину застекленная. Здесь летом всегда светло, тепло, сухо. Тут, в кубричной тесноте, и устроились два товарища, вскипятили на газовой плите чай, с весьма запущенных грядок нарвали зеленого лука, огурцов и полуспелых помидоров, выложили на стол привезенные из гастронома хлеб, плавленый сыр, сардины в томатном соусе... Одним словом, по меркам Арыслана, неплохой получился обед. Совершенно другого мнения был Инжеватов.

— Да-а! Прости, старик, за откровенность, но я думал, что у тебя на даче все, как у людей. Полагал, что в погребе найдем что-нибудь этакое, деликатесное, из холодильника вытащим хотя бы шампанское,— то ли упрекал, то ли осуждал он.— А у тебя даже электричества нет. Я уже не говорю о домике. Разве можно в этой коробке жить, творить? Да и сад весь запущен, оброс, одичал. Работать, что ли, некому? Дети же есть, зять...

Арыслан не оправдывался. Да и к чему это было перед

товарищем, который знал о его семье все и даже чуточку больше. Но, если честно, эта полудикость сада как раз и нравилась ему, только из-за нее он иногда тянулся сюда. Впрочем, конечно, не только из-за этого, а иногда и потому, что просто больше некуда голову спрятать от домашних неурядиц, от вечных неудач в житейских мелочах, которые на самом деле, оказывается, бывают иногда для человека во сто крат важнее, чем талантливо написанная повесть или даже роман.

Тем временем Инжеватов продолжал гнуть свое:

— Если бы мне твой талант, Борис, да я до сих пор, знаешь, как бы жил и кем бы стал... Перед тобой скрывать нечего, литературным дарованием, я, увы, не особенно блещу. Потому пишу с трудом, естественно, на-гора выдаю мало. Но ведь ты написал уже двести с лишним авторских листов отличнейших произведений. Да издай их хоть по разу в журналах и по разу отдельными книгами, и то сто тысяч рублей получится. Сколько ты литературой по-серьезному занимаешься? Двадцать лет? За двадцать лет заработать сто тысяч... Не густо, конечно, но жить можно же. Однако ты пока даже половиной этой суммы не завладел. В журналах твои вещи вечно выходят обрезанными наполовину. В издательстве под разными предлогами тянут выпуск книг. Почему ты все это терпишь, друг мой?

— А что же мне делать, если мои вещи редакциям не нравятся? В издательстве же, сам знаешь, порядок такой: одного и того же автора издавать через год, чтобы никому не обидно было,— вяло возразил Арыслан.

— «Не нравятся...» «Порядок такой...» Неужели ты столь наивен? Помню я твои критические статьи и фельетоны в газете. Все удивлялся твоей смелости. И тому, как ты здорово разбираешься в жизни. Даже завидовал. Но, оказывается, ты силен и умен, когда заступаешься за других. А за себя вообще постоять не можешь. Пойми, садовая головушка, должно быть все наоборот! «Не нравятся», видите ли. Да не в этом же дело, открой глаза, Борис. Просто видят они, эти редакторы, что отлично пишешь, вот и не желают подать тебя читателю во всем блеске. Потому что в таком случае затмишь ты их. Ведь что получается? Пока твои рукописи желтеют на издательских полках, иные успевают выпустить свои, нахватать премий, званий... «Издавать через год...» Нет такого положения, дорогой. Ты можешь издавать книги ежегодно и по нескольку штук, понял? Нельзя издавать более одной книги по одной редакции и одно и то же в нескольких издательст-

вах сразу — вот и все ограничения. Другое дело, если ты, как я, частенько переиздавал бы свои вещи. Тут, конечно, могут и приостановить, если сам не сумеешь ходы-выходы найти. У тебя же лежат рукописи, еще ни разу не выходившие отдельными книгами... Я, старик, не случайно, не просто так тебе все это растолковываю. Это все нужно будет завтра, на заседании секций, вот увидишь. Так что когда речь пойдет о включении твоего романа в план, крепко стой на своем. А то ведь сошлются на недавний выход твоей книжонки и опять предложат оставить его на потом. Кстати, я тоже буду на заседании, хотя и не планирую выпуск книги. У меня в тот год в Москве сразу две должны выйти... Так я приду специально тебя выручать, учти... Если мы в этом году отстоим, в дальнейшем, думаю, никто не посмеет ставить тебе подножку.

— Это еще почему?— удивился Арыслан, внимательно слушавший товарища. Как бы там ни было, Инжеватов говорил правильные вещи, приходилось их наматывать на ус. Верно сказано: дитя не плачет, мать не разумеет.

— Потому что, по моим данным, тебя в скором будущем должны назначить главным редактором одного из журналов. Не знаю — какого. Но назначат обязательно.

— Ну-у, скажешь тоже!— начал отнекиваться Арыслан, подумав про себя: «Кто же наболтал ему о нашем разговоре с Казачкиным?»

— Никаких ну,— твердо сказал Инжеватов.—Я все варианты просчитал. Смотри: один вот-вот уйдет на пенсию, другого должны перевести директором издательства. Это точно, мне друг из обкома партии говорил. Кого сунуть на их место? Вроде бы много людей в Союзе писателей, а начнешь перебирать — и нет никого. Людей предпенсионного возраста, естественно, главредом не поставят. А средний возраст наших членов Союза — пятьдесят семь лет... Из более молодых да способных все уже выдвинулись как могли. Есть еще пара человек, но они несколько скомпрометировали себя в свете решений... Раньше бы это, возможно, не повлияло, но теперь... Есть еще пара-другая людей. Но они уже при званиях, имеют хорошие связи в Москве, их рукописи из-под пера выхватывают, так что им должность, даже такая, лишь помеха, посягательство на свободную жизнь. Остаешься ты. Еще не старый, энергичный, честный, как ни странно, по работе в какой-то степени волевой, порядочный в быту и в моральном, так сказать, отношении... Одним словом, из двух кресел одно тебе обязательно достанется. Понял?

Конечно, Арыслан хоть и осторожно, но все-таки подумывал об этой возможности. Однако такое безапелляционное предвещание его судьбы ему не понравилось.

— А зачем мне это кресло, Солбон, ты подумал? — спросил он.— Если твое пророчество паче чаяния и сбудется, я же могу еще отказаться.

— Не откажешься,— однозначно ответил Инжеватов.— Ты же не дурак.

Такой довод обезоруживал.

Грузинский чай с добавлением смородиновых листьев, заваренный мужчинами, был действительно хорош. От него стало бодрее, свежее, появилось какое-то благодушие. В открытую дверь одновременно дуром лезли садовый чистый воздух и веселые, теплые солнечные лучи. Впрочем, солнце ласково заглядывало и в окно и залило всю веранду золотистым цветом, теплом.

— Я тебе еще не все сказал,— напившись чаю, продолжил Инжеватов начатый разговор.— Недавно ездил в Москву, отвез корректуру в издательство. Так мой толмач[34] говорит, что у него есть возможность устроить небольшую книжку, листов в пятнадцать, в молодежном издательстве. Вообще-то это издательство автономные республики почти не признает, работает в основном с авторами из союзных. Но там у моего толмача сидят товарищи... Вот и решили они в виде исключения из какой-нибудь автономной тоже сунуть в план книжку. Толмач, конечно, думал обо мне. А я, сам знаешь, молодежной тематикой не увлекаюсь. Но я сказал ему: ты позицию держи, я найду тебе замечательного автора. Конечно, имел в виду тебя, понимаешь? У тебя есть прекрасная повесть о жизни ребят профтехучилища. Как ее... «Синяя дорожка», кажется? Так что готовь подстрочник...

Арыслан слушал-слушал его и не выдержал, захохотал во все горло. Зло так, издевательски получилось это у него.

— Что это ты сарказмом разбросался?— готовый обидеться, недовольно спросил Инжеватов.

— Да ничего, ничего,— то ли его, то ли себя успокоил Арыслан.— Просто вспомнил... Так вот, дорогой Солбон, помнишь, ты мне в Хыркасы сверток от Тертту привозил?

— Ну. И что такого?

— А в нем и письмишко одно было. Из московского молодежного издательства. Как раз по поводу подстрочника моей повести «Синяя дорожка».

— Ну, ну?— теперь уже весьма заинтересованно начал слушать Инжеватов.— И чего написали?

— А ничего,— зло бросил Арыслан.— Они даже не стали читать ее, вернули так. Нет у них, понимаешь, возможности работать с авторами из автономных республик. А ты говоришь — позиция...

Инжеватов явно не ожидал такого поворота. Но нашелся быстро.

— Так это же хорошо, что вернули, даже не прочитав. Значит, не из-за того, что слаба повестушка, а из-за невозможности ее издать. Понимаешь? Теперь вдруг такая возможность нашлась. Случайно. Бывает же такое. А что подстрочник твой уже готов — это совсем прекрасно. Не откладывая в долгий ящик, давай его мне. А я другу перешлю. И все будет в ажуре. Понял, дорогой мой товарищ? Ну-ка, налей по этому поводу еще стаканчик чаю...

Возможность выпустить книгу, да еще в пятнадцать листов, которую Инжеватов с толмачем называют «небольшой книжкой», конечно, воодушевила Арыслана. Даже не верилось, что так просто, сидя в тесной веранде за чаем, можно решать подобные невозможные вопросы. Поэтому невольно вырвалось:

— Солбон, ты это всерьез? Или разыгрываешь меня? А если результат окажется таким же?

— Вот чудак! Разве такими вещами шутят,— дружески хлопнул Арыслана по плечу Инжеватов.— Раз толмач держит себе позицию, зачем же он отдаст ее другому? Это все равно что кусок изо рта уступить.

— Но о моей повести были разные разговоры. Некоторым критикам она не понравилась,— засомневался Арыслан.

— Чихали они на наших критиков,— весело махнул рукой Инжеватов.— Главное, повесть хороша, как раз такая, которая им подойдет. Я, друг мой, вкусы московских издателей изучил от А до Я. Только вот что, тебе придется немножечко ее.. ну, не переделать, а как бы нанизать национальным орнаментом. В столице, понимаешь, очень любят национальный колорит. Вот меня ругают, что в выходящих в центре книгах я показываю обычаи и традиции вакхалыхов, которых на самом деле нет или которые существовали только в древности. Так ведь иначе нельзя...

— А что же национального я могу туда включить?— пожал плечами Арыслан.— Действия в повести происходят в городе. А наши городские ребята не только традиции и обычаев, даже языка родного не знают... И вообще, сам знаешь, народ наш в силу ряда причин давно уже начал терять свое лицо.

Это, конечно, самый больной вопрос, который волнует всю национальную интеллигенцию, особенно писателей и композиторов. Поэтому Инжеватов, зная упрямый норов товарища, решил не обострять разговор, а поспешил упростить его:

— Не обязательно же о традициях и обычаях вести речь. Ну, например, природу нашу опиши...

— Какая к черту природа в Башколе?— еще больше начал закипать Арыслан.— Город как город, ни с лица, ни с зада у него никаких отличий нет. Да и природа наша — обыкновенная, среднеевропейская. Нет, понимаешь, гор как на Кавказе, пустынь как в Средней Азии, вечной мерзлоты как в Сибири, моря как в Прибалтике, даже украинских арбузов или молдавского винограда нет. Чем я должен удивить московские издательства?

— Особые наши черты характера покажи...

— Какие они теперь особые...— безнадежно махнул рукой Арыслан.— При нашей молодости еще были в людях стеснительность, честность, благородство, знаменитое вакхалыхское трудолюбие. А теперь многие молодые люди пьют, сквернословят, лодыря гоняют. Да и среди нашего поколения таких немало. Вакхалыхи давно уже начали пользоваться замками... Все мы переняли, Солбон, все! И нужное, и ненужное!— тоскливо вздохнул под конец.

Возразить ему, в сущности, было нечем. Все это известно каждому думающему вакхалыхину. Только не принято об этом говорить вслух, иначе даже в наше время могут приклеить тебе какой-нибудь ярлык на «...изм». Но некоторые все же начали говорить. При этом у них, конечно, и в мыслях нет подчеркивать всякие «...измы». Просто чувство самосохранения заставляет. Оно ведь объективно существует так же, как и те факты из жизни народа, о которых говорит Арыслан.

— Ты не кипятись, Борис,— попытался Инжеватов успокоить друга.— Знаешь, старик, в тебе сейчас злость сидит. Пусть она уйдет, затем ты все хорошенько обдумай. И берись за дело, понял? Одним словом, жду на днях твоего подстрочника. И еще... — замялся он в нерешительности и замолк.

— Что — еще?— переспросил Арыслан, так и не дождавшись продолжения.

— Понимаешь, тебя лучше сразу предупредить, чтоб потом не было недоразумений,— решился все-таки высказаться Инжеватов, хотя прекрасно понимал, что настроение товарища для этого не самое подходящее. Но чтобы де-

лать дело, надо всегда ставить все точки над i.— Только между нами..— предупредил на всякий случай, зная, что Борис Викторович и так не любит трепать языком.

— Ну, давай, говори, не тяни волынку,— согласился Арыслан.

— В общем, толмач этот такой человек, что просто клад: автора в издательствах, как видишь, пробивает сам, и тиражи сам же делает... Но берет он за перевод шестьдесят процентов. Естественно, за подстрочник не платит. Сам подумай, иначе ему зачем с нами возиться? Он же автора из союзной республики может найти. С ним и ему честь и слава... Конечно, это вроде бы нехорошо. С другой стороны, он тебя на Всесоюзную арену выводит. А после первой другие книги уже легче пойдут... Не железные горошинки[35] же мы, наконец. Ведь главное, чтобы нас побольше людей читало...

— Не объясняй!— прервал его Арыслан. Хотя первоначально весть Инжеватова и обрадовала, но теперь от нее было как-то неприятно, будто от радующей глаз вещи вдруг запахло чем-то дурным.— Хорошо, я подумаю обо всем.

Выпили чаю еще по стаканчику, и Инжеватов собрался домой. Вернее, не домой, а, как сам сказал, тоже в сад. Участок его находился на берегу реки, в садоводческом кооперативе знатных людей города. И земли там было в два раза больше, и домик его двухэтажный с пристроенной небольшой сауной был похож на миниатюрный дворец. Арыслан знал это, как-то пришлось там побывать. Что ж поделаешь, Инжеватов действовал всегда энергично, как мотор. К тому же супруга его работала в торговле, а эти люди, похоже, могут обставить даже всемогущих факиров.

Арыслан пошел провожать товарища, решив заодно немного прогуляться перед работой. Машины без груза на территорию садоводческого товарищества не пускались, и Инжеватов оставил свои «Жигули» у ворот, рядом с будкой сторожа, которого, впрочем, там никогда не было.

— Может, поедем вместе?— предложил Инжеватов, садясь в машину.— Прямо до дома довезу, как лучшие таксисты Парижа.

Он уже два раза побывал во Франции по туристическим путевкам и при случае любил козырнуть этим.

Арыслан лишь отрицательно мотнул головой.

— Жаль,— крякнул Инжеватов.— Зря ты, Борис, так... Жена твоя — отличная женщина. Если бы ты отдал свои дела полностью в ее руки...

— Езжай,— хлопнул дверцой Арыслан и, повернувшись, пошел к себе, не дожидаясь отъезда машины.

На этот раз он свернул с главной улицы, где время от времени все-таки появлялись мощные грузовики и самосвалы деловых людей, привозя то навоз или торф, то стройматериалы. Все бы ничего, но они поднимали пыль. Видимо, здесь ночной хыркасинский ливень даже не снился никому.

Перейдя на соседнюю, параллельную основной, улицу шириной в три метра, где, похоже, за все лето не проезжала ни одна машина, Арыслан не спеша зашагал в сторону своего участка. Ноги заплетались в густой высокой траве, сверху крест-накрест покрывающей узенькую тропинку. Пахло разносортными яблоками, сливой, особого сорта малиной, помидорами и огурцами, цветами. Такой густой аромат, наверное, может быть только в садоводческих товариществах, где на каждом клочке земли выращивается что-то полезное, плодоносящее или украшающее. И хоть Арыслан был весьма далек от такого использования своего участка, он, шагая неторопко, с удовольствием и с интересом рассматривал, что могут делать трудолюбивые человеческие руки на этом суглинке — заброшенной совхозом как бесполезной земле.

Абсолютное большинство этих людей Борис Викторович не знал: товарищество объединяло почти две тысячи членов. Но с некоторыми он за эти годы успел познакомиться. Вот тут, слева, где небольшой, как у Арыслана, домик — участок работника республиканского совета одного из спортивных обществ. Хозяин — большой любитель тепличного выращивания овощей, поэтому чуть ли не половина сада у него покрыта пленками да стеклами. На участке сейчас никого нет. Оно и понятно: рабочее время. А часа через два прикатят они всей семьей на стареньком «Запорожце», и будет тут стоять счастливый ребячий гвалт. Просто удивительно, как это в городских условиях иные родители умудряются воспитывать детей трудолюбивыми... А вот тут, справа,— участок инженера НИИ, страстного любителя шахмат. Кажется, они с супругой здесь: из двухэтажного домика слышен смех мужчины, игривый визг женщины. Оба они, знает Арыслан, очень гостеприимные люди. «Зайти, что ли,— мелькнуло в голове.— Кажется, они не очень-то заняты работой. Может, в шахматишки сыграем. Надо же и отдохнуть, разрядиться немножко».

Поколебавшись, Арыслан вошел в открытую калитку,

подошел к домику. Дверь веранды тоже раскрыта. Естественно, кто же будет в такую жару устраивать себе парилку. Арыслан для приличия постучал пару раз по косяку двери и вошел. Тут же остолбенело остановился...

На диване лежали какой-то мужчина в плавках и жена инженера в открытом купальном костюме. Мужчина был не инженер, то есть не хозяин участка, это Арыслан понял сразу по его длинному здоровому телу. Хозяин был среднего роста, худощав... Хоть Борис Викторович и сразу отвел глаза, все же невольно успел заметить, что жена инженера лежала на груди мужчины и целовала его, исступленно и сладострастно повизгивая. Мужчина поглаживал своей ручищей ее нежную спину, на которой пуговицы или крючки от лифчика были расстегнуты... Но это рассказывать долго, а продолжалось буквально секунду. Услышав стук в дверь и шаги, жена инженера мгновенно вскочила. При этом ее расстегнутый лифчик, держащийся за шею на одной лямочке, обвис, открыв литые выпуклости молочного цвета с торчащими темными шишечками. Однако она от растерянности даже не заметила этого, ничего не понимая, уставилась на Арыслана широко раскрытыми глазами.

— Вы?— пробормотала она.— Понимаете, приехал брат...

— Да-да,— виновато пробубнил Арыслан, чувствуя всю нелепость ситуации.— Простите, пожалуйста. Я ведь хотел только в шахматишки...

Он резко повернулся и почти бегом вышел с участка, теперь уже быстро зашагал по улице к себе. Ему было так стыдно, хоть сквозь землю провались. Стыдно за подсмотренное человеческое счастье. А для кого-то, может, несчастье. Впрочем, счастье и несчастье не ходят отдельно...

Придя в свой домик, Арыслан уже не мог заставить себя сесть за стол. Какая к лешему сейчас работа! Он протянул под стол руку, нащупал керосиновую лампу, взял ее, встряхнул. Внутри булькало. Значит, есть керосин. Тогда над повестью лучше посидеть ночью, а сейчас надо лечь, отдохнуть, привести мысли в порядок...

Борис Викторович, сняв туфли, прямо в брюках лег на единственную полутораместную железную кровать. Пружины ее давно проржавели, ослабли, и он, скрипя ими, провалился, оказавшись словно в гамаке.

Нужные мысли, связанные с сюжетом будущей повести, в голову упорно не хотели лезть. Вместо этого вновь и вновь вспоминалось только что увиденное. Нет, Арыслан

не осуждал ни жену инженера, ни ее любовника. Умом он понимал, что это, наверное, и есть настоящая жизнь, где не всегда надо быть святым, потому как святые никогда ничего вперед не двинут, и будь на свете только они, все когда-нибудь захиреет, зачахнет, замрет. Да и святые, даже библейские, оказывается, вначале были большими грешниками. Только потом, как говорится, вволю нагулявшись и пожив, они вдруг ни с того ни с сего раскаивались и добровольно начинали страдать, замаливая таким образом грехи свои перед всевышним, но не перед собственной совестью... Не-ет, Арыслан святым не верит, ни библейским, ни земным. Мало того, иногда ему хочется пожить как все: после работы и в выходные, в праздники и отпуска отдыхать душой и телом, встречаться с друзьями, выезжать в лес, покататься на теплоходе. Хочется иметь машину, как у Инжеватова, дачу с настоящим домом, чтобы в нем в прохладную осеннюю погоду можно было затопить печь и посидеть у ее открытого устья. Хочется, чтобы в квартире была пусть малюсенькая, но отдельная комнатка, где можно было бы поставить письменный стол, а стены обить самыми простыми книжными полками из самых обыкновенных досок. Наверное, это неприлично, но как иногда завидует Арыслан тем писателям прошлого, которые задыхались от бедности, настолько задыхались, что в своем небольшом двухэтажном доме о десяти-пятнадцати комнатах да тоже небольшом дворе с парой-другой конюшен и разными хозяйственными постройками вынуждены были оставлять из прислуги всего-то горничную, кухарку, дворника да конюха. А как скажешь об этом вслух, ведь черт знает в чем могут обвинить. Тем же литературоведам, с упоением пишущим о таких живших в большой нужде писателях как о мучениках, выдержавших невыдержимое, никто даже не подскажет умерить пыл и больше уделить внимания не быту их, а созданным ими произведениям... Да разве только отдельную комнату хочется Арыслану?

Как выделил Литфонд в курортный сезон путевку периферии — до сих пор остается загадкой, но однажды Арыслану посчастливилось летом поработать в Доме творчества в Дубултах. Для сочетания отдыха с работой вряд ли где есть место лучше. Полоску суши, где расположен Дом творчества, с северной стороны омывают разговорчивые волны приветливого Рижского залива, а с юга, в каких-нибудь двухстах метрах,— спокойная и неторопливая, как сам латышский народ, река Лиелупе. На самой суше—

сплошной массив смешанного леса. Смесь вырабатываемого одновременно морем, лесом и рекой кислорода настолько чудодейственна, что даже после ночных бдений за письменным столом усталость как рукой снимает, если часок походить по берегу...

Проходя по белопесчаному пляжу, Арыслан иногда невольно нет-нет да и заглядывал на беспечно и беззаботно прогуливающиеся пары. Что поделаешь, имеющий око да видит. Любой мог догадаться, что познакомились эти молодые и не очень пары только здесь, на курортах Юрмалы, и вели себя так, словно переживали второй медовый месяц. Что скрывать, когда смотришь на них, зависть берет. Хотя разум подсказывал: наоборот, их надо осуждать! Ведь у многих из этих людей наверняка имелись семьи. Но, представляя себя в своем семейном кругу, Арыслан все же не поддавался разуму, не торопился осуждать временную любовь. Он хорошо понимал, что значит вырваться на свободу и хоть немного разрядиться от рабочей и домашней суеты, бог знает когда начинающейся и когда кончающейся. И, себе уж можно признаться, в иной раз хотелось бросить эту, казалось, осточертевшую писанину, познакомиться с какой-нибудь веселенькой пиге и нырнуть в омут неизвестности, а там — хоть трава не расти. Но тут же как представил он себе, что надо сначала познакомиться с ней, при этом наверняка придется где-то слукавить, а где-то просто наврать, преодолевая защитные барьеры чести, совести, затем — боже!— целыми днями и неделями ухаживать за ней, водить ее в кино, на концерты, в театр, а на столе в это время будут сиротливо лежать чистые листы бумаги...— так сразу отпало всякое желание ловить амуров. Самое же интересное было то, что случись такое на самом деле — ему за это абсолютно ничего не грозило, даже домашний скандал был исключен: Тертту Ульясовна — женщина современная, сама ратующая за всякие свободы, в душе наверняка даже одобрит подобный поступок мужа. Только дела, одни дела давили чувства. А может, не стоят они этого, дела его? Может, и не нужны его романы и повести читателю? Может, Арыслан насильно навязывается ему?

Нет, хватит терзать себя всякими мыслями! Все! Точка!

Арыслан встал, открыл стол. Там должен быть старенький портативный приемник. Надо послушать музыку, что ли, если батареи еще не сели...

«Маяк» как раз передавал информационный выпуск. Оказывается, на какой-то обувной фабрике здорово идет

перестройка. Станки и автоматические линии все приобретены за границей, установлены и налажены зарубежными специалистами, сырье поступает тоже из заморских стран. Даже сами модели обуви оттуда же... Теперь коллектив собирается работать по-новому, переходит на хозрасчет, на самофинансирование... «Один шайтан знает, что это за перестройка. В чем же тут заслуга коллектива?»— подумалось невольно. А «Маяк» передавал уже другие новости, тоже на тему обновления. Без этого сегодня, видимо, нельзя журналистам. Вот и республиканские газеты пишут о перестройке, о гласности, о социальной справедливости, о выборах руководителей, что означает дальнейшее развитие демократии. Только одного никак не поймет Арыслан: где все это происходит? Почему не видно той обновленной обуви в магазинах? Почему честного человека Василькова надо защищать... от прокурора, министра, обкомовского работника, директора объединения? Или его бывшие собратья по перу затеяли, пусть и необычно долго тянущуюся, но все же очередную кампанию? Ведь эти предполагаемые изменения, о которых читаешь и дух захватывает, требуют настоящей революции. Наступила она на самом деле или нет? Или ее наступление просто невозможно?

Вообще-то о сущности революции у Арыслана имелась своя теория, узнав о которой наши философы высмеяли бы его с позором за примитивизм мышления. Автор заранее предупреждает, что вообще-то он сам придерживается самых научных взглядов в отношении этого весьма важного вопроса. Но в то же время считает, что согласно духу времени просто обязан ознакомить читателя и со взглядами своего героя. Итак, эта так называемая теория отрицала общепринятую о том, что с вступлением общества в фазу коммунистического развития революции отпадают из-за, дескать, отсутствия антагонистических противоречий в обществе. А разве противоречия могут быть, строго говоря, неантагонистическими? Они есть и должны быть именно отрицающими друг друга, иначе мы просто как бы отбрасываем главный закон диалектики — закон единства и борьбы противоположностей. И революции были и будут, пока будет существовать человеческое общество. Все зависит от того, что понимать под этим. По «теории» Арыслана, революция это не смена власти и даже не смена общественных формаций. Они — лишь внешние ее признаки, наиболее бросающиеся в глаза. Революция же сама по себе — коренное изменение сознания ведущей массы народа в какой-то исторический период, вызванное объек-

тивной необходимостью изменений в общественном развитии. Исходя из своей трактовки, Арыслан в истории развития и человеческого общества вообще, и страны, и своего народа, в частности, насчитывал намного больше революций, чем в учебниках истории. К ним он относит, например, «добровольное» вхождение вакхалыхов в состав России. Ведь для них это поистине было настоящей революцией, изменившей уклад жизни, общественные и государственные отношения, философию на основе изменившихся государственного строя и, впоследствии, религии. А вызвана она ни много ни мало необходимостью решения вопроса о дальнейшем существовании народа. Или реформы Петра Первого в России. Они же по существу произвели настоящую революцию в стране. И сегодня, когда речь идет о перестройке, по теории Арыслана, фактически должна происходить революция. Иначе грош цена всем этим хозрасчетным мероприятиям, техническим и технологическим новшествам, реорганизациям в управлении, нарождающейся гласности и бог знает каким еще большим и малым изменениям. Бюрократы, карьеристы, чинуши, не говоря уже о других паразитах, жиреющих на честном труде простого человека, ко всему приспособятся и из любых преобразований выиграют себе выгоду. Многовековая история человечества, кажется, достаточно доказала это. И прежде всего, что бы ни говорили о всеобщей ответственности всех за все, мозги надо перевернуть руководящим кадрам. Самый консервативный, закостенелый тормоз — в них. Ибо сама система выдвижения кадров десятилетиями плодила именно таких руководителей: якобы всезнающих, элитарно-номенклатурных, отсюда на дрожжах вседозволенности круговой поруки приподнятых и оторванных от масс. Почему? Просто же все: каждый вышестоящий руководитель плодил только себе подобных нижестоящих, выдвигая лишь удовлетворяющих его вкусу, а не требованиям людей; нижестоящие в свою очередь поступали так же. Когда же хотя бы в силу закона невечности бытия на этом свете надо было кого-то выдвигать на чье-то место вверх, приподнимались люди из уже готовой однообразной массы. Известно, из теста, конечно, можно изготовить множество видов продуктов, но они же все мучные...

Впрочем, что за день сегодня. Одни мысли и мысли. Разве нельзя отдыхать без всяких мыслей?

Странно, однако, почему это Инжеватов так упорно начал заботиться о нем? Даже решился помочь издать книгу в Москве. Хоть и товарищи они, однако же не близ-

кие друзья, нет. Близкие друзья, вернее, подруги, пожалуй, Тертту с женой Солбона — Олимпиадой. Не случайно Тертту Ульясовна всегда устраивает ее и ее друзей на самые лучшие места в партере... Надо будет все-таки спросить у Солбона, с какой стати он вдруг так расщедрился, даже своего толмача ему предложил... И с чего это он, Инжеватов, все Тертту расхваливает? Хочет нас быстрее помирить? «А ссорились мы с ней?»— вдруг подумал Арыслан. Получалось, даже не ссорились. Просто Борис Викторович как бы расстроился увиденным в театре и поехал к родителям. Там успокоился. Вернулся обратно. В конце концов, не в таком же положении он застал свою дражайшую в том злополучном кабинете, как жену знакомого инженера на даче сегодня. А что Тертту Ульясовна в общем-то неплохой человек — это Арыслан и сам знает. Она красива, умна, в поведении проста, деловита, общительна... Да, все это так. Но она из тех женщин, которые хороши для всех, но не для семьи. А что поделаешь. Идеальных людей, давно известно, на свете просто не существует. Так чего, спрашивается, не хватает Борису Викторовичу? Какого рожна ему еще надо? Почему он не дома сейчас, а лежит в этой прохладной сырой клетушке, на старой проржавевшей кровати, слушает сиплый голос допотопного приемника?

А ведь был он счастлив с Тертту, был...

Прислали ее заведующей клубом в Хыркасы через год после той неудачной попытки Бориса поступить в университет. Все деревенские парни сразу же были пленены ею. Иначе, пожалуй, и не могло быть: слишком во многом разнилась она от местных девушек. Во-первых, одевалась как майра[36]. Так одевались в Хыркасах только две учительницы, да и они отличались от других лишь платьем без традиционных двойных оборок и отсутствием сапуна. А Тертту как раз носила платье, причем однотонное, с оборками. Но оборки были разутюжены не широкими складками, к тому же были одинарные. А рукава платья— невиданное дело!— выше локтей, плечики приподнятые и расширенные. Носила она туфли на высоких каблуках. Летом часто ходила без платка, но завязывала на шею легкую, так называемую газовую косынку. А по вечерам вместо платья одевала похожую на колокольчик юбку из черного, неизвестного в деревне, материала да плотно сидящий тоненький пиджачок, который почему-то назывался жакетом, а все вместе — костюмом, как и у мужчин. Как-то непривычно было видеть девушку всю в черном. Ведь вакхалыхские девчата признавали этот цвет только

для верхней одежды, обычно же одевались так, будто стремились, чтобы на одном человеке были все цвета луговых и лесных растений. И все же когда Тертту по вечерам появлялась в клубе в своем строгом черном костюме с белой, как январский снег, кофточкой под жакетом, казалось, это пришла сарпиге из какого-то другого, сказочного, красивого мира. Впрочем, иногда она приходила и в традиционной вакхалыхской одежде: шелковом одноцветном платье светло-розового тона, голубом полукруглом сапуне с белой узорчатой вышивкой, и все равно не была похожа на земную девушку. Ее продолговатое лицо не было вакхалыхским, больше походило на классическое греческое из учебника истории. Широкий прямой лоб и носик с небольшой горбинкой придавали ему какую-то строгость, а большие голубые глаза, наоборот,— простоту и блеск. Маленькие точеные ушки такие тоненькие, что на солнце через них можно смотреть как через янтарь. Светлые волосы, что само по себе редкость среди вакхалыхов, росли густо, так что коса получалась толстой. Но она не спускала ее вниз, как все девушки, а завязывала в тугой узел на затылке, который затем обвязывала газовой косыночкой. А спереди на виски и щеки обвисали тоненькие пряди, похожие на растянутые пружины. Ростом Тертту выше среднего, стройненькая. На упругом теле отчетливо выделялась талия, которую легко можно обхватить чуть ли не кистями рук. «Как у осы,— осуждающе шептались местные пиге,— ежели мешок муки навалить на спину — не выдержит, сломается». Груди у нее и тогда были небольшие, но почему-то торчали остро. «Лифчик носит,— шептались девушки.— Есть у майрушек такая штука. А ежели придется сено вилами подавать на стог?» Но Тертту ни мешок на спину не взваливала, ни сено на стог не подавала, потому и талия у нее оставалась целехонькой, и лифчик.

Желающих ухаживать за Тертту набиралось — хоть пруд пруди. Особенно много находилось смельчаков среди отслуживших в армии ребят, которые уже повидали майрушек и будто бы знали кое-какие правила обхождения с ними. Но, похоже, эти правила для Тертту не годились. Ведь она все-таки была вакхалычка, только из так называемых верховых, говоривших на отдельном диалекте. Тем не менее новая заведующая клубом постепенно становилась злейшим врагом хыркасинских пиге. Многие из них начали, говоря современным языком, бойкотировать очаг культуры. А они ведь тоже не лыком шиты. Давно замечено,

любая пиге, как правило, и петь и плясать мастерица. Так что самодеятельность держалась на них, а культработник, само собой,— на самодеятельности. Отсюда вывод: положение Тертту как заведующей клубом оказалось незавидным.

Неизвестно, чем бы эта конфронтация кончилась, если бы заносчивая гордячка, как прозвали Тертту потерпевшие при приступе неудачу парни, удел которой, опять же по их словам,— век прокуковать в старых девах, вдруг самым неожиданным образом не отступила. И перед кем, вы думаете? Перед Борисом, самым тихим, не смевшим даже подходить к ней парнем! Он тоже, конечно, любовался ею, но как изящной хрустальной куклой, к которой прикоснуться-то боязно. А чтобы мечтать о чем-то таком реальном — ни-ни, и в мыслях не было.

Получилось все как-то неожиданно и до обидности обыденно.

В тот вечер Борис в клубе как всегда усиленно сражался в шахматы с колхозным бухгалтером, сидя за столом спиной к залу. Собственно, зал — это, конечно, громко сказано. Ведь тогдашний клуб был всего-навсего пятистенным домом раскулаченного в тридцатые годы какого-то зажиточного крестьянина. Внутренняя бревенчатая перегородка дома была полностью вырезана. В передней части устроена небольшая возвышенность, что-то вроде сцены. Вся оставшаяся часть называлась залом. А столы стояли вдоль сцены. Это был уголок любителей чтения газет и журналов и настольных игр, среди которых и тогда главенствовало домино.

Одним словом, в тот вечер все было как обычно. И все-таки чувствовалось что-то особенное. Занятый игрой, Борис не стал вникать в суть этой особенности, только чуть позже, в перерыве между партиями, пока расставляли фигуры, сообразил: дело в музыке. Тертту каким-то образом уговорила самого лучшего музыканта в деревне слепого Паллю прийти в клуб. Палля — единственный, кто играл на баяне. Играл, правда, на слух, но слух у него был отменный, и мелодии выходили «как по радио». Лучшей оценки музыкантам в Хыркасах не давали.

— Девчата! Ребята! Повернитесь все сюда!— послышался в какой-то момент взволнованный голос обычно спокойной Тертту.

Поскольку просьба была настоятельная, а просила сама заведующая, даже доминошники на время перестали рубить стол костяшками.

— Девчата! Ребята! Понимаете, мы вступили в шестидесятые годы. А все еще живем словно в довоенное время. В клубе ли, в улахе — все вакхалыхскую да русскую пляшем. Будто ни на что другое не способны. Нет же, способны! Давайте массовые танцы учить! Чтоб не сидеть и не глядеть, как пляшут двое, и дожидаться своей очереди, а всем плясать и танцевать одновременно. Ладно?— начала уговаривать Тертту.— В городах сейчас танцуют фокстроты, танго, конечно же, нестареющие вальсы. Дядя Палля фокстроты и танго, к сожалению, пока не играет, но обещался выучить. А браться сразу за вальс, думаю, нам самим сложновато будет. Давайте начнем с переходной полечки! Интересный танец! Простой такой, любой за вечер осилит. Главное — каждый кавалер будет танцевать со всеми девушками и, следовательно, каждая девушка — со всеми кавалерами поочередно. Ну что, будем учить?

— Да не мешало бы...

— А ты сперва покажь!— послышались неуверенные голоса не очень многочисленных из-за бойкота посетителей клуба.

— Сейчас покажу. Вот выберу себе кавалера,— согласилась Тертту и пошла к скамейке ребят. Поглядев поочередно на всех, прошла мимо, направилась к сидящим за столом, остановила взгляд на Борисе, смело подошла к нему и сделала красивый реверанс. Как в кино! Борис, не выходивший до этого не то что танцевать, даже плясать, вначале стушевался крепко, начал отнекиваться, махая обеими руками.

— Давай, давай!

— Ты же ученый, чего боишься!— и в шутку и всерьез начали подбадривать его парни и девчата.

А-а, была не была! Вышел Борис. То ли учительница оказалась толковой, то ли танец действительно был простым, освоил он эту полечку сразу. Когда поняли, что и как, в круг вышли еще несколько пар смельчаков. Снова игриво залился переборами баян дяди Палли! И началось! По ходу танца через руки Бориса прошли по нескольку раз все девчата круга. Какой легкой и ловкой оказалась среди них Тертту! И еще впервые Борис почувствовал приятную упругость девичьей талии. Хыркасинские девушки талией не играли. Она у них, с детства не разделявших труд на легкий и тяжелый, уже как бы затвердела. Потому девушки танцевали только ногами, мало двигаясь корпусом. А Тертту вся была в движении

«Как цыганка Аза»,—неожиданно пришло Борису на ум.

Но вот наконец танец кончился. Новшество всем пришлось по душе, стало быть, полька должна прижиться. Это радовало, конечно, и Тертту. Палля между тем заиграл обычную плясовую. Кто-то вышел в круг, пригласил первую с левого края девушку. Пока он перепляшет со всеми,— а ему положено приглашать всех девчат,— пройдет еще немало времени...

— Пойдем на воздух, просвежимся,— запросто пригласила Бориса возбужденная Тертту. Впрочем, так она обращалась со всеми.

Они стремглав выбежали на улицу. Борис в дверях чуть не столкнулся с Илемби, которая сегодня почему-то запоздала, но не обратил внимания на ее растерянный взгляд, помчался за тянущей его за руку Тертту.

Тогда клуб находился на деревенской площади, прямо рядом с тем пригорком, где проходили деревенские выйи. Борис с Тертту пошли туда, затем спустились к роднику, нагнувшись, по очереди испили по несколько глотков ломящей зубы водицы, десятилетиями текущей по деревянному желобку в любое время года, дня и ночи с одинаковым добрым журчанием. Затем сполоснули разгоряченные лица. Пока Борис вытирался платочком, Тертту набрала в горсть водицы и вдруг пустила ему за шиворот. Борис даже ахнул от неожиданности, тут же инстинктивно схватил и зажал девушку, чтобы она больше не могла нагнуться к роднику. Упругое тело, упругие девичьи груди на мгновенье оказались плотно прижатыми, обдали его жаром, так что он уже и думать забыл, что по спине потекли леденящие капли. Он видеть-то уже ничего не видел, кроме огоньков ее глаз, ничего не слышал, кроме ее учащенного дыхания... Но так продолжалось всего несколько секунд, может, с минуту. Немного придя в себя, Борис тут же сильно смутился и неловко отпустил девушку, повернувшись, первый пошел от родника. Тертту догнала его, спросила как ни в чем ни бывало:

— Пойдешь сегодня со мной?

— Куда?— оторопел Борис.

— Дядя Палля один не сможет уйти домой. Надо его отвести. Проводить-то его я и сама смогу, а вот обратно подниматься до квартиры — брр!— жутко. У вас же в Хыркасах нет электричества. А кругом вон какая темень.

Действительно, хотя небо было без единой пушинки туч и на необозримом небосводе мерцали миллионы звезд, совсем небольшая по сравнению с ними луна почему-то

капризничала, выставив свое свечение не толще серпа, и ничего нельзя было поделать с густой теменью. Так что пришлось Борису согласиться.

В тот вечер молодежь засиделась в клубе допоздна. Все еще и еще раз танцевали полюбившуюся переходную польку... Выходил в круг и Борис и все в паре с Тертту, поскольку Илемби пришла с опозданием и не успела выучить танец. Впрочем, выход с Тертту вообще-то ничего не значил. Все равно в ходе танца все пары постоянно меняли партнеров. Но в начале все же получалось, что кавалеры как бы приглашали своих девушек... Видно, потому и исчезла Илемби незаметно из клуба, оставив свою подружку. Но Борис как-то не обратил на это внимания.

Паллю они проводили быстро. Тому, собственно, темень не мешала, а главную улицу деревни и свой переулок он знал как пять пальцев. Однако от провожатых не отказался, так как баян в отличие от двухрядки все же тяжеловат. Палля, постукивая палкой по земле, шел впереди, за ним — Тертту, а заключал колонну Борис с ношей. Шли молча до самого дома Палли, а когда пошли обратно — разговорились. Оказывается, Тертту мечтала о большом хоре при клубе, драмкружке и еще танцевальном ансамбле. Но, к сожалению, пока у нее ничего не получалось, и она этим очень огорчена. У клуба имелась всего-навсего одна истрепанная гармонь-двухрядка. А для хора нужен минимум баян. Она уже уговорила председателя исполкома сельсовета купить его. Но ведь на нем надо играть. А баянист в деревне один, и тот слепой... Плохо и с драмкружком, и с танцевальным ансамблем. Самые способные девчата и их парни почему-то перестали в клуб ходить...

Борис простодушно объяснил ей причину бойкота клуба частью молодежи. Тут же подумал, что она, такая гордая, тотчас обидится на всех. Но, как ни странно, его объяснение даже обрадовало Тертту.

— Вон оно что-о,— протянула она.— Я-то думала, что сама ничего не умею. А это ошибочное мнение обо мне пройдет быстро... Слушай,— вдруг перешла она совсем на другое,— это не твои стихи в прошлом номере райгазеты напечатаны? Подпись там была — Борис Арыслан. Арыслан — значит, Львов?..

— Мои,— засмущался Борис, в то же время с волнением ожидая, что скажет про них Тертту.

Но она ничего не сказала, просто посоветовала:

— Ты серьезно займись этим делом. У тебя должно

получиться.— Тут же хитро добавила:— А раз любишь литературу, то... ты должен любить и драматургию. Делаем вывод: поможешь мне в организации драмкружка, а? Режиссером я, наверное, сама же буду. А во всем остальном полагаюсь на тебя. Согласен?

Как можно было ей отказать...

Так на почве общих интересов и встречи стали происходить чаще. Ведь кружки работали после клубных вечеров, которые становились все многолюднее и завлекательнее. К тому же после разговора с Тертту о трудностях с музыкой Борису сильно захотелось научиться играть на баяне. И когда в клубе появился-таки этот долгожданный инструмент, он, получив несколько уроков у маэстро Палли, который, кстати, отметил его отменные способности, с успехом взялся за дело и месяца через два вполне сносно стал выводить плясовые, польки и даже упрощенный вариант вальса «Амурские волны». А дальше — больше... Так что с хором дело у Тертту пошло на лад. К тому же деревенские пиге решили, что Тертту теперь «занята» Борисом. Раз так, выходило, что их парням теперь ничего не грозит. И бойкот сам собой прекратился. Естественно, дела у заведующей клубом пошли еще лучше. Борис встречался с Тертту почти постоянно: то на репетициях, то на заседаниях совета клуба. К тому же он стал в клубе главным музыкантом. Но все это было деловое общение. Ходили они, правда, и просто так. А раз просто так, естественно, о любви речь не заходила. Тем более Тертту, видимо, предчувствуя возможность этой темы, как-то очень ясно предупредила: пока она любить кого-либо не собирается, так как не определила для себя самого главного — кем быть. «Заведующая клубом это не предел моих мечтаний»,—просто сказала она. Да и любимый человек должен быть состоявшимся мужчиной, с определенной профессией, положением в обществе. Борис же был лишь счетоводом-кассиром, хоть и с гарантированной оплатой. До состоявшегося мужчины ему было еще ой как далеко, а что такое положение в обществе — об этом он имел представление лишь из книг. Так что намек он понял...

И выходило, напрасно переживала Илемби. Разлука им не грозила, о чем Борис втолковывал ей при редких встречах. Но на этих свиданиях сердце его уже не наполнялось той сладостной радостью, которая, бывало, появлялась раньше. Глаза сами собой отмечали, что Илемби, конечно, красивая девушка, очень красивая, но нет в ней изящной хрупкости, которой отличалась от всех Тертту.

А душа Бориса, несмотря на грубую деревенскую жизнь, а, может, как раз вопреки ей, воспитанная книгами, которых он прочитал множество и все продолжал «глотать» одну за здругой, жаждала чего-то необыкновенного, красивого, непременно городского. Уже появилась у него страстная мечта: в будущем во что бы то ни стало уехать из Хыркасов, жить хотя бы в райцентре. Там ежедневно вплоть до полуночи давали электрический свет, через день показывали кино. Туда нередко приезжали даже настоящие артисты, а хлеб там покупали прямо в магазине... Одним словом, умом он понимал свои обязанности перед Илемби, возникшие в силу деревенских обычаев, а легкомысленная душа все же тянулась к Тертту. Такая раздвоенность мучила, угнетала, мешала жить счастливо и свободно.

Но вскоре эта раздвоенность сама собой устранилась. Прошла зима, потом весна, и летом однажды Тертту уехала на несколько дней в Башколу. Оттуда она вернулась беспредельно счастливая. Вернулась... сдавать дела. Как раз Борису, которому предложили теперь заведовать клубом. Оказалось, Тертту ездила на творческий конкурс в театр, где отбирали талантливую молодежь для учебы в вакхалыхской студии при ГИТИСе. И конкурс этот она выдержала успешно.

Провожать Тертту не пришлось, поскольку за ней приехал какой-то элегантный городской мужчина на собственном «Москвиче». Он вел себя с ней подчеркнуто галантно, словно герой кинофильма: говорил на «вы», все вещи вынес и уложил в багажник сам, когда сажал ее в машину, открыл и аккуратно закрыл дверцу. Сколько ему было лет — Борис даже приблизительно не может сказать. Он был ослеплен тем, что мужчина одет в абсолютно белый костюм. Даже полуботинки у него были молочного цвета. В Хыркасах это выглядело чем-то невероятным: ведь все могло же испачкаться за считанные минуты! К тому же собственный «Москвич»! Для хыркасинцев человек, имеющий машину, был сродни американскому миллионеру, не меньше. Потому, наверное, Борис не посмел не только ревновать, даже завидовать ему.

Итак, Тертту сказочным образом уехала действительно в сказочный мир театра, мир большого города, а Борис со своей пусть даже небольшой мечтой о нечто похожем так и остался в Хыркасах. Стало очень тоскливо жить, всевозможные мысли, думы, переживания требовали выхода, отдушины, и он в этот период буквально-таки разра-

зился стихами. Многие из них были опубликованы в районной и молодежной газетах, а иные даже попали в литературные журналы. Там, видно, и прочитала их Тертту, после чего прислала восторженное короткое письмо:

«Салам, Борис!

Прочитали мы всей студией твои стихи. Девчата в восторге. Говорят, вакхалыхский Есенин появился. Очень рада за твои успехи. Продолжай в таком же духе. Пиши мне. Обязательно. И вообще, давай не прерывать дружбу. Может статься, пригодимся еще друг другу в жизни. Тут один говорит, что ты далеко пойдешь. Он понимает толк в литературе...

Тертту».

Так они начали переписываться. Правда, писал больше он, а она лишь изредка отвечала коротенькими записками. Продолжалась переписка и тогда, когда Бориса призвали в армию, где он прослужил три с лишним года. А на письма для Илемби у него времени находилось почему-то все меньше и меньше.

Еще в армии Борис решил круто изменить свою жизнь. И после увольнения в запас, подготовившись как следует, он блестяще сдал вступительные экзамены в пединститут, на отделение языка и литературы, поскольку в Башколе и тогда еще университета не было, и стал студентом. Выпускники студии при ГИТИСе к этому времени уже месяца два играли в национальном театре. Правда, находились на гастролях со своими дипломными спектаклями. Когда же начался новый театральный сезон, Тертту можно было видеть на сцене чуть ли не через неделю. И сколько, так сказать, позволяли финансы, Борис старался не пропускать спектакли с ее участием. Впрочем, «старался» — не то слово, это все получалось как-то само собой. И не беда, что Тертту пока была занята лишь в незначительных ролях и массовках. Ему все равно казалось, что играет она лучше всех. Нет, не просто лучше, а затмевает всех и игрой, и красотой своей. И верилось, что Тертту ждет большое будущее, слава, о чем, впрочем, как любой человек творчества, мечтала она и сама. Тогда же Борис узнал и того, кто так помпезно увозил ее четыре года назад из Хыркасов. Это был режиссер театра, одновременно и актер. Или наоборот. Похоже, он теперь так не смог бы увезти ее, а она бы и не поехала с ним. Тертту говорила, что ей тогда, в молодости, каждый артист казался талантищем, сказочно интересным человеком не от мира сего. Но теперь

она поняла, что это далеко не так, и разочаровалась в нем, и что, однако, все равно благодарна ему, потому как, возможно, с его помощью только и попала в студию.

Между тем часы тикали, время безостановочно шло вперед. Года через три Борис Арыслан стал уже известным молодым автором. Правда, теперь больше писал прозой. Тут, похоже, у него получалось даже лучше. В поэзии же он мог стать лишь «вакхалыхским Есениным», но никак не Арысланом. У него уже была в производстве небольшая книга, после выхода которой аксакалы литературы прочили ему членство в Союзе писателей. Печататься молодым тогда было гораздо проще, поскольку писателей насчитывалось раза в три меньше, а книг на вакхалыхском языке издавалось раза в полтора больше, чем сейчас... Но на третьем курсе у Бориса началась педпрактика, и он вдруг остро почувствовал, что после получения диплома придется ведь идти в школу, вернуться, возможно, в те же Хыркасы. А он уже видел себя писателем, работником журнала или книжного издательства...

Как-то своими опасениями он поделился с Тертту.

— Так не езжай в деревню,— просто посоветовала она.

Иногда казалось, что для нее в жизни все просто, как для той цыганки Азы из далеких, а может, и не столь далеких юных лет.

— Как это — не езжай? Ведь положено отрабатывать,— сокрушался Борис.

— Если желаешь, я тебе помогу остаться в Башколе...

В Бориса словно чудодейственный дух вдохнули.

— У тебя что, есть нужные связи? Может, в самом Министерстве просвещения?— с надеждой спросил он.

— Связей нет. Но помочь могу. Если, конечно, захочешь воспользоваться моей помощью.. Ты женись на мне, Борис. Вот и весь выход,— спокойно сказала Тертту.

Тогда они сидели в театральном кафе, куда зашли после репетиции. Тертту пила через соломинку какой-то коктейль, что продолжала делать и после своего, по существу, предложения. И настолько это было просто, обыденно сказано, что показалось, она подтрунивает над ним.

— Я ведь серьезно с тобой советуюсь,— упрекнул Борис.

— Я тоже серьезно предлагаю,— оторвалась от соломинки Тертту.— Ты во мне не сомневайся. Буду примерной женой. Я ведь уже ученая. А на ученых воду возят. Да и жить хочется чисто, светло. Если не желаешь жениться — твое дело. Если желаешь... Паспорт у тебя при себе?

Паспорта при себе не оказалось, но общежитие пединститута находилось недалеко. Борис, набравшись храбрости, взглянул Тертту в глаза. Она смотрела серьезно, весьма даже серьезно, чуть прищурившись, словно все-таки сомневаясь, правильно ли сделала свой выбор.

— Так я сейчас, мигом сбегаю,— засуетился Борис, словно попал в такой цейтнот, что вот упусти момент, мгновение — и мечта твоей жизни, жар-птица счастья может упорхнуть навсегда. Но прежде чем уйти, надо расплатиться, а официант словно сквозь землю провалился. «Без шуток, она же может и передумать!»— на самом деле испугался Борис.

— Да иди, если тебе так не терпится!— мило улыбнувшись, похоже, даже любя, подтолкнула его кончиками длинных красивых пальцев Тертту.— Заплачу я за все, ведь не чужая теперь...

Так Борис остался в Башколе, в небольшой комнатушке деревянного общежития работников культуры. После окончания пединститута устроился в редакцию, правда, не журнала, а республиканской молодежной газеты. Тогда еще «родители» не «просили» обучать детей с первого класса на русском, и газета для молодежи выходила на вакхалыхском языке, на русский лишь дублировалась.

...Нет, сказать, что они поженились случайно или что они были несчастливы, Борис Викторович не может. Не шалаш, а маленькая комнатушка в общежитии, с печным отоплением, без всяких удобств казалась им раем. А вскоре Борису дали комнату побольше, в коммунальной квартире. Правда, с такими же «удобствами». Прогулки за город, поездки в густые, почти что таежные леса, отдых на пляже в выходные, лыжные прогулки в крепкие морозы — и все это вместе, всегда вместе — разве не приносили радости, не прибавляли энергии? А энергии требовалось много, ох как много, чтобы после изматывающих командировок срочно написать статью или очерк в номер да еще находить силы сидеть по ночам над рукописью своего первого романа, за который он взялся тогда. Не щадила себя и Тертту. Возвращаясь с репетиции, она продолжала ее дома, учила наизусть отрывки пьес, говоря, что ожидание подсказки суфлера мешает сосредоточиться в образе. Иногда репетировала роли главных героинь некоторых спектаклей, хотя ей никто этого не поручал. Так она пробовала свои силы перед Борисом. Ему же по-прежнему казалось, что она ни в чем не уступает всяким заслуженным да народным... И все это у них обоих аккуму-

лировалось в невысказанное ожидание того, что вот-вот наконец заметят их труд, старания, талант, заметят и помогут подняться, окрепнуть, создадут хотя бы элементарные условия для работы. Однако шли месяцы, годы, а в жизни Бориса Арыслана и Тертту Львовой ничего не менялось. Если не считать того, что в комнате появился третий жилец — дочь Вероника, а Борис Викторович смог перебраться из молодежки в партийную газету, где оклад был на червонец выше...

Оказалось вдруг, что опубликовать роман гораздо труднее, чем небольшой сборник рассказов. Рецензенты его хвалили наперебой, положительно отозвалась секция прозы Союза писателей. Однако неожиданно нашелся в издательстве какой-то засомневавшийся редактор-инкогнито. И рукопись дали на закрытое рецензирование. В результате появился отзыв в полторы странички, автор которого считал роман несостоявшимся. И это решило судьбу произведения, над которым Арыслан корпел более четырех лет... Кто был этот редактор, кто был этот рецензент — никто не говорил. Борису Викторовичу очень хотелось встретиться с ними. Не для предъявления счетов, нет, а для того, чтобы конкретно узнать, чем же плох роман, что, по их мнению, надо делать для его улучшения, довершения. Но инкогнито проявляться не хотели, плодотворно продолжали строчить рецензии и отзывы на произведения других.

Все же, худо-бедно, Борис Викторович хоть как-то продвигался вперед. В конце концов, через семь лет после сдачи в издательство, все же выпустили его роман отдельной книгой, правда, наполовину сократив и назвав оставшееся повестью. После этого, хоть и со скрипом, приняли в Союз писателей: к его счастью, решено было увеличить количество членов, чтобы добиться дополнительной штатной единицы для аппарата правления. По службе он тоже поднялся на одну ступень — стал заведующим отделом. А у Тертту практически не было никакого продвижения. Многие сокурсники по студии давно уже одни онародничились, другие озаслуженились, третьи олауреатились, а у нее к слову «артистка» добавилось лишь особо ничего не значащее «известная». Борис этого никак не мог понять. Он же знал, как исступленно она работает, из-за театра по существу совсем забросила семью; уже не восторженными глазами влюбленного юноши, а зрелым взглядом пожившего на свете журналиста и писателя видел, что играет она по крайней мере не хуже многих со званиями. И тем не менее такая жизнь на жестко поставленных тор-

мозах... Сама Тертту, похоже, знала или догадывалась, в чем тут дело, но помалкивала. Она вообще стала молчаливой, раздражительной, грубой, с ней иногда просто опасно стало заводить разговор о театре. Однажды Борис не выдержал, сказал ей, от души желая добра:

— Да что ты так мучаешься? Уйди оттуда — и дело с концом!

Она словно взорвалась.

— Куда уйти-то? На Луну улететь? Ты что, забыл, что мы вакхалыхи? Что у нас в республике осталось всего два вакхалыхских драмтеатра? Из них один — юного зрителя. Но для ТЮЗа я вроде старовата уже... Это раньше я могла уйти, когда у нас в районах работали еще пять профессиональных театров. Когда даже киностудня была. Так их давно позакрывали! Потому что наша национальная культура расцветает!— надрывно кричала она.— Тут же зло добавила:— А ты сам зачем мучаешься? Не издают тебя в Башколе — отдай рукописи в Москву. Или в Казань. Или в Куйбышев. Или в Ульяновск. Или еще куда. Там ведь тоже раньше вакхалыхские газеты и журналы выходили, вакхалыхские книги издавались...

Стало совсем невмоготу, когда появился в комнате четвертый жилец — сын Юман. Появился он внезапно, так сказать, непланово. Так уж получилось, что по состоянию здоровья Тертту от этого прекрасного смышленыша не сумела вовремя отделаться... Теперь ей негде и некогда было репетировать дома, Борису Викторовичу невозможно стало работать по ночам: ребенок был чуткий и не терпел света и шума, просыпался даже от включения слабенькой настольной лампы, от шуршания бумаги. Тем временем в Союзе писателей давно получили квартиры даже те, кто встал на очередь намного позже Арыслана. Причем иные получали уже не для себя, а на детей и даже на внуков. А ему все объясняли: «Ты уж получи в своей редакции. В партийном органе работаешь». В «партийном органе» ничего не выходило. Говорят, редакции и типография объединялись в одно издательство, чтобы улучшить издание газет и журналов, условия труда и жизни журналистов. На деле газеты и журналы потеряли всякую самостоятельность. Все делалось только в пользу типографии. А выделение квартир редакциям происходило как выпадание осадков в пустыне Хура хум или, как говорят в Средней Азии, Каракум. «Да у меня рабочие типографии по два года с семьями в общежитиях живут,— разводил руками директор издательства.— Если я им не дам квартиры, они вооб-

ще разбегутся. Кто тогда будет печатать ваши газеты?» И где бы ни велся разговор о жилплощади для Арыслана, для других сотрудников редакций, этот довод обезоруживал всех... Да-а, помучались же они, пока не получили эту квартиру. И она улыбнулась лишь потому, что дали ее вначале одному начальнику цеха, а тот за оскорбление посчитал жить в рабочем квартале, под дымом заводских труб. Но недолго длилась радость. Вероника к тому времени стала уже взрослой, вскоре вышла замуж. И вот они уже вшестером в этой квартире. Просторнее, конечно, чем в комнате коммуналки, да и намного удобнее, слов нет, а работать дома все равно почти что невозможно. Правда, есть шанс, как говорится, на улучшение жилищных условий. Теперь Арыслан свой работник в аппарате правления, стоит в очереди на равных. А Литфонд выделяет деньги на две-три квартиры в год. Так что, вполне возможно, улыбнется Львовым четырехкомнатная до конца двадцатого века.

...Интересно, зачем все это приходит в голову? Видно, потому, что Борис Викторович, сам того не замечая, пытается анализировать, почему ему так трудно, почему он, вот-вот завершая пятый десяток лет жизни, до сих пор не может найти своего настоящего места в ней. И Тертту Ульясовна, похоже, мучается тем же. Вот ведь есть же свое место у отца, у матери. У того же Василькова. Даже Илемби, похоже, нашла его, выйдя замуж за пенсионера и снова перейдя работать на ферму. Почему же все нет и нет этого определенного места в жизни у Бориса Викторовича, у Тертту Ульясовны? Может, они ищут что-то сверхъестественное? Может, ему не надо было лезть в эти литературные дебри, а просто стать учителем или... тем же фотографом? Или, как младшие братья, податься на завод? У них вот, у Владимира и Иосифа, что-то незаметно каких-либо сомнений в жизни. Им всегда все ясно, на их лицах всегда довольная, счастливая улыбка. И все-то они намного раньше старшего брата заимели. Причем и среди них двоих вырвался вперед почему-то младший, устроившийся простым слесарем. Пока старший учился в университете, перебиваясь, как говорится, с хлеба на квас, он уже квартиру успел получить, мебелью обзавелся, дошел до шестого разряда, что означало, по его словам, гарантированную зарплату в триста пятьдесят рэ. Может, Борису Викторовичу тоже надо было идти в слесари? Неужто не справился бы?...

«Кстати,— подумал Арыслан,— надо будет встретиться с братьями, сказать им, что отец чувствует себя неважно. Пусть съездят...»

Резкая перемена климата в семье произошла лет пять назад, когда Тертту Ульясовна пришла однажды с работы спокойная, очень даже спокойная, и железным голосом объявила:

— Все! Начинаю жить как все. Хватит быть наивной дурочкой!

— Что это значит?— попытался понять Борис Викторович.

— А то, что была у меня в молодости житейская хватка. Умела я добиваться своего. Да из-за нашей с тобой идеальной любви порастеряла ее. Надо восстанавливать. И ты мне не мешай. Я и себя подниму, и тебя вытащу на подобающее место. Иначе ты сам так и останешься вечным идеалистом.

И что вы думаете, не прошло и года, она стала заведующей литературной частью театра. Должность вроде бы хлопотная, ничего особенно не дающая. Но это как посмотреть. Ведь теперь кое-кто стал зависим от Тертту! Например, драматурги. Они же в случае чего могли попросить режиссера, чтобы непременной исполнительницей в спектакле была, скажем, Тертту Львова. Потому что она, только она сможет сыграть заглавную роль. И просили. Ибо она на самом деле весьма одаренная актриса. Так что Тертту теперь играла хоть и реже, но всегда одну из ведущих ролей.

Какой из всего этого вытекал вывод? Трудно сказать. Арыслан пока ни к чему определенному не мог прийти. Он только понимал, что обвинять Тертту во всех грехах проще простого. Но не окажется ли это обвинением жалящей крапивы за то, что она выросла, причем именно здесь. В сущности за это должен бы ответить садовник или огородник...

Так-то оно так. Но от понимания этого не легче. В конце концов пострадавшим-то оказался именно он. Так что толку от выяснения причин пожара, когда, возможно, все сгорело: и любовь, и восхищение, и уважение...

Наступал вечер. Все пространство медленно, но неотвратимо обволакивалось сумерками. Говорят, они спускаются. Если бы так. А то ведь не знаешь, с какой стороны они появляются. Как в жизни: не поймешь, откуда придет беда. И никто не может остановить эти сумерки. Их появление — закон. Как и их уход. А появление беды? Она тоже появляется по закону? А потом по закону же уходит,

чтобы затем появиться вновь? Не-ет, откуда приходит беда — все-таки можно узнать, если подумать. Можно. Значит, постоянное ее появление — не закономерное явление. По крайней мере, хочется думать так. Думать, что все в руках человека, а значит, все можно изменить к лучшему. Иначе просто зачем жить?

К вечеру атмосфера становится чище, природа успокаивается, и звуки разносятся далеко. Слева, со стороны автомагистрали, стало слышно, как с надрывным ревом на большой скорости проносятся неугомонные машины. Справа, из яла, расположенного за оврагом, раздаются звуки гармони, пение частушек, судя по голосу, уже пожилыми женщинами и одним мужчиной вместе с ними; похоже, там идет какая-то гулянка. Кто-то торопливо протопал мимо домика Арыслана, наверное, спешит на автобус. Не оставляют в покое и небо. Где-то на западе, за горизонтом, нет-нет да и прогрохочет гром. Со стороны аэропорта на низкой высоте пронесся реактивный самолет, заставив дрожать стекла....

Средь всего этого стоит малюсенький домик, в нем лежит маленький по значимости человек и думает о своих невзгодах, о невзгодах своих близких, своего маленького народа. А может, суета сует все это? Жизнь же кипит кругом! И пусть заплатит Васильков эти деньги. Не в тюрьму же его сажают, в самом деле, чтобы из-за этого такой тарарам поднимать! Забрать статью, пока не поздно — и все дела... Пусть и Тертту Ульясовна поднимается вверх как может. Пусть, зачем ей мешать? Пора и самому Борису Викторовичу взяться за ум. Хорошие же варианты предлагал Инжеватов, зачем мудрствовать лукаво, думая о некоторой непорядочности толмача: ну и что, что получишь меньше гонорара, а без него же вообще не получишь, поскольку просто-напросто не издашь книгу в Москве. И не надо близко к сердцу принимать, что дети наши не знают родного языка. Ведь верно же говорят сторонники обучения их на русском: «Ну куда они пойдут со своим вакхалыхским? Скоро в Башколе перестанут их понимать. А будут знать русский — им везде дорога открыта!» И театров национальных, может, больше двух не надо, тем паче киностудии. И литературы вакхалыхской... Может, правильно сокращают выпуск книг на родном языке, раз читающих становится все меньше и меньше? Может, зря в те трудные времена самодержавия разные просветители понаоткрывали школ для вакхалыхов, чувашей, мордвы, черемисов и других народов?

Велик и умен человек! До всего ему есть дело.

Мелок и глуп человек! До всего ему есть дело.

...Уже ближе к ночи Арыслан вытащил из-под стола керосиновую лампу, зажег ее, сел за стол. И до самого утра, привлекая к себе миллионы крылатых насекомых, горел свет в этой маленькой избушке, затерянной среди ей же подобных в этом бескрайнем мире.

На следующий день Арыслан, уснувший только на заре, чуть было не проспал заседание секций. Проснувшись, посмотрел на часы, ойкнул и, быстренько сполоснув лицо похолодевшей за ночь водой, даже не побрившись, поспешил к автобусной остановке. Хорошо, хоть повезло ему: откуда-то возвращалась «Волга» с зеленым огоньком...

У входа в ООН, как шутя прозвали башколинцы небольшое трехэтажное здание дореволюционной постройки, где приютилось бесчисленное множество самых разных организаций, в том числе и Союз писателей, Арыслана ожидал Инжеватов.

— Где ты пропадаешь, шайтан тебя побери!— возмущенно отчитал он товарища.— Там уже вот-вот начнут, а тебя все нет и нет.

— Так ты зашел бы, чего тут стоишь?— удивился Арыслан.

— Потому стою, что тебя предупредить надо. Не буду же при народе...— перешел почти на шепот Инжеватов.

— Ну?

— Понимаешь, старик, некоторые наши деятели на заседании хотят поднять вопрос о памятнике Серде,— быстро начал объяснять Инжеватов.

— Ну?

— Так я советую тебе не лезть в это дело. Они не просто хотят сделать решение от имени двух секций, они вообще хотят собрать подписи известных деятелей литературы и искусства республики.

— Ну?

— Что занудил-то? Это же не просто вообще решение, а подписи. Там же,— поднял Инжеватов кверху указательный перст,— каждую подпись разберут. Стало быть, заведут список. Не на бумаге — так в уме запомнят. А это в дальнейшем может ох как здорово помешать. Особенно тебе. Им-то, зачинателям, что, им не расти...

Арыслан вообще-то слышал уже о возможности такой инициативы. Серде был выдающимся поэтом-революционером, основоположником вакхалыхской советской литературы, в то же время пламенным революционным деяте-

лем, в восемнадцать лет ставшим одним из руководителей автономной республики.

Но судьба его сложилась печально. Он кем-то был нагло оклеветан и вынужден уехать за пределы Вакхалыхии. Большое горе с болезнью сделали свое дело: в двадцать с небольшим лет Серде ушел из жизни. Похоронен он на чужбине, но там его считают своим: открыли музей, поставили ему памятник, о нем написали роман, издали кинофильм. К его шестидесятилетию был заложен камень на месте будущего памятника и в Башколе. Однако под лежачий камень вода не течет. С тех пор прошло восемнадцать лет, а вокруг камня даже крапива не убирается. Сколько статей в газетах и журналах опубликовано, сколько речей произнесено на собраниях и съездах писателей за это время о памятнике, а его как не было, так и нет. Лишь закладной камень все лежит и продолжает мшаветь. И вот наконец, похоже, лед тронулся. К девяностолетию поэта-революционера правительство республики вроде бы решило сдержать слово, поставить обещанный памятник. Но, оказывается, это будет лишь небольшой бюст на постаменте, похожем на столб. Вот и не выдержали, видимо, некоторые, решили начать кампанию с тем, чтобы установить Серде памятник, достойный его имени, таланту и заслугам перед народом: во весь рост, монументально, на самом видном месте.

— Но ведь люди правы,— уже поднимаясь по лестнице на третий этаж, возразил Арыслан Инжеватову.— Небольшой бюст в запущенном сквере — это же насмешка над поэтом-революционером, да и вообще над национальной литературой. Неужели наши руководители этого не понимают?

— Может быть, может быть,— скороговоркой соглашался Инжеватов.— Но тебе ни в коем случае нельзя лезть в эту кашу. Себе дороже выйдет. Пойми, тебя ждет другое... И надо за это ухватиться. Кто знает, может, это твой последний шанс. Ведь как бы мы ни трепыхались, а годы идут. Скоро перевалит за пятьдесят. Так что...

— Не надо ломать хребет не рожденному жеребенку[37],— заметил Арыслан.— Мое блестящее будущее пока вилами на воде написано. И из-за этого теперь мне не быть самим собой?

Однако спорить дальше с Инжеватовым уже было невозможно. Они дошли до маленького зала библиотеки — единственного места, где можно собраться хотя бы половине писателей.

К их приходу заседание шло полным ходом. Представитель книжного издательства — заведующий редакциями художественной и детской литератур — уже прочитал весь список книг, которые готовятся к выпуску через два года, так что Арыслан и не понял, есть ли среди них его роман. Этот пробел быстренько восполнил Инжеватов, порасспросив у соседей. Оказалось, есть, правда, опять объем дали уменьшенный.

— А теперь, до обсуждения проекта плана, рассмотрим заявления,— объявил председатель бюро секции прозы, ведущий заседание.— Вот что пишет молодой автор Мальчиков: «Целых шесть лет прошло с тех пор, как я сдал рукопись сборника рассказов в издательство. За это время меня постоянно заставляют работать над ней. Наконец, года два назад дали заключение: сборник можно выпустить. Но по разным причинам в план его до сих пор так и не включили. Не помогли и заявления, написанные мной в прошлом году в адреса секции прозы и правления Союза писателей. Убедительно прошу дать возможность выпустить книгу хотя бы к своему пятидесятилетию...» Действительно, товарищи, помнится, в прошлом году мы рассматривали просьбу Мальчикова. Но удовлетворить ее не смогли,— начал объяснять после этого председатель.— И тогда, помнится, решили: включить его сборник в план последующего года, но уже объемом в десять авторских листов, а не в семь, как было предусмотрено первоначально. Мы знаем, работает Мальчиков плодотворно, за эти годы написал много новых вещей... Но в проекте нового плана почему-то опять нет его фамилии... Как же так, товарищи?

— Пора издать его книгу, хорошо же пишет!

— Хоть к пятидесятилетию надо бы выпустить. Человек лет двадцать как в молодых авторах ходит,— послышались голоса.

Поднялся представитель издательства, озабоченно оглядел сидящих в зале.

— Товарищи, мы бы с удовольствием... Но втиснуть его в этот план просто невозможно,— мученическим голосом сообщил он.— Мы даже заявки членов Союза писателей не можем удовлетворить полностью. Понимаете, по редакции художественной литературы мы должны выпустить еще массовым тиражом несколько так называемых безгонорарных книг. Это указание Москвы, Госкомиздата РСФСР, и мы не можем его не выполнять. К тому же без этого наше издательство не будет рентабельным. А на

массовые тиражи, сами понимаете, уйдет основная часть фонда бумаги,— попытался он объяснить.

— Разве редакция худлитературы дает убыток?— одновременно спросили несколько человек.

— Наша редакция, конечно, не убыточна. Наоборот, только она вытягивает все издательство. Но все другие редакции — массово-политической, сельскохозяйственной, научно-популярной литератур — приносят большие убытки,— объяснил представитель издательства.

Впрочем, это знали все, потому что такое объяснение приходилось слышать ежегодно.

— Слушайте, нельзя же делать прибыль издательству за счет зажима национальной литературы!— возмутился председатель секции прозы.— Тем более она сама по себе никакого убытка не дает. И вообще, разве в рублях дохода издательства измеряется значение нашей литературы? Это просто кощунство какое-то! Мы воспитываем людей, помогаем им стать настоящими, как говорится, строителями коммунизма. Вот прибыль от нашей работы!

— А я разве против?— обиженно пожал плечами представитель.— Но нас заставляют. Не можем же мы не подчиняться. Принцип демократического централизма никто не отменял.

Такой ответ не успокоил, а наоборот, возмутил уже многих.

— А вы что, пешки? Почему не можете настаивать?

— Сколько лет бьемся, чтобы издать хотя бы избранные произведения народного писателя Саламбекова. Не собрание сочинений, заметьте. Почему не хотите? Выпустили бы его массовым тиражом, вот вам и большая прибыль...— послышались крики.

— Ей-богу, вы как дети... Знаете же, такие вопросы тоже решает только Москва,— ответил представитель.— Мы неоднократно писали туда об этом, но пока согласия не получили. Вместо этого нам предложили переиздать «Путешествие Гулливера» Свифта. Тиражом в полмиллиона экземпляров. Так что нам прикажете делать? Правда, говорят, в дальнейшем порядок изменится. Может, тогда что-то улучшится...

— У них там, в Госкомиздате РСФСР, есть хоть кто-нибудь знающий наш язык, нашу литературу?— съязвил председатель секции прозы.— Как они могут решать, кто из вакхалыхских писателей достоин того, а кто — этого? Вы должны это пробивать, вы! Полмиллиона экземпляров! Это же бумага пятидесяти книг!

Теперь разозлился и представитель издательства.

— А вы вот сядьте на мое место и пробивайте все!— отпарировал он.— Езжайте в Москву и скажите: вы, товарищи, неправильно делаете, потому мы вас больше слушать не будем... И Мальчикова включите в план, и других молодых авторов. Только имейте в виду, общий объем художественной литературы вам никто не увеличит. Четыреста шестьдесят листов — и все! Ну, давайте, решайте, кого исключим из плана, чтобы включить Мальчикова? Пожертвуйте своей книгой ради взращения таланта...

В зале воцарилось тягостное молчание. Все почему-то моментально сникли, опустили головы.

— М-да!— нехотя почесал затылок председатель секции прозы. Ну что ж, я вижу, к сожалению, предложить включить Мальчикова в план мы пока не можем. Давайте так решим: оставить его рукопись на последующий год, но потом включить в план объемом в пятнадцать листов. Думаю, столько он свободно сумеет набрать. Пишет талантливо, хороших вещей у него много...

Так потихоньку разобрались и с другими заявлениями, после чего дошла очередь до самого проекта плана. Как всегда, первым попросил слова постоянный оратор на всех заседаниях и собраниях Дуйловский. Он давно находился на профессиональной литературной работе, но почему-то лет семь-восемь уже ничего не писал, а постоянно ездил на встречи с трудящимися. По путевкам бюро пропаганды художественной литературы, за восемнадцать рублей с каждой встречи. Это был один из тех самых незаменимых, кто, с одной стороны, превратил бюро в свою кормушку, с другой — выручал его в выполнении плана по прибылям. Все с интересом ждали, когда он выйдет к столу президиума и повернется ко всем лицом. Правильно или неправильно он говорил, а выступал всегда горячо, вдохновенно, с перцем. И это щекотало любопытство некоторых.

— Товарищи!— начал спокойно Дуйловский. Но все знали: голос его постепенно будет повышаться и повышаться, раздаваться все громче и громче, пока он не остановится, выкрикнув фальцетом какой-нибудь глобальный вопрос.— Вот мы познакомились с проектом плана. И заметьте, из года в год происходит одно и то же. Опять все начальство в плане, нас, рядовых, там совсем мало, а начинающих авторов вообще кот наплакал. Когда же кончится такое безобразие?

— Конкретнее!— послышалось из зала.

— Перейду к конкретностям,— словно только и ждал

того Дуйловский.— Вот в плане есть фамилия Арыслана. Я не скажу, что он плохо пишет и его не надо издавать. Но он же только что выпустил книжку. Так почему его опять включили, а меня, к примеру,— нет! Потому, что он в аппарате правления работает? Между тем я заявку дал вовремя, честь по чести. Слушайте, товарищи, я же тоже человек, у меня тоже семья. Учтите еще: я — писатель-профессионал, жалованья не получаю. И вообще, говорим об этом бесконечно, а когда же на самом деле наступит у нас социальная справедливость, за которую неутомимо борются партия, весь советский народ?

Дуйловский, высокий, худощавый, как-то неестественно вывернув шею, оглядел сверху всех, словно спрашивал: ну как я? Оправдал ваши надежды? Затем, похоже, про себя решил, что оправдал, и величаво прошествовал на свое место, теперь уже ни на кого не глядя.

Люди начали о чем-то шушукаться между собой, некоторые непонятно покачали головой, то ли одобряя, то ли осуждая выступавшего. Но вслух никто ничего пока не говорил. Понятное дело, с Дуйловским, конечно, никто связываться не хотел, потому как если в области литературного творчества он весьма и весьма малопродуктивен, то в области жалоботворчества удивлял не только сверхпродуктивностью, но и достаточной изобретательностью. Похоже, у него на всех писателей имелось досье. Иногда он в своих жалобах приводил подробности из такого далекого прошлого, что даже проверяющие просто диву давались. А у кого не было в жизни недостатков и, пусть даже небольших, но все же грешков. Хотя бы в молодости, в дошкольном возрасте...

— Что скажет представитель издательства?— спросил председатель секции прозы, сам тоже несколько растерявшийся.

Тот только пожал плечами: дескать, как хотите воротите, сейчас вам дали волю.

— Может, сам Арыслан что-нибудь скажет?— предложил озадаченный председатель.

— Борис Викторович ничего не скажет!— крикнул вдруг с места Инжеватов.— Дайте-ка лучше мне слово...

Он единственный в Союзе писателей в ораторском искусстве мог потягаться с Дуйловским. Считая, что в данной ситуации так лучше, говорил он спокойно, даже тихо, так что невольно приходилось напрягать слух. В подобных случаях, разумеется, лучше улавливаешь и запоминаешь сказанное.

— Товарищи, вы что, не знаете Арыслана? Да его излишняя скромность стала уже притчей во языцех. Он же за себя никогда слова не пикнет. Не случайно, написав произведений объмом в более чем двести листов, он до сих пор выпустил всего-то четыре книжки общим объемом в сорок листов. Для примера: ратовавший перед нами о социальной справедливости товарищ за всю свою жизнь написал не более сорока листов, а выпустил двести с лишним.

— В зеркало погляди!— растерянно и зло крикнул Дуйловский с места, не ожидавший такого от ни во что не вмешивающегося Инжеватова.

— Могу посмотреть и в зеркало,— спокойно подхватил оратор.— Действительно, я тоже выпустил не намного меньше Дуйловского, хотя написал больше его лишь в два раза. Но многое у меня выходило в Москве. А почему бы и вам, товарищ Дуйловский, не выпускать свои вещи в центральных издательствах?.. Вот тут и надо начать разговор о качестве. И потом — о социальной справедливости. Если у меня спросят, чьи книги из этих двух авторов читаются больше, я скажу: сходите посмотрите в библиотеку, в книжный магазин. Я ходил. И смею утверждать: и в магазинах, и в библиотеках книги Дуйловского лежат в изобилии, нетронутыми, словно инкубаторские цыплята...— Тут раздался дружный хохот и Инжеватову пришлось минуты две переждать.— Так кого надо издавать? Тем более, Борис Арыслан до сих пор не может опубликовать вновь написанное, а его соперник хочет переиздать одно и то же в десятый раз. Вы говорите, что профессионал, вам кормиться надо. А раз вы профессионал, так и должны в два раза больше Арыслана писать. У вас же все время отдается творчеству. Так где результат? Вот напишите новое, тогда и будете требовать, чтобы вас обязательно включили в план. А издавать ваши опусы только затем, чтобы прокормить вас, это, извините, ни в какие ворота... Одним словом, на мой взгляд, и речи не может быть об исключении из плана Арыслана. Хватит пользоваться его скромностью. И так опять намного уменьшен объем его книги. А это же роман, одна цельная вещь, как ее сократить? И вообще, давайте решим: пишет человек новое, добротное произведение — пусть издается хоть каждый год. Нигде не сказано, что это запрещается. Вот это и будет социальной справедливостью!— так же тихо, как начал, завершил свою речь Инжеватов.

В итоге решили-таки оставить Арыслана в проекте пла-

на, хотя, конечно, ясно было, что Дуйловский еще повоюет. Как ни странно, его жалоб побаивались не только в писательской среде, но и власть имущие, поэтому иногда вопреки всякой логике поддерживали его чрезмерно амбициозные требования. Так что как оно выйдет в окончательном варианте — вряд ли кто взялся бы предсказать.

— А теперь некоторые товарищи предлагают поговорить о памятнике Серде,— беспристрастно продолжил заседание председатель секции прозы.— Дело это касается всех писателей. Поэтому не грех будет, если мы присоединимся к обсуждению этого вопроса...

Обсуждения, однако, никакого не потребовалось. Все писатели давно горели желанием увековечить память о пламенном человеке, поэте и революционере, гордости нации. И решение было одно: направить письмо в Совет Министров республики с просьбой поставить в Башколе монументальный памятник, достойный имени великого человека. И дать подписать это письмо не только писателям, но и деятелям науки, культуры и искусства...

Когда после собрания все начали подходить к столу, чтобы подписать письмо, Инжеватов потянул Арыслана за рукав к выходу. Только Дуйловский заметил этот маневр, проводил их холодным злым взглядом.

Сказав, что ему еще надо зайти в общество автомотолюбителей, республиканский совет которого тоже находился в здании «ООН», Инжеватов в коридоре распрощался с Арысланом, и тот очутился на улице один. Борис Викторович в каком-то смысле чувствовал себя дезертиром. Ему было очень и очень неловко. Что же случилось бы такого, если он тоже подписал бы это письмо в Совмин? В какой-то момент он решил было даже подняться вновь в правление и поставить подпись вместе со всеми. Но это выглядело бы еще более нелепо... Впрочем, не он же вышел, его вытащили!

Немного поразмыслив, куда теперь податься, Арыслан, купив в киоске несколько газет, пошел вверх, к гостинице «Россия», перед которой находится остановка автобусов и троллейбусов. Чтобы уехать на дачу, ему сперва нужно попасть на стоянку пригородных автобусов. А это далековато, пешком туда не скоро дотопаешь.

На остановке к нему неожиданно подошла... Тертту Ульясовна. Откуда она появилась — Арыслан так и не понял, хотя внимание его в это время ничем особым не отвлекалось.

— Салам, Борис!— поздоровалась она первая, поскольку-

ку тот заметил ее лишь в последний момент и просто не успел ничего сказать...

— Салам!— повернулся к ней Борис Викторович.

— Я тут в гостинице была... В нашем театре владимирцы гастролируют. Их зав. литчастью тут живет,— как бы мимоходом объяснила Тертту Ульясовна.— Ну, как ты поживаешь? Когда приехал? Господи, оброс-то как, одежда вся измятая...

— Да ничего живу,— кратко ответил Борис Викторович. Обо всем другом он не хотел говорить.

— Все сердишься на меня?

Она смотрела ему в глаза независимо и чуть лукаво, в то же время тепло и сочувствующе. Голос ровный, спокойный.

— Да нет, с чего на тебя сердиться,— пожал плечами Арыслан.

— Вот и я думаю так же,— будто согласилась Тертту Ульясовна. И, покончив с этой темой, перешла на другую:— Слушай, а пьесу твою окончательно одобрили. Решили поставить. В этом же сезоне. Худсовет уже принял официальное решение. За постановку возьмется сам главреж. Так что можешь идти в Министерство культуры оформлять договор.

Это известие, когда-то такое долгожданное, Арыслана не обрадовало. Скорее ему стало даже неприятно. С одной стороны, вроде бы надо только радоваться, что пролежавшая столько лет пьеса наконец пошла в дело. А с другой стороны, как подумаешь, в связи с чем могло быть принято такое решение, появляется протест, даже брезгливость, причем, как ни странно, прежде всего к самому себе. Видно, Тертту Ульясовна тоже почувствовала его двойственное состояние. Чего-чего, а чутья ей, действительно, не занимать.

— Дурак ты,— словно обидевшись, полуотвернулась она от него.— Я тут вообще оказалась ни при чем. И не надо думать обо мне совсем уж скверно. Не такая падшая я женщина... Просто когда прочитали драму члены худсовета, все единодушно решили: как раз то, что требуется сегодня театру. А меня обругали. За то, что знала о пьесе и молчала. Хотят из нее гвоздь сезона сделать. Может, спектакль еще на госпремию решатся представить. А главной героиней буду я. Понимаешь?

А чего тут не понять? Актриса Тертту Львова тогда может стать лауреатом Государственной премии автономной республики. Таким образом, продолжает осуществлять-

ся ее план. Впрочем, как автор пьесы, лауреатом может стать и Борис Арыслан. Выходит, действительно, она и его вытягивает?

Но ответить ей что-либо Борис Викторович не успел: подошел троллейбус. Правда, вошли в него оба, но тут уже стало не до разговоров, поскольку в салон набилось столько народу, что их растолкали в разные стороны и прижали так, что дышать стало невозможно. Только когда пришло время выйти, Борис Викторович, продираясь к выходу, на мгновение снова оказался возле жены.

— Ты гулять долго будешь?— сказала лишь Тертту Ульясовна ему на прощанье. Тут же напомнила:— Не забыл, в понедельник тебе на работу выходить? Отпуск кончается...

В автобусе народу оказалось не меньше, чем в троллейбусе. Пригородные жители возвращались с работы домой, а горожане спешили на свои клочки земли, чтобы хоть часок-другой почувствовать себя частью природы. Многие были с рюкзаками, корзинами, сумками. Так что Борис Викторович даже поругал себя за то, что не задержался в городе, пока не уменьшится так называемый пассажиропоток. Тогда и нелепая встреча с женой не состоялась бы. «А крепки мы, вакхалыхи, задним умом»,— тут же подтрунил над собой.

Когда наконец все-таки доехал до места и вырвался из автобуса, Арыслан от остановки к даче пошел напрямик, через небольшую дубраву, отделявшую шоссейную дорогу от садоводческого товарищества. Здесь наконец-то он задышал полной грудью. Лесной воздух быстро и незаметно снял раздраженность и усталость, придал силы. Ничего не скажешь, все в человеке от природы и в природе...

Что особенно любит Борис Викторович — так дубраву. Конечно, хороши и хвойные леса, и смешанные, и все же для него красивее, привлекательнее дубравы нет. Вон какие они, дубы: кряжистые, мощные, в отличие от хвойных или, скажем, берез, осин и им подобных, не очень заботящиеся о стройности, зато красивые именно своей выпуклостью — так и кажется, что это мускулы выпирают то тут, то там — и кудрявостью кроны. И, как большинство сильных на свете, дуб никогда не обижает слабых. Именно здесь радостно буйствуют орешник, другие кустарники, которым хвойные или смешанные леса хода не дают. Здесь, похоже, даже звери чувствуют себя как бы под защитой неподвижных великанов. Вон белка пробежала тропиночку прямо перед Арысланом, не спеша, на

всякий случай, поднялась по стволу соседнего дуба метра на три и смотрит на человека, будто изучает его с интересом.

— Ату!— крикнул ей Борис Викторович.— Дурочка, учись бояться людей. Они, конечно, очень любят тебя, но... многие носят беличьи шапки.

И только сейчас белка распушила свой золотой хвост и пошла летать молнией с дерева на дерево, пока не скрылась из глаз.

Даже этот маленький кусочек нетронутой человеком природы успокоил Бориса Викторовича окончательно. Уже не хотелось думать ни о только что прошедшем заседании секций, ни о неподписанном им письме, ни о статье в защиту Василькова, которая, видимо, все-таки вот-вот выйдет в газете. Прочитав ее, облеченные властью люди, верится, взглянут-таки на свои действия глазами общественности, опомнятся и оставят ни в чем не виновного человека в покое...

У Арыслана поднялось настроение, появился какой-то рабочий зуд, будто несколько месяцев вообще не брался за ручку. Он знал: такие редкие моменты надо использовать сполна. Трудиться без обеда, без сна, без отдыха, пока не выложишь на бумаге все, о чем думал, размышлял долгие годы. А когда опустошишься совсем и не останется сил — свалиться, как подкошенный... Это и есть его высшее счастье. Поэтому сейчас ему хотелось только одного: побыстрее добраться до дачи, сесть за стол. Что он и сделал, как только вошел в свою прохладную кирпичную клетушку.

Но странно, посидев за столом какой-нибудь час, Борис Викторович с тоской понял, что работа сегодня не идет. Кажется, на этот раз интуиция его обманула. Мысли и воображения никак не хотели отправляться в мир героев будущей повести, упорно возвращались то домой, то к троллейбусной остановке, где он встретился с Тертту Ульясовной, то к троллейбусу, в котором в силу обстоятельств весьма странно попрощался с ней. Вернее, она с ним. И он обостренно почувствовал, как здесь, в садовом домике, тоскливо, а желанная тишина и желанное одиночество вдруг стали вовсе не такими уж желанными, мало того, они просто угнетают. Сейчас, наоборот, хотелось домашнего шума, чтобы подбежала к столу внучка Натали и начала теребить исписанные дедом листы бумаги, а рядом, через стену, чтобы бренчало пианино. И чтобы на кухонном столе стояла пережаренная и оттого отвердевшая яич-

ница... Матерь божья, до чего же привередлив человек!

А что она, Тертту Ульясовна, сказала насчет гулянья? Ах да... И напомнила, что ему в понедельник на работу. Точно, отпуск кончается. Но как он, Арыслан, будет отсюда добираться ежедневно в Башколу? И обратно... Особенно в дождь. И где он будет жить глубокой осенью, зимой?.. Что же, он хочет уйти из дома совсем? Получается так. Тогда надо все решить раз и навсегда. С другой стороны, есть ли у него основательная причина для такого отчаянного шага? Такая основательная, что иначе совсем, совсем нельзя, невозможно поступить. Ведь Тертту Ульясовна по-своему тоже права. Не такая уж она плохая женщина и скверная жена. Борис Викторович верит: с того момента, как вышла за него замуж, она хотела всю жизнь прожить честно, добиваться всего только трудом и талантом. Разве ее вина, что ее такие простые, человечные желания в реальном мире оказались лишь эфемерными мечтаниями? Разве ее вина, что она под конец не сдюжила? А он, ее муж, ее опора, почему не помогал ей в борьбе за истинное место в жизни? И разве одна она такая на свете, сдавшаяся на милость судьбы? Да их миллионы! А сам Борис Викторович? Разве он не пошел по тому же пути? Разве не он сомневался, писать статью про дело Василькова или не писать? Разве не он послушался сегодня «умного» совета Инжеватова и увильнул от подписи под важным письмом? А почему послушался? Потому что пусть не совсем, но где-то в тайнике души поверил в его пророчество о возможности стать главным редактором журнала. Что? Тебе не очень нужна эта должность? Да, конечно. Но она дает независимость. Она дает возможность беспрепятственно выпустить твои пылящиеся на полках издательства рукописи и вот эту будущую повесть. Все проще пареной репы: работники издательства тоже люди пишущие и хотят печататься в журнале. Эту взаимозависимость знает каждый начинающий автор. Но если бы дело было только в этом. Не менее важно, что только должность главного редактора дает возможность поднимать истинно талантливых авторов и ставить на место серость наподобие Дуйловского и К°, о чем мечтает не только Арыслан. Это тоже правда. Почему же тогда он осуждает Тертту Ульясовну? «А может, и не осуждаю»,—вдруг возразил сам себе Борис Викторович.

«Как бы ни было, завтра придется вернуться домой. А там поглядим...»— двусмысленно решил он, щадя самолюбие. Но даже от этого ему стало как-то легче, будто

развязал-таки гордиев узел, связывающий его по рукам и ногам. Показалось, даже дышать стало легче, свободнее.

Можно было, конечно, тут же собрать чемодан и сегодня же успеть на последний или даже на предпоследний автобус, идущий в город. Но после давешнего расставания с Тертту Ульясовной появление Бориса Викторовича дома среди ночи выглядело бы по крайней мере как полнейшая капитуляция. И он усилием воли заставил себя просидеть за столом до полуночи, хотя от этого получилось мало проку, затем проветрил домик от тошнотворного запаха керосиновой копоти и лег в отсыревшую постель с давно не менявшимся бельем.

Утром Арыслан побрился, умылся водой из колодца. Правда, она была настолько холодная, что хватило духу лишь сполоснуть лицо и шею. Затем, тщательно задернув занавески на окнах, чтобы излишне любопытный глаз не мог видеть, что находится в домике, прихватил чемодан с бумагами и грязным бельем и отправился в Башколу. Через час с небольшим он уже вышел из троллейбуса и не очень решительно зашагал от остановки по своей улице вниз, к дому. Однообразие серых девятиэтажных коробок, располосованные сантехниками, связистами и другими вечно чего-то копающими людьми тротуары, пыль, поднимающаяся после проезда каждой машины от никогда не очищаемой дороги, кое-где торчащие засохшие полутора-двухметровые прутики, напоминающие, что план по озеленению успешно выполняется, сегодня почему-то не навевали уныния, а казались чем-то само собой разумеющимися, а потому привычными, родными. Даже разрисованные и расписанные на всех алфавитах мира стены подъезда сегодня не возмущали.

Дома находилась одна Вероника. Она, видимо, даже не знала о случившейся размолвке между родителями, встретила отца приветливо, как и подобает после долгой разлуки. Поздоровалась, поинтересовалась, как ему работалось в деревне, тут же спросила:

— Па, нет ли у тебя червонца?

— Зачем тебе?— больше по привычке спросил Борис Викторович.

— Да надо...— уклончиво ответила Вероника.

— Что ж ты у супруга своего не спросишь?— вытаскивая из кармана бумажник, упрекнул Борис Викторович.— По моим расчетам, он недели две-три уже работает после курсов. Значит, там должен был получить расчет, а на работе — аванс.

— А у меня больше нет супруга,— равнодушно сообщила Вероника, кончиками пальцев небрежно беря красненькую бумажку.

— Как это... нет?— оторопел Борис Викторович.— Случилось с ним что-нибудь?

Дочь сделала вид, что не расслышала вопрос отца, проскользнула в свою комнату. Оттуда тут же послышалось завывание жуков-великанов, правда, не такой мощи, как при Владике. Но Борис Викторович хотел узнать о только что услышанном подробнее, поэтому, постучав, вошел к дочери, сел напротив нее, полулежащей на еще не прибранной постели.

— Ну, рассказывай,— попросил как можно спокойнее.

— А что рассказывать-то?—вспыхнула Вероника.—Развелись — и все!

— Как развелись? Просто так или судом? И как давно это у вас произошло?— допытывался Борис Викторович.

— Пока — просто так. Но заявление в суд я уже отнесла,— вынужденно объяснила Вероника.

— Вы что, поссорились? Или черная кошка между вами пробежала?— недоумевал Борис Викторович.— Вроде жили дружно. По крайней мере, ты за него горой стояла.

Вероника упорно отводила от отца глаза, не отрывая их от вращающегося диска магнитофона.

— Да отключи ты его!— не выдержав, прикрикнул Борис Викторович.— Не о смерти котенка толкуем!

Щелкнул под тоненьким прозрачным пальчиком выключатель, наконец-то замолкли назойливые жуки-синтезаторы. Тонкие манекенские ножки опустились на коврик. Дочь села нормально.

— Понимаешь, па, он просто оказался мразью. Сел нам на хвост и решил прожить на халяву...— быстро начала объяснять Вероника.

— На что?— не поняв жаргонного слова, переспросил Борис Викторович.

— В общем, хотел прожить на дармовщину. Понимаешь, кончил две недели назад курсы и тут же устроился на другие. И я окончательно поняла его. Естественно, указала на дверь,— торопливо, словно боясь, что ее перебьют, рассказывала Вероника.— Гнилую веревку лучше выкинуть раньше, чем мучиться всю жизнь, связывая обрывки.

Это уже не из ее лексикона. Наверное, она повторила чьи-то, вероятнее всего, мамины слова.

Борис Викторович даже не знал, что сказать дочери. Зятя он вообще-то сам давно недолюбливал. С другой сто-

роны, для любого вакхалыха семья являлась чем-то священным, раз и навсегда данным судьбой. По крайней мере, для людей старшего поколения. И если в последнее время и пошли разводы, не так же с кондачка решаются подобные сложные вопросы. Как говорится, семь раз нужно отмерить, прежде чем раз отрезать. Но что поделаешь, урбанизация и эмансипация буквально за годы стирают веками развивающиеся и устоявшиеся народные традиции и обычаи.

— Ну а как же внучка, Натали?— спросил Борис Викторович.— Алименты хоть будет получать?

— Мы, па, решили по-современному. Раз разводимся— то по всем линиям. Чтобы он мне больше не мешал, а я— ему. Поэтому Владик больше вообще не покажется на глаза Натали, а я ей о нем никогда ни слова не скажу. Думаю, так она быстро забудет его и моего будущего мужа будет считать отцом,— охотно объяснила Вероника. Теперь уже, поняв миролюбивое настроение отца, она говорила как всегда ровно, спокойно, неторопливо.— Так что, естественно, никаких алиментов. Ведь они будут напоминать о прошлом.

Видно, это у них при разводе было самым разработанным и согласованным вопросом.

— Значит, алименты на Натали ты повесила на нашу шею,— подытожил Борис Викторович.

— А что,— смело взглянув отцу в глаза, тут же отпарировала Вероника,— если вам тяжело, я могу уйти из института. Поступлю работать.

Такая угроза была ее самым сильным оружием во многих спорах, потому как ни Борис Викторович, ни Тертту Ульясовна, конечно же, не хотели бы, чтобы их дочь осталась без высшего образования.

Борис Викторович смотрел на Веронику, на ее продолговатое, как у Тертту, лицо с большими голубыми глазами, с прямым широким лбом и носиком с небольшой горбинкой, на каштановые, как у него самого, распущенные волосы и никак не мог понять, чей же характер сложился у ней: матери или отца? Вероятнее всего, у Вероники совершенно другой характер: более беззаботный, легкомысленный. Но откуда он взялся? Никто из родителей, учителей в школе не воспитывал ее такой. Понятно, скажем, когда человек живет долгую жизнь и видит, что те идеалы, которые красочно расписывались перед ним в школе, в книжках и кинофильмах, в газетах и телепередачах, фактически, как говорится, далеко не соответствуют дей-

ствительности, потому он со временем вольно или невольно начинает меняться, вылезая из рамок, очерченных домашним и общественным воспитанием. Но Веронике всего-то два десятка лет! Впрочем, поздно, слишком поздно об этом размышлять...

— Ну ладно,— ретировался Борис Викторович,— мы с матерью еще обсудим этот вопрос...

Хотя он вообще еще не знал, как встретится с Тертту Ульясовной дома, о чем и как будет говорить с ней. В какой-то момент даже возникла мысль: «А что, если взять и уйти снова, пока ее нет? Уйти навсегда. У молодых это вон как просто получается...» Но он тут же отбросил ее, обругав себя в душе глупцом и малодушным человеком. Это что же, в одной семье два развода получится? Курам на смех. И как вырастят оставшиеся женщины Юмана, Натали?

Да, ему надо пока жить в этой семье, изредка, а может, и часто продолжая видеть по ночам во сне ту отвратительную сцену в кабинете директора театра. «Может, ты простил ей все, потому что она устроила твою пьесу?»— как-то прямо спросил себя Борис Викторович. Нет, нет, только не это! Заставляют не принимать, как говорится, экстраординарных решений совершенно другие дела. Например, возможная, лишь чуть-чуть, но все же возможная карьера. Разведись он сейчас, как будет выглядеть в глазах людей... Да и другие семейные вопросы, похоже, удержат его от разводящего шага. А там видно будет...

Одним словом, приходилось ждать того неприятного момента, когда он, побежденный — да, да, побежденный!— предстанет перед Тертту Ульясовной. Несколько успокаивало лишь то, что она наверняка не подаст вида, будто поняла это. А в душе... Кто ее знает, что у нее в душе. Может, она в самом деле не воспринимает такие случаи всерьез...

Впрочем, что переживать. Разве впервые приходится терпеть в жизни подобные поражения. На этот раз оно чувствуется особенно остро лишь потому, что берет начало от поступка самого, казалось бы, близкого человека...

Несмотря на горячее обещание редактора, статья Арыслана в газете появилась лишь недели через две. Но Борис Викторович и не заметил, что прошло столько дней. Он к тому времени уже проработал больше недели и успел попасть в большую неприятность, поэтому как-то и не вспоминал свой материал, оставленный в редакции.

Жизнь есть жизнь. Одни в нее приходят, в то время

как другие из нее уходят. И такое случается беспрерывно...

В конце первой послеотпускной недели скончался один из старейших вакхалыхских писателей. Похороны состоялись в воскресенье, ответственным за их проведение от Союза писателей назначили Арыслана. В общем-то дело привычное. Союз состоит в основном из людей преклонного возраста. Многие из них обеспечили себе бессмертие в памяти народа, но когда пробивает свой час, и им приходится уходить в мир иной... Одним словом, Арыслан организовал все четко: закупили гроб, венок с лентой, заказали катафалк, оркестр, автобус, место на кладбище, вывезли тело покойного из морга, нашли фотографа, оповестили всех писателей, редакции газет и журналов, нашли кафе, которое согласилось приготовить прощальный ужин для участников похорон... Это перечислить быстро получается, а чтобы сделать все, ой как много приходится бегать... Покойника уважали, и прощаться с ним пришла чуть ли не половина писателей, много делегаций от редакций, предприятий, организаций. Правда, на кладбище мало кто поехал, поэтому нанятый на всякий случай автобус городского маршрута уехал вслед за катафалком полупустой. Не было в нем и самого Арыслана. Ему предстояло съездить за Юманом в пионерлагерь, что в ста с лишним километрах от Башколы. Конечно, Юман уже вполне самостоятельный мальчик и мог бы приехать сам, но стояли предсентябрьские дни — пора студенческих миграций, и билеты было трудно достать. Да и из лагеря даже восьмиклассников без сопровождающего не отпускали. Поэтому Борис Викторович еще с утра уехал за сыном. За похороны он не волновался. Все было заказано. Рабочие — молодые авторы — для выноса тела и закопки могилы имелись. Сценарий траурного митинга составлен, выступающие предупреждены. Поэтому он по-товарищески попросил присмотреть за похоронами другого литконсультанта правления, предварительно объяснив ему все подробно.

Но рвется, оказывается, там, где меньше всего ожидаешь.

На кладбище, как рассказал затем ему коллега-литконсультант, произошло совершенно неожиданное. Когда туда подъехала похоронная процессия, встретился охранник. Он, похоже, с утра успел проводить не одного покойника... Узнав, что привезли известного писателя, охранник из уважения сам повел процессию куда надо. Его маршрут полностью совпадал с объяснением Арыслана, с той лишь разницей, что, по словам Бориса Викторовича, надо было

на первом перекрестке повернуть налево, а охранник настаивал — направо. Это несколько смутило литконсультанта.

— Да не бойсь ты! — хорошо прочищенным горлом громко уговаривал охранник.— Я же знаю, все большие люди там хоронются. Особливое это место, для высокого начальства. А сторона — что? Ты смотришь сюды с улицы — получатся правая, а я смотрю отседова — получатся левая. Ясно?

Уговорил-таки. И вот процессия подходит к заранее выкопанной могиле; как по-писанному проходит митинг, оркестр играет прощальную, начинают опускать гроб... И тут откуда ни возьмись подбегают солидный на вид мужчина с милиционером, за ними ковыляет охранник с перепуганным лицом, виновато приговаривая вдруг осипшим голосом: «Ошибочка получилась, товарищи. Ай как нехорошо. Ошибочка вышла...» Мужчина просит пока не засыпать гроб и, узнав, кто ответственный за похороны, отзывает его в сторону.

— Извините, вас ввели в заблуждение,— уничтожающе взглянув на охранника, коротко объясняет он литконсультанту.— Могила для вашего писателя выкопана совсем в противоположной стороне.

— Простите меня. Ошибочка получилась. Ай как нехорошо. Ошибочка вышла...— все приговаривает охранник одно и то же, словно испорченный патефон.

— Так что же теперь делать? Гроб уже опустили,— отвечает литконсультант.— По-моему, разницы большой нет, пускай тут и останется, раз уж так получилось.

— Разница большая,— твердо парирует солидный мужчина.— В этом ряду хоронят только известных людей. Разве не видите: вон зав. финхозотделом обкома лежит, рядом — ректор вуза, дальше — министр коммунального хозяйства, председатель знаменитого колхоза...

Родные и друзья покойного писателя начинают волноваться неожиданной остановкой похорон и затянувшимися переговорами, подходят к договаривающимся сторонам. Узнав, в чем дело, начинают уговаривать солидного мужчину:

— Послушайте, не вытаскивать же гроб обратно.

— Писатель тоже известный человек. Тем более этот. Пусть лежит себе спокойно, раз уж так получилось...

Солидный мужчина все же неумолим.

— Я вас прекрасно понимаю, и мне тоже неудобно,— говорит он сочувственно, однако твердо.— Но здесь писа-

теля хоронить нельзя. Все равно потом заставят вытащить. Так уж лучше сразу исправить ошибку. Иначе...— кивает головой в сторону милиционера.

Одним словом, пришлось-таки перетащить покойного «на свое» место...

Но кульминация скандала пришлась на следующий день, на понедельник. Сначала председателя правления Союза писателей Казачкина вызвали куда следует, откуда он вернулся красный, как перец, и сердитый. Казачкин тут же собрал аппарат правления и всем раздал этого самого перцу. Больше всех досталось, конечно, Арыслану.

— Чем теперь смыть этот позор перед общественностью республики?— вопрошал Казачкин, гневно сверкая зрачками сквозь суженные щели глаз.— Вы хоть понимаете, что все это значит? Это же явное неуважение к писателям вообще. Разве можно такое допускать?

— Конечно, нельзя,— согласился Арыслан.— Раз уж так получилось, покойного надо было оставить там же. Ничего бы не случилось, если бы известный писатель лежал рядом с заведующим финхозотделом.

— Нельзя было допускать это самое «раз уж так получилось»! Если вам поручили дело, надо его доводить до конца. А с пионерлагерем можно было и подождать... Одним словом, Борис Викторович, за невыполнение порученного задания объявляю вам выговор,— грозно сообщил Казачкин, сокрушенно разводя мощными мужицкими руками: дескать, я все понимаю, но с меня тоже требуют... Так что не взыщи.

— А кто возместит теперь переплаченную оркестру сумму?— начала требовать свое бухгалтер отделения Литфонда.— Ведь музыканты за игру над второй могилой взяли еще пятьдесят рублей.

— И прощальный ужин в кафе был скомкан. Дали на него всего час, а люди приехали с опозданием на сорок минут,— возмущенно заметил заместитель председателя.

— А кто возместит переплаченную за транспорт сумму?— поддержал коллегу из отделения Литфонда главный бухгалтер правления.— За эти лишние сорок минут тоже лишние деньги ушли...

Одним словом, песочили Арыслана долго все, кому не лень. Со стороны все это, возможно, казалось какой-то нелепостью, абсурдом, но Борису Викторовичу от этого было не легче, он переживал случившееся всю неделю. И когда в субботнем номере республиканской газеты увидел наконец свою статью, даже не знал, радоваться ей, как

обычно радовался любой своей публикации, или махнуть на нее рукой как на пройденный этап, как на простое выполнение обещания, данного отцу. Однако жизнь скоро внесла свои коррективы и в это дело. Причем так скоро, что трудно даже представить.

В понедельник с утра Казачкину позвонили из сектора печати обкома партии и велели прислать к двум часам дня литконсультанта Арыслана. Казачкин — человек бывалый, сменил не одно кресло руководителя, потому до тонкостей разбирался в значении каждого действия, каждого жеста работников обкома. Раз Арыслана вызывали через него, председателя правления, это, конечно, не к добру. Если к тому же вызывали в сектор печати, стало быть, наверняка по поводу статьи в субботнем номере газеты. Потому что творческими союзами в обкоме вообще-то занимается отдел культуры, а не отдел пропаганды, куда относится сектор печати. О чем председатель и предупредил Бориса Викторовича, поскольку в душе относился к нему с некоторым уважением. В отличие от многих, он давно понял, что значение писателя не в занимаемой должности, не в званиях и наградах, а в создании им таких произведений, которые пусть и не вмещаются в рамки требований конъюнктуры, но в конечном итоге останутся в истории. И с этой точки зрения в душе он ставил Бориса Арыслана выше себя. Хотя от осознания этого у него даже на минуту не возникало мысли уступить ему, скажем, свою позицию в плане книжного издательства. Он знал: романы и повести Арыслана все равно будут опубликованы, некоторые, возможно, лишь после того, как автора не станет в живых. И не только будут опубликованы, а будут издаваться еще и еще раз в течение многих десятилетий, может, и столетий. У так называемых злободневных произведений же самого Казачкина, появляющихся после каждого очередного постановления высоких инстанций, век короток, как и у большинства самих этих документов. Но Казачкин вынужден был держаться за это, поскольку именно это держало его на плаву сегодня. Будучи реалистом, о своей главе или даже страничке в истории вакхалыхской литературы он не сильно мечтал...

Председатель в своих предположениях оказался прав. За исключением одного: Бориса Викторовича, оказывается, вызывал не сектор печати, а вызывали через сектор печати. Когда он подошел туда точно в назначенный срок, заведующий сектором, встретив его каким-то сочувствующе-жалеющим, что ли, взглядом, предложил пройти в сопро-

вождении инструктора в отдел торговли и бытового обслуживания.

По длинному полутемному коридору Арыслан с инструктором перешли в другой конец здания обкома, где размещались отраслевые отделы. Тяжелые двустворчатые двери под красное дерево, которым несть числа, высокий полуовальный потолок из бетона будто вдавливали их в толстую ковровую дорожку. Выпирающие кое-где диваны из черной кожи, на которых никто никогда не сидел, казалось, и были-то расставлены лишь затем, чтобы подчеркнуть казенность обстановки. Вообще, сколько бы ни приходилось Арыслану бывать здесь, всегда он почему-то чувствовал себя человеком маленьким, слабым по сравнению с теми, кто деловито и привычно сновал по этим коридорам и кабинетам с высоко поднятой головой.

В отделе уже сидели сам заведующий Илларион Иванович Шибаев — Арыслан знал его еще первым секретарем Айдаровского райкома партии — и министр Виталий Федорович Стеклов, который, конечно, на лицо ему тоже был известен, а также мужчина одних с Арысланом лет и красивая молодая женщина в изысканной одежде; как правильно догадался Борис Викторович, это были инструктор отдела и директор объединения «Объектив» Зубова.

— Что же это вы, уважаемый, натворили?— встретил Арыслана суровым голосом Шибаев, даже не поздоровавшись и не предложив сесть.

Борис Викторович от его сильного окрика даже оторопел и на мгновение остановился у двери, словно парализованный. Раньше он встречался с Шибаевым несколько раз в качестве корреспондента республиканской газеты. Илларион Иванович всегда разговаривал с ним просто, дружелюбно. Небольшого роста, полный, он казался человеком добродушным, вообще не способным повышать голос на других. Однако поди же...

— А что я натворил?— взяв себя в руки, переспросил Арыслан с некоторым волнением. Как бы ни было, от такой встречи хозяина кабинета в душу на время закралось сомнение: а вдруг он в самом деле, поддавшись эмоциям после рассказов отца и Илембн, написал статью ошибочно?

— А ну-ка подойдите сюда, садитесь,— указал Шибаев на место за столиком приглашенных, напротив министра. По месту, куда указывалось сесть, это вроде бы приглашение, но прозвучало оно как приказ. Илларион Иванович давно набил руку в руководстве и прекрасно знал, с кем, как следует говорить в подобных обстоятельствах.—

А то,— продолжил он.— Вы в своей статье с ног до головы облили грязью уважаемого коллективом руководителя, вставшего на защиту интересов государства. Мы тут за эти дни сообща проверили все ваши фактики и пришли к единодушному мнению: сейчас же напишем докладную и идем с ней к товарищу Важаватову, чтобы принять меры и против вас, и против редактора газеты, давшему добро на такой пасквиль. Да и против председателя правления Союза писателей, не способного воспитывать своих работников в духе сегодняшних требований. Вы что, уважаемый, думаете, что если пришло время открытой демократии, то теперь можно делать что угодно? Хочешь — обливай грязью руководителя, который налаживает дисциплину и порядок в коллективе, борется с хапугами и рвачами, а хочешь — защищай тех самых лодырей, хапуг и рвачей? Не-ет, милый мой, ничего не выйдет. Партия и государство не допустят такой анархии.

Шибаев замолк, круглыми мышиными глазами оглядел всех присутствующих, затем впился Арыслану в лицо. Так сидел он долго, словно стараясь просверлить его.

В других случаях, конечно же, впечатлительный Борис Викторович перед таким напором растерялся бы сразу. Но — спасибо Казачкину за своевременное предупреждение — он на этот раз психологически был немного готов к нелицеприятному разговору. И пока Шибаев сыпал свои угрозы, способные многих парализовать надолго, сумел взять себя в руки и быстренько проанализировал все. Стало быть, они вместе проверили все факты? Чепуха, подсказывала логика, газета вышла позавчера, в субботу. Воскресенье, как известно, выходной. Сегодня за полдня они никак не могли съездить в Айдарово и изучить материалы, находящиеся в прокуратуре. Да и не могли они никуда выезжать, поскольку понедельник везде — день планерок. В лучшем случае и наверняка они успели переговорить лишь с директором объединения и, возможно, с министром. А это не равнозначно с «мы тут... проверили все фактики». Уж кто-кто, а газетный волк Арыслан знал, что проверяют факты даже при предвзятости, хотя бы для видимости, со всех сторон, выслушав доводы каждого, кто причастен к делу. А беседой с Васильковым тут тем более и не пахло. Вывод: его явно берут на пушку.

— Дело ваше,— спокойно согласился Арыслан.— Можете писать докладную... Только все мы в республике думаем, что первый секретарь обкома человек тонкого ума и высокой честности. Перед тем как принять решение по

докладной, он, надеюсь, в отличие от иных партийных работников на самом деле поручит перепроверить все факты, имеющиеся в статье. При этом обнаружится, что в ней указана лишь часть вопиющих безобразий.

Такой ответ не входил в расчеты собравшихся проучить незадачливого автора и добиться от него опровержения. Они, за исключением, может быть, Шибаева, которому пришлось в свое время руководить райгазетой, привыкли иметь дело лишь с хозяйственными руководителями. А те здорово уважают субординацию, в подобных обстоятельствах лишь виновато опускают очи долу и ждут, что прикажет начальство. Или же, если не приказывает, а просит подумать, сами поспешно предлагают меры для ликвидации своей оплошности. Но Арыслан не был хозяйственным руководителем, он никогда не работал и в районной газете... Его ответ сидевшим в кабинете одновременно и возмущал, и обескураживал. Возмущал, потому что эти люди представить пока не могли, что какой-то «писателишка», литконсультант, смеет говорить на равных с заведующим отделом обкома, с министром. Господи, до чего же дожили с этой игрой в демократию! А обескураживал, потому что такой вариант они не предусмотрели и не знали, что же теперь делать. Ведь ясно же, с запиской к первому они не пойдут. Во-первых, их за беспокойство по таким пустякам по головке не погладят. Во-вторых, в сложившейся общественной обстановке еще неизвестно, чем все это может обернуться. А вдруг первый засомневается в объективности самим же приближенных к себе людей и поручит перепроверить факты? Уж очень убедительно написал этот шайтан Арыслан, в логике ему не откажешь.

Все эти размышления длились, конечно, не больше минуты.

— А какие еще безобразия вы знаете?— набросилась тут на Бориса Викторовича Зубова.— Может, этот жулик наговорил вам еще какие-нибудь небылицы? Может, сказал, что я у него деньги вымогала? Может...

— Почему вы думаете, что Васильков мог о вас именно такое сказать?— в упор спросил ее Арыслан.

— Почему...— осеклась Зубова, но тут же нашлась что ответить.— Потому что все они такие, фотографы. Начнешь их уличать, они тут же обвинят тебя черт знает в чем...

Шибаев строго посмотрел на Зубову, укоризненно покачал головой.

— Маргарита Федоровна, вы, пожалуйста, пока подождите, не вмешивайтесь, мы тут сами разберемся,— друже-

любно предупредил Стеклов, не смея почему-то смотреть ей в лицо.

Зубова в ответ требовательно зыркнула на него очаровательными карими глазками, словно не он был здесь министром, а она, Стеклов же обязан был лишь исполнять ее волю. Она словно предупреждала: не забудь! Чего нельзя забывать — это, наверное, знали только они сами.

— Так что вы со своей стороны предлагаете?— более мягко спросил Шибаев у Арыслана.

Странное дело, то ли от вернувшейся убежденности в своей правоте, то ли от веры в то, что в наши дни справедливость все-таки должна восторжествовать, поскольку печать, телевидение, радио упорно и настойчиво доказывают наличие такой атмосферы в обществе, то ли от надежды, что люди такого ранга должны все-таки увидеть правду, а пока, видимо, просто заблуждаются, Арыслан чувствовал себя в этом окружении вполне свободно и даже, можно сказать, смело.

— А что тут предлагать,— спокойно сказал он.— Надо затребовать иск обратно, извиниться перед честным человеком и оставить его в покое. И все.

Инструктор сектора печати, незнакомый Арыслану молодой человек — выпускник высшей партийной школы, посмотрел на него с любопытством, затем быстренько окинул взглядом других и, полусгибаясь, словно перед светящимся киноэкраном, поспешил выйти из кабинета: дескать, я виновного привел, а там разбирайтесь как знаете... Впрочем, его никто и не задерживал.

— Та-ак,— неопределенно протянул Шибаев, тяжело разглядывая всех по очереди.

Зубова тем временем снова зыркнула глазищами на Стеклова, и тот поспешил вмешаться в разговор:

— Стало быть, коммунист Арыслан предлагает закрыть глаза на то, что какой-то жулик обманным путем хапнул у государства большую сумму денег. Но ведь из плана реализации услуг объединения исключена сумма в шесть с лишним тысяч рублей — все работы этого самого... э-э... Василькина. Вы понимаете? А зарплата ему выдана. Кто теперь ответит за это? Директор, что ли?

— Во-первых, Васильков не жулик. Он никого не обманывал и ничего не хапал,— возразил Арыслан, чувствуя, что в душе у него что-то начинает закипать. Видно, такое упрямое желание этих людей выдать белое за черное и наоборот все-таки действовало, как ни старался он держать себя в руках.— А за создавшееся положение должен

отвечать тот, кто его создал. Не само собой же возникло...

— И вы, конечно, знаете, кто его создал,— с сарказмом заметил Шибаев.— А мы тут сидим лопоухие и ничего не смыслим в своем деле.

Это уже была явная насмешка, намек на то, что автор статьи человек маленький, к тому же в рассматриваемом деле абсолютный профан, и не ему здесь предрекать истины. «Не поддаваться,— успокаивал себя Борис Викторович,— не расслаблять нервы».

— Этого я, возможно, точно и не знаю,— все еще пытаясь быть спокойным, сказал он.— Я наверняка знаю одно: Васильков честный труженик, он никого не обманывал...

Тут уже, кроме, пожалуй, Шибаева, не выдержали все присутствующие, так желавшие вывести из терпения этого писаку и извлечь из этого пользу. Они — и инструктор отдела, до сих пор сидевший молча, и министр, и директор объединения — перебивая друг друга, укоряли Арыслана в отсутствии совести, обвиняли в продажности за какую-то мзду, намекая, что это может привести даже к потере партбилета. А Зубова покрылась багровыми пятнами, мгновенно став некрасивой и постарев на вид лет на пять-семь. Она вытянула шею в сторону Арыслана так, что, казалось, еще немного — и оборвется; сама без конца повторяла только одно: «Наглец! Наглец! Наглец!» Ее слова на высокой ноте врезались в гомон низких мужских голосов, и создавалась невообразимая какофония. Подумав об этом, Арыслан чуть не рассмеялся, но сумел-таки вовремя сдержаться и лишь слегка улыбнулся снисходительно. Наблюдавший за всеми Шибаев понял, что цель не достигнута: они не смогли пронять этого щелкопера, и он, конечно, не согласится на признание своей вины и соответственно на опровержение в газете. Редактор же при телефонном разговоре не согласился сделать это от имени газеты, без ссылки на ошибку автора. Оно и понятно: в таком случае виноватым оказался бы прежде всего он сам... Шибаев шлепнул широкой и толстой ладонью об стол:

— Хватит! Замолчите все!

Сразу стало тихо, как на кладбище. Какие все-таки бывают удивительно послушные люди. Роботы да и только!

— Мы сейчас вот что сделаем,— сказал Шибаев и толстым телом медленно повернулся к переговорным устройствам со множеством кнопок и лампочек, нажал на некоторые из них.

— Слушаю. Зам. прокурора республики Тыхтаман,— раздался голос из динамика.

— Здравствуйте, Феофан Петрович!— поприветствовал его Шибаев.

— Добрый день, Илларион Иваныч!— узнал его сразу Тыхтаман.— Слушаю вас.

— Дело вот какое, Феофан Петрович,— начал объяснять Шибаев.— Возник спор между дирекцией объединения «Объектив» и одним фотографом. Уже и суд был и так далее...

— Знаю,— сказал Тыхтаман.— В курсе дела.

— Так вот, в это дело вмешалась пресса. Вернее, один автор. Защищает фотографа. Мы утром позвонили в айдаровскую прокуратуру. Прокурор тоже вроде бы несколько сомневается в правоте дирекции...

«Сдержал Вашуров свое слово»,— удовлетворенно подумал Арыслан.

— Не может быть!— удивился Тыхтаман.— Я же ему дал строгое...

— Подождите, я доскажу,— прервал его Шибаев, тут же намекнул на что-то:— И притом я в кабинете не один... Так вот, я вас очень прошу, Феофан Петрович, не сочтите за труд, возьмите это дело в свои руки и разберитесь, пожалуйста, еще раз во всем. Тщательно и объективно! Нам надо точно установить истину с тем, чтобы затем спросить с виновных по всей строгости.

— Хорошо!— согласился голос Тыхтамана.— Я все понял, Илларион Иваныч.

Шибаев снова повернулся ко всем, многозначительно оглядел каждого, в том числе и Арыслана, легонько шлепнул ладошкой по лаковому покрытию стола:

— Вот так, товарищи. Пока отложим решение вопроса. А там кому-то придется отвечать все равно. И на полную катушку...

Слова вроде бы сказаны принципиальные, правильные, но тон, с каким они произносились, не оставлял никаких сомнений: все это не в пользу Арыслана и Василькова. Вид Стеклова с Зубовой тоже подтверждал это. Они хотя и выражали некоторое разочарование (похоже, ожидали, что Шибаев сразу поставит «писателишку» на место), но на прощание посмотрели Арыслану в глаза бодро и чуть насмешливо.

После беседы в обкоме настроение у Бориса Викторовича оказалось на грани разочарования. Только вот вопрос: разочарования в ком или в чем? В Шибаеве? В обко-

ме партии? В жизни? Впрочем, зачем после каждого случая философствовать, делать выводы? Так ведь можно вообще свихнуться...

Думая так, Арыслан зашел в скверик перед зданием обкома, выбрав уголок поотдаленнее, сел на аккуратно выкрашенную в несколько красок скамейку. Надо было успокоиться, привести в порядок нервы.

Здесь всегда тихо. Шум суетливой улицы сюда почти не доходит. Не слышно ни детских голосов, поскольку кругом одни административные здания, ни птичьего щебета: или они осенью перестали петь, или не обживают эти низкие, обстриженные под одну прическу липы. Честно говоря, такая городская аккуратность деревьев и кустарников, строгоузорчатых цветочных клумб не по душе Арыслану. Не из-за того, что они некрасивы. Наоборот, они, наверное, выращены, подстрижены и обработаны по всем законам искусства. Но во всякой подобной искусственной красоте Борис Викторович чувствует какую-то рамочную и даже временную ограниченность. А разве может быть ограниченным прекрасное? Разве нужно ограничивать чувства, которые выражаются через него? И разве хорошо жить в пусть прекрасном, но обрамленном мире?

Стоп! Стоп! Стоп!.. Опять мысли побежали не в том направлении. Сейчас надо просто сидеть и ни о чем не думать. Просто закрыть глаза, благо в кармане пиджака оказались защитные очки, и сидеть, дыша носом глубоко, чтобы в легких не осталось ни одного уголочка, не охваченного свежей струей кислорода...

Все же о масштабах возможных последствий происшедшего он понял лишь поздно вечером, когда ему кое-что растолковал Инжеватов. Солбон Арданович позвонил вроде бы просто так и, поговорив о том о сем, как бы между прочим спросил:

— Как пишется-можется после выхода на работу?

Вопрос прозвучал вполне искренне, Арыслан ответил на него так же.

— Какая уж тут писанина,— пожаловался он.— Ты же знаешь, в какую историю я влип в связи с похоронами. До сих пор нет никакого настроения.

— Однако на газетном поприще ты вполне преуспеваешь,— то ли серьезно, то ли с иронией заметил Инжеватов.— Такую статью накатал... Слушай, ты сам додумался до этого или тебя кто попросил?

Вопрос, вернее, тот в миг изменившийся тон, с каким он был задан, пришелся Арыслану не по душе. Все-таки

на каком основании Инжеватов взял на себя роль его учителя или наставника? Кто дал ему такое право? Но Арыслан, как любой истинный вакхалыхин, редко показывал людям свое неудовольствие, почти никогда не повышал голоса, по крайней мере по таким пустякам.

— Видишь ли, Солбон,— спокойно объяснил он,— в статье речь идет о друге моего отца. О фронтовом йолташе, который в свое время спас ему жизнь.

— ... если так...— замялся Инжеватов.— Я, конечно, понимаю, чувство долга и все такое... Однако, я слышал, сегодня тебя вызывал Шибаев?

— Да, было такое дело,— неохотно подтвердил Арыслан.

— А это значит, он недоволен статьей,— начал анализировать Инжеватов.— Сам по себе отдел торговли, конечно, писателю не указ. Тем более, надеюсь, ты написал стопроцентную правду. Но дело в том, что наш куратор, секретарь по идеологии Асырханова — воспитанница Шибаева. Будучи в каком-то районе первым секретарем райкома партии, он в свое время взял Асырханову в райком комсомола. Конечно, у той свой калган неплохо варит. Кончила она затем ВПШ, проработала первым в районе, опять училась в Академии общественных наук, после чего и стала секретарем обкома... Но на первую ступеньку эскалатора карьеры ее поставил все-таки Шибаев... Понимаешь, к чему речь веду?

— Что-то смутновато,— честно признался Арыслан. Анализировать такие комбинации он, действительно, умел плохо. Как любой честный человек, строящий или пытающийся строить свою карьеру исключительно на добросовестном труде, он не очень тонко знал искусство мытья руки рукой.

— А к тому,— с пониманием своего превосходства, оттого с удовольствием объяснил Инжеватов,— что у функционеров такие долги не забываются. Коли Шибаев что-то попросит у Асырхановой, та вряд ли откажет ему. Если, конечно, исполнение просьбы не выйдет боком себе. В данном случае как раз это не грозит.

— А что у нее, у Асырхановой, своей головы, что ли, нет?— не захотел согласиться с таким утверждением Арыслан.

— Хе, голова, конечно, есть. Но совесть тоже немного имеется. Да ты что, не веришь мне?—искренне удивился Инжеватов.— Тогда подумай-ка, светлая твоя голова, как это уважаемый товарищ Шибаев в течение многих лет не

мог подняться выше секретаря сельского райкома партии, лишь кочевал из одного района в другой по горизонтали, и вдруг недавно, на склоне пенсионных лет, оказался в аппарате обкома? А потому это произошло, дорогой Борис, что незадолго до этого секретарем и членом бюро обкома стала молодая, энергичная, растущая Асырханова.

Что ж, возможно и так... По крайней мере по временным факторам, действительно, здесь многое совпадает. Но зачем все это говорится Арыслану?

— А затем,— объяснил Инжеватов.— Ты, Борис, должен знать: Шибаев за бытовиков будет горой стоять. Это все равно, что осиное гнездо разворошить: жала всех растревоженных ос воткнутся в тебя. Я лишь коротко объясню кое-что... Директора объединения «Вакхалыхобувьбыт» знаешь? Личный выдвиженец Шибаева. Был когда-то директором КБО. За махинации и присвоения отсидел несколько лет. Понимаешь? Отсидел! Тем не менее при помощи Шибаева в районе снова вступил в партию и стал руководителем республиканского масштаба...

Вот так новость! Разве можно уголовника принимать в партию? Мало того, выдвигать в крупные руководители? И кто это допускает? Первый секретарь райкома партии! Который в свою очередь выдвинут в обком... При всем своем немалом жизненном опыте Арыслан все еще верил не в святость, так по крайней мере в относительную порядочность руководителей столь высокого ранга. А на деле... Но зачем же они так поступают?

— Зачем?— ответил всезнающий Инжеватов.— Это они только сами знают. Или еще небольшой узкий круг людей. Во всяком случае, за так на подобное рисковое выдвижение никто не пойдет... Но ты еще не знаешь другого. Этот самый директор недавно сотрудниками ОБХСС был изобличен в крупнейшей афере. Он доставал для объединения кожу и раздавал ее своим людям. Те шили кожаные пиджаки, куртки, пальто и реализовывали. Конечно, не через официальные каналы. Но дело тут же прикрыли. Оказалось, часть кожаных пальто доставалась работникам... республиканских органов. В том числе и прокуратуры. Разумеется, по оптовым ценам. То есть обходилось им каждое на несколько сот рублей дешевле, чем в магазинах... Теперь чувствуешь, что за клубок тут сплелся?

— Разве... могут работники прокуратуры пойти на такое?— совсем уже растерялся Арыслан.— Они же — стражи закона!

— Э-э, дорогой, все мы люди, все человеки. Все хотят

жить. И еще неизвестно, кто больше нарушает законы: мы, рядовые граждане, или стражи этого самого закона. Но это особый разговор. Я же тебе хочу одно сказать. Не только директор «Вакхалыхобувьбыта», все основные руководители торговли и быта подбирались отделом обкома совместно с министерствами. Если прямо сказать — Шибаевым и министрами. Так что все они звенья одной цепи. Понимаешь? И тебе одному не разорвать ее. Только себе дороже выйдет. Вот я и советую: хорошо, пусть разок ты и сглупил с этой статьей. Но больше не смей повторять этого. Перед отцом ты сыновний долг выполнил. Теперь о себе подумай. О семье своей. Ничего с этим фотографом не случится, если он и заплатит государству немного. Государству же. В конце концов его сверстники не такие несправедливости терпели. Многие ни за что жизни отдавали. Да и наше поколение терпит не меньше.

— Солбон, как ты можешь!— возмущенно воскликнул Арыслан.— Это просто бесчеловечно!

— Да, бесчеловечно,— тут же подхватил Инжеватов.— Но не с моей стороны. Я просто любя вдалбливаю тебе в голову то, что сегодня известно каждому школьнику. Да и тебе самому, наверное. Только ты принципиально не хочешь этого видеть. Ах-ах, позвольте отвернуться от этой навозной кучи! Она шибко вонюча, к тому же неприглядна... Конечно, так легче жить. Но не лучше, имей это в виду. Лучше живут те, кто видит все и приспосабливается ко всему.

Вероятно, Инжеватов был сегодня в ударе. Или даже пропустил рюмочку-другую перед ужином. Это у него вошло в привычку, и он от нее не собирался отказываться. Поэтому больше не следовало с ним спорить. К тому же и разговор явно затянулся. Арыслан терпеть не может телефонной трепотни, его всегда начинает возмущать, когда Тертту, Вероника или Владик болтают в трубку по четверть часа и больше. Но два момента очень заинтриговали Бориса Викторовича, и он не удержался, спросил:

— Хорошо, Солбон, я учту твое предупреждение. Спасибо за это. И все-таки скажи, пожалуйста: откуда ты знаешь такие подробности? Зачем они тебе? И почему так сильно печешься о моем благополучии?

— Охотно отвечу,— похоже, улыбнулся Инжеватов.— Откуда — не скажу, секрет фирмы. Зачем? Затем, чтобы держать их в кулаке. Ты думаешь, почему они мне всегда помогают? Потому что я знаю все их грехи и грешки. А их у них у каждого — ой-ой-ой... А о твоем благополучии

пекусь потому, что у тебя нет известных мне грехов, и влиять на тебя, добиваться твоего расположения я могу лишь искренней дружбой. К тому же мне хочется, чтобы среди китов, руководящих литературой республики, появился хоть один порядочный человек...

«Да, все-таки Солбон, похоже, выпил изрядно,— подумал Арыслан, попрощавшись с ним и кладя трубку.— Иначе бы он на такие темы вообще не стал говорить по телефону, а тем более так не разоткровенничался бы». Вообще, единственной слабостью Инжеватова была рюмка. Под хмельком он мог донага раздеть свою душу и предстать перед всеми в насквозь просвеченном виде. После такого откровения многие начинали сторониться его. Впрочем, Тертту Ульясовна как-то заметила, что Инжеватов на самом деле и пьяный не теряет головы. А раскрывает тайны свои намеренно, чтобы всех держать в опаске перед ним, чтобы никто не смел встать ему поперек дороги. Тертту Ульясовна — чуткая душа, такие вещи видит зорче Бориса Викторовича.

Уже лежа в постели, Арыслан все раздумывал над словами Инжеватова. В общем-то он, конечно, и сам далеко не мальчик и прекрасно понимает, что на свете просто нет кристально чистых людей. Если бы и были такие, они бы стали ангелами и улетели бы на небеса. И все же так обнаженно увидеть весьма неприглядную теневую сторону жизни людей, перед которыми ты вроде бы должен преклоняться за их чистоту, порядочность и примерность, было неприятно. Становилось стыдно и обидно. За них... Ну а что же сам Арыслан? Инжеватов сказал, что грехи ему неизвестны...

Поневоле вспомнилось, как появилась статья в газете, из-за чего и возник весь этот сыр-бор. Перед глазами всплыла недавняя жизнь в Хыркасах: беседы с родителями, встречи с Илемби, с Васильковым, с Шакуровым... Нет, ошибается Инжеватов, еще как ошибается. Есть грехи и у Арыслана. Пусть, на первый взгляд, совсем крохотные по сравнению с поступками тех, кого сегодня обсуждали с Солбоном, но они тоже, возможно, не меньше повлияли на судьбу человека. На судьбу Илемби, например...

Он снова увидел ее, такую простую, деревенскую, но уже недоступную, оттого возвышенную, чистую. И настрадалась же она в жизни! Из-за кого, собственно?

Часы давно уже прокуковали полночь. Откуда-то с гуляния вернулась Вероника. Она, похоже, развод с Владиком считала уже делом решеным... Потом в комнату заг-

лянула Тертту, постояла в нерешительности и ушла, не прикрыв дверь. Борис Викторович сделал вид, что спит беспробудным сном, для пущей убедительности даже всхрапнул разок. В эти минуты ему не хотелось не то что видеть, даже чувствовать ее запаха. Присутствие Тертту рядом казалось врыванием чего-то чужого, неуместного в чистом, светлом мире, сотканном из воспоминаний и никогда уже не осуществимых мечтаний... Вообще Арыслан раньше частенько создавал себе в воображении мир, где ему было хорошо. В том мире он ни в чем не нуждался, имел достаточно просторную квартиру с обязательным рабочим кабинетом, с хорошей изоляцией от шума, недалеко — гараж, конечно, с машиной и маленьким погребком, чтобы не покупать зимой в магазине промерзший картофель и прокисшую капусту. А иногда воображение действовало смелее, и тогда у Бориса Викторовича появлялся отдельный дом, опять-таки с непременным небольшим рабочим кабинетом, с баней и гаражом во дворе; само собой, при доме имелся небольшой садовый участок. Иногда в этот дом к нему по вечерам приходили друзья: художники, музыканты, артисты, писатели — человек пять-шесть, и Львовы без всякого риска не дотянуть до зарплаты угощали их чаем и бутербродами с любительской колбасой, а иногда и бокалом легкого сухого вина... Но когда как-то после очередного круиза по Европе Инжеватов рассказал ему, как на самом деле живут люди в других странах, Арыслан был страшно удивлен бедности своего писательского воображения. С тех пор он избегал жить в воображаемом мире, а если сугубо прозаические мечты все-таки начинали незаметно набрасывать свои невидимые сети, старался гнать их прочь.

Но сегодня Борис Викторович даже не помышлял мешать своему бесхозному воображению. Потому что сегодня ему было девятнадцать лет, и жил он в Хыркасах начала шестидесятых годов, где была также молодая Илемби и даже Тертту, тоже молодая; или нет: они, конечно, такие же молодые, но живут в Хыркасах сегодня. Правда, деревня нисколько не похожа на современную. Там не кирпичный Дом культуры, а небольшой деревянный клуб, в нем не дискотеки устраивают, а танцуют под баян; затем молодежь собирается еще на выю, и долго не смолкает над деревней веселый гомон счастливого смеха парней и девчат, заливистых переборов хрипловатой гармони, распевных вакхалыхских частушек.

Ах, если бы все это на самом деле было сейчас! Или

если бы он был снова тогда, но с этой, нынешней башкой!

Он бы как только услышал первые аккорды баяна слепого Палли, тут же пригласил бы Илемби на полечку. И пусть бы она не танцевала так пушисто, как Тертту. Все равно Борис был бы счастлив. Потому что теперь-то он знает, как ей было не просто танцевать после того, как целый день с рассвета до заката солнца, не разгибая спины, полола свеклу, или поливала целый день махорку, таская воду на коромысле из речки, протекающей чуть ли не в полукилометре, или наравне с мужиками целый день косила траву, или, время от времени ломая застывающую в сгибе поясницу, орудовала на ржаном поле серпом под беспощадно палящим солнцем. И все же выходила в круг наравне с Тертту, потому что была счастлива находиться рядом с ним, с Борисом.

Он бы и на вые в хороводе пел рядом с Илемби, нежно пожимая ее молодую горячую руку с рано огрубевшей от работы кожей. А потом, когда они с подругой возвращались домой, бережно распевая задушевную вакхалыхскую песню, не плелся бы сзади, с нетерпением дожидаясь ухода третьей лишней, а старался бы им подпевать, как иногда подпевает скворец паре ласточек. А когда они остались бы вдвоем, он бы нежно-нежно обнял ее и привлек к себе, прикрывая ее спину своим пиджаком от опускающейся ночной сырости, обнял, ни на секунду не забывая о вакхалыхских обычаях, согласно которым он после этого становился ответственным за всю ее дальнейшую судьбу. И в тот злополучный вечер, когда загорелся дом ее соседей, он был бы, конечно, рядом с ней. И не она, а он вытаскивал бы малышей из всепожирающего огня... Но даже если бы все произошло так, как оно и было, он, конечно, даже в мыслях не посмел бы подтрунивать над ее лицом с обожженной кожей.

Ах, если бы сейчас! Если бы сейчас!

Пусть он окончил институт ли, аспирантуру ли, а корни все равно пустил бы в Хыркасах, работал в школе, продолжая дело отца. И он мог бы с гордостью заявить, что романов не писал, зато воспитал сотни молодых, достойных Родине людей. А может, одновременно и роман создал, почему бы и нет? Но писал бы о Василькове, об отце с мачехой, о Шакурове с его конфликтами с Ишуткиным, о всех тех, кого хорошо знал лично и любил, уважал, понимал. А что с Тертту? С ней бы он тоже дружил. По-товарищески. Может, дружил бы по сей день.

Но не сложить из расколотых полешек зеленеющую бе-

резу, не поставить сегодня позади вчера, и даже краской не закрасить с корня седеющие волосы.

Однако давайте, дорогой читатель, снова вспомнив, что все это происходило задолго до того момента, с которого мы начали свое повествование, вернемся к дням менее далеким.

ВОЗМОЖНО, ЭТО БЫЛО НЕ ТАК

Понимая всю условность этой главы по причине, указанной в начале романа, предлагаем два варианта. Пусть читатель поверит в тот, который ему покажется более достоверным

Вариант первый

Из Москвы Важаватов вернулся поздно: скорый поезд, по расписанию обязанный дойти до Башколы за шестнадцать часов, пробыл в пути на два часа больше. Самое обидное то, что эти два часа он потерял в своей республике, на подходе к Башколе. Оказывается, пути так запущены, что по ним с черепашьей скоростью передвигаться и то опасно. Миклаю Абдуловичу хотелось сразу же по приезде всыпать как следует железнодорожному начальству за такое безобразие, но он вспомнил, о каких крупных перестройках шла речь на совещании в Кремле, и понял, как это было бы глупо — латать Тришкин кафтан. Надо менять всю экономику республики, а не налегать, как прежде, надрывая силы, сегодня на железную дорогу, завтра — на сельское хозяйство, послезавтра — на строительство, затем — на промышленность, торговлю...— и так до бесконечности, повторяя круг за кругом. Порочный круг, порочный стиль работы... Это, как и многие партийные работники, Важаватов понимал давно. Потому что уже много лет экономика страны напоминает снежный ком, который накатывают ребятишки. Он, конечно, рос, но только по объему, количественно, не превращаясь при этом в ничего более качественное. А это было чревато большими неприятными последствиями. Ведь снежный ком, дойдя до каких-то определенных размеров, может просто-напросто развалиться сам по себе, поскольку нет у него внутренней сцепки, способной удержать в одном целом столь большую рыхлую массу.

Конечно, со многими положениями, высказанными на совещании, Важаватов не согласен. Потому как перестройка — хотя и говорится, что является по существу революцией, но не в том же смысле этого слова, чтобы все ломать и на обломках построить нечто совершенно новое. Впрочем, проработавшего в комсомольских и партийных органах более трех десятков лет Важаватова это не очень волновало. По опыту он хорошо знал: вся эта крутость центра наматывается в тугую спираль для того, чтобы потом пружинила, подталкивала работников областного и краевого масштаба к напряженной организаторской работе как можно дольше. То же самое будет делать и он, немедленно собрав в Башколе партийно-хозяйственный актив республики. И так вроде бы энергия верхов должна по цепочке передаваться в низы, заряжая их на более плодотворную работу, нацеливая на достижение намеченного центром. И пути к ним будто бы определены верные, очень верные. Но на самом деле от этих высоких устремлений до их заземления — дистанция огромного размера, а многие желания так и останутся благими намерениями. Жизнь есть жизнь, она сама отфильтровывает реальное от утопии. Это доказывается самой историей. Строго говоря, пока в стране не было еще ни одного случая, чтобы более или менее значимые планы претворялись бы так, как планировались первоначально.

Больше всего не нравился Важаватову в системе перестройки нажим на демократию, особенно попытка изменить принципы работы с кадрами. Как будто, например, он, первый секретарь Вакхалыхского обкома партии, до этого был против демократии. Может быть, где-то кто-то из его коллег и чувствовал или чувствует себя удельным князьком, но нельзя же на этой основе делать выводы о всей системе. Нет, Важаватов никогда не чувствовал себя царским наместником, с людьми всегда старался быть справедливым, хотя никогда не сюсюкал с ними, был тверд, иногда, может быть, и крутоват. И подбирал в аппарат обкома, в руководящие органы республики, городов и районов только таких людей, которые чем-то были похожи на него самого. Конечно, не внешностью, а по деловым качествам. Наверное, не всех он видел насквозь, в некоторых, возможно, и ошибся малость, не без этого. Но в целом уверен: выдвинутые им люди с делами справляются, к тому же среди них, просто говоря, явных негодяев нет. И что же, многих из них он теперь должен менять в угоду новым поветриям? Именно к этому можно прийти, если

начать заигрывать с трудовыми коллективами, пустить, скажем, выборы руководящих органов партийных организаций, Советов на самотек. У настоящих — твердых, принципиальных — руководителей, естественно, со временем набирается целая обойма противников, которые в подходящей обстановке начинают стрелять. Потому что такие руководители постоянно «обижают» бездарей, лодырей, прогульщиков, пьяниц, рвачей, несунов. Естественно, «обиженные», дай им волю, поднимут хай против начальства, не боясь надорвать глотки. Не-ет, в этом деле надо быть предельно осторожным. Растерять, расшвырять опытные кадры проще всего, а попробуй потом их вырастить. Конечно, раз положено, в Вакхалыхин тоже будут и несколько кандидатов на пост руководителя, и выборы по-новому, и гласность в печати. Отдушину время от времени надо делать, чтобы выпустить лишний пар, с этим Важаватов согласен. Но на самотек это дело нельзя пускать ни в коем случае.

Все так. Но как это дать знать активу? Не скажешь же прямо так во всеуслышание... Надо сделать такой доклад, прочитав который в газете, люди сразу бы почувствовали его созвучность с решениями последних пленумов ЦК партии, а руководящий актив между строк все же прочитал мысли и указания первого секретаря обкома о том, что из сказанного следует претворять в жизнь на самом деле. Или, скажем, претворять в первую очередь...

Об этом и думал Важаватов в те лишние два часа, которые вынужденно провел в пути по вине нерасторопных железнодорожников. Потому, сойдя с поезда, наскоро поздоровался с вышедшими встречать его председателями Президиума Верховного Совета, Совета Министров, секретарями обкома, на ходу порасспросил у них о главных событиях, происшедших за эти дни, и сразу, несмотря на позднее время, направился в обком. Почему-то работа у него лучше шла в служебном кабинете, чем дома. Пока свежи были мысли, Важаватов хотел быстренько набросать тезисы доклада на собрании партийно-хозяйственного актива, чтоб отделы завтра же начали начинять его «мясом», то есть конкретными фактами и суждениями.

Важаватов стремительно вошел в кабинет, на ходу скинув венгерское пальто и бросив его на спинку кресла, быстро подошел к рабочему столу, сел, разложил бумаги с записями, сделанными в Москве на совещании и почью в гостинице. Папки и стопки деловых документов, лежащие как попало, мешали, и он начал их перекладывать. В руки

попалось толстое письмо с прискрепленным внизу конвертом. Письмо, адресованное лично ему как депутату Верховного Совета СССР, члену ЦК КПСС, первому секретарю обкома партии... Оно лежит уже три недели. За это время Важаватов перекладывал его с места на место чуть ли не через день, каждый раз давая себе обещание прочесть при первом же удобном случае. А ведь человеку, этому Арыслану, надо дать ответ. Может, все-таки прочитать его сегодня? Раз уж задержался на несколько часов, двадцать минут не решают...

Набросав за полчаса тезисы деловой части доклада, Важаватов вышел из-за стола, подошел к окну, включил кондиционер. Глядя на вечернюю площадь перед зданием обкома, на суетливо торопящихся куда-то — вероятно, домой — женщин с авоськами, на не спеша прогуливающихся в обнимку молодых пар, на троллейбусы и автобусы, то и дело останавливающиеся, подмигивая правыми подфарниками, на противоположной стороне, затем, подмигивая уже левыми подфарниками, лениво трогающиеся с места, он под тихий шум импортных вентиляторов еще раз проанализировал свои тезисы, не найдя в них недостатков, удовлетворенно хмыкнул и снова подошел к столу, сел за него. Раньше Важаватов просматривал письма и деловые бумаги в кресле. Но месяца два назад всю обстановку в кабинете обновили, сменили заодно и отечественную мебель на импортную, финскую, и теперь даже читать за столом стало вроде бы удобнее, чем сидя в мягком кожаном кресле.

Важаватов решительно взял толстенное письмо и, водрузив на переносицу очки в гедеэровской оправе, стал читать.

«Это письмо — в защиту пенсионера, участника Великой Отечественной войны, над которым вот уже третий год глумятся зав. отделом торговли и бытового обслуживания ОК КПСС И. И. Шибаев, министр бытового обслуживания В. Ф. Стеклов, зам. прокурора республики Ф. П. Тыхтаман».

Как и при первом ознакомлении с этими строками, перед глазами на мгновение сами собой возникли образы добродушного толстяка Шибаева, молодого и энергичного Стеклова, пожилого, «вот-вот на пенсию», строгого и делового Тыхтамана. Ну-ну, посмотрим, как это они глумятся над пенсионером, участником войны... Или этот писатель из-за своей сердобольности и впечатлительности введен в большое заблуждение, или в нем сильно ошибается Асыр-

ханова, принимая его за честного и порядочного человека, достойного к выдвижению.

Но чем больше читал Важаватов письмо, тем суровее становилось его лицо, на щеках заиграли желваки, что случалось с ним крайне редко, лишь в моменты сильного раздражения. А место, где Арыслан охарактеризовал Шибаева, Стеклова, Тыхтамана и Зубову, он просмотрел даже два раза.

«А кто же они сами, эти радетели за «государственные интересы»?

Недавно я узнал, что по настоянию тов. Шибаева года два назад снова принят в партию человек, лишь незадолго до этого вышедший из мест не столь отдаленных, где отсидел срок за мошенничество и присвоение государственного имущества. Видимо, тов. Шибаев посчитал его настолько очистившимся, что не только принял в святые ряды борцов за коммунизм, а и доверил ему впоследствии руководящую должность директора объединения «Вакхалыхобувьбыт»... Наверное, такая новость может удивить многих, если они ее узнают, но, думаю, не работников республиканской газеты, где мне когда-то пришлось работать. Помнится, из Айдаровского района, где тов. Шибаев был тогда первым секретарем райкома партии, приходило много жалоб трудящихся. По некоторым из них газета даже выступала. Но ответы райкома на эти жалобы и выступления, подписанные первым секретарем, никогда не отличались деловитостью, стремлением способствовать торжеству правды и справедливости...»

Хм... Вот ведь как. Выходит, Асырханова была слепа, принимая Шибаева за истинного партийного работника? Она же настойчиво доказывала, что Илларион Иванович радеет прежде всего за дело, потому и не сделал больших успехов по линии карьеры. Ведь именно по предложению и настоянию Валентины Абрамовны был выдвинут Шибаев на должность заведующего отделом. Однако вряд ли Асырханова могла ошибиться. Не зря же фамилия у нее такая — в переводе на русский звучит как Осторожнова... Да и сам Важаватов относится к Иллариону Ивановичу весьма уважительно. Иначе и быть не могло. Районы, которые он возглавлял, если и не были передовыми, во всяком случае прочно держались в золотой середине. И что же, выходит, секретари, члены бюро обкома не знали истинного лица Шибаева? А вот какой-то писатель, никогда близко не приближавшийся к партийной работе, взял и раскрыл его? Чепуха какая-то... Однако факт принятия в

партию бывшего уголовника... Неужели такое могло быть? Неужели этот директор объединения когда-то сидел в заключении?.. Руководители предприятий Министерства бытового обслуживания населения не входят в номенклатуру обкома и, конечно, этот незадачливый директор не утверждался на бюро, потому Важаватов о нем практически ничего не знал. Может, и в партию того приняли случайно? Что скрывать, орготделы райкомов частенько изучают кандидатов в члены партии весьма поверхностно. Так что, возможно, Шибаев тут ни при чем? По крайней мере, хотелось так думать. Хотя, конечно, первый секретарь все равно за все в ответе...

Ну, да ладно. А какие грехи сотворили другие участники «глумления» над несчастным фотографом?

«С заместителем прокурора республики Ф. П. Тыхтаманом мне впервые пришлось столкнуться года четыре назад. Тогда обвинялся в целом ряде преступлений главврач санэпидстанции одного из районов. В частности, в попытке к изнасилованию, спекуляции, присвоении государственных средств, злоупотреблениях служебным положением и финансовых нарушениях. Но зло так и не было должным образом наказано. Мне тогда пришлось выступить по этому поводу с фельетоном в газете. И это не помогло. Ограничились тем, что преступник отсидел четыре месяца в камере предварительного заключения, а также исключен из партии и снят с должности... Только недавно случайно узнал, что спасение преступника от справедливой кары организовано Ф. П. Тыхтаманом.

Признаться, весьма трудно понять: как это человек, призванный стоять на страже закона, защищает преступника? Можно подумать, это ошибка, случайность. Тогда как быть с делом директора швейной фабрики, присвоившего десятки тысяч рублей государственных денег? Следствие по нему вели долго, до тех пор, пока не подвели преступника... к амнистии. Опять все делалось под руководством зам. прокурора республики... И вот теперь третий мне известный случай. Правда, на этот раз Тыхтаман поступает наоборот: честного человека превращает в преступника. Но суть его действий одна: беззаконие...»

Да, это нашумевшее дело о главвраче помнит и Важаватов. Как ему доложили тогда, к настоящим ошибкам руководителя райсанэпидстанции приплели множество других несуразиц. И это вполне могло быть. Желающих отомстить ему за всякие запреты, ограничения и штрафы, естественно, было полно... А разве это мало — исключить

человека из партии, снять с должности, продержать в камере целых четыре месяца? Что касается этого жулика, директора швейной фабрики, не специально же для него объявили амнистию. Она приурочена к праздничной дате.

«В отношении министра В. Ф. Стеклова я ничего не могу сказать. При встрече с ним в отделе торговли обкома партии я понял лишь одно: он почему-то даже словом не осмеливается перечить своей подопечной — директору объединения «Объектив» Зубовой.

А что касается зачинателя всей этой неприглядной истории тов. Зубовой...»

Ну, это второй раз можно и не перечитывать. Это лицо Важаватова не интересует.

Миклай Абдулович встал, походил по кабинету, размышляя о прочитанном. Да, похоже, зря он потратил столько времени на это письмо, не доверившись своему помощнику. Возможно, кое-что там и правда. Однако в целом оно если и не клеветническое, так наверняка необъективное. Чувствуется, много в нем прибавлено со слов фотографа и его друзей лишь на веру. Иные обвинения, возможно, являются, мягко говоря, отражением недовольства результатами прежних столкновений автора с Шибаевым и Тыхтаманом. А это уже нехорошо. Не ошибается ли Асырханова в Арыслане, предполагая доверить ему журнал? По крайней мере, если и нет в его письме злонамеренности, так способности мыслить объективно тоже кот наплакал. Иначе должен же был он увидеть за частоколом обвинений истинные причины, побуждающие иных нечистоплотных людей к нападкам на руководителей.

Что касается отдельных недостатков и нарушений процессуального порядка, с ними, конечно, надо разобраться...

Придя к такому выводу, Важаватов подошел к столу, взял ручку и стоя написал резолюцию: «В отдел адм. органов. Разобраться и дать автору ответ по существу». Как всегда, размашисто и уверенно расписался.

Жалея потерянное зря время, которого сегодня накопилось предостаточно, Важаватов поднял трубку телефона, нажал на клавишу с заранее набранным номером дежурного диспетчера гаража, вызвал автомобиль. Через пять минут ему доложили, что машина подана. Важаватов, на ходу одевая пальто, заспешил вниз, к служебному выходу.

Вариант второй

Странный какой-то сегодня был день. С утра все ладилось. Принесли статистическую сводку по итогам первого квартала. Важаватов очень беспокоился, что промышленность и особенно транспорт республики на фоне других автономных республик и областей региона будут выглядеть хуже. Зима нынче была очень суровой, будто обозлилась за что-то на людей. В марте к тому же надолго завьюжило и циклон (или антициклон — пойми этих синоптиков!), вызвавший ненастную погоду, ушел в сторону лишь неделю назад, когда уже окончательно выдохся. Но, видно, такая же участь постигла и соседей. По крайней мере Вакхалыхская АССР хоть и не выполнила планы по основным показателям, но по многим пунктам выглядела не только наравне, но даже предпочтительнее других. Это приподняло дух: значит, роль громоотвода на этот раз достанется другим.

А затем еще до обеда из Москвы позвонил давний товарищ, выдвиженец из Вакхалыхии. Он достоверно сообщил, что Важаватов в связи с семидесятилетием представлен к ордену Ленина. Это означало, что Миклая Абдуловича еще не собираются списывать. При нынешней тенденции к омолаживанию руководящих кадров даже на уровне секретарей обкома перспектива так называемого заслуженного отдыха может возникнуть перед любым, если ему скоро семьдесят. Это ведь раньше говорили, что семьдесят лет для руководителя — пора расцвета... Важаватов в общем-то не очень переживал, что вот его отправят на пенсию, и он тут же окажется на положении рядового человека. Все основные руководители в республике и в районах подобраны и выдвинуты им лично, многим ему обязаны. В случае чего они наверняка найдут для него подходящую авторитетную должность, да и привилегии оставят. Однако это все же неравнозначно тому, что ты сам всему голова. Конечно же, уверял себя в душе Важаватов, не это главное в его желании остаться на посту. Просто он чувствовал в себе еще много сил и нерастраченной энергии, которые в совокупности с его большим опытом могли приносить достойные плоды лишь на такой высокой должности. К тому же он буквально в последние годы очень много поработал с кадрами. По существу обновил почти весь аппарат обкома, многих деловых людей выдвинул министрами, лично подобрал почти всех руководящих работников для вновь созданного Агропрома, омолодил состав первых сек-

ретарей райкомов и председателей райисполкомов. Теперь как раз наступило время, когда следовало пожинать плоды этого огромного труда. Не Важаватову, конечно, а республике. Причем обновление как раз совпало с началом перестройки в стране. Этим же надо воспользоваться! У Вахалыхской республики сейчас имеются все возможности быть в авангарде новой кампании. Сам Важаватов душой и сердцем поддерживал идеи перестройки. Нужны обществу такие встряски время от времени, очень нужны! Ведь прошло более двадцати лет, как проводилась последняя экономическая реформа. Как любой механизм, экономический тоже за это время засорился, износился, устарел. Требуются чистка, смазка, замена многих частей... Правда, Важаватову не по душе перебарщивание с игрой в демократию. Он, конечно, понимал, что кое-где, возможно, и следует заниматься этим именно так, вплотную, но нельзя же ко всем областям и республикам подходить с одинаковой меркой. Где-то, видимо, на самом деле допускались всяческие искривления, злоупотребления властью, но в Вахалыхии этого быть не могло. Здесь строго чтились принципы демократии, соблюдалась законность. И если случается иногда что-то, выходящее за рамки, так ведь в семье не без урода. Нельзя из-за этого всех стричь под один гребешок. Ведь в целом руководящие кадры республики, районов и городов понимают его с полуслова, как говорится в народе, расшибутся, а сделают то, что требуется. Но разве обком будет требовать от них делать что-нибудь в ущерб стране? К тому же сейчас им дадут большую свободу, развяжут руки, так они теперь горы своротят, в новых-то условиях хозяйствования. Так что демократию, конечно, надо развивать, но и вожжи из рук выпускать нельзя. Иначе ее расширение обернется тормозом для истинно деловых руководителей, ослабит их силу. Поэтому Важаватов, конечно же, не будет превращать гласность и прочие новшества в модную игру. Руководитель только тогда руководитель, когда себя чувствует твердо и уверенно, когда его не может третировать всякий кому не лень. Настоящее же дело, в том числе и перестройка, пойдет лишь под руководством таких вот истинных вожаков.

Уже после обеда Шибаев доложил, что заказы супруги и дочери Важаватова исполнены. Что за заказы они там надавали, Важаватов сам не знал. Он не любил, когда супруга и особенно дочь пользовались привилегиями семьи первого секретаря. Но жена — это не зав. отделом обкома, ее повышением голоса не устрашишь, а подчинить вообще

невозможно. Поневоле приходится мириться с услугами близких людей, чтобы удовлетворить требования дражайшей половины и дочери. Главное при этом, чтобы имя самого Миклая Абдуловича нигде не фигурировало. Впрочем, это не составляет особого труда. Да и моральных издержек вроде бы никаких нет. Никто же в городе не знает, для кого конкретно делает заказы Шибаев. Сам-то Важаватов даже в спецмагазин для обкомовских работников никогда не заходил... И все же звонок Шибаева был неприятен. Но внутреннее недовольство лучше оставить при себе. Давно известно: мирная обстановка в семье — половина успеха руководящего работника даже самого высокого ранга.

За день, разумеется, пришлось заниматься множеством важных и, чего скрывать, не очень важных дел. И, надо же, все получалось легко, свободно, непринужденно. Лишь один вопрос остался не решенным до конца. Приходила Асырханова с предложениями об изменениях в составе идеологических кадров. Из-за нескончаемого потока жалоб она решила отправить на пенсию директора книжного издательства, на его место поставить главного редактора одного из литературных журналов, а на место последнего выдвинуть литконсультанта правления Союза писателей Арыслана. Обычно Важаватов никогда не возражал Асырхановой в кадровых вопросах. Наоборот, зная, что она прекрасно разбирается в людях, частенько советовался с нею даже тогда, когда приходилось выбирать руководителей совсем для других отраслей. Только в прошлом году они таким образом подобрали заведующих отделами административных органов, торговли и бытового обслуживания Тулупова и Шибаева. Первый до этого работал заместителем председателя Верховного Суда, второй — первым секретарем Айдаровского райкома партии. И оба вполне удачно вписались в аппарат обкома... Но на этот раз Важаватов попросил пока не вызывать на собеседование Арыслана, чем поверг в некоторое замешательство Асырханову.

— Ты, Валентина Абрамовна, не волнуйся,— успокоил ее тут же Важаватов.— Просто Арыслан написал мне письмо в защиту одного человека. Понимаете, сам факт, что он заступился за другого, уже говорит о его порядочности. Таких людей в наше время не так уж много. Но я все-таки вначале прочту его письмо, постараюсь понять мотивы его поступка поглубже, раз он сам предоставил такую возможность. А потом решим вопрос о его выдвижении.

И когда рабочий день кончился и работники обкома начали расходиться, Важаватов решил остаться, спешно довершить оставшиеся дела и прочитать-таки письмо Арыслана. К тому же пару дней назад всепомнящий помощник напомнил о нем, сказав, что через неделю с небольшим выйдет срок ответа на него. Срок, конечно, можно и продлить, а прочитать письмо все равно придется, раз уж оно оставлено для этого.

Часа через полтора он закончил все отмеченные в ежедневнике на сегодня дела, отпустил помощника и, постояв минут пять у окна, под струей свежего воздуха, поступающего из австрийского кондиционера, подошел снова к столу; перебрав две стопки бумаг, в третьей нашел наконец заждавшееся своей очереди толстое письмо с прикрепленным снизу конвертом. Взяв в руки, машинально покачал его, будто оценивая на вес, и, усевшись в мягкое гэдээровское кресло, стоящее у окна, рядом с журнальным столиком, начал читать.

«Это письмо — в защиту пенсионера, участника Великой Отечественной войны, над которым...» Этот абзац он уже читал. Так как же они глумятся вот уже третий год, эти Шибаев, Стеклов и Тыхтаман?

Как и при первом ознакомлении с этими строками письма, перед глазами сами собой на какое-то мгновение возникли образы добродушного толстяка Шибаева, молодого и энергичного Стеклова, пожилого («вот-вот на пенсию»), строгого и деловитого Тыхтамана. Естественно, Миклай Абдулович знал их.

Шибаев до прихода в обком руководил не одним районом. Конечно, районы эти никогда не были передовыми, но и в хвосте не плелись. К тому же Шибаева, как правило, направляли в отстающие, и поднимать их до уровня середняков уже был подвиг. Поэтому, когда Асырханова предложила перевести его в аппарат обкома («он же самый старый секретарь райкома, пора человека в республику выдвинуть»), Важаватов охотно согласился. Доверили ему отдел торговли и бытового обслуживания. Отдел вроде бы не ведущий, но довольно-таки сложный, там особенно требуется твердая рука. А Шибаеву, хотя он по характеру добродушный, ровный, спокойный человек, твердости, настойчивости и принципиальности не занимать.

Стеклову не было еще и сорока лет, когда его из замов поставили министром вместо допустившего большие промахи и потому ушедшего «по состоянию здоровья» предшественника. Поставили, правду сказать, с некоторыми

опасениями из-за его молодости. Вот уже больше трех лет он на этом посту. И, кажется, справляется с делами неплохо. Министерство ежегодно выполняет планы по всем основным показателям. В Вакхалыхию даже начали приезжать соседи за опытом по организации бытового обслуживания сельского населения. Честно говоря, качество обслуживания, конечно, оставляет желать лучшего, за это министерству достается на всех пленумах и собраниях партийно-хозяйственного актива. Но в душе Важаватов понимает, что качество — это всеобщий бич, потому повысить его, особенно в такой сложной сфере, как бытовое обслуживание, ох как непросто. Одним словом, в обкоме было мнение направить Стеклова на учебу в Академию общественных наук при ЦК КПСС. А к моменту завершения им учебы как раз должна освободиться должность одного из секретарей обкома. И вдруг такое обвинение...

А Тыхтаман? Вообще-то на него не первый раз жалуются. Что поделаешь, такая у него работа. Может, бывали и перегибы. В прошлом. А у кого их не было? Думается, и в дальнейшем будут. У тех, кто душой и сердцем болеет за наше общее дело. Если придерживаться всех законов, постановлений, инструкций, то жизнь вперед не двинешь даже на сантиметр. Потому что закон, инструкция и им подобные документы — это закрепление достигнутого. И только... Нет, конечно, Важаватов не сторонник того, чтобы нарушителям соцзаконности потакать. Как же можно! Это значило бы поддерживать прежде всего преступников. И все же он высказал себе в душе не алогизм. Потому что бывают нарушения закона, инструкции в целях созидания. В таких случаях иногда будет честнее, если закроешь глаза на это... Фу ты, к чему все это? Тут же речь не о таких вещах. Какого-то фотографа обидели... Если на самом деле так, надо полагать, не понарошке это сделано, а по ошибке или из-за поверхностного изучения дела.

Впрочем, что это он начал рассуждать. Надо сначала быстренько прочитать...

Важаватов, не без усилия воли заставляя себя, наконец, начал внимательно вчитываться в напечатанные на портативной машинке строки. По мере преодоления страницы за страницей он начинал верить автору письма. Арыслан вроде бы все излагал логично и объективно. В самом деле, могло такое быть. Работающего на дому фотографа никто не ознакомил с инструкцией. Когда начали его рассчитывать в связи с уходом на пенсию, вдруг обнаружили нарушение, спохватились, решили исправить упущение. Но чье

оно, это упущение? Получается, руководства. Виноватым хотят сделать фотографа. Министр, возможно, не совсем разобрался в существе дела, встал на сторону директора объединения. Отраслевой отдел обкома, конечно, поверил руководителям, зная их принципиальность... Но вот ведь какая штука: это дело проверяла прокуратура. Причем прокуратура республики, где собраны лучшие юристы. А суд подтвердил обоснованность иска. Судили фотографа по гражданскому делу, а не как уголовного преступника. Взыскали фактически всего-то часть переполученного, так сказать, чисто символически. Не понятно, чего же хочет тогда этот Арыслан?

Прочитано уже страниц шесть, а цель письма все еще не ясна. Может, автором движет вовсе не стремление защитить человека, а нечто другое, связанное, к примеру, с личными отношениями с кем-нибудь из названных лиц.

Возможно, вполне возможно. А вот вроде бы и объяснение началось:

«А кто же они сами, эти радетели за «государственные интересы?»

Недавно я узнал, что по настоянию тов. Шибаева года два назад снова принят в партию человек, лишь незадолго до этого вышедший из мест не столь отдаленных, где он отсидел срок за мошенничество и присвоение государственного имущества. Впрочем, тов. Шибаев посчитал его настолько очистившимся, что не только принял в святые ряды борцов за коммунизм, а и доверил ему впоследствии высокую руководящую должность директора объединения «Вакхалыхобувьбыт»...

Хм. Выходит, директор «Вакхалыхобувьбыта» — бывший уголовник? Конечно, не велика птица, в номенклатуру обкома не входит, но если написанное верно, факт этот не из приятных для Иллариона Ивановича. А значит, и для обкома в целом. Особенно в наше время, когда слова «демократия», «гласность», «социальная справедливость» не сходят даже с тех уст, которые их выговаривать-то путем еще не могут...

Ладно. Читаем дальше...

«...Наверное, такая новость может удивить многих, если они ее узнают, но, думаю, не работников республиканской газеты, где мне когда-то приходилось работать. Помнится, из Айдаровского района, где тов. Шибаев тогда был первым секретарем райкома партии, приходило много жалоб трудящихся. По некоторым из них газета даже выступала. Но ответы райкома на эти жалобы и выступ-

ления, подписанные первым секретарем, никогда не отличались деловитостью, стремлением способствовать торжеству правды и справедливости...»

Хм. Вот ведь как. Это что же, уважаемый товарищ писатель хочет убедить первого секретаря обкома партии, что он вообще не знает свои кадры? Получается так, что Шибаев, будучи секретарем райкома, не отличался деловитостью, стремлением способствовать торжеству правды и справедливости, а его тем временем выдвинули на более высокий пост... А ларчик, похоже, открывается просто. Наверное, предположение о личных конфликтных отношениях автора с кем-то из названных им лиц вполне правомерно. Видимо, этот «кто-то» и есть Илларион Иванович, а конфликт между ними, похоже, тянется с давних пор, еще со времен работы Арыслана в газете...

Ну да ладно. А какие грехи сотворили другие участники «глумления» над несчастным фотографом?

«С заместителем прокурора республики Ф. П. Тыхтаманом мне впервые пришлось столкнуться года четыре назад...»

«...Тогда обвинялся в целом ряде преступлений главврач санэпидстанции одного из районов. В частности, в попытке к изнасилованию, спекуляции, присвоении государственных средств, злоупотреблении служебным положением, в финансовых нарушениях. Но зло так и не было должным образом наказано. Мне тогда пришлось выступить по этому поводу с фельетоном в газете...»

Здесь все ясно. Ай да Арыслан, ай да сукин сын! За прошлые неудачи решил отомстить, используя хороший подвернувшийся случай.

«В отношении министра В. Ф. Стеклова я ничего не могу сказать. При встрече с ним в отделе торговли обкома партии я понял лишь одно: он почему-то даже словом не осмеливается перечить своей подопечной — директору объединения «Объектив» Зубовой».

Понятно. Со Стекловым ты, голубчик, не сталкивался, потому у тебя нет цели насолить ему. Но на всякий случай намекаешь, что он не самостоятельный, находится в какой-то зависимости от своей подчиненной. То-онкий намек...

«А что касается зачинателя всей этой неприглядной истории тов. Зубовой...»

Все! Хватит! Дальше можно не читать.

Важаватов встал, походил по кабинету, размышляя о прочитанном. Да, похоже, зря он потратил столько времени на это письмо, не доверившись своему помощнику.

Придя к такому выводу, Важаватов подошел к столу, взял ручку и стоя написал резолюцию: «В отдел адм. органов. Разобраться и дать автору ответ по существу». Как всегда, размашисто и уверенно расписался.

«Как бы ни было, пусть разберутся в кое-каких фактах,— подумал он.— На всякий случай. Кто поймет этих щелкоперов. Возьмет и стукнет куда повыше. Или вздумает выступить со статьей в печати. И не где-нибудь, а в Москве. А их слово, их мнение в центре почему-то высоко ценятся. Не понятно только, почему? Такой масштабный план по переброске северных вод на юг отменили из-за их брюзжания. Может, и правильно сделали, кто знает. Но при чем тут эти писаки? Есть ли среди них хоть один мелиоратор?.. Так что, как говорится, от греха подальше. Лучше заранее принять кое-какие превентивные меры по этому письму. Время сейчас такое, что лучше поменьше греметь на всю страну. Семьдесят лет все-таки на носу. Вот так прогремит Вакхалыхская АССР пару-другую раз, и сам загремишь на пенсию. Не спасет никакая правительственная награда...

А насчет выдвижения этого Арыслана главным редактором журнала надо крепко подумать. Нельзя, конечно, судить о человеке по какому-то одному факту. И все же Асырханова пусть не торопится с этим делом...

Жалея потерянное зря время, Важаватов нажал на клавишу с заранее набранным номером дежурного диспетчера гаража, вызвал автомобиль. Через пять минут ему доложили, что машина подана, и он, на ходу одевая пальто, заспешил вниз к служебному выходу.

ЧТО БЫЛО

Горе всегда неожиданно, даже если его ждешь.

По каким-то причинам, о которых трудно даже предположить при современной технике связи, телеграмма из Хыркасов в Башколу дошла лишь на второй день, и то поздно вечером. В ней было всего три слова. Три молоткастых, бьющих по голове слова: «Умер отец. Мама».

Арыслан как сел с этой бумагой в руке у двери, на подставку для обуви, так и сидел уже минут десять. Сидел, не шевелясь, не проронив ни звука, не замечая, что входная дверь после ухода разносчика телеграмм, принесшего эту недобрую весть, осталась открытой. Он знал, чувствовал, понимал: надо быстрее что-то делать, куда-то бежать,

чего-то добиться, достать. Но что, чего, куда — сообразить никак не мог.

— Боря! Закрой, пожалуйста, дверь. Сквозит же!

Это вышла Тертту Ульясовна с Натали на руках из детской комнаты. Увидев мужа, сидящего в неестественной позе, с отсутствующим взглядом, с какой-то казенной бумажкой в руках, она опустила внучку на пол, направив ее шлепком по заду обратно в комнату, к матери, неторопливо пройдя с высоко поднятой головой в бигудях, прикрыла дверь, щелкнув пружиной внутреннего замка, остановилась напротив мужа.

— Боря, что с тобой?

Голос ее не выражал пока ни удивления, ни испуга, ни озабоченности. Она взяла у все еще молчавшего Бориса Викторовича телеграмму, прочла, тяжко вздохнула, чуть приподняв правую руку, нерешительно погладила его по голове.

— Что ж поделаешь, годы берут свое,— сказала сочувственно. Тут же перешла на деловой тон: — А чего ты сидишь? Видишь дату, телеграмма-то еще вчера после обеда отправлена. Стало быть, по христианскому обычаю, завтра отца уже хоронить будут.

Борис Викторович вскочил, заметался по прихожей.

— Да-да-да, надо ехать. Надо сейчас же ехать!— приговаривал он про себя, однако все еще не зная за что браться. Затем остановился, несколько успокоившись, начал действовать более осмысленно: снял с шифоньера видавший виды дорожный чемодан, покидал туда белье, туалетные принадлежности, пачки бумаги — по привычке...

— Да, а что же брать отцу?— спохватился вдруг, уже сняв с вешалки плащ-пальто.— Не так же туда надо ехать... с пустыми руками. Ведь люди там завтра соберутся...

Он вошел в кухню, быстро обшарил буфет, холодильник. Кроме килограмма салистой свинины да небольшого куска полузасохшего сыра ничего существенного не обнаружилось. Что поделаешь, был конец октября, талоны на мясо давно кончились. Правда, уже выдали на ноябрь, и, если договориться с продавцами, в связи с особым случаем, возможно, их можно было бы отоварить. Но разве это выход? Если даже все месячные талоны на семью отоварить, получилось бы всего-то три с половиной килограмма колбасы или пять килограммов мяса. А ведь надо еще какие-то продукты закупить. И вино достать. Хоть и не поощряются вышивки, указа об отмене традиций, к сожалению, пока не было...

— А на чем ты сегодня туда доберешься?— спохватилась Тертту Ульясовна.— Время — восьмой час. Автобусы в районы уже не ходят.

— И правда,— снова обессиленно опустился Борис Викторович на подставку для обуви. Тут только до конца осмыслив ее слова, спросил:— А почему только я должен добираться? Ты разве не поедешь?

Тертту Ульясовна неопределенно пожала плечами.

— Видишь ли, у меня завтра премьера,— будто оправдывалась она.

— Да эта премьера идет у вас уже десятый раз!— взорвался ни с того ни с сего Борис Викторович.— Что за мода пошла: спектакль два месяца как начали показывать, а все в качестве премьеры идет. Жулики, обманщики! Водите публику за нос. И ты первая среди них...

Он понимал, что говорит не то, что не прав, но не мог остановиться, пока не вылил всю желчь к этому театру, к жене, работающей в нем. Но Тертту Ульясовна ничего не возражала, даже ни слова не проронила в ответ, терпеливо выслушав все, сочувственно вздохнула, затем деловито предложила:

— Боря, ты вот что. Ты позвони братьям. У них машины, связи с деловыми людьми...

И правда, как же он сам до этого не додумался. Вот олух царя небесного. Нельзя же теряться до такой степени. Права Тертту Ульясовна: старик был в годах, и рано или поздно это все равно должно было случиться. Так что нельзя так убиваться...

Он только подошел к телефону, как тот зазвонил сам. Это был Владимир.

— Салам, агай[38],— поздоровался он.— Телеграмму получил?

— Салам, вын[39],— ответил Борис Викторович, почему-то почувствовав себя легче, будто пришло спасение.— Получить-то получил, только вот что теперь делать — ума не приложу.

— Да, подвела связь, шайтан бы ее наказал!— чертыхнулся Владимир. Тут же тоном старшего — ничего не скажешь, начальник цеха, привык командовать,— начал втолковывать: — Мы тут с Иосифом созвонились и решили, что часть из нас на моей машине поедет сегодня же, остальные на машине Иосифа — завтра. Почему завтра? Потому что надо закупить продукты, минимум два ящика водки, несколько ящиков разных напитков...

— Да, но водку же дают только после двух,— засом-

невался Борис Викторович.— И пока наши приедут, отца могут уже похоронить. К тому же в одни руки больше двух бутылок не отпустят.

— Ты об этом не беспокойся,— заверил его Владимир.— У Иосифа есть товарищ на заводе винно-водочных изделий. Были бы деньги... Понимаешь, я тут на днях венгерский спальный гарнитур купил. Почти четыре тысячи отдал. А Иосиф все свои запасы, оказывается, ухлопал на строительство дачи и капитального гаража. Конечно, рублей по сто-сто пятьдесят мы наскребем. А всего надо минимум тысячу. Ведь надо же оркестр заказать, памятник поставить хотя бы временный. Потом, конечно, все обустроим по-настоящему...

Борис Викторович и сам знал, что похороны меньше чем в тысячу рублей не обходятся, тем более после удорожания водки и вин.

— Хорошо, деньги я найду. Рублей пятьсот,— согласился он.— У матери, думаю, тоже есть немного. Так что выйдем из положения.

— Ты не думай, агай, свою долю мы потом тебе вернем,— обрадовался Владимир.

У Тертту Ульясовны, стоявшей тут же рядом, аж лицо передернуло.

— Как же, вернет он, горошек железный,— проворчала она.— А ты, простофиля, на все соглашаешься. Они оба в десять раз лучше нас живут, а деньги берегут. Ты же — на, пожалуйста! Последние рубли отдаешь. Ведь цветной телевизор хотели купить...

Борис Викторович прикрыл телефонную трубку рукой, прикрикнул:

— Я отца хороню, в конце концов! Понимаешь, родного отца, самого близкого и дорогого мне человека!

— Ало! Ало! Агай, ты что замолчал?— послышалось в трубке. Когда Борис Викторович отозвался, Владимир продолжил: — Значит, тогда так сделаем. Ты давай подъезжай ко мне. Мы с женой пока пристроим детей к ее родителям. Потом с тобой вместе уедем в Хыркасы. А инге[40] Тертту я попрошу остаться до завтра. Иосифу нужна помощница, чтобы все закупить и собрать в дорогу. У него жена, понимаешь, на сносях, какая из нее помощница... Часам к одиннадцати-двенадцати, думаю, Иосиф с Тертту Ульясовной вполне успеют подъехать в Хыркасы. Ну как, пойдет так?

— Ну как?— переадресовал Борис Викторович вопрос жене.

— Что ж, попробую договориться с начальством,— не очень охотно согласилась она. И как только Борис Викторович, передав брату ее согласие, положил трубку, подсела к телефону. Естественно, договориться с директором ей не стоило особого труда...

Минут через сорок Борис Викторович был уже у Владимира. Здесь находился и Иосиф. Впрочем, об этом Борис Викторович узнал еще при подходе к дому, увидев у подъезда его синие «Жигули».

Разговор, конечно, был о похоронах. Похоже, Иосиф и приехал-то специально, чтобы договориться обо всем. Главенствовала здесь жена Владимира Надя, дородная женщина лет тридцати.

— С утра вы сразу езжайте к моему отцу. Они каждый день отправляют в Москву мясо и колбасы, что-нибудь перепадет и нам,— инструктировала она Иосифа.— Я ему уже позвонила, чтобы он все приготовил. Стало быть, у него не задержитесь. А в это время и твой товарищ приготовит водки. Да не забудь прихватить телеграмму о кончине отца. Вдруг нарветесь на какой-нибудь контроль... Кстати, а как с деньгами?— Это уже был вопрос к Борису Викторовичу.

— Да вот, пока двести могу дать,— виновато ответил тот и вытащил из кармана пиджака бумажник, отсчитал четыре пятидесятирублевые бумажки.— Остальное завтра Тертту получит в сберкассе и передаст.

Хотя он был самый старший, но в присутствии младших братьев и особенно Нади почему-то всегда чувствовал себя маленьким, ничего не значащим человеком. Они всегда вели лишь деловые разговоры, причем было ясно, свои замыслы в основном успешно претворяли в жизнь. А Борис Викторович, как ни странно, с годами все больше утрачивал даже те немногие деловые качества, которые в нем каким-то образом были все-таки заложены природой, Хотя, казалось бы, все должно быть наоборот: жизнь вроде бы учит уму-разуму любого человека. Но Борису Викторовичу все труднее давались даже те небольшие оттенки угодничества, мелкая ложь, маскировка гордости и чувства собственного достоинства, которые минимально необходимы для достижения какой-то даже незначительной цели, если ее невозможно осуществить законным, как говорится, путем. А законным путем, например, можно купить в достаточном количестве разве что поваренную соль и проехать в переполненном троллейбусе. И получается, что Борис Викторович действительно не приспособленный

к жизни человек, за что его совершенно правильно упрекает Тертту Ульясовна, утверждая, что в ходе борьбы за выживание такие «могиканы» обязательно вымрут.

— Ну, раз договорились обо всем, мы будем собираться, а ты, Иосиф, езжай домой,— скомандовала Надя и ушла в другую комнату переодеваться.

Через полчаса они уже выезжали из Башколы. Надя на правах хозяйки машины (она не раз подчеркивала при людях, что «Лада» куплена ее родителями, а свекор со свекровью не дали даже копейки) сидела с высоко поднятой головой рядом с мужем, крепко пристегнутая ремнем безопасности, и Борис Викторович один занимал все заднее сиденье, тем самым как бы несколько отделившись от брата и снохи. Это давало ему какое-то право молчать, не вникая и не вмешиваясь в переговоры Владимира и Нади о каких-то непонятных ему жизненных мелочах. И постепенно он начал успокаиваться, выходя из того неопределенно-тяжелого состояния, когда душа хочет плакать, а разум не дает ей делать этого, безжалостно констатируя, что случившееся — только закономерность.

В Хыркасы приехали почти что в полночь. У Львовых и во дворе, и в сенях, и на веранде, и в комнатах горел свет. Несмотря на позднее время, дом был полон народом. В основном это родственники Виктора Васильевича, приехавшие не только из районов, но и из Москвы, Свердловска, Ленинграда, Казани. Борис Викторович, конечно, знал, что у отца их много, но чтобы было столько — даже в голову не приходило. Кто-то сказал, что среди них есть те, кем гордился весь род Львовых — профессор из Москвы и начальник крупнейшей стройки в соседней автономной республике. Но кто из гостей есть кто — об этом допытываться было неудобно. К тому же Борис Викторович чувствовал себя неловко за то, что они, родные сыновья, приехали намного позже других, хотя Надя и объявила во всеуслышание, что виновата в этом связь. Были в избе и хыркасинцы, в том числе Иван Прокопьевич с Илемби. Все они сидели на диване, на койках, на стульях, расставленных вдоль прикрытых простынями серванта, старинного шифоньера с зеркалом на дверце, трельяжа. Говорят, у вакхалыхов раньше даже после принятия христианства не было такого обычая прикрывать все блестящее. Впрочем, не было и самих вещей со стеклами да с зеркалами. Правда, гроб смастерили чисто по-вакхалыхски: из крепких, аккуратно выструганных дубовых досок, которые снаружи не обиты никаким материалом и не пок-

рашены. Изнутри он был покрыт снежно-белым ситцем, на фоне которого даже светлое лицо отца казалось смуглым. У изголовья сидела вся в черном Пелагея Петровна, прямая, костистая, чуть подавшись вперед, зажав рот белым платочком, который она все комкала левой рукой. Казалось, она чувствует, что муж ее вот-вот должен проснуться, и готова к этому, как только он попросит что-нибудь, тут же стремглав помчится исполнять его желание. Наверное, так оно и было, и только эта вера в неосуществимое удерживала ее от слез, от громких бабьих стенаний и причитаний.

На правах жены близкого друга покойного в доме хозяйничала Илемби. Она покормила с дороги Бориса Викторовича, Владимира и Надю. Затем они с Надей начали что-то варить еще. По обычаю, в последнюю ночь в доме покойного всем полагалось бодрствовать, и многие до утра могут захотеть поесть.

К утру слегка начал моросить дождь. Сырой воздух проник и в избу. От множества людей и от этой сырости, перемешанной с запахом слегка начавшего разлагаться трупа, стало трудно дышать. Многие то и дело выходили просвежиться, покурить в сени, на веранду, на крыльцо. В один из таких моментов к Борису Викторовичу подошли двое приезжих мужчин. Они и оказались профессором и начальником стройки. Оба — старшие племянники Виктора Васильевича. Профессору, Зиновию Николаевичу Львову, было уже далеко за пятьдесят, а может, и все шестьдесят. Слабый свет лампочки не выявлял всех морщинок на его лице, а телом он был еще достаточно крепок. Чувствовалось, что он в ладах с физкультурой. К тому же седые мягкие волосы не старили его, наоборот, из-за них профессор становился похожим на моложавого блондина. Начальник же стройки Анатолий Никандрович Львов, хотя и был, оказывается, моложе Зиновия Николаевича годами, выглядел старше его. Ходил он ссутулясь, словно стеснялся своей жердеподобной нескладной фигуры. И телом, и лицом он был тощ настолько, что даже Пелагея Петровна по сравнению с ним казалась полной.

— Вот, наконец, мы и познакомились с тобой, Борис Викторович,— первым подал руку Зиновий Николаевич.— Ведь братья двоюродные, а ни разу еще не встречались. Жаль, что не радость нас свела, да что поделаешь...

— Анатолий,— просто представился Анатолий Никандрович вслед за ним.—Давно хотел с тобой познакомиться, да все приходилось работать то на Крайнем Севере,

то в Сибири. В прошлом году перевели в соседнюю республику. Все думал: вот возьму отпуск и приеду к дяде Вите. Он же у нас был как глава всего рода Львовых. И вот приехал... Без отпуска...

Голос его дрогнул, большие, покрасневшие глаза подозрительно заблестели, и он замолк, на минуту отвернувшись.

Мимо них то и дело молча проходили туда-сюда люди, то выходящие из избы, то заходящие туда. Они, возможно, и не обращали внимания на разговор Львовых, но стоять так на виду и беседовать было неудобно.

— Выйдем-ка, братья, на улицу, сядем в мою машину и поговорим, познакомимся поближе,— предложил Зиновий Николаевич, глядя Борису Викторовичу в лицо снизу вверх. Роста он был небольшого, чуть выше среднего.

— Правильно. Только лучше в мою. В «Волге» попросторнее,— в свою очередь предложил Анатолий Никандрович.

В салоне лампочку не зажигали, было светло: сюда падал свет из окна дома. Они сидели, полуразвалившись на мягких сиденьях, словно в креслах. Было сухо, тепло. А кругом от горизонта до горизонта моросил холодный, неприятный даже своей мелкостью дождик... На какое-то время забылось, что рядом, в избе — большое, огромное горе: распрощался с жизнью человек. Или хотелось, чтобы забылось...

— Договоримся, родные мои,— первым заговорил в машине Зиновий Николаевич.— Несмотря ни на что, жизнь продолжается. И хотя, быть может, не время сейчас, а все же давайте познакомимся поближе, поговорим. Ведь мы теперь, помимо всего прочего, самые старшие из рода Львовых. Стало быть, прежде всего нам продолжать дела отцов, претворять в жизнь их мечты. А мечты у них, я-то больше вас знаю, были поистине благородные. Они ведь, Львовы, знаете ли, всегда думали прежде всего о судьбах нашего вакхалыхского народа. Так уж по-высокому были воспитаны. И не их вина, что добились они только того, чего добились. Если бы их молодость пришлась на наше время, великими бы людьми стали наши отцы, поверьте мне.

Впрочем, никого из сидящих в салоне «Волги» убеждать в этом не приходилось.

— Я вот что предлагаю, дорогие мои. Давайте сначала помянем дядю Витю как положено, по старинному обычаю,— сказал Анатолий Никандрович. Не дожидаясь ни

согласия, ни возражения, он вытащил из кармашка на чехле переднего сиденья темную бутылку, пластмассовый стаканчик, шоколад, который, разломав на три части, тут же раздал всем, затем, отвинтив пробку, набулькал из бутылки в стаканчик вина. Запахло хорошим армянским коньяком.

— Зиновий, давай по старшинству,— протянул Анатолий Никандрович стаканчик профессору.

— Разок можно, но не больше,— беря одной рукой стаканчик, другой выразительно похлопал себя по левой стороне груди Зиновий Николаевич, хотя непохоже было, чтобы он болел, да еще сердцем. Затем наклонил стаканчик, несколько капель уронил на резиновый коврик и, сказав традиционное вакхалыхское: «Пусть тяжелая земля для тебя будет легкой», выпил, закусил шоколадом. То же самое проделали и другие. Причем от этой незамысловатой процедуры у Бориса Викторовича на глаза навернулись слезы, и он долго сидел, не смея проронить ни слова, чтобы не выказать свое душевное состояние. А внутри появилась какая-то горечь. Вначале подумалось: от коньяка. Но жжение в желудке быстро прекратилось, а горечь все нарастала и нарастала, постепенно превращаясь в кричащую душевную боль. А ведь нет у него больше отца. Отца, единственного родителя! А это значит, остался он, Борис Викторович Арыслан, круглым сиротой, и нет теперь у него отчего дома, потому как хоть и вырастила Пелагея Петровна его заместо родного сына, а все же не хватит у него смелости заявляться к ней как к родной матери, в любое время года, дня и ночи; в особенности же заявляться, когда червь всяческих сомнений будет глодать душу и некуда будет прислонить переполненную думами голову. А такое в последнее время происходит с ним почему-то часто, очень часто.

— Стало быть, больше никто не хочет?— Похоже, этот вопрос Анатолием Никандровичем задавался уже несколько раз.— Ну, раз так, лавочка закрывается...

Он закрутил пробку, бутылку и стаканчик бросил в кармашек, от зажигалки автомобиля прикурил сигарету, открыл форточку.

— Давно слежу за твоим творчеством, Борис,— выдохнув дым в форточку, сказал Анатолий Никандрович. По тону чувствовалось, что говорится это от чистого сердца, а не вежливости ради.— Ведь где бы я ни работал, везде рядом было полно вакхалыхов. Иногда даже не верилось, что нас на свете так много, целых два миллиона человек,

а то и больше. Представляешь, многие выписывают национальные журналы, а иные каким-то образом достают даже книги на вакхалыхском языке. Я сначала думал, что их у нас продают, но оказалось, что ошибался. В основном присылали родственники и друзья. А иные из отпуска привозили по целому чемодану вакхалыхской литературы. Среди них попадались и твои книги. Естественно, я их прочитал. Прямо скажу, мне они понравились. По крайней мере они ни в чем не уступают книгам, издающимся в Москве стотысячными тиражами. И подумал я: почему он не переводит все это на русский?

— Я тоже немного знаком с твоим творчеством, Борис,— вступил в разговор Зиновий Николаевич. — Книгами вакхалыхских ученых и литераторов снабжал меня отец твой, дядя Витя. Но, конечно, живя в деревне, он не имел доступа ко многим из них. А в Москве, например, вакхалыхские книги вообще не продаются. Хотя нас там, в городе и области, десятки тысяч. Вот я и недоумеваю, почему же нельзя наладить такую торговлю всюду, где проживает много вакхалыхов?

— Ты, Зиновий, ученый человек, а зришь не в корень!— каким-то образом удивительно далеко выбросив окурок в форточку, повернулся к ним Анатолий Никандрович.— Я, конечно, строитель, а не философ или социолог. Возможно, многого не понимаю. Но, на мой взляд, вопрос стоит гораздо острее, чем продажа книг на родном языке. Вот я тебе приведу несколько характерных примеров, а ты своей ученой головой попытайся их обобщить.

Я уже сказал, что работаю в соседней автономной республике. И узнал, что там проживает — сколько бы вы думали? — сто пятьдесят тысяч вакхалыхов. Недалеко от нашей стройки есть замечательная деревня — родина великого нашего просветителя, создателя новой вакхалыхской письменности, основателя нашей дореволюционной литературы. Друга семьи Ульяновых, наконец! Естественно, я при первой же возможности побывал там. И... сильно разочаровался. Нет, не то слово. Просто упал духом. Оказывается, в местной школе уже много лет не преподают даже вакхалыхский язык и литературу, в библиотеке вообще нет книг на вакхалыхском языке. Страшная мысль пришла мне тогда в голову: отсюда, из этой деревни, начался взлет культуры нашего народа, так неужели отсюда же начнется и кончина ее? А разве мало вакхалыхов проживает в других областях и республиках Поволжья, Сибири? И везде такое положение. Ведь знаем же: в ма-

люсенькой нашей республике проживает меньше половины народа. И то из нее ежегодно по оргнабору переселяют в районы Сибири и Севера тысячи людей. А если к тому же добавить, что в городах и районных центрах даже в Вакхалыхии в школах до сих пор не учили родной язык и литературу? Я интересовался: и сейчас это обучение поставлено только на факультативной основе. Слушайте, что же это получается? Так ведь через несколько десятков лет вообще не останется нашего народа. Как думаете, ученые и писатели? Ум и совесть народа...

— Вот ты и обобщил,— горестно вздохнул Зиновий Николаевич. Тут же как бы спохватился:— А ты, Борис, не обижайся, что в эти горестные минуты мы говорим о таком. Думаю, Виктор Васильевич на нас за это не обидится.

— Да что вы, я понимаю,— сказал Борис Викторович.— Наши писатели частенько задумываются над этим.

— Послушайте, не задумываться надо! Надо бить в набат! Во все колокола! Иначе поздно будет. И начать это дело должны вы, творческая интеллигенция,— вдруг взорвался Анатолий Никандрович.

От его крика всем, в том числе и ему самому, стало как-то не по себе. Не зло, не ругань, а отчаяние, крик утопающего послышались в нем. Несколько минут все трое просидели оцепенело, не зная, что сказать.

— Ставить вопрос надо глобально, начиная от изучения родного языка в школе и кончая пересмотром границ республики, созданием в некоторых регионах вакхалыхских автономных областей,— первым придя в себя, теперь уже более спокойно продолжил свою мысль Анатолий Никандрович.— Ведь чепуха какая-то получается: есть целые вакхалыхские районы прямо рядом с нашей республикой, но они относятся к соседней. В то же время у нас тут есть целые районы, заселенные народами других национальностей...

Зиновий Николаевич положил ему на плечо руку, как-то тепло, по-родному потряс, сказал:

— Послушай, Толя. Да кто же осмелится поднять эти вопросы сейчас, когда все сложилось, укоренилось?

— А если неправильно сложилось? Неправильно укоренилось?— упрямо мотнул головой Анатолий Никандрович.— И потом: на свете нет ничего вечного. В том числе и границ. Что делают хирурги, когда неправильно срастаются кости? Ломают их, чтобы все сделать правильно. Конечно, при этом бывает больно. Но общее здоровье дороже...

— Да пойми ты, садовая твоя головушка, сейчас такие вопросы никто и не воспримет всерьез. Обвинят в национализме — и только. Скажут, а какое значение имеют границы АССР, когда экономически все переплелось. Район туда, район сюда — что это меняет?

— Это те скажут, кому наплевать на судьбы малых народов. Понимаешь, наплевать!— опять взорвался Анатолий Никандрович.— А границы эти, как ни странно, имеют огромное значение. И, как ни странно, именно сейчас. Когда вопросы развития национальных культур по существу целиком и полностью переложены на автономии. Понимаете ли вы, «зарубежный» вакхалыхин — он же ничего родного не имеет: ни книг, ни театра, ни музыки, ни радио, ни телевидения, ни школ. Все это он может получить только через Башколу. Так почему хотя бы те, кто рядом с нашей республикой, буквально через овраг живут, должны искусственно отделяться от нее?.. Ну да ладненько,— шлепнул он себя ладошкой по колену.—Может, я, в самом деле, не то говорю. Понимаете, тоскую я там, за «границей», по всему родному. И накипело на душе, вы уж меня простите. Но, ребята, что-то все же надо делать, чтобы наш народ тоже развивался наравне с другими.

Откуда-то подул довольно-таки сильный ветер. Он срывал капли с деревьев, иногда прямо вместе с пожелтевшими листьями, поэтому казалось, что дождь усилился. Но это был обман слуха. На самом деле дождь перестал. С юго-западной стороны небо уже начало очищаться от свинцовых туч, там, не очень высоко над горизонтом, стали видны даже звезды, как бы в ночной темноте предоставляя возможность убеждаться в перемене погоды.

— Похоже, завтра будет ясный день,— заметил Зиновий Николаевич, на правах старшего первый нарушив молчание.— А ты, Толя, зря кричишь на Бориса, зря обвиняешь интеллигенцию. Попробовал бы сам сунуться в это дело... Говорить о каких-то отдельных вопросах, конечно, можно, но ставить вопрос так глобально... Ведь считается, что национальный вопрос у нас, в обществе без антагонистических противоречий, давно решен, есть только отдельные моменты, которые надо дорабатывать, так сказать, по ходу дела.

— Как это давно решен?— опять вскипел Анатолий Никандрович.— Пока есть нации, будет существовать и национальный вопрос. При чем здесь антагонистические противоречия?

— Удивляюсь, как ты до сих пор удерживаешься в кресле руководителя. Такой горячий. И такой неправильный...— по-родственному подтрунил Зиновий Николаевич.

Борис Викторович не вмешивался в разговор двоюродных братьев. Обстановка не предрасполагала к дискуссиям. Хотя он был рад, что они не дают ему погружаться в печаль и горе. С другой стороны, ему было интересно слушать, что думают о таких волнующих вопросах вакхалыхи, живущие за пределами автономной республики. Он с удивлением обнаружил, что они, «заграничные», казалось бы, давно оторвавшиеся от родного народа, оказывается, воспринимают эти вопросы намного острее, болезненнее. Наверное, это говорит в них инстинкт самосохранения.

— Анатолий, я вот тебе по памяти прочту цитату из статьи одного члена-корреспондента Академии Наук СССР в центральной газете. Он писал: «Русский народ, который никогда не надо было учить самоотверженности, как известно, принял на себя максимальную тяжесть последних войн, экономических усилий и подъемов. Можно сказать, что он во многом добровольно потеснился, сознательно помогая другим нациям и народностям».

— Что ты этим хочешь сказать?— спросил Анатолий Никандрович, после замечания о горячности стараясь держаться более спокойно.

— Не я, а член-корреспондент и газета,— вежливо возразил Зиновий Николаевич.

— Пускай будет так. Но при чем здесь это?!— снова взорвался Анатолий Никандрович.— Разве, стремясь развивать свою культуру, мы противопоставляем себя русскому народу? Да никогда! Разве ж мы не знаем, что значит он для нас? Что без него мы не получили бы подлинной свободы. Что без его помощи сразу после революции мы не сумели бы добиться таких успехов ни в экономике, ни в культуре, ни в образовании, ни в здравоохранении. Да и язык русский, по существу, для нас такой же родной, как и вакхалыхский. И без него нам просто нельзя! Но, с другой стороны, хватит, наверное, представлять нас, «мелких» народов, этакими иждивенцами на шее великого народа. Думаю, на хлеб мы давно уже зарабатываем сами. А кое-что, я знаю, Вакхалыхия отправляет в Москву, другие большие города. Зачастую тоже многое отрывая от себя... И в войну наши люди погибали наравне с другими. И на целину поехали в числе первых. И в космос полетели. И в армии служат. И в Сибири, и на Севере на самых

трудных стройках трудятся. И вообще, пора кончать торговаться, выяснять, кто кому больше должен...

Неизвестно, что бы еще он наговорил, но тут послышались шаги, к машине кто-то подошел и открыл дверцу.

— Вон куда удалились наши старшие товарищи!— воскликнул он. Это был Владимир.— Можно к вам?— Не дожидаясь разрешения, впрочем, ему, конечно, никто не возражал, он устроился на переднее сиденье, с силой захлопнул дверцу.—И о чем шумим? От крыльца слышно...

— Да вот, родной язык хотим лучше изучать,— вполушутку, вполусерьез сказал Зиновий Николаевич, желая подвернувшимся удобным случаем замять становящийся неуправляемым разговор.

— А зачем?— повернувшись ко всем, недоуменно спросил Владимир.— Кому он нужен, наш язык-то? С ним уже за Хыркасами нечего делать... Хы-хы! Недавно к нам приходили композиторы. Так сказать, на встречу с рабочим классом. Один, стало быть, сетует, что нет у нас в республике, кроме как в музтеатре, симфонического оркестра. Он, оказывается, был распущен во время войны да так и не восстанавливался. Поэтому народ, дескать, не имеет возможности слушать их сочинения. Другой жалуется, что слабо развивается у нас национальная эстрадная музыка. Мол, в одной союзной республике с меньшим населением даже на радио и телевидении есть эстрадно-симфонический оркестр... А я сижу и думаю про себя: «Да на кой черт мне ваши симфонии? Все равно лучше классиков не напишете. Так я лучше классическую музыку послушаю, если надо. Русскую, зарубежную. А вообще лучше никакую. Прошли времена скрипок. Сейчас — век техники. Так что по мне лучше эстрадной нет музыки! Но! Опять-таки не примитивной вакхалыхской...

От этих слов Анатолия Никандровича аж передернуло. Да и Борису Викторовичу стало неприятно. Вот он, плод многолетнего воспитания! Борис Викторович хотел сказать что-то резкое братишке, да Зиновий Николаевич хлопнул его по плечу:

— А давайте-ка, братья, выйдем из этой духоты. Надышали так, что в салоне кислорода вообще не осталось. Называется, в ял приехали...

Он первый почувствовал, что от Владимира несет перегаром. Видно, тот успел уже многажды помянуть отца.

— Да, конечно,— неожиданно легко согласился и Анатолий Никандрович, когда и на него шибануло неприятным запахом.

Приход Владимира совсем расстроил Бориса Викторовича. После его слов не хотелось не только спорить, а и думать обо всех этих сложных вопросах. Все показалось надуманным, никому не нужным. И он вместе с другими поспешно вышел из машины, поежившись от сырости и ночной прохлады, заторопился в избу...

На следующий день к Львовым с утра повалил народ. Шли и стар и млад. Шли школьники и учителя, животноводы и механизаторы, пенсионеры и конторские служащие. Все выстраивались в длинную очередь, терпеливо ждали, когда можно будет побывать в избе, у гроба. И не мудрено: большинство из них когда-то были учениками Виктора Васильевича, и у каждого он оставил о себе самые лучшие воспоминания своими мягкостью в обращении и твердостью в требованиях, труднопредставимо широким кругозором и глубоким, до мельчайших подробностей, знанием любой преподаваемой темы, честностью и принципиальностью, а главное — искренним желанием помочь ученику правильно взрослеть, встать на ноги и выйти в люди. А со стариками он был просто хорошим товарищем, готовым содействовать в любом праведном деле... Так что когда Иосиф с Тертту Ульясовной подъехали, им с трудом удалось попасть в дом, к матери, и разгрузить привезенные продукты и вина.

Известно, у осени характер, что у капризной женщины. Поэтому, хотя по деревенским обычаям это и рановато, пока было вёдро, в час пополудни похоронная процессия тронулась по направлению к мазару, как называют вакхалыхи кладбище. Иосиф с Тертту Ульясовной духовой оркестр не привезли. Как они объяснили, музыканты не согласились ехать рейсовым автобусом, а найти отдельную машину для них не удалось, потому как подпирало время. Но без оркестра процессия, наоборот, выглядела более торжественной. К тому же впереди не было никаких машин: хыркасинские мужики наотрез отказались везти гроб, а решили понести его до самого мазара — все полтора километра на руках. И получалась, если не считать упорного топота сотен ног и глухого всхлипывания женщин, какая-то напряженная тишина, как бы дающая возможность каждому понять всю трагическую значимость происходящего. Быть может, многие только сейчас по-настоящему осознали, какого человека потеряли Хыркасы...

Процессия растянулась чуть ли не на полкилометра: на мазар шла вся деревня. Впереди длинной вереницей шли школьники с венками, с многочисленными орденами

и медалями на красных бархатных подушечках, специально прихваченных Тертту Ульясовной из реквизитов театра. За ними высоко над головами людей, покачиваясь в такт шагам несущих, плыла крышка гроба. Только что выструганные свежие доски под ослепляющими солнечными лучами приобретали серебристо-белый цвет, и крышка издали казалась каким-то знамением чистоты и святости того, чей лик она вскорости должна была прикрыть от глаз людских и всего живого мира.

На мазаре сам собой возник траурный митинг. Председатели сельсовета и колхоза, представители райвоенкомата, роно, директор школы, несколько колхозников выступили один задушевнее другого. Некоторые, наверное, лишь по обязанности, не без этого, а в основном люди, особенно рядовые хыркасинцы, говорили то, что думали, что переживали. Оттого их слова, хоть и совершенно обыденные, без заумной мудрености, брали за душу. Борису Викторовичу, правда, было не до вникания в их суть. Они с Владимиром с двух сторон поддерживали мать. У ней отказали ноги, да и сама она от горя ничего уже не соображала, старалась лишь сдержать себя с тем, чтобы во время выступлений людей как бы не вырвалось из нее бабье голосистое и надрывное причитание и не испортило все. Поэтому всех, кто пришел на похороны, от имени Львовых поблагодарил Зиновий Николаевич. Профессор до удивительности был краток. Похоже, он был потрясен таким неподдельным уважением народа к его дяде, простому деревенскому учителю, и понял, что своей ученой речью просто мог нарушить искренность и естественность прощания с хорошим, настоящим человеком.

Затем опустили гроб в могилу. Женщины не выдержали, заголосили отчаянно, будто этим можно остановить отдающей болью в сердце каждого процесс. Медленно шагая против солнца, все сделали по три круга вокруг ямы, бросили туда по горсти сырой глинистой земли. И настал черед соседа Львовых — Сандора и его товарищей. Сандор, тяжело охнув, наискосок вогнал лопату в горку свежевырытой земли, для надежности поднажал на черенок животом, и, приподняв, вывалил довольно-таки большой комок глины в могильную яму. Внизу загрохотало, зашуршало. Борис Викторович закрыл глаза, будто это на него летели с двухметровой высоты тяжелые комья земли...

После похорон хыркасинцы разошлись по домам, а приезжие и соседи пошли к Львовым. На могиле Виктора

Васильевича осталась лишь Пелагея Петровна. Зная ее состояние, Борис Викторович хотел было на всякий случай побыть рядом, но понял, что мать, наверное, хочет остаться одна и дать наконец волю своим чувствам. Возможно, после этого ей станет легче. Поэтому, немного постояв и подумав, он тоже тяжело зашагал вслед за другими в отчий дом.

Специально оставшаяся дома Илемби с проворной женой Сандора уже накрыли приткнутые друг к другу столы. В довершение этого дела Владимир с Иосифом щедро порасставили между тарелками с блинами, банками с медом, салатницами и хлебницами десяток бутылок водки. Но, хотя людей было полный дом, за стол никто не садился. Все ждали Пелагею Петровну.

Она вернулась через час. Шагала уже твердо, как всегда, голову держала высоко. Только глаза, красные, влажно поблескивающие расширенными зрачками, выдавали ее безмерное горе, да лицо, обвязанное черным шелковым платком, было необыкновенно бледным, словно обсыпано меловым порошком. Она осмотрела стол, сказала:

— Вы уж извиняйте меня... Давайте сядем, помянем... А это, — указала Владимиру с Иосифом глазами на светлоголовые бутылки, — уберите, сыны мои. Пусть горе останется горем, неча горькое горьким подслащать. Разве вот дайте бутылку Сандору за помощь его. Но чтобы дома пил за упокой души Виктора Васильевича...

Сандор согласно кивнул головой, а когда Пелагея Петровна пожелала покойному всего, чего желают в таких случаях, первый протянул руку к блинчику...

Когда хыркасинцы начали расходиться по домам, Борис Викторович вместе с Владимиром и Иосифом вышел их провожать. На крыльце около него задержался Васильков. Илемби посмотрела на них вопросительно, и, опустив голову, прошла, оставив их одних.

— Я... это... Може, и не время спрашивать-то, но когда доведется встретиться ишшо... Борис Викторыч, я теперча о своем деле ничего уже не понимаю. Токмо твоя статья в газете пропечаталась, районный прокурор присылает мне письмо. Так, мол, и так, гражданин Васильков, при ведении следствия нами не все было учтено и в итоге ошибочка вышла. Сообщаем, что дело ваше теперь закрыто... Ясное дело, будто камень с души свалился. Повеселел я, даже моторчик,— пристукнул Иван Прокопьевич толстыми пальцами в грудь,— вроде бы лучше стал работать. А аккурат неделю назад ишшо весточку получаю из про-

куратуры. Пишет он же, прокурор Вашуров. Мол, ваше дело теперча забрала республиканская прокуратура, она же будет расследовать его. И ежели, дескать, есть у меня ишшо какие документы, просьба выслать... Это что же, снова судить меня будут али как?

Арыслан мельком вспомнил острый разговор в кабинете Шибаева, тон, которым он попросил Тыхтамана снова перепроверить дело Василькова. Но разве из-за одного тона можно расстроить человека? Тем более, говорил-то Шибаев, чтобы все было рассмотрено объективно...

— Иван Прокопьевич, за это особенно волноваться не надо,— успокоил Арыслан.— Просто это дело решила перепроверить прокуратура республики. Чтобы все было объективно.

— А какие же новые документы я должен выслать?— спросил Васильков.— В письме конкретно ничего не сказано.

— А если новых нет, то и не надо ничего высылать,— объяснил Арыслан.— И вообще, не волнуйтесь, живите себе спокойно, словно и нет ничего. Все нужные бумаги вы уже представили, теперь и без вас разберутся.

— Стало быть, карусель закрутится ишшо раз... Ну, подождем, — тоскливо вздохнул Васильков.— А пока прощевайте. Извини, что в этакое время лезу со своими расспросами...

Борис Викторович долго еще стоял на крыльце, провожая взглядом чету Васильковых. Нет, Ивана Прокопьевича с Илемби. Смотрел, как она легко шла впереди, словно выбирая тропинку, а за ней грузно, но уверенно топал он. И хотя сердце сегодня вроде бы до краев переполнено горем, но от этой идиллии оно почему-то заныло еще сильнее.

На ночь женщин спать пристроили кого на койку, кого на диван, а мужчин уложили на полу. Мало-помалу все успокоились, заснули. Наверное, не спала только Пелагея Петровна. Она сидела в комнате мужа, и хотя там не было света, да и никакого звука оттуда не доносилось, Борис Викторович каким-то седьмым чувством догадывался, что мать не спит, мало того, она даже не ложилась. Сам он тоже никак не мог уснуть. Мешали то храп Анатолия Никандровича, то рукав постеленного вместо матраца полушубка, оказавшийся под лопатками, то лежащий рядом Иосиф, беспрестанно ворочающийся во сне. А может, и не это было причиной бессонницы. Перед глазами прерванными кадрами возникали то небывалой в Хыркасах длины

похоронная процессия, то бело-серебристая крышка гроба, плывущая над головами людей, то начавшее синеть лицо отца, отрешенного от всего мирского. Между ними нет-нет да и встревала картинка ухода Васильковых, этой счастливой молодой четы из пожилых людей...

Лишь под утро задремал Борис Викторович. Уже сквозь сон он услышал, как из отцовской комнаты вышла мать. Постояв в нерешительности, она осторожно прошла мимо спящих на полу мужчин и вышла в сени. Вскоре там послышалось позвякивание металлического ведра. Видно, пора было доить корову...

Много ли, мало ли прошло времени после этого, Бориса Викторовича словно чем-то кольнуло. От неожиданности он не только мгновенно проснулся, но даже привстал. Оглянулся вокруг. Вроде бы все было нормально. Все спали. На улице светало, но ночные сумерки еще не сдавались. Или это оттого так казалось, что небо опять сплошной массой заволокли серые, местами черные, сродни настроению Арыслана тяжелые тучи. Даже слегка покрапывал дождик, мелкими каплями пробуя прочность оконных стекол. Видно, погода вчера специально прояснилась на денек, чтобы дать по-хорошему похоронить хорошего человека... Однако что же так резко разбудило Бориса Викторовича? Он прислушался. Из сеней доносились какие-то сдавленные гортанные звуки. Словно бы человек давится, прикрывая чем-то рот и нос. Может, это только кажется? Борис Викторович не выдержал, наскоро оделся, накинул чью-то куртку и вышел.

Надрывные звуки доносились, собственно, не из сеней, а из кладовки. Там прямо на полу, спиной к двери, сидела мать, прикрыв рот обеими руками. Плечи ее судорожно вздрагивали, а все тело дрожало, словно от озноба. Борис Викторович подошел к ней, неуклюже наклонился и нерешительно обнял за плечи. Пелагея Петровна на мгновение замерла, перестав дрожать и замолкнув, но долго так не выдержала, вдруг повернулась к Борису Викторовичу и, обняв его за ноги, заплакала навзрыд, во весь голос.

— Ну что ты, анне[41]... Что ж теперь поделаешь...— никогда не бывший в подобных ситуациях, неумело попытался успокоить ее Борис Викторович.

— Дак что же мне делать-то, Борис, сынок, куды податься?— сквозь слезы то ли жаловалась, то ли причитала Пелагея Петровна.— Ведь он постоянно был дома рядом, все работал, работал... А седни вышла в сад — нету его, пошла в огород — и там нет, во дворе — тоже нет, даже в

комнате своей нету жа-а... Как жить мне теперча одной на белом свете, скажи, сын. И заче-ем?

От этих простых, в сущности лишь констатирующих факт, слов Борису Викторовичу стало не по себе. По всему телу пробежали холодные мурашки. Да, мать так просто объяснила ему, мастеру слова, о сути происшедшего, что проняла всю душу и сердце. И еще понял Арыслан, как любила эта суровая мужиковатая на вид женщина мужа своего, какое имела и, конечно, имеет доброе сердце и мягкую душу. А он-то ведь думал... Впрочем, что об этом вспоминать.

— Анне, ты встань, пожалуйста. Нельзя же сидеть на полу... И давай поговорим...— осторожно приподнял ее Борис Викторович.

— Все, все, сынок. Я больше не буду...— сама встала Пелагея Петровна.— А ты заходь, не беспокойся обо мне. Я тут на газ кастрюлю поставлю, пора завтрак готовить...

Она выпрямилась, взяла ведро, стоявшее в углу, и пошла в сарай, где был еще и погреб. Борис Викторович взялся было помочь ей, но мать остановила его жестом, не терпящим возражения.

Обоснованно или нет, однако этот небольшой эпизод заставил Бориса Викторовича другими глазами посмотреть на всю жизнь матери. И отца, бок о бок с ней прожившего сорок с лишним лет, он уже видел другими глазами. Да что их, даже Иван Прокопьевич с Илемби, их отношения раскрылись ему теперь совершенно с другой стороны. Главное, он понял, что вновь созданная семья Васильковых — это навечно. И случись — тьфу! тьфу! не дай бог!— с Иваном Прокопьевичем что-то такое, как с его отцом, Илемби при всей разнице в характере и возрасте, наверное, будет вести себя так же, как и Пелагея Петровна... Короче, пора прекратить мучить сердце ее именем и образом. Это просто глупо хотя бы потому, что он-то, Арыслан, в своем теперешнем положении в любом случае ничего не сможет изменить. Потому будет вдвойне глупо, если он хотя бы жестом или неосторожным словом выкажет свои переживания перед Илемби. Нет, не в стыде дело. Вернее, не только в нем. Это может заставить переживать и ее, причем переживать и о прошлом, и о настоящем, и о будущем, тоже твердо зная, что в этой жизни ничего уже изменить нельзя. А как жить тогда человеку? И зачем, если хочется по-другому, а — нельзя!

Да, это так. Но вот он, Борис Арыслан, он же живет. Давно живет так, как ему не хотелось бы жить ни дома,

ни на службе. Даже в самом главном — писательском — деле нет-нет да и покривит душой, напишет не то, что хотелось, а то, как надобно. А зачем? Вынуждали его или мешали ему? Наверное, не без этого... Но... Разве будет расти цветок, если его заставляют светиться не своим цветом, пахнуть не своим запахом? Разве может орел, парящий вверху и видящий необозримые пространства, довольствоваться жизнью дворовой курицы? Нет, это невозможно. Почему тогда все это делаешь ты, человек?

...После завтрака родные Виктора Васильевича начали разъезжаться. Первыми уехали, как самые дальние, Зиновий Николаевич с Анатолием Никандровичем. Одному из них надо сегодня проделать путь на своих «Жигулях» до самой Москвы, да и второму придется покрыть расстояние в несколько сот километров.

— Как-то сумбурно мы вчера побеседовали с тобой,— сказал Анатолий Никандрович на прощанье Борису Викторовичу.— Надо бы посидеть потолковее, да некогда. И момент не тот. Но я говорил от чистого сердца, так что смотри, Борис... Не давайте, писатели, маху. И присылай мне все свои книги, очень тебя прошу.

А Зиновий Николаевич напомнил о главном на сегодня:

— Вы уж соберитесь как-нибудь все братья и подумайте, как помочь Пелагее Петровне. Ведь одна останется. Старая, сегодня ничего себя чувствует, а завтра? В такие годы здоровье быстро может сдать... Ты, Борис, старший, с тебя спрос в первую очередь.

Им легко: посоветовали и уехали... А вообще, прав Зиновий Николаевич, о будущем отчего дома надо договориться сейчас же, пока все вместе: и мать, и братья.

Пелагея Петровна уговорила сыновей и невесток остаться до завтра, тем более завтра это было воскресеньем. И разговор о доме состоялся уже перед отъездом, за обедом. А начал его не Борис Викторович, а... Иосиф, самый младший из братьев.

— Мам, мы вот пообедаем да уедем. А ты останешься одна,— начал он.— Но ты не переживай. Мы тебя скоро заберем к себе. Тут ведь и топить надо, и со скотиной возиться. Одной воды сколько приходится таскать за день. Тяжело будет тебе одной. Так что потихоньку собирайся переехать в Башколу.

— А куда деть все это хозяйство?— окинул Владимир взглядом и избу, и то, что виднелось в окнах.— Один сад чего стоит. А огород — сплошной же чернозем. Разве плохо летом сюда на отдых приезжать...

Надя под столом толкнула его коленом и Владимир, открывший было рот, чтобы дальше выкладывать свои соображения, тут же и закрыл его.

— У тебя отдых на уме,— укорила Надя мужа.— А маме тут жить и мучиться. Нет уж, продать надо все хозяйство, пока не запущено. Тысяч десять дадут, я думаю. Дом еще крепкий, хозяйственные постройки — тоже. Опять же сад отличный, такого во всей деревне нет. Да и от райцентра близко, это тоже кое-что да значит...— Тотчас она повернулась к деверю, заметила насмешливо:— Только вот не пойму я, Иосиф, почему это мать к тебе должна переехать? Живете втроем в двухкомнатке. Да еще в хрущевской. Вскоре у вас и четвертый член семьи прибавится. А мы вчетвером в трехкомнатной проживаем, так что для матери у нас всегда угол найдется.

— Так я и хочу, чтобы нас в семье не четверо даже, а пятеро стало. Сразу запишусь в очередь, через годик-другой получу трех-, а то и четырехкомнатную,— чистосердечно признался Иосиф.— А там...

Но что «а там» будет — не договорил, замолк, почему-то смущенно захлопав длинными, как у девушки, ресницами.

— Очень уж здорово у тебя получается,— сыронизировала Надя.— Ты будешь квартиру четырехкомнатную дожидаться, как манну небесную, а мать из-за этого неудобства терпи? Да знаешь ты хоть, по сколько лет люди в очереди на улучшение жилья стоят?

— Подождите-ка, что-то я не пойму,— остановил их Владимир.— Хорошо, хозяйство продадим. А деньги куда девать?

— Как куда?— даже привскочила от удивления Надя.— Ясно же, туда, где будет жить мать. Хозяйство же общее придется вести...

С интересом прислушивающаяся к этому разговору Тертту Ульясовна не выдержала, хмыкнула с сарказмом:

— Однако губа не дура у тебя, милая. Говоришь такое и не краснеешь.

Надя вскинулась было, чтобы ответить как следует этой гордячке актрисе, но, посмотрев на мать, сдержалась. Заметно было, что та тоже внимательно следила за разговором.

— Ну, если у вас есть другие предложения, давайте высказывайтесь,— сказала Надя, пожимая плечами, будто делая какое-то одолжение.— Только лучше моего варианта ничего не найдете. Сдается мне, уважаемая Тертту

Ульясовна, что вы тоже не в царских хоромах живете.

— Ладно, побалабонили и хватит,— остановила всех Пелагея Петровна.— Вы ешьте, пока все не остыло. А насчет хозяйства неча зря голову ломать. Отец перед смертью строго-настрого наказал мне не бросать его, покуда смогу работать. Вот и весь сказ. Лучше бы кто-нибудь из вас в деревню вернулся на постоянное жительство. Нешто в колхозе для вас дела не найдется?

По ее тону было ясно, что весь сыр-бор вокруг хозяйства разгорелся без толку. Видно, не скоро еще придется вернуться к этому разговору...

— А как ты, Борис, думаешь обо всем этом?— вполне искренне спросила Пелагея Петровна.

Борис Викторович неопределенно пожал плечами, произнес виновато:

— Я, мама, пока ничего не могу сказать тебе по этому поводу.

— Ну и ладно. Ну и хорошо,— почему-то осталась довольная его ответом Пелагея Петровна.

Однако хоть и не имел Борис Викторович намерений вступать в спор с братьями по поводу переселения матери, чувствуя, что в нем замешаны меркантильные интересы, о возможном будущем отчего дома он продолжал думать даже, когда ехал с Тертту Ульясовной в машине Иосифа домой. Чем больше думал, тем больше никак не мог согласиться даже с теоретической возможностью распродать хозяйство родителей. Как, остаться без отчего дома? Это же все равно, что подрубить корни дерева. Впрочем, конечно, проживет Борис Викторович и без этого дома, и без Хыркасов. Но... это просто невозможно! Остаться без отчего дома — это все равно, что вырвать из груди сердце, выбросить душу и жить в таком опустошенном виде.

Смерть отца... Борис Викторович знал, что это скоро должно произойти, ожидал трагическое событие и внутренне готовил себя к этому. И все же похороны настолько потрясли его, что он почти месяц прожил в каком-то забытьи. Глаза видели все, словно в тумане, с трудом узнавая знакомых, вещи, дома, улицы: руки не хотели браться за дела — ни за литературные, ни за канцелярские или какие-либо другие; душа была опустошена настолько, что иногда даже не верилось в возможность продолжения полнокровной жизни. Хорошо хоть Казачкин понимал депрессивное состояние Арыслана и старался оградить его от сложных организационных поручений, которые в Союзе пи-

сателей возникают, как правило, чуть ли не через день и всегда неожиданно. Сочувственно относились к нему и другие сотрудники аппарата правления, большую часть его работы взваливая на себя. Но сам Борис Викторович, пожалуй, пока и не чувствовал этого, поскольку жил в своем опустошенном, упрощенном до амебного состояния мире.

Но вернулся Арыслан к реальной жизни сразу, после встречи... с Иваном Прокопьевичем. Тот пришел к нему прямо на работу, почти к концу рабочего дня. Борис Викторович от непонимания того, как и почему Васильков оказался здесь, в такое время, недоуменно смотрел, как он вошел, поздоровался со всеми сидящими в комнате сотрудниками, смущенно и неуклюже кивая круглой головой на толстой шее, сказал, что зашел на минутку, переговорить накоротке. Сотрудники — другие литературные консультанты — оба понимающе переглянулись и, схватив лежащую на столе пачку сигарет «Астра», тихо проскользнули за дверь.

Иван Прокопьевич грузно присел на краешек старого стула, отчего тот, жалобно скрипнув, угрожающе качнулся: мебель в правлении была двадцатилетней давности. Но он не обратил на это внимания, виновато сообщил:

— Вот, Борис Викторыч, сегодня судили меня нашшо раз.

До сознания Арыслана только начало доходить, почему так внезапно появился Васильков в этом кабинете.

— Что, сразу в Верховном судили?— все-таки не совсем понял он сказанное Иваном Прокопьевичем.

— Не-е. В каком-то районном суде этого города. По месту нахождения объединения, стало быть,— объяснил Васильков.

— И что же?— теперь уже вполне заинтересованно спросил Арыслан.— Отстали от вас наконец?

— Да все то же. Виноватым я оказался по всем статьям. Как говаривали в старину, инфамии* подвергся. Решили взыскать с меня всего четыре тыщи с лишком... Да не в том же дело. Сейчас не пятидесятые годы, наскребу я, коль надо, и четыре тыщи. Мотоцикл продам, кое-какие сбережения на старость лет есть, да Илемби поможет. Главное — преступник я теперча перед всем честным народом, крупный мошенник... Вот об этом и зашел сообщить. Подумал, может, интересно тебе. Как-никак, пока живой

---

* Инфамия (устар.) — обесчещивание на миру.

был, батька твой защищал меня, опосля ты и сам...

Васильков вздохнул, вытер вспотевшую лысину, лоб вышитым платком со знакомыми узорами, замолк как-то неопределенно. Вроде бы хотел что-то спросить, но не решался. Видно, крепко зануздал чувства, чтобы ненароком не сорваться, и теперь лишь потихоньку отпускает вожжи.

Арыслану вспомнились все разговоры с отцом о Василькове, свое горячее желание и обещание помочь в этом деле. Вспоминались так четко, словно лишь вчера все это происходило... Что же, честного, ни в чем не повинного человека, выходит, снова засудили? А он, давший обещание фактически уже лежащему на предсмертном одре отцу, не сдержал свое слово? Нет большего греха, чем обманывать умирающего человека... Чем больше вникал Арыслан в услышанное, тем больше поднималось в его душе возмущение. Как же так, в нашей стране, где самые справедливые, самые гуманные законы... Хотелось тут же исправить допущенную судом ошибку, немедленно предпринять для этого что-нибудь. «А ведь я ожил, если так возмущаюсь, я живу,— вдруг подумалось тут же.— И надо жить, надо действовать. Как-то же надо продолжать дело отца...» При этом под «делом отца» понималась не только защита его фронтового йолташа, а нечто большее. Что конкретно означало это нечто — об этом не время и не место было думать. Наверное, оно складывалось из тех невидимых глазу моментов, которые заставляли всю деревню выносить тело покойного отца на мазар на руках, уважительно говорить о нем — не по печальному случаю, а от чистого сердца — Зиновия Николаевича и Анатолия Никандровича, преданно любить его даже такую суровую женщину, как мать... Но, конечно же, в данное время дело отца значило прежде всего защищать Василькова. И хотя на мгновение перед глазами возникла идиллическая картина шествия Ивана Прокопьевича с Илемби по улице Хыркасов — она легко шла впереди, словно выбирая тропинку, а за ней грузно, но уверенно топал он,— все это было пустое, несущественное.

— Иван Прокопьевич, вы не отчаивайтесь. Правда все равно на вашей стороне, только за нее придется немного побороться,— как мог попытался Арыслан успокоить Василькова, глядя ему в покрасневшие от нервного напряжения глаза.— Давайте снова напишем кассацию в Верховный суд республики. По-моему, там сидят более объективные, а главное — независимые юристы. В прошлый раз, кажется, помогла такая жалоба.

— Оно конечно,— согласился Васильков. Тут же, безнадежно вздохнув, уточнил:— Кнут будто бы повернул в другую сторону, да хвостом меня же и ударил. Вот дело-то какое... Потому я и решил посоветоваться с тобой. Поскольку Виктора Васильевича теперча нет, с кем же мне... Вот и думаю: писать ишшо раз эту самую... кассацию аль нет? Может, все обернется по-прежнему. Так это мне только лишняя нервотрепка и лишний позор. Опять же людям беспокойство. Сам-то я не справлюсь с таким делом. Адвокатам всяким не доверяю. Все они только на первогляд разные дела делают: кто обвиняет, кто защищает, кто судит. А на самом деле все под одну дудку пляшут.

— Нет, дорогой Иван Прокопьевич, за правду надо бороться. Просто так, похоже, она не приходит. А за кассацию вы не беспокойтесь, ее я сам напишу,— пообещал Арыслан.— Суть дела знаю подробно. Вот только копию решения суда бы еще иметь.

— Да вот копии пока что нету. Сказали, через три дня можно получить,—виновато объяснил Васильков.— Я бы мог рассказать, как все было на суде. Да вижу, мешаю товарищам твоим работать...

Арыслан подумал немного, взглянул на часы и предложил: — Вот что, дорогой Иван Прокопьевич. Я понимаю, вы спешите, хотите успеть на последний рейс автобуса. Но у нас тоже рабочий день подходит к концу. Давайте я провожу вас до автовокзала. По пути и расскажете, как проходило заседание суда. Потом я напишу черновой вариант кассационной жалобы. Когда получите копию решения суда, мы вместе прочтем ее, внесем, если надо, коррективы, и вы отнесете жалобу в нарсуд. Так что не беспокойтесь, вполне успеем представить ее в положенное время.

Так и сделали.

Оказалось, судили-то Василькова в Башколе уже второй раз. Первое заседание состоялось еще недели две назад. Но тогда в составе суда какой-то дотошный заседатель оказался. Все расспрашивал до мелочей и Василькова, и приглашенных в качестве свидетелей Шакурова, главбуха и бывшего директора райбытуправления, и директора «Объектива» Зубову. Видно, он целиком встал на сторону фотографа, склонен был полностью оправдать его. Осталось только принять решение, но тут что-то случилось с судьей. Он вдруг вспомнил, что вызван в какие-то высокие инстанции и, извинившись, закрыл заседание, пообещав, что при первой же возможности завершит его.

Эта «первая возможность» нашлась только через две недели. И теперь получилось не продолжение прерванного, а совсем новое заседание с новыми заседателями. Эти во время суда сидели совершенно молча и даже не шевелясь, словно каменные истуканы, опущенные к тому же в воду. И случилось то, что случилось: Василькова признали виновным во всем.

— Но ведь так нельзя делать! Даже я знаю: дело до конца рассматривают одним составом суда. Тут же белыми нитками шито желание во что бы то ни стало засудить вас, Иван Прокопьевич!

Возмущению Арыслана не было предела.

— Да ить откудова же мне знать...

— Вообще вам надо было отказаться от башколинского суда. Вы же, если и нарушали что, так в Айдаровском районе, там работали, там живете. Попросили бы, чтобы свой суд рассматривал дело. Разве не понятно, что судили вас в Башколе только потому, что здесь под рукой у республиканской прокуратуры есть покладистые судьи.

— А разве можно выбирать суд? И зачем? Ведь законы везде одинаковые...

Ну что ты скажешь ему! Пожилой человек, Арыслану в аган годится — и такая беспомощность. Впрочем, что теперь, после пожара, толковать. Сейчас Ивану Прокопьевичу надо просто помочь.

Еле-еле посадив Василькова в автобус как участника войны, о чем пришлось помимо воли Ивана Прокопьевича почти что насильно втолковывать не желавшему даже слушать контролеру, Арыслан от автовокзала домой пошел пешком.

Стояло как раз то время, когда вакхалыхский крестьянин решался резать скот на мясо. Морозец был не сильный, но устойчивый. С непривычки пощипывало кончики ушей. Кругом все уже было покрыто тонкослойным пока снегом. Казалось, это волшебный маляр прошелся кисточкой по земле. А снег, сверкая миллионами хлопьев под лучами только что включенных уличных светильников, не спеша, выбирая место, продолжал сыпаться вниз и придавал окружающим домам, оголенным с осени деревьям стерильно чистый, благородный вид. Под ногами еле слышно похрустывало. Чуть заметный ветер дул в сторону скопища промышленных предприятий, унося их дымы, копоть и запахи куда-то в поле, и дышалось легко и свежо. В такую погоду при неторопливой ходьбе хорошо думается. Арыслан даже не заметил, как прошли сорок минут, но

когда он подходил к своему дому, в голове уже был готов текст кассационной жалобы.

Дома прямо у двери он столкнулся с Вероникой. Она, видно, собралась куда-то идти и была уже одета. В ладном полушубке из белой овчины, в светлых штанах с кармашками в самых немыслимых местах, в причудливых сапожках с голенищами толщиной чуть ли не в два пальца, в иссиня-белой норковой шапочке, Вероника чем-то смахивала на современную Юрпиге[42].

— Пап, ты там не заметил парня такого... ну, в простой одежде?— сразу спросила «Юрпиге».

— Где это «там»? В какой это «простой одежде»? — полушутя переспросил Борис Викторович.

— Да на улице, у подъезда,— недовольно сморщила нос — совсем как мать — Вероника.— В таком, знаешь, суконном полупальто, в кроличьей шапке, в брюках от обыкновенного костюма...

Борис Викторович неопределенно пожал плечами:

— Знаешь, не заметил. Я и не смотрел по сторонам. А что, этот парень...

— Да не-ет, что ты!— фыркнула Вероника.— Просто ходит за мной по пятам. Нужен он мне, вакхалыхчонок!

Такое объяснение сначала несколько обескуражило, затем возмутило. И Арыслан помимо своей воли завел с дочерью довольно-таки длинный разговор.

— А ты сама кто же будешь?— прищурив глаза, зло спросил он.— Разве не вакхалычка?

— По бумаге, конечно, да,— снова фыркнула Вероника. Посмотрев внимательнее на отца, видимо, сообразила, что к чему, и тут же спохватилась:—Я не в том смысле. Я имею в виду, что он из деревни. А я? Как бы то ни было, в городе воспитана. Совсем другой круг интересов, другое поведение в обществе. Если бы не слово в паспорте, никто бы и не узнал, что я не русская. Слава богу, на вид порода наша европеоидная.

Арыслан готов был взорваться, накричать на дочь за такую ахинею. Только давным-давно понятое, что современную молодежь криком и руганью не возьмешь, остановило его. Однако и не ответить как-то дочери означало согласиться с ее примитивными взглядами. Поэтому он повел этот внезапно возникший разговор совершенно по другому руслу, чем хотелось в душе.

— А он, твой воздыхатель, говоришь, из деревни? — спросил Борис Викторович беспристрастно.

— Вот именно!— воодушевилась Вероника.— А тоже

лезет с разговорами.. Видите ли, очень нравлюсь я ему.

— Это же вроде бы хорошо, когда ты нравишься парням,— будто бы ничего не понял Борис Викторович.

— Да? Хорошо? Это же, папа, просто оскорбление, что такой смотрит на меня как на ровню,— возмущаясь то ли на незадачливого ухажера, то ли на непонятливого отца, ответила Вероника.— Так он всех друзей моих от меня же и отпугнет.

— Он кто, совершенно незнакомый тебе человек?— начал подробнее расспрашивать Борис Викторович.

— Да не-ет!— мотнула головой в иссиня-белой норковой шапке Вероника.— Однокурсники мы. Иначе разве осмелился бы он подойти ко мне.

— Учится как?

— Нормально учится. На первом курсе первый семестр на одни «тройки» закончил. Потом подтянулся. Штанов не жалеет, вот и догнал нас. А так он — слабак.

— Может, не в штанах все-таки дело? Может, он просто упорный? В своей сельской школе он, наверняка, не имел возможности получить глубокие знания, как ты в Башколе. К тому же в деревне мало свободного времени и для расширения кругозора. Да и возможностей. Там ведь и дома, и в колхозе постоянно надо работать,— попытался объяснить Борис Викторович.— Однако ты учти: кто с детства работает, тот имеет крепкий характер. Так что, хотя и не знаю твоего ухажера, но вполне могу предположить, что в конце концов он и в учебе, и в работе наверняка обгонит вас.

— Ну и что?— фыркнула Вероника.

— А то, что лет через десять, может, и раньше этот презираемый тобой вакхалыхчонок может стать вашим руководителем, а вы, городская «аристократия» — его подчиненными.

— Фи! Это он-то — руководитель?— рассмеялась Вероника.— Да он же в кафе мясо ест одной вилкой. Представляешь, одной вилкой, без ножа. Тоже мне... будущий директор.

— Насчет ножа, думаю, проблем не будет. Научится. А вообще, если по-настоящему ходит за тобой, он, конечно, дура-ак,— мотнул головой Борис Викторович и, сняв сапоги, прямо в куртке вошел в зал, подошел к окну, выходящему на улицу. Открыв боковую форточку, посмотрел вниз, затем крикнул дочери: — Можешь выходить! Никакого молодого человека в пальто не видно. Похоже, твой ухажер действительно начинает набираться ума.

Послышался сильный хлопок дверью. Кажется, он донял-таки невозмутимую дочь. Может, это хоть чуточку пойдет ей на пользу, собьет спесь...

Арыслан заглянул в детскую комнату. Там сидели Юман с Натали. Вроде бы играли. Тертту Ульясовна, конечно, уже была на работе. В последнее время она играет в спектаклях чуть ли не ежедневно. И настроение у ней стало приподнятое, бодрое. Значит, жизнь ее, похоже, налаживается.

Арыслан зашел в свою комнату, сел за стол, включил настольную лампу, разложил бумаги. Однако фактически готовая в уме кассационная жалоба не писалась. Виной тому был, кажется, разговор с дочерью. Состоявшийся совершенно случайно и как бы между прочим, он почему-то засел в голове здоровенной занозой. Что же это получается? Дочь вакхалыхских родителей не считает себя вакхалычкой? Не это ли острый сигнал бедствия для национального писателя! Здесь и кассация не поможет. Да и против кого ее писать? По крайней мере, как бы то ни было, одним из обвиняемых в сущности является и сам Арыслан. Ведь это он виноват в том, что его дочь не знает толком ни вакхалыхского языка, ни вакхалыхских обычаев. Если в школе не обучали, так надо было ее в детстве на каникулы отправлять хотя бы к дедушке, в Хыркасы, а не в пионерские лагеря.

Но вот Арыслан взял себя в руки, вернее, взял в руку авторучку и начал писать, осваивая непривычный для себя жанр...

На четвертый день снова приехал Васильков, принес из суда копию решения. После этого они вдвоем поправили в жалобе кое-какие выражения, уточнили некоторые детали обвинения и мотивы его опровержения и во время обеденного перерыва Арыслан прямо на работе сам же отпечатал письмо на машинке. Затем Васильков, многократно благодаря Бориса Викторовича, подписал ее и отнес, согласно существующему порядку, в тот же райнарсуд, где его признали виновным.

Дождаться решения Верховного суда по делу Василькова Арыслану уже не пришлось. Сразу после Нового года в Москве начались двухмесячные курсы молодых национальных драматургов. Туда, больше по совету Инжеватова, от Вакхалыхии напросился Арыслан. Поскольку тоже где-то после Нового года в театре Башколы должны были начаться репетиции по его драме, да еще над другой пьесой Борис Викторович собирался начать рабо-

тать, Казачкин не стал возражать. И кандидатура Арыслана для поездки на курсы была утверждена правлением Союза писателей.

ЧЕГО НЕ БЫЛО

Однако автор утверждает,
что все это было

Москва по-прежнему шумела, суетилась. Такой знавал ее Арыслан лет двадцать пять назад, когда проходил здесь службу в армии. С тех пор ему приходилось бывать в столице раза три, не больше, и то мельком, в двух-трехдневных командировках. И, конечно, за это время он просто не успевал замечать ни появления громад новых районов, ни обновления старых. На этот раз времени хватало сравнивать столицу и с Москвой прошлой, и с другими городами страны. И пришел к выводу: город стал более шумным, более суетливым, хотя, казалось бы, куда уже... Быть может, таковым делали его не сами москвичи, а приезжий люд, то есть как раз всякие Арысланы. Но от сознания этого уютнее не становилось. И в метро, и на улицах приходилось ходить чуть ли не бегом, сообразуясь с движением людского потока, иначе тебя толкали, задевали авоськами, сумками, наступали на пятки. Очереди выстраивались такие же, как в Башколе, в троллейбусах и автобусах тоже давили будь здоров... Что касается изменений, они особо не удивляли: столица все-таки. Новые районы ничем не разнились от новостроек Башколы, Казани, Ижевска, Чебоксар, Уфы, разве что были дома повыше да размах пошире. Конечно, магазины, особенно продуктовые, здорово отличались от башколинских. Так сказать, не по форме, а по содержанию. Арыслану даже было странно наблюдать, как московские майры с большой привередливостью рассматривали разные сорта мяса, брали колбасу по двести-триста граммов, не боясь, что ее через час не окажется. И все — без талонов. Можно, оказывается, выбирать кое-что и из одежды, обуви, вещей для дома. Умом Арыслан, конечно, все понимал: вся страна напрягала силы, чтобы сделать столицу достойным великого государства городом. И все же, если смотреть трезво, за эти лишь блага вряд ли стоило стремиться сюда — в тесноту, в суету, в давку, в шум — обычному человеку. Человеку, связанному на работе, скажем, лишь со своим станком (а он и в Москве, надо

думать, такой же), а в быту — с телевизором да с домино. Однако для многих категорий людей Москва — не только более обеспеченный город, но и место, где можно испробовать силу своего таланта и способностей, развиться культурно и интеллектуально. Не случайно и писатели, чуть оперившись, сразу устремляются из Воронежа да Ярославля, из Новосибирска да Свердловска, из Ростова да Саратова сюда, в стольный град, чтобы брать приступом многочисленные издательства и журналы, крепко обороняемые уже обосновавшимися здесь авторами, и осуществить давнишнюю мечту — выйти наконец к Всесоюзному Читателю. Другое дело, многим ли это удается. Но сама возможность достижения этого уже порождает надежду, воодушевляет, подталкивает, словно шайтан, на опрометчивые и непродуманные шаги. И только национальные писатели не имеют даже надежды, поскольку давно прошли те тяжелые довоенные годы, когда в Москве были и национальные издательства, и национальные газеты и журналы, распространявшиеся по всей стране. Теперь их здесь нет, и судьба очертила Арыслану, как и другим представителям литератур малых народов, строгие границы нахождения — границы своей автономной республики. Только там есть единственное Вакхалыхское книжное издательство, только там есть и два тоненьких литературных журнала для вакхалыхов. И если не понравится в них твое творение, все, можешь его, как говорится, законсервировать, надеясь на лучшие времена. Или скрепя сердце переделать в угоду чьим-то требованиям. Если же вдобавок автор сам не понравился редакторам или кому повыше — он может вообще перестать писать. Ну а если и произведение, и автор понравятся... Только Арыслану не помнится почему-то такое!

Одним словом, в этом простота и в этом сложность существования национального писателя. В основном именно это влияет и на его творчество (на всякий случай лучше все-таки сгладить углы), и на его взаимоотношение с товарищами по перу (как бы ни было, а вместе жить), и с начальством (цэка — это секретарь по идеологии обкома партии). Если же национальный писатель создал нечто такое, не входящее в рамки привычных требований, и это нечто не принято в Башколе, то, в отличие от воронежского или саратовского автора, ему просто некуда больше сунуться, проверить себя. И вся надежда тогда остается на толмача. А вдруг возьмет и переведет тебя, да и опубликует в Москве? Хорошо бы, конечно, и принятые вакхалых-

ским народом романы и повести попробовать довести до всесоюзного читателя. Может, они ни в чем не уступают вещам московских авторов? Но это уже, как говорится, песня из другой оперы... Когда местное издательство не приняло его повесть «Синяя дорожка», нашумевшую после журнальной публикации, Арыслан тоже попробовал было напечатать ее в Москве. Но у него «а вдруг» не получилось. Молодежное издательство даже не стало рассматривать ее. Однако неожиданно появился шанс повторить заход и на этот раз совершить удачную посадку. Если, конечно, толмач Инжеватова согласится помочь. И сейчас здесь, в Москве, на курсах, Борис Викторович больше думал не о занятиях. Они проходили вяло, скучно, хотя проводили их иногда вполне именитые драматурги, режиссеры и театральные критики. Вяло и скучно потому, что слушателей, видимо, считали чуть ли не выходцами из далеких джунглей или пустынь, не видевшими не только театр, но даже более-менее приличный город. Хотя почти все заигрывающе утверждали, что пришли на занятие не учить, а на равных поговорить, порассуждать с коллегами из национальных республик, менторское шило так и торчало из мешка. Тем не менее, конечно же, польза от курсов была. Хотя бы в том, что удавалось беспрепятственно ходить во все главные театры столицы, на все их постановки последних лет. А среди театралов известно: лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать... Одним словом, считая занятия повседневной необходимостью, Арыслан больше думал о встрече с толмачом Шимлыхом. Дело в том, что он, по совету Инжеватова работая над «нацоживляжом» повести, не смог отправить подстрочник через него, и теперь надо было отдать рукопись непосредственно толмачу. Арыслан позвонил ему уже на третий день после своего приезда, когда, опять же по совету Солбона Ардановича, сумел приготовить кое-что к встрече, чтобы обстановка, так сказать, располагала... Оказалось, Шимлых находился в Переделкине, в Доме творчества, и должен был вернуться лишь недели через две-три.

Слушателей курсов поместили недалеко от ВДНХ, в гостиничном комплексе «Колос», совсем рядом с известным на весь мир отелем «Космос». Впрочем, что касается известности, приезжающие в Москву из провинциальных областей и автономных республик страны, конечно, больше знают «Колос», чем «Космос», поскольку им часто приходится останавливаться именно в первом. По уровню комфортабельности «Колос» отличается от «Космоса», как ко-

лос от космоса. Арыслан и драматурги из Бурятии, Калмыкии и Чувашии жили в четырехместном номере. Все бы ничего, но о какой-либо творческой работе после занятий на курсах не приходилось даже думать, что очень огорчало привыкшего к ночным бдениям Бориса Викторовича. Похоже, его коллеги по перу и койкам тоже страдали от этого. Зато уж наговорились они. Частенько к ним приходили и слушатели из других автономных республик. Все с удовольствием знакомили друг друга с жизнью своих народов, сравнивали дела в области культуры.

Арыслана поразило то, что у всех этих во многом совершенно разных народов проблемы и болячки зачастую оказывались до удивления схожими. Помнится, когда наконец в школах Башколы разрешили ввести в качестве факультатива вакхалыхский язык, а в начальных классах сельских школ детей начали обучать на родном языке, общественности объяснили, что такое решение принято в Москве в целях исправления ошибок местных властей. Оказалось, такую ошибку допустили в свое время и местные власти других автономных республик... Одинаковая судьба ожидает, видимо, и национальные литературы. По крайней мере пока почти во всех автономных республиках книги на родном языке выпускаются как бы на шагреневой коже. Казалось бы, должно быть наоборот, раз повышается образованность народа, растет число талантливых писателей. Но в том и парадокс, что все в этом деле развивается вопреки здравому смыслу. А в оплате писательского труда сам шайтан не разберется. Первичный тираж книг установлен такой же, как в русских издательствах. Естественно, если читающих на своем языке вакхалыхов в сотни раз меньше, чем читающих на русском, о двойном или массовом тираже вакхалыхские писатели и мечтать не смеют. Вот и выходит, что они за одинаковый труд получают в несколько раз меньше своих русских братьев-писателей... Самое удивительное то, что в союзных республиках большинство этих вопросов давно решено. Чем объясняется такое различие — никто толком не мог понять. Количеством коренного населения? Экономической значимостью? Однако же известно, что иные автономные республики по этим показателям превосходят иных союзных. Успехи братских союзных республик, конечно, радовали, вызывали искреннее желание равняться на них. Но они же показывали, как много еще надо работать вакхалыхам, чтобы создать более подобающие условия для развития своей культуры.

Так на скучных занятиях, в полезных (с точки зрения познания, что такое хорошо и что такое плохо) посещениях спектаклей, в жарких спорах о национальном и интернациональном незаметно проходили дни. И когда недели через три с небольшим Арыслан позвонил по знакомому номеру еще раз, в трубке наконец раздался мужской хрипловатый голос:

— Здесь Шимлых!

Арыслан представился, сослался на рекомендацию Инжеватова.

— А-а, знаю, знаю!— обрадованно заговорил Шимлых, словно связался с давнишним своим близким другом.— Солбон мне писал. Как он там проживает?— Тут же, как говорится, дезавуировал свой вопрос:— Впрочем, подробнее, разумеется, расскажете при встрече. Да, кстати, когда мы встретимся? Я целый месяц поработал от души, так что на денек-другой могу дать себе свободу.

— Я готов встретиться хоть сегодня,— не скрывая радости, сказал Арыслан.

— Сегодня, сегодня... Нет, сегодня не пойдет. Поздно уже. Да и свиданьице... деловое... на сегодня уже назначено. Давайте завтра. В семь вечера. Годится?— предлагал в трубке голос незнакомого пока человека. Но было ясно, что он очень общительный и дружелюбный, как его и описал Инжеватов.

— Хорошо,— согласился Арыслан.— Мне к вам подъехать или...

— Да нет, лучше я сам вас найду,— с полуслова понял его Шимлых.— Дом — это, знаете, не место для деловых встреч... Так где вы живете?

Арыслан назвал гостиницу, корпус, свой номер.

— Фьюи-и!— разочарованно свистнул Шимлых.— Вы живете в «Колосе»?

Арыслан почувствовал, как ему ни с того ни с сего стало неудобно, так неудобно, что на лбу даже выступил пот.

— Понимаете,— заторопился он с объяснением, будто боясь, что собеседник вот-вот бросит трубку,— я ведь тут на курсах. Так что живу, где поместили.

— Ах вон как!— снисходительно пропел Шимлых.— Я ведь в общем-то разочаровался не из-за того, что вы в таком караван-сарае живете. Просто я знаю, что там обстановка не подходит для деловых встреч... А что, если вы переедете в более приличный отель?

— Я бы с удовольствием, но как это сделать?— забеспокоился Арыслан.

— Это мы устроим,— пообещал Шимлых. — Завтра же пойду в Союз писателей, попрошу забронировать для вас достойную для писателя гостиницу...

Через день, с сожалением и с некоторым смущением попрощавшись с соседями по койке, Арыслан переехал в одноместный номер гостиницы «Россия». Правда, заплатив для начала за недельное проживание в нем, ему на всякий случай пришлось отбить домой телеграмму с просьбой выслать денег, так как в Москве предстояло жить еще почти месяц.

Шимлых, как и обещал, появился в тот же день в семь вечера, минута в минуту. Оказался он сравнительно молодым человеком. По крайней мере, на вид ему можно дать не больше сорока лет. Среднего роста, узкоплечий, но с заметно выдающимся брюшком; одет вроде бы небрежно, однако модно. По эмблемам фирм на его куртке, сорочке, галстуке, брюках, сапогах, полушубке, шапке, перчатках, шарфе можно точно определить, с какими странами мы торгуем... Раздевшись, Шимлых показался еще моложе. И только черная кудрявая борода без усов придавала ему некоторую солидность. Да выделялся еще широкий выпуклый лоб, отчего узкое лицо кверху расширялось и становилось как бы треугольным. Небольшие черные глаза, разделенные удлиненным бугристым носом, смотрели почти независимо друг от друга, отчего было несколько неприятно смотреть ему в лицо. Да и сам он вглядываться в собеседника, похоже, не любил, все время отводил глаза в сторону.

Арыслан встретил гостя, помог раздеться. Познакомились.

— Давай будем на «ты». И давай звать друг друга по имени,— сразу предложил Шимлых.— Вообще пора бы нам отвыкнуть от этого барского пережитка величать человека по отчеству.

Арыслан согласно кивнул головой, однако первым перейти на «ты» не решился и жестом пригласил гостя пройти. Тот и без этого топал уже в переднюю, устроился в единственное низкое кресло с высокой спинкой, закинув ногу на ногу.

— Тепло здесь у тебя,— заметил Шимлых.— А на улице — жуть! Мало того что морозец, ветер, собака, насквозь пробирает. Промерз весь. Даже удивительно, как это я

в сосульку не превратился. Не зря говорят, февраль хочет переплюнуть своего старшего брата.

— Может, Юра, коньячку выпьешь для согрева? — воспользовавшись удобным случаем, выставил на журнальный столик пол-литра армянского Арыслан. Заметив, что гость не возражает, вытащил из холодильника и закуску, специально заготовленную в буфете гостиницы: бутерброды с красной и черной икрой, югославскую молочную ветчину, болгарские яблоки.

— О-о, да ты, похоже, царское угощение приготовил! — удовлетворенно воскликнул Шимлых. — Узнаю вакхалыхское гостеприимство, узнаю. Бывало, Солбон тоже так, приедет и требует, чтобы я вообще не выходил из его номера. Скажи, а когда мне в таком случае работать? У меня же авторов — не менее двух десятков, и каждый приезжает в Москву по несколько раз в году. Вот я и хожу к ним лишь по вечерам, после того как наработаюсь за день до чертиков в глазах. А когда надо делать что-то обстоятельно и срочно — вообще убегаю из Москвы. Работаю я адски, можешь мне поверить. Потому иногда разряжаюсь...

После пары глотков коньяка разговор завязался основательно. Вообще Арыслан, говоря современным термином, человек не коммуникабельный. Даже бывая в домах творчества, он до сих пор не завел ни одного настоящего или, как сказал бы Инжеватов, полезного знакомства. Тот же Солбон Арданович из таких поездок возвращался самое малое с десятком новых адресов. Через год ли, через два или три, но каждый адресат в конце концов переводил на свой язык и публиковал хотя бы один его рассказ. Наверное, ничего плохого в этом нет, так поступают почти все, даже Казачкин. Просто вплоть до последних лет Арыслан всегда полагал, что дело писателя — только писать, а если у тебя получилось толковое произведение, оно выйдет само собой, даже помимо твоей воли, так как издатели с руками оторвут его. О, святая наивность! Теперь-то он хорошо понимает, что этого никогда не будет, ибо наши издатели ни с какого боку не зависят от читателя. Но себя уже не переделаешь, в сложившийся характер не вобьешь несовместимые качества.

Однако Шимлых оказался отличным собеседником, о самых, казалось бы, деликатных вещах говорил так просто и обыденно, что Арыслан чувствовал себя с ним весьма просто и свободно. И даже пил почти наравне, хотя к спиртному равнодушен. Впрочем, Шимлых тоже, видимо, не

очень увлекался этим. Когда коньяка осталось в бутылке еще на три пальца, он прикрыл свой стакан ладошкой и сказал просто и окончательно:

— Все, хорош. Я нормалек...

После этого Шимлых посидел недолго, взяв подстрочник повести Арыслана, положил в свой дипломат, начал собираться.

— Борис, будь другом, вызови, пожалуйста, мотор,— попросил он.— А то в наше время, сам понимаешь, из-за этих ста граммов можно запросто влипнуть в историю. Им, кто борется с пьянством, хорошо. У них персональные машины, прямо до лифта довезут. У нас же другие возможности...

«Осторожный, молодец»,— одобрительно подумал Арыслан.

Арыслан проводил гостя прямо до машины, усадил его рядом с водителем.

— До моей хаты — восемь рублей. Так что отдай шефу за хорошее обслуживание червонец,— попросил Шимлых уже из машины. И только когда Арыслан потянулся за кошельком, спохватился и сказал о главном, постучав пальцами по дипломату:— Борис, я все это просмотрю быстренько. Окончательный ответ дам в ближайшее же время. Годится?

На том и уехал, небрежно махнув рукой на прощанье и оставив о себе довольно-таки хорошее впечатление.

У Арыслана в душе — он чувствовал — появилась уже какая-то искорка надежды. Она была готова вот-вот разгореться, и ее приходилось попридерживать, потому как конкретно еще ничего же не ясно.

Ближайшим временем, похоже, оказался уже второй день. Еще утром, когда Арыслан только собирался идти на занятия, позвонил Шимлых и сказал, что если Борис имеет возможность принять, он сможет заглянуть сегодня вечером. Правда, будет с товарищем. В семь часов... Вообще-то Арыслан собирался вечером сходить с другими слушателями на нашумевший спектакль. Но раз такое дело... Конечно же, он согласен принять и Шимлыха, и его товарища. Яснее же ясного: судьба книги важнее просмотра спектакля, пусть и нашумевшего.

Хотя Шимлых, как показалось, не любитель заглядывать в рюмку, Арыслан, помня настойчивые советы Инжеватова, все же опять заготовил бутылку армянского коньяка и приличную закуску, а дежурного по этажу попросил еще заварить хорошего чаю часам к девяти.

Ровно в семь вечера раздался знакомый уже стук в дверь и вошли двое, одним из которых, конечно же, был Шимлых.

— Познакомьтесь, пожалуйста,— подвел он своего товарища к Арыслану.— Это — ведущий писатель Вакхалыхии, лауреат многих премий Борис Викторович Арыслан. А это,— чуть заметно махнул рукой в сторону своего товарища,— редактор желанного нами издательства...— И назвал имя, которое почему-то запомнилось лишь на этот вечер.— Между прочим, Борис, он очень нужный тебе человек.

Арыслан немножечко смутился за то, что он стал «лауреатом многих премий», но не сообразил, как надо реагировать на это, и промолчал, стал радушно приглашать гостей в комнату. Те начали раздеваться, скромно отказываясь от услуг хозяина. Тем временем Шимлых объяснял, почему его товарищ оч-чень нужный человек:

— Понимаешь, Борис, многие наивно полагают, что пошлют рукописи в издательство или в лучшем случае договорятся с начальством — с главредом там или с зав. редакцией — и готово, книга обязательно выйдет, как обязательно рождается ребенок, отлежав в утробе матери положенное время. Ан не тут-то было. Рукопись еще надо рецензировать, затем дать редакционное заключение. Кто ведает этим делом? Рядовой редактор! И напишет он или попросит написать рецензента такое-этакое...— Все, конец книге! При желании самые отличные вещи можно зарубить на корню. Помнится, мне... э-э... помнится мне, одному товарищу дали на рецензию отличный роман какого-то национального писателя о войне. Но автор был слишком гордым и слишком большим законником, пришлось его проучить. И сражен он был одним-единственным предложением. Что-то в этом духе: «Роман, безусловно, написан добротно, читается хорошо, в нем видны и национальные традиции и обычаи; но такие произведения о войне для русского читателя не новы». Каково, а? Ведь рецензент не забраковал роман, а даже похвалил. И к нему не придерешься. А книги — нет...

— Но ведь, Юра, наверное, роман показывал, как тот народ участвовал в войне, как он пережил ее ужасы и невзгоды,— сказал Арыслан.— И во всем этом, наверное, есть какое-то отличие от вообще...

— Конечно, конечно!— не дал ему даже договорить Шимлых.— Я же не об этом. Я о том, что литературу для всесоюзного читателя делают не боги издательские, а мы,

литрабы — переводчики и рядовые редакторы. Потому их уважать надо!

Последнее было сказано то ли в шутку, то ли всерьез — пойми-ка этого разговорчивого Шимлыха.

Пока гости усаживались, Арыслан накрыл стол. Коньяк поставил на этот раз просто так, не ища предлога. Шимлых с другом тоже не восприняли это как неожиданность. Выпили за встречу. Арыслан лишь пригубил свой стакан. Пить, особенно коньяк, нисколько не хотелось. Но Шимлых с другом не замечали этого или не придавали значения.

Гости разговорились. Правда, вначале шли пересуды о делах каких-то московских писателей и издателей. Арыслан старался не вникать в суть разговора. Ему были неинтересны чьи-то сотни тысяч и жадность, чья-то серость и исключительная пробиваемость, необъективная поддержка кем-то за что-то. Обо всем этом тысячи и тысячи раз писалось и пишется в газетах, говорится в передачах радио и телевидения. Говорится, имея в виду все сферы жизни. Нет ничего удивительного в том, что в больном организме поры раковой опухоли проникли и в литературу. К тому же все это знакомо по жизни вакхалыхских писателей, потому надоело до чертиков. Везде уменьшенные в той или иной степени копии с одного большого оригинала, нигде нет чего-то нового даже в плохом.

Когда коричнево-янтарная жидкость осталась лишь на донышке бутылки, разговор, наконец, повернул в интересующее Арыслана русло.

— А ты знаешь, Борис, ведь я друга своего привел к тебе далеко не случайно!— сказал Шимлых, после очередного глотка коньяка с особым удовольствием затянувшись сигаретой.— Вполне может статься, что судьба нашей общей книги будет зависеть от него. По крайней мере, я всегда стараюсь, чтобы переводимые мной вещи рецензировал именно он.

— Я очень рад знакомству,— повторил Арыслан уже сказанное при встрече.— Конечно, хотелось бы, чтобы книга моя подошла вашему издательству. Если она при непредвзятом прочтении все же покажется недостойной внимания всесоюзного читателя, я, право, не обижусь. Мне лишь бы самому понять, чего я стою.

Сказал он это от чистой души. Шимлых только хмыкнул неопределенно, а его товарищ, уставившийся на носок своего сапожка на небрежно закинутой на другую и качающейся ноге, даже не поднял головы. То ли они воспри-

няли слова Арыслана как своего рода игру, понятую с полуслова, то ли их разгоряченные немного мозги уже перестали понимать мысли такой чистой пробы. Но вот редактор наконец заговорил.

— А знаете, не следует вам... так низко ставить себя,— вполне искренне заявил он.— Мне действительно часто приходится знакомиться с подстрочниками произведений авторов малых народов. Скажу я вам, многие пишут вполне и вполне отменно. Во всяком случае, лучше, чем наш средний писатель Иван Иванович Иванов. Кстати, само название «малые народы» тоже звучит... ну... слишком условно, что ли... Возьмите, к примеру, татар. Их же более шести миллионов человек. Чувашей — почти два миллиона, башкир — около полутора миллиона... И если бы они представляли союзные республики...

— Ого, как заговорил!— полушутя-полувсерьез заметил Шимлых, дружески хлопнув его по плечу.— И вообще, разговор у нас сегодня не клеится. Жаль, что горючего маловато.— Затем вытащил из кармана бумажник, пошвырялся в нем.— А денег — тю-тю, только на дорогу. Как-то не подумал, что пригодятся... Как у тебя?— спросил друга редактора, лишь чуть скосив на него глаза, словно бы заранее зная, что тот скажет.

— Мне ведь дражайшая моя больше двух рублей на карманные расходы не дает, сам знаешь,— вздохнул тот без всякого притворства.— К тому же в кассе издательства ежемесячно проводит ревизию по строке моей фамилии...

Арыслан понял, конечно, к чему речь ведется, виновато объяснил:

— Понимаете, Юра, я как-то не подумал, что мы так будем сидеть. Знал бы — запасся получше.

— Борис, у тебя что, на самом деле есть желание угостить нас еще?— тут же подхватил его слова Шимлых. Не дождавшись ответа, скоропалительно предложил:— А знаешь, у вас на этаже, в буфете, продается коньячок в аккуратненькой такой посуде — в плоской бутылочке. Поллитра для нас будет многовато, перегружаться ни к чему, а там как раз всего-то триста пятьдесят граммов...

Арыслан не стал долго раздумывать, прихватил для завертки газету и направился в буфет.

— Да бутербродиков с копченой колбасой прихвати, пожалуйста!— услышал уже в дверях голос Шимлыха.

В буфете, действительно, вина продавались. Так что желание гостей было исполнено быстро. Когда опустошили и трехсотпятидесятиграммовую плоскую бутылку, по-нас-

тоящему разговорился и редактор. Но речь он повел совсем не о том, о чем хотелось бы Арыслану. Гость кого-то начал ругать, называл бездарем, причем так громко, что от него, такого спокойного, казалось бы, трудно было и ожидать. Не только Арыслан, даже Шимлых испугался не на шутку, начал успокаивать товарища своего, во всем поддакивая ему. Минут через двадцать, наконец, у редактора иссякла энергия и он незаметно, но быстро уснул прямо в кресле.

— Пусть отдохнет,— облегченно вздохнул Шимлых.— Перебрал он. А я — нормалек. Ну что ж, через полчаса можно будет вызывать такси.

Где-то через час Арыслан проводил-таки гостей, заплатив на этот раз таксисту пятнадцать рублей.

Когда через пару дней Шимлых снова позвонил ему и сказал, что вечерком, в семь часов, заглянет, Арыслан оказался в полном замешательстве. Бутылку надо доставать или целых две? На всякий случай купил две. Но Шимлых пришел один. Поскольку хозяин не дотрагивался до стаканчика, он выпил лишь полбутылки, после чего твердо сказал: «Я — нормалек». Так что Арыслан еще раз убедился: человек в этом отношении очень осторожный, не перепивает, перед уходом вытаскивает из кармана мускатный орех и долго жует его, чтобы заглушить запах спиртного. Только непонятно: зачем тогда пить?

Так продолжалось еще несколько раз. Все бы ничего, гостеприимства вакхалыху не занимать, но на главный вопрос, успел ли он познакомиться с подстрочниками, Шимлых отвечал всегда односложно: «Ты уж не ругай, старик. Времени пока не было». И лишь когда до конца курсов осталось меньше недели, сказал:

— Да я, Боря, в твой талант и так верю, чего уж там. Раз тебя рекомендовал Солбон... Так что осталось договориться лишь о деталях. Как говорится, уговор дороже денег...

— Я готов,— согласился Арыслан, хотя в душе не очень-то понимал, о чем еще надо договариваться. Берешься переводить вещь, так переводи, если, конечно, уверен, что издательство ее у тебя примет. Если же не уверен, требуй, чтобы автор сам отнес рукопись в издательство и ждал ответа оттуда.

Шимлых, ободренный ответом Арыслана и разгоряченный оставшимся с прошлого раза коньяком, все высказал напрямик:

— Что я тебе за подстрочник не буду платить — на-

деюсь, ты сам понимаешь. Хотя это и положено... но так никто не поступает, в таком случае просто нет смысла заниматься переводом. Расходы на машинистку тоже придется нести автору. И потом... Если в вещах твоих есть недостатки,— а они, не обижайся, у провинциальных писателей у всех есть,— я все доведу до кондиции сам. Потому надо сделать так, чтобы семьдесят процентов гонорара от книги были мои... Для тебя ведь не деньги важны, важен факт выхода книги в Москве. Правильно я понимаю? Это повысит твой авторитет в Вакхалыхии со всеми вытекающими отсюда последствиями. А я в Москве живу. Москва, увы, требует много денег. Еще больше — моя современнейшая жена, черт ее побери, ха-ха-ха!

Да, Шимлых зрил в корень. Для Арыслана, действительно, прежде всего важен сам факт выхода книги в Москве. И все-таки слова толмача его возмутили до глубины души. А может, оскорбили... Почему-то хотелось наговорить ему каких-нибудь гадостей и попросить вон из номера, и больше не встречаться с ним никогда. Но легко сказать, а как это сделать? К тому же когда в таком случае ему удастся еще раз попытаться выпустить книгу в Москве?

— В общем-то, конечно, не деньги главное...— неопределенно ответил он.

— Да ты не волнуйся, старик!— успокоил его Шимлых.— И те тридцать процентов с лихвой покроют твои расходы и беспокойство. Чудак, книга же выйдет массовым тиражом. Да и гонорарные ставки у нас не такие, как у вас...

Его слова почему-то показались упреком за не существующую у Арыслана жадность, и он поспешил как бы оправдаться.

— Я и не волнуюсь, Юра. С чего ты взял...

— Понимаю, что выгляжу хапугой. Все дело однако в том, что я очень хорошо знаю положение дел в разных издательствах страны. Обязан знать, если на этом деле хлеб насущный зарабатываю,— опять без обиняков объяснил Шимлых.— Если бы я переводил автора из союзной республики, я был бы уверен, что спустя пару-другую лет мой перевод после Москвы издастся уже на месте. И я получу за труд еще кое-что. А у вас, автономистов, редко у кого имеется такая возможность.

— Да понимаю я все,— нетерпеливо прервал его Арыслан. Ему уже становилось стыдно за такой разговор, будто он сам затеял его.

— Ну и ладненько. Тогда — нормалек,— удовлетворенно заметил Шимлых.— Напоследок замечу одно: я просмотрел твои подстрочники, правда, весьма поверхностно, лишь отрывками. Показалось мне все же, что нет там, ну, очень мало национального духа. Обычаи, традиции, поведение, одежда, архитектура, вера...— все должно быть разное у разных народов. Я за перевод твоей повести возьмусь не скоро, есть у меня более срочная работа, давно в плане стоит... Но где-то через полгода начну и тебя в люди выводить. Так что ты свою вещь просмотри еще, добавь, где можно, экзотики, местного пейзажа, обычаи вакхалыхцев... Ну, тебе объяснять не надо. Эти мелочи в наших издательствах очень ценятся. А без них просто трудно пробиться...

Арыслан хотел заметить, что по совету Солбона и так уже много поработал над этим, но, посмотрев в непоколебимо уверенное лицо Шимлыха, лишь попытался как-то оправдаться:

— Видишь ли, Юра, когда наш народ еще при Иване Грозном добровольно вошел в состав России, он принял и русскую веру — христианство. Естественно, вместе с верой воспринял многие русские обычаи и традиции, а свои, если они не увязывались с христианством, или постепенно забылись, или были приспособлены к новым условиям. Да и природа у нас типично среднерусская...

— Все равно подумай,— решительно прервал его Шимлых.— Без этого оч-чень трудно будет протолкнуть твою повесть. Она ведь не просто должна выйти на русском, она еще должна показать русским читателям жизнь вашего народа.

На том и попрощались, кажется. Впрочем, может, говорили еще что-то несущественное, но больше ничего не запомнилось.

Хотя, возможно, с выходом книги теперь все обстояло благополучно, желанного удовлетворения не чувствовалось. Вместо этого в душе было опустошение, недовольство собой и полнейшее разочарование.

СМЕСЬ БЫЛИ И ВЫДУМКИ

Специально для московского толмача Шимлыха. Автор надеется, что читатель сам разберется, где здесь быль, а где выдумка

Когда до отъезда из Москвы осталось времени немногим более суток, Арыслан вдруг вспомнил двоюродного брата Зиновия Николаевича. Ему стало стыдно, так стыдно, что хоть провались в преисподнюю. Ай-вай-вай, как же он, вакхалыхин, сын вакхалыха, мог такое допустить: за два месяца ни разу не побывать у двоюродного брата, которого раз в жизни уже видел! Да он же не должен был вылезать из его квартиры, не должен был знать, где находится хотя бы одна гостиница в Москве! Тем более Зиновий Николаевич, будучи в Хыркасах на похоронах Виктора Васильевича, горячо и настойчиво просил обязательно заезжать к нему, если придется побывать в столице или на близком от нее расстоянии. Скажем, в Ленинграде или в Киеве. Иначе, мол, будет чувствовать себя кровно обиженным. Говорил он это, конечно, не ради красного словца, ибо даже самый дальний родственник для вакхалыха дороже, чем влага для почвы, цветок для пчелы, ветер для мельницы. Вообще-то, если сказать точнее, Арыслан помнил о приглашении двоюродного брата все два месяца пребывания в Москве, но постоянные занятия, коллективные выходы в театры, встречи с Шимлыхом отнимали почти все свободное время. Будь проклят тот, кто научил человека ставить деловые интересы выше законов вгостихожденства! Однако, как гласит железнодорожная мудрость, лучше поздно, чем никогда. Придется все-таки совершить этот обязательный визит. Откладывать его дальше было некуда, и Арыслан, воспользовавшись последним свободным днем, по добрым традициям любых московских курсов даваемым как бы на посещение магазинов, после обеда позвонил на квартиру профессора и, получив приглашение приехать сейчас же, немедленно, вышел из гостиницы.

Надо заметить, к этому времени привезенные с собой и полученные дополнительно из дома почтой денежные запасы у Арыслана иссякли почти полностью, поскольку он при встречах с Шимлыхом беспрекословно придерживался законов вакхалыхского гостеприимства. Потому по пути пришлось заехать в ломбард и заложить там свое пальто. Иначе на что купил бы Борис Викторович подарки

для дорогого двоюродного брата и членов его семьи? А вакхалыхин не может позволить себе заявиться в гости с пустыми руками. Так требуют законы вгостихождества. Впрочем, Арыслан знал, что по законам гостеприимства Зиновий Николаевич все равно оденет его во что-то верхнее, которое наверняка окажется намного лучше его пальто, купленного, дай бог памяти, лет пять или шесть назад. Не выпустит же он дорогого гостя на мороз в одном костюме. Так что из-за завязавшейся экономической связи с ломбардом Арыслан материально никаких убытков не терпел. Важно было лишь не схватить воспаление легких до приезда к двоюродному брату.

Невозможно описать на другом языке, даже таком богатом как русский, радушие и гостеприимство вакхалыха, тем более долгое время живущего вдали от родины и все же не растерявшего под давлением соблазнов большого города вековые традиции и обычаи диких степей и гордых гор. Поэтому мы просто не будем браться за это неосуществимое дело. Скажем лишь, что столы гнулись под тяжестью яств и напитков, наличие многих из которых в Москве трудно даже представить.

Немало песен вакхалыхов лесных и степных, горных и долинных было спето, немало было вспомянуто из их жизни, прежде чем Зиновий Николаевич таким образом невесть кому излил истосковавшуюся по родным местам душу и братья перешли на деловой разговор. Без этого, просто так, проводить застолье даже в честь редкой встречи считается делом пустым и никчемным. После долгих оправдательных объяснений, которые пришлось дать по поводу столь позднего и теперь уже по существу единственного за эти два месяца визита, Арыслан рассказал наконец, чем занимался все это время в Москве. Дошел черед и до переговоров с толмачем Шимлыхом, о встречах с ним и с его другом.

— Вах-вах-вах! Слушай, да он законченный негодяй!— гневно воскликнул Зиновий Николаевич, узнав, на каких условиях толмач берется переводить книгу Арыслана. Тут же, несмотря на солидный возраст, весьма резко встал, крикнул жене:— Где мой кинжал? Я сейчас же еду к нему и потолкую кое о чем. Узнает он у меня, что деньги заставляют долбить камень[43].— Затем спросил у Арыслана:— Кстати, брат Борис, дай-ка мне его адрес.

Он, московский профессор, в эту минуту был по-настоящему красив в своем искреннем негодовании и возбуждении. Взгляд его был зорче орлиного, вся фигура вздра-

гивала, словно тело готового к броску тигра, все еще нет-нет да и захаживающего в вакхалыхские ялы и даже города, а голос напоминал трубный глас могучего слона, готового защитить своего подопечного от любого хищника.

И супруга Зиновия Николаевича, и Арыслан, зная, как бурлит в таких случаях горячая кровь в теле настоящего мужчины, не на шутку встревожились. Ведь Москва — не степи, простирающиеся далеко к югу от Башколы, и не непроходимые леса, тянущиеся к северу, не неприступные горы на востоке и не широкая могучая река с крутыми водопадами, что протекает на западе маленькой автономной республики. И жить в этом огромном, многомиллионном городе следует по людским законам, а не по законам природы. А понятия чести, справедливости у людей зачастую совсем другие, чем у могучей и слабой, мудрой и наивной, беззащитной и мстительной одновременно природы. Если же профессор Львов, прожив столько лет в цивилизованнейшем городе, не понял этого до сих пор, ему, конечно же, живо напомнят об этом и милиция, и прокуратура, и суд, с которыми обязательно придется иметь дело, столкнись он в таком буйном гневе с Шимлыхом. Напомнят и будут правы, потому как человек — homo sapiens — не просто часть природы, а высшая ступень живых организмов на Земле, может, и во всей Вселенной, субъект общественно-исторической деятельности и культуры.

Примерно так успокаивали они оба Зиновия Николаевича, который, вспомнив наконец о своей общественной сущности, хоть и согласился не ходить к толмачу с кинжалом, тем не менее обещал при случае поговорить с ним по-мужски и примерно проучить негодяя так, что его кипеть в качестве жертвоприношения не примет.

— А ты, брат Борис,— велел Арыслану,— завтра же забери у него свои подстрочники и перешли их мне. Я, конечно, с литературными кругами связей не имею, но с издателями кое с кем знаком. Да и в землячестве у нас есть люди, не чета твоему Шимлыху, думаю, они смогут нам с тобой помочь в любом деле.

— А большое оно, землячество?— надеясь окончательно увести двоюродного брата от толмачевского вопроса, спросил Арыслан.

Зиновий Николаевич посмотрел на него своими голубыми глазами, в которых уже не сверкали молнии гнева, а искрились теплые, переполненные искренним желанием помочь, лучи, и успокоенно сел на свое место за столом.

— Ты же знаешь, в Москве и в Подмосковье живут десятки тысяч вакхалыхов. К сожалению, через землячество мы поддерживаем связи лишь примерно с тысячью человек,— охотно объяснил он Арыслану.— Да ты не волнуйся, среди них есть действительно влиятельные люди. Член-корреспондент Академии Наук, директор крупного завода, главный редактор одного политического журнала, работник приемной секретаря ЦК и даже директор крупного торга. Так что поможем мы тебе, обязательно поможем. Не такое, уж, думаю, сложное дело издать хорошую книгу вакхалыхского писателя на русском языке.

Его бы устами да мед пить... Как бы ни было, уверенный тон двоюродного брата вселял надежду, успокаивал.

— Но ведь и такая помощь окажется... как бы это сказать... не совсем честной,— все же засомневался Арыслан.

— Почему?— искренне удивился Зиновий Николаевич.— Разве помощь землячества — это плохо? Ведь мы хотим помочь тебе издать книгу не из-за того только, что ты вакхалыхин. Главное здесь — качество твоей повести. Не мы же виноваты, что Москва трудам не верит... Ну хорошо,— вдруг он сменил тон.— Скажи, Борис, ты сомневаешься в том, что я настоящий профессор? Кстати, ты читал какие-нибудь мои труды?

— К сожалению...— развел руками Арыслан. Он в это время готов был провалиться сквозь землю. В самом деле, что же он за вакхалыхин, если не знает, чем занимается дорогой двоюродный брат, которого видит уже второй раз. Отец бы, например, никогда не дошел до такого позора на весь род.

— Ну хорошо,— понял его состояние Львов. И, как любой истинный вакхалыхин, великодушно простил близкого человека за его крупный промах.—Но верь мне, что все мы — и член-корреспондент, и я, и директор предприятия, и главный редактор, и даже директор торга — все мы настоящие, соответствуем своим званиям и должностям. Даже чуточку больше. Иначе кто бы нас выдвинул здесь, в стольном граде, где и талантливых, и бесталанных соперников — хоть пруд пруди. Но, правду скажу, несмотря на способности, многие из нас не стали бы теми людьми, каковыми мы являемся, если бы не дружная поддержка нашего сплоченного землячества. И, на мой взгляд, ничего в этом зазорного нет, наоборот, мы всегда должны действовать именно так и только так.

И он подробно начал объяснять, почему.

— Иначе мне бы никогда не стать профессором по своей специальности,— убежденно сказал Зиновий Николаевич,— потому как у нас в Вакхалыхии такие проблемы нигде не изучаются. Тебе не стать известным всей стране писателем, ибо ты пишешь лишь о вакхалыхском народе. Кому-то не стать дипломатом, так как автономные республики не поддерживают дипломатических связей с другими странами. Да мало ли что... А ведь наши люди тоже не хуже других могут заниматься всем этим. Не только могут, но и успешно занимаются... Впрочем, в области науки, например, дело обстоит проще: поступи в любой вуз страны и действуй дальше, используя весь свой умственный и трудовой потенциал. Только в этом случае ты уже не вакхалыхский ученый, а ученый всей страны... В области же литературы и искусства, к сожалению, сложнее. Ведь национальную культуру просто так, вообще, невозможно развивать. А чтобы развивать ее на национальной основе, нужна база. Да-а... А база в Вакхалыхии,—заметил профессор,—прямо скажем, слабая, очень слабая. Надеюсь, пока.

Арыслану, конечно же, все это известно до боли в душе. Известно также, что вакхалыхская творческая интеллигенция давно пытается хоть что-нибудь сдвинуть в этом деле. Вроде бы есть даже кое-какие надежды на лучшее. По крайней мере, когда во время этих курсов состоялась встреча с работниками Министерства культуры РСФСР, Госкомиздата, Гостелерадио, творческих союзов, последние, похоже, были просто удивлены наличием многих проблем на местах. При этом они напомнили, что теперь на развитие культуры обращается больше внимания, и в один голос утверждали, что на этом фоне, естественно, расцветет литература и искусство и национальных республик. Нужно, мол, только ходатайство соответствующих органов автономных республик и многие вопросы будут рассмотрены незамедлительно. Правда, оставалось непонятным: почему опять же все должно решаться только в Москве? И тем не менее, как говорится, надежды юношу питают...

Однако за этим обильным застольем разве поговоришь обо всем. А уж решить — тем более мало что решишь. Тут не народные проблемы, хоть свои бы попытаться сдвинуть с мертвой точки... Главное, Арыслан понял одно: Зиновий Николаевич готов помочь ему не на словах, а на деле. И он был благодарен за это двоюродному брату от всего сердца, чувствовал себя его должником на всю жизнь.

Домой, в Башколу, Арыслан вернулся в новом овчин-

ном полушубке, подаренном Зиновием Николаевичем, и в весьма приподнятом настроении. Во-первых, получалось, что Борис Викторович, хоть и израсходовал все деньги не по назначению, выполнил заказы жены и детей с лихвой, что имело немаловажное значение для поддержания нормальной семейной обстановки. Хотя побывал он разве что в двух-трех магазинах, а вещей привез столько, что по прибытию пришлось такси нанимать, чтобы довезти их до дому. Это прислали «небольшие подарки на память» Львовы. Причем вещи были самые дефицитные: колготки Чебоксарской чулочно-трикотажной фабрики, полушубки Казанской меховой фабрики, сапожки объединения «Вахалыхобувьбыт»... Конечно же, в самих Чебоксарах Казани, Башколе их днем с огнем не сыщешь, а тут — извольте вам: все вместе. Главное же — у самого Арыслана были некоторые новые знания, полученные на курсах, новые представления о путях развития современного театрального искусства, новые надежды о будущем своей книги. Подстрочники, правда, он не сумел забрать у Шимлыха и передать двоюродному брату, так как, позвонив перед отъездом, не застал толмача дома. Тот уже успел уехать в какой-то Дом творчества. Но это не беда, можно сообщить о своем отказе сотрудничать с ним письменно. Если же высылка подстрочников задержится, у Арыслана есть копии.

Однако сразу по возвращении он письмо Шимлыху так и не сумел написать. За эти два месяца на работе накопилось столько дел, что, как говорится, дыхнуть было некогда. А затем, после встречи с Инжеватовым, Арыслан снова засомневался в целесообразности отказа от услуг его толмача.

Инжеватов зашел к нему в понедельник, в конце рабочего дня. Он, оказывается, пришел в отделение Литфонда за творческой командировкой «на месяц-другой», попутно заглянул и к Борису Викторовичу. Какой же вахалыхин не зайдет в таких случаях к товарищу.

— Ну как там Москва, на месте стоит?— как всегда, полушутя начал разговор Инжеватов.

— Признаться, даже не понял,— в тон ему ответил Арыслан.— Уж очень разрослись у нее границы. Так что то ли на старом месте она, то ли на новом...

Поскольку в кабинете другой литконсультант беседовал с молодым автором, недавно ушедшим на пенсию и начавшим писать, о его новом романе, Инжеватов предложил Арыслану «выйти покурить». И там, на лестничной

площадке, которая служила курилкой, стал расспрашивать о том, что его интересовало на самом деле, подробнее.

— Ну что, виделся с Юрой? Как он?

Арыслан нехотя рассказал о договоренности с Шимлыхом, стыдливо умолчав об условиях. Однако о них Инжеватов, наверное, сам догадывался, только считал их обычными и вполне приемлемыми.

— По твоему голосу чувствую, что ты не очень удовлетворен,— заметил он.— Что, дорого запросил за перевод?— Тут же охотно объяснил:— Это на него похоже. Но ты особо не переживай. Когда станешь главным редактором журнала, ты свои книги на русском переиздашь еще здесь, в нашем издательстве. И тогда все получишь сполна. А после этого и Юра будет требовать с тебя не больше положенного, потому что убедится, что ты автор надежный, издающийся. Понял?

Разговор этот Арыслану не понравился с самого начала. То ли неуютное место—площадка с разбросанными вокруг единственной урны окурками — тому было причиной, то ли само содержание беседы.

— А с чего ты взял, что я стану главным редактором и начну раз за разом переиздавать свои книги?— неприязненно заметил он.

— С того, что одного из них уже переводят директором книжного издательства,— невозмутимо ответил Инжеватов. Тут же напомнил и о главном редакторе другого журнала:— А второму, если ты не забыл, через полгода на заслуженный отдых... Что касается переизданий, они при твоей новой должности получатся сами собой, помяни мое слово.

Вроде бы добра желал ему человек, а Арыслану хотелось чем-нибудь кольнуть его, хотя бы чуть-чуть поколебать его уверенность, хоть бы на минуту выбить из колеи. Такое чувство тоже иногда появляется у в общем-то доброго душой вакхалыхина. Ангелы и бесы — они ведь друг за другом ходят... Так уж хотелось Арыслану уколоть товарища, а заодно, может, показать, что он может обойтись и без его помощи, что он не удержался, сказал нарочито спокойно:

— Вообще-то, Солбон, знаешь, я ведь решил не воспользоваться услугами твоего толмача.

— Что, не договорились?—забеспокоился Инжеватов.— Неужели он не согласился переводить? Обещал же.

Ага, все-таки занервничал. Ты тоже человек, два уха...

— Он-то согласился,— равнодушно махнул рукой Арыслан.— Да я откажусь.

— Ничего не понимаю,— пожал плечами Инжеватов.— Тебе что, расхотелось издать книгу в Москве?

— Расхотеться-то не расхотелось, да решил я добиться этого другими путями.

— Какими же это?— сыронизировал Инжеватов. Он уже оправился от минутного замешательства и опять стал обычным. Теперь беседовать с ним стало неинтересно.

— Да есть, думаю, другие возможности,— не захотел уточнять Арыслан.

— Ну-ну...— то ли одобрил, то ли начал подтрунивать Инжеватов.

Он, пригласивший Арыслана «покурить», только сейчас вытащил сигарету, задымил, одновременно носком туфли откинув лежащие под ногами бычки к урне. Сильно затянулся, затем из ноздрей и рта начал выпускать дым порциями. Выпустив все, дружески улыбнулся.

— Интересные мы люди,— сказал, теперь уже затягиваясь сигаретой так себе, нехотя.— Столько не видались, а встретились — так даже в таком неудобном месте о деле заговорили. Я ведь, Борис, не за этим к тебе пришел.

— А зачем же?

Арыслан начал считать теперь себя виноватым перед товарищем за необоснованные колкости и в душе облегченно вздохнул, увидев конец неприятного разговора. По вакхалыхским традициям, человек, не сделавший другому ничего худого, не должен чувствовать себя перед ним виноватым, а чтобы не чувствовать себя ни перед кем виноватым, не должен делать никому худого. Но многие люди — кто в большей степени, а кто в меньшей — уже не следуют этой вековой традиции миролюбивого народа, потому как нынешние поколения воспитаны в духе современной цивилизации.

— А за тобой, дорогой мой друг Борис,— сказал Инжеватов.— И за твоей дражайшей половиной.

Показалось, правда, что он долго колебался, прежде чем сообщить это. Словно бы раздумывал, правильно ли поступает.

— Так ведь она...— начал объяснять Арыслан, желая сказать, что Тертту Ульясовна сейчас наверняка в театре и освободится лишь часов в десять вечера, но Инжеватов тут же перебил его:

— В театрах сегодня выходной. А у меня — проходной. Так что поедем. По пути заедем к Тертту Ульясовне, при-

хватим ее. Пока ты соберешься, я из другого кабинета позвоню ей, чтобы была готова... А моя Олимпия там уже с обеда колдует. Я отвез ее туда еще в двенадцать.

— Куда — «туда»?— не понял Арыслан.— Ты что, не домой нас приглашаешь?

— Конечно же, не домой,— с удовольствием подчеркнул Инжеватов.— У меня соседи, сам знаешь, люди солидные. Перед ними я должен выглядеть ангелом. Особенно в наше-то время. А мы гульнем разок по старым обычаям, от души, без тормозов. На даче...

— А в честь чего вдруг?— поинтересовался Арыслан.— И день, как говорится, тяжелый сегодня.

— Приедешь — узнаешь... В общем, через четверть часа я жду тебя внизу, в машине,— не стал вдаваться в подробности Инжеватов и, бросив окурок в урну, в которую, как многие другие, не попал, не спеша пошел вниз по лестнице...

Из города они выехали через час на тройке. Как любой уважающий себя вакхалыхин, Инжеватов держал лошадей. Для них он к своему гаражу специально пристроил конюшню и огородил небольшой дворик, где стоял стог сена, покрытый белым снежным шлемом с торчащей жердиной на макушке. Вообще-то мужчинам подобает ездить верхом, но с ними была Тертту Ульясовна, потому приходилось довольствоваться малым. Арыслан, честно говоря, был даже рад этому. Он много лет не дотрагивался до «всамделишнего» коня и в душе чуточку даже струхнул, узнав о возможной поездке верхом: а вдруг ненароком сколупнешься с седла на самом широком проспекте, на виду у всего честного народа. К счастью, такая угроза миновала, и он полулежал теперь на правом краю спинки разрисованных вакхалыхскими узорами саней, с удовольствием наблюдая, как уверенно ведет тройку рослый гнедой коренник: если еще издали заметит, что зеленый свет светофора начинает мигать, не торопится, как иные буйные головушки, быстрее пересекать перекресток, а тут же притормаживает; перед «зеброй» обязательно остановится, пропуская пешеходов; а когда заметит инспектора ГАИ, фыркнет, приветствуя его, и дружески мотнет головой.

Но вот городские окраины остались позади, и гнедой рванул, увлекая за собой пристяжных. И понеслась тройка удалая! Расступись, кто на дороге! Не мешайте, «Жигули» и «Москвичи»! Запела душа, забыв обо всем, засвистело в ушах, екнуло сердце, когда сани подались в

крен. Эх! «Какой же вакхалыхин не любит быстрой езды!...»— говорим мы в таких случаях, не находя что сказать лучше классика...

Но поехали они не в садоводческое товарищество, как ожидал Арыслан, а завернули в соседний лес. Минут через пять Инжеватов уже остановил тройку у кордона лесника, расположенного на довольно-таки большой опушке.

— Здешний лесник — мой земляк, хороший товарищ. Коней я оставлю у него. Так надежней,— объяснил Инжеватов.— А вас я сейчас выведу на тропинку одну, и вы по ней прямехонько придете к моему домику. Тут недалеко, километра два надо пройти. Не обижайтесь, что одних отправлю: мне еще кое-кого надо встретить. Впрочем, если желаете, можете дождаться меня и других моих гостей, и тогда двинемся все разом.

— Мы лучше пойдем потихоньку,— ответила Тертту Ульясовна и первая ступила на петляющую меж кустами орешника тропинку. Борис Викторович валким шагом пошел вслед за ней.

Шел уже восьмой час, но все еще было светло. Чувствовалось, день заметно прибавил. Впрочем, чему же тут удивляться: идет первый месяц весны. А весна без света и тепла просто немыслима.

Тертту Ульясовна, без головного убора, одетая в модную куртку «аляску», в серые штаны «бананы» из плащевки, из-под которых виднелись как бы являющиеся продолжением штанов серые причудливой формы сапожки на микропорке, шла впереди легко, то и дело поневоле изгибаясь на узенькой, неровно протоптанной тропинке. Так что, глядя на нее сзади, можно было подумать, что это идет стройная молодая девушка. Но Арыслан знал, что этой «молодой девушке» давно уже за сорок, что ей ежедневно все больше и больше приходится массажировать кожу лица, которое, являясь по сути единственным открытым местом, почему-то всегда раньше других участков тела старается выдать возраст человека. Ему не хотелось смотреть на это стройное тело, которое, как ему начало казаться, изгибается даже в местах, где тропинка тянется ровно и прямо. Почему-то ему представилось, что впереди него сейчас должна идти не эта «молодица», а женщина чуть ниже ростом, одетая в обыкновенный синий рабочий халат, в завязанном назад платке неопределенного цвета, в глубоких галошах или в черных резиновых сапогах. И шла бы она не так легко и волнисто, а чуть устало, твердо и надежно переступая ногами... Да, давно он ее не

видел. И ее мужа. Как они там? Чем завершилось «дело Василькова»? Наверное, Верховный суд Вакхалыхии давно оправдал его, и Иван Прокопьевич и думать забыл об Арыслане. Сидят, наверное, сейчас с Илемби за крепко, по-старинному сколоченным дощатым столом и попивают чаек из цветов липы...

От такой мысли у Бориса Викторовича почему-то защемило в груди. Ах, сердце, сердце! И зачем ты такое... сердобольное?

Они уже вышли из леса, за которым сразу начинаются дачные участки. Дом Инжеватова — они знают — находится недалеко отсюда, на третьей улице. Но идти туда не хотелось. Зачем ему, Арыслану, этот дом с его кричащими удобствами и достатком? И вообще надоело ему видеть под носом стройную, моложавую фигуру жены. Надоело!

— Тертту, ты иди, помоги там Олимпии, а я похожу немного, подышу чистым воздухом,— сказал он, остановившись перед оградой садоводческого товарищества.

— А что, я тоже похожу с тобой,— повернувшись к нему, мило улыбнулась Тертту Ульясовна.

— Я похожу один!— непонятно как посмел твердо заявить Борис Викторович.

— Ну хорошо... Если я тебе...— развела руками Тертту Ульясовна, не договорив остального, и, резко повернувшись, почти бегом направилась к калитке.

Арыслан, как всякий настоящий мужчина, не обратил на такие мелочи внимания, медленно побрел вдоль забора по накатанной автомобилями дороге: деловые люди не спали и зимой, все возили сюда то навоз, то торф, то стройматериалы, то мебель.

Природа держалась величаво и спокойно. Сосны и ели, которые в Вакхалыхии были не зеленые, а голубые с желтым оттенком, тянулись высоко вверх. Между ними ярко выделялись не белые с черными поперечными полосками, как обычно, а с черными поперечными полосками белые березы, стволы которых напоминают лебединые шеи, торчащие над прудом. Так, конечно же, может быть только в Вакхалыхии. А воздух! Даже здесь, за широкой полосой леса, отделяющего сады от Башколы, он имеет специфический желто-серый оттенок и соответствующий запах кислого миндаля. Главное же, он отличается высокими целебными свойствами. Это благодаря такому воздуху вакхалыхи живут в среднем в два раза дольше японцев, у которых якобы теперь самая высокая продол-

жительность жизни. Не случайно в свое время в Вакхалыхию будто бы приезжала отдыхать и полечиться королева одной заморской страны, да так и осталась здесь навеки.

Впрочем, понимая, что старания автора все равно не заставят читателя в силу ограниченности его познаний принять многие особенности народных обычаев, традиций и природы Вакхалыхии, мы предоставим ему право поверить в вышеописанном лишь в то, что он посчитает реальным. А сами, не боясь недовольства московских толмачей и редакторов, продолжим писать, обычными заштампованными способами скрывая неумение видеть национальные особенности своего народа, четыре с лишним столетия назад добровольно вошедшего в состав России и принявшего христианство, а также природы среднерусской полосы, в которой по совершенно чистой случайности оказалась наша ВАССР. Писать, естественно, о том,

ЧТО БЫЛО

Другими гостями, которых так терпеливо дожидался Инжеватов на кордоне, оказались известный композитор Селиван Анаслас и главный дирижер музыкального театра Ованес Мегере с супругами. Они все вместе вышли из леса той же тропинкой, по которой полчаса назад прошли Борис Викторович с Тертту Ульясовной. После оклика Инжеватова Арыслан присоединился к ним и через десять минут все они шумной ватагой вошли в садовый домик, который на самом деле оказался настоящим двухэтажным коттеджом.

Уже при входе в нос шибанул букет чудных запахов: жареного лука, пряностей, разносортных колбас, мяса, яблок, апельсинов и бог знает чего еще. В кухонке на веранде, соревнуясь друг с другом, шипели на плите сразу три сковороды. А в зале, недалеко от белокафельного камина, разукрашенного черными литыми узорами из чугуна, стоял уже сервированный раздвижной стол. Он своим богатством и разноцветным блеском затмил даже причудливой формы хрустальную люстру и цветной японский телевизор, висящий на стене, не говоря уже о мягком диване под индийским ковром, чешских полумягких стульях и другой изысканной мебели, каковой у Арыслана даже дома нет и, похоже, никогда не будет. Бутылки с шампанским, коньяком, винами и посольской водкой, с пепси-

колой, которая в Башколе никогда не продавалась, тарелки с мясными и овощными закусками, бутерброды с черной и красной икрой, не наполненные пока хрустальные рюмки и фужеры — все это сверкало какими-то сказочно-причудливыми бликами, поневоле вызывая уважение к хозяевам, могущим всем этим обладать.

— Ну что ж, друзья, прошу за стол. Время ужинать,— пригласил Инжеватов всех широким жестом, когда гости разделись и привели себя в порядок.

Уже за столом Арыслан краешком глаза оглядел всех, невольно сравнивая мужчин с собой, а женщин — с Тертту Ульясовной. Но из этого сравнения ничего не получилось. Люди, собравшиеся сюда на, как говорится, тайную вечерню, оказались все настолько разными, что их просто невозможно было сравнивать.

Арыслана прежде всего интересовал, конечно, Ованес Мегере. В Башколе он человек сравнительно новый. Его пригласили сюда работать года два назад, когда за какие-то провинности сняли местного, в общем-то весьма талантливого, главного дирижера. И вот уже полтора года как в музыкальном театре не ставятся даже те немногочисленные вакхалыхские оперы, балеты и оперетты, которые раньше шли на сцене. Конечно, репертуар зависит не от одного главного дирижера. И все же совпадение это, как говорят в музыкальных кругах, далеко не случайное.

Мегере к тому же и сам бросался в глаза, затмевая других своим внушительным видом. Мужчина в самом расцвете сил — тридцати пяти-сорока лет, почти двухметрового роста, косая сажень в плечах. Крупная голова на короткой толстой шее сидела намертво и при обращении к кому-либо ему приходилось поворачиваться всем телом. А это, похоже, было не легче поворачивания головы, потому что окружность талии у Мегере была раза в два больше окружности груди. И все же он казался весьма егозистым человеком. Дело в том, что большие темно-коричневые глаза, широко расположенные на мясистом лице, торчали словно какой-то выносной оптический аппарат и, вращаясь беспрестанно чуть ли не на триста шестьдесят градусов, создавали впечатление, будто это их хозяин поворачивается то к одному, то к другому собеседнику, успевая замечать все одновременно, что делается в комнате и даже за ее пределами. Мощный горбатый остроконечный нос, резко делящий внушительную площадь лица надвое, широкий рот с мясистыми губами, двойной подбородок, словно бы выросший из груди, придава-

ли Мегере какую-то монументальность, неприступность. А глядя на несоразмерно малюсенькие уши, резко выделяющиеся под коротко остриженными черными курчавыми волосами, невольно думалось: учти, человек этот слышит плохо, и надо приложить немало усилий, чтобы твои слова могли пройти сквозь еле приметные слуховые отверстия.

Полную противоположность являл собой Селиван Анаслас, заслуженный деятель искусств РСФСР, народный артист ВАССР, лауреат многочисленных премий, одно перечисление названий которых обычно занимает несколько минут. Он сидел по правую руку от Мегере и казался мальчиком, норовящим укрыться под мышкой могучего батыра. И только его длинные седые волосы, густая волнистая борода словно бы предупреждали: нет, вы ошибаетесь, человек этот далеко не мальчик. Узенькие глаза Анасласа глубоко прятались под лохматыми густыми бровями и трудно было определить, какого они цвета, куда смотрят, открыты ли вообще.

На Инжеватова можно было и не смотреть. Он, как всегда, являл собой пример жизнерадостности. Худощавый и стройный, выше среднего роста, с постоянно улыбающимся продолговатым лицом, заостряющимся книзу, Солбон, казалось, самим богом создан для того, чтобы служить посредником между такими совершенно разными людьми как Мегере и Анаслас. Его продолговатые, с хитрым прищуром глаза, как и у Мегере, постоянно играли, успевая замечать все и вся, но при этом чувствовалось, что он не просто созерцает или удовлетворяет свое любопытство, а всю полученную зрительную (и слуховую, конечно) информацию сразу же анализирует. Это было заметно хотя бы потому, что Инжеватов постоянно морщил широкий лоб, из-за небольших залысин казавшийся к тому же и высоким.

Из женщин, конечно же, несмотря на солидный возраст, привлекательнее всех выглядела Тертту Ульясовна. Впрочем, на то она и актриса, чтобы уметь держать себя. Но внимательно разглядывать свою жену у Арыслана желания не оказалось. На супруге Анасласа, дородной круглой старушке, он свой взгляд тоже особо не задержал. Беспрестанными охами да ахами больше всех вызывала внимание к себе жена Мегере. Она была довольно-таки высокая худощавая женщина лет тридцати, с невыразительным лицом, так что для ее описания находились лишь шаблонные слова, которые просто нет смысла приводить.

Поражал лишь цвет кожи: белый-белый, словно у иллюминисцентной лампочки. Да и одета она во все белое и светлое. Наверное, это был любимый цвет ее чернявого мужа.

Но ярче всех выглядела, конечно, хозяйка дачи Олимпиада. Среднего роста, среднего возраста и средней полноты, она так и пышет здоровьем и довольством. На взлохмаченных а'ля Пугачева волосах, на мочках розовеньких ушей, сквозь полураскрытые, ярко накрашенные французской помадой губы — во рту, на вызывающе открытой шее, на платье из какого-то финского блестяще-бордового материала, на запястьях и пальцах рук везде что-то сверкало, блестело золотом, серебром и драгоценными каменьями. «Сколько же тысяч на ней?» — невольно подумал Арыслан и сам усмехнулся своей мысли. «Что, и вам показалось смешно, Борис Викторыч?» — спросила его тут же Олимпиада. Оказалось, что минутой раньше Мегере отпустил по ее адресу какую-то милую шутку и как бы получилось, что смысл ее дошел до Арыслана в последнюю очередь... Впрочем, это заставило его наконец отвлечься от никчемушных наблюдений и включиться хотя бы в качестве активного слушателя в происходящие за столом разговоры.

— Ну, если серьезно, ты, Солбон, канишно, прав,— продолжил Мегере уже начатый, видимо, деловой разговор.— Панимаешь, мы вынуждены ставить нацьональный спектакль. Хотя хороших произведений нет, но, канишно, нас заставят...

— Почему же нет?— то ли не согласился, то ли просто решил дать информацию для размышления Инжеватов.— Вот мой хороший друг Селиван Анаслас тут сидит. Написал прекрасную музыкальную комедию. «Черемуха в цвету» называется. Между прочим, на его вещи вакхалыхи всегда пойдут. Весь наш народ вот уже многие десятилетия поет его песни. Его имя в Вакхалыхии знает каждый от мала до велика. Уже одним этим обеспечен успех...

— Да? У тебя, дорогой, есть написанная музыкальная комедия?— повернул свою «оптику» на соседа Мегере.

— Я же еще год назад принес вам партитуру,— робко объяснил Анаслас.— Вы сказали, что посмотрите сами лично...

Мегере что-то вспомнил, дернулся всем телом, даже, кажется, чуть приподнялся со стула.

— Ах, да-да-да!— воскликнул он радостно. Тут же с

сожалением вздохнул:— Но ведь там сплошная пентатоника.

— Что же делать, раз наша национальная музыка на ней основана,— виновато развел руками Анаслас.

— Панимаешь, дорогой, зритель не придет на нашу пентатонику. Мы ставим классику, современных, самых известных в стране композиторов, а все равно зал наполовину пустой. Панимаешь, такой театр отгрохали, а зал наполнить не можем. Нехорошо.

— Дорогой Ованес, потому он и не заполняется, что вы одну классику да известных в стране композиторов ставите,— горячо объяснил Инжеватов.— Их мы видим и слушаем и по телевизору, и по радио, и когда в других городах бываем, и когда другие театры в Башколу на гастроли приезжают. А поставь спектакль на вакхалыхскую музыку — ручаюсь, аншлаг обеспечен. Из самых дальних районов будут приезжать люди. Ты видел, сколько автобусов стоят ежедневно у драмтеатра? Так будет и у вас.

— Да-а... Но, панимаешь...— хотел было что-то возразить Мегере, но хозяйка не дала ему договорить.

— Мужчины, что это вы все про дела? Разве для этого собрались мы сегодня сюда?—нарочито капризничая, перебила всех Олимпиада.

— И вправду, по какому же поводу мы собрались сегодня?— простовато спросила жена Анасласа.

Вопрос этот заинтриговал, конечно, и других. Все с любопытством посматривали то на так и сверкающую всем чем только можно Олимпиаду, то на восторженно смотрящего на нее Инжеватова, будто бы даже не знающего, что она сейчас скажет.

— А повод такой...— игриво сообщила Олимпиада.— Сегодня исполнилось ровно двадцать пять лет, как мы с Солбоном...

— Поженились!— одновременно, будто сговорившись, подхватили ее Мегере и Тертту.

Поднялся невообразимый гвалт. Трудно было даже поверить, что восемь, по существу еще трезвых, человек могут так громко и разнообразно шуметь. Инжеватов поднялся, подошел и встал рядом с женой, поднял бокал шампанского, другой подал Олимпиаде, дождался, пока другие тоже «вооружились» и встали на взвод.

— Так вот, друзья мои!— сказал он, когда у гостей наконец начал затухать пыл восторга.— Вроде бы вчера это было, а прошло четверть века. Но я не в обиде на

судьбу за то, что так быстро летит время. С Олимпией мы живем — дай бог каждому так жить-поживать. Сына вырастили. Правда, рядом с нами его нет. Он военный, в свои двадцать три года — старший лейтенант, служит на майорской должности... Так что все мои заботы теперь — о творчестве. Жена мне в этом деле — первейшая помощница... И если вы искренне желаете нам и дальше такого же благополучия, успехов, здоровья, просим осушить бокалы с шампанским.

Все встали, чокнулись с хозяевами.

— Во здорово!— искренне воскликнул Мегере.— У нас на родине, понимаешь, принято говорить тост гостям. А здесь хозяин сам всех опередил. Как не выпить! Канишно, мы вам, дорогие Олимпиада, Солбон, желаем всего-всего хорошего: кавказского чистого неба над головой, сибирского здоровья в теле, счастья вернувшегося на землю космонавта и таких крупных успехов, по сравнению с которыми ранее достигнутые, понимаешь, покажутся мелочью... За ваше здоровье!

По предложению Инжеватова, тост Мегере закрепили крепкими винами.

— Да вы не беспокойтесь!— приободрили всех хозяева, видя нерешительность Арыслана и жены Анасласа.— Никаких законов мы не нарушаем. Напиться пьяными не собираемся. А чуть-чуть пьют даже те, кто эту борьбу с алкоголизмом начали. Не фужеры же с лимонадом они опустошают, когда произносят тосты в честь высоких гостей.

— И ночевать мы все будем здесь, никакая милиция нас не увидит,—добавила Олимпиада.

Упоминание о милиции здесь показалось неуместным, Инжеватов даже поморщился еле заметно, но недовольства не выказал, поспешил замазать оплошность жены:

— Понимаете, мы собрали сегодня самых-самых близких друзей. Так что давайте повеселимся вместе хоть разок как следует. Без стеснений, без принуждения, по потребностям.

Мегере, очевидно, не поняв, как это он ни с того ни с сего вдруг стал самым близким другом известного писателя, с которым приходилось встречаться разве что на каких-то совместных мероприятиях творческих союзов и организаций, уставился на него своими выпуклыми глазами. Но молчаливая жена подтолкнула его локтем в бок, и он тут же опрокинул рюмку посольской в широко раскрытый рот. Арыслан заметил, что рюмка его заметно

отличается от других по объему. Очевидно, хозяева полагали, что у человека такой комплекции и потребности соответственные. Но даже крепкий организм не может устоять против всепроникающего натиска не менее крепкой жидкости. Вскоре Мегере заметно повеселел. И тут проявился его истинный талант произносить тосты. Вначале он вознес хвалу самой прекрасной и самой блистательной женщине на свете — Олимпиаде. Затем произнес удивительную речь в честь талантливейшего из талантливейших вакхалыхских писателей Солбона Инжеватова. Поскольку после каждого тоста опрокидывались рюмки и фужеры, дальнейшие речи в честь очаровательной актрисы, ведущего композитора и других стали менее связными. Но крепость вин от этого не убавилась, и вскоре все почувствовали настоятельную необходимость выйти просвежиться.

Удивительное это зрелище — зимние дачи ночью. Узенькие, шириной в три метра, улочки по самый верх разнородных заборов занесены пышным снегом. Сравнительно небольшого размера, но в основном все двухэтажные домики слепо глядят черными окнами на словно понарошку залепленные снегом раскидистые яблони, сучковатые вишни, кудрявые черноплодные рябины, еле заметные под белым покровом кустарники. Много их, этих высоко торчащих домиков. Каждый из них не похож на другой, разукрашен, обустроен, обихожен. Все равно почему-то не тянет к ним. Может, потому, что, как показалось в какой-то момент Арыслану, веет от них мазарной прохладой? Ведь все эти дома пустые, холодные, темные. И до самой весны не будет в них никого, кроме вездесущих грызунов да иных чудиков вроде их компании, которые среди зимы вдруг заявятся сюда на денек-другой и растревожат сонную тишину отдыхающих и набирающих силы деревьев и всякой другой растительности. «Надо продать свою дачу, продать немедленно!» — вдруг ни с того ни с сего ударило в голову Арыслану.—Не место писателю среди этого бездушия. Даже летом. Надо купить небольшой домик, хоть с баню, в деревне и жить там, когда захочется работать. Жить, уединяясь, и все же среди людей, в жизненной среде, чтобы в часы отдыха...» Закончить мысль не удалось: впереди громко загоготал Мегере... Они все шли по главной «улице» садоводческого товарищества. Впереди, как Штепсель с Тарапунькой, не спеша вышагивали Мегере с Анасласом.

— ...Мне и говорят: «Так что паезжайте в Башколу.

Вы лучше разберетесь в их национальной музыкальной культуре». Я говорю: «Но это же совершенно другой народ!» Мне говорят: «Ничего. Вы не русский. Значит, ближе к ним стоите. А театр там хороший. Только недавно выстроили. Вы там сумеете развернуться...» Вот я и приехал,— громко рассказывает Мегере.

Инжеватов, взяв легонько за локоть, задержал Арыслана.

— Пусть поговорят одни,— сказал он, имея в виду, кажется, главного дирижера и композитора.

Они пропустили вперед дружно хохочущих после чьей-то шутки женщин и пошли замыкающими.

— Ну так какие такие «некоторые возможности» ты нашел?— спросил Инжеватов.

— Ты о чем?— не понял его сразу Арыслан.

— Да о том, Боря, о чем мы говорили с тобой давеча в Союзе — о делах московских...

— А-а,— только дошло до Арыслана.— Знаешь, я там встретился с двоюродным братом...

И он вкратце рассказал о том, что они с Зиновием Николаевичем решили относительно книги. Инжеватов слушал внимательно, не перебивая, только как-то непонятно хмыкал временами.

Впереди женщины затянули песню. Современную, вакхалыхскую. Ее сейчас поет весь народ — настолько она певучая и задушевная. Поневоле вспомнилось: ее автор, написавший несколько десятков не менее известных песен, пару лет назад подал заявление о приеме в Союз композиторов. Не приняли. Сказали, нет консерваторского образования. А намеком объяснили: нас в республике всего-то четырнадцать композиторов и музыковедов, и то перебиваемся с хлеба на квас, потому как некому исполнять наши произведения. Прием в Союз каждого нового члена для нас равносилен вбиванию клина в и без того узкую щель... А человек все сочиняет и сочиняет. Хоть и не исполняют его песни профессиональные певцы и коллективы, народ поет, каким-то образом узнавая и мелодию, и слова. Вот и сейчас гостьи Инжеватовых, в том числе и жена ведущего композитора, затянули одну из них... Но здесь, в ночной тиши, в этой мертвой зоне она, хотя и исполняется женщинами довольно-таки искусно, звучит чужеродно, отдаваясь неприятным эхом от окружающей лесной стены. Так и тянет оглянуться по сторонам, посмотреть, не видит ли кто их компанию, не осуждает ли за бесцеремонность.

Инжеватов вытащил было из кармана пачку сигарет, но не закурил, сунул обратно. Когда приходилось пить, он старался не травить организм еще и никотином. Расчетливый. И рассудительный. Чем-то он похож на толмача своего.

— Я тебе, Борис, так скажу,— высказался наконец Инжеватов.— Не знаю, сумеет ли помочь тебе землячество. Если бы это было так просто, оно бы давно многих наших талантливых писателей на всесоюзную арену вытащило... Я же в жизни понял одно: если хочешь что-то сделать, в любом деле договаривайся с «мелюзгой», то есть с непосредственными исполнителями. Нужна тебе машина — не ходи к директору автобазы, а иди прямо к водителю, потолкуй с ним... Нужно отремонтировать телевизор — не записывайся в очередь, лучше встреться с мастером... Нужно выпустить книгу — договорись с толмачом. Конечно же, не с каким попало, а с тем, кто способен пробить твой труд... И все будет о'кей. Без волокиты, без нервотрепки. Миллионы людей в стране ежедневно проверяют это на себе и воочию убеждаются, что он и есть самый верный, самый надежный и самый быстрый способ достижения цели. Думаю, и брат твой через земляков сумеет помочь тебе лишь таким путем и никак иначе. Спрашивается, зачем тогда искать добро от добра? Думаешь, так ты что-нибудь выгадаешь? Не-ет, себе дороже обойдется, вот увидишь.

Почему-то не хотелось говорить о делах и топать бесцельно за все еще поющими женщинами. Но, как чаще бывает, приходится делать то, чего не хочется делать.

— ...А все другое, законное, знаешь...— пренебрежительно махнув рукой, продолжил Инжеватов.— Даже если тот же директор автобазы окажется твоим личным другом, он все равно не сможет тебе помочь быстрее водителя. Пока путевку выпишет, пока того же водителя уговорит, пока ты оформишь документы, заплатишь в кассу, выстояв очередь... А у водителя наверняка как раз машина сломается. И не сумеет он, бедняга, ее отремонтировать, пока ты не дашь ему тот же четвертак, за который он тебе сделал бы все чин-чинарем и без всякой волокиты... Я к чему говорю тебе эти банальные истины? Не торопись, Борис, отказываться от Юры. Не зря русские говорят: лучше иметь синицу в руках, чем журавля в небе. Я тебе уже толковал: придет время, ты эту книгу на русском издашь и здесь. И тогда все получишь сполна. А после и Шимлых не будет требовать больше положенного...

— Придет время, не придет... Издашь, не издашь... Это ведь вилами на воде написано. И давай закруглимся на этом,— наконец набрался смелости прервать неприятный разговор Арыслан.

— Да, конечно, конечно... Я в общем-то и не хотел, а все эти лишние градусы виноваты. Не зря мы начали бороться с проклятым алкоголем,— охотно согласился Инжеватов.—Ну-ка, потопаем поэнергичнее, мы что-то здорово отстали.

Действительно, голоса женщин слышались уже далеко впереди. Впрочем, Мегере с Анасласом находились недалеко. Они, похоже, тоже пропустили дам вперед и теперь, стоя на месте, о чем-то толковали, энергично жестикулируя, так что издали казалось, что это беседуют глухонемые. Арыслан с Инжеватовым подошли к ним.

— Я случайно услышал, о чем у вас речь,— сказал как бы между прочим Инжеватов. Хотя Арыслан, все время находившийся с ним, почему-то ничего не слышал.— Я вам еще раз повторяю, дорогой Ованес: если вы поставите музыкальную комедию нашего уважаемого Анасласа, от зрителей отбоя не будет. Почему? Первую причину — об известности автора музыки — я уже раскрыл. Во-вторых, потому, что либретто написано мною. Вакхалыхи — они ведь не только на музыку, но и на содержание текста очень большое внимание обращают. Помня это, я, конечно, знал, что писать. И другое. Если спектакль этот пойдет, о нем все газеты и журналы республики заговорят. Я за это отвечаю. Да вот и будущий главный редактор с нами,— пожал Арыслана за локоть.— Он подтвердит готовность помочь нам. И последнее. В случае постановки «Черемухи в саду» о всех ваших будущих работах в прессе будут только положительные отзывы. За это я тоже отвечаю. Так чего еще раздумывать? Это же будет событие для всего нашего национального искусства!

— Однако... — то ли удивленно, то ли удовлетворенно хмыкнул Мегере. Тут же громко рассмеялся:— Люблю деловых людей, понимаешь! Ну что ж, Селиван, Солбон, пусть всегда в саду цветет черемуха, и на сцене нашего театра будет «Черемуха в цвету».

— Да это же красивейший тост! Краткий, но точный, с истинно глубоким смыслом. Вы просто талант, дорогой Ованес!— воскликнул Инжеватов. Тут же осененно предложил:— Так давайте повернем обратно. После такого тоста обязательно надо пропустить рюмочку. Обязатель-

но!— И крикнул вперед, в темноту:— Дорогие женщины! Уважаемые дамы! Пора разворачиваться!

Через полчаса в садовом доме на третьей улице, единственном среди сотен других, где светился огонь в окне, веселое пиршество продолжилось с еще большей силой. Теперь, когда все необходимое уже было сказано и все вопросы решены, каждый чувствовал себя раскрепощенно, гораздо проще и окрыленнее. Потому и шутки находились самые смешные, и песни пелись самые раскатистые, и голоса получались самые громкие. И раздавался этот веселый гомон из двухэтажного дачного дома далеко вокруг аж до самых вторых петухов.

* * *

Сам шайтан не поймет магию иных людей! Ты вроде бы все взвесил, все учел и все решил, а он скажет тебе несколько слов, всего несколько — и ты уже начинаешь сомневаться в своем окончательном, со всех сторон продуманном решении. Ты даже не знаешь, где засел червь этого сомнения: в голове ли, в сердце ли, в душе — а он знай себе потихонечку подтачивает твою решимость, твое благоразумие, иногда и твою совесть...

Одним словом, после беседы с Инжеватовым на его даче Арыслан так и не написал Шимлыху письмо с отказом сотрудничать, да и копию подстрочника повести Зиновию Николаевичу не послал. Решил немного подождать, все обдумать еще раз. А ведь остановка в ходе наступления зачастую равносильна началу отступления. Арыслан это, конечно, и сам понимал. Однако желание издать книгу в Москве, для всесоюзного читателя, проверить силу своего таланта (если таковой у него имеется) на фоне известных всей стране и за рубежом писателей перетягивало. И здесь,— может, и прав Инжеватов,— лучше, наверное, держаться синицы в руках, чем мечтать о журавле в небе, которого Арыслан вроде бы видел уже немало лет и который почему-то опускался в Вакхалыхии лишь перед писателями, занимающими важные кресла. Похоже, журавль свысока замечал лишь бугры и выступы, да и то довольно-таки внушительные. Хотя, как известно, горные породы как раз и не отличаются плодородием...

Все бы ничего, однако такое неопределенное решение (оно же тоже окончательное на данном этапе!) выводило Арыслана из равновесия повседневной жизни. Он раздражался по всякому поводу и без оного. В силу характера

и воспитания воздерживаясь от вспышек на работе и в общениях с чужими, дома взрывался и пересорился уже с Тертту Ульясовной, с которой и так давно не в ладах, с Юманом, с Вероникой. Только с внучкой Натали отношения оставались прежние: он с каждым днем все больше и больше привязывался к ней, искренне желая, чтобы она выросла не похожей ни на мать, ни тем более на отца, да и на бабушку тоже... Впрочем, ссоры с домочадцами были весьма разные. С Тертту Ульясовной он просто перебрасывался колкостями. Юману постоянно читал надоедающие — сам понимал! — нравоучения о том, как надо жить. А вот с Вероникой у них получился по-настоящему острый конфликт.

...Придя с работы, Борис Викторович заметил, что дома происходит какой-то ажиотаж. Со стены в комнате «взрослых» сняли единственный ковер и постелили им пол детской, то есть комнаты Вероники с Натали. Сюда же перетаскивали самые лучшие, вернее, в самых лучших переплетах книги и устанавливали в старом книжном шкафу вместо вузовских учебников, которые убирались. На столе стояли бог весть где купленные цветы в хрустальной вазе, подаренной Арыслану в день рождения давным-давно, еще когда он работал в газете. Тут же лежала коробка конфет «Птичье молоко», кстати сказать, ранее никогда не появлявшихся в квартире Львовых, поскольку достать их в Башколе было все равно, что найти настоящее птичье молоко на верблюжьем базаре.

— Что это такое творится у нас? — спросил искренне удивленный Борис Викторович, снимая куртку и вешая ее на открытую вешалку у двери.

Вместо ответа к нему подбежала Тертту Ульясовна.

— Ты, отец, не вешай, пожалуйста, свою старую одежду на видное место, — сказала она и тут же забрала куртку, спрятала ее куда-то.

— Все-таки, что это значит? Может мне кто-нибудь объяснить? — теперь уже более серьезно спросил Борис Викторович.

— Не шуми ты, — шикнула на него Тертту Ульясовна. — К Веронике подруга должна приехать. Вот и готовимся встретить.

— Что же это за персона такая, если в ее честь в нашем доме наводится такой марафет? — усмехнулся Борис Викторович.

— Пап, не иронизируй, пожалуйста, — обиделась проходившая мимо с пылесосом в руках Вероника. — Персо-

на на самом деле важная. Жаль, что не подруга она мне. Пока. Но я бы хотела иметь ее среди своих близких.

— Вы совсем заинтриговали меня,— еще больше начал подтрунивать Борис Викторович.— Уж не принцесса ли из заморского королевства к нам явится?

— Ты, отец, не смейся,— серьезно заметила Тертту Ульясовна.— Что твоя принцесса заморская — дочь ответственного работника обкома должна к нам приехать.

— Даже так?!— ехидно воскликнул Борис Викторович.— Тогда давайте еще ковровую дорожку от лифта до квартиры протяните. Из школы пригласите пионеров в нарядной форме, чтобы живым коридором стояли вдоль дорожки и салютовали высокой гостье.

— Тебе все смешки,— обиделась Тертту Ульясовна.— А судьба родной дочери тебя уже не волнует? Или в тебе ничего родительского не осталось?

Это уже что-то серьезное. Судьба дочери, какой бы она, дочь, ни была, конечно же, его волнует. Еще как волнует-то! Беззаботность дошкольницы в ее двадцать один год, учеба из-под палки, окружение из всяких фарцовщиков, металлистов, брейкеров и шайтан знает кого еще, замужество вдогонку за паразитическое ничтожество и, естественно, в итоге развод, начавшиеся сразу же вслед за этим свободные гуляния, начисто забытое (может, и не возникавшее) чувство материнства... Разве может все это быть безразличным для отца, если оно уже оставило десятки отметин на нем в виде седых волос, ранних морщин, нервного тика над глазами, временами появляющихся сердечных приступов, повышенного давления.

— Неужели в судьбе Вероники эта дочь ответственного работника обкома занимает столь важное место, что даже наводится такой небывалый марафет? Будто в отдаленный гарнизон приезжает маршал. Можете вы толком объяснить, в чем тут дело?

— А дело в том,— в тон ему объяснила Вероника, запихивая пылесос в кладовку,— что в институте уже идет распределение выпускников. Я узнала, что по нашей специальности имеется два места в курортный город. Понимаешь?

— Понимаю,— невозмутимо ответил Борис Викторович.— Но при чем тут дочь работника обкома? Не она же вас распределяет. На это есть комиссия.

— Какой же ты все-таки... наивный ребенок, боже мой!— воскликнула Тертту Ульясовна, выразительно прихлопнув белыми узенькими ладошками перед грудью.—

До седых волос и лысины дожил, а ума так и не набрался. Комиссия, конечно же, распределяет. Но не в курортный город. Туда есть кому распределять. Так вот, слушай. Из двух мест одно уже забито. Дочерью этого самого обкомовского работника, о которой ты зря так пренебрежительно отзываешься. А кто еще поедет туда — это уже зависит от нее. Она выбирает себе подругу для нового города. Дошло до тебя наконец?

— Дошло, дошло!— махнул рукой Борис Викторович и поспешил удалиться в комнату «взрослых», где, будучи дома, всегда и находился безвылазно, даже когда ничего не писал и не редактировал.— А кто же этот работник?!— крикнул уже оттуда.— Может, я его знаю?

— Господи, конечно, знаешь. Да что толку от этого,— в сердцах сказала Тертту Ульясовна.— Шибаев это. Зав. отделом торговли и бытового обслуживания...

Действительно, Арыслан знал его и, действительно, толку от этого не было. В том смысле, какой вложила в эти слова Тертту.

Сколько прошло времени — Борис Викторович, углубившийся в чтение недавно опубликованного публицистического очерка Казачкина, не заметил. У него давно уже вошло в привычку читать все новые более-менее значительные произведения вакхалыхских писателей. Но вдруг до него донеслись звуки какого-то оживления, начавшегося после звонка в прихожей.

— Борис, возьми, пожалуйста, Натали к себе. Мешает!— донеслось оттуда требование Тертту Ульясовны.

Борис Викторович вышел, забрал недовольно сопевшую из-за применяемого к ней насилия внучку на руки, и в это время открылась дверь. Вошел... какой-то пожилой солидный мужчина.

— Салам вам!— поздоровался он, виновато откашлявшись.— Простите, кто здесь будет Вероника?

— Это я,— ткнула себя пальцем в грудь Вероника, стоявшая ближе всех к мужчине, поскольку она и открывала дверь.

— Простите еще раз,— сказал мужчина, теперь уже обращаясь только к ней, словно бы других здесь вообще никого не было.— Эльвира Илларионовна просила передать, что, к сожалению, она сегодня не сможет нанести вам визит.

— Кто? Что?— не сразу поняла Вероника, о ком и о чем идет речь.— Ах да... Элка не может сегодня прийти? А вы, простите, кто будете?

— Я — водитель Иллариона Ивановича,— отрекомендовался мужчина.

— А Элка... Где она сама?— растерянно спросила Вероника.

— Она внизу, в машине,— сообщил водитель.

Вероника посмотрела на отца, мать, затем на водителя и вдруг, что-то решив, выбежала на площадку, нажала на кнопку вызова лифта. Но лифт был еще занят кем-то, и она стремглав помчалась вниз по лестнице. Водитель неопределенно пожал плечами и, попрощавшись, тоже вышел. Стоявшей ближе к двери Тертту Ульясовне ничего не оставалось делать, как прикрыть ее.

Минут через семь-восемь влетела домой Вероника. На ней лица не было: белая, как мелованная бумага, губы дрожат мелкой дрожью, глаза набухли слезами... Она пролетела через прихожую, толчком руки открыла дверь в «детскую» комнату и плюхнулась ничком на койку. Худенькие плечи ее задергались нервно, словно осенний лист на ветру. Не на шутку встревоженная Тертту Ульясовна побежала вслед за ней.

— Что с тобой, доченька?— нагнулась она к Веронике и обняла ее за плечи, пытаясь успокоить.

У Бориса Викторовича тоже что-то холодно екнуло в груди, он с Натали в руках поспешил вслед за женщинами.

— Подлая! Чванливая! Гадина! Никчемная девчонка!— истошно завопила Вероника, маленькими кулачками поочередно колотя подушку. Звуки ударов, уходящие в пуховую мякоть и глохнущие в ней, еще больше распаляли ее, и она била все резче и сильнее, крича взахлеб:

— Тварь! Выскочка! Овца! Таракашка!

Это уже не вызывало сочувствия. Наоборот, Борису Викторовичу стало неприятно смотреть на дочь.

— Прекрати истерику!— крикнул он.— Объясни толком, что произошло?

— Доченька, в самом деле, успокойся, не маленькая же,— начала уговаривать ее и Тертту Ульясовна, присев на краешек кровати и поглаживая дочь по плечику.

Вероника повыла еще с минуту и резко села, по-детски поджав ноги под себя. От этого она вдруг показалась совсем-совсем еще маленькой, беспомощной. В какой-то момент у Бориса Викторовича даже сердце дрогнуло от жалости. Что ни говори, родная кровинушка.

— Понимаете, она же разговаривать со мной не захотела!— вытирая глаза кулачками, продолжала всхлипы-

вать Вероника.— Говорит, в «Дубраву» спешу. Завтра, видите ли, ей тоже некогда...

— Что еще за «Дубрава»?— спросил Борис Викторович у жены.

— Да магазин такой есть в районе правительственных дач,— нехотя объяснила Тертту Ульясовна.— По пропускам туда пускают...

Теперь уже взорвался Борис Викторович:

— И пусть себе торопится! Туда ей только и дорога! Из-за этого слезы лить. Не поняла разве, что она не хочет с тобой дружить? И ты плюнь. Надо же кое-какую гордость иметь!

— «Плюнь»... Тебе легко говорить. А как мне попасть в тот курортный город? Если не там, в крайнем случае, хотя бы в Башколе остаться? А то ведь, оказывается, наметили меня в какой-то Айдаровский район направить. Выходит, у черта на куличках мне жить целых три года?

— Во-первых, это совсем не у черта на куличках. В этом районе, между прочим, вырос твой отец,— начал было успокаивать Арыслан, но дочь не дала ему договорить.

— Ну и что?— нервно крикнула она.— Ты-то вырос из района до Башколы, а не наоборот... А эта стерва... Я из-за нее унижалась, клянчила эти конфеты, будь они прокляты. А она: в «Дубраву» опаздываю, некогда...

— А зачем ты унижалась?— вскипел Борис Викторович.— Из-за конфет этих, да и перед ней... Подумаешь, в район пошлют. Везде люди живут. Наши, советские. Ничем не хуже нас с тобой, подруги этой твоей с ее важным отцом.

— Тебе легко говори-ить!— вдруг с новой силой завопила Вероника.— У тебя мозги железные, понятия не имеют о престиже, дефиците! А я человеком хочу жить. Не хуже этих!

Попыталась урезонить дочь и Тертту Ульясовна:

— Доченька, что же поделаешь, мы не в состоянии делать все, что могут другие, дать вам все, что имеют другие. Всего не может иметь никто. Ведь и делать все не может никто. Разве много, например, таких, кто пишет романы, как папа твой? Разве много тех, кто играет на сцене?

Но Вероника не стала даже слушать, снова бросилась на подушку, зарыдала, закричала, затряслась, запричитала:

— Да чихала я на ваши романы и сцены! Кому они нужны? И вообще, зачем вы родили нас, если ничего не

можете? Не можете детей устроить, куда надо, купить им, что надо, достать, что необходимо. Зачем таким людям дети? Заче-ем!

— Замолчи, слышишь, немедленно замолчи!— только и нашелся что крикнуть Борис Викторович, замечая про себя, как бьет в висках, как закипает злоба, ненависть и презрение к этому ничтожеству, к этой родной кровинушке. Он уже решительно подошел к койке, не зная еще, что сделает с дочерью, но зная, что наверняка что-то сделает. К счастью, в это время испуганно закричала Натали, да и Тертту Ульясовна, словно не замечая, что Вероника уничтожающе клеймит и ее, встала, словно бы готовясь защищать.

Борис Викторович как-то сразу остыл, резко спустил плачущую внучку на пол, к бабушке, сильно хлопнув дверью, вышел.

— Ну и шайтан с вами, раз вам не нужен такой отец!— в сердцах крикнул уже из прихожей.— И вообще, надоело все, надоело, надоело!

«Еще не хватало мне в истерику впадать,— спохватился однако вовремя.— Не-ет, надо быть мужчиной!»

Но полностью привести себя в нормальное состояние он уже не смог. Да и как можно успокоиться, когда родная дочь ругает родителей за то, что родили ее. Были бы родители предателями, преступниками или хотя бы неисправимыми пьяницами... Впрочем, не надо об этом. Сейчас лучше всего выйти на улицу, походить. Много раз замечал Арыслан: ходьба — по улицам города или по полям— успокаивает лучше всяких лекарств и самовнушений.

Борис Викторович еле-еле отыскал убранную женой куртку, оделся, вышел. Вниз он спустился, как всегда, пешком.

На улице стало свежо. Образовавшиеся за день на тротуарах лужицы прихватило тоненьким льдом. Как ни старался Арыслан идти осторожно, а все же нет-нет да и наступал на эти слабенькие льдинки: настолько неровным оказался асфальт, что их на каждом шагу образовалось множество. Льдинки ломались под ногами, издавая стеклянную звень.

«А ведь ломается нечто большее,— вдруг подумал Борис Викторович.— Ломается моя жизнь. На работе, в творчестве, в отношениях с близкими — везде все идет не так, как надо, как хотелось бы, как положено тому быть, наконец. Да и в семье... То жена, а теперь еще дочь... Господи, ведь в чем она меня обвинила!»

До Арыслана сейчас все глубже и резче начали доходить суть, смысл, острота высказанного Вероникой упрека. Боже мой, он не имел права на детей? Потому что не может их «устроить куда надо, купить им, что надо, достать, что нужно...» Конечно же, Вероника — избалованная, изнеженная женщина, за всю свою жизнь не заработавшая ни одного рубля. Между тем она много лет вращалась в кругу детей спекулянтов, дельцов, больших начальников и шайтан знает чьих еще. В городе они ведь все вместе и в школе, и на улице, и в кружках разных. Все это, конечно, сделало свое дело. Но, если смотреть на вещи шире, получается, как раз это-то и подтверждает справедливость дочернего обвинения. Справедливость! Обвинения! Пусть брошенного в истерике, необдуманно. В самом деле, если он, отец, в свое время не сумел вытащить свою дочь из того порочного круга, в котором она оказалась, не сумел ей найти настоящих товарищей и друзей, не сумел нацелить на истинные ценности, привить навыки любознательности и трудолюбия, не сумел возбудить желание жить только честно, бороться за правду и справедливость, какой же он родитель? Но как это вообще сделать в наше время?— возразил в душе Арыслану другой Арыслан.— Отделить ребенка от школы, от улицы? А затем от института, от работы? Вообще от жизни? Ведь именно там нахваталась Вероника всего, не отец с матерью прививали ей такие взгляды... Выходит, надо выращивать этаких честных и благородных Тарзанов? Это невозможно. Тогда менять что-то в школе, на улице, в институте, на работе, вообще в жизни? Значит, опять борьба. И она вроде бы идет. Но кто ее ведет здесь, на месте, в Вакхалыхии? Шибаев? Тыхтаман? Стеклов? Может, Инжеватов? Кто конкретно борется за чистое, светлое? Не речами, не книгами даже, а конкретно? И решительно, не бросая начатое дело перед первой же возникшей преградой...

Кажется, кто-то с ним поздоровался. Наверное, знакомый. А он не ответил. Нехорошо получилось... А льдинки все ломаются: дзинь! дзень!

«А у тебя самого есть ли все эти необходимые качества?»— вдруг пришло на ум. Допустим, кое-что, конечно, имеется. Любознательность, например, трудолюбие. Может, в какой-то степени честность. Но вот в отношении борцовских качеств, Борис Викторович, извините... Да, их у него что-то незаметно. Что странно, если перебрать в памяти прошлое, получается, борцовские качества не

прививались ему отцом. А он ведь вон какой был... Теперь-то, после задушевного разговора с отцом незадолго перед смертью, Борис Викторович, конечно, понимает: он старался воспитать сына честным, порядочным, но послушным. Чтобы верил всему, что скажут учителя в школе, командиры в армии, руководители на работе, пропагандисты на политзанятиях, партработники на собраниях... Верил и исполнял. У самого Виктора Васильевича судьба сложилась так, что он почти всю жизнь воспитывал детей в честности и справедливости, но только на примере книжных героев. Да, мечтал с ними о прекрасном будущем. А его, учителя, отношение к окружающей действительности являлось тайной за семью печатями. Он с его прошлым, в котором не был виноват нисколько, удержался-то на воле, быть может, лишь благодаря этому. Конечно, такой человек вряд ли мог воспитать своего сына по-другому. И вот закладка Львова-старшего бьет уже рикошетом на другое поколение. Конечно, Борис Викторович тоже старался привить своим детям честность и порядочность. Но разве мог он с его соглашательским характером вызвать у дочери желание бороться за правду и справедливость? А без этого, получается, честность и порядочность сами по себе еще не всегда делают человека человеком. Ибо будучи не способным сопротивляться всяким соблазнам и гнусностям, которые давят на нас постоянно, со всех сторон, в продолжение всей жизни, в лучшем случае человек становится инфантильным существом, приспособленцем. Еще слава богу, что Вероника не встала на преступный путь, куда зачастую приводит молодых тяга к беспечной и сытой жизни...

«Это что же получается? Выходит, все-таки не в школе и не в улице дело? Выходит, все-таки я сам виноват в том, что Вероника стала такой? В том, что книги свои не могу нигде пробить? Что в свои в общем-то пожилые годы все хожу в литконсультантах? Что Тертту Ульясовна вынуждена сама себе пробивать дорогу? Причем такими методами...» Эй не-ет, так можно перевернуть все вверх тормашками, бога опустить на землю и пустить в болото, а шайтана поднять и поставить на его место.

Да, совершенно запутался он. Совершенно. Чуть что, чуть какая заковыка — и мысли набекрень. Похоже, надо ему основательно успокоиться, отдохнуть, прийти в себя. Но как? Эх, был бы жив отец! Поехал бы сейчас к нему, поговорил...

Пошел мягкий снежок. Слабенький такой, может, и не

снежок вовсе, а просто изморозь. Тем не менее почерневшие под весенним солнцем дороги и тротуары снова покрылись словно белой чадрой. И вдруг кругом стало сразу чисто, светло, хорошо. Много ли надо, чтобы преобразовать мир. Пусть хотя бы на время... А много ли надо, чтобы очистить душу? Допустим, тоже хотя бы на время, чтобы успеть прийти в себя, успеть схватиться, зацепиться за что-нибудь и удержаться, устоять, если нечаянно поскользнулся или получил удар.

«А вот для этого обязательно надо поговорить с отцом. Пусть не живым, а все же надо поговорить. Очень надо! И вообще...»

Такая мысль, появившаяся как бы совершенно неожиданно, вдруг успокоила Арыслана, вызвав взамен душевных переживаний жажду каких-то, неясных еще самому, действий. Он машинально порылся в карманах, нащупал несколько мелких монет, вытащил, рассмотрел их, остановившись под чьим-то светящимся окном. Двушки были. Целых две... Арыслан оглянулся. Справа, совсем рядом, в углу высотного дома стояла телефонная будка с разбитыми квадратными глазищами. Он направился туда, вошел в открытую дверь, с сомнением поднял трубку. Загудело...

— Васьлей Абдурахманович, как хорошо, что вы дома,— обрадованно сказал Арыслан, когда на том конце связи подняли трубку и чуть простуженный знакомый голос Казачкина ответил: «Да, слушаю вас».

— Случилось что-нибудь? Скончался кто из писателей?— встревоженно спросил Казачкин.

— Да нет, что вы...— уже более спокойно начал говорить Арыслан.— Я просто по личному делу.

— По личному? Хм. Ну давай,— согласился Казачкин, тоном все же давая понять, что по личному делу в такое позднее время можно было бы и не тревожить.

Почувствовав недовольство председателя, Арыслан торопливо начал объяснять:

— Понимаете, Васьлей Абдурахманович, мне срочно надо домой, то есть на родину, в деревню... Завтра четверг... Так вот, я хотел отпроситься на два дня. За счет отпуска ли, может, еще каким образом это сделать... На два дня, понимаете?

— А что стряслось-то? Опять беда какая-нибудь? — участливо спросил Казачкин.

— Да ничего особенного не стряслось. Но очень надо. Понимаете?

Арыслан уже и не знал, как он смог бы объяснить свое внезапно появившееся желание, если бы председатель решил уточнить причину.

— Хм.

В трубке стало тихо. Видно, Казачкин размышлял. Или взглянул на телевизор. Судя по всему, транслировали хоккейный матч, и, похоже, в этот момент на экране случилось что-то острое, настолько острое, что шум публики и возбужденный голос комментатора отчетливо раздавались в трубке.

— Ну ладно, Борис, езжай,— разрешил наконец Казачкин.— Вроде бы срочных дел у нас в ближайшем будущем не предвидется. А остальное наверстаешь в выходные. Лады?

— Спасибо, Васьлей Абдурахманович,— поблагодарил Арыслан и, положив трубку, несколько повеселевший заторопился домой. Завтра он выедет в Хыркасы первым же айдаровским рейсом. А пока кое-что надо приготовить в дорогу...

Была ли прямая дорога с большака до Хыркасов зимой — Арыслан не знал, поэтому поехал через Айдарово. На автовокзале узнал, что, оказывается, до его яла теперь ходит автобус. Четыре раза в день. Но дожидаться его он не стал: по расписанию до следующего рейса оставалось еще больше часа. За это время вполне можно пешочком дотопать до дома.

Правда, топать долго не пришлось. Арыслан не дошел еще и до окраины Айдарова, рядом, скрипнув тормозами, остановился знакомый уазик Шакурова.

— Борис, дорогой, садись, успеешь еще походить по этой земле!— крикнул председатель, открыв дверцу. Сам тут же вышел из машины, когда Арыслан забрался на заднее сиденье, пристроился рядом с ним.

Посыпались обычные в таких случаях вопросы: какими судьбами? на сколько? что делать? Арыслан говорил односложно, пытаясь перехватить инициативу, потому что отвечать не хотелось. Да и ответов путных не было. Наконец это ему удалось, и Шакуров начал рассказывать о местных новостях. По его словам, в колхозе дела шли, оказывается, без перемен. Основные планы по-прежнему спускались сверху и висели, словно дамоклов меч, как бы постоянно напоминая: инициативу-то проявляй, но из рамок не выходи! Бумажное болото не поддавалось мелиорации, наоборот, засасывало пуще прежнего («А как же иначе, ведь штаты рапо превышают штаты прежнего рай-

сельхозуправления в несколько раз!»). «Партнеры» по рапо — ремонтники, строители, химики, транспортники так же драли с колхоза «за услуги» три шкуры... Арыслан слушал и верил и не верил ему. С одной стороны, рассказывает не кто-нибудь, а сам предколхоза. С другой стороны, Арыслан каждый день смотрит телевизор, слушает радио, читает газеты, своими глазами видит, своими ушами слышит о послереформенных заметных успехах в сельском хозяйстве. Под конец не выдержал, намекнул об этом Шакурову.

— Эх, мне бы самому побывать в тех местах, где добиваются таких заметных успехов, на зуб попробовать их твердость,— вздохнул председатель.— А может, в самом деле только в нашем районе процветает консерватизм? Может, в других местах действительно дела пошли лучше? Кстати,— толкнул локтем в бок Арыслана,—а ведь о наших крестьянских успехах ты должен знать больше нас.

— Как это?— не понял Арыслан.

— А так. Скажи, с созданием агропрома лучше стало в городе с мясом? Колбасы разных сортов появились? Молоко с нормальной жирностью начали продавать? Ведь прошло немало времени...

— Да, с мясом лучше не стало. Колбасы даже одного сорта нет на прилавках. Молоко все то же, двух с половиной процентной жирностью.

— Вот видишь,— вздохнул Шакуров.— Эх вы, интеллигенция! Газеты, телевизор... А ведь ты знаешь пословицу: вакхалыхин не поверит, пока не пощупает...

Вроде бы дела крестьянские, а не писательские. И все же стало больно и тревожно за первые неудачи сельского хозяйства. Вернее — очередные. Неужто и на этот раз все пронесет пустыми разговорами, словно осенние листья ветром?

— И вообще, нужны эти рапо нам как пятое колесо телеге. Понимаешь, чем эти архисложные мудрствования, надо сделать раз и навсегда одно простое дело.

— Ну-ну? Какое же?— подбодрил товарища Арыслан.

— А такое: сделать крестьянина настоящим хозяином,— резко ответил Шакуров.— Тогда не надо колхоз ставить в одну упряжку ни с промышленностью, ни с ремонтниками, ни со строителями, ни с энергетиками, ни с дорожниками, ни с химиками, ни с транспортниками, ни с пищевиками, ни с торговлей, ни с лесным хозяйством, и шайтан знает с кем еще... Видишь, сколько их получилось.

А я еще не всех перечислил. Разве все это можно запрячь в одну упряжку? Лебедь, рак да щука втроем не смогли телегу сдвинуть... Понимаешь, при всех благих желаниях привязывание нас друг к другу — это все же насилие. А если я хозяин, я сам найду со всеми общий язык. Но — на приемлемых мне условиях. Все просто, как дважды два. Все давно доказано мировой практикой...

— Может, надо торопить перемены?— осторожно заметил Арыслан.

— Пытаемся, Борис, пытаемся. Да ведь... Вот и ты, не захотел же в прошлом году помочь нам, так и не написал статью...

В машине, оказывается, было душно. Лицу, ушам, шее стало горячо. Арыслан давно уже забыл давнишнюю просьбу однокашника, а он, поди ты, все еще помнит. И крыть, когда в глаза говорят правду, нечем. Хорошо, доехали до правления и пора уже выходить. Но так просто прощаться теперь вроде бы не к лицу. Подумает еще, что смывается...

— А как ты сам?— спросил Арыслан.— Семья, дети?

— Семья ничего,— охотно ответил Шакуров.— И сам в порядке. Только вот этой зимой меня что-то по судам затаскали. Два раза в Башколу вызывали в качестве свидетеля. А потом и в третий раз. Уже в Верховный суд. Я аж психанул. Что они, за бездельника меня принимают? Не поехал в третий раз. Чего попусту время тратить? Все уже сказано раньше, в договоре все условия оплаты указаны.

— Ты это о Василькове, что ли?— только сейчас сообразил, о чем речь, Арыслан.

— Да о нем все,— подтвердил Шакуров.— Вот вцепились в человека...

— И чем все это кончилось?— нетерпеливо спросил Арыслан, стараясь подавить в себе холодок неприятного предчувствия. Про те два заседания райнарсуда в Башколе он и сам знал, а вот что решил Верховный суд — ему до сих пор не было известно.

— Я же говорил, что не ездил в последний раз. Но сказывали, виновным признали его. Самого, правда, не видел. Болеет он будто бы...

Честно сказать, такой новости о Василькове Борис Викторович не ожидал. Шел он теперь в отчий дом, не зная, что и думать. Если Верховный суд признал его виновным, тогда, может, все так и есть?

По сравнению с городскими, улицы Хыркасов пока не

очень потемнели. Здесь нет оголившихся асфальтовых дорог и тротуаров, да и снег не посерел от выхлопных газов и промышленной копоти. Но и деревенские улицы выглядели далеко не свежими. По мере таяния и оседания снега дороги все больше покрывались соломой, навозом, щепками, золой. Под лучами все сильнее греющего солнца деревья уже сбросили с себя ночной иней и из-за резкой контрастности выглядели подчеркнуто голыми. Снег резал глаза, но не из-за серебряной белизны своей, а из-за того, что ему приходилось отражать теперь намного больше света, нежели зимой. Дома и постройки крестьян, с лета несколько порастерявшие свежесть красок, выглядели серовато и потому больше стали похожими друг на друга. Это придавало ялу какой-то уют, умиротворенность. Даже обычно сварливые псы, встречающиеся изредка у того или иного двора, чувствовали это, хотя бы для приличия не тявкали на проходящего Арыслана... Родимая сторона! Есть ли на свете что-нибудь милее и ближе твоей простоты!

Все бы ничего, да сообщение Шакурова испортило Арыслану все настроение. Уже не было желания пройтись по улице до отчего дома неторопко, наслаждаясь ее видом и запахами. Ноги сами напористо неслись вперед, а в голове сверлило: «Как же так? Неужто Василькова признали-таки виновным? Что же это такое происходит на свете?» Хотелось быстрее пойти к Ивану Прокопьевичу, встретиться, поговорить поподробнее с ним, с Илемби, разузнать, что и как... А при чем здесь Илемби? Ах да, как при чем, она же его законная супруга... Но Арыслан уже подходил к дому, вспомнил, что тут живет теперь одна-одинешенька его мать, которой беседа с сыном, наверняка, не менее важна, да и приехал он поговорить с отцом, лежащим далеко отсюда, за ялом, на мазаре.

Пелагея Петровна сильно изменилась. Она стала совершенно седой, как ковыль, заметно похудела, хотя, казалось бы, куда еще худеть-то. По тому, как дрогнули мохнатые брови, заблестели спрятавшиеся под ними еще больше сузившиеся глаза, было понятно, что она сильно обрадовалась приезду сына. Но больше ничем — ни словом, ни движениями — этого не показывала. Говорила как всегда мало, будто жалела проронить лишнее словечко, двигалась по кухне не спеша: точно выверенными движениями ставя в только что истопленную печь большой чугун с мелкой картошкой для скотины, глиняный горшок с жарким в связи с приездом сына. Затем прикрыла цент-

ральную вьюшку печи и, отстранив жилистой рукой поднявшегося было помочь сына, вынесла корове ведро теплой болтушки, попутно занесла со двора охапку дров и разложила сушить на печь для завтрашней топки.

Говорить с матерью, оказывается, одно мученье. Раньше Арыслан, в редкие свои приезды все больше проводивший время с отцом, этого как-то не замечал. Пелагея Петровна, похоже, больше любит слушать, выспрашивая нужное короткими фразами: «А дети как?» «Сам-то не хворый, вид у тебя неважный?» «На работе ничего?» Сама даже чисто бабье — новости яла — не рассказывает. Только когда Борис Викторович спросил о Васильковых, буркнула сердито:

— Дак засудили Йывана ни за что ни про что. Как в старые времена. Однако че мне рассказывать-то, сходил бы сам, проведал, ежели седни же не собираешься обратно возвертаться.

— Мама, да я обратно лишь в субботу собираюсь,— сказал Борис Викторович.

— Вот и ладно. Вот и хорошо,— одобрительно закивала головой Пелагея Петровна.— Тогда через часок вот пообедаем, и ступай к ним. Баночку меду прихвати. Кажись, хворый сам Йыван-то, авось пригодится...

Пока мать, то и дело выходя в кладовку, лазая в подполье, готовила обед, Борис Викторович, отстраненный ею от работы, решил посмотреть телевизор. Он, видно, давно не включался: переключатель каналов и ручки регулировки покрылись пылью, трансформатор вообще оказался под тумбочкой, наверное, мешал убираться.

— Ты что же, мама, даже телевизор не смотришь?— удивился Борис Викторович.— Или жалеешь?

— Да че жалеть-то,— на минуту остановившись посреди комнаты, объяснила Пелагея Петровна.— Я же слаба в русском. А для нас передачи не делают. Башкола показывает каких-нибудь полчаса, и то все с Москвой соревнуется. Ты бы, сынок, сказал кому надо: таких, как я, еще немало в ялах-то. Мы тоже хотим знать, что в миру делается. Да и кино любим, еще другое что. Аль мы как люди не интересны им?— Тут же отрешенно ответила сама себе:— Оно, может, и правильно: кому мы нужны, малограмотны да стары. Это раньше, в войну да после нее, все на наших плечах держалось...

Борис Викторович был уже не рад, что спросил. Он почувствовал себя перед матерью сильно виноватым, хотя к телевидению никакого отношения не имел. Но, если

смотреть глубже, здесь ведь речь не просто о телевидении.

— Я передам, мама, кому следует твою просьбу, обязательно передам,— пообещал Борис Викторович и выключил засветившийся многими красками телевизор. Шла любимая им передача «В мире животных», но посмотреть ее перед матерью он не посмел.

После обеда, с каким-то двойственным чувством в душе, Арыслан не спеша пошел по знакомому с лета маршруту.

Васильковы оба оказались дома. Встретили они Арыслана, будто вчера расстались. Иван Прокопьевич был на ногах. Вернее, сидел за столом и точил ножи.

— А то возьмет кто в руки нож и скажет, что нет в доме мужика,—шутя объяснил он.

— Будешь так своевольничать, может статься, в самом деле...— упрекнула его Илемби. Она сидела на табуретке, прислонившись спиной к кафельной стенке печи, и что-то вязала. Обращаясь к Арыслану, пожаловалась:— Врачи сказали, что надобно цельный месяц в больнице лежать. А он ни в какую не поехал. Дома тож лежать не собирается. У самого третий приступ уже случился.

— Нешто мне в постели киснуть, ежели чувствую себя нормально,— оправдывался Васильков.

— Иван Прокопьевич, а ведь сердечный приступ — это точно не шуточки. Я хоть и не врач, а знаю: многие одного-единственного не выдерживают. И ваше хорошее самочувствие — это только кажется так. На самом деле вам надо лежать и лежать, лечиться, жить спокойно, не волноваться. Лучше бы, конечно, вам в больницу,— поддержал Арыслан Илемби.

Иван Прокопьевич отложил свои ножи, брусок, посмотрел на него. Хоть и пытался он казаться бодрым, веселым, а в зеленоватых, обычно живых его глазах стояла тоска зеленая.

— Эх, Борис!— вздохнул он тяжко.— Рад бы жить спокойно, да не получается. Вот говорю себе: плюнь на все, денег, что ли, тебе жалко, не так еще у тебя отбирали... Но не в них же дело-то, вот в чем беда. Ведь раньше не токмо у меня одного отбирали. Теперча получилось, что вор я, обманщик, мошенник какой. Перед всем народом осрамили. Ну как тут не волноваться? Ведь имя-то доброе — оно дороже всего...

Вот попробуй после такого признания расспрашивать человека о самом больном.

— Я понимаю, Иван Прокопьевич, вам тяжело об этом говорить. Но все же, как все произошло-то?— спросил Арыслан.

— Борис, ты не пытай его. Я лучше тебе сама расскажу,— предложила Илемби. Взглянув на мужа, добавила:— Ежели что не так скажу, Йыван меня поправит...

ЧТО БЫЛО

На самом деле
все происходило сложнее. Но боясь, что читатель
не поверит, автор упрощает события

После сообщения Вашурова о том, что дело забрала прокуратура республики и теперь она будет его расследовать, Васильков жил в ожидании какой-то большой и неотвратимой беды, старался внутренне подготовить себя к ней. Но прошла неделя, другая, месяц...— а из Башколы ни слуху ни духу. Все чаще стали вспоминаться успокоительные слова Бориса Викторовича. А он ведь не просто старший сын йолташа, а известный во всей республике писатель. Наверное, знал, что говорил...

Мало-помалу и сердце, и душу стало отпускать, напряженность в ожидании беды сменилась настороженностью, а потом и вовсе надеждой на благополучный исход. Почему бы и не надеяться? Васильков ни у кого ничего не крал, никого не обманывал, за пазухой камень ни на кого не держал. За что же его судить-то... Думая так, Иван Прокопьевич постепенно начал жить нормальной жизнью. Он уже стал радоваться и декабрьскому крепкому морозу, с треском раскалывающему бревна в обхват, и густому снегопаду, на глазах утолщающему теплое покрывало земли, и томленым щам из свежемороженной капусты, вытаскиваемым на обед из горячей еще печи, и сдержанным редким ласкам Илемби. И ожидаемое когда-то ежедневно письмо из Башколы теперь грянуло, как зимний гром. В конверте, как обычно, была лишь бумажка с ладонь. Страшная бумажка. Она приглашала на беседу к судье и одновременно через несколько дней — на суд...

Вообще-то после беседы с судьей перед Васильковым вроде бы снова забрезжила надежда на лучшее. Судья встретил его весьма приветливо, хотя Иван Прокопьевич и опоздал немного: долго пришлось искать в Башколе

недавно выстроенный Дом правосудия, где, оказывается, находились и суды всех районов города.

То ли чувствуя себя виноватым за опоздание, то ли от сильного волнения, сначала Васильков растерялся совершенно, даже в свое оправдание ни слова сказать не смог. Хорошо, судья дотошный оказался, не поленился чуть ли не силком вытаскивать из него слова. Между делом спросил:

— Иван Прокопьевич, а кто вам писал кассацию? Чувствуется, не юрист это. Язык и стиль какие-то не нашенские. Да и жалоба больше смахивает на газетную статью.

— Это мой фронтовой йолташ... Однако помер прошлой осенью. Но мне обещался помочь его сын, писатель,— простодушно объяснил Васильков. Тут же забеспокоился:— Аль надо было только по форме писать?

— Да нет, почему же, можно и так...— задумчиво успокоил судья.— А кто этот писатель? Не тот, кто осенью в газете статью опубликовал? Может, он еще куда-то хочет написать?

— Он самый, Борис Арыслан,— сказал с опаской Васильков, подумав про себя: «Ишшо на него посыпятся беды из-за меня, старого дурака».— А что касаемо его желания, я ничего не могу сказать, поскольку об этом промеж нас покуда разговора не было.

— Та-ак,— что-то соображая, протянул судья. Тут же потянулся к телефону, набрал какой-то номер. Когда на том конце ответили, сказал:— Феофан Петрович, это опять я... Да, как раз беседую с ним. Понимаете, оказывается, его поддерживает известный писатель Борис Арыслан. Так вот я, честно говоря, не знаю, что делать-то...

Человек в трубке начал энергично что-то говорить. Судья слушал его с почтением, но, похоже, не хотел с ним соглашаться, недовольно морщил лоб.

— Все это так, конечно, такой же человек,— сказал он, когда собеседник в трубке замолк.— И все же... Сейчас любят такие вещи печатать...

Человек в трубке заговорил еще энергичнее. Судья порывался ему что-то возразить, но, взглянув на Василькова, поневоле прислушивающегося к разговору, передумал.

— Хорошо, Феофан Петрович, я подумаю,— сказал лишь.— И позвоню, когда буду один...

Положив трубку, он тяжело вздохнул и продолжил беседу с Васильковым. Вернее, закончил ее, заверив, что

Ивану Прокопьевичу нечего волноваться. Я, мол, изучил все дело и вижу: вашей вины вроде бы нет. Если и придется кому ответ держать, так это работникам бухгалтерии. Через них проходили документы. Они должны были контролировать их, а не переписывать на свой лад. Да еще сама дирекция объединения напрашивается на частное определение...

Честное слово, Василькову словно бальзам на душу положили. Будто в кромешной тьме где-то прорезался просвет. Ему разрастись, этому просвету, растолкать все темное за горизонт, ан не тут-то было...

Через несколько дней началось назначенное судебное заседание. Обвинения в адрес Василькова звучали все так же сурово, как и год назад. Одно только перечисление всяких статей, названия и номера которых ему в сущности ни о чем не говорили, порождали холодную дрожь неизвестностью и казенной строгостью. Подлила масла в огонь и директор Зубова, не поленившаяся прибыть «несмотря на большую занятость». Она ничтоже сумняшеся утверждала, что Васильков знал инструкцию, иначе зачем же он переписывал счета, указывая не те виды фоторабот, которые фактически делал. А что эти счета переписаны им самим, комиссия объединения установила будто бы точно.

От такого наглого обмана Васильков прямо-таки оцепенел. Правда, была надежда, что судья поставит Зубову на место. Он же на беседе рассказал ему все как есть. Но судья молчал. Молчал и представитель прокуратуры, доказывавший то же самое, что и директор «Объектива». Но тут вмешался один из заседателей, рабочий какого-то завода.

— Хотелось бы все-таки знать, как вы установили, что счета переписаны самим Васильковым?— спросил он у Зубовой.— Вы что, экспертизу почерков проводили?

Большие карие глаза Зубовой забегали, перекидываясь с представителя прокуратуры на судью и с судьи на представителя прокуратуры, словно ища у них защиты. Но те молчали, ждали ответа.

— Да нет, конечно,— только что говорившая весьма бойко, тихо промямлила наконец Зубова.— Понятно, мы такую экспертизу проводить не могли. У нас для этого нет ни специалистов, ни полномочий.

— Тогда как вы можете утверждать, что счета переписаны именно фотографом?— настаивал на своем дотошный заседатель.— Кстати, а почему эти самые «перепи-

санные Васильковым» счета в деле не представлены?

— Но ведь кроме него в обмане никто не заинтересован! Ему же надо было, чтобы побольше урвать денег. Вы что, хотите теперь защитить преступника?— видя, что нечем крыть, перешла в наступление Зубова.— Не-ет, не выйдет.

Однако рабочий этот оказался крепким орешком.

— А я из дела понял так, что и объединение иногда бывает заинтересовано в обмане,— невозмутимо сказал он.— Например, когда туго с планом по быту. Между прочим, я как-то в газете «Советская Вакхалыхия», на странице народного контроля, читал, что такие подлоги в вашем объединении случаются частенько. Как вы можете это объяснить?

Зубова занервничала. Ее тонкие длинные пальцы задрожали, запрыгали на трибуне.

— А при чем здесь это?— взвизгнула она.— Да, такое бывает. Но мы боремся с этим явлением. Этот процесс — тому яркое подтверждение.

Она опять забегала глазами, перекидывая взгляд то с судьи на представителя прокуратуры, то с представителя прокуратуры на судью.

— Вот я и хочу разобраться в конкретном случае,— невозмутимо сказал заседатель.— Как можно обвинять человека в нарушении инструкции, ежели он ее в глаза не видал, ежели его с ней никто не знакомил? Понимаю, незнание закона не освобождает от наказания. Потому как, знаком ты с законом или нет, все равно должен знать: воровать, спекулировать, избивать, насиловать, убивать нехорошо. А без инструктажа я, например, откуда могу знать, что должен делать на работе и как, а что не должен?

Представитель прокуратуры с судьей многозначительно переглянулись. Впрочем, Васильков этого не заметил. Он почему-то вдруг снова увидел впереди какой-то просвет надежды.

Черт знает, до чего падки наши души на такую вот надежду! И она, точно так же, как и безысходность, парализует нас, делает бездеятельными, нейтрализует нашу сопротивляемость. И живем мы подчас лишь томимы ожиданиями на лучшее, которое бог знает кем будет сделано и откуда придет, вместо того чтобы бороться и созидать самим это самое лучшее, тем более, кроме нас для нас его никто не сделает.

— ...Я прошу простить, но на сегодня заседание при-

дется прервать,-- объявил вдруг судья.— Совершенно забыл: к двум часам меня вызывают в Верховный суд республики... Рассмотрение дела мы продолжим позже. О дне и времени сообщим...

А через две недели следующее заседание проходило уже без дотошного заседателя. Почему-то на нем все повторили с самого начала. Тем не менее оно завершилось за час...

Когда после долгих мытарств суд наконец-то вынес решение, Василькову уже небо начало казаться с овчинку. Больше всего угнетало даже не то, что его полностью признали виновным, и не огромная сумма, которую предстояло выплатить, а та безысходность, которая маячила за всем этим. Ведь не случайно же прервалось первое заседание. Об этом Ивану Прокопьевичу очень хорошо растолковал по дороге домой Шакуров, тоже приезжавший на суд в качестве свидетеля. А сказал он, будто «ушел в Верховный суд» судья потому, что заседатель один оказался с твердым характером и со своей головой на плечах и что в следующий раз вместо него наверняка будет другой... Как в воду глянул Керим Ишмулович. Понял Васильков: его почему-то любыми путями хотят произвести в преступники. Потому уверовал в безвыходность своего положения.

Даже когда после суда он поговорил с Борисом Арысланом, даже когда тот от его имени написал в Верховный суд республики очень убедительную и пронизывающую насквозь душу кассационную жалобу, на этот раз Васильков ни на йоту не надеялся, что справедливость восторжествует. Не сказать, что не верил в объективность Верховного суда. Просто полагал, что в деле, похоже, есть какие-то документы, представленные Зубовой, о которых он не знает, но которые чернят его с ног до головы, потому судьи не верят ни одному его слову.

Что теперь ему делать? Как доказать, что ни сном ни духом не помышлял об обмане?

— Надобно тебе, Йыван, в Башколу еще раз съездить. Поговорить в этом самом Верховном суде, объяснить все по-человечески. Зайди сначала к Борису Арыслану, может, он поможет... Должны там тебя выслушать. Участник войны все-таки,— сказала Илемби.

Известно, утопающий за соломинку хватается. На следующий же день Васильков отправился в Башколу. Уж лучше бы не ездил...

После Нового года из Айдарова в Хыркасы пустили

автобус, но в первое время ходил он ненадежно. Потому в райцентр пришлось идти пешком. Пока притопал на автовокзал, оказалось: на оба рейса в Башколу билеты уже распроданы. Надеяться, что водитель смилостивится и посадит или же перед самой отправкой окажутся свободные места — все равно что ждать у моря погоды. Пришлось, надеясь на авось, ехать сначала в ближайший город, являвшийся как бы узловой станцией на перекрестке многих автомагистралей. Туда-то он попал быстро. А вот оттуда, хоть и уходили автобусы в Башколу через каждые десять-пятнадцать минут, сумел выехать лишь после обеда. Автостанция для такого бойкого места явно мала, к кассам очереди тянулись длиннее чем за водкой, к тому же у окошка постоянно толкались молодые люди, норовя без очереди приобрести билет. Правда, высоко над окошком было крупно написано: «Участники Великой Отечественной войны обслуживаются вне очереди». Но Васильков за всю свою жизнь еще не пользовался подобными льготами. «Не по доброй воле воевали, по нужде,— говаривал он.— Спасибо судьбе, что живые возвернулись, какие еще нам льготы...» Да и пожелай он здесь, как говорится, качать свои права, кто бы его стал слушать.

В Башколу Васильков прибыл только в четвертом часу. Поразмыслив, послушался все-таки совета Илемби, сначала поехал в Союз писателей, к Арыслану. Вообще-то не хотелось тревожить его. Он и так чувствовал себя перед ним в долгу. А хуже нет, когда ты кому-то обязан и ничем не можешь расплатиться. Раньше, когда был живой Виктор Васильевич Львов, было легче обращаться за помощью и к его сыну, а теперь... Но Илемби ему крепко наказала зайти попервости именно к Борису Викторовичу, посоветоваться с ним, а уж потом совать нос куда следует. Она-то его, конечно, лучше знала, как-никак, вместе росли, наверное, не зря давала такой наказ. Вообще она относилась к нему как-то странно, по-особому: то ли слишком уважительно, то ли доверчиво, а иногда, казалось, и настороженно...

Однако Бориса Викторовича на работе не оказалось. Сказали, уехал в Москву на целых два месяца, стало быть, его нет и дома. Как ни странно, после этого как-то легче стало на душе. Хоть и ясно, что без помощи известного писателя ему будет труднее, а все же чувствовал Васильков себя свободнее, раскованнее. И решительнее. Так бывает, когда надеешься на кого-то, и вдруг оказывается, что все должен делать сам и только сам. К тому же по-

чему-то — этого он и сам не ведал,— к старшему сыну фронтового йолташа относился не только с законным почтением и уважением, но и с какой-то неясной настороженностью. То ли чувствовал, что не одного поля они ягоды, то ли что другое тому причиной — поди разберись.

Еще через часок Васильков добрался уже знакомым маршрутом до Дома правосудия. Порасспросив, он узнал, что ему надо обратиться к заместителю председателя Верховного суда по гражданским делам Хелипкину. Но в приемной секретарша сказала, что Хелипкин сегодня уже никого принимать не будет, в лучшем случае она сможет записать гражданина Василькова на прием на утро третьего дня. От такого известия Ивана Прокопьевича даже в пот бросило. Он расстегнул пиджак, достал из кармана платок, вытер лоб. Секретарша при этом в первый раз посмотрела на него более внимательно и заметила на его груди орденские колодки, которые он нацепил лишь по настоянию Илемби. «Чтобы видно было, кого они собираются засудить»,— сказала она.

— Гражданин, а вы сумеете подойти сюда часам к восьми, до начала рабочего дня? Товарищ Хелипкин приходит раньше на час-полтора. Попробуйте зайти к нему в это время,— посоветовала секретарша вежливо.— Только не говорите, что это я вас надоумила...

Васильков поблагодарил ее, записался на прием на утро третьего дня и ушел. Ломиться к начальству в нерабочее время, без очереди? Не-ет, он так не сможет...

Выйдя на улицу, Васильков минут пять постоял у Дома правосудия в полной растерянности. Город большой, после войны раздвинул свои границы на многие километры. Куда теперь идти Ивану Прокопьевичу, где прожить эти два-три дня? Впрочем, сначала надо пообедать, вернее, поужинать. Только рано утром, перед уходом из дома, он выпил пару стаканов парного молока, с тех пор ни крошки во рту не было. Васильков огляделся. Недалеко светились огромные буквы, поставленные друг над другом. «Ресторан»,— прочитал он. Тут же решил: «Это не по мне». Так уж он был воспитан с молодых лет, что ресторан — это плохо, да и дорого — и все тут. А кафе пугало чужеродным названием... Потому долго ему пришлось ходить, пока в каком-то неопрятном переулке не наткнулся наконец на родную вывеску «столовая». Сюда Васильков зашел смело, привычно встал в очередь и минут через сорок уже ставил на поднос винегрет с размякшей сельдью-иваси, которую отдельно за так никто не брал, щи

из кислой капусты, гуляш из свинины, чай с виноградным соком за пятнадцать копеек. «Ого-го,— подумал сам, заплатив за все более полутора рублей.— Раньше-то, бывало, копеек за семьдесят наешься до отвала...» Но до отвала наесться тут не пришлось. Винегрет был уже прокисший. Гуляш состоял только из сала, да и того было два-три кусочка. А гарнир из перловки, известно, годится лишь для здоровых молодых солдат... Все-таки вроде бы немного заморил червячка. Теперь надо найти ночлег. Ивану Прокопьевичу вспомнилось, как лет тридцать назад ему как-то пришлось ночевать в Башколе В Доме колхозника, что стоял на набережной, недалеко от пристани. Заплатил, как сейчас помнил, семьдесят копеек за сутки. С тех пор ночевать в казенных домах не приходилось. А что, поди, не снесли тот дом. Четырехэтажный был, кирпичный, старинной кладки, не деревянная халупа какая-нибудь. И, судя по некоторым оставшимся с тех пор приметам, набережная должна быть недалеко отсюда...

Васильков не спеша пошагал вниз и, точно, скоро вышел к берегу реки. Пристань было не узнать. Помимо дебаркадеров много появилось капитальных зданий и складов на берегу. Но Дом колхозника, стоящий на пригорке недалеко от речного порта, как теперь называлась пристань, он увидел сразу. Увидел и обрадовался, словно в таежной глухомани лицом к лицу столкнулся со своим добрым старым знакомым. Через четверть часа он уже стоял у старинного здания. Но ничего похожего на дом приезжих не обнаружил. Нет, он, конечно, был похож на прежний, тридцатилетней давности, но лишь по форме. Выкрашенный, разрисованный, отделанный какими-то современными материалами, дом весь блестел и сверкал, так что боязно стало туда даже заходить. Вывески гласили, что здесь находятся бюро туристических поездок и еще какие-то конторы с мудреными названиями... Набравшись смелости, Васильков все же торкнулся в тяжеленную дверь с какими-то бронзовыми финтифлюшками вместо ручек, толкнув второй раз сильнее, открыл-таки ее и оказался в просторной прихожей, увешанной огромными плакатами, с которых смотрели счастливо улыбающиеся владельцы автомобилей, здоровые юноши и девушки с огромными рюкзаками на спине, загорающий у моря оголенный люд. Паркетный пол блестел так, что не сразу поймешь, где тут пол, а где потолок: все верхние светильники отражались внизу как в большом зеркале.

— Вы куда, гражданин?— услышал Васильков справа строгий голос.

Оглянувшись, он заметил мужчину одних с ним лет, да и, видимо, одного с ним положения: это был, кажется, вахтер, потому что одет в форму, смахивающую на прокурорскую. Смекнув это, Васильков уже смелее подошел к нему.

— Да вот, дорогой товарищ, лет тридцать тому ночевал я здесь. Сегодня, похоже, опять придется задержаться в Башколе. Так я и притопал по знакомой дорожке. Ан, вижу, ошибся малость.

— Да уж,— улыбнулся вахтер,— с тех пор столько воды утекло. Теперь здесь всякие бюро, которые путешествиями и экскурсиями занимаются. И даже, чуешь!— поднял кверху указательный палец,— поездками в разные заграницы.

— А где же мне теперь заночевать, мил человек?— растерялся Васильков.

— Гостиниц в городе, дорогой товарищ, цельных две. Это которые для нас, простых смертных,— охотно объяснил вахтер.— Ишшо есть для иностранцев, для начальства из Москвы и других больших людей — насчет этих я тебе не скажу, потому как нас с тобой туда близко не подпустят. И ни к чему подпускать. Мы одним видом своим будем позорить всю нашу страну... А к гостиницам этим надо ехать так...— И он подробно обрисовал схемы маршрутов автобусов, троллейбусов и трамваев.— Но я тебе так скажу,— добавил тут же.— Попасть в те гостиницы это все равно, что на Луну слетать. Так что коли дело не выйдет, садись у вокзала в пригородный автобус и шуруй до конца. И доедешь как раз в нашу гостиницу «Турист», что в двенадцати верстах от города. В красивейшем, скажу тебе, месте находится. Рядом река, лес... Заплатишь рублей семь-восемь — и почуй себе на здоровье со всем этим... как его... компфортом. Там завсегда места бывают, потому как не в городе и не каждый про то знает.

— Это что же, по старым, что ли, семь-восемь рублей-то?— поинтересовался между прочим Васильков.

— Тю-у! Что ты, старые деньги мы давно уж забыли,— замахал руками вахтер.— Ну, ежели для тебя это дороговато, попробуй в городскую какую гостиницу внедриться...

Уже на улице Васильков немного поразмыслил и решил вначале все-таки попробовать «внедриться» в городскую гостиницу. Он бы, конечно, нашел и семь рублей

новыми, не собака же на улице ночевать, а если вдруг придется все три дня тут прожить? Вот, шляпа старая, про запас денег не взял! Думал, по магазинам все равно шастать не буду. Ну и что? Известно же, запас карман не тянет... Впрочем, что поделаешь, вакхалыхский мужик всегда задним умом крепок.

Ни в одну из двух гостиниц, как и предрекал вахтер, Васильков «внедриться» не сумел. Выходило, что придется ехать в «Турист». Но жить там целых три дня он не может: ведь придется еще питаться, оставить денег на дорогу. И как ни проклинай себя за головотяпство, в кармане от этого лишний червонец не появится... С такими мыслями вышел он на привокзальную площадь, к пригородному автобусу. И тут его осенило: что если завтра утром попытаться попасть к этому самому Хелипкину? Это единственный выход из создавшегося положения, потому разок в жизни придется-таки набраться нахальства. А раз так, нечего и ехать в «Турист», из такой дали и не успеть рано вернуться в город.

Кое-как промаявшись до утра в тесном вокзале, где таких вынужденно бездомных, похоже, набралось не один десяток, Васильков уже с рассветом поехал в Дом правосудия. В нем, оказывается, тоже был вахтер, которого Иван Прокопьевич вчера почему-то не заметил.

— Куда, гражданин?—тоже строго крикнул страж дверей Василькову.—Начало рабочего дня у нас в девять. Раньше не пушшу.

Не спавший всю ночь, вспотевший из-за быстрой ходьбы от трамвайной остановки, Васильков расстегнул пальто, начал дрожащими руками вытирать платком лицо, шею, при этом торопливо объяснил вахтеру:

— Понимаешь, мне ить надо попасть к Хелипкину. Срочно надо.

— Здесь всем срочно надо,—равнодушно отпарировал вахтер, не забывая приветствовать проходящих мимо юристов и служащих.—Натворите чего не положено, а потом бегаете, бегаете.

— В том-то и дело, что ничего я не натворил. Понимаешь, може, мне сказать-то этому Хелипкину пару слов... Всего несколько слов — и ему станет все ясно...

К их разговору прислушался проходящий мимо какой-то полноватый молодой человек лет тридцати пяти, остановился, присмотрелся к Василькову, на его мелькающие временами из-под пальто орденские колодки.

— А вы, гражданин, кто будете? По какому делу хо-

тите поговорить с Хелипкиным?—спросил он Василькова.

Сильно разволновавшийся Иван Прокопьевич кое-как объяснил цель своего приезда в Башколу.

— Петрович, пропустите его,— попросил тогда молодой человек вахтера.— Пошли,—коротко сказал затем Василькову, даже не дождавшись согласия строгого стража дверей.

Оказалось, это и был Хелипкин. Среднего роста, полноватый, с круглым симпатичным лицом с небольшим носом, мягкими девичьими губами, густыми, смолистого цвета кудрями он никак не походил на категорию людей, вершащих судьбами других. Небольшие коричневые глаза его смотрели тепло и сочувствующе, а голос был мягкий, немножечко картавый, отчего сразу возникало чувство близости с ним.

— Да, да, я ваше дело знаю. Оно и в первый раз проходило через меня,— сказал он, как только Васильков виновато начал объяснять, по какому поводу оказался здесь в столь ранний неурочный час.

Они уже сидели за Т-образным столом. Причем Хелипкин сел не в свое законное «хозяйское» кресло, а на жесткий стул, напротив Василькова, давая понять, что разговаривает с ним как с равным, несмотря на деликатное положение посетителя.

— Ну и.. как же теперь?—только и осталось спросить Василькову.

Хелипкин посмотрел на него пытливо, похожими на миниатюрные сардельки пальцами мягко побарабанил по столу, оставляя на его полированной поверхности чуть заметные жировые отпечатки, дружески улыбнулся.

— Знаете, уважаемый... э-э... товарищ Васильков,— сказал он, никак не вспомнив имя и отчество Ивана Прокопьевича.—Я вижу, человек вы бывалый, участник войны, в жизни, как говорится в пословице, и белого и черного немало перевидели. Так что буду говорить с вами предельно откровенно и честно. Тем более, сейчас такое открытое время... В вашей честности я лично нисколько не сомневаюсь. Хотя вы нарушили инструкцию и получали больше положенного, это, разумеется, не ваша вина. Но... прокуратура то ли не разобралась как следует, то ли... Одним словом, так получилось, что они теперь не отстанут, пока суд не признает вас виновным. Назовем это, скажем, пресловутой честью мундира или как-нибудь еще — суть не в этом. Понимаете?

— Понимаю,— согласно кивнул головой Васильков, тут

же мотнул ею отрицательно:—То есть не понимаю. А что, ежели прокуратура захочет сделать человека без вины виноватым, ее никто уже не может поправить? Пошто тоды наши дела в судах рассматривают?

Хелипкин опять очаровательно улыбнулся. При этом его живые коричневые глаза сделались чистыми-чистыми, совсем бесцветными, маленький носик изумленно сморщился, словно у городского малыша, впервые увидевшего бородатую козу. Нет, такому милому молодому человеку нельзя не верить, нельзя не доверять.

— Понимаете, товарищ Васильков... Хорошо, я скажу вам то, чего не сказал бы родному брату. Только, чур, я ничего не говорил и вообще мы с вами на эту тему не беседовали. Идет?—предложил Хелипкин. Дождавшись утвердительного кивка Василькова, объяснил совсем по-свойски:—Понимаете, разумеется, в конечном итоге все зависит от суда. По закону он говорит последнее слово. Но это на бумаге. В жизни же, сами понимаете, всегда все обстоит несколько иначе. Понимаете, все мы: суд, прокуратура, адвокатура — работаем в одной упряжке. Суд, скажем,—коренной жеребец, а прокуратура и адвокатура — пристяжные. Кто-то, возможно, больше тянет, кто-то — меньше, но все в одну сторону. А теперь представьте, что мы перестроимся. Коренник тянет вперед, пристяжник назад. Ерунда ведь получается?

— А как это может быть?—не понял Васильков.—Аль вы по разным законам работаете?

— Законы-то одни,— не стал уклоняться от сложностей Хелипкин.—Но толковать их можно по-разному.

— Стало быть, он как дышло: куда повернешь — туда и вышло?

— Ну что-о вы, товарищ Васильков!—заливисто расхохотался Хелипкин. Смеялся он долго, от души, даже всхлипывал от удовольствия. Затем, махнув пухленькой рукой, заговорил спокойнее.— Конечно, это не так. Но вот представьте: суд принимает решение, прокуратуре оно не нравится, она опротестовывает его. По следующему делу— тоже. Мы в отместку не удовлетворяем ее требования по третьему делу. Она, в свою очередь, снова протестует... Так ведь можно продолжать бесконечно... Потому и мы, и они частенько идем на взаимные уступки. Понимаете? Вот и в данном случае, похоже, придется идти на наказание... Вы ни в чем не виноваты, но по настоянию прокуратуры райнарсуд признал вас виновным во всем. Вы, естественно, написали кассацию в наш адрес. Что нам де-

лать? С решением райнарсуда, прямо скажу, мы не можем согласиться. Но и не можем не учитывать мнения прокуратуры.

Хелипкин, прищурив глаза, посмотрел Василькову в лицо, будто стараясь понять, доходят его слова до него или нет.

— Что же тогда делать?—совершенно сбитый с толку, Васильков торопил с разъяснением.

— А мы вот что сделаем,—чуть ли не заговорщицки заговорил Хелипкин.—В части работы по договору с колхозом оправдаем вас полностью. Идет? Что касается вашего конфликта с «Объективом», тут придется вас немножечко обвинить.—Увидев протестующее движение Ивана Прокопьевича, он потянулся через стол, взяв его ладонь в руку, успокаивающе пошлепал по ней своей мягкой теплой ладошкой.—Только формально, для виду, чтобы успокоить и прокурора, и других всяких там заинтересованных лиц. Понимаете? Вы ведь переполучили тысячу с лишним, правда? А мы, применив всякие льготы и прочее, взыщем с вас для виду сотни три-четыре — и на этом закроем дело. Я уверен, прокуратуру это удовлетворит. Им важна не сумма, а сам факт правоты Зубовой и своей. И вы, думаю, не обеднеете из-за трехсот рублей. Идет? Как говорится, и волки будут сыты, и овцы целы.

Васильков сидел совершенно ошарашенный. Он понимал и не понимал смысл только что услышанного, потому даже не знал, что ответить. Хелипкин воспринял это по-своему.

— Ну вот и договорились,—удовлетворенно сказал он, поднимаясь из-за стола.

Поднялся и Васильков.

— Но как же это, товарищ Хелипкин?—дрожащим голосом спросил он наконец.—Ить я все равно окажусь вором, жуликом, мошенником. Причем тоды сумма?

Он почувствовал, как замолотило сердце, словно двигателю поддали газу, привычным движением руки нащупал в кармане валидол, поспешно положил одну таблетку в рот, под язык...

— Ну-ну-ну, что с вами, успокойтесь, пожалуйста,— обеспокоенно подхватил его под руку Хелипкин.—Давайте выйдем скорее отсюда. Здесь душно, а в коридоре немного свежее. И не волнуйтесь вы так. Сумма будет мизерная, я же объяснил вам. А совсем вас оправдать...— они не успокоятся. Зачем лишняя нервотрепка? И нам, и вам она ни к чему. Лучше кончить быстрее по-мирному...

Он уже вывел Василькова в коридор, почему-то подвел его к окну, осмотрелся и, не заметив никого, тут же торопливо вернулся в кабинет. Послышался глухой щелчок внутреннего дверного замка...

Стоять у окна, тем более с закрытой форточкой, было бессмысленно, как было бессмысленно теперь вообще находиться в этом здании. Васильков еле-еле спустился вниз, навстречу прибывающим на службу юристам и просто канцелярским работникам, таким же, как и он сам, просителям. Он никого не замечал, да и не до этого было ему. Он задыхался от нехватки воздуха. К тому же непослушное сердце никак не хотело успокоиться и сжималось все сильнее и сильнее. Хорошо хоть, сам того не соображая, Васильков вышел прямо на улицу, без пальто и без шапки простоял там минут десять-пятнадцать, держась за отлитые из чугуна перила. Свежий морозный воздух, пригоняемый резким порывистым ветром откуда-то со стороны реки, оказал-таки свое целебное воздействие. Наконец сердце Василькова немного отпустило. Он почувствовал себя намного лучше, зашел обратно в вестибюль, попросил у вахтера стакан воды и принял двадцать пять капель валокордина. Затем, одевшись, поспешил на автовокзал. В Башколе ему больше делать было нечего. К счастью, в это время в районы мало кто выезжал. Командировочный рядовой люд уже был в пути, а прибывшие из районов еще не завершили свои дела, и Ивану Прокопьевичу удалось приобрести билет на очередной рейс сразу...

Приехав домой, Васильков жил жизнью лягушки, попавшейся на глаза змее. Та тоже: видит опасность, пищит от страха, а все равно не может выйти из оцепенения и удрать, плывет прямо в пасть ужу... Так и Иван Прокопьевич: знает, что вот-вот грянет беда, а ничего предпринять для своего спасения не может.

Наконец, ему прислали копию решения Верховного суда Вакхалыхии. В нем, как и обещал Хелипкин, он признан виновным лишь по иску объединения «Объектив». К тому же, «учитывая, что он участник Отечественной войны, по работе характеризуется положительно, а также его материальное положение», суд решил взыскать с него всего лишь триста рублей и госпошлину. Кто положительно охарактеризовал его по работе, если одновременно судили как мошенника, кто и как исследовал его материальное положение — оставалось загадкой. Впрочем, Васильков и не думал ее разгадывать. Сердце его не выдержало

постоянных резких перемен настроения. Ведь надежда и отчаяние повторялись друг за другом так часто и так резко, будто человека постоянно окунали в ледяную прорубь и тут же следом — в кипящий котел. Не то что Васильков, ни один сверхзакаленный человек не выдержит этого. И он, в который уже раз за последнее время, слег...

* * *

В избе стало уже темно. Илемби — рассказывала в основном она — давно бросила вязание, сунув клубок ниток и спицы в печурку. За печкой без устали верещал сверчок свою колыбельную, напоминая о позднем времени.

— Шайтан его знает, зачем я родился, рос всем бедам назло, воевал, прожил до сих пор,— горестно вздохнув, проговорил Васильков и, тяжело ступая по скрипящим половицам, подошел к выключателю, зажег свет, снова вернулся к кровати, прилег.—Ну какой толк от меня? Вечно был в жизни самым маленьким, самым ничтожным человеком. Только в войну и походил с высоко поднятой головой, да там нам по нужде позволяли быть храбрыми, за пролитую кровь как бы платили. К тому же и врага победить без храбрости нельзя. Так я теперь понимаю. В последние годы разговоры разные пошли о справедливости. Ну, думаю, хоть перед уходом на тот свет поживу как человек. Ан нет, одни слова. Говорят, правда, с нашим братом нынче не так, как раньше. Но хоть и мягко стелют, а все одно жестко спать.

— Иван Прокопьевич, не надо так обобщать,—не очень уверенно возразил Арыслан.—В конце концов зам. прокурора республики с райнарсудьей, да и министр с зав. отделом обкома — это еще не вся Советская власть.

— А что же тогда она, Советская власть?—вскочил Васильков.

Глаза его недобро засверкали, губы — да что губы, все лицо мелко задрожало, и дышать он стал тяжело, с хрипотцой. Таким его не только Арыслан, даже Илемби ни разу не видела. Поэтому она обеспокоенно поднялась, подошла к нему, села рядышком на кровать, взяла его за руку.

— Йыван, успокойся, прошу тебя. Не пытай судьбу, не волнуйся зря, не то опять приступ случится,— начала она убеждать его.

— Эх, Илемби! Молода ты,— безнадежно махнул рукой Васильков.— Всю жизнь мою судьба растоптала,

понимаешь, всю жизнь! А судьба ли? Не люди рази топтали-то меня? Виктора Васильевича? Многих других товарищей и знакомых. Хороших людей. А пошто? Кому мы худого делали? И главное, всегда нам говорят: не волнуйся, не горячись, успокойся, не пытай судьбу, не плюй против ветра... и шайтан знает что ишшо... Эх, кабы я имел хоть кое-какое образование! Разве ж дал бы я себя так унижать... Ну да ладно, чего уж теперь. Старое дерево, будь оно даже дубом, под опору не годится... Илемби, давай-ка лучше собери на стол. Повечеряем...

Илемби легко встала, проворно начала возиться в кухонке, то и дело выскакивая в зал с полными тарелками и мисками, которые ставила на стол с изяществом официантки. Похоже, старалась поднять настроение мужа. Но затем и она не стерпела, остановившись на минуту у стола, в сердцах произнесла:

— А что образование-то... Оно тоже само по себе, чай, смелости не прибавит. Можа, наоборот. Ежели тебе все десять лет в школе будут долбить, что вот это хорошо, а это — бяка, когда ты самостоятельным-то станешь? Да и вообще... Вон Виктор Васильевич, пусть земля ему будет легкой, какой был образованный, честный человек, а рази не меньше тебя терпел? Вот и плюнь ты на суд этот, отдай им деньги эти, нехай подавятся.

— Ладно, ладно,— теперь уже Васильков начал успокаивать ее. —Давайте-ка сядем за стол. И не будем перед святым хлебом о пакостях всяких талдычить.

Стол был обставлен самыми любимыми блюдами Арыслана. Аппетитно поблескивало покрытое гусиным жиром жаркое. Рядом стояли миски с огурчиками домашней засолки, крупно рубленная квашенная капуста — как говорится, все самое то — к жаркому. В кружках переливалось золотистой пленкой топленое молоко. Но Борису Викторовичу и хотелось, и не хотелось есть. Вернее, и хотелось, и не хотелось здесь сидеть. С одной стороны, он от души желал чем-то помочь Ивану Прокопьевичу, сдержать слово, данное отцу. С другой стороны, почему-то ему было тяжело смотреть, как ухаживает за ним Илемби, как и Васильков то и дело тепло и с нескрываемой любовью заглядывает ей в глаза. Это вызывало раздражение, неосознанное недовольство. Нет, все-таки нельзя ему здесь больше сидеть...

— Знаете, Иван Прокопьевич, вы особенно не отчаивайтесь,—сказал Арыслан, решив, чтобы не обидеть хозяев, еще немного поговорить и податься домой.—Я вот

пока слушал-слушал и надумал: напишу-ка я письмо в обком партии, на имя первого секретаря. Ведь и министр, и зав. отделом обкома, и директор объединения, да и прокуроры и судьи — они же коммунисты. Может, после соответствующего внушения одумаются и... Одним словом, попытка не пытка, попробую написать.

— Можа, не надо?— слабо возразил Васильков.— Толку будет как от козла молока, а беду на себя накличешь. Чего уж из-за меня-то?

— Правда, Борис... Викторович,— искренне забеспокоилась Илемби.— Ты ведь к ним ближе стоишь, нежели мы. А ближнего они и ударить сильнее могут.

Она с беспокойством посмотрела Арыслану в глаза. При этом по-девичьи чистые глаза ее как-то непонятно сверкнули. Что было в этих искорках — Арыслан не успел заметить и понять, но от них на душе почему-то сразу стало теплее. И желание уходить пропало, улетучилось, словно мгновенно испарившаяся на горячей сковороде капля воды.

— Иван Прокопьевич, вы же лучший, самый близкий йолташ моего атте,—как можно спокойнее возразил Арыслан.—Думаю, он бы помог вам до конца. Так разве могу я не продолжить его дело?

Васильков отложил вилку, уставился куда-то вдаль, словно видел все через плотную, вышитую Илемби, белую занавеску.

— Да, Виктор Василь был действительно золотым, святым человеком,—сказал он затем, поглядев поочередно и Арыслану, и Илемби в глаза.—Знаешь, Борис Викторыч. Ведь он мне жизнь спас на фронте, не рассказывал тебе?

Арыслан аж оторопел. Ведь отец постоянно твердил обратное.

— А... атте мне говорил, что это вы выручили его из беды,—уточнил он немного погодя.

— Ну, это в общем-то как смотреть,—смутился Васильков.—На войне ведь там, знаешь, иногда и не поймешь, кто кого спасал. Но, сдается мне, все-таки он меня больше спас, ежели я его. Впрочем, вот послушай сам.

Видно, ему захотелось отвлечься от постоянно угнетающих мыслей о правде и справедливости. И он, ухватившись за подвернувшийся случай, рассказал, хоть и скупо, об одном малюсеньком эпизоде из долгой фронтовой жизни, происшедшем в белорусских болотах, где-то в районе Марьиной Горки. О нем, конечно, никто, кроме

самих участников происшедшего, не знал. Но они до сих пор молчали. Один — из скромности, другой — не желая великую историю великой войны затенять такими мелочами.

В начале июня 1944 года часть, где служили в разведроте Львов с Васильковым, вышла к реке Свислочь. Было известно, что впереди активно действует первая Минская партизанская бригада. Надо было срочно связаться с ней, чтобы дальнейшие операции по захвату в кольцо и взятию города Минск проводить совместно. Хотя по радио, конечно, связь поддерживалась, но она не давала возможности секретно разработать план операций. Поэтому в Марьины болота, где находилась партизанская бригада, направили офицера штаба дивизии. В группу сопровождения попали сержант Львов с ефрейтором Васильковым. Первый как высокообразованный человек, к тому же немного знающий немецкий язык, часто участвовал в выполнении особо важных заданий в тылу врага. Второй же слыл отчаянным храбрецом и потому, естественно, тоже являлся непременным участником подобных операций.

В болотах сплошной линии фронта не было. Это и облегчало, и осложняло задачу. Облегчало — потому что легче проникнуть в тыл врага. Осложняло — потому что не имелось большой возможности маневрировать: приходилось пробираться проходами, которые за время оккупации немцы, конечно, изучили неплохо и знали лучше фронтовых разведчиков; значит, была прямая опасность наткнуться на засады и заслоны. А ими здесь были нашпигованы чуть ли не каждый островок или бугорок.

Однако дошли до партизан благополучно. Километров за пять до лагеря, в условленном месте, группу встретил проводник. Он и привел ее в лагерь часа через четыре, потому что эти пять километров напрямую фактически означали пятнадцати-восемнадцативерстовый путь по невидимым зигзагам среди самых топких мест. В итоге на преодоление каких-то тридцати километров ушел весь световой день середины лета.

За ночь офицер штаба обо всем договорился с командованием бригады, и на следующий день, помня, сколько времени съедает дорога, группа сразу же после завтрака заторопилась в обратный путь. Но выйти из лагеря по опробованной дороге не удалось. Почти добравшаяся до суши группа неожиданно была обстреляна из ручного пу-

лемета и нескольких автоматов. Пришлось километра на три отойти назад в болото и попытаться выйти южнее.

Попадавшие при встрече с немецкой засадой прямо в воду бойцы теперь шли, мокрые насквозь. Гимнастерки и галифе стали жесткими, словно шитые из брезента. К тому же диск солнца успел накалиться добела и теперь сверху щедро одаривал пышущей жарой. От болота поднимался густой прелый пар. В груди начало резать. Так и казалось, что влага втягивается в легкие вместе с воздухом целыми каплями. От сильного пекла мокрые гимнастерки накалились не хуже танковой брони, но никак не высыхали из-за беспрестанно струящегося по ложбинкам спины и груди пота. Так что тело постоянно находилось как бы в парнике, а ноги елозили в сапогах, наполненных до краев жидкой холодной грязью, которую бесполезно было выливать, поскольку шли по колено, а иногда и по пояс в воде. К тому же с воздуха беспрерывно атаковала тьма комарья, будто восполняя отсутствие вражеских штурмовиков. И все же шли ходко, потому что подгоняло время, и часа через два впереди снова замаячил долгожданный бугорок суши. Проводник-партизан, шедший впереди, поднял руку. Группа остановилась, схоронясь от возможных чужих глаз за серебристо-зеленым ивняком, а проводник пошел дальше один, по-кошачьи перебираясь от куста к кусту. Отсутствовал он долго, так что офицер штаба не на шутку встревожился. Однако пока все обошлось благополучно. Через час с небольшим партизан вернулся.

— Товарищ капитан, тама — немец!—махнул он рукой в сторону суши.—И не засада это, и не сплошная обложка, а черт те что: везде понатыканы посты. В каждом — по несколько фрицев. Известно дело, у его, у немца, автоматы и пулеметы. Сдается мне, посты видят друг друга. Стало быть, промеж них змея, можа, и проползет, а мы — никак нет.

— Ясно. Это они ваш лагерь окружили. Чтобы, значит, партизаны не смогли активно помочь Красной Армии. Тоже ведь не дураки, верно разгадали наши мысли,—заключил капитан. Тут же обратился к бойцам:— Ну что будем делать, ребята?

Солдаты, похоже, пока не сориентировались в обстановке. Они неопределенно посматривали друг на друга, по сторонам, в основном — на манящий к себе бугорок суши, виднеющийся невдалеке.

— Можа, ишшо другой путь испробовать?—предло-

жил партизан.—Есть у нас третья тропка. В верстах пятнадцати севернее отселя будет.

— Это что же, обратно идти, дальше первой тропинки?—спросил капитан.

— А то как же,—подтвердил партизан.—А посля — снова по болоту верст десять с гаком.

— А «гак» на сколь потянет?—хмуро спросил кто-то из бойцов.

— Хто его знает,—пожал плечами партизан.—Дороги в болотах не меряны...

От этой реплики о «гаке» у всех заныло в душе. Подумалось, что ходить и ходить им по этому необъятному болоту, пока нательный «парник» не иссушит до костей или мошкара не высосет последнюю каплю крови. И все вздохнули с облегчением, когда наконец капитан принял окончательное решение.

— Все, больше никаких путей искать не будем,—сказал он.—Если нам еще двадцать пять километров с гаком по болотам топать, самое большее, что мы сможем сделать сегодня — выйти на сушу к ночи и растянуться на берегу. При этом окажемся еще дальше от дивизии. Так что неизвестно, дойдем ли домой хотя бы завтра к вечеру... Это не годится. Командование дивизии должно получить план действий партизан в крайнем случае завтра к десяти. Так что... подкрепись!—подал вдруг неожиданную команду.

Солдаты вытащили из вещмешков сухой паек, поели консервированную кашу с сухарями, запили потеплевшей водой из фляжек. На все это ушло не более четверти часа.

— Теперь слушай сюда, ребята,—сказал после обеда капитан.—Будем пробиваться здесь же. На другое нет времени. В случае, если немец заставит нас рассеяться, разделимся на две группы. Сержант Львов, поскольку у вас нет карты, возьмете с собой проводника и еще одного бойца. Остальные пойдут со мной во второй группе.

Львов в свою группу выбрал, конечно, земляка и йолташа Василькова. После этого капитан отозвал Львова в сторону, насколько это было возможно здесь, и долго что-то объяснял ему, то и дело тыча пальцем в карту на планшете. Впрочем, о чем они говорили — догадаться нетрудно. Капитан страховался, чтобы в случае чего о договоренности с партизанами смог сообщить сержант.

Поскольку проводник шел к суше первым, Львов с Васильковым тоже оказались впереди, а капитан со своей

группой — за ними. Так и вышли к какой-то вывороченной бурей сосне. Засели за ее похожими на гигантского осьминога корнями, начали готовиться к прорыву: по очереди переобулись, вылив из сапог грязь и выжав портянки, привели в порядок автоматы, рассовали по карманам осколочные гранаты «лимонки».

— Сержант, если вы прорветесь, нас не дожидаться, на выручку не возвращаться!—приказал капитан. Повернувшись к проводнику, скомандовал:—Ну, партизан, веди!

Только теперь Васильков пристально всмотрелся в проводника, так легко, по-кошачьи передвигающегося, и увидел, что этот среднего роста, худощавый мужик с густой бородой совсем не молод, а вернее даже старик по сравнению с ними.

— Стало быть, ребятишки, так,— предупредил всех партизан.—Наперво проползем мелким овражком. Немец по обе его стороны стоит, можа, не засекет. А ежели зачнет стрелять — будем сдачи навешивать как бы из окопчика. Однако по овражку поднимемся не более полверсты, потому как в конце его опять же фриц с пулеметом сидит, таких, как мы, ползучих дожидаючись. А дале что — не ведаю. Потому мой совет — рассыпаться по обе руки и встренуться часа через два у того дуба, где я вчерась вас дожидался.

— Но ждать не более часа,—вмешался капитан.—Затем в любом случае идти к своим.

— Ну, с богом!—сняв замусоленную кепку, перекрестился партизан и юрко пополз.

Еле поспевая за ним, поползли по корягам остальные. Пропахали не менее сотни метров, когда их обнаружили немцы. Тут же с двух сторон ударили пулеметы, сорочьим стрекотом захлебывались автоматы. «Сдачи навешивать как бы из окопчика», как советовал партизан, не годилось. Уже через четверть часа, а то и раньше, сюда могли набежать немцы с ближайших постов. А ведь у них где-то недалеко наверняка имелись еще основные силы по блокировке партизан.

— Витя, гранатами надо!— предложил Васильков другу.

Львов вытащил из кармана «лимонку», вставил чеку и развернулся вправо, Васильков — влево.

— Давай!—скомандовал Львов.

Они как можно дальше швырнули гранаты в обе стороны, особо не целясь, и когда почти одновременно раздались два глухих взрыва, взметнулись и что есть силы

кинулись из овражка налево, прямо на вражеский пост, в упор расстреливая еще лежавших на земле и не опомнившихся автоматчиков. Чуть сзади бежал партизан, отстреливаясь на ходу, так что немцы еще несколько секунд не посмели поднять головы. Затем Львов с Васильковым прикрыли его, и вскоре они были вместе все трое.

— Ребятешки, шуруй туда! Тама чащоба!—указал партизан рукой куда-то вперед влево.

Сзади еще слышалась ожесточенная перестрелка, потом она начала отдаляться. Это пыталась вырваться группа капитана, побежав в противоположную сторону. Удалось им это или нет — неизвестно, но немцы в какой-то момент заметались, не зная, за кем погнаться. Пользуясь замешательством врага, тройка Львова сумела-таки оторваться и скрылась в чащобе. Долго ли они бежали, коротко ли, не замечая ни хлещущих по лицу ветвей, ни цепляющихся за ноги коряг, ни рвущих одежду сухих веток, но не остановились, пока не выдохлись вконец. И только тогда как подрубленные повалились на густой мягкий мох, с наслаждением охлаждая разгоряченные тела влажной прохладой, идущей от него. Отдышавшись, отпив несколько глотков воды из фляжек, в темпе пошли дальше. Но не прошло и полчаса, сзади послышался собачий лай.

— У-и, фриц, зараза, не хочет-таки нас упустить!— сказал партизан, секунды две-три прислушиваясь к новым звукам.— Однако мало ль чего хочет кочет...

Пришлось снова ускорить ход. Но собачий лай слышался все громче и громче. Преследователи явно догоняли. Да, слишком много сил потеряли в болоте.

— Придется, ребятешки, обратно в дрыгву залезть. У немца собака, стерва, уж очень хороша, на суше нас ни за что не упустит,—сказал партизан.

Впрочем, это понимали и Львов с Васильковым. Но надо еще добраться до этой дрыгвы, как называют белорусы трясину. Они же уходили именно от нее и проделали уже немалый путь...

Немцы настигли их, когда до болота осталось менее полукилометра. Но пришлось залечь, отстреливаться. Преследователей, судя по мелькающим то тут, то там зеленым теням, оказалось не менее отделения. Они, прикрывая друг друга, медленно приближались, и ничего с этим нельзя было поделать: уж слишком разнились силы.

— Ребятешки, у вас заданьице. Так что вы шуруйте в дрыгву, покуда нас от нее, проклятущей, не отрезали,—

посоветовал партизан.—Саженей сто идите смело, не утонете. А там должон быть свежий пень. Он с одной стороны ошкурен немного. Так вы топайте в противоположную сторону. А подале будут попадаться сломленные ветки. Вот по ним и держите путь. Через часок выйдете на островок, там и переждите, покуда все не успокоится.

— А ты как же, дед?—спросил Васильков.

— Я-то?—хотел было объяснить партизан, но не успел: пришлось отстреливаться.—Только вы б мне автомат свой оставили с запасной кругляшкой, а то у мово немчуры последние патроны в рожке остались,—попросил затем, продолжая прицельный огонь.

— Нет, дед, уйдем все вместе!—не согласился Львов, короткими очередями не давая немцам продвигаться вперед.

Но тут что-то толкнуло его в плечо, и он почувствовал, как потекло горячее по руке. Зацепило-таки... Заметил это и Васильков. Он быстренько подполз к нему, ножом распорол рукав гимнастерки, вытащив из кармана промоченный насквозь индивидуальный пакет, попытался перевязать рану. Это не удалось сделать: немцы подошли совсем близко и приходилось отстреливаться беспрерывно.

— Паря! Бери сяржанта и уходи!—повелительно крикнул партизан.—Подай сюды его автомат. Ему теперь сойдет и немецкий, он полегше...—Взяв пэпэшэ в руки, крикнул еще раз:—Ну? Чего лежишь? У вас заданьице, вам дойтить до своих надобно. А я вас тут прикрою. И не боись ты за меня, догоню...

Хоть и отрицательно мотал головой Львов, Васильков больше мешкать не стал, взвалил его на плечо и боком начал отползать к болоту. Автомат оставшегося партизана строчил короткими очередями, но часто, потому, возможно, и замолк быстро. Васильков с Львовым еще только-только вошли в болото, как напоследок бабахнул одиночный выстрел... Переживать было некогда. Главное, уже можно идти, и они успели немного удалиться от берега, пока преследователи тоже появились у кромки дрыгвы. Сунуться в воду, отпугивающую одной своей мрачной чернотой, они не осмелились, постреляв для очистки совести минуты две по кустам, повернули восвояси.

В беготне и в боях даже не заметили, как наступил вечер. Солнца уже не было видно, хотя, похоже, оно еще не опустилось за горизонт, а просто скрылось за деревьями, образуя на западе оранжевую полосу. Лучи его доходили и до больших кусков ваты на небе, которые каза-

лись обмакнутыми в причудливые цвета краски. Невидимые птички пели колыбельные, готовясь к ночному отдыху после трудового дня. Эстафету у них принимали не тонущие даже в болоте лягушки, некоторые из них наладили уже свою однообразную трель. Лишь деревья стояли молча. Видно, у них, проторчавших целый день в знойном воздухе, принимая на себя палящие лучи солнца, не осталось уже сил даже листьями пошевелить. К тому же и ветер пропал куда-то.

Все бы ничего, да Василькову не до любований природой. Ему надо добраться быстрее до островка, который, по словам партизана, должен же быть в этой бескрайней дрыгве. И надо добраться туда дотемна, иначе не увидеть еле заметных маяков. Львов уже совсем обессилел. Из наспех перевязанной раны все еще сочилась кровь. Какой он ходок теперь? А ведь как-то надо в дивизию попасть. Проводник же, судя по одиночному выстрелу, там и остался... Значит, если они и найдут тот желанный клочок суши, выйти оттуда смогут лишь по этой же тропе.

Может, расстояние до него и не ахти какое, как сказал партизан, всего лишь на часок ходьбы для здоровых людей, но дошли они до островка, когда лес сплошь был окутан сумерками. О возвращении на «большую землю» и продолжении пути в дивизию до утра нечего было и думать.

Островок оказался малюсеньким, длиной в пятьдесят-шестьдесят и шириной в тридцать-сорок метров. Правда, был он неправильной формы, больше похожий на какую-то амебу: от него тянулись в болото несколько узеньких отростков, но не далее чем на двадцать-тридцать метров. Одним словом, бояться чужих глаз тут не приходилось. К тому же буйно разросшиеся кустарники и травы укрывали людей с головой.

Васильков быстро натаскал сухого валежника, вытащил трофейную зажигалку, разжег костер. Разложив выжатые портянки и одежду вокруг костра, аккуратнее перевязал рану Львова, который, несмотря на нестерпимую боль при отдирании бинта, не издал ни единого стона. Перекусили остатками сухого пайка, немного погодя оделись в высохшую, оттого ставшую приятной одежду, сгребли опавшую прошлогоднюю листву в кучу и легли спать, оставив тлеющий костер на самопотухание. Щедрое лето на ночь отпускает мало времени, все пытается одаривать людей и природу дневными прелестями. По-

тому у Львова и Василькова была еще надежда вернуться в дивизию в срок и доложить командованию о согласованных с партизанами планах. Для этого следовало лишь встать с зарей и тут же отправиться в путь. Вспоминая по памяти карту, Львов решил, что они совсем близко подошли к своим. Это же подтверждали дальние артиллерийские раскаты, раздававшиеся изредка.

Уставший за день Васильков, как любой здоровый человек, уснул быстро и крепко, хотя был уверен: встанет он, как только появится светлая полоска на востоке. Но проснуться пришлось не от светлой полоски, а от автоматной очереди. Стрелял Львов. Впрочем, уже не стрелял: у него кончились патроны. В оставленном проводником-партизаном рожке их было, оказывается, не больше пяти-шести.

— Йыван, немцы!—крикнул Львов, показывая здоровой правой рукой в сторону кустов справа.

Хотя можно было и не показывать: оттуда из нескольких стволов одновременно в их сторону сыпанули трассеры. Васильков отвечать не стал, откатился левее и, пользуясь темнотой и местностью, подполз совсем близко к искрящимся кустам, присмотревшись внимательно, неожиданно выпустил очередь по огнедышащим вражеским стволам, а сам тут же быстро откатился еще на несколько метров левее, попав в какую-то ямку, улегся там. Со стороны немцев раздались крики, пара стволов обожгла трассерами то место, где только что лежал Васильков. Но того там уже и след простыл, он в это время хорошенько прицелился на свет и дал еще очередь по вражеским стволам, не забыв тут же откатиться на другое место. На этот раз со стороны немцев ответа не последовало, лишь что-то зашуршало, затопало, затем зачавкало — и все смолкло. Васильков пролежал еще полчаса и осторожно подполз к кустам. Там лежали... четверо немцев. Но они уже никогда не будут стрелять... Обыскав их и забрав два автомата с запасными заправленными рожками, кое-что съестного, Васильков отправился было к Львову, но в это время в стороне раздался странный звук: стон не стон, мычанье не мычанье. Васильков пригнулся, пошарил глазами местность и увидел, что метрах в пятнадцати-двадцати, за небольшим бугорком, сидит человек. Начинало уже светать, и по силуэту хорошо было видно, что он одет в форму советского солдата. К тому же, кажется, руки его связаны, а во рту торчит кляп, который подошедший Васильков вначале принял за бо-

роду. Быстренько вытащив кляп, развязав руки неизвестному, Васильков повел его к Львову.

Оказалось, это был солдат из их же дивизии. Он стоял этой ночью часовым. С поста его и сняли немецкие разведчики и потащили в качестве «языка». Когда на этом необитаемом острове неожиданно возникла перестрелка, солдат, пользуясь темнотой и суматохой, на всякий случай откатился в сторону, этим и схоронился от погибели. Немецких разведчиков было шестеро, ушли только двое, причем один, похоже, получил ранение.

— Далеко отсюда до наших?—нетерпеливо спросил Львов, превозмогая боль.

— Точно не знаю. Думаю, не больше пятнадцати километров,—сказал солдат.—Шли мы не долго, каких-нибудь четыре часа.

— А дорогу запомнил?—допытывался Львов.

— Глаза мне не завязывали...—буркнул солдат.

— Тогда вот что,—решил Львов.—Пойдем по их следу. Так мы дойдем гораздо быстрее.

Наскоро перекусив трофейной едой, тут же отправились в путь. Солдат с двумя вещмешками на спине и с немецким автоматом в руке шел впереди, показывая дорогу. Васильков двигался сзади в обнимку со Львовым. У того уже не было сил идти самостоятельно: слишком много крови он потерял. К тому же рана оказалась закрытой, застрявший в кости вражеский свинец постоянно испытывал его характер. И допек-таки: Львов несколько раз терял сознание, хотя и не стонал, не ныл, накрепко сжав зубы...

—...Теперча сам посуди, Борис Викторыч: кто из нас кого спас? Я-то чуточку помог ему выбраться к своим, это точно. Однако от верной смерти он спас меня, чуешь? Ведь он из-за боли треклятой тогда всю ночь глаз не сомкнул, потому и почуял приближение фрицев. А ежели б мы оба дрыхнули? Оба там и остались бы лежать. Вот ведь какая штука получается...

Арыслана вышла провожать Илемби, пожалев больного мужа.

— Я помогу, обязательно помогу супругу твоему,—пообещал Арыслан, остановившись уже на улице.

— Уж постарайся, Борис, очень тебя прошу,— тихо сказала Илемби, не смея поднять на него глаза.—Больше некому за нас заступиться-то. Вроде бы оба в уме-разуме, где правда, где кривда — кумекаем, а защитить себя не

в силах. Малограмотны. А жизнь ноне такая, везде бумага правит. Все же знают Ивана Прокопьевича, ан оправдать не могут, потому как директриса нужную бумагу справила — и все тут.

Арыслан смотрел на нее, укутавшуюся в пуховую шаль, и ему казалось, что это не жена пенсионера стоит с ним у калитки, а восемнадцатилетняя Илемби, та самая, которая в далекой молодости в одно время влекла его к себе, так влекла, что он, бывало, не мог дождаться, когда же кончится день и наступит желанный вечер, чтобы можно было идти на свидание. Да и как не казаться. Фигура у нее осталась такой же стройной, а начавшую хозяйничать на лице возрастную паутину из морщин скрадывала ночная темень.

Он стоял до неприличия долго, сам чувствуя это, но никак не решаясь сделать первый шаг от нее. Она же по законам гостеприимства не могла захлопнуть калитку, пока гость не отошел от ворот на значительное расстояние.

— Не беспокойся, я помогу, обязательно помогу ему,— снова сказал Арыслан.

— Помоги, Борис, очень тебя прошу. Ты бы знал, как он переживает, аж извелся весь,—сказала она.—А жизнь-то его на волоске держится...

Надо все-таки идти. Столько стоять — это уже неудобно. Неприлично, наконец. Да и Илемби может замерзнуть.

— Обязательно помогу, Илемби.

— Помоги, Борис...

Стало прохладнее. Порыхлевший днем снег снова затвердел, как полурастворенный кусок сахара, глухо хрустит под ногами. Со стороны Дома культуры послышался веселый девичий визг, тут же дружно засмеялись парни. Видно, молодежь идет то ли в кино, то ли на дискотеку, как сейчас называют танцы. А справа, на молочной ферме, монотонно гудят электродвигатели: вечерняя дойка все еще не кончилась. Выходит, Илемби уже не работает на ферме, раз в это время сидит дома? Наверное, из-за болезни мужа. Или у ней выходной? Впрочем... Во многих домах со множеством светящихся окон слышны звуки телевизоров, магнитофонов, радиоприемников. И особенно печально выглядят среди таких веселых домов небольшие кособокие избушки, поставленные еще при царе Горохе. В них тихо. Уже не светятся окна. А и засветятся— так тускло. Экономная сорокаватная лампочка не осиливает прокопченные стены. Живут в этих домах — Арыс-

лан знает — в основном одинокие старушки. Работать в колхозе у них давно нет сил и здоровья, все жилы вытянули военные и послевоенные годы. А на небольшую колхозную пенсию не то что новый дом построить, покосившиеся ворота не поправишь. И помощи ждать неоткуда. Детьми не обзавелись, поскольку они без мужика не плодятся. А мужчин в мужья всем не досталось. И завидуют теперь старушки иным своим сверстницам, которых в свое время сами же предавали анафеме за незаконнорожденного дитяти...

Да, не те нынче времена, не та жизнь. Но и прежнего еще много. Оно, прежнее, и в счастливом смехе молодых, и в этих вот подслеповатых домах под полопавшимся шифером, и в себе самом. Попробуй, отдели его от нынешнего. Это все равно, что вынуть из груди сердце и попытаться жить дальше. И попробуй найди свое место в этой текучести. А в ней ведь тебе надо стать звеном в цепи. А ну как окажешься слабеньким? Из-за тебя вся цепь оборвется и полетит все в тартарары. А этого допустить нельзя, никак нельзя. Надо выдюжить любую нагрузку, с каковой проверяет тебя на прочность жизнь.

Впрочем, к чему это он, Борис Арыслан, расфилософствовался? Не надо мучительной красивости. Не с читателем, с самим собой говоришь. Все же проще пареной репы: живи честно, справедливо, и на этом стой. Но как все это непросто, ох, как непросто. Ну напишет он о деле Василькова, конечно, напишет. А дальше что? Вся эта властолюбивая компания обрушится на него. Неизвестно, чем все кончится...

«Будешь ли ты счастлив и свободен или будешь вечно жить в каторге, куда тебя никто никогда не пошлет — будет зависеть только от того, чего ты пожелаешь в жизни...» Помнит еще Арыслан слова молодой цыганки Азы.

Нет, нет, он не увиливает. Конечно, напишет, обязательно напишет, какой может быть разговор. Ведь Васильков его родного отца из непроходимых болот на себе вынес. Такой был смелый и храбрый человек...

А перед глазами вдруг возникает Илемби с накинутым на голову и плечи пуховым платком. Стройная, как в молодости, не смеющая смотреть ему в глаза.

Поможет он ее супругу, обязательно поможет...

Придя домой, несмотря на позднее время, Арыслан зашел в кабинет отца, выложил на стол стопку бумаги, на первом листе четко и твердо вывел авторучкой:

«Члену Центрального Комитета КПСС, депутату Верховного Совета СССР, первому секретарю Вакхалыхского обкома КПСС

тов. Важаватову М. А.

Это письмо — в защиту пенсионера, участника Великой Отечественной войны, над которым вот уже третий год глумятся зав. отделом торговли и бытового обслуживания ОК КПСС И. И. Шибаев, министр бытового обслуживания населения В. Ф. Стеклов, зам. прокурора республики Ф. П. Тыхтаман...»

И еще долго, до самого утра, горел свет в окне кабинета Виктора Васильевича Львова. Как в те времена, когда был еще жив сам хозяин.

...Не сумел на этот раз Борис Викторович сходить на мазар, поговорить с отцом. А может, пока нет нужды в этом? Потому что Борис Викторович уверен: отец наверняка посоветовал бы ему поступить точно так же.

ЧТО БЫЛО

Весна что-то долго тянула с приходом. То ли сама не торопилась, избегая борьбы с холодной и жестокой зимой, то ли зима ей просто ходу не давала — поймй поди стихию. Как бы то ни было, уже в конце марта вдруг завьюжило, завихрило, с небес посыпал массивный и колючий снег. Замело все, что можно было замести: шоссейные и железные дороги, улицы, дома, фермы... Казалось, не только движение на дорогах застопорится — остановится сама жизнь. Ан нет же! Не зря говорят, что у природы — свои законы. Как ни пыжилась зима, израсходовав в этой последней схватке все свои резервы, а неудержимого ей не удалось удержать. И она, обессилевшая, сдалась сразу, мгновенно, больше даже не пытаясь сопротивляться. На следующий же день после небывалой в такое время пурги небо как-то сразу очистилось, словно заиндевелое стекло после топки печи, и во всю свою мощь заработало солнце. Тут же на глазах начал оседать и темнеть нанесенный невесть сколько за эти дни иссиня-белый снег, по улицам, оврагам, балкам побежали разом ручьи, сметая по пути вылезающий прошлогодний мусор, отжившие свое листья и все другое, что потом могло помешать травам и цветам, деревьям и полевым растениям расти и набираться сил. И сразу душа потянулась уже

далеко вперед, предвкушая прелести трудового лета и плодоприносящей осени. И не хотелось думать, что затем опять же придет зима, все закует морозом, покроет снегом, и никуда от этого не денешься. Душа-то хочет только весны, лета и осени. И бог бы с ней, с природой, пусть она живет постоянно по одним и тем же законам, что́ нам, людям разумным, до этого, нам бы отбросить раз и навсегда эту проклятую зиму, чтобы кругом росло только нужное, полезное, раздавив раз и навсегда сорняки!

Однако благосклонная ко всем весна-красна почему-то не жаловала Арыслана, преподносила ему один за другим нежелательные сюрпризы.

Началось с Вероники. После возвращения Бориса Викторовича из Хыркасов не прошло и двух недель, как она объявила:

— Все, предки мои. Я теперь и де-юре свободный человек! Суд наконец развел нас с Владиком.

Развелись так развелись. Конечно, печальная повесть, но, по современным понятиям, не драма же. Тем более, зятек-то был далеко не подарочек. И все бы ничего, если бы недели через две Вероника не ошарашила другой новостью:

— Радуйтесь, предки! Устраиваюсь замуж. Снимаюсь с вашей шеи.

— Как это — замуж? Как это — устраиваюсь?—изумленно отозвался Борис Викторович.—Мать, ты что-нибудь понимаешь?

Тертту Ульясовна лишь пожала узенькими плечиками.

— Вероника, доченька, ты же только-только освободилась от своей ошибки молодости. И вдруг опять — замуж. Причем не выходишь, а устраиваешься. Тебе уже двадцать два года, у тебя дочь на руках. Пора кончать так легкомысленно относиться к жизни,—начал объяснять Борис Викторович.

Но Вероника не захотела слушать его дальше, миролюбиво рассмеялась.

— Вот именно, мне уже двадцать два, папа. И пора кончать так легкомысленно относиться к жизни,—вроде бы и согласилась она с отцом, однако вложив в его слова какой-то иной, может быть, совершенно противоположный, смысл.—На этот раз я дурацким юношеским мыслям воли не даю. Только расчет... Нет, вы не бойтесь, расчет не корыстный, не аморальный, а чисто житейский, трезвый.

— За кого хоть «устраиваешься»-то?—спросила Тертту Ульясовна.

Она стояла в дверях гостиной, прислонившись к косяку, словно бы являя собой главную удерживающую опору.

— Вы его, конечно, не знаете. Автослесарь он. На станции техобслуживания работает. Володя Фирсов. Говорят, когда-то был знаменитый хоккеист с таким именем.

Услышав такое, Борис Викторович, сидевший в кресле с книгой в руках, даже вскочил, нервно заходил по комнате.

— Да, был такой хоккеист. Владимир Фирсов. А чем твой Фирсов знаменит, хотелось бы знать?!—остановившись перед дочерью, зло спросил он.

Вероника, присевшая лишь на краешек дивана, чтобы не измять появившуюся на ней откуда-то импортную юбку, невозмутимо смотрела ему в глаза, потом перевела взгляд на мать.

— Родители мои, вы сядьте, пожалуйста. Я вам все, все по порядку объясню. Только, прошу вас, без нервов и эксцессов. Вы совершенно правильно заметили, я действительно достаточно взрослая, и раз решилась на что-то, меня все одно никто не остановит...

Борис Викторович с Тертту Ульясовной переглянулись, сели: он — на свое место, она — рядом с дочерью на диван.

— Так вот, слушайте меня внимательно, умудренные опытом люди,—с юмором начала объяснять Вероника.— Почему я решилась на такой шаг и именно сейчас? И достаточно ли он обдуман? Сейчас — потому что мне надо распределяться. Остаться хотя бы в Башколе, раз эта гордячка Шибаева проигнорировала меня. Вы в этом деле не помощники, у вас в душе лишь один гонор. А что такое гонор таких, как вы, честных людей? Знаете?—с маминым прищуром посмотрела Вероника отцу в глаза.

— Ну, ну, растолкуй. Любопытно послушать,—сказал Борис Викторович.

— А не обидетесь?—спросила Вероника уже у матери.

— Не обидимся, дочь, не обидимся,—успокоила Тертту Ульясовна.

— Тогда слушайте... Ваш гонор — это неумение плюс невозможность, помноженные на зависть. Только и всего.

— Та-ак...— хотел было чего-то сказать постепенно накаляющийся Борис Викторович, но Тертту Ульясовна остановила его:

— Ты что, отец? Давай уж послушаем, раз обещались.

Вероника как ни в чем не бывало продолжила дальше:

— Почему выхожу за неизвестного Фирсова? Потому что знаю: доходы у него не меньше, чем у известного. Между прочим, отец у него — светлейшая голова. Вы вот желаете видеть своих детей интеллигентами. А он сам посоветовал сыну идти на эту неблагодарную работу — других обслуживать. Потому что, как он объяснил, именно эта работа дает умному человеку неограниченные возможности материального и морального благополучия. Причем с гарантией на непривлечение... Я не дура, чтобы верить всему на слово, потребовала у Володи объяснений. О материальном, думаю, толковать не надо. У Володи уже есть все: машина, японская стереотехника, кооперативка. А моральное — потому что он слесарь высшей квалификации и от него зависят многие-многие-многие! От работника торговой базы до милиционера. Между прочим, это Володя помог мне ликвидировать «хвост» и получить «хорошо» по истмату, хотя я в философии — ни бельмеса. Видели бы вы, как наш недоступный, принципиальный профессор ставил мне эту оценку, ха-ха-ха! Понятно теперь?

Вероника торжествующе посмотрела на родителей, закинув руки за голову, сцепила тонкие пальчики и сладко потянулась. Напоминала она в этот момент блудливую кошку, слизавшую сметану в кувшине и затем как ни в чем не бывало потягивающуюся перед хозяйкой. Это оказалось последней каплей, выведшей Бориса Викторовича из терпения. Он вскочил, сделав два-три резких шага, подошел к дочери и жене, крикнул Тертту Ульясовне, буквально взорвавшись:

— Ты слышишь, видишь ты, какую прекрасную дочь мы с тобой вырастили? Какую умную паскуду вырастили, а? Ни стыда, ни совести перед родителями, перед обществом, наконец! Да что же это делается на свете? Да как же это можно...

Взорвалась и дочь. Вскочила, подошла к двери, остановилась, крикнула, словно камень бросила:

— А ты дурак! Не понимаешь своей выгоды. Ведь мы с дочуркой к нему уйдем. Вам же дома просторнее станет. И сколько забот с плеч долой!

— Как ты смеешь отцу такое говорить?! Ты, ты...

Борис Викторович решительно направился к Веронике. Но той и след простыл, лишь послышалось, как щелкнула защелка на двери детской комнаты.

— Борис! Боря! Да ты что? Разве можно так,—под-

бежала к нему Тертту Ульясовна.—Только скандала дома нам не хватало, чтобы соседям дать повод посудачить. Завтра же по всему городу разнесут... Давай лучше сядем и потолкуем спокойно.

— А-а... Что толковать, если ей в башку ничего путного втолковать невозможно,— махнул рукой Борис Викторович.

— Собственно, чем уж так плох их будущий брак?— тем не менее начала рассуждать Тертту Ульясовна.— Согласна, ей бы, конечно, не такую партию... Но кому из высшего света нужна сноха с ребенком вместо приданого? А выйти замуж за просто себе подобного интеллигента с окладом в сто двадцать рублей... Ей же тогда всю жизнь нищенствовать. Ладно, мы с тобой, писатель и актриса, полжизни простояли в очередях, получаем килограмм мяса в месяц по талону, не знаем, что значит модно одеваться, каждый день мнем кости в автобусах. Но чем виноваты наши дети, в конце концов? Что же, им тоже всю жизнь прозябать?

Борис Викторович походил по комнате, подошел к окну, понаблюдал, как дымят трубы ТЭЦ, двух крупных заводов и каких-то еще мелких. Дымы из них выходили одинаково кудряво, но разного цвета: от ТЭЦ — светло-серый, от машиностроительного завода — темный, с синим оттенком, от тракторного — смолянисто-черный. Затем, высоко в небе, все это сливалось в одну темно-серую массу и широкой полосой отгонялось ветром сюда, на жилые кварталы рабочего люда, постепенно оседало, придавая и домам, и дорогам, и редким деревьям на улицах и во дворах, и только что вывешенному сушить белью одинаковый цвет. Сквозь эту полосу могучему солнцу и то трудно пробить свои сильные лучи. Оно сейчас похоже на покрасневший от трахомы глаз человека, так что даже как-то неприятно на него смотреть.

— Я все-таки не понимаю,—сказал он уже более спокойно.—Да, живем мы неважно. Да, многого нам не хватает. Но не нищенствуем же! И крыша над головой есть. Вспомни-ка наше детство.

— Ты, Борис, как те фанатики ветераны,—нетерпеливо перебила его Тертту Ульясовна.—Те все стараются нашу жизнь с жизнью первобытно-общинного строя сравнивать... Хотя их желание мне понятно. Никто же не хочет сказать, что вот боролись, воевали, работали всю жизнь за светлое будущее, а желанного добиться не удалось... Но ты-то зачем подпеваешь им? Конечно, многое

изменилось по сравнению с нашим детством. Но ты посмотри вокруг внимательно, пойми, в какое время мы живем. Двадцать первый век на носу!

— Зачем ты так? Разве я не понимаю? Но разве так надо добиваться всего этого, как пытается наша дочь?— начал сдаваться Арыслан.

— Чего — всего этого?—теперь уже пошла в наступление Тертту Ульясовна.—И как надо добиваться? Ты бы показал, подал пример. Но нет же его, нашего примера. Всю жизнь трудимся, трудимся, трудимся... А дочь Шибаева еще ни одного дня не работала, однако в закрытом спецмагазине выбирает себе любую вещь по душе. Мы с тобой сколько сил и средств вложили, чтобы махонький домишко в саду заиметь, сколько унижались, клянчили, доставая каждую мелочь для его ремонта. А у этой Шибаевой — готовая государственная дача со всеми удобствами. Моя дочь в кооперативке за килограмм колбасы червонец оставляет, а Шибаева в спецмагазине ее за трояк покупает. Причем ее отец получает больше, чем мы с тобой оба вместе.

— Причем тут это? Причем здесь дочь Шибаева?

— А при том!—взорвалась теперь Тертту Ульясовна, что с ней вообще-то случалось весьма и весьма редко.— При том, что пока Шибаевы будут так жить, они нам никогда не позволят жить иначе. При всей каждодневной болтовне о социальной справедливости. Так пусть дочь наша хоть таким путем добьется своего...

Надо бы разозлиться на жену, но почему-то не получалось. Вместо этого появилась какая-то жалость к ней, моментально посеревшей, постаревшей от злости. Хотелось как-то успокоить ее, что-то объяснить.

— Ты что, совсем рехнулась?—все-таки грубовато сказал Борис Викторович.—Думаешь, вечно будет такое продолжаться? Не-ет, ошибаешься, милая, придет время, труд станет всему головой. Честный, добросовестный труд. И только! Ясно тебе?

— Это будет в твоих книгах. Да в спектаклях, которые мы ставим. А в жизни?! В жизни, милый, это обещали твоему деду когда-то. Затем — отцу. Потом — тебе. Сейчас мы обещаем детям своим... И ты все равно ничего не понял? Дубина ты стоеросовая после этого...

Это уже слишком... Борис Викторович подошел к жене, хотел сказать ей что-то такое резкое, разящее, уничтожающее, однако посмотрел на ее вдруг ставшее багровым, оттого некрасивым, лицо, махнул рукой. Да и слова та-

кого, одного-единственного, но емкого, он не нашел. Хотя мог бы, конечно, и поискать. Но оно бы все равно не проняло ее такую, наэлектризованную, лишь бы высекло искры. От них и до пожара недалеко...

Борис Викторович вышел из гостиной, в прихожей прихватил плащ и пошел вон из дома. В центр города, чтобы успокоиться, подышать более свежим воздухом. Главное стало ясно: судьбу Вероники, если дочь сама того не пожелает, не изменить, потому как Тертту Ульясовна ему в этом деле не союзница...

В середине апреля неожиданно собрали актив деятелей литературы и искусства на встречу с руководителями республики. Такое происходит не часто, потому в малом зале Совета Министров званых и незваных набралось битком. О поводе для экстренных сборов толком мало кто знал, каждый строил самые невероятные предположения. От этого в зале царил какой-то нездоровый ажиотаж: чуть ли не каждого подтачивал зуд желания оказаться оракулом.

Но вот откуда-то из-за занавесок появились руководители, самым старшим из которых была секретарь обкома партии Асырханова, а младшим — министр культуры автономной республики. Они не спеша, строго по рангу расселись за столами президиума. Одновременно с ними в зале по первому ряду рассыпались горошком обкомовские и совминовские инструкторы — особый тип людей, способных даже по еле заметному скошению глаз своего начальника сообразить, чего тот изволит желать, и тут же очертя голову кинуться исполнять поручение. Это и есть как раз тот золотой фонд кадров, из которых впоследствии получаются секретари райкомов и председатели райисполкомов, директора филармонии и крупных предприятий, заместители министров и председатели отраслевых профсоюзов. И когда наконец Асырханова многозначительно объявила, по какому поводу собрали народ, все ахнули от неожиданности: до того было это непривычно, удивительно и... приятно.

— Еще в конце прошлого года нами получено письмо, подписанное большой группой работников литературы и искусства, о памятнике поэту-революционеру Серде, о некоторых других проблемах национальной культуры,—сказала Асырханова.— Письмо длинное, зачтение его займет много времени, поэтому я напомню суть основного вопроса. Возник он давно, еще перед празднованием шестидесятилетия поэта. Но тогда экономика республики была

слабее, да и город Башкола был раза в два меньше, так что нам разрешалось ставить не более одного памятника за пятилетку, да и то небольшого по размерам. Однако сам вопрос всегда стоял на повестке дня и никогда не снимался. В дни празднования семидесятилетия поэта уже был сделан первый шаг к осуществлению нашей заветной мечты — уложен закладной камень в сквере на центральном проспекте Башколы. В преддверии восьмидесятилетия объявлен конкурс на лучший бюст поэта... Через полтора года мы собираемся отмечать девяностолетие Серде. К этой дате бюст будет установлен. Проект утвержден, сам бюст тоже практически готов. Я думаю, это явится самым лучшим знаком нашего всеобщего уважения основоположника советской вакхалыхской литературы, пламенного поэта-революционера, чьи стихи читают почти на всех языках народов нашей страны и за рубежом...

Однако авторы письма считают, что ставить бюст Серде — это равносильно якобы принижению значения его жизни и творчества в деле развития национальной литературы.

— Правильно!

— Принижение и есть!—перебросились некоторые между собой репликами. Но Асырханова услышала их.

— Товарищи! Мы в обкоме и Совмине так не считаем. В конце концов уважение к поэту проявляется не только в размерах памятника,—резко заметила она. Тут же сбавив тон, добавила:—Но, конечно, это лишь наше мнение, я его никому не навязываю. Сейчас — время гласности. Каждый может высказываться открыто обо всем. Потому мы и решили в духе времени обсудить этот вопрос с вами, чтобы прийти к единому мнению. Так что прошу, задавайте вопросы, высказывайтесь...

Как ни странно, люди не стали дожидаться первого смелого, как обычно бывало раньше в таких случаях. Там и тут поднялись руки...

— Мы не понимаем, почему же такому поэту, настоящему революционеру нельзя поставить достойный памятник, во весь рост, и не в маленьком незаметном скверике, а на высоком берегу реки, как просил Серде в «Завещании». Чтобы он мог смотреть в далекие дали, а мы смогли видеть его издали,—сказал выступивший первым поэт. Признаться, Арыслан недолюбливал его, почему-то считая трусливым приспособленцем, потому что тот раньше и в простых беседах, и на собраниях все больше молчал, флегматично поднимал руку за любое решение...—

Помимо всего прочего, этим мы проявляем неуважение не только к нему, но и к самим себе, к своему народу, наконец. Совсем странным выглядит решение о бюсте на фоне того, что там, где в силу известных причин Серде провел свои последние годы, давно уже поставили ему настоящий памятник, открыли дом-музей. Его имя носит местная школа, улица города... Чужие люди стали ему родными, приняв его в свою землю, оставив в своей памяти. А что же мы, кровные братья? И не стыдно нам после этого?

«Вот тебе и тихоня! Вот тебе трусливый приспособленец!—изумленно провожая его с трибуны взглядом, подумал Арыслан.—Не иначе, гордость прорезалась... Да, все-таки меняются времена».

На вопросы осмелевшего поэта тут же, не откладывая в долгий ящик, ответили главный архитектор города Башколы и заместитель Председателя Совета Министров. Видно, они готовились к встрече весьма серьезно и обстоятельно.

— Если мы считаем себя творческой интеллигенцией, нам всем надо заботиться об архитектурном облике родного города — столицы республики. Признаемся честно, он до того невыразителен, что дальше некуда. Так вот, если мы обустроим выбранный сквер бюстом, хоть главный проспект города получит наконец ансамблевую завершенность. Да и глупо же устанавливать бюст на высокий берег. На такое объемное место требуется настоящая громадина.

— Так давайте ставить громадину!

— Мы же не о бюсте речь ведем, а о памятнике во весь рост!—раздались в зале голоса.

Было заметно, что люди осмелели. Главное же —большинство, похоже, решительно выступало против бюста.

— Товарищи! Я отправляю по рядам фотоснимки бюста...—это начал выступать заместитель Председателя Совмина.— Вы рассмотрите их внимательно, заодно выслушайте меня, а потом поразмышляйте немного... Мы, конечно, очень рады, что в братской союзной республике, где нашему любимому поэту пришлось остаться навеки, поставили такой замечательный памятник. Мы бы желали сделать то же самое. Однако до сих пор нам не давали разрешения на это. Поверьте мне, нелегко было выбить средства даже на бюст. Многие, наверное, не знают: мы в своей автономной республике не можем сами решать вопросы не только о памятниках, а даже, скажем, о при-

своении чьего-то имени какому-нибудь Дворцу культуры.

Такое сообщение несколько остудило разгоряченных людей. Большинство, действительно, не знало этого. Впрочем, как и того, чем, кроме символики, отличается автономная республика от обыкновенной области и отличается ли вообще. Но замешательство длилось недолго.

— Почему это в Москве должны знать лучше, кому в Вакхалыхии надо ставить памятник, а кому — нет?

— Если не разрешают, так добиваться надо!—не согласились с зампредсовмина некоторые.

— Понимаете,—продолжал объяснять тот,—мы ведь живем в централизованном государстве. А памятники — они больших средств требуют. С другой стороны, мы очень хорошо понимаем, что Серде достоин лучшей памяти. Но раз так получилось, что бюст уже сделан, на него израсходованы большие деньги... К тому же сами видите, он в общем-то получился довольно-таки удачным. Как говорится, голь на выдумки хитра: в нем уже есть элементы от настоящего памятника; чувствуется, что поэт находится в каком-то порыве, по отдельным элементам можно догадаться, в какую одежду он одет, видна кисть руки, в связи с чем можно предположить, что он зовет нас куда-то... И поставлен будет бюст на сравнительно высокий постамент... Так что давайте так решим: в честь девяностолетия поэта все же установим его в сквере. Как гласит народная мудрость, лучше синица в руках, чем журавль в небе. А к столетнему юбилею Серде постараемся добиться разрешения на настоящий памятник. Такой, знаете, чтобы действительно можно было ставить его на берегу нашей общей могучей реки, на высоком утесе. Подумайте над этим.

Чтобы не возвращаться к письму, скажу и о других моментах. О симфоническом оркестре. Всем ли известно, что на его содержание требуется более ста тысяч рублей в год? Я заранее знаю, что таких денег нам никто не выделит. Так что поднимать этот вопрос пока просто нет смысла... О помещении для творческих союзов. Мы над этим вопросом работаем. Но в последние годы нам пришлось устраивать в Башколе много других организаций: Агропром, новые райкомы и райисполкомы, военкоматы. Думаю, скоро дойдет очередь и до творческих союзов... А пока, товарищи, давайте решим вопрос о памятнике. По-моему, я предложил вам самое разумное.

Предложение заместителя Председателя Совета Министров кое-кому показалось на самом деле самым ре-

альным выходом из создавшегося положения. Мнения разделились. Люди начали что-то доказывать друг другу, спорить. Кто-то уже рвался к трибуне. Это оказался главный режиссер театра, в свое время отказавшийся ставить пьесу Арыслана.

— Товарищи! Давайте смотреть правде в глаза и мыслить здраво,— горячо начал он выступать.— Поставить светочу вакхалыхской советской литературы, одному из пламенных борцов за победу Советской власти такой памятник... Знаете, чтобы он был таким... ну, не хватает у меня слов... Это было бы, конечно, здорово. Но ведь нам ясно же объяснили: сие от нас не зависит. Между тем руководство республики много сил и энергии приложило, чтобы добиться средств хотя бы на бюст. Это ведь, сами понимаете, не так просто! По крайней мере чуточку труднее, чем сидеть и горланить: дайте нам это, дайте нам то... Что касается меня, я целиком и полностью поддерживаю предложение уважаемого...—последовал кивок в сторону президиума, были названы имя и отчество зампредсовмина,—и предлагаю принять его как неуклонную программу к действию. Оно воочию показывает нам, как надо реально решать стоящие перед нами задачи, ценя и преумножая достояния нашей цветущей национальной культуры.

«Во дает!—ткнув локтем в бок, шепнул Арыслану на ухо сидящий рядом Инжеватов, не скрывая ухмылки.— Как в оные времена. Дура-ак, однако. Такое открытое лизоблюдство теперь уже не в почете даже у более мелкого начальства...»

Арыслан не очень-то слушал его. Он с интересом наблюдал, как выходил очередной оратор — композитор Селиван Анаслас. Тогда, на даче у Инжеватова, он показался ему этаким тщедушным стариком. Было интересно понять, что толкает такого человека к трибуне.

«Этот сейчас выдаст!»—будто поняв его мысли, опять шепнул на ухо Инжеватов.

— Товарищи! Слушаю и не понимаю,—сразу резко начал Анаслас, еле виднеющийся из-за трибуны.—Торгуемся, словно выбираем на базаре подарок теще ко дню рождения. Слушайте, это не просто кощунство! Разве можно допускать такое, когда речь идет о святыне? Вот тут предыдущий оратор, мой хороший друг и товарищ, призывал мыслить здраво. Я поддерживаю его. Так давайте смотреть на вещи реально. Я не знаю, трудно ли добиваться средств на памятник или нет. Наверное, труд-

нее, чем на бюст. Но этого все же надо добиваться. Именно для того кое-кто избран на соответствующую должность. А если мы сейчас согласимся с предложением уважаемого зампредсовмина? Тогда уж точно не видать нам настоящего, достойного великого человека памятника. Скажут: только что поставили, чего же вам еще? Потому мое мнение: ни в коем случае не устанавливать бюст. А руководству республики надо идти не по пути наименьшего сопротивления, а добиваться того, что просит народ, общественное мнение. Можно же хоть раз набраться смелости и напомнить кое-кому, что у нас —автономная республика, что все-таки нам лучше знать, кому в Вакхалыхии ставить памятник, а кому — бюст. Не хватает средств, говорите? Так давайте бросим клич! Я уверен, народ наш любит Серде и отзовется, соберет необходимые средства на памятник. Не отступать! Ни в коем случае не уступать, товарищи! Пора иметь свою гордость!

Анаслас уходил с трибуны с высоко поднятой головой, с уверенной походкой, да и сам он не горбился, как обычно, потому как-то вдруг показался выросшим, приподнявшимся. Вот тебе и тщедушный старичок! Как бы ни было, взволновать и без того взбудораженную аудиторию он сумел, теперь уже к трибуне один за другим выходили писатели, артисты, композиторы, художники и почти все поддерживали именно Анасласа, особенно его мысль о создании специального фонда для строительства памятника. Кто-то предложил вовлечь в это «святое дело» комсомол, провести субботник, кто-то — в этом же году объявить конкурс на лучший проект памятника Серде...

— Никогда не думал, что Анаслас такой смелый человек,— заметил Арыслан.—Надо же...

— Смелый?— хмыкнул Инжеватов.—Да у старика просто нос тонко чувствует, куда ветер дует. Он знает, что решается вопрос об отправке на пенсию зампредсовмина. Знает старый хрыч и то, что его преемник, хочет того или нет, будет вынужден в силу происходящих перемен поддерживать радикалов.

Удивительные люди! Все-то про все знают они. Вроде бы среди них же живет и Арыслан. Но почему такие вести доходят до него в последнюю очередь? Хотя они вряд ли повлияли бы настолько, чтобы заставить менять поведение, мысли. Человек ведь не флюгер, чтобы всегда хвост по ветру держать... Тут же какой-то невидимый внутренний контролер съязвил: «А сам-то? Ведь тогда, прошлым летом, не подписал письмо, решил остаться в стороне.

Разве это не сродни флюгерству?» Шайтан его знает, что такое! Понаставил же человек к себе контролеров и оппонентов...

Но вот, о чем-то посоветовавшись с заместителем Председателя Совмина, который то и дело дергался из стороны в сторону, словно сидел на двух занозах, Асырханова встала, передвинула ближе к себе микрофон.

— Товарищи! Высказывания начали повторяться. Думаю, пора подводить итоги, пока страсти не разгорелись,— сказала Асырханова, улыбнувшись по-простецки. Вообще она, высокая, стройная, моложавая для своих пятидесяти с небольшим лет, похожа больше не на высокопоставленного партийного работника, а на этакого свойского человека, скажем, на тренера спортивной команды, позволяющего на равных говорить с собой даже любому юнцу, при этом, естественно, принимающего свои, «взрослые» решения. Встретив одобрительный гул, секретарь обкома продолжила дальше:

— Итак, как мы поняли, в основном имеется два мнения. Первое — установить уже готовый бюст в сквере и в дальнейшем работать над созданием памятника Серде в честь его столетия. Второе — забраковать созданный бюст с тем, чтобы в ближайшие же годы добиться разрешения и средств на более крупный, как говорится, во весь рост памятник и установить его на высоком берегу реки... Если быть до конца откровенным, в душе я за второе. Скажу больше: по-моему, на берегу реки надо в честь Серде не только памятник установить, но и новый сквер разбить. И в этом сквере ежегодно устраивать дни поэзии, приглашать туда литераторов со всех концов нашей необъятной страны. Давайте, товарищи, так и сделаем. Все же в наших руках. Но... позже. Понимаете, наши желания — одно, а возможности — другое. Ведь скоро, меньше чем через два года, подойдем к девяностолетию поэта. За это время мы памятник ему никак не сумеем поставить. Для этого, если даже у нас дела пойдут как по маслу, надо минимум пять-шесть лет. Пять-шесть лет, товарищи! Однако если мы, обещав что-то сделать в память поэту еще в дни его шестидесятилетия, хотя бы частично не сдержим слово даже к девяностолетию, народ, общественность республики нас не поймут. Понимаете, не поймут! Так что мое предложение: бюст все же установить в сквере, одновременно — подчеркиваю: одновременно!—начать работы по осуществлению главной цели. Согласны вы со мной?

Люди снова начали вполголоса обсуждать между собой теперь уже предложение секретаря обкома. Сама Асырханова чутко прислушивалась к ним, напрягая весь слух, одновременно стараясь рассмотреть каждого из сидящих в зале. Конечно, она не могла расслышать многих слов, но по тону разговоров настроение большинства могла уловить точно. А настроение, похоже, в целом складывалось все же не в ее пользу. Асырханова, что-то про себя обдумывая, снова начала внимательно рассматривать групповое письмо, особенно последнюю страницу, время от времени поднимая голову и словно сверяясь, кто из подписавших и не подписавших его присутствует в зале.

— Товарищи! А ведь среди вас немало таких, кто правильно понимает деликатность создавшейся ситуации,— опять по-свойски улыбнувшись, сказала она затем.—Многие, думается, понимали это и раньше. Наверное, поэтому они воздержались от участия в составлении группового письма. Хотелось бы выслушать здесь и их мнение. Что они думают по этому поводу? А то, я смотрю, они и сегодня что-то тихо сидят. Однако молчание не всегда золото, особенно в такие ответственные моменты.

Шушуканье в зале прекратилось, стали с нескрываемым любопытством ожидать, кто же из «нейтральных» выскажется и как. Однако желающих «раскрыть душу» перед всеми среди «нейтральных» что-то не оказалось.

— Ну, например, Борис Викторович, как вы считаете?— по-школьному обратилась тогда Асырханова непосредственно к Арыслану. Тут же добавила, словно намекая на что-то:—У вас большой авторитет среди писателей, да и среди театральных работников тоже. Думаю, к вашему слову многие прислушаются.

Делать нечего, приходится ответ держать... Арыслан вышел к трибуне, чуть растерявшись, с минуту постоял, беря себя в руки, оглядел зал. В общем-то, знакомые все лица, один на один или в небольшой группе с любым из них Борис Викторович мог бы говорить о чем угодно и на любом накале. Но, оказывается, совсем другое дело, когда все они так выжидательно и с любопытством смотрят на тебя в момент, когда твое слово может заиметь кое-какое весомое значение. Каждый вроде бы спрашивает тебя: «Ну-ка, покажи, какое у тебя нутро: стрела ты или флюгер? Заяц или лев? Сыч одинокий или журавль в стае?» А кое-кто вроде бы на другое намекает. Вот сидит среди актеров драмтеатра Тертту Ульясовна. Она смотрит на мужа, словно страстный болельщик на свою любимую

команду, от всей души желая ей победы, пусть даже нечестным путем. Совершенно другой взгляд у Инжеватова. Он вроде бы предупреждает: у тебя появилась возможность проявить себя: смотри же, не оплошай, будь умницей. Такие моменты не часто случаются...

Арыслан кашлянул в кулак и начал говорить вполне уверенно:

— Да, товарищи, так получилось, что под этим письмом, которое мы сегодня обсуждаем, нет моей подписи. Однако я должен признать, что полностью солидарен с ним. Зная, как у нас решаются подобные дела, можно с уверенностью утверждать, что если мы поставим бюст, то вопрос о памятнике отложится сам собой не на десять лет, а на многие-многие десятилетия. Если вообще сможет возникнуть вновь в обозримом будущем... Я так думаю.

Тертту Ульясовна расстроенно опустила голову. Проиграла ее команда... Инжеватов все еще смотрел ему в лицо, но с большим разочарованием и всепрощающим сочувствием: дескать, что же поделаешь, если у человека не хватает сотого шарика... Даже когда Арыслан снова сел рядом с ним, он не сказал ему ни слова упрека, хотя всем своим видом ясно дал понять, что не одобряет его слов и считает его поступок просто-напросто глупой выходкой, недостойной взрослого серьезного человека.

— Ну, а что думает наш уважаемый Солбон Арданович? Тоже разделяет мнение товарища?— теперь уже с не очень свойской улыбкой спросила Асырханова.

Инжеватов легко встал, пройдя мимо пропускающего его Арыслана, быстро подошел к трибуне.

— Нет, Валентина Абрамовна, я его мнения не разделяю,—твердо сказал он, глядя не в зал, а в сторону секретаря обкома и сидящих рядом с ним руководителей республики.—То есть я разделяю мнение всех в той части, что память о Серде, конечно, требует от нас большей дани, чем мы можем сегодня дать. Однако я реалист, понимаю, в какое трудное время мы живем, понимаю, что сегодня экономика страны напряжена до предела и каждая копейка на счету. Я глубоко убежден, что придет черед и до настоящего памятника, и дело это не отложится в долгий ящик, как думают некоторые. Порукой тому — те большие перемены, которые происходят во всей стране. Даже тот факт, что мы, рядовые в общем-то люди, сидим здесь и обсуждаем такой очень важный вопрос, настраивает на оптимистический лад. Ведь этого еще в недалеком прош-

лом просто не могло быть. Поэтому я призываю своих товарищей согласиться пока на то, что имеем, и просить руководство республики работать дальше над этим вопросом.

— Слышу глас мужа!—одобрила его Асырханова. Тут же встала и быстро завершила встречу:—Ну что ж, товарищи деятели литературы и искусства, думаю, мы с вами обсудили вопрос вполне демократично, в духе времени. Все оказались на высоте, высказывались от чистого сердца, от души, говорили то, что думали. А это главное. Так и должно быть впредь. Иначе какая же гласность, какая демократия?.. Встреча наша, сами понимаете, носит совещательный характер, потому мы тут голосованием не будем заниматься. Однако мы поняли, что большинство все-таки за то, чтобы не пускать затраченные государственные деньги по ветру, то есть желает установить созданный уже бюст поэта в сквере на главном проспекте столицы республики. Мы же не считаем, что долг перед поэтом и народом нами уже выполнен и не снимаем с себя заботы по созданию и установлению в будущем более достойного памятника. Спасибо вам за работу, товарищи. Желаем успехов в творчестве, здоровья. До свидания.

Уже на улице Тертту Ульясовна подошла к мужу, вышедшему вместе с Инжеватовым. Она не скрывала своего возмущения, обычно сдержанная при людях, на глазах у всех отчитала его:

— Ну, отличился? Дурачина ты, простофиля! Кому решил перечить... До сих пор не понимает твоя светлейшая головушка, что мелкие мы с тобой сошки на этом свете, что по-нашему не будет никогда. С тобой по-хорошему захотели сыграть партию, а ты не принял правил игры. В итоге сделал хуже и себе, и мне, и семье. Да что говорить, мемме[44] и есть мемме...

Тертту Ульясовна безнадежно махнула рукой и пошла к своим, к группе работников театра во главе с директором и режиссером, который к концу сезона усиленно готовил премьеру спектакля по пьесе Арыслана. Инжеватов тоже был одного с ней мнения.

— Да, брат, разочаровал ты меня,—сказал он равнодушно, как говорят о вещах или людях, переставших тебя интересовать.—Слов нет объяснить, какую ты глупость сотворил. Разве ты не понимаешь, что значит для руководства учиться работать в условиях гласности? Это значит, давать нам возможность высказываться, а делать же все равно по-своему... Впрочем, сам ты все прекрасно

знаешь. Так что, как говорится, тебе жить, тебе виднее.

Начал возмущаться и Арыслан. Душа и так уж накалена как банный камень, а тут на нее еще водицу холодную брызгают... Он бы сказал сейчас пару ласковых и Инжеватову, и Тертту Ульясовне вдогонку, но, во-первых, природная сдержанность удержала его от такой глупости, во-вторых, все-таки было какое-то чувство вины перед этими людьми, которые, наверное, ему желали добра, а он так и не оправдал их надежд. Поэтому он просто буркнул зло: «А ну вас всех!» и быстро отошел в сторону, затем один медленно побрел вверх по проспекту, мимо запущенного сквера, где были лишь беспорядочно посаженные когда-то школьниками деревья и где в скором времени должны установить бюст в честь выдающегося поэта вакхалыхского народа.

Дней десять спустя, уже накануне майских праздников, вечером к Арыслану неожиданно заявился Инжеватов. Обычно любитель модной молодежной одежды, на этот раз он почему-то был «при параде»: в строгом темно-синем австрийском костюме, в белоснежной финской сорочке, при галстуке, в черных югославских туфлях. Самое же удивительное — приехал он не на своей машине, а на обшарпанном такси: видно, сел в первое попавшееся.

— Салам, старик! Я вычислил, что ты в это время обязательно должен быть дома, потому нагрянул без предупреждения. Ты уж не ругай меня,—сразу извинился он, как только вошел в прихожую.—Есть, понимаешь, очень важный для меня разговор. Если он сегодня не состоится, я буду чувствовать себя очень и очень скверно, даже паскудно...

Он, не ожидая приглашения, снял туфли, сам же отыскал заношенные войлочные тапочки, сунул в них ноги в черных с синими полосками носках, не выпуская из рук увесистый небольшой дипломат, и уверенно прошел сразу на кухню. Арыслану ничего не оставалось делать, как послушно последовать за ним. Инжеватов тут же вытащил из дипломата две бутылки «Столичной», банку лосося в собственном соку... Затевалось, однако, что-то серьезное. Солбон Арданович так сюда еще ни разу не приходил, хотя дружили они давно... Пришлось Борису Викторовичу срочно убрать со стола посуду, оставшуюся после Юмана, с ходу вымыть ее и водворить в буфет, чтобы не мозолила глаза. Затем он начал искать, что бы поставить на стол на закуску. Однако кроме полбуханки зачерствелого хлеба да банки ставриды в томатном соусе дома ничего пут-

ного не оказалось. Борис Викторович полез было в кладовку за картошкой, но Инжеватов остановил его:

— Старик, жареный картофель — это прекрасно, но очень долго. Поставь чайник — и хорош. Я ведь попросил таксиста подъехать минут через сорок. Сам понимаешь, после этого,— пристукнул ногтями одну из бутылок,—в общественном транспорте не поедешь. Да и у тебя, я знаю, времени нет. Небось, настропалился на работу? Неугомонный ты человек.

Это он точно угадал. Арыслан только что проводил Юмана в музыкальную школу. Тертту Ульясовна с обеда ушла в театр. Вероника, хотя еще не расписалась, в последние дни больше пребывала у будущего мужа, иногда забирая туда и Натали. Так что как раз появилась возможность поработать.

— Но ты меня, Борис, все же не ругай. Не такой уж частый гость я у тебя,—заметил Инжеватов, мастерски колупнув кухонным ножом белую головку «Столичной». Тут же разлил по выставленным Арысланом рюмкам из дешевого хрусталя.—А пришел я к тебе, старик, надеясь на твое милосердие. Хочу перед тобой грех свой великий замолить... Да ты садись, все, что надо мужику, на столе уже есть. Давай-ка для начала дернем по одной, глядишь, и разговор веселее пойдет.

Арыслан сел напротив, на старенький табурет.

— Ты на меня не смотри, пей. А я не хочу. Действительно, настроился сегодня работать,—сказал он, будто оправдываясь.

Инжеватов посмотрел на него, с секунду подумал с приподнятой уже рукой, крепко держащей наполненную до краев рюмку, затем поднес ее ко рту, резко выпил водку, удовлетворенно хекнул. Закусил хлебом и куском лососины. Разжевав и проглотив, рассказал:

— Так вот, Борис, вызвала меня сегодня Асырханова. Без всяких вокруг да около спрашивает: не согласился бы я возглавить журнал? Признаться, я мог от нее ожидать что угодно, но только не это. Говорю: есть же у нас более достойные кандидатуры, о тебе напомнил. Отвечает: да, Арыслан тоже числится в резерве кадров, может быть, в будущем мы и ему доверим важный участок. А пока, дескать, подумайте о себе... Я подумал: хорошо, мой друг Арыслан на этот раз почему-то не подошел; хорошо, я из солидарности с ним откажусь; но тогда на должность главного редактора поставят кого-то другого. А кого? Может, такого, который станет думать только о себе, о своих

выгодах? Потому что другие давно уже при деле. Так это же будет удар по нам с тобой, вред для всей нашей литературы... Короче, я согласился с предложением Асырхановой. Тут же меня повели к Важаватову на беседу... Одним словом, вопрос решился, в понедельник на бюро обкома партии меня должны утвердить в должности главного редактора.

Арыслан поспешно схватил свою рюмку, поднял ее, пролив несколько капель на стол, сказал:

— Ну что ж, Солбон, я тебя поздравляю!

Тут же залихватски выпил содержимое, надсадно глотнув всего разок, закусил ставридой в томатном соусе. Почувствовал, как что-то закипело, закипело... Да нет, это, оказывается, крышка чайника начала плясать над сильно выбивающимся паром. Арыслан встал, заварил чай грузинский первого сорта со специфическим вкусом березового веника, достал из видавшего виды буфета чайные приборы, поставил их на стол, из трехлитровой банки высыпал в сахарницу песок, рядом пристроил розетку с вишневым вареньем (отменный был урожай вишен в прошлом году, до сих пор еще несколько банок варенья и компота осталось), вытащил снова из буфета единственную гордость Тертту Ульясовны — серебряные ложечки, сунул их в сахарницу и розетку, разлил чаю по чашечкам, изъяв из холодильника остатки рассыпчатого бутербродного масла, кое-как водворил-таки его на куски хлеба... Все хорошо, все прекрасно, нормалек! Постой, откуда это чужеродное слово? Впрочем, черт с ним. Действительно же, все нормально. Все, все... Арыслан неуклюже сел наконец снова за стол, пододвинул свою пустую рюмку к Инжеватову.

— Давай-ка, Солбон, налей еще по такому случаю...

Инжеватов словно только этого и ждал.

— Я действительно рад за тебя. Очень рад!—спокойно, поразительно для себя спокойно сказал Арыслан.—Желаю тебе успехов. Уверен, у тебя все пойдет как надо. Да, только у тебя! Да, как надо!

Чокнулись, оба выпили.

— Борис, я ведь прекрасно понимаю, что занял в общем-то твое место. Но, как видишь, так получилось... Думаю, ты не должен обижаться на меня,—искренне стал оправдываться Инжеватов.

— Да что ты мелешь ерунду, Солбон? Какое такое мое место? Ты, пожалуйста, не говори такие вещи. Давай пить чай, пока не остыл.

Инжеватов посмотрел на него, стараясь сосредоточиться мыслями, промолчал в ответ. Оба начали прихлебывать с чашечек обжигающий напиток, будто не было в этот момент на свете дела важнее. Но Инжеватов не стал допивать, вскоре отставил чайный прибор в сторону, снова взялся за бутылку, разлил водку по рюмкам.

— Слушай, зачем нам чай, когда на столе есть более горячительное,—пошутил он. Дождавшись, когда выпьет Арыслан, все так же легко опрокинул рюмку в рот.—А с другой стороны, Боря, друг мой, я ведь что подумал... Это, наверное, и хорошо, что меня туда сунули, а? Вот уйдет мой коллега из другого журнала скоро на заслуженную пенсию, на его место поставят тебя...

— Не городи чепухи, Солбон,—прервал его Арыслан. Хотел добавить: «Не надо ломать хребет нерожденному жеребенку», но подумал, что, кажется, он где-то когда-то уже говорил это ему.

— Никакая это не чепуха, друг мой!—упорно стал твердить свое Инжеватов.—Я все варианты просчитал. Кроме тебя им ставить некого. Понимаешь? Хотели бы кого другого — да некого! И вот представь себе: ты главред, я главред. Нам с тобой печататься в своих журналах несподручно. Заклюют при нынешней-то гласности. А так я бы печатался у тебя, ты — у меня...

— Солбон!..

— Все, все, молчу. Молчу-у! Только ты, старик, дослушай меня до конца, лады? Я ведь люблю тебя, непутевого... Так вот, когда я выдержал беседу у первого на ять, Асырханова снова завела меня к себе. Поговорили еще с полчасика. О том, каким сейчас надо быть журналу, над чем бы желательно работать писателям... Ну и так далее, положенное в такие моменты. Мы же сами без подсказки ничего этого не знаем... Я снова незаметно спросил ее о тебе. Мол, что, он из доверия совсем вышел или как?

Инжеватов посмотрел Арыслану в глаза. Борис Викторович слушал внимательно. Ему это было интересно. Инжеватов выпил из своей чашечки остатки остывшего чая, пожевал смастеренный Арысланом бутерброд.

— Ну и что она сказала?—не выдержав, заторопил его Борис Викторович.

— Что она скажет... Она не дура, прямо ничего не скажет. Но я так понял, что она... стала не совсем доверять тебе. Им ведь кадры надежные, управляемые нужны. А ну как один руководитель заартачится, другой не послу-

шается своего начальства? Анархия же, по их понятиям, наступит... Ну, это все так, к слову. Главное, из ее намеков я вот что уловил. Скоро тебя должны вызвать в обком, в адмотдел, на беседу. Оказывается, ты на некоторых шишек телегу большую накатал. Даже я не ожидал такого от тебя. Асырханова, похоже, понимает, что сделал ты это из искреннего желания кому-то помочь, и не очень осуждает тебя. Но она, видимо,— я точно не знаю — считает, что твоему подзащитному сделаны все поблажки, какие только можно сделать. И ожидает, что ты тоже поймешь это и дальше не будешь волочь это дело... В общем, я не знаю, что ты там написал, прав или неправ. Только я тебе очень советую: будь на этот раз умнее. Ты же на самом деле человек не глупый, а довольно-таки разумный, перебори наконец свое ненужное упрямство. Не чувствами надо сейчас жить, а разумом, только разумом. Время ускоряется в геометрической прогрессии, переживать за все просто невозможно. Пойми ты это, и с твоей башкой можно такое сотворить...

На улице загудела легковая машина. Инжеватов встал, старательно прямо прошелся к окну, посмотрел вниз.

— Все,— сказал облегченно, будто оторвался наконец от страшно неприятного дела,— телега подана. Мне пора ехать.—Затем обнял Арыслана. Наверное, от него сейчас несло недопрелым перегаром, но Борис Викторович этого не чувствовал, поскольку сам выпил не меньше...—Так ты понял, старик, что от тебя требуется? Не знаю, может, ты на сто процентов прав в своей жалобе. Но ты в первую очередь подумай о себе, очень тебя прошу. Ну скажи ты им, что ошибся. И насчет жалобы, и насчет остального кое-что намекни. Скажи, горе, мол, у меня было большое, не отошел еще я, все взвинченный, мол, какой-то живу... В общем, найди что-нибудь этакое душещипательное. Они это любят...

Инжеватов вышел в прихожую, обул туфли, спокойно наклонившись, затянул молнии, взяв пустой дипломат, пошел к выходу.

— Ты это, непочатую-то забери!—напомнил Арыслан.

Инжеватов только небрежно махнул рукой, этим же жестом одновременно и попрощавшись, поспешно вышел: внизу машина загудела второй раз.

Арыслан закрыл дверь, не дождавшись, пока Солбон Арданович войдет в лифт, зашел в кухню, подошел к окну, глянул вниз. Увидел, как из подъезда торопливо вышел Инжеватов, приветливо махнул водителю, сел на зад-

нее сиденье, сильно захлопнув дверцу. «Волга» с квадратными шашечками, чуть дернувшись, с места начала набирать скорость, игриво подмигнув несколько раз подфарниками, скрылась за поворотом. Арыслан подошел к столу, тупо уставился на разбросанную грязную посуду. Затем взял свою рюмку, но отставил ее, схватил чайную чашечку, налил в нее из бутылки оставшееся. Его хватило только на полчашечки. Тогда Арыслан открыл вторую бутылку, долил из нее до краев и медленно, с передыхом, морщась от неприятного запаха, выпил все до дна. Ох и горька же она! Ох и горька-а...

Арыслан еще раз посмотрел на грязную посуду, махнул на все рукой и пошел в свою комнату, сел за стол. Но листки бумаги в глазах двоились, да и стул почему-то качался. Нет, конечно, не то. Это он пьян. Он еще понимает это. Однако о работе думать нечего. Ничего, не волк, не убежит.

Встав из-за стола, Арыслан подошел к койке, сбросив тапочки, прямо в брюках, в рубахе, завалился на постель.

Через несколько дней после майских праздников Арыслан получил письмо от матери. Писала она, как и большинство малограмотных, редко, только при большой нужде и почему-то не по домашнему адресу, а, как и в тот раз, на работу. Письмо было короткое, но разбирать его пришлось долго: мать употребляла старую вакхалыхскую письменность.

«Здоров ли, мой старший сын? Здоровы ли моя невестка, мои внуки Вероника и Юман, моя правнучка Натали? Всем вам шлю сердечный салам из Хыркасов.

Пишу без надобностев, потому как сильно соскучилась. Живу хорошо. Пологорода засеяла нонче травами. Спасибо Шакурову, помог семенами. Картошку тоже посадила. Опять же соседка сильно помогла. Сварила мне пять литров самогону, так что позвала я на ниме аж цельных семь человек. Конечно, стыдно за самогон-то, да что поделаешь, не под силу столько водки покупать. Сынок, плохо мне тут одной, ох как плохо. Выхожу в сад — нет его, отца-то, в огороде — нет, во дворе — нет, в комнатке своей — и тож нету. Хоть волком вой. И вас, кровинушек моих, никого нету. Нешто ни одному нельзя вертаться в родной ял, продолжить дело отцово? Ладно, младшие — оне с техникой в ладах, тута для них завода нету. Но ты можешь учительствовать. Подумай, сын, а? Такое справное хозяйство пропадает.

В яле все по-прежнему. Что с ем сделается. Только вот схоронили мы в прошлое воскресенье Ывана, Ивана Прокопьевича то есть. Сердце его отказало. Народу было мало, человек с десяток, не боле, соседей, да мы с Илемби, да ишшо копальщики. Еле управились. Слух тут злой прошел, мошенничал он будто бы, вот и отвернулись люди от покойного.

На этом кончаю.

Пелагея Петровна».

Прочитав бесхитростное письмо матери, Арыслан не выдержал, бросив все самые срочные дела, спустился на улицу, никого и ничего не замечая, прошелся по ней до ближайшего скверика, как раз туда, где скоро должны установить бюст Серде, нашел в заброшенном углу единственно уцелевшую скамейку со сломанной спинкой. И долго сидел там, снова и снова перечитывая обыкновенное в общем-то письмо матери. Теперь ему временами казалось, что вовсе и не мать, а Илемби написала его, что это она тоскливо причитает по Василькову такими знакомыми, берущими за душу словами: «Вышла в сад — нету его, пошла в огород — и там нет, во дворе — тоже нет, даже в комнате своей нету жа-а...» А в перерывах между чтением письма нет-нет да и вспоминались предсмертные слова поэта:

Как умру— похороните
На горе крутой,
У могилы посадите
Ветлы надо мной.

Пусть с могилы будет виден
Край родимый мой,
И раскинется пред взором
Город наш родной.

Пусть с рожденьем поэта
Каждого в стране
Прилетит с зарею ранней
Иволга ко мне.

Пусть она к могиле сядет
На ветле густой
И прославит песней милой
Наш язык родной.

Если край свой не возлюбит
Мой народ родной,
Сгинуть вакхалыхской речи
Суждено судьбой —

Не хочу я и бурьяна
На могилу, нет:
Пусть земля меня проглотит,
И исчезнет след![45]

ЧЕГО НЕ БЫЛО И ЧТО БЫЛО

Наконец пришел тот день, которого Арыслан в последнее время начал ожидать с нетерпением: его вызвали в обком, в отдел административных органов, на беседу, как сказали по телефону. Идти надо было к трем часам дня. С приближением назначенного времени его почему-то все сильнее и сильнее охватывало какое-то непонятное волнение. Чем оно вызывалось — сразу и не сообразишь. То ли это обычная настороженность рядового человека перед предстоящим разговором с высокопоставленными должностными лицами, которая бог знает в какие времена еще заложена сильными мира сего в вакхалыхине и не оставляет его до сих пор, то ли результат мучительной неопределенности, вызванной незнанием того, как пойдет разговор и как в случае чего надобно вести себя. Как бы то ни было, Арыслан сегодня уже не мог больше работать, не мог сосредоточить мысли на чем-то конкретном, нужном, и в обед в столовую не пошел, решив немного побродить, успокоиться.

Чтобы не попадаться на глаза знакомым, которые имеют привычку обязательно подойти и заговорить, он сначала уехал подальше от «ООН». Ему сейчас хотелось быть одному и только одному в этом шумном, копошащемся мире... Выйдя из трамвая у привокзального скверика, он медленно побрел по замусоренной аллее в тень зеленеющих свежими листьями лип и кленов. Здесь, как всегда, было многолюдно. Но в большинстве своем это были не башколинцы, а приезжие: кто в ожидании своего поезда коротал время на свежем воздухе, кто, наоборот, только что прибыл и не разобрался еще, в какую сторону податься. Здесь всегда чувствуешь себя вольготно, будто и нет никого вокруг, потому что никому нет дела до тебя и тебе до других. Среди этого сидящего, стоящего, лежащего, читающего, жующего, дремлющего люда по-хозяйски разгуливали цыганки, по одежке и по виду выбирая, кому можно предложить погадать, кому — купить рубашку, кому еще что... Тут же учились промышлять и цыганята: наивными глазками глядя человеку в лицо, клянчили у

дяденек и тетенек «двадцать копеек на хлеб». Борис Викторович по неосторожности дал-таки одному лупоглазому мальчугану требуемую монету и тут же был окружен целой толпой смуглых ребятишек. Раздав всю мелочь, какая имелась в кармане, он еле отбился от них, и, решив держаться подальше от этой прилипчивой детворы, перешел на другую, более тихую аллею. Тут тоже были цыганки, однако промыслом не занимались, заняв две стоявшие рядом скамейки, отдыхали и обедали заодно. Борис Викторович тоже решил немножко посидеть в тени, устроился на единственно свободную соседнюю скамейку. Похоже, из-за соседства шумливых в общем-то вполне милых смуглянок ее никто не решился занимать.

Как ни старался он не думать ни о чем, в голову лезли всякие мысли, в основном о предстоящей беседе в обкоме. Интересно все-таки, как она пройдет? Хорошо бы, конечно, если бы ему сказали просто: «Да, вы написали совершенно правильно. Миклай Абдулович, как депутат Верховного Совета СССР, обратился в Президиум Верховного суда и прокуратуру республики с просьбой еще раз вернуться к делу ветерана войны и труда Василькова и рассмотреть его более тщательно и объективно. Просьба принята во внимание. После нового дорасследования во всем, наконец, разобрались. Обвинения с товарища Василькова сняты, ему принесены извинения. Директор «Объектива» Зубова строго наказана. Убытки, понесенные объединением в связи с исключением работ Василькова из плана, возмещены за ее счет». Но такой ответ, увы, теперь невозможен. Ивана Прокопьевича уже нет в живых, так что никто никогда не принесет ему извинений. А если бы это случилось раньше, наверняка, жил бы и жил еще человек... Тогда, может, скажут: «Да, прокуратурой и судом допущена большая ошибка. После вашего письма на имя Миклая Абдуловича наконец-то разобрались во всем, но, к сожалению, очень поздно... Мы принесли извинения супруге Василькова — Илемби Дугаровне. Сделаем все возможное, чтобы облегчить ее участь. Виновные в нарушении социалистической законности Зубова, Тунюк, Тыхтаман и районный нарсудья уволены с работы, заместитель председателя Верховного суда республики Хелипкин строго наказан в служебном и партийном порядке». Однако что должен сказать Арыслан в ответ? Сказать так, чтобы, как разъяснил Инжеватов, восстановить тем самым доверие к себе и со стороны Асырхановой, и других работников обкома. Вроде бы после

всего этого и говорить-то будет нечего. Придется просто поблагодарить за информацию и уйти. Но Инжеватов не зря предупредил его, ох, не зря. Неужто возможен еще какой-то иной вариант ответа на письмо Важаватову? Это после преждевременной смерти-то Василькова, причина которой яснее ясного? Не может быть такого, не может быть. Они, проверявшие письмо Арыслана, должны же знать об этой трагедии... Впрочем, стоп! Хватит ковырять кровоточащую рану! Иначе придешь в обком заранее возбужденным, взвинченным. А это отнюдь не самое лучшее состояние для беседы с высокопоставленным начальством. Особенно для таких людей, как он.

Арыслан даже чуть встряхнул головой, отгоняя непрошеные мысли, и, чтобы отвлечься от них совсем, начал с навязанным самому себе интересом смотреть по сторонам. Вдалеке, в конце аллеи, вдруг засуматошились люди. Похоже, объявили о приходе какого-то поезда. Шагах в семи-восьми голуби, эти самые мирные птицы, ожесточенно вырывали друг у друга кусок пирожка, подброшенного им кем-то из прохожих. Цыганки уже пообедали, весело подшучивая, собирали остатки еды в целлофановый мешочек. Вдруг одна из них, сидящая через скамейку, запела. Голос был хриплый, прокуренный, но задорный. И, показалось Арыслану, знакомый. Он невольно прислушался. Однако женщины перебили певицу, возбужденно загалдели. По тону чувствовалось: просили что-то. Потом враз смолкли, и первый голос снова затянул песню. На этот раз — не задорную и не печальную, но неведомо чем берущую за душу, затрагивающую самые затаенные и чувствительные струны ее. Впрочем, таковы они, песни цыганские...

Ай, да не мороз ли ман морозит, родная,
Ай, не мороз ли ман морозит, мать моя.
Тэ мразикирла ей ли ман, кана?
Тэ е шубенка прэ мандэ риськирды.[46]

Слова-то цыганские, а все же понятные. То есть понятные по содержанию, хотя почему в теплый предлетний день надо петь именно о морозе и шубе — объяснить вроде бы трудно. Однако не они завораживали все больше и больше, а голос. Знаком он Арыслану, как еще знаком! Провалиться на этом месте, если это не так. Неужели?..

Арыслан встал, не спуская глаз с крайней скамейки, медленно пошел по направлению к ней. Пела худенькая востроглазая женщина лет сорока пяти-сорока семи. Ма-

ленькая головушка на тонкой крепкой шее; продолговатое лицо; белые ровные зубы, правда, не все, впереди поблескивают желтым два золотых; тонкие губы; смоляные волосы... Хотя и сидит, поет такую вот затяжную песню, а вся в движении: то подруг подтолкнет, то телом поведет просто так, будто хочет высвободиться из ставшей вдруг тесной одежды, то задвигает коленками, словно стряхивая что-то... Конечно, за три десятка лет Арыслан подзабыл точные черты лица той, шестнадцатилетней, да и таких темпераментных среди цыганок, поди, немало. И все же, почему бы ей не быть именно ею? Вот певица тоже зацепилась за него своими черными искрометающими глазищами и уже не отцеплялась. Арыслан поравнялся с ней, остановился, повернувшись к цыганкам лицом, стал внимать песне.

— Послушай, красавец! Чего ты на нас уставился? Чего тебе надобно? Может, погадать?—неприязненно прикрикнула на него одна из женщин, возмущенно взмахнув руками.

Но певица изящным движением никогда не знавшей лопаты руки остановила ее. Это почему-то придало Арыслану смелости, и он дослушал песню до конца, хотя не она была ему важна. Когда же цыганка кончила петь, вдруг застыла, во взгляде ее появилось удивление, оно постепенно превращалось в изумление.

— Аза?— то ли спросил, то ли подтвердил свою догадку Арыслан.

— А ты — Борис?—таким же тоном ответила цыганка.

— Аза!—обрадованно воскликнул Арыслан.—Надо же, встретились!

Другие женщины переглянулись между собой, теперь уже вполне дружелюбно о чем-то подшучивая на цыганском, поднялись, не спеша двинулись по аллее в разные стороны, одинаково покачивая бедрами.

— Садись, Борис!—предложила Аза.— И правда, встретились. Лет двадцать прошло, поди, а?

— Какие двадцать, все тридцать, Аза! Да-а, столько воды утекло...

Аза тоже не скрывала радости, улыбалась весело и грустно одновременно. Интересно, кто еще на свете может так улыбаться? Разве знаменитая Мона Лиза. Но та скромно сдерживает свои чувства, а у этой они, наоборот, все так и прут наружу. И все же что-то остается внутри и у нее. То, чего она, возможно, и самой себе никогда не скажет...

— А помнишь, как ты пела на Чанга ту?—спросил Арыслан.—Я ведь тебя сегодня по голосу только и узнал.

— Тю-у! Какой теперь у меня голос?—засмущалась Аза.

Это смущение так шло ей и так было непривычно. А может, и нет. Они ведь, цыганки, боевые на работе, если то, что они делают здесь, в сквере, можно назвать работой. А между собой, наверное же, они ведут себя как все люди. Наверняка известны им счастье и горе, смех и слезы, любовь и ненависть, наглость и стыд, желание и необходимость, лукавство и смущение. Встали же подруги Азы, ушли, оставив ее наедине с ним, когда поняли, что встретились давние знакомые...

— А ты, стало быть, не живешь теперь там, где хотел меня оставить?—с дружеской подковыркой спросила Аза.—И кто же ты теперь? На начальника что-то не похож, пешком ходишь, да еще среди цыган. Однако руки твои не шелушатся мозолями. Стало быть, в конторе сидишь, а, чужие деньги считаешь?

— Точно, угадала!—засмеялся Арыслан.— Помнишь, как ты нагадала мне: «Выбрав же, обязательно добьешься того, чего желаешь». Вот я и добился.

— Кому когда что нагадаем — мы этого не помним. Но тебе, дорогой, я могла тогда такое сказать, это точно,— согласилась Аза.

— Почему же мне только и именно тогда? А не кому-то еще и сейчас?

— Потому что молодая была, глупая, жизни не знала,— еще раз весело и грустно одновременно улыбнулась Аза.—Ты ведь тогда, помню, чистый такой был, честный, справедливый, умный. Людей любил. Я по наивности думала, что такие люди всего добьются, чего захотят.

Это точно. В молодости не она одна, многие так думали. Потому что так учили. У нас, мол, каждому кругом дороги открыты, надо быть лишь честным, справедливым, трудолюбивым. Это, дескать, у них там простому человеку везде плохо: куда ни сунешься—везде гвозди, приготовленные для него жирным буржуем, торчат. Но в жизни есть множество вещей и понятий, которые так просто на «у нас» и «у них» не делятся. Они, эти вещи и понятия, пустив глубокие корни, и там и здесь завоевали себе огромные жизненные пространства, однако продолжают расширять их за счет «окультуренных» честностью и порядочностью людей, которые как раз, оказывается, и не могут добиться того, чего захотят, к чему стремятся.

— Ну а сама ты как? Помнишь, какую свободу ты хотела? И как, добилась?

Лицо Азы вдруг похмурело. И сразу стало видно, что годы не пощадили и ее: веселые лучики, при улыбке исходящие от глаз, на самом деле оказались обыкновенными морщинками; если приглядеться, в ее смолянистых волосах, оказывается, можно заметить немало чужеродных ниточек, спряденных то ли из ковыля, то ли аж из самого серебра.

— Эх, дорогой!—тяжко вздохнула она.—Кто в детстве не бывает глупым... Какая может быть в жизни свобода, когда ты кругом опутана. Вожак свое требует, закон — свое. Дети кушать просят. А зарабатывать все труднее. Шибко грамотный стал народ, люди не цыганам верят — себе. Да и в палатках жить в мои годы невмоготу, стало быть, опять же тяжела стала на подъем. Только и остается одно: быть свободной, плевать на все... в душе. Тем и живу, красавец мой. Иначе бы какой смысл?

Вот и поговорили... Столько лет не виделись, а встретились—посидели пять минут и не о чем стало рассказывать друг другу. Главное ясно, так что зачем мелочи ворошить.

Арыслан взглянул на часы. Стрелки приближались к двум.

— Торопишься куда, дорогой?—спросила Аза.

— Да вот, в три часа надо быть в одном месте,—объяснил Арыслан.

Хоть и важное было то дело, ему сейчас не хотелось идти в обком. Сидел бы и сидел он здесь, рядом с этой в сущности почти что незнакомой, но очень близкой женщиной до самого темна, когда скроются их морщины и седины и оба вновь будут казаться молодыми, как тогда, три десятка лет назад. Да нет же, однако, не станет она впустую убивать с ним время, хотя, возможно, и ей хочется побыть с ним подольше. И Арыслан не посмеет не идти на назначенную беседу. Неумолимые, безжалостные законы, порядки жизни ломают нас в большом и малом ежедневно и ежечасно.

— Аза, спой, пожалуйста, на прощанье еще раз,— попросил Арыслан.— Эту, последнюю, про шубенку.

— Тю-у, какая из меня певунья!—смущенно замахала руками Аза.—Хочешь, я тебе лучше погадаю? Бесплатно!

— Ну давай, коли бесплатно,— улыбнулся Арыслан и протянул ей правую руку.

Цыганка долго изучала его ладонь, то и дело посмат-

ривая ему в глаза, стала вдруг серьезной, очень серьезной, чего от нее, кажется, трудно было ожидать, и начала говорить:

— Быть тебе, седой красавец, скорым временем в густом лесу. И встретишься там с орлом. Опасайся его. Орел тот лишь при людях высоко парит. На самом же деле он живет на земле и клюет вороном. Человек, конечно, сильнее этого воронистого орла. И все же не каждый может побороть его. Если придется потягаться с ним, подумай об этом, взвесь свои силы, прежде чем вступить в борьбу.

И еще ждет тебя, дорогой Борис, дорога. Она может вывести из лесной чащобы, привести в желанное место. Но это будет только тогда, когда характер твой закалится, как самый лучший кирпич, которому не страшны ни жара ни холод, ни ветер ни дождь. Потому что в это желанное место тебе придется идти одному, оставив друзей и близких. Ты этого не бойся. На новом месте у тебя вскоре снова будут и друзья, и близкие, более надежные, более верные. Тем ты и успокоишься.

Я тебе, красавец, ничего не предугадываю, ничего не советую. В жизни исход всего — в руках всевышнего. А всевышний для человека — он сам. Я тебе лишь одно напомню: ничего не найдет тот, кто боится потерять уже найденное. Желаю тебе, дорогой Борис, побороть того, с кем решишься помериться силами, найти то, что ищешь. И да будет так!

А теперь прощай, дорогой. И прошу тебя: больше не подходи ко мне, если даже встретишь.

Аза резко встала, не дожидаясь, что скажет оторопевший Арыслан, быстро пошла в сторону, к своим разбредшимся по скверу подругам.

Впрочем, пора было ехать и Арыслану. Он, не успев еще как следует обмозговать ворожбу цыганки, тоже торопливо зашагал к трамвайной остановке. Впрочем, что там мозговать: известно же, гаданье — это сказ, написанный вилами на воде...

Постовой милиционер на этаже уже был предупрежден об Арыслане и пропустил его сразу же по предъявлении удостоверения, указал даже, куда пройти. Это был кабинет инструкторов отдела административных органов. Ничего особенного: два стола, на каждом городской и внутренний телефоны, два сейфа, шесть стульев. Оба инструктора находились на месте, встретили Арыслана весьма приветливо. Один тут же позвонил по внутреннему телефону и доложил кому-то:

— Он пришел. Сидит у нас.

Минут через десять в кабинет вошли трое. Необходимости знакомить не было: всех троих Арыслан знал в лицо. Это был заведующий отделом административных органов обкома партии Тулупов, заместитель прокурора республики Тыхтаман, заместитель председателя Верховного суда республики по гражданским делам Хелипкин... Один из инструкторов тут же встал, уступил место заведующему отделом, сам вышел куда-то. Видимо, он не занимался этим вопросом.

— Прежде всего, уважаемый Борис Викторович, мы приносим извинение за то, что не смогли ответить вам вовремя,— сказал Тулупов.— Мне говорили, что вы будто бы были в отъезде?

— В отъезде я был в начале года. А после того как написал это письмо, из дома не отлучался,— уточнил Арыслан.

— Разве? Ну да ладно, не это главное. А теперь по существу дела вам разъяснят компетентные лица... Товарищи, кто первый?— посмотрел Тулупов на Тыхтамана и Хелипкина.

— Поскольку окончательное слово было за нами, давайте я начну,— сам вызвался Хелипкин.— Гражданин Васильков Иван Прокопьевич обвиняется в том...

И он начал перечитывать длинный текст решения Верховного суда, при этом от себя добавляя еще комментарии. Минут через семь-восемь Тулупов нетерпеливо посмотрел на часы.

— Станислав Кузьмич, одну минуту,— прервал Хелипкина инструктор, заметив недовольную мину своего начальника.— Борис Викторович весьма основательно осведомлен о том, в чем обвиняется гражданин Васильков. Он в жалобе сам подробно пишет об этом. Поэтому давайте приступим сразу к выводам.

— Хорошо,— согласился Хелипкин, кивнув головой почему-то не инструктору, а в сторону Тулупова.— Тщательно рассмотрев и изучив все представленные сторонами документы, свидетельские показания, взвесив все «за» и «против», Верховный суд пришел к следующему. Гражданин Васильков в целях наживы действительно занимался мошенничеством. Прикидываясь, будто не был знаком с инструкцией I-быт, он снимки, не входящие в план по быту, реализовал по расценкам, установленным за снимки, входящие в план. Когда же был разоблачен, незаконно создал в колхозе фотоотдел и через него продолжал по-

лучать наживу. Довольно-таки кругленькая сумма набралась в итоге. Вы, уважаемый Борис Викторович, ее знаете. Я же хочу лишь напомнить: судом взыскана лишь маленькая ее толика, за что прокуратура, естественно, в большой претензии к нам. Но мы учли, что Васильков до сих пор по работе характеризовался положительно, ранее не был судим, является участником Великой Отечественной войны, да и материальное положение у него, ныне пенсионера, не совсем... Понимаете? Нам стоило больших усилий уговорить прокурора республики не писать протест в порядке надзора на наше решение. И, если признаться честно, мы искренне не понимаем, чего вы еще добиваетесь? Мы вроде бы сделали все от нас зависящее, чтобы как-то смягчить вину человека. Заведено не уголовное, а гражданское дело. Применив статью сто двадцать третью КЗоТ, взыскали чисто символическую сумму... Не можем же мы его за мошенничество в особо крупных размерах не наказывать совсем. Что нам тогда скажут коллектив объединения «Объектив», общественность республики? Неужели даже это не понятно?

— Борис Викторович,— обратился Тулупов к Арыслану, прежде чем тот что-то успел возразить Хелипкину,—вы не юрист, потому, наверное, не знаете... Защищаемый вами Васильков обвинен по статье девяносто третьей УК РСФСР. Это значит — за хищение государственного или общественного имущества, совершенное путем мошенничества. Понимаете? Очень серьезное обвинение. Оставить человека безнаказанным за такое — это, знаете, ни в какие ворота... Ведь мы же с вами коммунисты, как раз обязаны бороться против таких людей, а не брать их под свои крылышки.

От такого напора Арыслан был прямо-таки ошарашен. В какой-то момент в душу закралось холодящее сомнение: в самом деле, правильно ли он делает, защищая Василькова? А что, если данные отцу и Илемби обещания, вполне понятные долги перед ними, наконец, известие о кончине Ивана Прокопьевича затмили ему глаза, мешают разуму воспринимать это дело объективно, беспристрастно? Не может быть, чтобы все эти люди ополчились против вообще неизвестного им человека просто так, беспричинно. Какой им в этом интерес?.. Однако сомнение это промелькнуло в голове не дольше хмури на личике младенца. В конце концов отец, мать, Илемби, Шакуров разве плохо знали Василькова? Они съели с ним не один пуд соли. Тем не менее его честность и порядочность у

них никогда не вызывали ни малейшего сомнения. А документы? А показания свидетелей?

— Я, конечно, верю в искренность ваших слов,—сказал Арыслан, переборов внутреннюю робость и в душе ругнув себя за слабую подготовку к этой беседе; стыдно даже вспоминать, что он наивно надеялся здесь услышать.—Но у меня все-таки есть кое-какие сомнения. Поэтому позвольте уточнить некоторые моменты.

— Пожалуйста, пожалуйста,— с готовностью поддержал его Тулупов.— Мы ведь для этого собрались сюда все, чтобы рассеять всякие даже мало-мальские сомнения. Понимаете, бросили все дела. А их у нас у каждого, поверьте, хватает. Но нам важно, чтобы у вас сложилось обо всем правильное представление. Мы ведь понимаем, что писали вы жалобу из искреннего желания помочь человеку. Это, к сожалению, пока еще очень редко встречающееся явление, оно достойно всяческой похвалы и поддержки. И не ваша вина, что мошенник и, возможно, его сотоварищи ввели вас в заблуждение, решили воспользоваться вашим именем, авторитетом и человеколюбием. Такое, к сожалению, тоже случается нередко... Так что же у вас, дорогой Борис Викторович, вызывает сомнение?

Арыслан постарался сначала понять все сказанное. Вообще он решил не торопиться, так как почувствовал, что из-за неожиданного оборота дел пока реагирует на все не очень быстро, с некоторым запаздыванием. Хотя одновременно понял, что скованность постепенно проходит. Так бывает, когда из ночной темени вдруг заявляешься в светлое помещение: в какое-то время видишь все расплывчато, словно в тумане; но проходят минуты, и неожиданно для самого себя вдруг появляется орлиная зоркость, которую ты в обычной обстановке никогда в себе не замечал. Так происходило и в сознании Бориса Викторовича.

— Товарищ Хелипкин говорил, что Васильков занимался мошенничеством в целях наживы, реализовывал снимки по завышенным расценкам,—сказал он спокойно.— Хотелось бы поконкретнее узнать, как это происходило? Насколько мне известно, выписываемые им счета проходили через бухгалтерию РПУ. Разве бухгалтерия не контролировала его?

— Да, безусловно, здесь вина бухгалтерии просматривается,—будто бы согласился Хелипкин, простодушно улыбнувшись.—Но бухгалтера тоже можно понять. Он ви-

дит, что фотограф выписывает счет за снимки, сделанные, скажем, для Доски почета, и верит ему, даже на минуту не сомневаясь, что мошенник просто, как говорится, объегоривает его. Ему, конечно, время от времени надо было убеждаться самому в соответствии счетов снимкам. Не зря молвится: доверяй, но проверяй. И если быть строгим, главбуха и бывшего директора РПУ тоже стоило привлечь к ответственности. Взыскать, например, в пользу государства по месячному окладу. Но тут, понимаете, может возникнуть деликатная ситуация. Бывший директор и главбух, пытаясь оправдаться, поднимут шум, и тогда Василькову за все придется держать ответ сполна. А мы бы этого не хотели. Все-таки человек участвовал в войне. Я тут могу признаться, к фронтовикам питаю особые симпатии. И у меня просто рука не поднимается... понимаете?—поднял пухлую руку и еще раз дружелюбно улыбнулся Хелипкин, тем самым одновременно давая понять, что объяснение закончил.

— Что у вас рука не поднимается на фронтовика — это я понимаю,—в тон ему сказал Арыслан. Он уже вполне освоился и старался вести себя как можно свободнее и спокойнее.—Я другого не понимаю: как это в бухгалтерии по счетам Василькова могли догадываться, какие он делал снимки? Ведь Васильков в счетах вообще не указывал виды снимков. Просто писал: «за выполненные фоторабо́ты». Потому что, не зная инструкции, он понятия не имел, что указание видов может иметь какое-то значение.

Эти детали Арыслан с журналистской дотошностью расспросил у Ивана Прокопьевича еще когда писал кассационную жалобу и теперь мог говорить о деле конкретно и тонко. Это несколько озадачило Хелипкина, он погасил не сходящую с лица приятную улыбку, вопросительно взглянул на инструктора, Тыхтамана, Тулупова.

— Видите ли, Борис Викторович, дело в том, что большая часть счетов впоследствии была переписана с указанием конкретных видов снимков,—вступил в разговор Тыхтаман.

— Возможно,—охотно согласился Арыслан.—Но кто это сделал? Вы уточнили?

— А тут и уточнять нечего,— ухмыльнулся Тыхтаман.—Логика ясно подсказывает: кому выгодно, тот и подделывает документы. Выгодно же было Василькову.

— И объединению «Объектив»,— бесстрастно добавил Арыслан.

— Почему это может быть выгодно «Объективу»?— будто не понимая, спросил Тулупов.

— Потому что таким путем объединение легче выполняло планы по реализации услуг населению. Кстати, такие факты народные контролеры выявляли не раз. Об этом писалось и в республиканской газете, на что я указывал в своем письме,—заметил Арыслан.

— Ну-у!—усмехнулся Тыхтаман.— Это лишь ваше мнение.

— Не мое — газеты и народных контролеров,— поправил Арыслан.— Впрочем, чего тут спорить. Давайте лучше посмотрим эти самые переписанные счета. Думаю, без экспертизы можно узнать, он это сделал или кто другой. Ведь в бухгалтериях сейчас сидят люди, по крайней мере, со средним образованием. А Васильков кончил два класса, пишет как курица лапой.

Теперь уже Тыхтаман погасил надменную улыбку, вопросительно взглянул на инструктора, Хелипкина и Тулупова. Но ответил сам же:

— Понимаете, я не думал, что мы будем дотошно разбирать каждую деталь, и просто не захватил с собой эти подделанные счета. Впрочем, мы и не пытались собирать их все. Для нас в принципе достаточен акт, составленный компетентными людьми из объединения «Объектив». У нас в прокуратуре все равно нет специалистов по фотоделу лучше них.

Арыслан почувствовал, что спокойствие покидает его, в душе что-то начинает закипать. К тому же он все это или почти все где-то уже доказывал. Кажется, в Айдарове, райпрокуратуре. Или в райкоме. Там его хоть старались понять, а здесь словно бьешься лбом о кирпичную стену... Спокойно, спокойно, только спокойно...

— Интересно, однако, у вас получается,—заметил он.— Достаточно, оказывается, акта трех заинтересованных лиц, чтобы обвинить человека в преступлении. А если мы вот с остальными сидящими здесь товарищами возьмем и напишем, что вы убили кого-то? Тогда как?

— Зачем так утрировать?—возмутился Тыхтаман.— Мы же пришли сюда по серьезному делу, для серьезного разговора.

Борис Викторович начал четко понимать: здесь ему говорят только то, что он уже слышал от айдаровских юристов или из пересказа Василькова о своих беседах с судьями. А это значит, никто из присутствующих даже не думает объективно рассматривать его письмо на имя

первого секретаря обкома партии. Это значит, прав Инжеватов, намекнувший, что все они связаны какой-то крепкой нитью. Если кто-то попросит помочь, все другие из этой связки кинутся ему на помощь не раздумывая. Потому что, наверное, только так, вместе, сообща, они могут выжить. Что же теперь, не плевать против их ветра, даже если во рту гадко?

— И вообще, я не совсем понимаю ваше стремление помочь этому человеку,— продолжил Тыхтаман.—Допустим, он вас отблагодарит или еще что-нибудь... Это же не повод, чтобы белое назвать черным. Вот я вам сравнение приведу. Много шабашников шастает по хозяйствам республики. Сделают работу на тысячу рублей, а получают десять тысяч. Что же, смотреть на это сквозь пальцы? А ведь ваш Васильков по сути точно так же шабашил.

Тут Арыслан вспомнил, как часто приходили в редакцию газеты, где он когда-то работал, письма возмущенных людей о шабашниках. В основном в них говорилось одно и то же: хотя местные строители соглашались воздвигнуть тот же объект за меньшую аккордную плату, председатель колхоза или директор совхоза почему-то стремились заключать договор непременно с приезжим людом, на разорительные для хозяйств суммы... Эти письма направлялись в прокуратуры, в ОБХСС, откуда всегда приходили стандартные ответы: «Факты не подтвердились. В возбуждении уголовного дела отказано». Вообще Арыслан тогда еще заметил такую странную закономерность: чем крупнее мошенник, чем больше он хапает, тем меньше привлекается к ответственности. И наоборот: мелочь, и только она, как правило, рано или поздно все равно попадает на пресловутую скамью подсудимых.

— Интересно, кстати, узнать, много ли шабашников осуждено у нас в республике за последние годы?—спросил Борис Викторович.

— Причем здесь это?—возмутился Тыхтаман.—Я ведь просто для наглядности сравнил.

Возмутился и Арыслан.

— Вы бы для наглядности все-таки лучше показали переписанные счета,—заметил он.—И вообще, если вина Василькова настолько очевидна, почему же заставили адвоката отказаться написать кассационную жалобу? А судья даже прервал заседание и заменил заседателей, чтобы добиться принятия «правильного» решения. Разве допустимы такие действия в судопроизводстве?

— Однако странный вы человек,—осуждающе покачал

головой Тулупов.— Мне вас охарактеризовали несколько иначе... Ну хорошо. Эти моменты, упомянутые вами в жалобе, мы проверили. Оказалось, ваш подзащитный не прочь ставить факты с ног на голову... На самом деле гражданин Васильков попросил адвоката Кочергина подействовать на судью через каких-нибудь влиятельных лиц. Обещался дать ему четверть суммы, которую удастся отстоять. Но Кочергин, как честный адвокат, заявил, что будет защищать его лишь законными методами. И тогда Васильков сам отказался от его услуг, обратился за помощью к вам... Вот объяснение Кочергина, можете прочитать, если хотите.

— Может, этот мошенник вам тоже обещал четверть суммы? Уж очень вы на рожон лезете из-за него,—хихикнул Хелипкин, но тут же осекся под осуждающим взглядом Тулупова, извинился:—Я, конечно, шучу...

— Что касается судебного заседания,—продолжил Тулупов объяснение,—конечно, нехорошо, что его пришлось прервать. Но в жизни, сами понимаете, всякое бывает. Судья думал, что дело легкое, надеялся рассмотреть его быстро. Оказалось несколько по-другому. А его тогда действительно вызывали в президиум Верховного суда по делу, товарищ Хелипкин подтверждает это. Что оставалось делать? А в следующий раз пригласить тех же заседателей не удалось. Они же люди работающие, у них свои интересы, свои проблемы... Тем не менее мы судье замечание сделали...

Арыслану вдруг страшно захотелось встряхнуть головой. Встряхнуть сильно-сильно, чтобы в мозгу все перемешалось и больше никогда не возникали мысли о правде и справедливости, чтобы не видеть этих людей, не слышать их убеждающие воркующие голоса, чтобы здесь же, сейчас же отбросить все, как дурной сон. Но не сон это и не наваждение, а самая настоящая явь, так что встряхивай не встряхивай, слушать все равно приходится.

— Товарищ Хелипкин, конечно, пошутил неудачно. Я думаю, вы защищаете его, Василькова то есть, вовсе не из, скажем, меркантильного побуждения. Наверное, вы не совсем разобрались в ситуации. Или вас разжалобили его рассказы о произволе прокуроров и судей. Это они уме-ют, на это они мастаки. Вот увидите, он вам еще такое наговорит...

Это Тыхтаман о Василькове.

— Он больше никогда уже ничего не будет говорить.

— Да? А что с ним такое?

— Ничего...

— Понимаете, Борис Викторович, в другое время мы, возможно, и закрыли бы глаза на мошенничества фронтовика. В конце концов, он не воровал, просто прикидывался, будто не знает инструкции, и, воспользовавшись бесконтрольностью руководителей, получал за свой труд больше положенного. Взял там и то, где и что, как говорится, плохо лежало.

Это сказал Хелипкин.

— А вы все же считаете, что Васильков знал инструкцию?

— Конечно. Это судом доказано.

— Хотелось бы посмотреть на эти доказательства,— потянулся Арыслан в сторону заместителя председателя Верховного суда.

— Доказательства? Понимаете, я не знал, что нам предстоит делать такой глубокий анализ, не прихватил с собой дело,— простодушно улыбнулся Хелипкин, тут же продолжил свое:—Так вот, в другое время мы, возможно, просто предупредили бы его, чтобы не делал больше так. Но сейчас, сами понимаете, такое время... Мы должны перестраиваться, не оставлять безнаказанным ни один случай нарушения законов. Иначе народ нас не поймет.

— А в части того, что вы пишете о товарищах Шибаеве, Стеклове, Зубовой и других...

Это начал объяснять Тулупов.

— ...Конечно, ошибок не бывает лишь у того, кто ничего не делает...

Как ни удерживал себя Арыслан, внутри закипело-таки. Хорошо еще успел сообразить: здесь не место для выпуска пара. Его все равно никто не поймет, разве что молчаливый инструктор... А навредить себе сгоряча он может вполне.

Он, весь побелевший, но с виду спокойный, встал, слегка подрагивающей рукой застегнул верхнюю пуговицу пиджака. Костюм был повидавший виды, петли не держали, при смене поз приходилось следить за собой.

— Конечно, покойному Василькову все равно, что вы о нем плетете. Веря авторитету ваших должностей, после ваших слов, возможно, и я бы подумал о нем скверно, если бы не знал его лично. Теперь же у меня просто нет слов...

Арыслан, от греха подальше, поспешно вышел, даже не попрощавшись.

На улице было тихо, тепло, спокойно. Красиво под-

стриженный, старательно ухоженный сквер перед зданием обкома глушил доносящийся с улицы шум повседневной жизни. Круглокроновые деревья, еще не успевшие отрастить после стрижки новых тонких ветвей, не отвечали взаимностью на попытки заигрывания шаловливого ветерка. Птицы, как всегда, редко залетали сюда, зная, что тут нечем поживиться, а для гнездовий так вовсе нет места... Арыслан зашел в сквер, свернул с главной аллеи, выбрав дальнюю скамейку, сел туда под тень старой, но из-за излишней окультуренности по-младенчески низенькой липы.

Итак, что же получается? Получается, что дойдя до самых высших инстанций в республике, оправдать честного человека он так и не сумел. И умер он, этот честный человек, отчаявшись познать вкуса правды, справедливости, быть может, уверовав, что они никогда и не возьмут верх. Впрочем, не только он. Не дождался их торжества и его, Бориса Викторовича, отец, всю жизнь учивший детей быть честными и справедливыми, и дед — отец отца. А это ведь целые поколения людей. Неужто такая же участь ждет и Бориса Викторовича?

Нет же, нельзя допускать этого, никак нельзя!

Однако легко сказка сказывается... Кто он такой, Борис Арыслан? Не очень известный писатель средней руки, занимающий в аппарате правления должность начинающего литератора, к тому же теперь уже, похоже, без всяких перспектив. Разве сможет он побороть такую могучую группу, разорвать их цепь круговой поруки? Не безумство ли сама борьба с ними? Невозможно добиться того, чего нет. Не зря же говаривал отец: если за правдой надо ездить в Москву, считай, нет ее, этой правды, вообще. Потому что на каждый чих из провинции в Москве не наздравствуются.

И все же надо бороться до конца. Бороться с тем, чтобы у людей его поколения перед смертью были другие мысли, чем у его отца, у Василькова.

Вдруг Арыслана буквально пронзила совершенно неожиданно пришедшая на ум мысль: «Все это, может, и так. Но тебе ли быть таким борцом? Разве ты чист, как Прометей? Разве сам ты не похож иногда на ужа, увиливающего от препятствий, шарящего входы и выходы в темных щелях?» От этой мысли сразу стало жарко и зябко одновременно. Легко быть судьей над другими. Между тем единожды солгавший пусть только самому себе перед Совестью так же виновен, как и законченный лжец.

«Да, да, я тоже в последние годы начал делать что-то не то,— подумал Арыслан.— Многое делал не так. Что же это за жизнь такая проклятая, всех норовит затянуть в мутную воду. А там отмывайся кто как сможет... Да, пора отмываться. Надо исправляться, исправляться надо! Срочно! Сегодня же напишу письмо Шимлыху, пусть вернет подстрочники. Пошлю их еще раз в то же издательство, на имя главного редактора. Попытаюсь ему объяснить, что есть только один критерий в оценке художественного произведения — его качество... Фу, как казенно. Надо найти какие-то более человечные слова... А вообще над повестью надо еще серьезно поработать. Правильно заметил в свое время отец, в ней тоже опять-таки отражена лишь полуправда жизни. С «полу» дальше жить нельзя, дорогой Арыслан, хватит петь вполголоса... И Шакурову нужно помочь. Придется съездить в Айдарово, в Хыркасы. Поговорю с Владимировым. Может, удастся все уладить и без статьи? Если не удастся — придется выступить. Кстати, интересно, как относится Владимиров к решению Верховного суда? К мыслям Шакурова? Кто он: последователь Шибаева или надежда честных людей?»

Да, надо, конечно, бороться до конца. Не только и не столько за честь Василькова. Тут нечто более важное. Что же? Трудно так сразу сказать. Но такое важное, без утверждения которого в себе, в людях ты теряешь права называться homo sapiens, превращаешься в обыкновенного антропоида.

Да, надо бороться. За всю правду, а не только за нужную тебе часть ее. Иначе никогда не будет достойного памятника Серде, мать никогда не увидит вакхалыхские фильмы, а хыркасинские мальчишки никогда не услышат симфонии вакхалыхских композиторов. Главное же даже не в этом. Главное, чтобы Илемби до конца дней своих могла ходить с поднятой головой, не стыдясь того, что после стольких лет одиночества стала женой Василькова. Да что Илемби, не мешало бы доказать и Тертту, что поражает цель не изворотливое перо, подхватываемое любым ветром, а летящая прямо стрела. Может, после этого она снова захочет жить той жизнью, которой хотела да не получилось? А для Вероники это явилось бы самым лучшим бальзамом, вылечивающим от всех мозольных болячек, которыми люди старшего поколения заражают молодых. У ней-то, должно быть, эти болячки еще не столь запущены, находятся в зародышевом состоянии. А разве не задышали бы вольнее Шакуров, тот же Владимиров, ко-

торый — почему-то так кажется — в душе еще чист, но вынужден приноравливаться под Шибаева?

Все это так. Но, как говорится, нашему теляти да волка б съести. Сможет ли он, Арыслан, никогда не проявлявший особой храбрости, стать таким борцом? А если и расхрабрится вдруг, бросится в эту борьбу очертя голову, не предрешен ли исход ее? Ведь правильно говаривал отец: те, кто в верхнем эшелоне, тоже отсюда выклюнулись. Однако захотят ли они делить хотя бы часть «своего» с нами?

Тогда что же, смириться? Смириться с произволом, с несправедливостью, с унижением человеческого достоинства? Если так, зачем вообще жить честному человеку? Чтобы за счет него процветали нахрапистые хамы? Нет уж...

А все-таки надо собраться, сжать волю в кулак и прийти к одному, очень ясному и четкому выводу. Давно пора было это сделать, ведь Арыслану не двадцать, и не тридцать, и даже далеко не сорок. Надо, наконец, определить свое место в жизни. Но не здесь, не в этом обкорнанном, без птиц, сквере думать об этом. И не дома, где не с кем словом перемолвиться, а бетонные стены давят со всех сторон. Надо выйти на просторы безбрежные, подставить голову и грудь ветру вольному. Только святая природа подскажет думы верные, укажет пути праведные.

* * *

Он стоит на высоком утесе, с могучим дубом в обнимку. Как выстояло это кряжистое одинокое дерево здесь, на камне, в бурю и в дождь, в жару и в мороз — одному богу известно. Наверное, оттого, что корнями за землю здорово зацепился. Хоть и гнулся под ветрами и бурями, но стоял насмерть: или-или...

Арыслан вроде бы нутром почувствовал, как мускулистый, морщинистый ствол старого, мудрого дерева и ему хочет передать свою вековую несказанность, зарядить его своей силой, решимостью.

От дуба сбегает в долину тропинка: вначале змейкой, затем все больше выпрямляясь. Там, вдалеке, выходит она на большак. И тянется та дорога до бесконечности, разветвляясь бесчисленно, словно кровеносный сосуд. Трудно среди тех ответвлений найти именно те дороги, которые привели бы тебя когда нужно — в отчий дом, когда нужно — к другой заветной цели. Но они есть, эти дороги, и

наверняка найдутся, если хорошенько поискать, если не лениться идти, если не бояться борьбы с встречающимися на пути соловьями-разбойниками и злыми головами.

Внизу размашисто течет могучая, широкая река. Кто может сосчитать, сколько рек, речушек, ручейков и родников питают ее силой. Но она почему-то относится ко всему этому равнодушно. Бурная пенистая речка ли вытекает из лесной чащобы или несет ей воды спокойная луговая река, сверху ли дождь миллионами капель пополняет ее или тысячи родничков, пробивающихся со дна, с берегов — могучей реке все одно, всех она приравнивает, превращает во что-то себе подобное. И невдомек ей, что заглохнет лишь один слабенький родничок — и она не будет уже такой могучей и широкой... Но какое дело до этого Арыслану. Он может спуститься вниз, построить плот, сесть на него и поплыть по течению. И пусть кривая выведет куда хочет.

А сверху притягивает к себе раскидистая, сильная, густая крона дуба. Хочется подняться туда и остаться там навеки, чтобы смотреть на всю эту земную суету свысока. Совсем же немного надо для этого, лишь дотянуться, зацепиться за нижний сук, будто специально протянутый ему всепонимающим дубом.

...Дорогой читатель. Мы оставим здесь Бориса Викторовича Арыслана. Он уже выбрал свою дорогу, свое место в жизни. Какое — не знаю. Могу только подсказать, как это узнать. Для этого нам самим нужно определиться в этой жестокой, но такой желанной жизни. И кто-то из нас обязательно встретится с ним.

1986—1988 гг.
Чебоксары — Дубулты — Чебоксары

ПОЯСНЕНИЯ К ТЕКСТУ

1 **Шайтан** (тюркские яз.)—черт, дьявол.

2 **Шурале** (татарск., башкирск.)—леший.

3 **Арыслан** (тюркские яз.)—лев.

4 **Егеть** (чувашск.), **джигит** (тюркские яз.)—удалой парень.

5 **Акын** (тюркские яз.)—народный певец, поэт.

6 **Курдюк** (тюркские яз.)—здесь иронич.: желудок.

7 **Чанга ту** (чувашск.)—высокая гора.

8 **Фалча** (татарск.)—гадалка.

9 **Казу** (чувашск.)—пастьба скота и птицы по очереди.

10 **Борылмалы** (татарск., башкирск.)—извилистая.

11 **Сапун** (чувашск.)—часть женской одежды, похожая на фартук.

12 **Нимейность** — от чувашского н и м е — помочи.

13 **Тав** (чувашск.), **тау** (марийск.)—спасибо.

14 **Турикас** (чувашск.)—верхняя улица.

15 **Выя** (чувашск.)—молодежные игрища.

16 **Аслы урам** (чувашск.)—главная улица.

17 **Атте** (чувашск.), **атай** (удмурт.)—отец.

18 **Ял** (марийск., чувашск.)—деревня.

19 **Хырахкас** (чувашск.)—улица в один ряд.

20 **Пиге** (чувашск)—красавица.

21 **Евче** (чувашск.)—сваха.

22 **Шурсухал** (чувашск.)—мудрец; в буквальном переводе — седая борода.

23 **Йолташ** (марийск.), **юлташ** (чувашск.)—друг, товарищ.

24 **Улах** (чувашск.)—посиделки.

25 **Сабантуй** (тюркские яз.)— праздник в честь окончания весеннего сева.

26 **Айран** (тюркские яз.)—молочный напиток, получающийся после пахтанья.

27 **Турых** (чувашск.)—молочный напиток, напоминающий ряженку.

28 **Упырь** (по-чувашски: вубор)—мифологическое существо, пожирающее Луну.

29 **Сарпиге** (чувашск.)—писаная красавица.

30 **Киреметь** — языческий бог чувашей; ему приносили жертвы в специально отведенных местах, помеченных столбом.

31 **Симек** (чувашск.)—народный праздник, который соотносится с русской троицей.

32 **Киме** (чувашск.)— лодка; здесь: приспособление для катания с горки, выдолбленное из дерева, снизу покрытое льдом.

33 **Улма хыбартни** (чувашск.)—картофельная запеканка.

34 **Толмач** (тюркские яз.)—переводчик.

35 **Железный горошек** — так называют чуваши скрягу.

36 **Майра** (чувашск.)—городская женщина.

37 **Не надо ломать хребет нерожденному жеребенку** — чувашская пословица.

38 **Агай** (удмуртск.)—старший брат.

39 **Вын** (удмуртск.)—младший брат.

40 **Инге** (чувашск.)—жена старшего брата.

41 **Анне** (чувашск.)—мама.

42 **Юрпиге** (чувашск.)—снегурочка.

43 **Деньги заставляют долбить камень** — чувашская пословица.

44 **Мемме** (чувашск.)—безвольный человек; тряпка, размазня.

45 Из стихотворения основоположника чувашской советской поэзии Михаила Сеспеля «Как умру», с некоторыми изменениями.

46 Из книги «Сказки и песни, рожденные в дороге». Составители и переводчики Е. Друц, А. Гесслер. М., «Наука», 1985.

сон шизофреника

Сон шизофреника

— А-а-а-а!

Страшный львиный рык раздался в многосемейной малосемейке ровно в семь часов тридцать минут и беспрерывно стоял, заглушая все звуки утреннего города, до восьми часов пяти минут. Заранее зная, что этому никто не поверит, ибо даже солисты миланской оперы не могут тянуть столько без единой паузы, автор своевременно запасся свидетельскими показаниями и, оформив все как положено, отправил документы для занесения упомянутого рыка в книгу рекордов Гиннеса. Впрочем, это к описываемой нами истории не имеет никакого отношения, потому мы лучше проследим, что произошло дальше в то воскресное утро.

Оглушенные жильцы, включая грудных младенцев, все высыпали на улицу. Нельзя сказать, что они перепугались. Нет, жильцы уже привыкли к выходкам шизофреника из квартиры номер тридцать девять, что в четвертой секции. Но возмущению их не было предела. Как-никак в выходной многие мечтали понежиться в постели чуть ли не до обеда, ибо промтоварные магазины не работали, а в продовольственные в этот день ничего, чем можно отоварить талоны, не завозилось. Так что набегавшиеся за неделю ноги заслуженно жаждали покоя, душа — хотя бы временного успокоения. И вдруг такая невезуха...

— Товарищи! Пора кончать с этим!—решительно заявил Евсеев, нижний сосед шизофреника, к слову сказать, официально пока таковым не признанного.—Сколько же можно терпеть?!

Он приехал в Верхоград в начале шестидесятых вместе с реабилитированным отцом, жил в этом доме со дня закладки фундамента, похоронив родителя, сам стал отцом, тестем и дедом, как самый старший по возрасту пользовался авторитетом и туалетом вне очереди. Потому его

призыв был подхвачен мгновенно и всеми без исключения.

— Надо немедленно позвонить по ноль-два!

— Заодно и по ноль-три!

— И выставить караул у двери его комнаты!

— Лучше окружить весь дом. В прошлый раз он, зараза, в окно удрал!— посыпались со всех сторон ценные и мудрые советы.

И к тому моменту, когда наконец рык пошел на убыль и вскоре заглох, завершившись обыкновенным писком, дом оказался полностью окруженным плотной стеной из полных и худощавых, высоких и низких, старых и молодых людей. Потому жильцы вполне обоснованно надеялись, что на этот раз им непременно удастся отправить хулигана куда следует и отдохнуть от него. По первому варианту — суток пятнадцать, а если пройдет второй — все пять-шесть месяцев. Каково же было удивление всех, когда по прибытии воющих в унисон машин с цифрами 02 и 03 здоровенные мужики в форме и еще более здоровенные в белых халатах, взломав запертую изнутри дверь, ворвались в тридцать девятую квартиру и... ничегошеньки там не обнаружили. Совершенно никого! Что и было зафиксировано протокольно.

— Однако...—только и сумел сказать Евсеев. И, взглянув краешком глаза на недовольно насупившегося сержанта милиции, незаметно ретировался.

— В следующий раз, когда померещится львиный рык или мышиный писк, звоните по ноль-один. Пусть освежат вас из брандспойта,—назидательно сказал сержант и, уходя, хлопнул дверью так, что в квартире этажом ниже с подоконника слетели горшки с кактусами. Однако Евсеевым это было воспринято как должное, он даже не подумал бежать куда-то жаловаться.

Самое же удивительное, после этого из тридцать девятой квартиры не раздавалось даже шороха. В течение всего дня! В течение всей недели!! В течение всего месяца!!! Так что жильцы потихоньку даже начали забывать, что жил когда-то в этой квартире некий Лев Борисович Архаров, гражданин без определенных занятий, но с весьма определенными замашками.

Впрочем, таким ли уж страшным был Лева Архаров — автор утверждать не берется, ибо людская молва — что морская волна: силен ветер — она шумна и шипуча, слаб — так тиха и шелестяща. Да и не входит в наши обязанности ни осуждать, ни оправдывать кого-то, ибо есть для этого Высший Судия, который все видит, все слышит, все

знает и все позволяет. Автор лишь беспристрастно попытается разузнать кое-что о дальнейшей судьбе Архарова, поскольку сам заражен губительным пороком, называемым любопытством. А такое внезапное и загадочное исчезновение, согласитесь, может заинтриговать даже Папу римского или, тоже всезнающего, черта лысого.

1

Он стоял на опушке леса и удивленно озирался по сторонам. Ей-ей, такое не снилось даже во сне. Лес зеленел почти как на картинах Васнецова, в отдалении превращаясь в таинственную синь. Деревья не были обвешаны пожухшими после распыления химических препаратов листьями, да и воздух отдавал не привычной хрено... то есть, хлоровиной, а настоящим озоном. Хотя, говоря откровенно, в данной ситуации Архарову могло лишь мерещиться. Однако как тогда объяснить птичий гомон в лесу? Пернатые — они ведь не дураки, под химией жить не станут. Вызывало сомнение и поле, тянущееся пестрым ковром прямо от леса. Во-первых, оно сплошь засеяно исчезающей на Руси экзотической культурой — гречихой. Во-вторых, и здесь вовсю распевали перепела, сверчки, жужжали пчелы, осы, шмели, а высоко в небе выводили свои урывчатые трели жаворонки... Все это в совокупности никак не могло быть галлюцинацией. Ну никак!

Лев Архаров даже в этом райском уголке чувствовал себя весьма и весьма скверно. Голову распирало так, что, казалось, еще немного — и взорвется черепная коробка. Желудок просто выворачивало наизнанку. А все тело будто превратилось в сантехническую паклю. Проклятье! Надо же было вчера такого дурака свалять! Имелась полная возможность напиться до уср... то есть, до чертиков в глазах пятизвездочным коньяком, нажраться лососевой икры и сервелата, а он, балда, опрокинул всего-то две рюмашки по семьдесят пять граммов. Пришлось потом доводить себя до кондиции антифризом. Употреблять такую гадость вообще-то приходилось не впервой. И ничего, всегда был нормалек. Натренированный русский желудок готов переварить хоть ржавый гвоздь. Но то ли в смеси с благородным вином антифриз дал отрицательную реакцию, то ли доза оказалась лошадиной, после этого раза башка вырубилась начисто. И вот стой теперь неизвестно где и непонятно для чего.

Тут Архаров не выдержал, от нестерпимой боли и запоздалого осознания упущенных возможностей завыл во всю мощь своей луженой глотки. Получился знакомый уже нам рык, который предостерегающим эхом разнесся по всему лесу. Тут же с деревьев поднялась туча испуганных птиц, тысячи больших и малых зверей кинулись уносить ноги куда глаза глядят. Одновременно совсем рядом кто-то тоненько ойкнул и послышалось, как что-то глухо ударилось о землю, будто мешок с мукой свалился. Не хватало еще, чтобы из-за него пострадал человек... Архаров дернулся туда, сюда и за орешником увидел странную женщину. Одета она была в обесцветшую ситцевую кофточку с заплатами на локтях, в застиранную чуть не до дыр юбку-метелку. Не то коричневый, не то красный старый платок прикрывал весь лоб. Самое удивительное — женщина была обута в лапти. В настоящие! Точно такие, какие Архаров еще в пионерах видел в краеведческом музее. Правда, эти заметно поношены. Как, впрочем, и онучи под ними.

— Тетенька, не бойся, это я так, сдуру гаркнул. Думал, один тут торчу,— сказал Архаров и протянул руку, чтобы помочь женщине подняться.

— Свят! Свят!—истово начала креститься женщина, отползая от него задом. Упершись спиной о дуб, растерянно обомлела на мгновение, после чего отчаянно заголосила:—Прости меня, гражданин Петухов! Я немедля побегу на базар. Продам всех курей с петухом, а всю выручку тебе отдам. Вот те крест! Только не отдавай под суд, Христом Богом прошу.

От такого поворота у Архарова аж голова пошла кругом.

— Не Петухов я!—только и смог он крикнуть, поскольку на что-либо более толковое в данный момент не хватало соображения.—Разуй глаза-то!

Женщина замолкла, пытливо всмотрелась в него.

— И правда!—облегченно вздохнула она. Затем нерешительно поднялась, отряхнулась и сказала осуждающе:— А голос точь-в-точь как у Петуха... Пробирающий... — Тут же настороженно сменила тон.—А кто же вы будете, мил человек? Уполномоченный из району аль просто приезжий какой?

Сама между тем подняла с земли вязанку хвороста и, привычно сгорбившись, взвалила ее на спину.

— Как тебе сказать... Пока сам не знаю, кто я такой,—ответил Архаров, с интересом разглядывая тетку.

Впрочем, стоп! Она, кажется, и не тетка вовсе. Может, моложе самого Архарова. И, похоже, с ней снова неладно.

— Дак... Это... Я вот хотела чуточку... Все одно, думала, пропада-ат...— пролепетала она, снова опуская связку на землю.—Вы уж извиняйте. Неграмотна я, мало смыслю чего...

— Странная ты. Извиняешься передо мной. Знала бы, с кем говоришь...

От этих слов женщина затрепетала еще пуще. Однако Архарову надоели ее странности. Если бы он успел опохмелиться, может, и продолжил бы игру, а так давно уже пересохло в горле, боль в голове и тошнота в желудке давали знать о себе все настойчивее.

— Знаешь что, гражданка,— сказал Архаров, стараясь говорить степенно,—кончай ты эту дурь. Лучше подскажи, где бы я мог подлечиться.—Тут он сделал выразительный жест, понятный всем народам Советского Союза,—щелкнул пальцем по кадыку.—Понимаешь, страдаю я.

— Уж и не знаю, что сказать-то,—замялась женщина.—Сама я этим делом не того...

— Есть тут вблизи какой-нибудь населенный пункт?!— крикнул Архаров, теряя терпение.— Или, на худой конец, пасека?— добавил, вспомнив пчел на гречишном поле.

— Это все есть, а как же,—как бы очнулась женщина.—Село у нас Мохово называется. В трех верстах отсюда. И пасека имеется. Прямо туточки, на соседней полянке. Показать вам дорогу?

— Валяй!— воспрянул духом Архаров.—Кстати, как тебя звать-то?

— Марфа я. Марфа Шереметьева... Дак пошли?

Не дожидаясь согласия, она торопливо засеменила в глубь леса. Еле поспевающий за нею Архаров машинально пошарил руками в карманах брюк. О, черт! Кроме металлического рубля, у него не было ни шиша. На что теперь рассчитывать? Говорят, даже сто рублей — не деньги, а тут... Впрочем, дело покажет. А пока лучше вспомнить что-нибудь приятненькое. К примеру, вчерашний день...

2

Здесь мы на время прервемся и, чтобы было все понятно, коротко расскажем, как попал вчера Лева Архаров на пятизвездочный коньяк и лососевую икру.

Работал он в последний месяц электриком в жилищно-эксплуатационном управлении. Раньше оно называлось просто отделом. Но когда начальства стало ровно в два раза больше, такое название и, конечно, оклады перестали удовлетворять требованиям времени. А требования жильцов ни отдел, ни управление не удовлетворяли никогда.

Впрочем, не о том речь. Так вот, вызвал вчера утром начальник Архарова, подмигнул еще не протрезвевшими глазами и говорит:

— Лева, сегодня у тебя особое задание!

Вообще-то особые задания частенько оборачивались самой грязной работой, но форма и тон обращения подтверждали, что на этот раз без туфты, то есть слова соответствуют действительности.

— Поедешь на дачу, свет проведешь,—сказал тем временем начальник, дохнув зубровкой. Сукин сын, уже успел опохмелиться!

— Разве мы обслуживаем дачи?—возразил Архаров. У него уже была на примете одна халтурка, где за часок можно сшибить на пол-литра да еще, возможно, и опохмелиться самогоном.

— Эту придется обслужить!—поднял начальник кверху указующий перст.

— Но почему я?!—чуть не взмолился Архаров.

— Потому что электриков с высшим образованием у меня больше нет. А клиент — человек особый. Из высшего круга. Понял? Вдруг проявит демократию и заговорит с представителем рабочего класса. Сейчас такое очень даже может случиться. И что бы, к примеру, начал ответствовать Ваня Сидоров, пошлю я его вместо тебя? Сам знаешь, песня у него одна: жизнь пошла хреновая, гласность не дала ни фигушки, а демократия объявлена для мафии. Как бы выглядел тогда наш трудовой коллектив в глазах высокого начальства? Мне ведь еще полтора года трубить до заслуженного отдыха. А ты — мужик тертый, знаешь, когда какое словцо к месту. К тому же и в текущей политике как рыба в воде, и в философии собаку съел... Да не хмурься ты! Не прогадаешь, вот увидишь! Такие люди не мелочатся. Да еще отгул получишь в понедельник, хотя суббота у нас и рабочий день.

Короче, уговорил начальник. И предсказания его сбылись с лихвой. Работы, правда, оказалось более чем достаточно. Провести электропроводку в двухэтажной даче с восемью комнатами, кухней, двумя ваннами, котельной,

гаражом и еще черт знает с чем — это тебе не на капремонте сачка давить. Так что пришлось засучить рукава. Но дело пошло споро. Усердно помогал шофер черной «Волги», по всему видать, мастер на все руки. Да и сам хозяин с молоденькой девицей, оказавшейся его личным секретарем, не стояли в стороне. То подадут молоток или кусачки, то провод выпрямят. Хозяин по такому случаю даже робу одел. Красивый такой джинсовый комбинезончик, кажется, итальянского производства. Или греческого, разве все упомнишь. А про девицу, то есть секретаря, и говорить нечего. Кажется, Архаров видел ее год назад по ящику. Когда смотрел конкурс на звание «мисс Верхограда». Вот где она оказалась после блистательной победы.

— Я ведь и сам трудовую жизнь начинал рядовым работником,— с упоением рассказывал хозяин между делом.—Однажды во время каникул почти месяц помощником комбайнера вкалывал. Представляете?

А к вечеру на серой «Волге» прикатила супруга хозяина. Дама строгая. Правда, только с мужем. Муж-то вроде является каким-то Большим Председателем, а супруга, похоже, была даже над ним начальником. Это так подумал Архаров. Оказалась же она самой обыкновенной домохозяйкой с дипломом кандидата наук. Но знала свое дело отменно. Это она привезла коньяки да шампанское, икру да сервелат, апельсины да помидоры. Само собой, только красные. Она же, заметив, что у супруга после третьей или четвертой рюмки глаза заблестели, как у Котофеича, предусмотрительно отправила секретаря на серой «Волге». Но рот мужу не затыкала. А того хлебом не корми, дай только поговорить. Оказывается, у них в ВПШ был специальный предмет. Мастерство публичного выступления назывался. Так он, стервец, по нему одни пятерки получал. По несколько часов в день упражнялся перед зеркалом в красноречии.

— Да, понимаю я вас, трудяг, ох, как хорошо понимаю!—совершенно искренне восклицал Большой Председатель.—Но сейчас трудно всем нам. Надо признать, много ошибок совершено нашими предшественниками. Однако мы все перестроим, все! Конечно, хорошая жизнь сама не придет. Нужны десятилетия, чтобы перевернуть такую махину, как наша экономика. Но я верю, что все образуется. Мы сами начали перестройку, сами и доведем ее до конца, если даже на это потребуется целое столетие. И ничего не пожалеем ради святого дела. Вот возьмите ме-

ня. Была у меня казенная дача. Небольшая такая, еще довоенной постройки. Так отдал я ее! Да! Там решено открыть детский санаторий. Только не откроют никак. Потолки, понимаете, высокие, не подходят для детей. А я, видите, тем временем новую дачку строю. Скромную, как у любого рядового труженика. Немного уж осталось. Стены вот мраморными плитами облицуем, паркет постелим, тротуарчики заасфальтируем, проведем водопровод, канализацию, газ — и все. Нет, еще баню с сауной и бассейном придется построить... Вообще, мы сейчас живем, как все. Иной рабочий получает гораздо больше, чем я. Продукты мы покупаем в обычных магазинах. На обычные талоны. Нельзя, нельзя иначе! Надо вместе с народом перетерпеть все невзгоды и пойти вперед, вперед! К социализму с человеческим лицом! А не к анархии и разрухе, как призывают нас так называемые демократы...

Вообще, начальник ЖЭУ зря беспокоился, что его работник мог перед представителем высшего круга ляпнуть нечто непотребное. Хозяин дачи не давал Архарову даже рот раскрыть. Да и незачем было его раскрывать. Большой Председатель все, абсолютно все понимал и знал и без чьих-то рассказов. Вдобавок похвалил Архарова. Сказал, что он действительно классный электрик, что именно такие рабочие обставят по производительности труда Японию и Америку, без чего просто невозможно затесаться в цивилизованный мир.

Разве мог Архаров перед таким человеком вести себя по-свински? Да он готов был идти голосовать за него, если бы завтра объявили выборы. И решил Архаров: две рюмки — и ша! Пусть видит, каков он, сознательный советский рабочий... Потом, когда уже попрощался и хотел было отправиться домой, не удержался, слил из радиатора черной «Волги» полную консервную банку антифриза и вмазал! Теперь вот терпи, казак...

3

Тем временем Архаров с Марфой Шереметьевой подходили к пасеке.

Сказать честно, Архаров мало представлял, чем он сможет здесь опохмелиться. Слыхать-то, конечно, слыхал, что на пасеках готовят медовуху — волшебный напиток, от которого голова свежеет, а зад тяжелеет. Однако пробовать ее в городе не приходилось. Наверное, нет такой

жидкости хотя бы с долей процента алкоголя, которую Архаров не пил. А вот медовухи до сих пор не отведал. Казалось маловероятным, что такой редкий напиток можно достать за один-единственный рубль. Тем не менее Архаров шел за Марфой, не отставая ни на шаг. По своему многолетнему опыту он знал, что иногда фортуна улыбается в совсем негаданные моменты.

Тут совсем некстати послышалось опасное жужжание и что-то больно воткнулось прямо в горбинку архаровского носа. Жужжание, правда, более высокого тона, повторилось и теперь уже обожгло щеку. И началось! На Архарова пошли сначала эскадрильи, затем — полки, после и целые дивизии пчел. Казалось, им несть числа!

— А-а!—отчаянно завопил Архаров, прикрывая лицо локтем.—Спасите-е!

Марфа обернулась к нему, испуганно всплеснув ладошками, ойкнула и, сорвав с головы платок, накрыла им Архарова, схватив за руку, потащила его за собой. Только когда добежали до какой-то избы и начали взбираться по ступенькам, она забрала платок, так что, кроме тарантаса с запряженным вороным конем, привязанным прямо к крылечку, Архаров ничего не успел разглядеть. Хотя по монотонному пчелиному жужжанию и своеобразному терпкому запаху он сразу же догадался, что попал на желанную пасеку.

— Батюшки-светы, Иван Евсеевич, дядя Миша, пчелы, проклятые, напали на уполномоченного!—еще в дверях сообщила Марфа, пропуская вперед Архарова.

За столом сидели двое мужчин. Один — старый, но крепкий и жилистый, как иссохший вяз. Ну точь-в-точь тезка Архарова по фамилии Толстой: с такой же вьющейся бородой, в такой же холщовой рубахе, в жирно смазанных кирзачах. Несмотря на жару, тоже в сапогах, правда, в яловых, был и другой мужчина, лет сорока пяти, в синем диагоналевом галифе и зеленом френче, с пышными аккуратными усами, с густой, но коротко остриженной шевелюрой, зачесанной назад. Услышав сказанное Марфой, мужики разом вскочили, точно и им пчелы поддали снизу своими острыми жалами.

— Уполномоченного? Да как они смели!—возмущенно воскликнул мужчина в френче.—А ты куда смотрела? Почему допустила такое?

— Дак...—виновато опустила очи долу Марфа.

Но мужчина и не собирался ее слушать, скомандовал:

— Михаил Егорович! Немедленно приступай к лече-

нию! Явить нашего дорогого гостя народу в таком виде не можно!

— Да, да, оно, конечно...—согласно закивал головой старик и поспешно вышел. Видимо, это был пасечник.

Вскоре он принес полное ведро студеной воды, начал макать в нее какую-то замызганную тряпку и прикладывать ее к распухшим местам Архарова. Вообще-то примочки приносили некоторое облегчение, однако голова разболелась еще пуще, а в желудке к тошноте добавилось еще ощущение голода.

— Мужики, спасибо вам. Но мне бы чего-нибудь вовнутрь,—жалобно попросил Архаров.

Старик схватил ковш и сунул его в воду.

— Не-е, не это,—замотал головой Архаров, отчего в мозгу зашипело, словно пар из него пошел.

— Ты что, Егорыч, совсем не соображаешь?!— прикрикнул на пасечника мужчина во френче.—Черпни из кастрюли...

Наконец-то Архаров дождался целебного напитка. Это он понял, как только поднес полный алюминиевый ковш ко рту. Тут же жадно впился в него губами и одним дыхом опустошил его весь.

— Еще бы!— попросил, чувствуя, как по телу расходится приятная теплынь, как оно при этом становится легким-легким, а голова свежеет от секунды к секунде. Даже боль от пчелиных укусов мало-помалу начала проходить без всяких примочек.

Второй ковш Архаров выпил с чувством, с толком, с расстановкой, даже закусил кусочком сота. А из третьего отхлебывал уже небольшими глотками и даже не помнит, сумел ли его осушить. Помнит лишь, как нащупал в кармане единственный рубль и перепрятал его в кармашек для часов. Раз хозяева ничего не требовали, незачем было его вытаскивать. Помнит также, что мужики заспорили о каком-то доме, куда солнце должно заглядывать со всех сторон. Пасечник доказывал, что такого не может быть, а мужчина во френче напирал на то, что, дескать, если партия прикажет, надо ответить: «Есть!» А потом как в яму провалился.

Проснулся Архаров от освежающей прохлады, пробравшейся под рубаху. Сам ли он немного качался или под ним что-то слегка покачивалось, но убаюкивало хорошо. Доносились непривычные для городских ушей звуки: размеренный шелест, глухой ритмичный топот, скрип то ли пружины, то ли еще чего. Архаров собрался было

уже открыть глаза, но тут кто-то заговорил почти что шепотом:

— Марфа, ты точно знаешь, что он уполномоченный? Что-то не встречал я в районе такого.

— Насчет этого не скажу, а вот голос у него... Наш Петух... то ись, Петухов, и то, пожалуй, позавидовал бы. Да ты погляди на него получше, Иван Евсеевич. В штиблетах, в брюках. А курточка с замочком. Рази ж обыкновенный человек так одеватся?—тоже тихо ответила Марфа.

— Да-а, вот задачка,—тяжко вздохнул Иван Евсеевич.—Знать бы, зачем пожаловал. Инкогнито просто так не заявляются.

— Как, как?

— Ну, это не твоего ума дело. Так вот, Марфа. Пущай уполномоченный пока поживет у тебя,—решил Иван Евсеевич.

— Дак у меня же в сусеках мышам делать нечего!

— Об продуктах не беспокойся. Подбросим. А ты тем временем присмотрись к нему. Усекла?

Архарову надоело притворяться спящим, и он по-кошачьи сладко зевнул.

— Вы проснулись?—тут же обратился к нему Иван Евсеевич.— Помешали мы, вы уж простите... Как самочувствие?

— Все о'кей!— сказал Архаров и, приподнявшись, сел.

Оказалось, они втроем ехали в тарантасе. Марфа на козлах правила конем, а Евсеев с Архаровым сидели на мягком, почти как у автомобиля, сиденье. В ногах шуршало сено. А кругом... Кругом гуляла темень, которая бывает, наверное, только в России. Правда, тощая луна и мириады подмигивающих звезд несколько разжижали ее. Но этого было явно недостаточно, чтобы понять, где они находятся и куда едут.

— Что вы сказали?—переспросил Евсеев у Архарова.

— Я говорю, нормалек!

— А-а,—глубокомысленно мотнул головой Евсеев.— Простите, а надолго вы к нам?

— Как получится,—вполне искренне ответил Архаров, поскольку во всех отношениях находился в полной неопределенности.

— Так, значит,—помрачнел Евсеев. Но разговор продолжил еще более приветливо.—Вы нас извиняйте, что такие неудобства получились. Эти пчелы такие несознательные. Кавказской, понимаете, породы. Так позвольте

рекомендовать вам пожить пока у Марфы, а когда, стало быть, ваше первоначальное обличье восстановится, приступите к исполнению своих обязанностей. Кстати, не сочтите за бестактность, позвольте полюбопытствовать, откуда и из какой организации вы будете? Это я к тому, чтобы, стало быть, знать, какие сведения готовить.

— Я из Верхограда, из одного ЖЭУ,—небрежно махнул рукой Архаров.

— О-о, из самого областного центра!—воскликнул Евсеев и как-то странно вытянулся, будто полешко проглотил.—А ЖЭУ — это что такое? Что-то не слыхал я такого. Видно, какая-то новая организация.

Архаров хоть и признал шутку неуместной, но значения ей не придал. Когда у тебя один-единственный рубль в кармане, в гордость и достоинство играть не приходится. В том, что это была шутка или, того хуже, насмешка, он не сомневался: кто же сегодня не знает, что означает ЖЭУ, если оно у каждого в печенках сидит.

— Управлением, точно, стало недавно,—нехотя поддакнул он хозяину тарантаса.

— Управление?—раскрыл тот рот.—Стало быть, управление...

— Простите, а вы кто будете?—постарался перевести разговор в другое русло Архаров.

— Я председатель местного колхоза «Красный коммунизм» Иван Евсеевич Евсеев,—ответствовал ему с почтением хозяин тарантаса.—Очень рад, что вы в наше скромное хозяйство пожаловали аж из самой области. Очень рад. Когда прикажете представить отчеты?

Нет, похоже, это не шуточки. Происходило явно какое-то недоразумение. Хорошо это или плохо для Архарова — Аллах его знает. Пока с медовухой повезло, хотя с пчелами не очень. Но крылатые медовозы вряд ли замешаны в какие-то интриги. Они, видно, просто на дух не переносят перегара. Так что... Так что опять же черт его знает.

— Иван Евсеевич, давайте подождем с делами. Я лучше приведу себя в порядок у Марфы,—сказал Архаров, вспомнив, что начальник за выполнение ответственного поручения обещал ему в понедельник отгул.

— Совершенно верное решение!—повеселел Евсеев.— В таком виде вам, конечно... Простите...

Вскоре они, прогромыхав по бревенчатому мосту, переехали обрывистую речушку и оказались в весьма странном населенном пункте. Избы, расположенные нестройным

рядом, казались бутафорскими. Низенькие, покосившиеся, с маленькими тусклыми окнами, крытые тесом, а то и просто соломой, они производили удручающее впечатление. Хозяйственные постройки, естественно, выглядели не лучше. На улице не горела ни одна лампочка, а видневшийся кое-где в окнах свет был слабым, похожим на размазанный желток испорченного яйца. И все же чувствовалось, что здесь живут. Нет-нет да и потявкивали собаки, в одном дворе заблеяла овца, где-то скрипнула дверь или калитка... Наконец подъехали к какому-то двору, обнесенному изгородью из жердей.

— Тпру!—остановила коня Марфа и легко спрыгнула на землю.—Вот мы и дома.

Архаров тоже сошел с тарантаса, а Евсеев, горячо попрощавшись и пообещав завтра с утра наведаться, уехал. Пройдя вслед за хозяйкой по открытому всем ветрам двору с немудреными постройками, Архаров оказался в абсолютно темных сенях, сделав несколько шагов по отошедшим от балки половицам, остановился, не зная, куда податься.

— Сюда проходьте!—позвала его Марфа, открывая дверь.

Но, поскольку и в избе пока было хоть глаз выколи, двери он не увидел. Потому вытянул левую руку и потихоньку начал продвигаться вперед, коснувшись Марфы, ухватился за нее. Тут его словно током ударило: до того упругой и горячей показалось ее тело.

— Проходьте!—еще раз сказала Марфа, пропуская Архарова вперед и одновременно освобождаясь от его руки.— Присядьте пока сюда, на лавочку. А я лампу засвечу и расстелю вам постель.

Она зачиркала спичками, зажгла допотопную керосиновую лампу без трубы. Желто-красный язычок пламени трепыхался, чадил, однако, как ни тужился, толком осветить интерьер избы не мог. Впрочем, и освещать было нечего. Кроме самодельных стола, двух табуреток, двух лавок да топчана, никакой мебели в избе не оказалось. Правда, в углу перед печкой к стене были прибиты еще полочки, на которых виднелась кое-какая посуда. Архарову показалось, что он смотрит фильм про жизнь древних людей. Вернее, участвует в нем. Вместе с Марфой. Которая при таком свете кажется чертовски загадочной и привлекательной. Вот она стелит на топчане постель: взбивает и ровняет соломенный матрац, покрывает его простыней... При этом наклоняется и временами вытяги-

вается так, что даже боязно становится: а вдруг оборвется ее осиная талия? Но нет, крепко тело крестьянки...

— Ложитесь сюда,—предложила наконец Марфа.

Архаров подошел к постели, сел. Затем вдруг резко притянул к себе Марфу, обвив ее руками, прижался щекой к ее животику.

— Не надо, товарищ уполномоченный...

Марфа, пытаясь вырваться из объятия, энергично начала сопротивляться.

— Почему?!—все более возбуждаясь, крикнул Архаров.—Или у тебя есть муж?

— Мужа у меня нет. Погиб на войне...

— Тогда в чем дело?

Архаров, осмелев, еще раз попытался посадить Марфу рядом с собой.

— Понимаете, я бы, может, и согласная была. Только больная я,—виновато шепнула в этот момент Марфа, заставив Архарова мгновенно остыть.

— Чем?

— Тем вот,—вздохнула Марфа и, почувствовав свободу, встала.—А так, что ж... Только потом к доктору вам придется идти...

Архаров с отвращением отвернулся от нее. Марфа бесшумно забралась на печь, повозилась там, стеля какие-то тряпки, и, еще раз облегченно вздохнув, затихла.

4

Архаров видит сны всегда под утро. Наверное, потому, что к этому времени голова начинает трезветь. Но сны получаются сумбурные, ирреальные, фантасмагорические, поскольку полного протрезвления еще не происходит.

Вот и в этот раз сначала в ушах раздалась какафония из каких-то потусторонних звуков, затем будто бы стало светло-светло на земле и темно-темно на небе. И вдруг появился человек, похожий на карточного короля. В том смысле, что имеет перевернутое отражение, причем только до груди. Так что хоть так смотри, хоть этак — все одно получается бюст. Впрочем, Его Высочество имел и отличие от своего карточного коллеги: он выглядел бумажно-белым на фоне темного неба и чернильно-черным на фоне светлой земли. Одет был «король» в цивильный костюм, носил очки, которые сверкали так же, как и большая лысина на тыквообразной голове. Короче, точь-в-точь Большой Председатель.

Так вот, появился этот человек с явно потусторонним ликом и речет:

— Ну как, Лева, не забыл ты наш разговор?

А Лева хоть убей не помнит, какой такой разговор он имел честь вести с «королем».

— Ты же хотел нам всем показать, как надо управлять народом, обустроить жизнь, чтобы всем было хорошо. Обозвал нас бездарями и еще кое-какими нехорошими словами. Ну, вспоминаешь?

Вот теперь Архаров, кажется, догадался, на что намекает «король» и кто он на самом деле.

— Ну и что?—расхрабрился Архаров.—Я и сейчас могу все повторить. Хотите?

— Верю, верю,—успокоил его «король».—Меня... то есть, нас народ приветствует эпитетами и похлеще. Но мы научились работать и жить в условиях демократии, так что дело не в этом. Ты помнишь, о чем мы с тобой договорились под конец?

О чем еще они договаривались? Архаров напряг память, вспоминая разговор с Большим Председателем во вчерашнем сне. И вспомнил! Вспомнив же, не на шутку встревожился.

— Так вы все говорили мне всерьез?—озадаченно спросил он.—И отправили меня туда на самом деле?

— А как же,—невозмутимо ответил «король».—Ты же ругал меня всерьез. И уж очень задел за живое. Так что уговор дороже денег. Вся твоя дальнейшая жизнь зависит исключительно от тебя. Не на кого тебе жаловаться, некого ругать. Ибо, как ты сам утверждал, бия себя в грудь, мозгов у тебя больше, чем у нас у всех, вместе взятых. Вот и шевели ими. Сумеешь действительно сделать так, что народ без нас обойдется — вернешься героем. Не сумеешь — будем тебя судить по новому закону за оскорбление ответственного лица. Есть у тебя и третий путь — остаться там навсегда. Это уж как сам решишь. Я лишь напоминаю тебе, чтобы не терял времени даром, чтобы...

Договорить Большой Председатель не успел: во дворе запел петух, и сон тут же прервался. Впрочем, Архаров в этот раз прекрасно запомнил его, ибо накануне не был мертвецки пьяным. Однако что же он обещал такого, чтобы можно было прожить без Большого Председателя? Вообще, сон ли это, раз время только полночь?

Хоть и не любил Архаров ранние подъемы, в этот день проснулся еще с рассветом и не мог больше спать. К то-

му же Марфа была на ногах, хлопотала по хозяйству, то выходила, то входила... Вскоре по улице прогнали жиденькое стадо, после чего заявился Евсеев. И не с пустыми руками. Он вручил несколько мешочков с крупами и мукой Марфе, выставил на стол бутылку водки с незнакомой этикеткой и с сургучной головкой. Архаров взял бутылку в руки, начал внимательно разглядывать. «Цена с посудой 21 р. 20 к.»—прочитал он. «О, черт, уже успели в два раза повысить,—подумал тут же.—Как же я проморгал такое событие?»

Но вот Марфа поставила на стол скворчащую сковороду с жареной картошкой со шкварками, глиняную чашку с малосольными огурцами и полненькими красными помидорами, а Иван Евсеевич откупорил бутылку зубами, выплюнув сургучные крошки на пол, налил полстакана водки, сказал: «Побудем!» и лихо выплеснул ее в рот, после чего, наполнив почти до краешка, протянул стакан гостю. Архаров отнекиваться не стал, профессионально выпил, крякнул от удовольствия и забыл и про ночной сон, и про свое какое-то обещание, и про многое-многое другое.

Разговор пошел о делах малоизвестных, оттого интересных для Архарова. Почему-то Евсеев начал докладывать о своем колхозе. По нему выходило, что возглавляемый им «Красный коммунизм»—самый передовой в Краснобайском районе, выполняет и перевыполняет все планы, за что даже получил благодарность самого вождя.

— Не понимаю,—недоуменно заметил Архаров.—Почему тогда у вас нет, к примеру, электричества? Это же просто немыслимо!

Евсеев как-то странно взглянул на него и ответил лишь после некоторых раздумий:

— Будто сами не знаете, что электричество у нас только в райцентре. И то до двенадцати ночи дают. Была и у нас своя электростанция на Кубне, но мы ошибку исправили, закрыли ее.

Теперь Архаров странно взглянул на Евсеева.

— Как это понимать?!—в сердцах воскликнул он.— Остаться без электричества означает исправление ошибки? Господи, куда я попал?

Надо заметить, при всей своей, как бы это выразиться, своеобразной жизни Архаров был страстно влюблен в электричество, нет, был просто помешан на нем. В свободное от потребления алкоголя время, которого, впрочем, в последние годы становилось все меньше, он в го-

лове разрабатывал десятки самых смелых проектов по применению этого прогрессивного вида энергии, а в студенческие годы получил даже диплом на молодежном конкурсе за изобретение беспроводного способа передачи электричества на расстояние. Между прочим, будучи уже инженером в сетях, он прогорел именно на том, что попытался внедрить свое изобретение. В результате дошел до сегодняшней своей жизни.

— Думаю, к Господу вы обратились случайно, потому даю слово, что нигде об этом не обмолвлюсь,—заговорщически подмигнул Евсеев.—А насчет электричества... Вы же прекрасно знаете, наш вождь прямо указал, что маленькие станции дают высокую себестоимость, потому их надо ликвидировать и строить мощные ГЭС. Мы выполнили лишь директиву гениального светоча и путеводителя.

— Боже мой! Какая еще директива? Какого гениального светоча и путеводителя? У вас, что, своей головы нету?

— Почему же, есть,—обиделся Евсеев.—Но ведь голова дана для того, чтобы директивы выполнять.

— А-а!— махнул рукой Архаров.—В конце концов, это ваши проблемы. Живите, как хотите. Мне вот Марфу жалко. В наш-то космический век при керосине глаза портит... Лучше разлей-ка, председатель, остатки...

Выпив и закусив, он удовлетворенно крякнул и вышел из-за стола, подошел к печке, на карнизе которой заметил единственный во всей избе осколок зеркала величиной с ладонь. Осмотрев себя в зеркальце, остался доволен:

— Кажется, почти что нормалек. Можно освободиться от домашнего ареста.

— Да, быстро у вас прошло,—подтвердил Евсеев.— Моя теща, к примеру, почти неделю ходила распухшая. Действительно, здоровьем вас Бо... э-э... природа не обидела.

— Раз так, пора мне собираться домой. Завтра выходить на работу,—сказал Архаров.

— Уже?—удивился Евсеев. Хотя послышалось это как «слава Богу!»—Но вы, кажется, ничего не успели проверить. Что же будете докладывать своему руководству?

— А что у вас проверять?—снисходительно махнул рукой Архаров.—Раз нет даже электричества...

— Это, конечно, так,—вынужден был согласиться Евсеев.— Однако, повторяю, хозяйство наше передовое. Это могут подтвердить в райкоме. К тому же мы — зачинатели стройки коммунизма.

— И что вы такое сногсшибательное строите?—без всякого интереса спросил Архаров.

— Мы строим дом коммунизма,—гордо сказал Евсеев, на секундочку даже привстав от важности сделанного заявления.

— А-а, видали мы такие дома,—ухмыльнулся Архаров.—Я сам живу в одном из них.

— Не может быть!—живо возразил Евсеев.—Такого дома пока на свете не существует. Первыми построим его мы! В нем окна будут выходить во все стороны, и в каждое из них солнце будет светить одинаково. Следовательно, каждый житель дома будет одинаково пользоваться небесным светилом. Понимаете?

«Чушь какая-то»,—хотел рассмеяться Архаров, но воздержался. Все-таки он находился в гостях, и водку ставил председатель. А насчет дома коммунизма... Среди пьяной братии бывают чудаки и похлеще. Иной такое скажет, что фантасты бы позавидовали.

— Однако...—спохватился Евсеев,—как вы доберетесь до завтрева-то? До Верхограда, как-никак, почти полторы сотни верст.

— Подумаешь, два часа езды.

— Не два часа, а двое суток. И то, если я вам дам выездного коня Ваську.

— Ничего себе шуточки!—улыбнулся Архаров.—Сто пятьдесят верст в тарантасе! Неужто у вас в колхозе нет ни одной машины?

Евсеев озабоченно почесал затылок.

— Вообще-то имеется одна,—нехотя сказал он.—Как назло, не на ходу. А Митяй освинячился, не ремонтирует.

— Да,—сочувственно вздохнув, первый раз вмешалась в разговор Марфа.—Единственный порядочный мужик — и тот запил.

— Ну, единственный или нет — это еще вопрос,—насупился Евсеев.

— Поломка серьезная?—спросил Архаров.

— Чего?—не сразу понял Евсеев.—Ах, да... Шут его знает, я в технике, как свинья в апельсинах.

— Может, посмотреть?—предложил Архаров.—С машинами и механизмами я обычно на ты.

— Дело ваше,—не очень поверил ему Евсеев. Тоже, видно, подумал, что человек расхрабрился под градусом.

Пока шли по селу, Архарова словно бы давило со всех сторон. Уж слишком здесь все выглядело убого: и серенькие избушки, и скособочившиеся хозяйственные построй-

ки, и люди, одетые в тряпье, годное разве что для сдачи в утиль, и даже собаки, плоские от худобы, словно вяленый лещ. Нет, видно, что-то здесь не то. Какими бы нищими мы ни были, не до такой же степени... И когда наконец в переулке, куда они завернули, показался более-менее нормальный домик, Архаров невольно потянулся туда. Привлекло его и то, что перед домом стоял какой-то доисторический грузовичок. Оказалось, это и был единственный в колхозе автомобиль, а в означенном доме жил его шофер Дмитрий Сова.

— Митяй, выдь на минуту!—кликнул Евсеев хозяина дома.

В ответ — ни звука. Правда, показалось Архарову, чуть дернулась белая вышитая занавеска, прикрывающая окно на две трети.

— Митяй, это я, Евсеев!—крикнул председатель еще раз.—Не бойся, со мной представитель, но не из органов.

Наконец в сенях хлопнула дверь, затем нерешительно скрипнула калитка и показался небольшого роста, весь взлохмаченный мужчина лет тридцати. Ровесник Архарова, одним словом...

— Здоровеньки!—хмуро поздоровался он с гостями. При этом от него сильно отдало перегаром самтрестовского алкоголя.—Чего надо?

— Как твоя машина?—вместо ответа строго спросил Евсеев.

— Машина — во!—поднял кверху большой палец Сова.—Заменить бы двигатель, да кузов на новую раму поставить, да скаты сменить, кабину отремонтировать — и сама поедет.

— Ты свои глупые прибаутки брось!—пригрозил пальцем Евсеев.— Тут товарища из руководящих органов надо проводить. А ты дурачком прикидываешься!

— А что Васька твой, рысак выездной?

— На нем до завтрева до Верхограда не доехать...

— Ах, до самого Верхограда-а...—наконец-то чуть посерьезнел Сова.—Извиняйте великодушно, но в данное время моя полуторка на это тоже не способна.

— Что с ней случилось? Конкретнее можешь объяснить?—спросил Архаров.

— Ну, ежели конкретнее, похоже, генератор сгорел, будь он неладен,—плюнул в сердцах Сова.

— Посмотреть не запрещается?

— Ежели не боитесь испачкаться...—пожал плечами Сова и, подойдя зигзагом к машине, открыл капот.

Делать нечего, Архарову пришлось полезть в двигательный отсек. Честно говоря, пачкаться не хотелось, потому как хоть и был он в неприглядной одежде, но среди моховцев, наверняка, выглядел настоящим франтом.

— Товарищ Архаров, так я пойду в правление, подготовлю справку для руководящих органов. Чтобы, так сказать, вам не мучиться лишний раз. Ежели у вас что выйдет, поедете на машине. Ежели нет, Васька в вашем распоряжении,—сказал Евсеев и, воспользовавшись моментом, смылся.

Архаров попросил Сову покрутить рукояткой двигатель, сам схватился за клемму генератора. Током било. Стало быть, просто где-то порвался провод или заржавели контакты.

— Эй, водитель, ты сколько классов кончил?—с насмешкой спросил Архаров.

— Четыре. А что?—спокойно, даже, показалось, гордо ответил Сова.

— И с четырьмя классами ты ходишь в водителях?

— По-вашему, я председателем должен быть? Так наш Иван Евсеевич семилетку закончил, к тому же партийный,—еще больше ошарашил Сова.

Архаров внимательно посмотрел на него, затем еще раз окинул взглядом улицу с покосившимися избами, вспомнил встречавшихся ему людей, события, происшедшие с ним со вчерашнего дня, встречу во сне с «королем»... Черт побери, непонятно все это! Непонятно и странно. Уж не во сне ли он? И не во сне ли видел сон?

Архаров ущипнул себя. Больно...

— Слушай, друг, что-то не по себе мне,—внезапно охрипшим голосом сказал он.—Башка, понимаешь, чудит. Может, найдется у тебя чем подлечиться, а? Машину я запущу в два счета, не сомневайся.

— Лекарства в амбулатории,— буркнул Сова.

— Да не о том я. Ну, сам понимаешь... А?

— Дак... это же...—растерялся Сова.

— Ты ничего такого не думай!—начал напористо уговаривать Архаров.—И не бойся, я не из болтливых. А чтобы было за что, давай договоримся. Ты вынесешь стакан лекарства, а я до этого отремонтирую твою бандуру. Если не успею, то не давай, дождись окончания работы. Годится?

Он почти что силой подтолкнул ошарашенного Сову к калитке, а сам вытащил из кармана перочинный ножик, который всегда носил с собой, и начал чистить контакты,

одновременно проверяя, идет ли ток к катушке зажигания, от нее к прерывателю-распределителю и дальше к свечам. Оказалось, оборван провод между катушкой зажигания и прерывателем-распределителем. Архаров быстро нашел обрыв, подчистив концы, соединил надежно, обмотал изолентой, которую нашел под допотопным водительским сиденьем... Когда, настороженно озираясь по сторонам, вышел Сова, Архаров уже вовсю крутил рукояткой.

— Нажми чуть-чуть на педаль акселератора,—попросил он Сову.

Тот сунул ногу в кабину, нажал. Архаров крутанул рукоятку изо всей силы (надо сказать, ее у него хватало на двоих, может, и на троих). И мотор чихнул, как после долгого сна, затем еще раз и резко завыл.

— Ну вы даете!—восхищенно воскликнул Сова, одновременно сбавляя обороты.

— Слушай, давай говорить на ты. Мы же, вижу, ровесники. Зови меня просто Левой,—предложил Архаров.

Сова ничего не ответил. Однако, похоже, предложение ему пришлось по душе. Он вытащил из наружного кармана пиджака граненый стакан, из внутреннего — поллитровую бутылку с бумажной пробкой, но, подумав, сунул все обратно, еще раз поддал газу и заглушил двигатель.

— Мы же договорились!—отчаянно крикнул Архаров.

— Знаешь, тут одним стаканом не обойтись. Давай-ка зайдем домой, посидим по-человечески,— предложил Сова.—Сегодня я все одно не работник. Да и наряда не получал, поскольку числюсь на ремонте...

В том, что, если даже выедет с утра, в свое родное управление прибудет в срок, ну, может, с небольшим опозданием, Архаров не сомневался и с радостью принял приглашение.

— Супружница моя на работе. В спецбригаде она нынче, махорку выращивает. Так что в этом году с сахаром будем,—объяснил Сова, ставя на стол чашки с картофелем в мундире, огурцами и помидорами, кладя пучки зеленого лука, пару крутых яиц, полкаравая черного хлеба.

Когда наконец прозвучало долгожданное: «Ну, побудем!», у Архарова от предчувствия приятного аж в зобу дыханье сперло. Выпив самогона, он закусил хлебом и чуть не поперхнулся: хлеб оказался совершенно непропеченным и к тому же странным на вкус.

— Что это такое? Из какого хлебозавода его привезли?—возмущенно воскликнул Архаров.

— Сами пекли,—растерялся Сова.—Разве хлеб пекут на заводах?

Обижать хозяина, когда он тебя угощает,—грех.

— Интересно, а как вы его испекли?—спросил Архаров, стараясь сгладить свою оплошность.

— Чего тут интересного,— вздохнул Сова.—Готовишь смесь из ржаной муки и натертого картофеля, заквасишь ее... Хорошо хоть, мы такой хлеб можем есть. А каково рядовым колхозникам? У них ведь нет гарантийной оплаты. Понимаешь, мне иногда стыдно есть даже такой хлеб. Как подумаю, что соседка Валентина, вдова моего кореша, в это время кормит своих малышей зеленым супом... Видишь, напротив покосившаяся изба под соломенной крышей. Там они живут... А-а, давай-ка лучше еще по одной...

Самогон был из того разряда, который называется первачком. После второго залпа в голове привычно зашумело. Архарова потянуло на откровенности. Однако для начала надо было кое-что уточнить.

— Слушай, Митяй, растолкуй мне путем, где я сейчас нахожусь и какая здесь обстановка? Ей-богу, со вчерашнего дня никак в толк не возьму,—спросил он.

Сова странно — почти как утром Евсеев — взглянул на него, медленно приподнялся.

— Вот что, гражданин уполномоченный,—хрипло сказал он.—Ежели ты приехал забрать меня — забери. Но без всяких там штучек. Не след тебе хитрить. Я ведь не сопротивляюсь, бежать не собираюсь. А выдавать никого не стану. Да и некого!

Не понимая, что за ахинею несет его собеседник, Архаров тупо уставился на него, а потом в сердцах ка-ак шандарахнет кулаком по столу. Хорошо, стол здесь тоже самодельный, дубовый. Но малочисленная посуда на нем подпрыгнула вся.

— Как ты смеешь?—крикнул Архаров во всю глотку и тоже встал.—Как ты смеешь считать меня лягавым? Я хоть, может, и пропащий человек, но не до такой же степени!

Так они стояли долго, пожирая друг друга глазами. Хоть и мал ростом, а, видно, крепкий орешек этот Сова, ни за что не моргнул первым.

— Послушай, Митяй, отнесись к этому вполне серьезно. Очень тебя прошу... Еще вчера, четвертого августа тысяча девятьсот девяносто первого года, я проснулся в своей комнатке, что в Верхограде. Это я отлично помню.

Потом вдруг оказываюсь у черта на куличках, то есть в вашем Мохове. Причем, судя по происшедшим переменам, между этими событиями прошло немало времени. Сам посуди: водка подорожала в два раза, хлеб снова начали печь улучшенного качества, мода чутко отреагировала на потребности трудящихся. Или взять жилищно-бытовые условия. Даже для нашей мощной перестройки со спецпрограммой «Жилье — 2000» происшедшие изменения слишком уж стремительны. Это же сколько надо лет, чтобы дома обветшали до такой степени. Я каждый год езжу на картошку, помню, как они выглядели... Так вот, я спрашиваю тебя, друг, в каком году, где я оказался и что сейчас происходит вокруг?

Наконец-то Сова заморгал глазами и долго не мог их остановить. В какой-то миг он даже протянул руку к Архарову, будто хотел удостовериться, из плоти он или просто мерещится, но тут же испуганно отдернул ее.

— Ты, Лева, похоже, из образованных. Из твоей речи я мало что уразумел, прости. Однако послышалось мне, будто ты из девяносто первого года?—спросил он.

— Да, да, черт возьми, из девяносто первого!—раздраженно подтвердил Архаров, снова опускаясь на лавку.— Ты вот из какого?

Сова вытянулся и застыл, то есть как бы принял официальную позу.

— Я из пятьдесят первого,—бесстрастно ответил он.

— Середина двадцать первого века! О боже!—воскликнул потрясенный Архаров. Тут же, снова уставясь на Сову, начал медленно приподниматься.—Но тогда выходит, мне сейчас девяносто с лишним лет, а?

Сова на всякий случай отодвинулся на шаг в сторону, по-прежнему бесстрастно сказал:

— Ты, Лева, или шибко ученый, или шибко шибанутый. Я толкую тебе о тысяча девятьсот пятьдесят первом годе. Тогда, выходит, тебя вообще не должно быть на свете, да? Может, и мать твоя будущая еще только под столом бегает, а?

И Сова залился саркастическим смехом. Как-никак, удалось-таки поставить провокатора на место. А что гость провокатор — в этом Сова убеждался все больше и больше. Только неясно, чего он добивается своими выходками?

— Не может быть!—крикнул в отчаянии Архаров, вознеся очи к потолку и вытянув вверх руки.—Не может этого быть!

— Почему? Почему? Почему?

— Потому что не может быть! Докажи, что не пошутил.

— Сначала сам докажи!

Настал черед Архарова растерянно моргать глазами. Но это продолжалось недолго: его неожиданно осенило. Он сунул пальцы в часовой кармашек брюк, вытащил оттуда металлический рубль, бабахнул им по столу, как доминошник, последним ходом дающий противникам команду: «Встать, козлы! Под стол!»

— На!—крикнул он, торжествуя.—На, смотри! Рубль последней чеканки!

Сова осторожно взял кругляшку, повертел в руках, попробовал на зуб, прочитал:

— «О-дин рубль. Тысяча де-вятьсот, де-вяносто один. Эсэсэсэр». И герб есть. Нашенский, с серпом по молотку... Странно, однако.

— Почему странно?—спросил Архаров, на всякий случай забрав монету обратно.

— Потому что металлического рубля не бывает. Гляди, какой он, рубль!

Сова вытащил из кармана довольно-таки большую хрустящую бумажку коричневого цвета и протянул Архарову. На ней, действительно, было написано: «Один рубль. 1947 год». И герб нарисован, и узоры. Однако это не застало Архарова врасплох.

— Чудак!—примирительно сказал он.—Так в шестьдесят первом же денежную реформу провели. Обменяли десять к одному. А то, что у тебя сохранился старый рубль, ничего еще не доказывает.

— А цена водки? Она доказывает? Ежели была реформа денег, значит, бутылка должна стоить с посудой два двенадцать. А ты говоришь, подорожала...

— О, черт! Значит, она подешевела!—обрадовался Архаров, начиная верить Сове.—Слава богу!

Облегченно вздохнув, он сел. Его примеру последовал и хозяин. Он тоже начал пересматривать свой вывод о провокаторе.

— Не богу, а гениальному вождю всех народов страны и мирового пролетариата!—поднял кверху указательный палец Сова.—Не след тебе, уполномоченному руководящих органов области, путать божий дар с яичницей.

— И все-таки, чем более существенным можешь ты подтвердить свой пятьдесят первый год?—не унимался Архаров.

— А вот сходим вечерком на наряд, радио послуша-

ешь. Есть там единственный в селе приемник. «Родина-47» называется. Радио тебе и год, и месяц, и число, и день — все, все скажет. А пока давай, уполномоченный, пропустим еще по одной ради такой встречи. Не знаю, доброе ли это знамение, лихое ли, но нравишься ты мне. Чем-то фронтового друга напоминаешь.

— Ты воевал?—спросил Архаров.

— А как же. С самого начала и до самого конца. Все четыре года отбухал. И ранетый как раз четыре раза.

— Как четыре года? Война же десять лет шла,—хотел было Архаров уличить новоявленного друга в ложной информации, но тут же вспомнил:—О, черт! Ты, наверное, имеешь в виду Великую Отечественную.

— Конечно, какую же еще,—утвердительно мотнул головой Сова.—Аль в твоем будущем и десятилетиями воевали? А говорили, та, наша, последняя была. Расскажи, а? Страсть хочу знать про будущее.

— Лучше бы тебе не знать,—остудил его Архаров.—Впрочем, когда-нибудь я тебе расскажу. Лады?

— Лады, уполномоченный!

— Да никакой я не уполномоченный!—раскрыл секрет Архаров.—Такой же работяга, как и ты. А вот какой балбес и за какие грехи сунул меня сюда — другой вопрос. Впрочем, давай-ка, Митяй, налей остатки и отдохнем чуток. В этом деле тоже перекур требуется. Если, конечно, не возражаешь.

Сова не возражал. Он был рад, что заимел нового, необычайного друга, так похожего чем-то на своего фронтового товарища. А когда Архаров сказал: «Знаешь, Митяй, мне здесь становится чертовски интересно, так что не поеду я пока никуда. Только ты секрета моего не раскрывай». Сова, как говорится, совсем растаял. И на сеновал они пошли аж в обнимку, как Штепсель с Тарапунькой в шестидесятые годы. Хотя этого, конечно, Сова не знал. Как, по малости лет, не помнил и сам Архаров.

5

Вечером Архаров на наряд не попал — проспал. И все же убедился, что действительно оказался в пятьдесят первом году. Проснувшись на сеновале, он услышал... радио. Звуки доносились снизу, из хлева. О чем говорило радио — спросонья и с похмелья Архаров не разобрал, но что сейчас август пятьдесят первого — это его уши успели

уловить. Такое подтверждение, конечно, потрясло, но и внесло некоторую ясность. Да, похоже, лысый «король» напомнил ему кое о чем совсем не в шутку. И торопиться в Верхоград теперь, кажется, ни к чему, ибо в пятьдесят первом Архаров в своем ЖЭУ точно не работал.

Архаров осторожно спустился по небрежно приставленной лестнице, торкнулся в хлев. Странно, дверь оказалась запертой изнутри. Да и радио моментально смолкло.

— Митяй, ты чего там? Это у тебя приемник?—спросил Архаров.—А говорил, что во всем селе один.

Через минуту, отшвырнув крючок, вышел Сова. В руках он держал радиоприемник незнакомой марки. Архаров мельком взглянул на него. «Дорожный» было написано на лицевой стороне. Ручка переключения поддиапазонов стояла на отметке КВ 1, а красная полоска остановилась около цифры 31.

— Да вот, «Маяк» хотел послушать,—смущенно объяснил Сова.

— Между прочим, у нас в девяносто первом на волне 31 метр работает «Голос Америки»,—заметил Архаров.

Сова покраснел до кончиков ушей.

— Лева, я тебя очень прошу, замнем об этом, а? И вообще, ты у меня никакого приемника не видел. Лады? Надо мной и так сгустились тучи,—начал он чуть ли не умолять.

— Пожалуйста!—снисходительно пожал плечами Архаров.—Хотя я не понимаю, зачем скрывать свои увлечения. Что иметь дома, какой голос слушать — другим это должно быть до фени.

— Во, теперь я точно уверен, что ты не уполномоченный,—оживился Сова.—Слава те, господи!

— Почему это?— поинтересовался Архаров.

— Ну, причин много. Сам взялся за черную работу— раз. Уполномоченный в двигателе копаться не будет. Разбираешься в деле — два. Уполномоченные обычно ни бэ, ни мэ. И феню к месту вспомнил. Это — три. Уполномоченный так никогда не скажет. Хочу верить, что ты не только свойский мужик, а и не стукач.

Сова снова юркнул в хлев и через пару минут вышел оттуда уже без приемника.

— Что-то не пойму я,— заметил Архаров.—Почему прячешь приемник, если он твой? Какого стукача боишься? И что за тучи сгустились над тобой, когда кругом ясно?

— Похоже, ты действительно пришелец из будущего,— сказал Сова уже в избе, куда они зашли опохмеляться.— Многого еще не смыслишь в нашей дремучей жизни. Понимаешь, нам нельзя слушать вражескую пропаганду. Ежели власти разнюхают, за это я запросто могу загреметь на Колыму. Что до туч... Недавно моего друга забрали. Упекли без права переписки. Он так похож на тебя...

— За что же его?

Сова не заставил повторить вопрос, рассказал с охотой. Видимо, воспоминания доставляли ему даже некоторое удовольствие.

— Мы с ним воевали вместе с самого начала войны. На срочной тогда состояли. На станции Чючень... Через сутки после нападения фашистов вся наша сто восемьдесят пятая дивизия начала отступать к Минску. Конечно, наш двухсотый полк тоже. Так шли четыре дня. Лесами. Дороги уже были не для нас. На пятую ночь наш батальон отдыхал прямо в дрыгве. Встали утром, смотрим— всех командиров куда-то как ветром сдуло. Один комбат капитан Иззаков остался. Что делать? Проклял комбат своих офицеров, назначил сержантов взводными, опытным красноармейцам отделения доверил — и двинулись дальше. Только вышли к какому-то местечку, как прямо с костела начали нас поливать свинцовым градом. Мы — назад, а сзади тоже пулеметы строчат. Оказалось, нарвались мы на засаду немецких десантников. И пошла рубка. Иззаков погиб. «Ребята, во что бы то ни стало доберитесь до своих»,—только и успел сказать. Солдаты без командиров — что стадо без пастухов. Разгромили нас. Друг мой попал в плен. Ранили его... А мы вырвались и потопали дальше небольшими группами. Под Минском наконец наткнулись на большое скопление своих. Началось формирование. Представляешь, дали новехонькие ППШ. Были даже танки. На один из них посадили наше отделение в качестве десанта. И поехали мы отбивать Минск. Но, похоже, кто-то предал нас. Немцы уже ожидали наступления. Самолеты с черными крестами налетали ну точно вороньи стаи. Артиллерия расстреливала в упор. Какому-то снаряду понравился именно наш танк... Ну и очнулся я от пинка фрица. Так попал в плен, в сто двадцать шестой лагерь... Долгая история. Главное, мне все-таки удалось удрать, попасть к партизанам и продолжать воевать. Но плена нам до сих пор не прощают.

— Вы-то в чем здесь виноваты?—возмутился Архаров.

— Так-то оно так. Но наш генералиссимус говорит, что хороший солдат в плен не попадает.

— Генералиссимус — это кто?—спросил Архаров.— Отец мой был из рядовых граждан, так что увильнуть от армии мне не удалось, отслужил от звонка до звонка, а такого звания не знаю.

— Ну ты даешь,—покачал головой Сова.—Это же самый выдающийся ленинец, отец всех народов и наций, гениальный вождь всего мирового пролетариата, величайший... как его... мыслитель.

— Леонид Ильич, что ли?! Так он маршалом был.

— Какой еще Леонид Ильич? Я говорю о Самом.

Тут Архаров вспомнил, что он в пятьдесят первом, начал припоминать, кого в последнее время ругали за ошибки того периода.

— Ты о Сталине?!—восхищаясь своей памятью, воскликнул он наконец.

— Тсс! Тише ты!—зашипел на него Сова.—Стены — они ведь тоже слышат.

— О, черт! До чего же ты труслив, брат!—неодобрительно отозвался Архаров.—Только не пойму я, почему твоего друга упекли, а ты еще на свободе?

— А он начал оправдываться. Говорил, что попал в плен из-за предательства красных командиров.

— Ты, стало быть, хитрее оказался, язык за зубами держал. Так чего тебе бояться?

— Но в плену-то я был!

— Мало ли. Теперь что, все пять миллионов бывших пленных пересажать?

— Какие пять миллионов?—возмутился Сова.—Чего ты мелешь? Миллионами в плен мы их брали.

Архаров окинул его взглядом. Нет, собеседник не шутил.

— Впрочем, черт вас знает...— вяло махнул рукой Архаров, опять вспомнив особые обстоятельства.—Знаешь, не люблю я за столом о серьезных вещах разговаривать. Давай лучше коммунистам перемоем косточки. Или демократам. Если они у вас есть. Не то вождя вашего, генералиссимуса этого, помянем недобрым словом.

— Типун тебе на язык!— аж вздрогнул Сова.—Ты что, совсем рехнулся? Разве так шутят?

— Тогда налей-ка еще по стопочке. И потопаю на квартиру. Вас тут не поймешь. Разберитесь сами со своими проблемами.

Выпив и закусив изрядно поднадоевшим малосольным

огурчиком, ибо все остальное давно было съедено, Архаров ушел, даже не попрощавшись. Свернув, так сказать, на свою улицу, он, поскольку был не в стельку, еще издали увидел перед домом Марфы странную возню. Подойдя ближе, шагов за пятьдесят услышал и шум.

У двора стояла повозка. Высокий худощавый мужчина затаскивал на нее поросенка весом пуда в два. Поросенок отчаянно визжал, брыкался изо всех сил, и хотя ноги его были связаны, мужчина никак не мог уложить животное на телегу. К визгу скотины дуэтом примешивался отчаянный вопль Марфы. Все это изредка заглушалось густым громоподобным матом мужчины. Содержание мата было таково, что подобного даже Архаров, постоянно вращавшийся в среде профессионалов этого вида искусства, никогда не слыхивал. Только старый мерин стоял тихо, время от времени с укоризной прядая ушами в сторону шумевших.

— Черт возьми, что здесь происходит?!—гаркнул Архаров, желая перекричать всю эту какафонию.

Если помните, глоткой он, ни в смысле пропускной способности, ни в смысле голосовых связок, не был обижен, так что получился такой же рык, какой вы слышали в начале нашего повествования. От неожиданности мужчина аж вздрогнул и выронил поросенка из рук. Тот упал прямо на его ноги и начал отползать. Мужчина же, скривив рот в неопределенную форму, заплясал. Марфа как ухватилась было за подол его гимнастерки, так и застыла в ужасе.

— Я спрашиваю, что здесь происходит? Почему обижаете мою хозяйку?—повторил свой рык Архаров, правда, чуть сбавив громкость.

Мужчина наконец-то перестал подпрыгивать, подтянулся, поправил форменный китель.

— Простите, с кем имею честь?—спросил он, с ненавистью глядя на непрошеного гостя.

— Уполномоченный он. Из самой области,—за Архарова ответила Марфа, раньше всех оценив ситуацию.

Грубо отесанное продолговатое лицо мужчины мгновенно преобразилось, выражая верноподданническую улыбку.

— Я — налоговый инспектор Петухов Федот Абрамович,— представился он.—Так что исполняю соответствующее постановление ЦК ВКП(б) и Совета Министров о привлечении народных средств на восстановление разрушенного войной народного хозяйства. Гражданка Шере-

метьева еще в прошлом годе подписалась на добровольный заем, но так и не внесла деньги в кассу государства. А нам надо выполнять первый послевоенный пятилетний план.

— При чем здесь поросенок?—не понял Архаров.

Петухов как-то странно посмотрел на него (что-то они все тут так посматривают...), однако объяснил охотно:

— Я его реквизирую и отвезу в заготскот. Вырученные деньги обращу в заем.

— Марфа, а на какую сумму ты подписалась?—спросил Архаров.

— Дак малограмотна я, не могу знать,—растерялась та.—Дали мне подписать бумажку, опосля начали требовать деньги.

— На рядовых колхозников отпущена разнарядка по пятьсот рублей на душу,—уточнил Петухов.—Сто пятьдесят ею внесено в прошлом годе. Так что осталось триста пятьдесят.

— Но вы же сказали, заем добровольный.

— Она и есть добровольно подписавшаяся. В сельсовете в присутствии председателя, секретаря парторганизации, уполномоченного райотдела НКВД и меня гражданка Шереметьева собственноручно расписалась на подписном листе.

— А если человек не в силах отдать столько? Если у него на жизнь не хватает? Может же он отказаться от добровольной подписки.

— Не может,—живо возразил Петухов,— потому как ее подписка учтена в государственном бюджете. Так что никак не может.

— Хорошо, а можно еще чуток отстрочить выплату?— предложил Архаров. Его начавшая тяжелеть голова сейчас не могла придумать ничего путного. А помочь Марфе хотелось. Как-никак, возможно, долго еще придется жить у нее.

— Ну, если вы берете ответственность на себя,—нехотя согласился Петухов и задом взобрался на телегу, дернул мерина за вожжи:—Но! Пошел, старая рухлядь, ...лядь!

Мерин не спеша потопал вперед.

— Спасибо вам, товарищ уполномоченный, большущее спасибо!—принялась благодарить Марфа. Тут же, догнав поросенка, стала развязывать ему ноги.—Я говорю ему, погоди до осени-то, пущай подрастет кабанчик, всего сдам государству, даже головы и ножек себе не оставлю.

Тоды выручки было бы поболе, может, хватило бы и с частью налогов рассчитаться. А он, черт эдакий, знай свое талдычит: «Реквизиру, реквизиру...» А у меня вся надежа на кабанчика. Больше никакой живности нету.

— Что ж ты так? Крестьянка, а скотину не любишь,— упрекнул Архаров.

— Дак налог же за нее сдирают. А где денежки взять? На трудодни в прошлом годе и то лишь по двести граммов дали. А год был урожайный. Так что и налог платить нечем, и скотину кормить. Хоть самой зубы на полку клади...

— Тогда сад заведи. Для него корма не надо,—заметил Архаров.—Смотрю я, у вас во всем селе ни одной яблони нет. Народ, что ли, такой ленивый?

— Дак и за сад надобно платить. За каждое деревце,—обиделась Марфа.—Да ладно, что вам наши мытарства. Я вам лучше ужин сготовлю.

Вскоре она поставила на стол жареный на сале хрустящий картофель, помидоры, кружку варенца, после недолгого раздумья выставила также самогонку в литровой бутылке.

— Это не я гнала, заняла у знакомых,—сразу предупредила на всякий случай.

— Мне это до лампочки. Ты лучше за стол садись. Остынет же,—предложил Архаров.

— Что вы, что вы!—замахала руками Марфа.—Не положено мне. Да и сыта я...

— А я один не буду есть. Пить — тем более.

— Ну, коли так...

Сначала Марфа вела себя очень сдержанно, лишь для вида тянулась ложкой к сковороде, а хлеб и вовсе не откусывала. Но когда выпила немного самогонки да разговорилась о житье-бытье, стеснительность ее мало-помалу куда-то улетучилась. И увидел Архаров, как ест здоровая русская баба. Нет, она не торопилась, не захлебывалась от жадности, разжевывала картошку старательно. Но набирала полную ложку, а от помидора откусывала сразу одну треть. При этом щеки ее разрумянились, тоненькие губы заалели, а бездонные васильковые глаза испускали такие чары, что пронзили у Архарова и сердце, и душу, и все прочее насквозь. Ах, как жаль, что опасно с ней разводить амуры. Угораздило же ей такую порчу на себя напустить.

— Ой!— спохватилась через четверть часа Марфа, заметив, что одна умяла целую сковороду картофеля и чашку помидоров.—Что я наделала!

Архаров же не обратил на это никакого внимания. Как, впрочем, и на полный стакан, чего с ним раньше не бывало. Он просто сидел и любовался хозяйкой.

— Что ж, поздно уже, пора на боковую,—опомнился он наконец и, вздохнув с сожалением, вышел из-за стола.

Что верно, то верно, шел одиннадцатый час ночи по местному времени.

Несмотря на жесткую постель, Архаров уснул мгновенно. И неожиданно увидел во сне все, чего он в эти дни хотел и никак не мог вспомнить. Сон — это, товарищи и господа, как умно сказано в одном толковом словаре, то, что снится, грезится спящему. А снится и грезится спящему, как известно, сон. От себя автор делает лишь маленькое уточнение: сон есть все-таки нереальность. Потому, чтобы иной придирчивый критик не смог обвинить его в злонамеренных выдумках, все то, что виделось и грезилось этой ночью нашему герою, он выделил в отдельную главу.

6

Архаров хорошо помнит, что вышел из дачи совершенно трезвый, ну просто как стеклышко. И при этом был страшно зол. За то, что на столе остались непочатая бутылка коньяка и закуска, которую приходилось видеть лишь в кино. За то, что есть вот у людей такой дворец, который называется только дачей, а он живет в комнатушке, где зимой сыро, а летом душно, по ночам жарят клопы, а по утрам приходится стоять в очереди у сортира. За то, что хозяина дачи и его супругу обслуживают две «Волги», а он вот за свою жизнь не сумел даже мопед купить. И так стало муторно на душе, что он взял да и подошел к «Волге», поскольку ящик с инструментами и необходимой тарой был при себе, подобрал ключ и отвинтил краник радиатора, из которого отлил полную консервную банку антифриза. И после этого — как отключило.

Очнулся он, как ни странно, на той же самой даче, на которой работал. Очнулся оттого, что почувствовал, как вливали в него что-то тепленькое и его тут же вырвало. Этим занималась женщина в белом халате.

— Кажется, оклемался,—сказала она, облегченно вздохнув.

— Слава богу, слава богу. Не хватало еще, чтобы у нас умирали от алкоголя...

Это говорил хозяин дачи, стоявший рядом. Он нагнулся к Архарову, спросил:

— Ну как, Лев ...ыч? Все нормально?

Архаров растерянно поморгал глазами, приподнялся, сел. Врачи скорой помощи еще раз внимательно осмотрели его, попрощались и уехали. И тут началось!

— Как же так можно, товарищ дорогой,—начал упрекать Большой Председатель.—Разве не предлагал я вам всего, что душе угодно? А вы, извините, такой гадости налакались. Не пойму я вас, таких людей... А мне рекомендовали вас как толкового специалиста, так сказать, настоящего пролетария.

И что-то стало закипать в душе Архарова. Какая-то желчь начала заполнять все тело. Оно и понятно: похмелье-то еще не прошло. Слушал он, слушал и ка-ак крикнет:

— А я пролетариат и есть! Выращенный вами пролетариат. Тот, кому нечего терять, даже цепей. Вот кто вы будете — не ведаю. На каком основании мне мораль читаете? Что, нельзя пить антифриз? А где я найду хотя бы бормотуху? И на какие шиши? Закусывать надо, говорите? А чем? Вы же не пролетариат. Вы — руководящий класс. Так почему вы так наруководили, что я за антифризом потянулся, а? Ошиблись во мне? Не представитель я пролетариата? Чей я тогда представитель? У вас что, кроме пролетариата и крестьянства, еще какие-то классы имеются? Мозгов не хватит у вас на другие классы, вот! Электропроводку себе не можете провести, а норовите всей областью руководить. Разве вы мужчина? Разве вы начальник? Пустое место — вот вы кто.

Тут и хозяина прорвало. Куда только делась его респектабельность.

— Да как вы смеете? Вы, ноль без палочки, мне указывать? Я на вашем месте в любое время сработаю, а вот попробуйте вы на моем месте.

— А что?—расхрабрился Архаров.—Уступите кресло — посмотрим. Не хуже вас справлюсь, не беспокойтесь.

Он, не спрашивая, одним рывком отгрыз пробку у бутылки и налил себе коньяка полную рюмку. Выпил разом, закусил апельсином, как бы наверстывая упущенную возможность...

— Видите? Очень даже хорошо получается!—сказал торжествующе.—Вообще, был бы я на месте тех, послевоенных, все бы иначе повернул. После такой-то победы! В раю бы мы сейчас жили. И вы бы имели не только две

«Волги», а еще лайнер воздушный и яхту на море. А вы — как собака на сене. И сами толком не живете, и другим не даете.

Большой Председатель, надо отдать ему должное, оказался не промах. Тоже налил себе, залпом выпил и даже не закусил.

— Хорошо!—воскликнул он.—Очень хорошо! Я вот попрошу у того, кто все может, разрешения послать вас в те самые послевоенные годы. Чтобы вы претворили свое обещание в жизнь. А мы посмотрим, что из этого выйдет. Горло драть ума немного надо...

— Давайте!—полез на рожон Архаров.—Посылайте. Посылайте меня хоть на сорок лет назад! Да я же вас послезавтра к настоящему коммунизму приведу! Будете жить и благоденствовать, как шведы, немцы или япошки, которых наши предки били.

Чем кончился у них спор — Архаров опять не помнит, поскольку по ходу дебатов они с хозяином опустошили-таки пару бутылок. Видно, его отвезли на машине. Как будущего руководителя. Или из предосторожности, чтобы, значит, снова ЧП не вышло. Короче, той ночью и явился ему лысый «король» в образе Большого Председателя. Это Архаров точно помнит. Спрашивает «король»: «Не забыл наш сегодняшний спор? По пьяной лавочке ты все это наговорил или всерьез так думаешь?» Архарову бы воспользоваться представившейся возможностью, извиниться. Но он, балда, хоть и признавал дипломатию, кривить душой не умел или не захотел. Тогда «король» и говорит: «Ну так пошлю я тебя в те послевоенные годы. Займись-ка там перестройкой. Критиковать вы все мастера, докажите-ка делом... Полагаю, если дела у тебя пойдут, ты не оставишь свое детище, там и останешься. Если же станет невмоготу — можешь вернуться обратно. Но с условием: тебе придется признать свои высказывания клеветническими. Естественно, за клевету и оскорбление придется отсидеть в положенном месте. Вот такой мой приговор!»

Куда он отправил Архарова — это мы теперь знаем достоверно. Да и ему самому, как видим, уже известно. Цель командировки тоже ясна. Так что для страховки от обвинений верных сторонников социалистического реализма, напомнив еще раз, что все это происходило лишь во сне, автор возвращается к дальнейшему повествованию о жизни нашего героя.

7

Утром, правда, не так рано, как в предыдущий день, снова заявился Евсеев. Выглядел он весьма озабоченным, со лба ручьем тек пот.

— Лев Борисович! Очень прошу простить, что задержался немного и задержал вас,—сразу начал он оправдываться.—Понимаю, без данных для отчета вы не уедете. Справку-то я вам составил еще ночью, да утром нежданно-негаданно прибыл из района уполномоченный и велел начать жатву. Пришлось вначале эту работу организовать, а потом вот без промедления к вам примчался. Ну ничего, у Совы машина, оказывается, уже на ходу. Так что позавтракайте и можете выехать.

Одновременно он вытащил из своей полевой сумки бутылку светленькой, две банки килек в томатном соусе, кулек с пряниками, судя по стуку об стол, твердыми, как камень.

— Марфа! Давай быстрее стол накрывай!—приказал хозяйке.

Сам тут же налил полстакана водки, сказал: «Побудем!» и одним глотком опустошил его, затем, наполнив на три четверти, подал Архарову. Но тот отставил стакан в сторону, заявив:

— Не торопись, председатель. Раздумал я уезжать-то. Чувствую, дела есть тут у меня кое-какие. Так что лучше найди для меня работу, чтобы я на вашей шее не сидел.

— Так...— совершенно растерялся Евсеев.—На шее-то вы не сидите, что за разговор. Но я полагал... Неужто этот сукин сын что-то наговорил про меня?

— Ты о ком?—не понял Архаров.

— Да о Сове. Вы же вчера до самого вечера у него были.

Однако разведка, оказывается, и в Мохове действует.

— Ничего он мне не наговорил. Просто свои дела у меня. Задание дали мне одно, а я его чуть из головы не выкинул из-за этого зелья,—кивнул головой в сторону бутылки Архаров.

— Задание?—насторожился Евсеев.—Ежели не секрет, кем даденное?

— Да так... Одним человеком... Который все может...

— А-а,—многозначительно протянул Евсеев.—Коли так... Что ж, тогда, стало быть, позавтракаем да пойдем в правление. Так что выпейте для аппетиту, прошу вас.

— Нет, я сегодня пить не буду!—твердо заявил Архаров, хотя, сказать честно, в горле так и щекотало от желания пропустить стаканчик-другой.—Понимаете, это слишком серьезное и деликатное дело, его надо обдумать на свежую голову.

— Та-ак...—совсем упал духом Евсеев. И многозначительно добавил:—Что ж...

На этом деловая часть беседы за завтраком завершилась.

Правление колхоза располагалось в пятистенном доме. В одной половине его сидел сам председатель, в другой имелись отгороженная досками комната для бухгалтеров, кладовка технички и прихожая. В прихожей стояла лавочка для посетителей, на стене висел телефонный аппарат образца времен царя Гороха. К приходу Евсеева с Архаровым здесь в наличии был всего один человек — мужчина среднего роста, средних лет и средней упитанности в зеленом френче и синем галифе. Он расположился у подоконника и принимал пищу, состоящую из сваренных вкрутую яиц, зеленого лука, черного хлеба, поваренной соли и чая из китайского термоса.

— Егор Кузьмич! Разве так можно? Неужто мы не смогли бы накормить вас,—обиженно воскликнул Евсеев.—Я же дал наряд открыть столовую на период уборки. Через час будет готов обед. Коль вы не пожелали с нами откушать, прикрепим вас туда. Хорошо?

— Ни в коем случае!—упрямо замотал головой Егор Кузьмич.—Это не положено. Мне платят командировочные, так что я должен жить только за свой счет.

— В таком случае будете платить за обеды. Они у нас дешевые. Кстати, знакомьтесь, пожалуйста,—спохватился Евсеев.—Товарищ Архаров, Лев Борисович, приехал к нам позавчера из области, из ЖЭУ.

— Очень приятно, очень приятно,— привстал Егор Кузьмич и, подобострастно улыбаясь, потряс протянутую Архаровым руку.—А я — Егор Кузьмич Кнутов, представитель райкома ВКП(б), райисполкома и райкома комсомола. Прислан проводить уборочную кампанию.

Архаров внимательно взглянул на него и — удивительное дело!—не смог запомнить ни одной черты лица: до такой степени оно было невыразительно.

— Много техники привезли с собой?— поинтересовался Архаров, стараясь казаться деловым.

— Чего?—не понял Кнутов.

— Ну, комбайнов, грузовиков и... какая еще техника

нужна для уборки хлебов — много привели? В колхозе же одна полуторка.

Евсеев чуть было не прыснул со смеху, однако вовремя сдержался и лишь прокашлялся в кулак.

— Какая еще техника?—обиделся Кнутов.—Хоть вы и из области, а зря так подшучиваете над представителем районного звена. Мы делаем одно дело.

— И в мыслях не было шутить. Я ведь к тому, что в случае чего мог бы обслуживать эту технику,—сказал Архаров.

— Лев Борисович нам уже отладил полуторку,—заметил Евсеев.— Сам собственноручно ремонтировал.

Кнутов неопределенно хмыкнул, собрал остатки еды с подоконника, завернул в газету, сунул все в маленький чемоданчик.

— Так я, товарищи, пойду в столовую. Не обедать, конечно. Посмотрю, как организовано питание участников битвы за социалистический урожай. Потом встречусь с секретарем парторганизации. Проверю план агитационно-массовой работы на период уборки хлебов,—сказал он и направился к двери.

— Питание-то организовано, да есть некому,— сказал Евсеев.— МТС нам выделила всего один экипаж. Как управиться с уборкой — ума не приложу.

Но уполномоченный райкома ВКП(б), райисполкома и райкома комсомола уже не слышал его. Он бодро шагал вниз по улице, сильно размахивая левой рукой, а правой осторожно неся свой ценный чемоданчик с блестящими металлическими уголками.

Тут Евсеев ка-ак захохочет:

— Ну и отбрили же вы его, окаянного. «Много техники привели...» Он, поди, и не знает, какая нам техника нужна. Он же этим... как его... физкультурным делом в районе командует.

Тут председатель, как бы опомнившись, перестал хохотать, резко посерьезнел.

— А вообще настырный он человек, настоящий уполномоченный. Заставил-таки начать уборку немедленно. Мы-то хотели дня два обождать, чтобы рожь отвердела.

— Она что, еще не поспела?

— Нет вот, не совсем,—вздохнул Евсеев.—Весна нынче холодная была.

— Так подождали бы сколько надо. Зачем слушать какого-то физкультурника, если вы дока в своем деле.

Евсеев опять как-то странно взглянул на него, сказал:

— Вам-то с вашей колокольни легко такие вещи говорить.

— Хотите, я вытурю его отсюда?—предложил Архаров.—И будете вы работать, как сами пожелаете.

— Что вы, что вы, ни в коем случае,—мгновенно отказался Евсеев.—Хорошо хоть к нам, как к передовикам, физкультурника посылают. А то пришлют такого, у кого власти побольше, тогда пиши пропало.

Они прошли на половину председателя. Евсеев, краешком глаза поглядывая на Архарова, начал перебирать на столе немногочисленные бумаги. Перебирал неохотно, видно было, что здесь в общем-то делать нечего.

— Иван Евсеевич, у тебя тут что, срочные дела?—спросил Архаров.

— Да нет,—неопределенно пожал плечами Евсеев.— Рапорт о начале жатвы в район еще с утра отправили, социалистические обязательства обговорены в районе еще недели две назад. Сведения о ходе уборки, то есть уборочной кампании, передает сам уполномоченный. Ему ведь тоже надо показать свою работу.

— Тогда давайте походим по селу. Растолкуй мне, что к чему у вас, покажи хозяйство. Я ведь послан к вам в некотором роде реорганизацию делать. А как, с какого боку к ней приступить? Так что для начала мне придется все разузнать как следует.

— Чуяло мое сердце...—сразу сгорбился Евсеев.—Что ж, реоргра... тьфу ты!.. реорганизуйте. Конечно, не след бы в такое горячее время меня снимать. Как говорится, лошадей на переправе не меняют. Ну да ваше дело.

— Что вы, что вы!—успокоил его Архаров.—Я, наоборот, хочу помочь вам.

Евсеев безнадежно махнул рукой и первым тяжело потопал к выходу.

— Думаю, прежде всего надо показать вам строительство солнечного дома,—уже на улице предложил он.

Что ж, солнечный дом так солнечный дом. Архаров не стал возражать.

Вскоре они поднялись на площадь, где, как объяснил председатель, раньше по воскресеньям гудел базар. Сейчас, правда, здесь гудела лишь колокольня полуразрушенной церкви. Напротив нее и строился дом причудливой— то ли шестиугольной, то ли восьмиугольной — формы. Сруб был уже возведен. Ядреные сосновые бревна на солнце сверкали, словно золотые. Еще издали приятно ударил в нос эфирный запах смолы.

— Для дома мы выбрали самый лучший, девственный лес,—объяснял между тем Евсеев.—И плотников собрали самых лучших. Со всей округи приглашали.

Самые лучшие плотники всей округи почему-то встретили их не очень радушно.

— В чем дело, мужики?—попытался взбодрить их Евсеев.—Почему такие мрачные? Почему сидим, когда самое время топором тюкать?

— А не получается опять,—нехотя приподнявшись, сказал бригадир плотников.—Не попадает солнце в окна северной стороны—и все тут. Да и на западной и восточной сторонах задерживается ненадолго.

— Как это — не получается? Вы что, мужики? Мы же раз уже пробовали квадратную форму. Столько делового леса загубили. Где я вам возьму древесину на третью попытку?—отчитал Евсеев бригадира.

— Мы, что ли, в этом виноваты? Говорили же тебе, председатель, строить такой дом без плана — все одно что в темноте голым задом торчащий гвоздь нащупать: и искать трудно, а найдешь — тоже хорошего мало.

— Но-но, поговори еще,—сбавил тон Евсеев.—Между прочим, вот товарищ из области интересуется нашей стройкой. А ты такую ахинею несешь.

— Да я что... Я просто говорю, что трудно. А дело мы до конца доведем, не сумлевайтесь,—сразу по-другому заговорил бригадир.

Потом все вместе осмотрели довольно-таки большой сруб. Бригадир был прав: на одну стену из семи (дом строился, оказывается, семиугольником) солнце, конечно же, никак не могло попасть. Соседние две стены оно тоже лишь облизывало после восхода и перед заходом.

— Вот черт!—почесал затылок Евсеев.—Что же теперь делать?

— Плюньте вы на солнце,—предложил Архаров.—Сделайте эти комнаты нежилыми помещениями. Устройте кладовки, бытовые комнаты, как в казарме.

Председатель с бригадиром переглянулись, подумали.

— Нет, так не пойдет,—отказался Евсеев.—А кто и как будет пользоваться этими кладовками да бытовками? К тому же они оказываются лишь на одной стороне. В доме коммунизма все должны жить на равных. В райкоме нам разрешили начать стройку только с таким условием.

— Послушайте, Иван Евсеевич. Не может солнце со всех сторон светить одинаково,— попытался Архаров образумить председателя.

— Тогда придется начать стройку заново,—невозмутимо ответил Евсеев.

— Раз такое дело, стройте дом окнами лишь на солнце. Вытяните его по прямой перпендикулярно к югу— и все дела.

— Такой вариант уже рассматривался,—ответил за председателя бригадир.—В районе его не поддержали. Сказали, слишком длинным будет дом, не уследишь за всеми жителями.

— А кого, кстати, собираетесь вы туда поселить?— спросил Архаров.

— Пока не знаю,—откровенно признался Евсеев.—Но это не проблема. Был бы дом, а жильцы найдутся.

— А-а, разбирайтесь сами. Тут у вас господин леший шизиком станет,—махнул рукой Архаров и отошел подальше.

Евсеев поговорил с бригадиром еще минут пять, затем приказал:

— Что ж, придется разобрать. Давайте попробуем построить ромбом. Чтобы острый угол приходился на север. Окна в таком разе вообще не будут туда смотреть, следовательно, все окажутся на солнечных сторонах. Понимаю, лишние затраты, но в новом деле без этого не бывает. Приходится учиться на ходу... Лев Борисович, а мы пойдем дальше. Только предупреждаю: сегодня у меня Васьки нет. Бухгалтера в банк на нем уехали...

Ходили они чуть ли не целый день, забыв даже про обед. Везде побывали: и на фермах, и на току, и на махорочной плантации, и на бахче, и на полях озимых. Наконец, уставшие и запылившиеся по пути в село спустились к небольшой, но довольно-таки полной и быстрой реке. Это и была Кубня, которую председатель как-то упоминал.

— Может, искупаемся?—предложил Архаров.—Что-то запарился я вконец.

— Можно и искупнуться,—без особого восторга согласился Евсеев.—А можно Марфе баньку заказать.

— Банька купанию не помеха. Пока давайте освежимся немного,—настоял Архаров и первый начал раздеваться.

Несмотря на жару, вода в реке оказалась прохладной и освежала, как волшебная. К тому же она была такой чистоты, что расскажи кто о подобном вчера — Архаров не поверил бы. На полутора-двухметровой глубине можно разглядеть каждый камешек! Архаров от удовольствия

начал нырять, барахтаться и визжать совсем по-мальчишески. Пару раз даже попытался затеять с председателем фонтанную борьбу, но тот вежливо подставлял волосатую спину и терпеливо стоял, дожидаясь окончания приступа шалости у гостя.

— Удивительный вы все-таки представитель,—сказал Евсеев уже на берегу, одеваясь.—Ведете себя совсем как простой смертный.

— Я и есть простой смертный!— улыбнулся Архаров.— Эх, председатель, знал бы ты!.. Впрочем, все это пока ни к чему... Ты не думай, что зря со мной весь день проваландался. Я тут многое понял. Главное — нет у вас почти никакой механизации. А в этом деле я собаку съел. Из кочерги могу сделать самолет. Как у Бабы-Яги, ха-ха-ха! Вот обмозгую кое-что... Кстати, что это там у вас, ниже по течению?

— Электростанция там была колхозная,—нахмурился Евсеев.—Та самая, которую закрыли. Сколько средств на нее, проклятую, ухлопали, сколько сил затратили. Хотели при свете лампочки Ильича пожить, да не вышло шило из дышла.

— Почему?

— Говорил же, директива... К тому же сломалась она однажды. А у нас в селе самый сильный технарь — Сова. Да куда ему, сами же видели. Говорят, еще зять председсовета кое-что кумекает, да кто его знает. Не местный он. Ну, наняли мы ремонтников. Они же, сукины сыны, два дня провозились и такие деньги с нас содрали, что у бухгалтера волосы дыбом встали. Все бы ничего, через пару недель свет опять погас. И поняли мы: прав наш вождь, тысячу раз прав. Дорого обходится энергия эта. И не стали больше чинить.

— Ну-ка, ну-ка, пойдем посмотрим,—потребовал Архаров.—Может, и не очень прав был ваш вождь...

Евсеев более чем странно посмотрел на него, но промолчал, на ходу опоясываясь ремнем, потопал к электростанции. По случаю жары был он сегодня в хлопчатобумажной офицерской гимнастерке, в льняных брюках и в черных полуботинках. И все равно потел, словно в кузнице молотком махал.

Как ни странно, хотя станция была закрыта еще в прошлом году, она не была разворована. Да и пруд сохранился, только вода из предосторожности спущена. Архаров внимательно осмотрел все оборудование. Допотопное, конечно, оно. Но он давно понял, что сейчас не девяносто

первый, а пятьдесят первый год. Главное, оба агрегата станции оказались целы. Надо было лишь кое-где почистить контакты да заменить проводку от генератора к трансформатору. Ну, если поискать, наверное, найдется еще кое-какая возня.

— Председатель, давай сядем, потолкуем,—предложил Архаров после завершения осмотра.—Когда были на току, я заметил агрегат, который вы назвали молотилкой. Но я не заметил у него двигателя. Он что, тоже богу душу отдал?

— Нет, молотилка цела. Просто работает от трактора. Да что толку об этом говорить. Трактора-то у нас нет. Трактора все находятся в МТС.

— Что такое МТС?—не понял Архаров.

— Это — машинно-тракторная станция. Она обслуживает хозяйства района техникой,—сказал Евсеев и обиженно спросил:—Вы что, проверяете меня?

Да, что-то он, Архаров, часто задает вопросы, которые в этом пятьдесят первом году, видимо, кажутся странными. Вообще-то Архаров в школе учился неплохо, по истории всегда получал «отлично», да и в институте историю КПСС свалил на «хорошо». Но поди ж ты, оказывается, он не знает самых простых, нужных вещей из недалекого прошлого. Позо-ор, какой позор.

— Я не проверяю, Иван Евсеевич, я размышляю. Такая у меня странная манера, уж прости...—успокоил Архаров председателя.—Вот думаю я, а как вы управитесь с молотьбой? Ведь трактора наверняка освободятся не скоро. Хоть я и горожанин, но из газет знаю, что надо еще зябь пахать, силос закладывать.

— Разве только это,—тяжко вздохнул Евсеев.—Ничего, управимся. Не первый год замужем. Заскирдуем пока все и будем молотить зимой. Жаль, на морозе зернышки бьются. Да и вывозить хлеб зимой трудно. Дорог-то нет. Но что делать, судьба — индейка.

— А что, если молотилку крутить от электромотора? Смотрю, электролиния на ток тянется. И столбы, и провода целы. Вообще, как это у вас ничего не разворовано за целый год? Просто поразительно!

— Пытался один столб стащить, теперь на севере для всей страны столбы заготавливает,—хмыкнул Евсеев.—А насчет электричества, прошу вас, лучше не бередите мне душу. Столько я выговоров нахватал из-за этой треклятой станции! Нет, больше никаких ремонтников приглашать не стану.

— И не надо!—воскликнул Архаров.—Я сам все отремонтирую. За минимальную плату. Вы просто кормите меня. Пропишите к колхозной столовой — и все.

— Но это же задарма получается. Вы шутите? К тому же директива... Впрочем, ежели вы возьмете всю ответственность на себя...—только и смог сказать Евсеев, умывая руки.

На том и порешили.

8

Три дня и три ночи как каторжник возился Архаров на электростанции. Даже питался там же. А поскольку на станции не было не то что холодильника, даже погреба, фактически ему приходилось держать пост. Потому как для закупки непортящихся продуктов вроде селедки, килек или воблы, чем сельский магазин был завален, у него не имелось даже рубля, в чем он пока никому не признавался. Правда, на второй день к нему заявился Евсеев, привез две банки сардин в томатном соусе и бутылку за двадцать один двадцать. Хотя, похоже, заглянул он больше для проверки, чем с целью угостить уполномоченного. Архаров к тому времени уже отрегулировал обе турбины и начал набирать воду, перекрыв шлюз плотины дубовой заслонкой.

— Как идут делишки-то?—справился Евсеев.

— Идут, председатель!—весело отозвался Архаров.

— И надолго зарядился?

— Дня через два попробую запустить.

— А вы не торопитесь,— посоветовал Евсеев, словно говоря: возитесь, занимайтесь чем хотите, только не мешайте.—Марфа сказала, что вы даже ночевать не ходите. Зачем же так истязать себя?

— Времени много уходит на ходьбу. Далековато все-таки.

— Оно, конечно,— согласился Евсеев.—Тогда я скажу Сове, чтобы постель вам завез.

С тем и уехал на своем шикарном тарантасе.

Вечером, точно, подъехала полуторка. Сова, весело посвистывая, стащил с кузова два тюка с постельными принадлежностями и занес в здание электростанции. Задерживаться не стал, от водки отказался, сославшись на баранку. Только спросил напоследок:

— Неужто сделаешь?

— Сделаю!—подтвердил Архаров.—Тут дел-то...

— Ах, да, чуть не забыл!—вспомнил еще Сова.—Пошли, проводи меня. В кабине у меня еще один сверток есть. Марфа просила передать.

В свертке были малосольные огурцы, помидоры, зеленый лук, укроп, соль. Догадалась же женщина. Вроде бы мелочь, а так приятно. Архаров даже представил на минуту, как она все это собирала, слегка закусив нижнюю губу. Заметил он у нее такую привычку. И вообще, казалась она ангельски чистой женщиной... Так-то оно так, а заявила, однако, нечто такое... Нет, не стоило из-за нее мозги портить.

Еще через день, закруглившись на станции, Архаров проверил электролинию, тянущуюся на ток, заодно и электромотор, установленный для молотилки, и пошел в правление. Требовалось поставить один сваленный, наверное, тем, кто теперь на севере, столб и восстановить оборванную в этом месте линию. Еще нужен был ремень для соединения электромотора с приводным валом молотилки.

День уже клонился к вечеру, колхозное начальство готовилось к наряду на завтра, потому в правлении оказались и сам председатель, и бригадиры, и зав. током, и кладовщик. Все, перебивая друг друга, о чем-то оживленно дискутировали. Правда, у Архарова не было абсолютного музыкального слуха, и он мало что понял в этом нестройном хоре. Впрочем, с приходом «представителя области» все враз смолкли. Только мухи ни к кому не проявляли уважения и, противно жужжа, продолжали биться об стекло, в силу ограниченности ума полагая, что там, где прозрачно, и есть выход на свободу.

— Я к вам за помощью,—сказал Архаров, воспользовавшись моментом.

— В чем дело?

— Обязательно поможем!

— Всегда готовы!—послышались тут же благожелательные голоса. Даже Кнутов, слегка приподнявшись, чтобы его заметили, крикнул:

— Помочь представителю области — наш прямой долг!

После чего в правлении опять воцарилась напряженная тишина. Когда же Архаров выложил, что ему нужно, все разом облегченно вздохнули. Евсеев даже пот со лба вытер тыльной стороной ладони и заулыбался.

— Мы думали, вы что-нибудь этакое попросите,—сказал он.—А это мы найдем. Ремень — он при молотилке же

и есть. Только в склад занесенный. Там же и запасы для электропроводки имеются. Мы ведь планировали все село осветить огнями коммунизма. А столб лежит у пожарки. Как отобрали у того сукиного сына, так с тех пор и валяется.

Тут же определили кому-то наряд на завтра: подвезти к месту и поставить электрический столб. Помочь уполномоченному натянуть провода. Оплата — полтора трудодня.

На следующий день к вечеру к пуску колхозной электростанции все было готово. Несмотря на пору, когда мужику некогда даже почесаться, по такому случаю к плотине собралось столько людей, что их смело можно назвать народом. Архаров, в последний раз проверив, все ли в порядке, хотел было уже запустить турбину, как откуда-то вынырнули Кнутов и небольшого роста, щупленький мужчина в круглых очках и парусиновом костюме.

— Уважаемый Лев Борисович! Подождите минутку!— крикнул Кнутов.—Надо сначала провести митинг. Иначе народ не поймет, какое важное событие произойдет сейчас на его глазах. Так что позвольте предоставить слово секретарю парторганизации товарищу Пряникову.

Архаров хотел было сказать, что подобный митинг, наверняка, уже состоялся при пуске станции, но, не дожидаясь его согласия, Пряников уже поднялся на краешек плотины и встал рядом, уцепившись за ручку подъемника шлюзовой заслонки.

— Варсанофий Абрамович Пряников, местный учитель истории, одновременно секретарь парторганизации колхоза,— представился он.—Очень сожалею, что не смог встретиться с вами до сих пор. Отпуск у нас, понимаете ли...

После чего Пряников повернулся лицом к народу и, заглушая шум воды, которая лилась уже водопадом через шлюзовую заслонку, пронзительно закричал:

— Дорогие товарищи колхозники и представители трудовой интеллигенции! Дорогие гости! Сегодня у нас знаменательное событие. Под руководством мудрого вождя партии, государства и трудящихся всей страны горячо любимого товарища Иосифа Виссарионовича Сталина, под руководством Всесоюзной Коммунистической партии большевиков и нашего родного правительства наш народ уже построил основы социализма и уверенно идет вперед, к победе коммунизма — самого справедливого общественного строя во всем мире и во всей истории человечества. «Коммунизм — это Советская власть плюс электрифика-

ция всей страны»,— подчеркивал основоположник нашей партии и государства товарищ Ленин Владимир Ильич. Советскую власть мы создали. А сегодня через несколько минут загорится и лампа Ильича...

— Кстати, а где лампа Ильича?—забеспокоился Кнутов.

Он тоже поднялся вслед за Пряниковым и как бы подпирал его сзади.—Не вижу нигде лампочки.

— Зачем она?—не понял Архаров.— Сейчас светло даже в десять часов ночи. Свет будет нужен там, на току, для работающих.

— А как же наглядность?—не согласился Кнутов.— Мне, конечно, неудобно вам подсказывать, но давайте зажгем хотя бы фонарь над входом в здание электростанции. Дайте какому-нибудь мальчишке лампочку, пусть заберется на крышу крыльца и ввернет. Патрон там есть, я вижу. После Пряникова буду говорить я. Так что вполне успеете.

В это время секретарь парторганизации провозгласил здравицу в честь усопшего и живого вождей, а также самой мудрой и справедливой партии и самой народной Советской власти, после чего с чувством исполненного долга уступил место Кнутову.

— Товарищи трудовое крестьянство! Позвольте мне от имени районного комитета Всесоюзной Коммунистической партии большевиков, исполкома районного Совета депутатов трудящихся, районного комитета Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза молодежи, а также всех дружных физкультурников района...—раздался вокруг голос Кнутова, словно висело несколько мощных репродукторов.

Архаров не стал ему внимать, подозвал к себе ближайшего пацана и пошел с ним к зданию станции, проще говоря, к силовой. Вручив мальчику лампочку, помог ему взобраться на козырек крыльца. Впрочем, тому помощь не требовалась. Когда мальчик, ввернув лампочку, спустился, Архаров в знак благодарности шлепнул его по мягкому месту и вошел в машинное отделение, тут же запустил турбины. Сразу зашлепали лопасти, загудел генератор. Турбины начали набирать обороты. Кнутов, то ли закончив речь, то ли просто распаляясь все больше и больше, махнул рукой и Архаров включил рубильник. Загорелась лампочка или нет — он не видел, но услышал, как зашумела толпа, как ребятишки закричали ура. Значит, ток пошел!

В этот вечер Архаров вернулся на квартиру. Евсеев самолично подвез его на тарантасе, прихватив и постельные принадлежности. У Марфы Архарова ожидал приятный сюрприз. Оказывается, для него правление колхоза купило железную койку с пружинной сеткой. Правда, он только позже узнал, что такая кровать в пятьдесят первом была в селе редкостью.

Вслед за председателем пришли и Пряников с Кнутовым. Увидев новую койку с блестящими металлическими шариками на спинках, одобрительно поцокали языками.

— Только смотрите, хозяйка ведь того... Больная она,— тихо предупредил Кнутов Архарова.

— А ты откуда знаешь?—спросил Архаров.

Уполномоченный районных органов сделал вид, будто не услышал, отошел в сторону.

— Ну-ка, Марфуша, принеси из тарантаса хозяйственную сумку. Под козлами она, сеном прикрыта,—приказал тем временем Евсеев.

Марфа — ох, и проворная же бабенка!—мигом сбегала к тарантасу, мигом накрыла стол. На этот раз между чашками гордо встали две длинношеи бутылки с трехзвездочным коньяком.

— Ну, вы тут без меня обойдетесь, а я схожу в баньку, погляжу, как там,— сказала Марфа и удалилась.

Перед началом застолья Евсеев произнес тост:

— Уважаемый Лев Борисович! Разрешите поблагодарить вас за неоценимую помощь нашему колхозу. Наверняка, себестоимость нашей электрической энергии будет выше, чем на Днепрогэсе. Но, думаю, она все же нам обойдется дешевле, чем нанять трактор в МТС на период обмолота. И мы решили на правлении: за ударную работу по восстановлению важного объекта премировать товарища Архарова пятьюдесятью рублями! Как считаете, Варсанофий Абрамович?

Пряников ничего не сказал, сквозь очки вопросительно посмотрел на Кнутова. Тот прокашлялся, не очень внятно произнес:

— Вообще-то, знаете... Но, учитывая...

И отодвинул подальше от себя тарелку с молодой картошкой.

— Тогда, стало быть, разрешите вручить!—сказал Евсеев и вытащил из кармана длинный денежный знак, заодно и ведомость, где, видимо, надо было расписаться в получении.

«По-нашему, пять рублей,— мелькнула мысль в голове

Архарова.—Впрочем, без единой копейки в кармане еще хуже. Надо брать...»

Пил коньяк в основном один Архаров. Председатель с секретарем парторганизации лишь для виду поддерживали его, краешком глаза то и дело позыркивая на представителя райкома ВКП(б), исполкома райсовета и райкома комсомола. Кнутов явно не одобрял застолья, чтобы не запятнать себя бесплатным угощением, не дотрагивался не то что до стакана, даже до малосольных огурчиков. А Архарову незачем оглядываться на кого-то. Он тут — понятно давно — как бы самый старший, уполномоченный представитель областных органов, да и сделал дело, после чего, по русскому обычаю, не грех и погулять смело.

— Знаешь, председатель, и ты, партийный секретарь, ведь меня послали к вам надолго. Чтобы быстрее изменить жизнь людей к лучшему, чтобы они реально чувствовали себя свободными и независимыми. Понятно? И я выполню задание. Чего бы это мне не стоило. Иначе... Иначе я просто не смогу вернуться назад. То есть вперед. Нет, вообще, конечно, назад, но вперед...

— Вы хотите сказать, что народ наш живет плохо и не чувствует себя свободным и независимым?—как бы пытаясь зафиксировать услышанное, громко переспросил Кнутов.—Варсанофий Абрамович, вы тоже так поняли?

— Не обращайте внимания, Егор Кузьмич. Человек переработал, устал, к тому же по праву выпил чуточку,— улыбнулся Пряников.—Мог просто оговориться.

Вошла Марфа, потупив голову, сказала то ли Архарову, то ли Евсееву:

— Баня готова.

И скрылась в закутке перед печью.

— Ан нет, уважаемые!—упрямо мотнул головой Архаров. Это, между прочим, означало, что выпил он в переводе на сорокаградусную более четырехсот граммов.—Я не пьян. А народ, точно, живет хуже скотины! О свободе и независимости у него понятия нет. Да! Вот ты, физкультурник,— тут Архаров выставил в сторону Кнутова длиннющую руку,—что ты смыслишь в сельском хозяйстве? Ни хрена не смыслишь. А заставил крестьян, понимаешь, крестьян!—раньше времени начать жатву. Из-за одного дурака колхоз столько убытка понесет, что тебе за всю жизнь не отработать. Понял, дубина стоеросовая?

— Ну, знаете!—взвизгнул Кнутов.—Вы хоть и из области...

— А хоть бы из задницы!— хохотнул Архаров.—Да ты, физкультурник, прежде всего сам и есть раб. Не пьешь с нами, даже до картошки боишься дотронуться, будто это гранаты лежат в чашке. Почему? Из принципа? Ни хрена! Из трусости.

— Я... Я!.. Да как вы смеете!— еще пронзительнее взвизгнул Кнутов и, успев все же прихватить свой дорожный чемоданчик, стрелой вылетел на улицу.

— Ну и катись к...— плюнул ему вслед Архаров. Тут же повернулся к Евсееву.—Иван Евсеевич, дорогой мой председатель! Плюнь и ты на таких безмозглых уполномоченных. Мы с тобой, знаешь, как развернем дело. Мы еще вторую электростанцию поставим. И третью. И все трудоемкие работы в твоем колхозе будет делать электричество. Да еще излишек энергии продавать будем. Понял? Не слушай ты кретинов, не верь, что местная электроэнергия дорого обойдется. Не может такого быть! Вода — она бесплатна, что в Кубне, что в Волге.

— Однако сам товарищ Сталин сказал...—робко возразил ему Пряников, после ухода Кнутова тут же успевший опрокинуть в рот полный стакан коньяка.

— А кто он такой? Кто он такой, ваш Сталин, я спрашиваю!—оборвал его Архаров.—Что он понимает в электричестве? Ты, светлая голова, подумай, во сколько обойдется колхозу вашему одна линия высоковольтки, которую вам в случае чего придется тянуть от государственной сети. Да и когда все это будет. А ветер или вода — вот они, под боком. И вообще, чего вы боитесь этого держиморду усатого, генералиссимуса фигового? Через год с небольшим его уже не будет в живых. Ты же историк, должен знать.

У Пряникова вдруг быстро начали округляться глаза. Еще немного — и они вылезут за орбиты стекол очков. Одновременно сам Пряников начал приподниматься, будто его выпрямляли, надувая сильным насосом.

— Однако... Лев Борисович, вы хоть соображаете, что говорите? Иван Евсеевич, дорогой, пошли, лучше оставим его одного. Пусть отдохнет. Иначе...

Что иначе — Пряников не договорил, зигзагообразным ходом засеменил к двери. Евсеев, спешно осушив свой стакан, сочувственно вздохнул и поднялся вслед за ним.

— Ты, председатель, не слушай больше никого. Твоя задача — организовать работу так, чтобы все было вовремя и в срок. И по справедливости. Никого не бойся, я тебя в обиду не дам!—крикнул ему Архаров.

Но Иван Евсеевич не стал внимать, бочком-бочком отошел от него, как от чумного, и юркнул в открытую дверь. Только его и видели.

— А-а, черт бы вас всех побрал!—стукнул Архаров по столу кулаком и налил остатки коньяка в стакан.

Тут из закутка выбежала Марфа, про которую он и думать забыл.

— Лев Борисович! Христом Богом прошу, не пейте больше. Оставьте на потом. Вот сходите в баньку, напаритесь как след, чтоб потом весь хмель ушел, опосля и выпьете в удовольствие. Лады?—начала она уговаривать, незаметно убирая полный стакан.

Архаров посмотрел на ее качающееся, как маятник, белое лицо, но долго удерживать голову в таком состоянии не смог, уронил на стол.

— Баня? Баня — это хорошо!—пробормотал он.—И вообще, в первый раз меня уговаривает женщина. Как же можно не послушаться?

Архаров поднялся и, кое-как приняв устойчивое положение, прямиком потопал к выходу. Дойти до бани у него сил хватило. Но уже в предбаннике он свалился на трехногую лавку и, как говорится, отключился абсолютно.

...Проснулся Архаров среди ночи от какого-то совершенно непонятного чувства. Будто тепло-тепло ему, по всему телу волнами прокатывается приятная дрожь, и с каждой волной в голове становится свежее и яснее, а грудь наполняется легким эфиром, который может вот-вот поднять его к небесам. Он открыл глаза, ничего не видя в темноте, пошарил рукой и коснулся чьего-то горячего упругого тела. Удивленный, повел ладошкой чуточку вниз и наткнулся... Не может быть! От неожиданности он аж подпрыгнул на койке, которая спружинила и, приподняв, посадила его в вертикальное положение. Также резко вскочила и женщина. Под лунным светом, падающим в окно, показалась Марфа. Да, это была она. В белой длинной сорочке, с распущенными светлыми волосами она казалась ночной русалкой, вылезшей из воды.

— Как это ты... как это мы?—пробормотал Архаров растерянно.

— Простите, пожалуйста,—виновато ответила Марфа.—Вы уже до бани стали... ну, это... Я вас кое-как пропарила и вымыла. Потом вы вроде бы пришли в себя. Только дома опять потребовали оставшееся вино. Выпив, начали... ну, это... Еще очень ругали начальство. Какого-то Большого Председателя, каких-то домкратов поносили

всякими непонятными словами. Я еле-еле успокоила вас, уложила, как дитя. Потом вы начали шалить... Долго не засыпали. А после я и сама соснула, виновата.

— И что, нашалил я чего?—испуганно спросил Архаров.

— Ну, как сказать...—потупила голову Марфа.

— О, черт!— вскочил на ноги Архаров и заметался по избе, звонко шлепая голыми ступнями по полу.—О, черт!

— Не переживайте так,—не на шутку перепугалась Марфа.—Ежели у вас есть супружница, конечно...

— Нет у меня никого!— оборвал ее Архаров.—Но ты же...

— И у меня нет... Как ушел в сорок первом, так и сгинул. Ни одного письма не успела получить... И не было с тех пор никого, перед богом клянусь.

— Разве в этом дело?—совсем разъярился Архаров.— Ты же говорила, что больна, что в случае чего мне придется к врачу идти. Как ты могла допустить все это, зная себя? Что мне теперь делать, а, что делать? О, боже! О, черт...

Он начал метаться еще сильнее.

Марфа смотрела на него, смотрела, силясь что-то сообразить, потом ка-ак прыснет.

— Ты чего смеешься? Чего смеешься, а?—подбежал к ней Архаров.—Набедокурила и еще издеваешься?

— Дак я ж просто отваживала, чтоб не липли,—сквозь смех объяснила свою «болезнь» Марфа.—Всегда всем так говорила. Уполномоченному этому, которого вы вчера осадили,—тоже. Очень это надежно помогало. Я думала, и вы такой же беспутный, как другие командированные. А вы оказались другим...

— Правда?— изумился Архаров. Опомнившись, восхищенно воскликнул:—Вот это да-а!.. Ни сопротивляться не надо, ни к жалости взывать... Ох, и бестия же ты, Марфа. Дай я тебя расцелую за это!

Он обхватил головушку Марфы руками, глянул в ее бездонные глаза и — точно!—словно прыгнул в омут. И страшно вроде бы, и любопытно, и дух захватывает от счастья. Действительно, настоящая это благодать, когда такая красивая женщина доверчиво льнет к тебе нежным телом и при этом всего тебя бросает в томящий жар. Если подумать, кому она доверяется? Алкашу несчастному, которого весь Верхоград знает как окончательно падшего человека.

Никогда Архарову не было так хорошо, ей-ей, не было.

Приятная истома легкой дрожью разошлась по всему телу, а грудь начало распирать от чувства собственной значимости и ответственности. Ответственности то ли перед этой одинокой женщиной, то ли перед трудно живущими крестьянами в общем-то чужого для него села Мохово, то ли просто перед самим собой — поди разберись в такой момент.

— Только зачем ты такой неосторожный?—между тем шептала ему на ухо Марфа.—Разве можно при людях такими словами бросаться?

— Какими — такими?—замер на мгновение Архаров.

— Ты же аж самого Сталина... И смерть ему предрек... Боже мой, при таких-то людях! А ведь ты золотой человек. За других стараешься. Таких я и не видала вовсе. И мастер на все руки. Остался бы здеся, пошел в МТС. Трактористы — они по три кило на трудодень получают. Гарантия у них. Представляешь? Жил бы себе, как кум королю...

Архаров нащупал губами ее небольшой ротик, перебил ее горячий шепот крепким поцелуем.

— А ну все это к лешему!—сказал ей тихо.—Ты хоть знаешь, какая ты хорошенькая? Ты же такая, такая... Просто слов не хватает...

И опять горячая истома охватила все его напружинившееся тело.

9

На другой день Архаров с утра был на току. Сначала он внимательно осмотрел молотилку, пытаясь понять устройство. Оказалось, ничего сложного. Затем длинным широким ремнем соединил электродвигатель с приводным валом молотилки и запустил агрегат. Все работало! Стало быть, можно вовсю молотить, пока сухо и тепло. Сказать об этом и пошел Архаров в правление к председателю. Однако Евсеева там не оказалось.

— Он в сельсовете,—сообщил однорукий счетовод-кассир, единственный из трех работников бухгалтерии, находившийся на месте. И добавил:—Видно, не скоро вернется.

— Ничего, раз гора не идет к Магомету, Магомет пойдет к горе,—ответил Архаров и, действительно, пошел в сельсовет.

Здание исполкома сельсовета и здание правления кол-

хоза похожи, как две капли воды. С той лишь разницей, что там, где в правлении располагалась бухгалтерия, здесь сидели секретарь и исполнитель, а вместо кладовки для техслужащей было устроено что-то наподобие КПЗ. Это Архаров сообразил сразу, как только увидел металлическую решетку на окне и смотровое окошко в крепко сбитой двери с металлической поперечиной, запирающейся большим амбарным замком. Гостил он в подобной клетушке, когда однажды отбывал пятнадцать суток...

В сельсовете кроме Евсеева находились Пряников с Кнутовым, человек то ли в милицейской, то ли в военной (Архаров не знал мундиров тех лет) форме, мужчина — явно крестьянин — в начальственном френче. А напротив, на табуретке, понуро опустив голову, сидел мужик с заросшей щетиной и растрепанными волосами. Сзади него, ближе к двери, стояла, вытирая кончиками платка заплаканные глаза, женщина. Архаров сразу интуитивно почувствовал, что атмосфера здесь довольно-таки наэлектризованная. Так что вести себя требовалось, видимо, весьма деликатно. И он решил вначале помолчать и послушать.

— В последний раз спрашиваю: посылал уполномоченного или не посылал?!—грозно прикрикнул на растрепанного мужика человек в форме, оказавшийся следователем районного отдела НКВД Гремучим Карлом Филимоновичем.

— Дак... Не его же я,—пробормотал мужик.

Тут в разговор встряла женщина.

— Товарищи дорогие! Граждане! Он же не то что уполномоченного, муху не может обидеть. Он же единственный в селе побои от жены терпит,—сквозь слезы убеждала она и вдруг забарабанила кулачками по плечам и спине мужика.—Вот тебе, недотепа, вот тебе, бестолочь такая, вот, вот! Ну, видите, товарищи, сидит, как истукан. Хоть бы брови нахмурил аль замахнулся в ответ. Разве мог он кого куда послать? Пожалейте его, Христом Богом прошу. Семья большая у нас, семеро по лавкам бегают. Что я буду делать без него? Как подниму детишек?

— Замолчи, Серафима, не с тобой разговаривают,— прикрикнул на нее мужчина во френче. Это был председатель исполкома сельсовета Василий Николаевич Перцев. В народе называли его проще — Перец.

— Послушайте, товарищи,— не очень решительно сказал Евсеев.—Я тоже считаю, что гражданин Соловьев не мог послать уполномоченного. Я его, Алексея, с детства

знаю, не такой он грубиян. Полагаю, тут просто какое-то недоразумение вышло.

— Я своими ушами слышал, как он сказал: «Ах ты, ...моржовый, шел бы к такой-то матери!»—взвизгнул Кнутов.

— Ну, признавайся, было такое?!—крикнул опять следователь, сверля взглядом Соловьева.

— Дак... Не его же я,— стоял тот на своем.

— А кого тогда?!—взревел следователь.—Кого, мать твою так, если рядом с тобой, кроме товарища Кнутова, никого и не было!

— Суслика я. Появился он откуда-то как на грех...

— Да суслика он, суслика!—затараторила вслед за мужем Серафима.—Тьма их развелась на наших полях, житья от них нет, проклятых.

— А я говорю, он посылал меня!—утверждал Кнутов.—Ибо при сих непотребных словах он гляделки свои вытаращил прямо на меня.

Тут опять вмешался Евсеев:

— Товарищи дорогие! Так это было или не так, только прошу вас, разберитесь побыстрее. С утра выясняем какой-то, извиняйте, пустяк, а Соловьев — он тракторист, между прочим. И пока он сидит тут, в поле стоит трактор с комбайном. Ведь целый день потеряли, целый погожий день!

— Нет, уважаемый Иван Евсеевич,—отпарировал следователь.—Это совсем не пустяк. Одно дело, если бы гражданин послал товарища, скажем, во время застолья. Тогда мы посчитали бы это за простое хулиганство. Другое дело, когда посылают при исполнении уполномоченного райкома ВКП(б), райисполкома и райкома комсомола. Это уже политический акт против партии и Советской власти, а также ленинского комсомола. И мне странно слышать, что председатель передового колхоза из-за своих мелочных интересов проявляет такую политическую близорукость. Одним словом, я вынужден подвергнуть гражданина Соловьева аресту и препроводить в районный отдел. Там мы во всем разберемся до конца.

— Карл Филимонович! Дорогой! Ты же без ножа меня зарежешь,— чуть не завопил Евсеев.—Кто у меня хлеб будет убирать? Ежели встанет единственный трактор, встанет и комбайн. Тогда уборка затянется до белых мух. Райком нам дал обязательство выполнить два плана по хлебопоставкам. А мы половину урожая в поле оставим. Разве это дело? Неужели не понятно?

— Понятно-то, может, и понятно...—заерзал толстой шеей в тесном стоячем воротнике кителя Гремучий и краешком глаза зыркнул в сторону Кнутова.

— А хотите, Егор Кузьмич, я вместе с Соловьевым попрошу у вас прощения. Хотите?—предложил Евсеев.

— Мне этого не надо!—гордо запрокинув голову, отвернулся Кнутов.—И вообще, лично я чихал на мнение всяких... Тут дело принципа.

Кажется, разбирательство завершилось и виновного в совершении крупного политического акта против партии, Советской власти и ленинского комсомола собирались увезти. Хорошо в этот момент Архаров вспомнил, кого он здесь представляет.

— Вот что, товарищи,—сказал он начальственным тоном.— Я вас внимательно послушал. И поражен. Поражен, товарищи! В такое горячее время, когда идет битва за социалистический урожай, вы убираете с поля главных бойцов. Ну, ладно, допустим, вы правы, и мы посадим гражданина Соловьева. Кто вместо него сядет за штурвал полевого корабля? Вы, товарищ Кнутов? Или вы, товарищ следователь? А ведь вы, уважаемый Егор Кузьмич, призваны обеспечить в колхозе уборку хлебов, а не бабьи свары с местным населением разводить.

— Простите, с кем имею честь?—спросил ошеломленный начальственным тоном и красноречием Архарова следователь.

— Это Лев Борисович Архаров, уполномоченный из области,—упредив Архарова, представил его Евсеев.— Очень много нам помогает.

— Если не секрет, какую организацию представляете?— не очень уверенно полюбопытствовал Гремучий.

— Вообще-то я представитель ЖЭУ. Но не только...— многозначительно поднял кверху указательный палец Архаров.

— Та-ак... Ситуация...—заерзал на стуле Гремучий и в глубоком раздумье поскреб свой наголо остриженный затылок.

— И все же я не согласен!— взвизгнул вдруг Кнутов.—Я вас, товарищ Архаров, вообще не понимаю. Вместо того чтобы защитить честь и достоинство уполномоченного района, поставить на место врагов нашей коммунистической партии и трудящегося народа, вы сами... Я это дело так не оставлю! Для меня партийная принципиальность дороже всего.

Гремучий долго размышлял, переводя взгляд с Архаров-

рова на Кнутова и наоборот, и наконец принял соломоново решение:

— Вот что. Я все-таки арестую гражданина Соловьева. Но под арестом он будет содержаться здесь, на месте. До принятия окончательного решения соответствующим руководством. Так что днем вы можете его использовать по своему усмотрению. Однако под надежной охраной. Не дай бог... то есть, коли сбежит, не сдобровать и председателю сельсовета, и председателю колхоза. Будете отвечать головой... Или,—как точнее?—головами... Согласны?

— Конечно, согласны. Куда он сбежит от такой семьи,— поспешно подтвердил Евсеев.

А Перцев лишь неопределенно крякнул.

Следователь больше возиться не стал, открыл КПЗ и втолкнул туда Соловьева, заперев дверь, ключ от замка при свидетелях вручил Перцеву. И, попрощавшись со всеми, поспешно вышел к своему тарантасу.

— Постойте! Я с вами!—побежал за ним Кнутов.—Я это дело так не оставлю. Я все лично самому Ненашеву доложу...

Оставшиеся в сельсовете все, включая и Соловьевых, облегченно вздохнули.

— Скатертью дорога!—рассмеялся Архаров.—Вот подлец, а.

— Спасибо вам, Лев Борисович,—поблагодарил его Евсеев.—Однако полагаю, Кнутов теперь наделает шуму.

— А вы плюньте на него,— посоветовал Архаров.—В случае чего все свалите на меня.

На том и разошлись. Поскольку было уже поздно, в здании, у двери КПЗ, осталась лишь Серафима, за что-то отчитывая мужа в закрытое окошко.

Выйдя из сельсовета, Евсеев прямиком потопал в правление, готовиться к наряду.

— Полагаю, вы пришли в исполком по каким-то своим делам,— сказал он Архарову.—Да, видать, мы помешали. Вы уж простите.

— Я тебя искал, председатель. Понимаешь, я там, на току, запустил вашу молотилку. Вот и подумалось, а не начать ли завтра же молотьбу? Как ты говорил, чтобы зернышки на морозе не портить. Вот это и хотел тебе сообщить.

Евсеев вроде бы даже не поверил, в возбуждении схватил Архарова за руку.

— Это истинная правда?—спросил он совсем как в детстве.

— Правда — не правда, а молотилка молотит,—подтвердил еще раз Архаров.

— Раз так... Да вы же благодетель наш, а. Хоть понимаете, от каких лишних хлопот и забот спасаете нас! Так я завтра же пошлю людей на ток. Тех, кому хотел дать наряд на скирдование. О, господи! Неужто нынче все путем пойдет? Хоть бы на семена намолотить в лучшие-то сроки.

Явно повеселевший Евсеев прибавил ходу. А Архаров завернул на свою теперь улицу. Ему и без наряда известно, чем он должен заниматься завтра.

10

Когда Архаров проснулся, солнце едва успело зацепиться краешком за небо. Сонное, покрасневшее, оно выползало лениво, как бы лишь по обязанности. Несмотря на такую рань, Марфы уже не было. Не было и серпа, воткнутого в щель рядом с косяком сенной двери. Значит, она уже в поле. А он в постели нежится. Ох уж эти городские привычки! Или вообще привычки девяностых годов? Известно же, сыта бывает ранняя птица...

Наспех позавтракав оставленными Марфой картошкой и малосольными огурцами, Архаров заторопился на ток. Здесь его уже ожидали колхозники. С полей подъезжали первые возы со снопами. Возчики — мальчишки двенадцати-четырнадцати лет — лихо разворачивали телеги прямо рядом с молотилкой.

Архаров осмотрел свое хозяйство и врубил рубильник. Электромотор тоненько завыл, набрал обороты — и молотилка заахала, застучала. Бабы, стоявшие на площадке у приемной камеры, подхватывали подкидываемые снизу ребятишками снопы, ножом быстренько разрезали жгутики и кидали в чрево машины. Когда снопов оказывалось многовато, молотилка не успевала их разжевывать и начинала предостерегающе выть, как бы давая понять, что надобно чуточку обождать. Из выходного желоба ручьем потекла в подставляемые мешки рожь. Полные мешки тут же относились на ровную площадку и высыпались. На ней женщины и ребята повзрослее орудовали деревянными лопатами: подкидывали зерна в сторону — вверх; там легкий ветерок подхватывал мякину, сор и относил их в сторону; а рожь дождем сыпалась обратно на соседнюю, очищенную кучу. Она хорошо подсохла в снопах, и после

провеивания ее сразу увозили в амбар. На ток привозил рожь от комбайна и Сова, но ее пока ссыпали под навес для просушки.

Работа пошла такая азартная, что захватила Архарова всего. И то. Ведь на глазах набиралось столько зерна, сколько он никогда в жизни не видел. Но это же не просто куча зерна. Это — будущий хлеб! Архаров так увлекся, что даже не заметил, когда стал весь черный, а его светлые брюки и куртка приобрели мышиный цвет. Впрочем, здесь так выглядели все. Кругом стояла пыль, летели плевела, мякина, сор, на зубах хрустел песок. Но на это никто не обращал внимания. Постарался не замечать неудобства и Архаров. Жаль только, нет у него сменной одежды...

Перед обеденным перерывом к нему подошел подъехавший Сова, предложил довезти до колхозной столовой.

— Тебе же кругаля придется дать,—отказался Архаров.—Ездишь-то совсем в другую сторону.

— А я на сегодня все, отработал,—сказал Сова.

— Как это?

— А так. Забрали Соловья. С поля прямиком в район «откомандировали». Так что возить мне больше нечего.

— Как это «откомандировали»? А как же комбайн? Кто теперь на нем будет работать?—возмутился Архаров.

— Откуда мне знать,—пожал плечами Сова.—Об этом пусть болит голова у начальства.

— Ты что такой равнодушный?—упрекнул его Архаров.—Разве не о вашем хлебе речь идет?

— О нашем,— согласился Сова.—Только не о моем. Думаю, это наше больше ваше.

— Однако ты философ,—не одобрил его Архаров.— А ну давай к председателю!

Услышав начальственный окрик, Сова тут же замолк и сел за руль, взял курс к правлению. Там сказали, что председатель на свиноферме. Оказалось, он давно уехал оттуда на строительство солнечного дома. Однако и там его не удалось застать, поскольку председательский тарантас «только что укатил в сторону молочнотоварной фермы». Бедный Сова уже начал проклинать себя за то, что вовремя не прикусил язык.

В общежитии доярок вовсю шло собрание. Речь держал вернувшийся из района с новыми ценными указаниями Кнутов.

— Мне сегодня утром посчастливилось лично встретиться с самим первым секретарем райкома Анатолием

Михайловичем Ненашевым,—горделиво объявил он.—Товарищ Ненашев просил напомнить славным труженикам животноводства вашего колхоза, что они являются зачинщиками широко развернутого в районе социалистического соревнования под девизом «Больше продукции на тех же кормах». Я думаю, нет нужды напоминать, что стране, под руководством партии и правительства и лично товарища Сталина успешно преодолевшей военную разруху и уверенно идущей к светлому будущему всего человечества, нужно больше хлеба и другой продукции полеводства. В связи с чем товарищ Ненашев лично просил напомнить, что вашему колхозу было дано обязательство выполнить два плана по зерну, и оно, это обязательство, воспринято вашими колхозниками с огромным воодушевлением. Товарищ Ненашев просил ускорить отправку первой в районе колонны с хлебом нового урожая в «Заготзерно». Одновременно он просил увеличить и поставки продукции животноводства, что непосредственно касается вас, дорогие товарищи животноводы.

Видно, голова Кнутова была полна штампов и клише и требовалось немало времени, чтобы он смог извергнуть их в требуемом порядке и в количестве, соответствующем значимости мероприятия. Как ни старался Архаров сдерживать себя, все же не выдержал, прервал воодушевляющую и вдохновляющую речь уполномоченного райкома ВКП(б), райисполкома и райкома комсомола не совсем, быть может, уместным и по форме, и по содержанию вопросом:

— Кнутов, ты почему остановил работу комбайна?!

Кнутов, кажется, сразу и не сообразил, о чем его спрашивают, продолжал упиваться своим ораторским искусством. Вместо него на крик Архарова мгновенно откликнулся сидевший в президиуме Евсеев.

— Что, комбайн разве не работает?—встрепенулся он.

— Соловьева арестовали и увезли в район,—сообщил уже ему Архаров.—А тут талдычат о двух планах по зерну.

— Егор Кузьмич, это правда?—обратился Евсеев к Кнутову.

— Что — правда?— наконец отвлекся тот от главной своей работы.

— Что увезли Соловьева.

— Да, руководство совершенно правильно решило, что врагам народа, кем бы они ни являлись, потакать нельзя!—назидательно изрек Кнутов.

— Если кто и враг, так это ты!— ткнул в него пальцем Архаров.

Откровенно засыпающие доярки оживились, с интересом начали прислушиваться к возникшей перепалке между двумя уполномоченными.

— А вы, уважаемый представитель области, не очень самовольничайте,— неожиданно смело возразил Кнутов.— Мне самим товарищем Ненашевым приказано проводить здесь линию райкома. Ибо она отражает линию всей партии, правительства и лично товарища Сталина. А вот чью линию отражает ваша линия? Советую хорошенько подумать об этом.

Как бы ни было, собрание пришлось скомкать, из-за чего Кнутов начал посматривать на Архарова, как на кровного врага.

— Я сейчас провожу Кнутова на пасеку. От нее он не откажется, ибо там нет свидетелей. А вечерком загляну к вам. Потолковать надобно,— шепнул Евсеев при выходе Архарову и заспешил вслед за уполномоченным района к тарантасу.

У Архарова давно уже вышло время обеда. Пришлось попросить Сову отвезти обратно на ток.

— Каков сукин сын, а?— возмущенно воскликнул он, садясь в кабину полуторки.

— Это ты о Соловьеве, что ли?— недружелюбно отозвался Сова, просидевший в кабине и потому не ведавший о только что происшедшем конфликте.

— Да нет, я о Кнутове,— махнул рукой в сторону удаляющегося тарантаса Архаров.— Вот же дубина стоеросовая. Послан помогать колхозу, а вместо этого подножки ставит.

Сова завел машину, поехал. Испытывающе взглянув на Архарова, спросил:

— Можно при тебе резать правду-матку?

— Ты бы лучше на дорогу смотрел. Не дрова везешь. А так, что ж, валяй! И только правду-матку. Чепухи я за свою жизнь наслушался во!

Архаров провел ребром ладони по кадыку.

— Не знаю, может, ты просто провокатор. Но пока меня не предал... Так слушай. Кнутов и ему подобные приезжают к нам вовсе не для помощи. Какая к черту может быть помощь от бестолочи! А приезжают они для контроля. Узнать, сколько мы, к примеру, хлеба собрали, картошки выкопали, свиней вырастили. Чтобы потом все это забрать до зернышка или хвостика. Так что не по-

мощник он, а грабитель. Вернее, наводчик. Грабители-то другие, кто повыше сидит.

— Ну-ну,— неопределенно хмыкнул Архаров.

— Что — ну-ну?!— начал распаляться Сова.—Думаешь, раз Сова живет в этой глуши, так ничего не видит и ничего не петрит? А сова, представь себе, ночью сильнее зрит.

— И что же ты узрел?

— Сказать?

— Раз начал, выкладывай до конца.

— А узрел я, что наше село, освободившись в семнадцатом от одного помещика, попало под пяту десятков и сотен помещиков. Вот смотри. Был у нас один барин — отставной штабс-капитан Мохов. Говорят, сотнями тысяч ворочал, пшеницу в Европу вывозил. И нещадно заставлял крестьян трудиться. Правда, и голодать не давал. А как же. Они ведь были его крестьяне, его работники. Силы нет — какая работа? Однако барин был хозяином лишь своего села. А возьми нашего Ненашева. У него своего вроде бы ни кола ни двора. Однако ж он хозяин всего района. Вместе с ним — и его свора, то есть весь райком, райисполком и прочие комы в горле. А ежели взять областные комы? Они ж хозяева всех районов и городов области. А комы республики? Страны? Сколько их набирается на нашего брата — у меня мозгов не хватает сосчитать. Но чую: у нас на Руси барин на барине сидит и барином погоняет. И каждому нужен кусок повкуснее, пожирнее. Раньше, говорят, сам царь жил на свои доходы, а сейчас даже физкультурный вожак Кнутов норовит на чужом горбу в рай попасть. Ты не гляди, что он такой принципиальный, что даже щи в колхозной столовой за деньги ест. Зато этой весной по приказу Евсенча я ему самую лучшую корову-рекордистку с фермы отвез. Ты бы видел, какие у Кнутова хоромы! Неужто они построены на жалованье физкультурника?

Тут полуторку тряхнуло и Сова нажал на тормоз. Одновременно, кажется, тормознул и свое настроение.

— И что дальше?—попытался завести его снова Архаров.

— А ничего!—зло бросил Сова.—Можешь везти меня в НКВД. Все одно нет больше мочи терпеть такое безобразие!

— Тогда слушай сюда!—тоже зло скомандовал Архаров.—Нечего плакаться в жилетку. Райскую жизнь тебе на блюдечке с голубой каемочкой никто не преподнесет.

Трусы вы все несчастные. Потому жить вам так еще сорок лет и больше!

От этих слов Сову аж подбросило на сиденье. Но он ничего не успел возразить, ибо машина уже оказалась на току, и Архаров выскочил из кабины, не дожидаясь остановки.

Вечером их спор неожиданно получил продолжение. Когда все пространство от горизонта до горизонта стало покрываться таинственной чадрой сумерек, Сова заявился к Архарову домой. Причем не с пустыми руками, а с литром самогона за пазухой. Марфа как раз накрывала стол, и бутылка, на взгляд Архарова, оказалась очень даже кстати. Сам он, правда, не ломал спину работой, но пылью пропитался насквозь. И если тело удалось кое-как отчистить колодезной водой, в отношении внутренностей это можно было сделать лишь одним проверенным способом.

— Я, Лева, конечно, уважаю тебя. Ты не Кнутов, не побежал доносить Гремучему аль Перцу. Но и юлить хвостом перед тобой из-за этого не намерен!—гордо заявил Сова, на правах угощающего первым опустошив граненый стакан. Хотя, кажется, он уже был навеселе.

Архаров промолчал, поскольку наполовину наполненный мутной жидкостью стакан оказался в его руке и пришлось в первую очередь заняться им.

— Вот ты сказал: «Трусы вы несчастные!» А ты знаешь, как я партизанил? Немец думал, сгнием мы там, в дрыгве под Марьиной Горкой. А мы не только выжили, а еще давали прикурить фрицу так, что его при одном упоминании о нас брала дрожь. Сам я был командиром подрывной группы. Шуровали и нажимным, и шомпольным, и шнуровым методами. Ты хоть знаешь, что такое подрывная группа? Это пять человек. Четверо охраняют с четырех сторон, а пятый — я — на полотне, подкладываю тол под рельсы. Одновременно — голову под пули. Потому как это самое лобное место. А ты трусом меня обозвал! Да у меня, хочешь знать, партизанская медаль первой степени! Когда наши вернулись в Белоруссию и мы вместе с войсками освободили Минск, нас, партизанов, побывавших в плену, всех этапом отправили в Кировскую область. Сами себе мы там лагерь построили и лес начали заготовлять. И сейчас товарищи мои, думаю, все там, ежели живы остались. А меня побили, подопросили и отпустили. Медаль спасла... Так что, Лева, не тебе судить, трус я али нет. Вы там, в своем девяносто первом годе, небось, понятия не имеете о войнах. Млеете от удоволь-

ствия в теплых сортирах. Пивцо попиваете да закусываете заморскими диковинными фруктами. На воблу, что тухнет в нашем сельмаге, и не глядите. И на селедку бочковую...

К этому времени Архаров уже справился со стаканом, закусил сочным помидором, при этом обрызгав соком грудь, и, находясь в самом благодушном настроении, примиренчески сказал:

— Что же ты тогда шапку ломаешь перед этими Кнутовыми и Пряниковыми, Ненашевыми и Гремучими? Что вы все боитесь их? Да плюньте на них с высоты монтажника и заживите по-человечески. Столько богатства создаете, а сами, извините, нищие...

— Знаешь, тебе легко говорить. Вы там, в своем девяносто первом, небось, живете, как сыр в масле, аль, скажем, как в той проклятой Америке. Я слушаю иногда, как они там «гниют», и мне, веришь, тоже хочется сплошной плесенью покрыться. Но мы — в пятьдесят первом. Не забудь это.

— Ё-мое! Вы же, Митяй, колхозники! А что такое колхоз? Я так понимаю, это коллективное хозяйство. То есть все вы — хозяева. Решите сообща, как жить — и живите так. Распоряжайтесь всем богатством сами. Если все будете, как один, стоять друг за друга, никакая сволочь вам ничего не сделает. Помяни мое слово.

— Эх-ха-ха-ай!—снисходительно вздохнул Сова, наливая по второму стакану.—Какой же ты, человек из будущего, наивный. Знаешь, какие силы стоят за спиной у наших новоявленных помещиков? НКВД, армия, суды... Они же нас моментально в порошок сотрут! Откровенно сказать, я никак в толк не возьму, почему тебе в твоем девяносто первом живется так вольготно и сытно? Интересно, какое все-таки поколение смогло сломать хребет этой проклятой власти и дать вам свободу? В ближайшем будущем лично я таких перемен не ожидаю.

Тут с улицы послышалось, как кто-то привычно крикнул: «Тпру-у!» и через минуту в избу ввалился Евсеев.

— О-о, да тут собралась компания!—воскликнул он. Чуть поколебавшись, добавил:—Если вы не против, я присоединюсь к вам.

И вытащил из карманов пиджака пол-литра «Зубровки», банку рыбного паштета.

— Об чем спор у вас?—отведав для начала остатки совиного зелья, спросил Евсеев.—Даже с улицы слышно, как вы шумите.

— Да вот, представитель области говорит, что мы не так живем,—кивнул головой в сторону Архарова Сова.

— Ну-ну,—навострил уши Евсеев.—А как надобно жить так?

Архаров после третьей стопки был смел, как лев, и еще раз, но в более сильных выражениях изложил свои мысли. После чего не удержался и Сова, слово в слово повторил свои контрдоводы. Евсеев выслушал их весьма внимательно, одновременно, откупорив бутылку, снял пробу, закусил паштетом с кончика ножа, после чего сказал:

— Знаете, товарищи, я приехал к вам совсем не для таких споров. Я приехал просить вас, Лев Борисович, выручить наш колхоз еще раз, ибо чую, что окромя вас никто этого не сделает. Однако коль скоро завязался такой философский разговор, хочу и я вставить пару слов, потому как накипело у меня тут, внутри.—Он постучал кулаком в грудь.—Знаете, мне тоже кажется, что Лев Борисович вправе обвинять нас в трусости. Но... —тут Евсеев поднял кверху указательный палец и долго держал его, пока собеседники не прониклись пониманием значимости ожидаемых слов.—Но вот какое дело, товарищи. Чтобы шить, надо протянуть через материю нитку. А чтобы ее протянуть, надо иметь стальную иголку. Такую, чтобы, понимаешь, могла и дорогу прокладывать, и потянуть за собой нитку. Нет у нас таких иголок, вот в чем вся беда. Повыбили, посломали их. Эх, нашлась бы светлая и буйная головушка...

Тут из-за закутка появилась Марфа, воскликнула:

— Иван Евсеевич, а вы сами? Рази не светлая у вас голова? Рази не буйная она? Сказывают, вы на войне два ордена Славы получили. И не зазнались вы ишшо, нос кверху не подняли. Не обижаешься, когда с тобой все на ты. Не то что предшественник твой Ненашев.

Слова Марфы несколько озадачили Архарова.

— Разве секретарь райкома из вашего села?—удивился он.— Почему тогда не очень уважает ваш колхоз?

— Да он тут всего-то без году неделю проработал,— уточнил Сова.—После какой-то партейной школы. Практику вроде бы проходил, дожидаючись нынешнего своего места. Того-то, его предшественника, сказывают, упекли без права переписки. Врагом народа будто оказался. На вид нашенский был, и говорил по-людски, не держал себя барином, а вот поди ж ты. Точно, чужая душа потемки.

— А ты не торопись осуждать его вслед за другими.

Может, статься, будет стыдно за свои слова,— хмуро заметил Архаров.

— Дак люди ж говорят. Дыма без огня, чай, не бывает.

— Люди... Если твой сосед прыгнет в колодец, и ты за ним сиганешь? Нет? То-то, свою голову надо иметь. Вон Соловьева вашего забрали. Может, и он враг народа?

— Какой он враг...—за Сову ответил Евсеев.—Тут полнейшая ошибочка.

— Ошибочка... Эх, вы! Вот меньше чем через два года не станет вашего Сталина, после этого пройдет несколько лет и к власти придет человек, который развенчает его божественный облик. И перед миром представится настоящий враг народа, который своих же, советских людей, миллионами сгубил ни за что. Посмотрим, как вы тогда почувствуете себя,—сказал Архаров.

— Вы кто, провидец?—усмехнулся Евсеев.

— Неужто такое может сбыться?—не поверил Сова.

— Свят, свят, разве можно о нашем вожде такое говорить? Лев Борисович, побойтесь бога,—перекрестилась Марфа.

— Ничего!—успокоил ее Евсеев.—По пьянке чего не сболтнешь. Мы тут все свои, не побежим фискалить.

— Про меня можете доносить куда угодно и что угодно!—вскочил расхрабрившийся Архаров.—Не боюсь я всякого дерьма — ни Кнутова, ни Гремучего, ни Ненашева, ни Сталина вашего. Они держатся лишь на вашей слабости...

Тут к нему подбежала Марфа, схватила его за локоть.

— Лев Борисович, вы, кажись, малость перебрали. Пойдем, я уложу вас,—успокаивая, как маленького, начала она оттягивать его к новой металлической кровати.

— Нет, Марфа, нет!—упрямо мотнул головой Архаров.—Не перебрал я, как раз нормалек. Просто я знаю, как все будет дальше. До самого девяносто первого года. Потому утверждаю: вы в силах облегчить свою жизнь уже в ближайшем будущем! Все зависит от желания и крепости духа.

— Крепости у нас хвата-ат!— хохотнул Сова, приподнимая стакан, но тут же замолк под пристальным взглядом председателя.

— Эх!— разочарованно вздохнул Евсеев.—А ведь я хотел с вами, Лев Борисович, о деле поговорить. Дернула же нелегкая ввязаться в философию.

— Никакая это не философия,—заступился за друга

Сова.—Лева — он пришелец из будущего. Из девяносто первого года. Он точно знает все, я ему верю.

— И ты туда же!—еще раз неодобрительно взглянул на него Евсеев.—Распустил я вас. В других колхозах за пьянство в такую пору, знаешь, что бы с вами сделали? Как будешь завтра работать-то? Не телега в твоих руках, сложнейшая техника.

— А что я, что я?!—вскочил Сова.—Я только правду сказал. Лева, покажи ему свой рубль! Покажи!

Архаров посмотрел на него, на Евсеева, на Марфу, решившись наконец раскрыть свой секрет, вдохнул и выдохнул полную грудь воздуха. Затем сунул руку в карман, медленно вынул и резко грохнул об стол. А когда убрал руку, на столе засверкала круглая, непривычно большая монета.

— Ну-кась, председатель, зри!—торжествующе крикнул Сова.—Прочти, чей это рубль, в каком годе выпущен!

Евсеев осторожно взял монету, повертел ее, то поднося близко к глазам, то отдаляя, попробовал даже на зуб. Было заметно, что монета буквально потрясла его.

— Так вы точно из будущего?!—воскликнул он наконец, словно приветствуя пришельца из космоса. Все больше раскрывая рот от всевозрастающего удивления, добавил:—Значит, вы всесильны, все можете?

Архаров расхрабрился вовсю. Такое с ним бывало, когда удавалось выпивать за раз пол-литра и более водки.

— Да, все могу!—подтвердил он. И многозначительно добавил:—Если захочу.

— Тогда позвольте высказать две просьбы. С одной я хотел к вам обратиться еще в обед, а вторая возникла только что,—сказал Евсеев.

— Слушаю!— важно подбоченился Архаров.

— Первое. Я прошу вас на время заменить Соловьева. Сами понимаете, сегодня уборка главнее молотьбы.

— Просьба принята!— согласился Архаров.—Хотя я не знаю ваших допотопных тракторов и комбайнов, думаю, разберусь, что к чему. Валяй следующую.

— Следующая — более сложная. Только, думаю, не для вас... Станьте, пожалуйста, иголкой, протаскивающей за собой нитку. Жалко мне своих людей. Работают, как лошади, а живут — сами видите... А я не в силах им помочь.

— Можно!—кивнул головой Архаров.—Можно. Если, конечно, вы и актив колхоза меня поддержите.

— Поддержим! Об чем разговор!—восторженно воскликнул Сова.—Правда, Марфушка?

Марфа словом не обмолвилась, ошеломленная, беспокойно захлопала длиннющими ресницами и тенью скрылась в своем закутке.

— Ну-с, раз так, с чего начнем?—важно окинул всех взглядом Архаров. Сам же ответил:—Начнем с того, что будем работать, будто мы здесь сами хозяева. Вообще-то так оно и есть. Но я, признаюсь, в сельском хозяйстве ни хрена не петрю. Так что, Иван Евсеевич, тут главное — ваше слово. Чтобы все слушались только вас, а не уполномоченных вшивых или даже районного начальства...

И они, распив остатки «Зубровки», дошли в смысле храбрости до высшей кондиции и с большим воодушевлением начали составлять план дальнейших действий по защите интересов трудового крестьянства от интересов нетрудовых работников околосельского хозяйства.

11

Несмотря на сильное похмелье, Архаров утром проснулся вместе с Марфой. Казалось, башку со всех сторон дубасили тупым, но увесистым...

— Ты что так рано? Отдохни еще чуток,—горячо прошептала на ухо Марфа, при этом нечаянно коснувшись его плеча тугими грудями.

То ли от этого бальзама, то ли от воспоминания вчерашнего разговора, голову тут же отпустило. Боже мой! Какой же он дурак! Такую ответственность взвалил на себя.

Архаров быстренько вскочил, в одних трусах выбежал в огород, зачерпнув из колодца ведро воды, вылил ее всю на себя, судорожно попрыгав от студеной прохлады, помчался обратно в избу. Здесь вытерся насухо, помыл лицо под рукомойником, побрился и за стол уже сел свеженьким, как огурчик.

— Лев Борисович, вам сегодня идти на трактор. Может, оденете старую одежду моего мужа? Бывшего...—предложила Марфа перед уходом.—А вашу я сегодня же выстираю. Жалко хорошее-то изводить на работе.

Совет показался разумным, и Архаров переоделся в несколько тесноватую одежду — в хлопчатобумажные штаны и ситцевую косоворотку. А кирзовые сапоги оказались как раз в пору.

— Честное слово, вылитый наш, моховский!—удовлетворенно пришлепнула ладошками Марфа.—Так вы мне кажетесь совсем, совсем родным.

Уборочный агрегат — колесный трактор ХТЗ с прицепленным комбайном «Коммунар» — стоял прямо в поле. Архаров в первую очередь осмотрел трактор. Проверил наличие топлива, искры. Двигатель, оказывается, запускался допотопным способом — при помощи «пускача». Колеса металлические. Передние — небольшие, а задние, ведущие,—большого диаметра с острыми треугольными шипами. Нет не то что кабины, даже тента над головой! А сиденье металлическое. Правда, пружинит, и с дырками, чтобы, значит, не потело внизу... Ничего себе комфорт!

Пока Архаров осваивался, прибежала Серафима. Оказывается, она работала комбайнером на пару с мужем.

Наконец Архаров вроде бы разобрался в «чудо»-технике, намотал на диск «пускача» шнур и дернул его. «Пускач» чихнул пару раз и замолк. Архаров дернул еще раз изо всей силы. «Пускач» застрекотал. Так он «пел» долго, минут пять-шесть, пока не зарокотал двигатель самого трактора. Прогрелся он быстро: все же лето.

— Поехали?!—крикнул Архаров Серафиме.

Та уже стояла на мостике «Коммунара», держась за штурвал. И хотя, возможно, не слышала, что сказал Архаров, махнула рукой: дескать, поняла, я готова.

Архаров тронул трактор с места. И зашумело, загрохотало сзади. Это от движения заработал комбайн. Когда, доехав до краешка поля, повернули обратно, ветер начал дуть в спину, и Архарова буквально засыпало пылью и мякиной. Пожалуй, этого добра здесь было больше, чем на току. Все же по мере того как постепенно увеличивалась остриженная площадь, в душе возрастало ликование, которое перебивало все неприятности.

Через полчаса подъехал на своей полуторке Сова. Пока зерно текло из бункера в кузов, он перекинулся ничего в общем-то не значащими словами с Архаровым. И то разнообразие.

— Стало быть, советуешь провеянное зерно ссыпать прямо в амбар?—спросил напоследок Сова.

— Конечно!—сказал Архаров.—Успеете сдать государству. Сначала подсчитайте, сколько нужно на семена, фураж, на раздачу колхозникам. Что останется — отвезете в это... как его... «Заготзерно». Это же так естественно.

— Ясно, естественно!—воодушевился Сова.—Никак не пойму, почему мы раньше так не делали.

...Не заметили, как настало время обеда. Догадались об этом лишь когда с очередным рейсом Совы приехала повариха, привезла еще горячие щи и чай из зверобоя. Потом опять пошла монотонная, но почему-то не надоедающая работа. Прекратилась она поздно вечером, когда Сова объявил, что больше за зерном не приедет. Архаров взглянул на часы. Ого-го! Четырнадцать часов отгрохали. Ей-ей, скажи кто в девяносто первом о таком, его бы, точно, засмеяли, как шизика... Когда полуторка отъехала, Архаров отцепился от комбайна и поехал в село, на заправку. Серафима встала сзади на прицепную подножку. Все легче, чем топать три с гаком версты после такой работы.

На краешке поля их ожидали в тарантасе подъехавшие только что Евсеев с Кнутовым.

— Молодцы!—от души похвалил председатель.—Не ожидал я, дорогой Лев Борисович, что в первый же день наворочаете столько. Может, вы раньше трактористом работали?

— Жаль, не приходилось. Но к технике тягу имею—это точно!—довольно заулыбался Архаров.

Вообще-то «за самоотверженный труд» он и в своем ЖЭУ раза два удостаивался благодарности и премии впридачу на пол-литра. Но сегодняшняя похвала Евсеева почему-то трогала куда больше.

Тем временем Кнутов занялся своим делом. Он отозвал Серафиму в сторону и заставил вывернуть карманы пиджака. Из них посыпались на землю... золотисто-серые зернышки. Правда, немного, может, по полстакана из каждого кармана, однако ж и нельзя сказать, что ничего не было.

— Ах вот как мы, оказывается, работаем!—торжествующе воскликнул Кнутов.—Вот как радеем о народном добре! Иван Евсеевич, прошу немедленно заактировать факт кражи.

Серафима лишь растерянно моргала глазами.

— Что еще тут стряслось?—подойдя к ним, громко спросил Евсеев, поскольку шум невыключенного двигателя заглушал голоса.

— Вот, полюбуйтесь, гражданка Соловьева попыталась присвоить колхозное добро. Видно, решила последовать за супругом, хе-хе,—усмехнулся Кнутов, тыча пальцем в землю, где в густой траве, вымахавшей на меже, кое-где виднелись зернышки.

— Иван Евсеевич! Председатель наш! Не губи понап-

расну! Ничего я не пыталась присвоить. Просто во время работы в карманы попали зерна. Ежели бы крала, рази столько бы я набрала?—начала объяснять очнувшаяся наконец от оцепенения Серафима.

— А-а, оправдываться вы все мастера,—махнул рукой Кнутов.—Иван Евсеевич, составьте акт на месте преступления и передадим его в следственные органы. Там разберутся. А в МТС я сам позвоню сегодня же.

Серафима тупо уставилась на Кнутова, затем вдруг резко опустилась на колени, отчаянно заголосила:

— Гражданин уполномоченный! Побойтесь бога. За что же вы меня так-то? У меня и в думушках не было желания красть. Детьми своими клянусь! Землю могу грызть перед всеми вами. Иван Евсеевич, ты же знаешь нас, Соловьевых. Мы сроду чужого даже на копейку не брали. Пожалейте хоть малышей моих. С кем они останутся. А-а...

Евсеев отвернулся от нее, взглянув на Кнутова, нерешительно потянулся к перекинутой через плечо полевой сумке.

— Иван Евсеевич, да что же ты?!—вскрикнула в ужасе Серафима и поползла на коленях к его ногам.

У Архарова больше не хватило сил смотреть на это. Он, спрыгнув с сиденья, подбежал к Серафиме, взяв под мышки, резко поставил ее на ноги.

— Никогда ни перед кем не становись на колени! Этим ты позоришь не только себя, но и мужа, и детей своих,—строго сказал он.—А ты, уважаемый уполномоченный, вон отсюда! Если еще раз увижу тебя на поле, не посмотрю, что физкультурник, шею сломаю. Чтоб глаза твои бесстыжие лишь под ноги могли глядеть. Понял? Не сметь нервировать трудящегося человека! Ты тоже хорош, Иван Евсеевич. Забыл, о чем толковали вчера? Зачем слушаешься дурачка?

— Это я-то дур...—вспылил Кнутов.—Ну, ладно, я это вам припомню. Ох, как припомню! Между прочим, я здесь свой партийный и гражданский долг выполняю. А вы все защищаете вредителей народного хозяйства. Странно это. Более чем странно... Иван Евсеевич, поехали. Чувствую я, здесь дело групповое, круговой порукой пахнет. Так что оставим пока гражданку. Мы еще доберемся до нее! До всех врагов Советской власти доберемся!

Евсеев, обрадовавшись, что хоть так можно временно погасить скандал, послушно направился к Ваське. Через минуту тарантас уже запылил в сторону села.

— Спасибо вам, товарищ представитель области,—поблагодарила Серафима.— Только чует мое сердце, все одно не сдобровать мне теперича. Все бы ничего, детей только жалко. Ведь мал мала меньше.

— Не тужи,—весело крикнул ей Архаров.—Все будет о'кей. Давай вставай на свое место. Поехали!

Поняла ли его Серафима сквозь шум мотора, нет ли, но взяла себя в руки. И черный ХТЗ со скоростью пешехода заковылял вслед за быстрым тарантасом председателя.

Однако для Архарова забота о напарнице этим не кончилась. Только заправили они трактор топливом из небольшой цистерны, наполовину врытой в землю на берегу речушки, и поставили его у колхозной кузницы, как идущая навстречу женщина крикнула:

— Серафима, у твоего старшего голодный обморок случился!

Серафима так и ахнула и тут же бегом помчалась домой. Жили Соловьевы, оказывается, недалеко от кузницы, так что Архаров видел, что забежала она в небольшой новый домик. Закончив дела, он тоже пошел туда.

Серафима уже приготовила настой из каких-то трав (настоящего чая, как заметил Архаров, в Мохове почти не пили, даже в сельмаге продавался лишь так называемый фруктовый из отходов сухофруктов) и, макая в него кусочек черного сухаря, пыталась кормить сына.

— Говорила тебе, ешь наравне с другими. Нет, не слушаешься мать,—упрекнула она при этом его. Обратившись к вошедшему Архарову, добавила:—Он ведь у меня слишком сердобольный. Ну точно отец. Все норовит побольше младшим оставлять. А сам в колхозе наравне со взрослыми вкалывает.

А сын, мальчишка лет двенадцати, уже и говорить ничего не мог, лежал на топчане, совершенно не шевелясь.

— Как же так, Серафима?—удивился Архаров.—Вы с мужем оба механизаторы. Вам, как я слыхал, платят зерном гарантированно.

— Дак ведь дом в прошлом годе поставили. В старом невозможно стало жить, зимой со всех сторон продувало. Вот и расплачиваемся до сих пор. А тут сам еще сад захотел завести. Целых три яблони, три куста вишни, две сливы посадил. Говорит, пущай хоть наши дети отведают, что такое фрукты. Пока по малости деревьев ни одного яблока, ни одной ягодки не видали, а налог платим — не приведи господь.

Архаров больше не стал толочь ступу в воде, быстренько пошел к себе на квартиру. Там собрал остатки продуктов, привезенных для него Евсеевым, и сунул сверток ничего не понимающей Марфе:

— Отнеси, пожалуйста, все это Серафиме Соловьевой.

Сам тут же отправился к Евсееву домой, резонно полагая, что в такое позднее время — ночная темень становилась все гуще — он вряд ли сидит в правлении.

Семья Евсеевых уже легла спать. Судя по храпам и сопеньям, раздававшимся из многих мест, была она немалой численности. Иван Евсеевич извинился, что не приглашает гостя в дом, накинув пиджак, в одних кальсонах вышел с Архаровым на крыльцо.

— Слушай, Евсеич, у моего комбайнера дети от голода в обморок падают,— без предисловий приступил к делу Архаров.—Не сможет Серафима в таких условиях работать.

— Предполагал я, что до этого дойдет,—вздохнул Евсеев.— Уж слишком быстро решили с долгами расквитаться. Но что делать-то? Не только у Соловьевых голодают дети. Почитай, половина колхоза живет не лучше. Хлеба нет, картошка у многих кончилась, а новая пока чуть больше орешка. Да разве только у нас, во всем районе так. А может, и в области всей. Но что делать-то?

— Как что делать? Раздать людям хлеб нового урожая.

— Но мы должны два плана выполнить!—отчаянно воскликнул Евсеев.

— Зачем? Зачем вам это? Раз в государстве плановая экономика, стало быть, всего должно хватить и при выполнении одного плана. Иначе что это за планирование?

— Эх-ха-ха-ай! Вам легко говорить. Вы тут побыли — и тю-тю. А нам век вековать. С меня же за такое своевольничание голову снимут!—возразил Евсеев.

Чего-чего, а такого заявления от председателя Архаров никак не ожидал.

— Иван Евсеевич. Ты уже забыл, о чем вчера договорились? Или слово твое мужицкое выеденного яйца не стоит?— попытался он пристыдить Евсеева.

— По пьянке чего не сболтнешь!—пробормотал тот виновато.

— Ах так!—разозлился Архаров.—Тогда я больше не работник у вас. Пускай весь урожай осыпится к чертовой матери, пускай сгниет все на корню — мне наплевать. Как можно собирать тонны зерна и держать голодными

тех, кто его вырастил? Одним словом, за благополучие вождей палец о палец не ударю. На них я достаточно гнул спину и в своем светлом будущем. Так что решай, председатель. Или у вас застопорится дело и с жатвой, и с молотьбой, или же ты раздашь людям хлеб. Думаю, при затяжке уборки потерь окажется больше, чем израсходуешь на оплату трудодней. И двойного плана тебе тогда все равно не осилить.

— За горло берете!—прохрипел Евсеев, будто и вправду надавили на его горло.

— В общем, я все сказал. Только напомню еще раз: у тебя в случае неприятностей есть прекрасное оправдание — все валить на мои указания. Вроде бы не ведаешь, кто я такой на самом деле. Так используй шанс послужить своим колхозникам. Не Кнутов же ты. Или у тебя тоже вместо сердца партбилет?

Евсеев долго сидел, вздыхая то тяжко, то облегченно, при этом то морща, то разглаживая лоб. Впрочем, в темноте этого не было видно.

— Хорошо, по двести граммов на трудодень дам,—согласился наконец не очень решительно Евсеев.—В качестве аванса.

Архаров быстренько прикинул в уме, сколько при этом выходит на сотню трудодней, и явно неодобрительно переспросил:

— Ско-олько?

— Ну хорошо, по полкило!—отчаянно завопил Евсеев.—Однако в случае чего я все на вас свалю. Как договорились. Уж не обижайтесь.

— Валяй!—весело согласился Архаров.—А вообще ты мужик ничего. Я думал, ты тоже из когорты Кнутовых-Пряниковых, Гремучих-Ненашевых.

Через день поздно вечером, уже после работы, на ток из села потянулись люди. Кто на подводе, кто просто с ручной тележкой, они быстро организовали длинную очередь. Почти как водочную в девяносто первом году. Однако эта, в отличие от водочной, продвигалась быстро. Одноногому кладовщику охотно помогали и мужики, и бабы: весело переговариваясь, наполняли мешки и клали на весы, затем так же легко перекидывали на телеги и возы. Тот только успевал записывать и подавать ведомость на подпись. Тут же гоголем ходил Евсеев, принимал от людей поклоны и благодарности, хотя, сказать честно, в душе у него скребли кошки. Было из-за чего. Вдруг раскроется, что Архаров никакой не представитель области,

а пришелец из далекого будущего. А есть ли оно, это будущее, или нет его — поди докажи. Уж очень сомнительно, что при таких условиях можно прожить благополучно еще сорок лет. Коли так, как он будет выглядеть перед районным начальством, когда афера раскроется? Вот влип в историю. И все по пьяной лавочке...

Тем временем заваривший всю эту кашу Архаров поддавал жару еще сильнее.

— Товарищи! Это только аванс!—кричал он.—А что получите под расчет — зависит от вас самих. Что наработаете, то и окажется в ваших амбарах и кладовках. И вообще, с сегодняшнего дня вы будете жить так, как сами захотите.

Еще боялся Евсеев, что после этой раздачи народ загуляет. Но не тут-то было. Утром на работу вышли даже самые отъявленные лодыри Петуховы — брат и сестра Федота Абрамовича Петухова, которые и минимум-то выполняли лишь из-за страха попасть под суд. Работа всюду аж кипела, и за день убрали хлебов почти в два раза больше, чем обычно. Вот так фокус-покус!

Однако эйфория длилась недолго. Через день в Мохово с утра заявился сам Ненашев в сопровождении Гремучего. Сразу по приезде собрал партийно-хозяйственный актив колхоза. Рассказывают, что метал он там гром и молнии, грозил всеми карами, которые вообще мыслимы. Надо полагать, при этом он явно превышал свои полномочия. И все из-за раздачи Евсеевым хлеба колхозникам, что, оказывается, равнозначно саботажу. При этом главная угроза — в случае срыва выполнения двух планов отдать под суд, похоже, была наиболее близка к реальности. Правда, Евсеев не стал доказывать, что людям нечего есть, что у них нет больше сил трудиться на благо партии, государства и лично вождя советского народа товарища Сталина. За такое можно схлопотать статью за клевету на социалистический строй. Он просто сказал, что выполнял указание представителя области товарища Архарова. Тогда Ненашев пожелал лично познакомиться с «этим таинственным представителем, о котором в райком партии неоднократно поступали сигналы». Тотчас снарядили в поле кортеж из двух тарантасов, на одном из которых восседали товарищи Ненашев, Гремучий и Прянников, а на другом менее представительные Кнутов, Евсеев и Перцев.

Архаров с Серафимой как раз вынужденно продлевали обеденный перерыв. В цилиндры двигателя плохо по-

ступало топливо, и Архаров возился с карбюратором, стараясь продуть жиклеры. Потому подъезжающий кортеж первой заметила Серафима.

— Ой, Лев Борисович! К нам едет лихо!—настороженно воскликнула она.

Архаров чуть приподнял голову, но отлучаться от дела не стал. Да и не мог, поскольку как раз начал сборку.

— Вот как мы трудимся на благо партии и народа!— вместо приветствия громко сказал Ненашев.—Молодцы! Однако у вас что-то не в порядке?

И Архаров, и Серафима в ответ промолчали, что поставило Ненашева в неловкое положение. Но тут подоспел Пряников.

— Позвольте представить: первый секретарь райкома ВКП(б) товарищ Ненашев,— странным для него елейным голосом сказал он.—А это вот — представитель области товарищ Архаров.

— Очень рад познакомиться,— буркнул Архаров, одновременно продолжая закреплять топливопровод.—Извините, пожать вашу руку не решаюсь. Боюсь испачкать.

— Понимаю, понимаю,—поспешно согласился Ненашев.—Вы — настоящий пример для нас. Другой бы воодушевлял тружеников села агитацией, а вы, так сказать, помогаете колхозу конкретным делом. Это, действительно, по-большевистски.—Тут он обернулся к Кнутову, назидательно указал:—А вам, уважаемый Егор Кузьмич, надо следовать примеру представителя вышестоящих органов. Кстати, Лев Борисович, не сочтите за бестактность, какую вы конкретно организацию представляете?

— Я-то?—на мгновение растерялся Архаров. Тут же твердо ответил:—Я — представитель ЖЭУ.

— Да? ЖЭУ, стало быть...—озадаченно нахмурил густые брови Ненашев. Вдруг обрадованно воскликнул:—А ведь нет в Верхограде такой организации!

— Как это нет?—возмутился Архаров.

— А вот так!—привычно зыкнул Ненашев, моментально обретя уверенность.—Уважаемые Иван Евсеевич, Варсонофий Абрамович, Василий Николаевич! Как же вы допустили такое? В вашем колхозе, в вашем сельсовете столько времени ошивается самозванец, а вы и в ус не дуете. Мало того, пляшете под его дудку. Как это называется, а? В лучшем случае — ротозейством. В худшем...

— Но...—растерянно развел руками Перцев.—Я ведь надеялся на Ивана Евсеевича. Он первым встречал пред... простите, самозванца.

— А мне откуда знать, что он самозванец?—начал оправдываться струхнувший не на шутку Евсеев.—Сам товарищ Гремучий встречался с ним и ничего не заподозрил.

— Чего тут знать? Видно же невооруженным глазом,— прикрикнул на него Ненашев.—Разве будет представитель области возиться с трактором? Он должен работать масштабно, мобилизовывая массы. Вот что, друзья дорогие. Иногда у незнакомых людей не грех и документы попросить. Как-никак живем в сложное время. Мировой империализм хочет задушить нас, засылает к нам шпионов и диверсантов. Не дремлет и внутренний враг. Так что...

Гремучий оправдываться не стал, просто подошел к Архарову, строго спросил:

— Попрошу ваше удостоверение!

Архаров озабоченно общупал руками карманы. Вообще-то у него удостоверение, подтверждающее его принадлежность к ЖЭУ жилищно-коммунального объединения исполкома Верхоградского городского Совета, имелось. Но был Архаров, если помните, в одежде погибшего супруга Марфы. Однако — молодец Марфа!—удостоверение оказалось в заднем кармане брюк. Видно, при смене одежды оно было переложено. Воспрянувший духом Архаров смело вынул его, раскрыл, при этом изрядно испачкав и так не первой свежести корочку, и протянул Гремучему:

— Вот, пожалуйста, будьте любезны убедиться.

Тот осторожно, словно не веря в реальность увиденного, взял документ в руки, прочитал вслух:

— «Исполком Верхоградского городского Совета...» Тут испачкано... «Товарищ... является...» Опять испачкано... Однако есть удостоверение-то! Правда, не совсем ясно, кем является товарищ Архаров, но является — это точно, поскольку имеется круглая гербовая печать. Так что извините, товарищи, следователь райотдела НКВД тут ни при чем.

Довольный тем, что оправдался, Гремучий торжественно вернул Архарову удостоверение и четким строевым шагом отошел в сторону: дескать, дальнейшее разбирательство — дело ваше. Ненашев же, наоборот, задергался, начал переминаться с ноги на ногу.

— Вот ведь...—виновато пробормотал он.—Вы уж, уважаемый Лев Борисович, простите, что так нескладно получилось. Докладывали мне о вас такое, черт те что подумаешь. Вплоть до того, будто скорую смерть нашему вождю и благодетелю предрекаете.—Тут он пронзил Кну-

това уничижительным взглядом, отчего тот съежился, как огурец позапрошлогодней засолки.—Однако некоторые ваши действия мне действительно, как бы это выразиться, не совсем понятны. К примеру, вы пытались защитить врага народа... как его...

— Соловьева,— подсказал Гремучий.

— Да, вы пытались защитить врага народа Соловьева.

— Какой же он враг народа? Господи!..—вырвалось у Серафимы.

Архаров подошел к ней, развернул на сто восемьдесят градусов и легонько подтолкнул в спину. Понятливая женщина, обессиленно ступая старыми лаптями по стерне, поплелась к своему комбайну.

— Не знаю, какой он враг, этот ваш Соловьев,—сдерживая себя, сказал Архаров.—Но мне из-за его ареста пришлось сесть на трактор. Прошло несколько дней, а из МТС другого тракториста так и не прислали. А мне, как вы изволили заметить, надо заниматься масштабными делами. Хотел бы я знать, кто пытается мне мешать в исполнении своих функций.

— Хм... Да...— только и смог ответить Ненашев.—А вот что совсем непонятно, так это ваше указание о выдаче колхозникам хлеба. Ведь в постановлении ЦК и Совмина ясно сказано, что прежде всего надо заполнить государственные закрома. Сам товарищ Сталин неоднократно указывал, что план — это закон.

— А два плана — два закона?—съязвил Архаров.

— Ну, это обязательство самого колхоза...

— О котором колхозники слыхом не слыхали... Неужели вы всерьез полагаете, что крестьянин с пустым желудком способен наполнить бездонные государственные закрома?

— Однако выраженьица у вас...—пробормотал Ненашев, снимая шляпу и вытирая узкий лоб платком не первой свежести.—Народ, конечно, тоже надо кормить. Но крестьянин — он ведь на земле живет, найдет себе пропитание. А постановление прямо указывает...

— Постановление постановлением, есть еще инструкция по его осуществлению,—заметил Архаров, даже не моргнув глазом.

— Да, есть. Но там нет ничего такого. И в обкоме нам говорили...

— Вы читали самую последнюю инструкцию?—раздраженно перебил его Архаров.—Нет? Тогда почитайте. А мне некогда травить с вами баланду. Вот если бы вы

отпустили Соловьева и освободили меня от этой грязной работы. Кстати, товарищ Гремучий, вы хоть понимаете, что, арестовав тракториста в разгар уборки урожая, наносите вред авторитету партии и государства? Так что еще вопрос, кто на самом деле является врагом народа. Лично я расцениваю ваш поступок как явный саботаж и обязательно доложу об этом в Верхограде.

Невозмутимости Гремучего как не бывало.

— Я арестовал гражданина Соловьева по указанию райкома партии,—начал он оправдываться.

— Не болтайте чепухи!—возмутился Ненашев.— Я лишь попросил проверить донесение своего уполномоченного. А мера пресечения — это ваша прерогатива.

— Я тем более не требовал ареста. У меня для таких указаний вообще нет полномочий,—в свою очередь заметил Кнутов.

— Хорошо, с этим мы разберемся,—вынужден был обещать Ненашев. Тут же многозначительно добавил:— И вообще... придется выяснить многие вопросы. А пока, действительно, не будем вам мешать.

Он грузно повернулся мясистым крупным телом и, недовольно поглядывая на своих спутников, потопал к тарантасу. За ним по служебному ранжиру последовали и остальные. Евсеев, вздохнув облегченно, подмигнул Архарову и замкнул колонну. Архаров же тем временем завел трактор и, привычно махнув уже стоявшей за штурвалом комбайна Серафиме рукой, повел агрегат дальше. На отъезжающие тарантасы, на поднятые ими клубы пыли он даже не обратил внимания.

12

В последнее время ночи стали бурными. Однажды согрешив, Марфа как бы раскрепостила себя. Она отдавала невесть откуда свалившемуся на голову, но почему-то с каждым днем становящемуся все желаннее Архарову всю накопившуюся за военные и послевоенные годы любовь. А накопилось у ней немало, да и сама она оказалась женщиной весьма темпераментной, так что устававшему за день до чертиков Архарову помогало лишь то, что любовь им тоже не была растранжирена. Разумеется, по совершенно далеким от моральной устойчивости причинам... Так что когда где-то после полуночи он наконец отваливал от Марфы, моментально погружался в глубокий сон,

от которого рано утром освобождался лишь после ее довольно-таки бесцеремонной встряски и шлепков по округлому месту. Честно говоря, Архаров, испробовав неожиданно для самого себя прелести супружества, начал уже ужасаться при мысли, что так вот придется провести всю оставшуюся жизнь. Успокаивало то, что он в общем-то не намеревался весь век ишачить в колхозе, полагал, что нынешний его порыв — лишь прихоть дурного характера. Да и связывать себя путами супружества официально он не собирался. Еще чего! Это ведь, помимо всего прочего, означало бы, что путь назад, то есть вперед, закроется навсегда. Не-ет, Архаров на это не согласен, он вернется в свой девяносто первый или какой там окажется год во что бы то ни стало. Вот наведет здесь кое-какой порядок, докажет лысому «королю», что и без него Земля вертится — и вернется.

Однако в эту ночь Архарову не пришлось погрузиться в желанный сон даже после полуночи. Только он отвалил от Марфы, как тут же кого-то принесла нелегкая и в калитку довольно-таки бесцеремонно постучали. Молчание не помогло. Через минуту стук повторился, причем еще сильнее и настойчивее.

— Может, Петух это?—забеспокоилась Марфа.—Хотела в следующее воскресенье на базар съездить, продать даденный вами хлебушек. Неужто до этого нельзя подождать?

— Хочешь заплатить за заем? И не вздумай, смотри у меня. Не для этого вам раздали хлеб,—тут же одернул ее Архаров.

А в калитку продолжали стучать прямо-таки нахально.

— О, черт! Придется выйти,—пробурчал Архаров и, сунув ноги в галоши, в одних кальсонах из сундука Марфы пошлепал во двор.—Кто там?—крикнул, не скрывая раздражения.

— Это мы!—дуэтом раздались мужской и женский голоса.

— Кто это — вы?

— Да Соловьев я! С супругой Серафимой,—крикнул мужчина.

Злости у Архарова как не бывало.

— Что, отпустили тебя?—обрадовался он.

— Отпустили вот. И мы прямиком к вам. С благодарностью.

Как не открыть таким людям... И в доме Марфы в эту ночь до самого рассвета горела лампа, а под утро даже

раздались протяжные русские песни. Что поделаешь, «благодарностью» Соловьевых была до горлышка наполнена аж целая четверть.

— Лева, братишка! Ты меня спас! Ты не только меня всю мою семью спас. Я твой должник по гроб жизни!— не раз повторял возбужденный Соловьев, при этом бережно прижимая к себе исхудавшую, как спичка, Серафиму.

— Алексей! Леха! Слушай сюда. Пора кончать надеяться, что какой-то добрый дядя спасет вас от неприятностей. Я знаю все, что будет аж до девяносто первого года. И скажу откровенно: все эти господа, начиная от Ненашева и его верного пса Кнутова, скоро потеряют силу. Потому как вашему генералиссимусу уже светит красный. И тем не менее к власти будут приходить сукины сыны, которые, даже имея иногда благие намерения, конкретно ничего путного для народа не сделают. Почему? Потому что слабаки вы, позволяете командовать собой таким бездарностям,—наставлял его между тем Архаров.

— Что мы можем сделать? Мы люди маленькие,—жаловалась Серафима.—Вот нашлись бы смельчаки, повели бы нас.

— Если я поведу? Один мне уже предлагал стать иголкой, протягивающей за собой нитку. Так пойдете за мной?—после очередной стопки совсем осмелел Архаров.

— Я сказал: за тобой в огонь и воду!—подтвердил Соловьев.—А что?— оглянулся на ущипнувшую за бок Серафиму.—Меня рано или поздно все одно упекут. А так, пока с тобой, буду на свободе.

И опять наливалась стопка, шла по кругу.

— Послушайте, мужики, ведь скоро на работу,—напомнила наконец Марфа на правах хозяйки. В последнее время и так раздобревшая, после двух-трех стопок она просто пылала здоровьем и красотой.—Ежели опоздаем, могут и засудить. Времечко-то горячее.

— Елки-моталки, точно, мне ведь скоро в поле,—забеспокоился Архаров, вообще-то мало что уже соображавший.

— Лева! Братишка! Не волнуйся. На трактор я вернусь сам,—успокоил его Соловьев.—А Марфа права. Ты извини нас, Марфа. У нас с Серафимой сегодня такая радость, что мы просто ошалели от счастья. Если бы ты знала, что такое камера и милиция. Хотя не приведи господь испытать такое. Однако пошли, Серафимушка моя

дорогая. Нижайший наш поклон тебе, Лева, еще раз...

Посидели они еще чуток или тут же ушли — Архаров не помнил, поскольку в этот момент наконец-то погрузился то ли в сон, то ли просто в забытье. А кончилось все, как и в своем прошлом, девяносто первом году, тем, что Архаров сорвался и, как говорится, не просыхал в течение нескольких дней. Угощали его и Соловьевы, и Сова, и Евсеев, и многие сельчане, увидевшие в нем силу, на которую в случае чего можно положиться. Уж очень хотелось им иметь такого всемогущего человека. А известно, боги и кумиры возникают из людских желаний...

Пришел в себя Архаров глубокой ночью от того, что кто-то мокрой тряпочкой упорно вытирал ему лицо, шею, грудь. Ощущать это было крайне неприятно. Аллергия к таким «душам» осталась еще с первых попаданий в вытрезвитель.

— А-а-а-а!— грохнул Архаров своим знаменитым рыком, ошарашив не только Марфу, в очередной раз наклонившуюся к нему с примочкой в руке, но и Гремучего, который со страху неуклюже привстал с лавочки и опрокинул ее. Впрочем, следователя Архаров заметил гораздо позже. Пока он услышал лишь испуганный голос Марфы.

— Лев Борисович! Встаньте, пожалуйста. К вам приехали. Лев Борисович, да проснитесь же!..

— Кто? Зачем? Пошли они все к чертовой матери!— крикнул Архаров и повернулся на другой бок.

— Но это из района. Следователь...

Последнее слово подействовало. Архаров сел, развернувшись, спустил ноги на пол, тупо уставился на Гремучего:

— Ну?!

Тот уже пришел в себя, надменно объявил:

— Гражданин Архаров или как вас там... Я уполномочен задержать вас и препроводить в районное отделение для выяснения личности.

Архаров от ночной прохлады вздрогнул всем телом, встряхнул ничего не понимающей головой, затем встал, оделся, еле попадая ногами в штанины, а руками — в рукава.

— Постой, а на каком основании я подвергаюсь аресту?— спросил он, наконец придя в себя.

— Не аресту, а задержанию,—мило улыбнулся Гремучий.

— Хрен редьки не слаще,—отпарировал Архаров.—Так в чем дело-то?

— А в том, что придется, повторяю, выяснить вашу личность и некоторые обстоятельства,—с прежней улыбкой сказал Гремучий.

— Какие? Конкретнее можно сказать?

— Во-первых, кто вы и откуда. По заданию товарища Ненашева я кое-что уточнил и узнал, что в Верхограде никакого ЖЭУ нет. Как нет и жилищно-коммунального объединения исполкома горсовета. Есть просто контора коммунального хозяйства при исполкоме...

— Ну и что?—перебил Архаров следователя.—Город растет, в нем все больше и больше строится государственных квартир со всеми удобствами. И контору эту переименуют в отдел, и не коммунального, а жилищно-коммунального хозяйства. Затем, когда город вырастет еще, это уже будет называться управлением. А после — и объединением.

— Издеваешься?—оскалил зубы Гремучий.— Ну-ну... Только учти: я все это тебе припомню. Все-все! И очень скоро... Так вот, во-вторых, даже в этой пока еще конторе нет ни одного работника по фамилии Архаров. В-третьих, у такой конторы нет прав представлять не то что область, даже город, соответственно, она не может посылать к нам никаких контролирующих уполномоченных или иных представителей. Короче, вы обвиняетесь в самозванстве, в подделке документа, в действиях, направленных против партии и государства, на подрыв социалистического строя, в дискредитации личности главы партии и государства товарища Сталина, в религиозной пропаганде, выражающейся в постоянном обращении к богу.

— Ого-го!—воскликнул Архаров.—Не слишком ли много для одного? Я, конечно, очень способный человек, но не до такой же степени. К тому же, учтите, это все придется доказать.

— Есть свидетели,—спокойно сказал Гремучий и, широко растворив дверь, крикнул в сени:—Товарищи, прошу вас, заходите сюда!

При тусклом свете лампы показались Пряников, Перцев, Петухов и Сова.

— Вам знакомы эти люди?—спросил Гремучий у Архарова.— Они и свидетели, и понятые. И докажут все, что надо, будьте уверены.

— Нет, я только водитель!—уточнил Сова.—Мое дело — отвезти вас куда надо. И все...

— Ну что ж! Без сопливых обойдемся,— ухмыльнулся Гремучий.—А теперь приступим к обыску.

— К какому обыску?—заволновалась молчавшая до сих пор Марфа.—У него вещей-то... Что на себе — и все. А вы из-за этого весь мой дом хотите перевернуть?

Гремучий будто и не слышал ее, с помощью Петухова начал ворошить нехитрый скарб Марфы. Архаров, стараясь держать себя в руках, отошел к Сове, встал рядом и абсолютно безразлично начал наблюдать за происходящим.

— Ты, что ли, отвезешь меня?— спросил у Совы.

— Если поедешь — я,— ответил тот хмуро. Еще добавил:—А говорил, что надо жить по желанию. Как же, дадут они... Даже ты, человек из будущего, пикнуть против них не смеешь. Я не в осуждение. Все понимаю...

Обыскивающие уже обшарили запечье, подошли к сундуку.

— Не трогайте сундук!—вдруг воспротивилась Марфа.—Там только мужнины и мои вещи.

Гремучий, поняв, что попал впросак, что здесь не только компрометирующих Архарова вещей, а кусочка самой обыкновенной газеты не найти, махнул было рукой, но тут неожиданно на продолжении обыска начал настаивать Петухов.

— Гражданка Шереметьева постоянно уклоняется от государственного займа, с опозданием платит налоги. Давайте посмотрим, так ли она бедна. Может, в сундуке хранятся вещи, вполне пригодные для сдачи на комиссию?—сказал он деловито.

— Вы же не меня обвиняете! —взмолилась Марфа.

— Не имеет значения!—отверг ее просьбу Гремучий.— У налогового агента есть все основания, чтобы осмотреть ваши личные вещи. Государство надо уважать!

Марфа беспомощно оглядела всех по очереди и опустилась на лавку, тихо заплакала. Этого уже Архаров выдержать не мог. Он в два прыжка подскочил к открытому сундуку и резко прихлопнул дверцу, прищемив при этом кисть Петухова так, что тот от боли аж подпрыгнул и запел неоперившимся петушком.

— Не сметь трогать сундук! Не сметь обижать ни в чем не повинную женщину!—крикнул Архаров.

— Все, вы уже откомандовались. Так что молчите в тряпочку!—злорадно прикрикнул на него Гремучий.—Лучше собирайте-ка свои монатки! Да сухарей побольше прихватите.

Сова испытующе и, показалось, с горькой иронией посмотрел на Архарова. К тому же с похмелья сильно болела голова. Это раздражало.

— Собирайтесь-ка лучше вы! — скомандовал Архаров.— И уматывайте отсюда, пока целы. Ублажили душонки свои поганые — и хватит!

— Да он просто пьян!—на всякий случай отойдя от Архарова подальше, воскликнул Петухов.—Мало того, что нанес мне телесное повреждение, еще и другим угрожает. Его надо привлечь к ответственности за хулиганство!

— За хулиганство тоже привлечем!—пообещал Гремучий.—А пока выводите его к машине.

— Только попробуйте. Переломаю и руки, и ноги!— тихо пригрозил Архаров и вдруг рыкнул так, что стекла задрожали.

— Мамочка!— в ужасе взвизгнул Пряников и присел там же, где стоял. При этом штаны его почему-то сразу стали мокрыми.

А Петухов молнией вылетел за дверь, стукнувшись в темных сенях об что-то, выругался знаменитым своим матом.

— Ах так!—рассердился Гремучий.—Ну-ка свяжите его! Да не бойтесь вы, четверо одного, что ли, не уломаем. А ну, закрутите ему руки за спину, а я наручники одену.

Перцев с Пряниковым нерешительно начали продвигаться к Архарову, а Сова даже не шелохнулся, хотя за происходящим наблюдал с явным любопытством. Архаров не стал дожидаться, когда нападающие повиснут на нем, резко подпрыгнув, вначале схватил за руку Перцева и, размашисто развернув, откинул в открытую дверь. Вылетев из избы вслед за Петуховым, Перцев тоже не стал возвращаться, затих в темноте. Тем временем Архаров и Пряникова таким же макаром выкинул из избы, благо историк был человеком щупленьким, к тому же держался интеллигентиком.

— Ах ты, сука!—возмутился Гремучий.—Ну погоди-и! За сопротивление представителям власти припаяем тебе дополнительный срок, будь спок! А ну, марш на выход!

Он, хоть и был здоровее других, испытывать судьбу в рукопашной схватке не стал, вытащил из кобуры пистолет и направил его зловещий зев на Архарова. Дело принимало солидный оборот. Пришлось поднять руки и, повернувшись спиной к следователю, выйти из избы. Но как только Архаров сделал шаг в сторону от двери, тут же оказался в темноте, а идущий следом Гремучий был

еще виден весь как на ладони. Воспользовавшись моментом, Архаров мгновенно схватил его руку с пистолетом и сильно стукнул о косяк, отчего оружие отлетело в темноту, а сам следователь даже ахнул от неожиданной боли. Архаров не стал дожидаться, когда он опомнится, для верности поддав ему еще ногой под дых, взял за шкирку и выкинул во двор.

— Эй, вы, дворняжки, марш следом! Иначе уйдете отсюда инвалидами!—крикнул после этого в темноту.

Перцев с Пряниковым не заставили упрашивать, через полминуты оказались во дворе. Там они взяли представителя власти под мышки и благополучно дотащили до стоявшей на улице полуторки. Кстати, ни в сенях, ни во дворе, ни на улице Петухова уже не было видно. Похоже, он умел не только мастерски матюкаться, но и резво бегать.

Тем временем Архаров вернулся в избу, скомандовал Сове:

— Увези их быстрее! И нечего зубы скалить, не в цирке.

После чего, прогибая своим шестипудовым весом половицы, потопал к постели и тут же свалился замертво досыпать свой сон. Он уже не слышал, как отъехала машина, как Марфа, проводив непрошеных гостей, которые, как известно, хуже татарина, заперла за ними дверь на засов и долго сидела рядом с ним, любуясь его крепким мужским телом и одновременно постанывая и тяжко вздыхая от предчувствия недоброго.

Архаров в это время попал в другой мир, где снова встретился со своим знакомым «королем» в образе Большого Председателя. Тот смотрел на него иронически, хитро прищурив продолговатые глаза. Ну совсем как Сова.

— Что, влип?—спросил он.— А ведь ты еще и не начинал перестройку. Что стало бы, если б ты взялся осуществлять ее на полном серьезе? И не в одном селе, не в одном районе, даже не в области, а по всей стране. Признаешь теперь, что в первом споре со мной просто спорол горячку? Проси у меня прощения и можешь возвращаться в девяносто первый год. Я сегодня добрый, только что амнистию самым злостным преступникам подписал. Впредь заруби на носу: государственные дела — это для профессионалов. А твоя рабочая обязанность — вкалывать на своем месте. И тогда мы все будем жить достойным каждому образом. Только труд сделает нашу жизнь полнокровной. Только труд даст и колбасу, и одежду, и обувь, и

квартиру. А не болтовня о демократии, свободе, гласности и тому подобной чепухе. Пора вам, людям, понять: никто из нас, королей, не желает своему народу плохого. Мы все за то, чтобы он жил достойно. Но для этого прежде всего надо трудиться, трудиться и трудиться. Чтобы сделанного хватало и тем, кто делает.

— Почему тогда моховцы живут в такой нищете?—не согласился Архаров.—Они же трудятся, как каторжные. С раннего утра и до поздней ночи. Ежедневно.

— Ну... это когда было,—возразил «король».—Тогда, конечно, много напортачили. Сейчас совершенно другое дело. Мы дали народу множество новых законов и указов. Сказали: «Берите власть и действуйте. Никто вам не помеха». Чего еще надо? Пора нáчать деловую жизнь.

— Выходит, во всех своих невзгодах виноват я сам, электрик ЖЭУ? И в том, что живу в хреновушке... то есть, в комнатушке общежития для малосемейных. И в том, что ни одно свое изобретение или даже рацпредложение не смог внедрить. И в том, что приходится хлестать антифриз из «Волги» Большого Председателя. Интересно, а чем прославился ты сам? Неужто в тысячи раз больше меня вкалываешь? Что-то я не заметил этого на даче.

— Как ты все упрощенно понимаешь!—снисходительно сказал «король», кривя тонкими губами (разводить руками он не мог, поскольку они были обрезаны по локоть).— Я ведь тот, кто управляет народом. В цивилизованных странах, знаешь, как ценятся такие люди. Почему Большой Председатель должен жить хуже, скажем, своих американских коллег? Зарплату, конечно, ему нельзя давать такую же большую. Нас бы неправильно поняли. Взамен этого вынуждены предоставлять кое-какие льготы...

— А почему тогда я должен жить хуже своего американского коллеги?—отпарировал Архаров.

— Ну, знаешь...—начал раздражаться «король».—Я вижу, ты еще не перевоспитался. Что ж, поживи пока в Мохове, продолжай доказывать свою правоту. Замахиваешься на государственные проблемы, а мы посмотрим, как проведешь перестройку в одном колхозе. Только предупреждаю: сдается мне, по тебе тюрьма плачет. Ты ведь уже конфликтуешь с властями. Да, не с того ты начал, не с того...

— Накаркать и ворона может,—обиделся Архаров.— Однако мы с вами находимся в разных весовых категориях. Ты — король. А я — никто в этом пятьдесят первом. Даже, оказывается, и не электрик, раз нет в Верхограде

ЖЭУ. И вообще, трудно мне сейчас, тяжело. Помог бы хоть чуток. Критиковать все мастера.

«Король» долго что-то прикидывал в уме, затем без особого энтузиазма сказал:

— Критику частично принимаю. Хорошо, обещаю помочь разок. Только в меру. Потому просьбу обдумай хорошенько и без особой нужды не высказывай. У демократии тоже есть предел. И напоминаю еще раз: вернуться ты сможешь в свою хреновушку... тьфу ты!.. комнатушку лишь после того, как признаешь свое поражение. Я человек очень принципиальный, учти это!

То ли расстались на том, то ли Архаров просто не помнит остального.

Проснулся или пришел в себя он поздно. В голове сверлило, в желудке тошнило, во рту воняло, в глазах двоило. Короче, было привычное тяжелое похмелье. Марфа, естественно, давно ушла на работу. Приходилось искать способы «лечения» самому. Поскольку, как помнилось, четверть вчера вся была опорожнена, полагаться на домашние возможности не имело смысла. Так что пока оставался колодец. Куда Архаров и пошел. Но что это? Подойдя к колодцу, он не поверил своим глазам: в тазу с холодной водой — о чудо!—как снаряды в танковой башне стояли по кругу бутылки с пивом. Ай да Марфа-а! Ай да молоде-ец! Надо же, сообразила, что самое главное для мужика, когда он с сильного похмелья. Однако... где она могла достать казенного пива в такую рань? Ведь чуть ли не с рассветом ушла на работу. Выходит, это — забота какого-то доброжелателя... Хотя об этом ли сейчас голову ломать? Недолго думая, Архаров открыл об краешек колодезного сруба сразу две бутылки и с горла по очереди начал тянуть в свое удовольствие. Пиво оказалось ядреным, сразу ударило в голову. Умеют же в пятьдесят первом варить его. Никакого вина не надо... Архаров начал изучать этикетку. «Адмиралтейское». Одиннадцатипроцентное. Дата выпуска... Постой, дата выпуска — двадцать второе августа тысяча девятьсот девяносто первого года. Не может быть! Архаров в растерянности посмотрел вокруг. Да. Стоит он в огороде Марфы, в этом задри... то есть, запущенном Мохове и, по всему видать, в пятьдесят первом году. Стало быть... Стало быть, так помог ему ночной собеседник.

— Сукин сын! Ты, король ростовский, хрен московский!—в ярости крикнул Архаров.—Ты думаешь, такая мне нужна помощь? Так ты ошибся, всезнающий. Русский

человек ради дела не только пивом, даже водкой может пожертвовать!

Он опрокинул весь таз с бутылками, растаптывая их, подошел к колодцу, вычерпнул ведро студеной воды и вылил ее себе на голову.

— Так что тебе конкретно надо?!—раздался вдруг откуда-то с небес трубный глас. Голос «короля»...

Архаров поднял голову кверху, но никого не увидел. Только солнце нещадно слепило глаза да две белые овечки тихо раскачивались около него.

— Проси, пока я добрый! Помогу только раз!—напомнил «король».

Архаров спешно зашевелил мозгами, благо двумя бутылками пива все-таки успел их немного освежить. Так, что же будет для него, для начатого дела самым опасным? Впрочем, об этом ли сейчас голову ломать? Ведь заберут его, «король» это верно подметил, и дела никакого больше не будет. Выходит, в первую очередь следует заботиться о себе. Так, что лично ему грозит? Соответственно, от чего придется защищаться? От ареста? Раз так, надо попросить автомат Калашникова, чтобы отстреливаться от милиционеров. Но затем могут приехать на бронетранспортере. Или даже на танке. Тогда, может, нужен гранатомет в придачу? А если из пушек начнут палить по избушке Марфы? Или на все Мохово авиацию напустят? Выходит, реактивные минометы и ЗУРы придется просить? Нет, не то все, не то. Одному со всей армией не справиться. Обучить бы сельских мужиков применению новейшей военной техники — так Архаров и сам-то, прослужив два года, кроме стрелкового, никакого оружия в глаза не видел, поскольку был радиотелеграфистом. Вот если бы иметь что-нибудь сказочное. Или фантастическое... Стоп! Это мысль! Точно, надо претворять в жизнь фантастику. Так, какие же виды оружия были в прочитанных в юности фантастических романах и повестях?..

— Что молчишь? Или тебе ничего уже не надо? Решил признать свое поражение и вернуться?—опять раздался голос Большого Председателя.

— Нет! Ни в коем случае!—мгновенно ответил Архаров.—Я еще поборюсь за правое дело. Я докажу! Если ты сдержишь слово и исполнишь мою просьбу.

— Сказал же... Только учти: не вздумай просить что-то сверхъестественное. Такого я и сам не имею. Имел бы, о-о!.. такую жизь вам устроил, что ты не согласился бы остаться в пятьдесят первом даже на золотой цепочке.

— Я все понял!—перебил его Архаров.—Я прошу лишь о маленьком одолжении — прислать мне некоторые мои вещи: набор гнутых зеркал, электрические лампы пятисотватные и микрокалькулятор. Зеркала и лампы лежат в сарайчике, а микрокалькулятор —в столе. Как видишь, ничего сверхъестественного. И ничего чужого.

— Хочешь наукой заняться? Осчастливить моховских мужиков математическими головоломками, а женщин — зеркалами? А лампы куда, на улицу перед своей хатой повесишь? Ха-ха-ха, странное, однако, желание,—рассмеялся «король».—Так государственные дела не решаются. Лучше признай свое поражение и вернись домой. Мы же твоему образу жизни не противники, ибо такой ты и нам не мешаешь.

— Ты можешь мне прислать мои вещи или не можешь? Нет — так нечего переливать из пустого в порожнее. Только в таком случае мое поражение зачтется тебе,—пригрозил Архаров.—Потому что нечестно отправлять человека почти голым куда-то в Тьмутаракань и требовать от него чуть ли не всемирной перестройки.

— Все, что проснешь, сегодня ночью окажется у тебя,— пообещал «король» и смолк.

— Вот и ладненько,— пробормотал Архаров.—А теперь попьем пивца, раз оно тут появилось. Может, осталось несколько целых бутылок.

Он вернулся к тазу. Вот тебе на! Не видно ни целых, ни разбитых бутылок. Да уж, теперь не приходится сомневаться, что безрукий «король» поможет ему лишь один-единственный раз. Так что в дальнейшем придется рассчитывать только на себя.

Впрочем, эта проблема волновала Архарова недолго. Видно, оттого что солнце припекало вовсю, голову снова начало распирать. Казалось, она вот-вот расколется на черепки. Хоть растопырь пальцы и придерживай. Надо было принять экстренные меры по доставанию «Экстры». Вспомнив, что у него есть теперь кое-какие денежки, Архаров, недолго думая, направился в сельмаг. Но до магазина не дошел, что, как показали последствия, оказалось его большой удачей, ибо помогло подлечиться, не транжиря свои финансы.

Подходя к дому Совы, Архаров увидел стоявшую перед ним полураздетую полуторку и торчащие из-под нее ноги в знакомых кирзачах.

— Опять барахлит? —вместо приветствия спросил Архаров у обладателя ног.

— Барахлит, хрен бы ей в задницу...—смачно выругался Сова и по случаю прихода товарища ужом выполз из-под машины перекурить.—Ночью отвез твоего благодетеля Гремучего. Не зря говорят шофера: не сажай гада, машина зачахнет от смрада. На обратном пути кардан застучал! Еле доехал. Хорошо хоть только крестовина полетела. В одном месте яму проглядел. Ночь же была. Тряхнуло так, что думал, вал погнул. Слава богу, вроде не задел его. Только вот где крестовину достать?

— Неужто ни одной нет в запасе?

— Только старые!— безнадежно махнул рукой Сова, закуривая папиросу «Север».

— Так давай переберем их,—предложил Архаров.— Возьмем сохранившиеся лучше крест и стаканчики. Шарики обычно не изнашиваются, а хоть один нормальный крест да две пары приличных стаканчиков, может, найдутся. Так что одну-то крестовину, думаю, все равно соберем. Хотя бы на время.

— Да?—повеселел Сова.—Ох и башка у тебя. Настоящий Дом Советов.

— Только с пустыми кабинетами. И во всех сегодня сквозняк...

Намек был понят с полуслова. Сова посмотрел на свесившийся одним концом на землю карданный вал, вздохнул:

— Ну ее к черту, железяку эту. Все одно, кажись, мне на ней больше не ездить. Пойдем, попробую подлечить тебя. Есть у меня кое-что, ежели, конечно, городской твой желудок примет...

«Кое-что» оказалось пшеничной бражкой. Сова сцедил ее в чашку, оставшиеся в сите зерна пустил обратно в чан, объясняя, что сгодятся для порося. Так от пшеницы получалась как бы двойная польза. Действительно, голь на выдумки хитра.

На вид не очень привлекательная светло-коричневая жидкость пилась на редкость приятно. И после двух алюминиевых кружек в голове защекотало, по всему телу начала расходиться теплая благодать. Можно было переходить к дружественной беседе.

— Митяй, почему ты сказал, что тебе больше не ездить на своем драндулете?— спросил Архаров, смачно разжевывая обмакнутую в соль головку лука.

— Да так... Кажется, загребут меня в следующий раз вместе с тобой,—отрешенно вздохнул Сова.

— Во-первых, почему это меня загребут? Во-вторых, почему и тебя вместе со мной?

— Ну, тебе-то, Лева, теперь точно век свободы не видать,—ни на йоту не сомневаясь, сказал Сова.— А я... Понимаешь, кто-то опять на меня телегу накатал. Дескать, предателем был, добровольно сдался немцам. Чувствую, это Перец копает под меня. Давно метит своего зятя на мою полуторку. Как-никак, работа в колхозе не из худших... Вот и предупредил меня вчера Гремучий, чтобы я, значит, в оправдание свое подготовил документы, свидетелей. А какие у меня документы? Единственный — удостоверение к медали. Раз оно спасло меня. Но фортуна вряд ли улыбнется вторично. Гремучий говорит, медаль могли дать по ошибке, не разобравшись второпях. А свидетели — их давно пересажали. Кого теперь найдешь...—Вдруг он сменил пластинку, спросил неожиданно:—Скажи, Лева, а как насчет этого в вашем девяносто первом?

Архаров задумался. Чутье подсказало ему, что спрашивал Сова не из праздного любопытства. Стало быть, и отвечать приходилось на полном серьезе.

— В девяносто первом, Митяй, тебя оправдали бы,— сказал он после долгого раздумья.—Но чувствовал бы ты себя более скверно, чем сейчас.

— Как это?—даже рот раскрыл Сова.—Разве может жизнь быть еще паскуднее?

— Может, Митяй. Когда не станет ничего. Эти кильки в томатном соусе, лежащие в вашем сельмаге целыми пирамидами, тогда покажутся деликатесами. Для простых людей не будет ни одежды, ни обуви, ни мебели, ни тетрадей, ни спичек, ни соли — ничего. Представляешь?

Сова энергично помотал головой:

— Нет, не представляю... Но ты же говорил, что года через полтора не станет вождя всех народов. Неужто и после этого жизнь не поправится? Неужто нет у нас никакого просвета?

Архаров и на этот раз не стал торопиться с ответом. Почему-то перед его глазами возник Большой Председатель. Вот он подает дрель, как бы нечаянно опираясь правой рукой о плечо своей секретарши — «мисс-89». Вот ножом привычно очищает апельсин от кожуры. Вот из шарообразной рюмочки небольшими глотками попивает коньяк. Вот рассказывает, как он хорошо понимает народ. А вот вдруг превратился в «короля» и предупреждает, при каком условии может вернуть Архарова в де-

вяносто первый год. Может вернуть... Черт побери! А стоит ли туда возвращаться? Как бы невзрачно не выглядел год пятьдесят первый, насчет жратвы и выпивки для него здесь проблем нет. По крайней мере без антифриза можно обойтись. Но, увы, кажется, Архарову уже невозможно здесь остаться: по нему плачет тюрьма. И смыться отсюда удастся лишь при одном условии. Вот положеньице... Хотя нет, он ведь может признать свое поражение. Тогда тоже «Король» даст зеленый на обратный ход. Однако это будет означать, что на вопрос Совы нет положительного ответа. Нет уж, дудки! Архаров еще покажет, на что способен простой русский человек.

Он повернулся всем телом к другу.

— Никакого просвета, говоришь? Скажу прямо, если жить так, как сегодня, до девяносто первого года, коли дотянешь, точно, ни хрена путного не увидишь. Разве что язык развяжешь немного. Да толку от этого будет, что от козла молока. Начальство научится работать «в условиях гласности», то есть по принципу «А Васька слушает да ест». А Васек этих станет — мозгов не хватит сосчитать!

— Но так невозможно! — воскликнул Сова.—В мире уже сейчас... Я же слушаю радио...

— Слушать и корова может. Так она хоть мычит, если ей что-то не нравится. Ты же лишь хвостом виляешь, когда тебя о возможном аресте предупреждают. Думаешь, в твоей Америке из «Голоса Америки» райские кущи сами собой появились? А ты хоть знаешь, где впервые рабочие вышли на маевку?

— Об этом каждый год перед первомаем талдычат,— нахмурился Сова.—Да что толку. С нашими-то руководителями...

— Вот именно, с вашими руководителями. Каков приход, таков и поп. Так что нечего на зеркало пенять, коли рожа крива... А ну все это к едрене-фене! Живите, как можете, коли по-другому не умеете. Но я ни Гремучему вашему, ни всему райотделу милиции, ни даже войскам просто так не сдамся. Вот увидишь!—решительно заявил Архаров.

Вообще, пока язык не начинал заплетаться, решительно уверенный тон у него выходил впечатляюще. Пользуясь этим талантом, он частенько напивался на халяву, экономя таким образом немало сармаку, то бишь денег. Наобещает, бывало, провернуть какое-нибудь дельце — иной уши и развесит... Вот и Сова сказал:

— Я уже видел. Здорово ты его вышвырнул из дома.

И в знак уважения налил ему в кружку больше, чем себе, на целый палец. Когда выпили, добавил:

— Однако ж этим дело не кончится.

— Знаю,—равнодушно махнул рукой Архаров.—Мне бы еще пару дней продержаться. Если, конечно, Большой Председатель сдержит свое слово. Я бы тогда показал им кузькину мать.

— А что будет через пару дней?

— Я займею чудо-оружие!

Сова, стараясь держать непослушную голову ровно, пытливо взглянул на него, спросил, пытаясь говорить членораздельно:

— Это ат-томная бомба, что ли?

— Атомная бомба — она дура,—забраковал Архаров.— Она убивает всех, и правых, и левых, и невиновных. А мое оружие — строго избирательное. Помнится, мы где-то толковали об иголке с ниткой. Так мое оружие будет прошивать насквозь все, на что я его направлю: человека, танк, самолет. Понял? Будет прошивать, как игла материю.

— Ну-у?!— засомневался Сова.

— Ты что, Митяй, не веришь мне?—обиделся Архаров.—Не веришь в мои способности? Как я тогда попал к вам, а? Скажи!

Крыть оказалось нечем.

— Оно к-конечно...—поскреб не чешущийся затылок Сова и надолго задумался. Потом порывисто встал и то ли упал на Архарова, то ли обнял его, воскликнув:—Тогда я с тобой, Лева. По гроб жизни!

— Ты правду говоришь?—обрадовался Архаров.

— Вот те крест!—подтвердил Сова, правда, так и не перекрестившись.—Чего мне терять-то? Все одно загребут. Так хоть поболе поживу на воле. И не просто поживу, а почувствую себя свободным человеком. Свободным, понял?

Он вдруг выпрямился, перестал качаться, даже ростом вроде бы выше стал. Глаза его как-то сразу посветлели, посвежели.

— Свободным поживу!—четко выкрикнул он в сторону улицы.— Никого не боясь, ни от кого не таясь, мать вашу так! Хотя бы неделю, хотя бы день! Господи, неужто такое возможно?

— Возможно, Митяй, еще как возможно!— подтвердил Архаров.—И вдвоем мы продержимся свободными гораздо дольше.

— А ежели всем селом?—размечтался Сова.

— Если всем селом, да с моим оружием... Тогда к нам вообще не посмеют сунуться,—горячо подхватил его мечту Архаров. Однако, чуть подумав, грустно заметил:— Нет, побоятся твои земляки, не пойдут за нами.

— Не пойдут,— подтвердил Сова и сразу сник, вяло опустился на табуретку. Тут же упрямо мотнул головой:— Все равно! Все равно испробую я эту жизнь. Ради нее готов отказаться от самого крепкого коньяка, ежели б мне его предложили. Понял? Потому как хоть день хочу почувствовать себя человеком. Давай дернем еще по одной за это!

Он потянулся к почти пустой чашке, но Архаров отвел его руку в сторону. Кажется, и он в этот момент беспричинно протрезвел. Его мозг неожиданно начал разрабатывать какую-то бесшабашную идею. Архаров это чувствовал, поскольку такое с ним бывало. Правда, давно, в глубокой молодости, лет семь-десять назад, когда он был студентом, затем инженером и по наивности все свободное время отдавал всяким изобретениям и рационализациям.

— Скажи, Митяй, что надо делать, чтобы ваши люди захотели стать человеками... О, черт, как коряво сказал. Хотя ты, конечно, понял, к чему я клоню.

— Понять-то понял, но кто их знает. Ведь каждому надо что-то свое. Соловьевы, думаю, пойдут за тобой. Им тоже жареный петух в задницу клюнул. Завхоз Гриша Меняла, ежели ему дадут свободно торговать, признает хоть самого дьявола. Председателю нашему, Евсеичу, чую, хочется стать настоящим хозяином. Чтоб не по райкомовским планам, стало быть, гробить землю, а по своему разуму действовать. А Валентине — чтоб хлебушек оказался на столе... Каждого не перечислишь. Для всех главное, думаю,—приличная человеческая жизнь. Многие, кто после революции родился, этого ж просто не видели никогда. Я и сам знаю о ней лишь по рассказам покойного отца.

— А голова у тебя ничего,— похвалил Архаров.—Не зря так усердно слушаешь разные голоса. Молоток!

— Что из того,— вздохнул Сова.—Наш с тобой разговор — пустая мечта. Чтобы раскрыть людям глаза на их же жизнь, надо столько им вдалбливать. А когда? Где? Открыто рубануть правду-матку — себе дороже обойдется. Шушукаться же по углам — толку кот наплакал.

— Это точно,—согласился Архаров.—От болтовни в

курилках сотрясаются только животы. И то если кто хороший анекдотик расскажет. Но не будем отчаиваться...

Однако, похоже, они явно засиделись. За разговорами и не заметили, как подуло сиверко, нагнав откуда-то свинцовых туч, как-то враз закрыло небо. Стало темным-темно, словно бы даже ночь наступила. Резко полоснула ветвистая молния. Казалось, она расколола тучи на кусочки и вот-вот с небес посыпятся тяжелые обломки. Но вместо этого многотонно бабахнул гром, так что не только стекла зазвенькали, даже посуда на столе подпрыгнула, словно готовясь пуститься в пляс.

— Свят, свят!— больше по привычке пробормотал Сова и пошел затворять окно. До этого высунул голову наружу, посмотрел вверх.—Ого-го! Ну дождичек счас вдарит— только держись!

Вернувшись на свое место, он глянул на друга, обеспокоенно заметил:

— Ты, Лева, что-то пригорюнился. Устал, что ли?

— Да не-е...— отмахнулся Архаров.— Просто вспомнил, как однажды по телику смотрел старинный фильм про колхозную жизнь ваших времен.

— По чему смотрел?—не понял Сова.

— По телевизору... Ну, это ящик такой, я после как-нибудь объясню. Дело не в нем. Так вот, в том фильме колхозники такие счастливые и довольные, что просто зависть берет. Помню, показано там, как всем колхозом празднуют окончание каких-то работ. Веришь, нет, стол буквально ломился от изобилия.

— Ну, такие фильмы и мы любим смотреть,—равнодушно отозвался Сова.—Сказки всем нравятся. А вообще окончание полевых работ раньше и мы отмечали. Не так шикарно, конечно. Но напивались до уср... то есть, до рачков в глазах.

— Теперь, что, перестали? Почему? Отличная же традиция социалистического труда.

— Потому что затеяли борьбу с алкоголем. Думаешь, почему угощаю тебя бражкой?— кивнул Сова головой в сторону чашки.— Потому что опасно гнать самогон. Дым за версту видать, да и запах аж до сельсовета доходит. А на водку денег не напасешься. Их ведь даже нам, гарантированным, дают копейками.

— Между прочим, водка у вас очень даже дешевая. В девяносто первом она станет дороже во много раз,—заметил Архаров.

— Боже мой!—ужаснулся Сова, хотел еще что-то до-

бавить, но тут на небе открыли кран, дождь сплошной стеной ударил прямо в окна, и он замолк, с опаской поглядывая на них. Когда убедился, что стекла выдержали, перешел совсем на другую тему:—Слава Богу! После такого дождя в наше Мохово дня два никто носа не сунет. Поживем пока на воле...

Тем временем голова Архарова продолжала шевелить мозгами.

— Митяй, скажи, если мы найдем способ без опаски гнать самогон, народ соберется на гулянье?

— Почему бы и нет? Русский человек готов гулять в любое время года, дня и ночи. Тем более на жатве устаешь до чертиков, так что разрядка необходима. Иначе просто не осилим картофель и свеклу. А ведь надобно еще и молотить, и хлеб отвозить, и зябь поднять.

— Тогда слушай сюда!— строго сказал Архаров.—Раз ты согласился быть мне помощником, передай своим землякам мой совет: самогон надо гнать не дома, а на нейтральном месте. Желательно в овраге, поближе к лесу.

— Как это?— Сова даже рот раскрыл от удивления. При этом показались его зубы: удивительно ровные, белые, как у негра. Хотя, как заметил Архаров, в Мохове мало кто пользовался зубной щеткой.

— А так. Надо туда поставить общие аппараты. Люди будут гнать самогон по очереди. Зарядят аппарат, а сами, как заметят кого, отойдут подальше. Лучше, если совсем скроются в лесу.

— Ежели все-таки сцапают?

— Если сцапают, человек просто проходил мимо. Чей котел, чье корыто с трубой — ведать не ведает и не желает. Понял?

— Вот это да-а!—восхищенно воскликнул Сова.—Вот это голова-а! Э-то... Это же победа над всей милицией! После такого совета разве кто станет сомневаться в тебе. Все! Быть через неделю гулянке. Это я точно говорю. А пока, по такому случаю, давай я еще чашку сцежу...

— Нет, Митяй, этого как раз не надо,—твердо остановил его Архаров.— Теперь дела пойдут серьезные. Потому давай башки свои держать свежими. А гулянку организуй. Надо мне хоть однажды со всем народом поговорить по душам. И с Соловьевым объясните вы людям, кто я есть, откуда и зачем пришел. Только потихоньку, на ухо объясняйте. Тихое слово в душе росток дает. Это я по себе знаю.

С тем Архаров встал и тут же пошел домой. Под лив-

нем он шел, словно под душем, с удовольствием подставляя под струи то лицо, то руки, то спину, то грудь.

Разгоряченная душа его жаждала испытаний, а мозг продолжал работать, как бы сказали в наше заумное время, над альтернативой условиям, выставленным Большим Председателем.

13

Есть Бог или нет? Поскольку Архаров с ясельного возраста воспитывался в духе марксистско-ленинской философии, до конца раскрывшей несостоятельность религии и полностью развенчавшей ее защитников, Всевышнего Господа, естественно, не признавал. Однако всемогущественный Бог, сам сотворивший мир и, несмотря на сверхпреклонный возраст, продолжающий им управлять, не оставляет в беде даже заблудших чад своих. Так он буквально в день ударного завершения уборки колосовых в колхозе открыл над ним дождевой кран и то ли по старческой забывчивости, то ли действительно из желания помочь Архарову, продержал его в таком состоянии целых двое суток. Как и предвидел Сова, в эти два плюс последующие два дня чьих-либо попыток пробиться в Мохово со стороны Краснобая не наблюдалось. Даже Кнутов, накануне убывший вместе с Гремучим, так и не возвращался.

Архаров вел в эти дни странный образ жизни. Началось с того, что как раз перед его приходом вернувшаяся с работы Марфа начала мыть пол и обнаружила под койкой черный ящик. И когда заявился промокший насквозь с головы до пят Архаров, она даже не догадалась изумиться или пожалеть его, а тут же вытащила ящик на середину пола и сообщила испуганно, словно он неотвратимо должен был взорваться:

— Вот... Нашла под вашей койкой.

К ее удивлению, Архаров, наоборот, возрадовался ящику так, будто в нем, как у Кащея Бессмертного, хранилась душа его. Он тут же подскочил к нему, открыл и начал вытаскивать содержимое, приговаривая:

— Ах ты, король ростовский, хрен московский, хоть раз в жизни да сдержал-таки слово!

На взгляд Марфы, радовался он абсолютно беспричинно, ибо в ящике ничего путного не оказалось. Это были никуда не годные кусочки кривых зеркал да штук пять больших, как стекло лампы-«молнии», электрических лам-

почек. Еще была, пожалуй, единственная интересная вещь — блестящая прямоугольная штучка со множеством цифровых кнопок, толщиной в треть пальца. Но поскольку штучка эта вряд ли где могла применяться, интерес к ней у Марфы пропал уже через минуту-другую.

Тем временем Архаров все аккуратно сложил обратно в ящик и сказал:

— Марфа, приготовь, пожалуйста, мне еды дня на три-четыре.

— Вы уезжаете?—заволновалась Марфа.—Как же так... неожиданно. В такую погоду... Я бы сейчас вам баньку истопила. Захворать же можете, вона как промокли.

— Ты, Марфа, не волнуйся, никуда я не собираюсь уезжать. И банька пока подождет. Просто я немного поживу на электростанции. Мне надо кое-что смастерить, а там есть небольшая мастерская с инструментами. Но об этом — никому ни гу-гу! Поняла? Никому! Только Сове передай, чтобы немедленно нашел и принес мне жесть, а Соловей пусть притащит из кузницы или МТС набор средних и малых болтов. Договорились?

— Хорошо,—покорно согласилась Марфа.—Но как же я... мы...

— Все, все, все,—прервал ее Архаров.— Пойми, я не от тебя бегу. Жизнь заставляет вертеться. Вскоре ко мне снова может нагрянуть Гремучий. Наверняка, на этот раз прихватит шестерок с оружием. Вот я и готовлюсь. А к тебе вернусь обязательно, вот увидишь.

Боясь, что Марфа может развести сырость, Архаров больше не стал медлить, даже одежду не сменил, лишь переобулся в кирзачи супруга Марфы и, подхватив черный ящик и приготовленный на скорую руку сверток с продуктами, выбежал из избы. Через минуту он словно растворился под хлещущим сплошной стеной дождем.

Прошло четыре дня. От Архарова не было ни слуху ни духу. Только Сова с Соловьевым приходили к нему на второй день. Само собой, принесли не только то, что просил Архаров, но и пару бутылок светленькой. Однако, к великому их изумлению, Архаров даже не дотронулся до стакана, а когда гости начали уговаривать «чуток разрядиться», не на шутку осерчал и выгнал их чуть ли не таким же способом, как недавно Гремучего. Естественно, вполне законен был вопрос: «А он не того?», с которым по пути домой обратился Соловьев к Сове, при этом выразительно покрутив указательным пальцем у виска. Но

Сова напомнил: «Забыл, какой ловкий ход с самогоном он придумал? Ежели бы был того — не смог бы». На что возразить оказалось нечем.

Сказать честно, Архаров никакого чудо-оружия не придумал. Хотя голова его все еще варила неплохо, но на такие изобретения она, конечно, уже не была способна. За много лет дружбы с единственно признаваемым им богом Бахусом Архаров наверняка растранжирил не один миллион самых активных клеток серого и белого веществ. Просто он вспомнил одно свое изобретение по передаче энергии на расстояние беспроводным — он назвал его прожекторным — путем. Как все гениальное, способ был до неправдоподобия прост. Суть его заключалась в том, что электрическая, тепловая или световая энергия при помощи соответствующих отражателей собиралась в тоненький пучок и передавалась на расстояние по прямой линии. Правда, такое было возможно лишь, как говорится, в пределах видимости. Чтобы передать энергию еще дальше, через каждые сорок-шестьдесят километров требовались ретрансляторы. То есть получалось что-то наподобие радиорелейной линии связи. С той разницей, что луч с расстоянием ни на йоту не расширялся, сам же, поскольку столько энергии втискивалось в одну тонюсенькую ниточку, должен был быть необычайной плотности, потому по пути растрачивал на преодоление сопротивления среды минимальную силу. Да, как мечтал когда-то, молодой инженер электрических сетей Архаров о внедрении своего изобретения! Ведь оно позволяло сберечь миллиарды рублей. Не нужны стали бы многие ЛЭП. На севере начали бы пользоваться светом и теплом южных районов. Совершалась бы настоящая социальная революция. Затем — и экологическая. При умелом использовании ее сил можно было преобразовать весь земной шар, миф о рае превратить в действительность. Впрочем, разве перечислишь все честолюбивые мечты молодого инженера... Однако распрощаться с ними пришлось из-за простого прозаического вопроса руководства: «Что, если под ваши лучи попадут самолеты?» «Можно же организовать указатели»,—попытался спасти свое изобретение Архаров. «Птицы тоже поймут их?— последовал другой вопрос.— А ведь природу надо беречь...» И вот нежданно-негаданно возник момент, когда только эта задумка, если дело выгорит, может спасти Архарова. Как говорится, нужду поборешь — калачик поешь. Решил он на основе своего давнишнего изобретения построить простей-

шую саблю-луч, способную срезать или пробить все на своем пути. Наподобие гиперболоида, построенного когда-то знаменитым инженером Гариным совместно с не менее знаменитым писателем Толстым, который Алексей Николаевич. Как известно, тот гиперболоид, из-за чрезмерных амбиций Гарина, пожелавшего властвовать над всем миром, в итоге был уничтожен. У Архарова амбиции гораздо скромнее. Он просто хочет стать непобедимым...

Однако в первые дни дело никак не желало налаживаться. Оказалось, мощности одной лампы для использования луча в качестве сабли явно недостаточно. Вернее, можно, конечно, и с помощью одной лампы создать такой луч, который все сможет прожечь. Но он окажется таким ничтожно тонким, что его практически не будет видно. Архаров же хотел, чтобы луч ярко светил, чтобы, прослеживая его путь, можно было поражать любую цель наверняка и максимально быстро. Бой есть бой, иногда его исход решают сотые доли секунды. Так что приходилось использовать две лампы. А чтобы их тепло и свет соединить в одну ниточку, требовалось рассчитать отражатель сверхсложной конфигурации. Теоретически его форму Архаров высчитал быстро. Однако, как известно, гладко было на бумаге, да забыли про овраги, а по ним ходить. Хоть и имелись кусочки зеркал самой различной кривизны, некоторые из них приходилось подправлять. Это сверхсложно даже в заводских условиях, а в здешней мастерской, где одни тиски да простейшие инструменты, казалось вовсе немыслимым делом. После долгих мучений Архаров понял, что догибать зеркала до нужного овала можно только нагревателем. Но и при этом ему нужной высокой точности не достичь. Следовательно, добиться абсолютно одинаковой толщины луча на всем протяжении невозможно. И если он будет расширяться хотя бы на сотые доли градуса, через пару километров его сила практически распылится. Выходит, чтобы оружие было надежным, придется еще увеличить мощность источника энергии. Говоря проще, ставить и третью лампу... И снова пошли расчеты, новые пробы зеркал...

У жителей села в эти дни дела налаживались куда успешнее. Следуя совету Архарова, они в овраге рядом с лесом установили не один, а сразу пять самогонных аппаратов. И заволокло весь овраг дымом, благо по причине плохой погоды полевые работы были приостановлены. А по вечерам вместе с дымом и со специфическим запахом оттуда начали доноситься нестройные песнопения. Это са-

могонщики после проб продукций друг у друга неожиданно возгорались любовью к хоровому искусству.

На пятый день, как на грех или на счастье, среди любителей хорового пения оказался Сова. В момент, когда, будучи как бы Стенькой Разиным, собирался бросать княжну за борт и, сделав взмах руками влево, одновременно повернул голову вправо, он неожиданно заметил, как по большаку приближаются со стороны Краснобая две повозки. Вернее, один тарантас и одна повозка. Опытным глазом партизана Сова также успел заметить, что в них сидели люди только мужского пола и в одинаковой одежде, то есть в форме.

— Елки-моталки! Это ж мильтоны!—воскликнул он изумленно и с перепугу так и застыл на месте.

Чего не сделали — и совершенно правильно!—его коллеги-дегустаторы. Они тут же взяли ноги в руки и только их и видели. А Сова с этим делом явно запоздал. И когда он тоже попытался последовать примеру собу..., то есть, сотоварищей, Гремучий не только заметил, но и узнал его.

— Гражданин Сова! Подойдите сюда!—грозно крикнул он, подзывая его к себе пальчиком. Когда Сова подошел, сразу огорошил его градом вопросов:—Что это за костры у вас тут? Кто был с тобой? Почему все разбежались?

— Ей-богу, не ведаю, гражданин следователь,— начал отнекиваться Сова.—Шел я в лес, на пасеку. Ребенок простыл у меня. Так я хотел хоть стаканчик меда раздобыть у дяди Миши. Чтоб ребенка, значит, горячим чайком с медом напоить на ночь. А тут, гляжу, костерок в овраге. Думал, пацаны балуются. Издаля-то не разобрать. Ну, начал я спускаться, кричать на них. Они и дали стрекача. Думал, меня испугались, а вышло, значит,—вас.

— Юлишь, прохвост! А ну, ребята, пойдем поглядим, что это за костры там,—сказал Гремучий и, не поленившись, соскочил с тарантаса и сам повел милиционеров в овраг. Подойдя к первому самогонному аппарату, он аж присвистнул от удивления:—Фью-и-и! Вот это да-а! Ты что же, Сова, на промышленный способ перешел?

— При чем тут я?—запротестовал плетущийся сзади Сова.—Первый раз вижу это дело. Наоборот, разогнал я шельмецов, чтоб им пусто стало.

— Где же ты тогда набрался?—прищурил глаза Гремучий.

— Дак... простыл же маленько. Вот и употребил, чтобы, значит, подлечиться.

— Ты говорил, ребенок простыл.

— И он тоже,—даже глазом не моргнул Сова.—Но ему же нельзя еще. Ему я хотел медок достать.

— Ну, хватит барнаулить!—остановил его Гремучий.— Сказки будешь в отделе рассказывать. А пока составим протокол. Митрохин, где ты там? Пиши.

Вперед выдвинулся сержант, вынув из сумки бланк и химический карандаш, приступил к делу.

— На кого составлять-то?—спросил он у следователя.

— Как на кого? На гражданина Сову.

— Я ка-категорически против!—горячо возразил Сова.— Ничего знать не знаю, ведать не ведаю.

Гремучий хмыкнул, посмотрел на него уничтожающим взглядом.

— Но ведь ты оказался у котла!

— Не у котла, а у оврага. Проходил мимо. И потом, граждане хорошие, оглянитесь вокруг, разуйте глаза пошире. Сколько тут аппаратов! На кой хрен мне столько? Где я браги на них напасусь?

— Действительно, товарищ старший лейтенант, неувязочка получается,—заметил Митрохин.

— Ладно, разберемся мы с этой неувязкой... в райотделе,—разозлился Гремучий.—Пока давай, Сова, чеши домой и собирай вещички. Белье там, сухарей на сутки. Давно хотел взяться за тебя, да все дела поважнее перебивали. Нынче, видать, подошло время. И не вздумай слинять, сукин сын. Себе хуже сделаешь. Я как только заарканю эту сволочь, этого самозваного уполномоченного, заеду за тобой. Усек? А пока, ребята, крушите эту винокурню, чтоб запаха от нее не осталось.

Милиционеры начали с остервенением опрокидывать котлы, гнуть трубы, разбивать емкости для воды. В нос ударил тяжелый запах отработанной барды. Правда, самогона нашли мало. Его осторожные мужики прятали сразу...

Впрочем, Сове было не до любования профессиональной работой милиционеров. Почти протрезвевший от испуга, он быстрой трусцой побежал в село. По пути заглянул к Марфе, приказал ей немедленно идти к Архарову, предупредить об опасности. Еще сказал, что и сам заявится к нему, если успеет обернуться до прибытия отряда милиции. Вообще-то он мог бы сразу побежать на электростанцию, но боялся, что в случае обыска дома найдут не очень надежно спрятанный радиоприемник.

Между тем тарантас с повозкой уже появился на пригорке у околицы. Казалось, ни Марфа, ни Сова ничего не

успеют сделать. Однако пока отряд подъехал к сельсовету, пока Гремучий переговорил с Перцевым о деле, пока нашли понятых, а затем, не застав в доме Шереметьевой никого, разузнали у соседей, где мог быть уполномоченный области, прошло не менее часа. Короче, когда отряд в составе одного тарантаса и двух уже повозок — на второй сидели Перцев с понятыми — показался в пойме Кубни, в здании электростанции находились уже три человека: Архаров, Сова и прибежавшая раньше Марфа.

— Ну, Лева, что будем делать?—не скрывая тревоги, спросил Сова.—Где твое чудо-оружие?

— Чудо-оружия пока нет. Придется надеяться лишь на самих себя,—сказал Архаров.—По крайней мере, просто так я им не дамся.

— Ты что, сдурел? Их же целое отделение. Да еще с оружием, —не одобрил его Сова.

— У тебя есть предложение получше?—съязвил Архаров.—Нет? Тогда... Впрочем, ты можешь уйти. Или сдаться. А Марфе точно надо смыться, пока не поздно. Если засветишься с нами, ничего хорошего тебя не ждет.

— Засветилась уже,—вздохнула Марфа, незаметно погладив живот. Впрочем, никакого сожаления в ее голосе не чувствовалось.—А насчет сдаться... Лев Борисович, у меня тут есть одна штукенция...

Она развязала прихваченный с собой узелок с едой, взяла оттуда бумажный сверток и отдала Архарову. Тот нехотя развернул его, и лицо его тут же засияло от приятной неожиданности. Это был пистолет! Полностью заряженный!

— Откуда это у тебя, Марфушка?—удивился Архаров.

— Да убиралась в сенях. Под лавочкой и нашла. Видать, тот самый, который вы выбили у следователя.

— Точно!—воскликнул Архаров и, обняв, крепко поцеловал Марфу прямо при Сове.— Молодчина ты у меня! Митяй, чуешь, как все оборачивается? Ни хрена они теперь не возьмут нас.

— Воевать с одним пистолетом против целого вооруженного отделения такая же бессмыслица, как палкой отмахиваться от комаров,—проворчал Сова. Но, показалось, он тоже чуток воспрянул духом.

— Ничего-о. Не забывай, что мы в укрытии. К тому же фактор внезапности много значит.

Тем временем милицейский отряд подъехал к плотине, построился в две шеренги. Гремучий начал инструктаж. В стороне, с интересом поглядывая на него и на

стоявших навытяжку милиционеров, закуривали понятые во главе с Перцевым... А в силовой осажденные, не надеясь на деревянный засов, укрепили дверь еще ломом, пропустив его сквозь смахивающую на скобу ручку и концами зацепив за косяки.

Вот Гремучий наконец поставил задачу и дал команду. Милиционеры перестроились в одну шеренгу, повернулись направо и пошли левым плечом вперед прямо на плотину.

Архаров открыл окно, набрал в легкие воздуха и, перекрыв шум водопада, сотряс всю округу мощнейшим львиным рыком. Марфа с перепугу аж шлепнулась на пол, да и Сова невольно отпрянул от друга подальше. Главное же — милиционеры как по команде резко остановились, в замешательстве затоптались на месте, некоторые даже опустились на колени, то ли прячась за спины товарищей, то ли собираясь обратиться к Всевышнему.

— Мильтоны, слушай сюда!—гаркнул после этого Архаров.—Если вы сделаете хотя бы еще один шаг вперед, все немедленно отправитесь в ад, ибо никто из вас, полагаю, на том свете не достоин места в раю.

Наступающие, похоже, не восприняли его угрозу всерьез. А может, повторная команда Гремучего нагнала на них больше страха. Как бы ни было, вскоре они оправились от шока и двинулись дальше.

— Предупреждаю: нас тут много, и мы вооружены!— крикнул Архаров и, видя, что слова не действуют, не медля выстрелил в воздух.

На этот раз милиционеры все разом попадали на плотину и прикрыли головы руками. Пролежав так несколько минут и видя, что осажденные не стреляют, начали юрко отползать назад, беспорядочно грохая из винтовок в сторону крепости, то бишь здания силовой. Оказавшись на безопасном расстоянии, они собрались в кучу и шумно начали совещаться. Затем Гремучий что-то спросил у Перцева. Видимо, хотел узнать, на самом ли деле Архаров сумел собрать большую команду и вооружить ее. Тот, ошеломленный происходящим больше всех, только плечами пожимал. Тогда Гремучий решительно взмахнул одной рукой в сторону плотины, другой — вниз по реке, и милиционеры, разделившись на две группы, начали новое наступление. При этом продвигающиеся к плотине беспорядочно стреляли, отвлекая внимание осажденных, а остальные готовились форсировать реку метрах в ста ниже плотины, где вода даже в самом глубоком месте была человеку лишь по грудь.

— Худо дело, командир. Окружают,— забеспокоился Сова.—Эх, тол бы сейчас да взорвать плотину! Смыло бы их, как щепок.

— Ты что, очумел?—прикрикнул на него Архаров.— Из-за каких-то лягавых лишиться электроэнергии? Мы же без нее останемся нулями без палочки! Впрочем... Насчет смыва ты правильно мыслишь. Молодец! Только для этого не плотину надо взрывать, а просто шлюз открыть. Понял? Так что держи пистолет, прикрывай меня, отпугни лягавых, если осмелятся подползти ближе. А я пошел к шлюзу...

Он тут же выбежал из здания и юркнул в расположенную рядом шлюзовую будку, успев посмотреть вниз по течению. Пятеро милиционеров уже вошли в воду, держа винтовки над головой, перебирались на этот берег. Не долго думая, Архаров начал крутить колесо подъемника. Оно поддалось легко, но, будучи диаметром чуть ли не в два метра, крутилось медленно. И все же минуты через две шлюзовые ворота заметно поднялись, вода из водоема бурным потоком хлынула вниз. Милиционеры в этот момент как раз дошли до середины реки и оказались в самом глубоком месте. Даже заметив приближающуюся пенистую волну, они не успели бы выбраться обратно. Через несколько секунд их, действительно, смыло, как щепки. Долго еще раздавались в низовье крики о помощи, пока бурное течение не отнесло милиционеров в такую даль, откуда не было бы слышно даже паровозного гудка. А Архаров крутил колесо уже в обратную сторону. Впрочем, за счет тяжести ворот оно само возвращалось в изначальное положение. Пруд снова начал наполняться.

Видя такой поворот, Гремучий дал команду наступавшим по плотине милиционерам вернуться на исходную позицию. Там они вместе с Перцевым и понятыми быстро распределились по повозкам и спешно поехали вниз по реке спасать своих товарищей.

— Есть вторая победа!—торжествующе воскликнул Архаров.—Эх, отметить бы сейчас это дело.

— Так в чем вопрос?— быстро откликнулся Сова.— Есть у меня запасец. Я же говорил, где меня застукали менты. Счас объясню Марфе, где что находится, и через часок она будет здесь с четвертью под фартуком.

— Хорошо бы-ы...—мечтательно произнес Архаров.— Но... нельзя мне, пока не сварганю свою саблю-луч. А Марфа пускай идет. Только ты, Марфа, исполни еще одно мое порученьице.

— Какое, Лев Борисович?—послушно встала Марфа.

— Передай Ивану Евсеевичу, чтобы он непременно пришел ко мне. Нынче же. Я бы сам нанес ему визит, да обстановочка не позволяет.

После ухода Марфы Архаров выставил караул в лице несменяемого Совы и с удвоенной энергией принялся за сборку отражателя. Поскольку стало ясно, что в этой допотопной мастерской его сверхточной конфигурации не достичь, он решил сделать его закрытым. Вернее, если условно представить отражатель в виде прожектора, вместо стекла в него вставить тоже зеркало, в центре которого имелась бы довольно-таки длинная трубочка диаметром не более полутора миллиметра. Идея заключалась в том, что раз получить нерасширяющийся луч непосредственным отражением не удается, надо направить его самую мощную, центральную часть через небольшое отверстие. Поскольку трубочка достаточно длинная, при этом расширение луча, следовательно, распыление его мощности окажется незначительным. Одновременно не использованная в пучке энергия зеркалом возвращается обратно и используется для аккумуляции луча. Тем самым последний как бы получает компенсацию за отсекаемую отверстием трубочки часть мощности.

Кривизну внешнего отражателя Архаров высчитал быстро, подобрав зеркала, тут же приступил к его сборке. Главный отражатель в основном уже был готов, мучиться над дальнейшим его совершенствованием теперь не имело смысла, поскольку новое решение позволяло обходиться без сверхточностей. В итоге к вечеру аппарат наконец-то был собран.

Как раз к этому времени подъехал Евсеев.

— Вот вы где, оказывается!—воскликнул он вместо приветствия.—Чем мы тут занимаемся?

При этом председатель переступил порог очень осторожно, да и войдя, то и дело оглядывался по сторонам. Видимо, был уже наслышан о происшедшем здесь бое местного значения.

— Мы тут создали оружие, которым в недавнем прошлом инженер Гарин попытался подчинить весь мир. Клянусь честью, ему бы это удалось, не будь он так жаден и властолюбив,—проинформировал гостя Архаров.

— Это во время войны, что ли? Гарин — он кто, фашист?—насторожился Евсеев.

— Нет, не фашист, а простой советский инженер,— успокоил его Архаров.—И происходило это еще до войны.

Но не о том сейчас речь. Я бы хотел потолковать с тобой о дальнейшем житье-бытье в сложившихся условиях.

— Разговор секретный?—поинтересовался Евсеев.— Нет? Тогда почему Сова выставлен на улицу?

— Он на часах.

— Зачем? Отряд милиции убыл еще час назад. Все злые такие, промокшие насквозь, матюкаются, будто германского фельдмаршала упустили.

Раз так, Сову, действительно, не стоило зря держать в карауле. Поэтому Архаров его тоже пригласил на,—да простят автора граждане пятидесятых за такие вычурные выражения, но пишет он для читателей девяностых годов,—конфиденциальное совещание.

— Иван Евсеевич, я предлагаю план действий по коренному улучшению условий жизни колхозников. Так, наверное, он назывался бы на официальном языке,—сказал Архаров.—Если, конечно, вы действительно желаете этого.

Евсеев ожидал чего угодно, но не такого разговора, ибо он, казалось, никак не соответствовал происходящим, по моховским меркам, чрезвычайным событиям. Шутка ли, в селе дают настоящий бой властям! Тем не менее на предложение Архарова председатель отозвался быстро и искренне:

— Как не желать, дорогой Лев Борисович! Я еще в окопах спал и видел, как мы после победы заживем по-человечески, как мои земляки будут есть и одеваться не хуже немцев, коих мы побили. Нет, о председательстве я тогда и не помышлял. Просто представлял жизнь при коммунизме. И когда предложили в сорок шестом встать у руля колхоза, согласился только из желания осуществить свою окопную мечту. Но вот прошли четыре года, а мы, между нами, как были нищими, такими и остались. И просвета не видно.

— Просвет вижу я. Еще раз напомню, я ведь ради этого и прислан к вам аж из девяносто первого года.

— Да, но вы же... в некотором роде в опасности. Вас же, раз уж взялись, все равно... это самое... упекут,— сокрушенно вздохнул Евсеев.

— Иван Евсеевич, дорогой, давай, наконец, договоримся: зови меня просто Левой, без всяких выканьев; во-вторых, никто меня не может «это самое». Не для того я послан сюда, чтобы гремучие змеи жалили меня почем зря.

— Так-то оно, может, и так...— не очень уверенно согласился Евсеев.—Дак давай лучше о просвете.

— Просвет для начала такой. Сперва придется быст-

рее завершить текущие дела. Пока не подошла очередь до картофеля, завтра же возобновим обмолот. И будем вести его сразу двумя молотилками,—начал излагать свой план Архаров.

— Постой, а где мы возьмем вторую молотилку?—перебил его Евсеев.

Как видим, на «ты» председатель перешел удивительно легко. Значило ли это, что он не очень считался с «представителем области» или, наоборот, слишком уважал его — этого мы пока за неимением времени выяснять не будем. Для нас главное заключается в том, что он живо откликнулся на план действий по приближению просвета.

— Второй молотилкой станет комбайн,—сказал Архаров.—Он тоже будет работать от электричества. Так что трактор Соловья ты можешь использовать на другие цели.

— На подъем зяби,—подсказал Сова.

— Вам лучше знать. Я в сельском хозяйстве далеко не академик,— признался Архаров.—А пока, друзья, послушайте до конца. Поскольку мы ночью будем ток освещать, можно организовать двухсменную работу. В две смены, двумя молотилками... Что в итоге получится, председатель?

— В итоге за неделю должны управиться с обмолотом,—воодушевился Евсеев.—Это, конечно, дело. Только... согласятся ли люди? Ведь они не двужильные.

— Как не согласятся, для себя же все.

— Эх, ежели бы для себя!—горестно вздохнул Евсеев.—Но все же знают, что горбатятся на дядю.

— А ты сделай так, чтобы было для себя. И объясни это всем. Не только объясни, но и делом докажи. Давай так. Одновременно с обмолотом ускорь сдачу хлеба государству. Но лишь в пределах плана. И скажи людям: как только колхоз выполнит план, заложит, сколько нужно, зерна на хозяйственные нужды, все оставшееся раздаст на трудодни. Кстати, посади ты на полуторку зятя Перцева, пусть работает, коли так сильно желает.

— Зачем? Ты что это?!—всполошился Сова, до этого откровенно не вмешивавшийся в разговор.

— Чтобы председатель сельсовета забрал свои жалобы обратно. Тогда никто не станет цепляться к тебе. А ты мне нужен на току. Будешь там следить за техникой. И вообще будешь помогать мне во всем,— объяснил Архаров.

— Все это хорошо,— сказал Евсеев.—А ежели Непашев затребует второй план?

— Пошлем его подальше! Вы же в колхозе хозяева. Как решите — так и будет.

— Да, пошлешь его, как же,—усомнился Евсеев.—У него власть. А власть — это не только бумага и телефон, власть — это и милиция, и банк, и кое-что другое.

— Улаживать эти дела буду я сам,—расхрабрился Архаров.—Ну что, договорились?

— Насчет молотьбы — конечно,—согласился Евсеев.— А насчет остального — жизнь покажет.

— Покажет, покажет,—заверил Архаров и подошел к своему гиперболоиду. Внимательно осмотрел его, даже постучал легонько о слесарный столик, проверяя на надежность.

— А что это такое?—полюбопытствовал Евсеев.

— Это должно быть то самое чудо-оружие. Что фактически получилось — шут его знает. Вот проведем испытание и увидим,—сказал Архаров и, растворив окно, поставил аппарат на подоконник, подключил его к розетке.— Митяй, на чем проверим? Не столб же валить.

Сова подошел к окну, осмотрелся.

— А вон ивушка стоит. Если чуток срежешь ей макушку, небось, ничего не случится,—предложил он.

Архаров согласился, нажал на кнопку включателя. Тотчас в небо устремился тоненький, но светлый, как молния, луч. Архаров, поворачивая аппарат, быстро подвел луч к дереву и чуть повел им слева направо. Верхушку кроны как лезвием сбрило.

— Ура-а!— в восторге закричал Сова.— Ура-а, мы непобедимы!

— Вот это да-а!— изумился и Евсеев.—Точно сабля, да еще какая!

Архаров уже отключил аппарат, вынул вилку из розетки. А Сова все захлебывался восторженными криками, прыгал и плясал, словно мальчишка.

— Ты погоди радоваться,—остановил его Архаров.— Аппарат еще надо довести до ума.

— А чего ему не хватает?—удивился Сова.—Действует — лучше некуда. И целиться не надо: луч сам показывает, что и где поражает.

— Вот именно. Луч сам показывает. А далеко ли его видно? Дерево метрах в ста стоит, и то я лишь по срезу понял, что попал. Так что придется или прицел сделать, или пристроить какое-то оптическое устройство.

Тут в обсуждение вмешался не меньше Совы восхищенный чудо-оружием Евсеев.

— Прицел — это долго,—со знанием дела заметил он.— И потом, как его устанавливать? Как высчитать влияние внешних воздействий? Пока на винтовке установишь правильный прицел — и то столько настреляешься. А тут такое устройство... Вообще, видеть издаля можно же просто, глядя в бинокль.

— Точно!—воскликнул Сова.—Ну и башка у нашего председателя! Кажись, как раз у тебя, Иван Евсеевич, и бинокль есть?

— Есть. Трофейный, немецкий,—подтвердил Евсеев.— Ради такого дела отдам его уполномоченному... тьфу ты, Леве.

— Заметано!—повеселел Архаров.— А тебе, Сова, задание: достать аккумуляторы. Как можно больше. Чтобы, значит, могли пользоваться саблей-лучом и в случае отсутствия сетевой энергии. Мало ли что может случиться...

— Бу сделано!—по-военному вытянулся Сова.—Есть у меня в МТС друг. За четверть самогону родную жену отдаст. На время, конечно, хе-хе... И, стало быть...— тут он хитро подмигнул.

— Что — стало быть?

— Еще чего надо?— одновременно спросили Архаров с Евсеевым.

— Я говорю, неужто это дело не отметим? Такую свободу придумали, такое оружие для ее защиты сделали — и даже по шкалику, что ли, не пропустим? А, Лева, Евсеич?

— Вообще-то, конечно... Но...— пробормотал Евсеев и махнул рукой:— Эх, и пропаду же я с вами! В такую авантюру втягиваете. Так и быть, поехали на пасеку...

Все трое спешно потянулись к выходу. Однако Архаров тут же вернулся, чуть подумав, сунул во внутренний карман пистолет, а аппарат для удобства связал платком, в котором Марфа приносила продукты, и взял под мышку.

«Нельзя его оставлять. Ни в коем случае нельзя,— подумал он.—И перепивать мне теперь невозможно».

14

Удивительно споро пошла работа в колхозе «Красный коммунизм». Если в обычные годы здесь даже обмолот длился чуть ли не до конца января, нынче за день успе-

вали намолотить столько, сколько в зимние месяцы за неделю не сумели бы. Одновременно каждый день на ближайшую железнодорожную станцию, где располагался элеватор «Заготзерно», направлялся обоз из двадцати-двадцати пяти повозок, а зять Перцева вместе с тремя грузчиками успевали делать на полуторке по три рейса в сутки. Зятек у председателя исполкома оказался вполне работящим, что как бы несколько оправдывало жалобы Перцева. Василий Николаевич все равно чувствовал себя перед Совой виноватым и при каждом удобном случае не забывал нахваливать его. Ведь обе семьи вообще-то состояли даже в отдаленном родстве по линии жен. Правда, если разбираться дотошно, из коренных жителей в селе вряд ли кто не являлся другому родней хотя бы через седьмое колено.

Колхозников вдохновляли в основном два обстоятельства. Во-первых, все уже знали, что после завершения обмолота предстояла грандиозная гулянка. Во-вторых, упорно распространялись слухи, что нынче трудодни не окажутся пустыми палочками в ведомости, что на каждую такую «палочку» колхозники получат не менее двух килограммов зерна и по полкило соломы. А что это значило? Это значило, что в Мохове жизнь повернет на сто восемьдесят градусов. Ибо, несмотря на раздевающие налоги и нормы, люди станут держать дома кое-какую живность: свиней, овец, коз, а кто-то потянет и корову. О-о, тогда! Тогда люди будут есть досыта хлеб, если не пост, лакомиться мясными и молочными блюдами. Детишки перестанут пухнуть от рахита. Зимой и взрослые, и дети начнут ходить в валенках или чесанках, носить связанные женами и матерями шерстяные носки и варежки. О-о, тогда!.. Впрочем, если весть о гулянке подтверждалась чуть ли не самим председателем колхоза, то о раздаче хлеба на трудодни он прилюдно еще не высказывался. Наоборот, ходили слухи, что Евсеев крепко получил «по шапке» за самовольную авансовую выдачу. Потому скептики утверждали, что разговоры о натуроплате — фуфло для простачков, что колхозы созданы не для возрождения кулаков. Однако их мало кто слушал, ибо хотелось, так хотелось верить в лучшее! И даже за эту веру люди трудились, словно на своем огороде перед грозой.

Между тем моховцам, действительно, грозила беда. Пока ее чувствовала лишь руководящая тройка села: председатель колхоза, секретарь парторганизации и председатель сельсовета.

Первый гром прогремел, когда после выполнения плана колхоз перестал возить хлеб в «Заготзерно». Несмотря на воскресенье, после обеда Евсееву принесли телефонограмму.

«Срочно.

Председателю колхоза «Красный коммунизм» товарищу Евсееву.

От вас на элеватор второй день не поступает хлеба. В чем дело? Немедленно возобновите поставки.

В следующем номере райгазеты «Заря коммунизма» будет опубликован ваш рапорт о выполнении первыми в районе плана и о подтверждении обязательства о двух планах.

Первый секретарь райкома ВКП(б)
Ненашев».

Вроде бы ничего необычного. Такие ли еще приходилось получать телефонограммы Евсееву. Иногда ему грозили всеми карами, какие вообще имеются в богатом арсенале райкома. И все же всегда выискивался какой-нибудь выход, который не затрагивал твою честь, не говоря о душе. Однако в данном случае такое никак не предполагалось. Или надо было выполнять второй план и опозориться перед колхозниками, или отказаться от второго плана и... О последствиях даже не хотелось думать.

Как известно, одна голова хорошо, а две — лучше. Три же — совсем плохо, добавили бы мы от себя. Потому, наверное, Евсеев выбрал второй вариант и решил посоветоваться с Архаровым, поскольку весь сыр-бор загорелся из-за него.

Побывав на току как бы по делу, Евсеев прихватил с собой Архарова на наряд. Правда, до его начала еще оставалось достаточно времени, и они по пути заехали на стройку века.

Как и колхозники, плотники работали и в воскресенье. Но какого-то душевного подъема здесь не наблюдалось. Наоборот, вид у всех был явно удрученный.

— Ни хрена не выходит и с ромбовидным домом!— сказал бригадир в ответ на традиционный вопрос председателя о делах.—Угловые комнаты становятся похожими черт знает на что. Кто согласится в них жить? Да и квартиры в целом никак не получатся одинаковыми. А солнце в задние окна заглядывает чуть-чуть. Боюсь, когда день заметно укоротится, не будет и этого.

— Да-а, —разочарованно протянул Евсеев. Вдруг его осенило:—Слушай, а ежели мы построим дом в виде баш-

ни? Одна квартира — один этаж. И все будут одинаковы.

Плотники явно заинтересовались предложением, начали оживленно обсуждать его.

— А что, Иван Евсеевич, вроде бы дело это,—приободренный, подытожил мысли товарищей по топору бригадир.

После этого они, быть может, снова воодушевились бы и возобновили работу на важнейшей стройке века, не вмешайся некстати в разговор Архаров.

— Квартиры будут со всеми удобствами?—наивно спросил он то ли у бригадира строителей, то ли у председателя.

— С какими, то есть, удобствами?— переспросил Евсеев.

— Ну, будут в квартирах центральное отопление, газовая или электрическая плита, горячая и холодная вода, теплый туалет, ванная?

— Насмехаешься, Лев Борисович?—обиделся Евсеев.— Таких условий у нас в районе даже у Ненашева нет. Сам видел, хоть и закрытая у него сортира, все одно во дворе стоит. От ветра аль от дождя, конечно, защищает, но от мороза, полагаю, никак... А о центральном отоплении я даже представления не имею. Так что придется пока обходиться печкой. Горячая и холодная вода и прочие штуки — это тоже из области сказок. И плита... Газовая, говоришь? Это как понимать? Травить людей, что ли? Насчет электричества, сам знаешь, не до плит нам пока. Молотилка бы вот не остановилась ненароком.

— Тогда, выходит, и лифта не будет?—как бы удивился Архаров.

— А это что еще такое, с чем его едят?—спросил бригадир.

— Это такая клетушка. Зайдешь туда, нажмешь на кнопку — и она поднимает тебя на нужный этаж. Или опускает вниз.

— Ты, Лев Борисович, иногда скажешь такие вещи,— недовольно пробурчал Евсеев.—Все ж-таки мы пока в пятьдесят первом годе живем. Какой-такой еще лифт, многие наши бабы, извиняюсь, гражданки даже о лифчике понятия не имеют.

— Тогда о каких равных условиях для всех жильцов вы говорите?!—воскликнул Архаров.—Представьте себе, вы живете на десятом этаже. Затащите-ка туда дрова. Или воду. А если, не дай Бог, в морозную ночь понос прошибет? Боюсь, не успеете до общего туалета добежать.

Хотя, понимаете, спускаться вниз, конечно, несколько легче...

Все на минуту смолкли, представляя каждый себе только что обрисованную картину. Бригадир, кажется, увидел ее особенно отчетливо, даже вздрогнул и, на всякий случай подтянув штаны, произнес непонятное:

— Бр-р-р!

— Да, однако,—вынужден был согласиться и Евсеев.— Черт знает что...

— Может, вы просто поспешили с солнечным домом? Может, до поры до времени просто невозможно его строить? Может, вообще невозможно?—высказал крамольную мысль Архаров.

— Ну что ты!—не согласился с ним Евсеев.—Ведь райком же одобрил.

— Смотрите, дело ваше, конечно,—заметил на это Архаров.—Но я таких домов нигде не встречал. Если бы ваш эксперимент оказался удачным, я должен был бы знать не только об этом, но и о тысячах таких домов, построенных по вашему примеру. Да что дома, за сорок лет должны были возникнуть целые солнечные города! Ведь так?

Евсеев на это ничем возразить не смог, лишь развел руками.

— Дак что нам теперча делать?—спросил с интересом прислушивавшийся к их спору бригадир строителей.

— Разберите сруб!—приказал Евсеев.—А мы тем временем обдумаем другие варианты.

Потом, уже сидя в тарантасе, он наконец-то начал разговор о главном.

— Вот, получил сегодня,—протянул он телефонограмму Архарову.

Тот внимательно прочитал, усмехнулся.

— Знаешь, я иногда просто возмущаюсь твоим легкомысленным отношением к таким вещам,—рассердился Евсеев. Похоже, он окончательно освободился от синдрома зависимости от него как от представителя вышестоящих органов. Хотя вроде бы у Архарова теперь появилась невиданная сила и мощь, но он не был уполномоченным.

— А что прикажешь делать над такой глупостью?— вернув телефонограмму, отпарировал Архаров.—Хочет уважаемый товарищ Ненашев напечатать рапорт в газете — пусть печатает. Его дело, его газета. Ты-то здесь при чем?

— Но там будет стоять моя подпись!

— А ты лучше в суд подай за дезинформацию. Ведь

подлинной твоей подписи, надеюсь, не будет под текстом?

— В суд? На Ненашева?—ужаснулся Евсеев. При этом глаза его стали круглыми, как у филина.— Да наш суд, может, станет судить самого Господа Бога, ежели прикажут, но секретаря райкома — никогда. А кто смеет думать иначе — тот просто круглый дурак.

— Спасибо за комплимент,— улыбнулся Архаров.— Хорошо хоть не полукруглый. Труднее было бы валять такого дурака.

Евсеев понял, что сморозил не то, но по простоте своей прощения просить не стал. Да и Архаров не думал на него обижаться.

— Председатель, мы же договорились в случае чего валить все на меня,—напомнил он.—Так чего у тебя трясутся поджилки?

— Да, но когда это было. Когда ты числился представителем области,—резонно возразил Евсеев.—А сейчас ты сам ходишь на волоске от беды.

— Ну, волосок этот крепче морского каната...—нахмурился Архаров.—Сослаться же на меня все равно можно. Скажи, терроризирует, мол, каким-то чудо-оружием. Грозится спалить все село, если не выполнять его условия.

— Ежели не поверят? Или пришлют сюда транспорт из района и сами все вывезут.

— Тогда в точности спалим пару машин, чтобы наглядно было, —пообещал Архаров.

— После такого мне прямая дорога на Соловки. И то в лучшем случае. Ох, и связался же я...

— Да не боись ты!—хлопнул Архаров председателя по плечу.—Не дам я тебя в обиду. Вот увидишь, все будет о'кей.

— Вечно будешь при мне ходить со своим чудо-аппаратом?—усмехнулся Евсеев.—Так ведь прикокнут из-за угла. Да и уснуть можешь. А кое-куда я тебя сам не возьму с собой.

Долю правды в его словах приходилось признавать. Оружие — оружием, но если не применять умеючи, как говорится, не то что сваю, простой гвоздь бабой не забьешь. Да и таскать аппарат с собой постоянно невозможно по той простой причине, что он в переносном варианте гораздо тяжелее, чем в стационарном, так как включает в себя минимум пару аккумуляторов.

— Что, если я буду защищать не лично тебя, а все ваше село?—начал размышлять вслух Архаров.

— А как? На самолете будешь круглые сутки над селом летать?—съязвил Евсеев. Оказывается, он мог быть довольно едким.

— Самолет не самолет, а иметь бы вертолет,—размечтался Архаров.

— Это еще что такое?—не понял Евсеев.

— Ладно, это из другой оперы,—махнул рукой Архаров, сообразив, что председатель вряд ли имел представление о вертолете.—В одном ты прав: надо аппарат поставить так высоко, чтобы сверху охватывать всю территорию вашего колхоза. Кстати, показалось мне, что ток у вас — самое возвышенное место?

— Точно так. Специально выбрали, чтобы всегда ветрено было. И скирды будут стоять в сухости, и веять сподручнее.

Они уже подъехали к правлению. Евсеев остановил Ваську, закинул ногу на подножку, собираясь слезть с тарантаса.

— Постой!—удержал его за рукав Архаров.—Садись, есть идея!

— Хватит с меня твоих идей. Кажется, пришла пора ответ за них дрежать. Боюсь, достанется больше мне, чем тебе,—пробурчал Евсеев и остался стоять одной ногой на подножке.

— Нет, это такая идея, которая спасет мир!—пообещал Архаров.—Слушай, председатель. Тебе надо немедленно приказать своим плотникам поставить высотный дом на току. Лучше даже не дом, а настоящую башню. Чтоб до неба доставала. Чтобы торчала, как американский небоскреб. Чтобы видно было оттуда на десятки километров вокруг. Сечешь?

Евсеев поднялся в тарантас, бухнулся на сиденье.

— Секу,—сказал он тихо.—Но... Неужто будем со всей страной воевать?

— Во-первых, не воевать, а защищаться. Во-вторых, почему страной? Вернее будет сказать: с ненашевыми и их покровителями.

— Однако на самом деле это может означать войну с армией.

— Армии мы не боимся,— безапелляционно заявил Архаров.—Короче, прикажи строить башню. Людям скажем, что это будет пожарная вышка. Еще благодарность получишь за инициативу.

— Башня — это хорошо. Но на ней придется дежурить

круглые сутки. К тому же ночью не видно...—засомневался Евсеев.

— Это моя забота. Твое дело — построить башню. Тогда я тебе подскажу, как оправдаться перед твоим Ненашевым,— пообещал Архаров.

— А-а, была не была, помирать — так с музыкой,— махнул рукой Евсеев.—Сегодня же составлю наряд на завтра, чтобы весь лесоматериал перевезли от солнечного дома на ток и начали поднимать башню.

— Вот что еще,—сказал Архаров.—Завтра тебе придется съездить в район, объясниться с Ненашевым. Скажешь, что я не даю тебе даже рукой шевельнуть по своему усмотрению. В то же время на полном серьезе предупреди, что теперь меня взять гораздо сложнее, чем когда я находился в здании ГЭС. Так что с моим арестом пусть не очень торопятся, а сначала разработают обстоятельный план. Пока суд да дело, через пару дней мы завершим обмолот и устроим пир горой. На гулянке с народом договоримся обо всем. К тому времени и башня начнет подниматься. Короче, вот тогда и наметим свой окончательный план. В любом случае ты за себя не бойся. У тебя будет стопроцентное алиби. А я тебе создам условия, чтобы ты стал подлинным председателем. Лады?

— Попробуем,— согласился Евсеев.—Куды ж мне теперь деваться, коль осталось лишь за тебя держаться.

— Вот и нормалек,—удовлетворенно сказал Архаров.— Так мне оставаться на наряд? Думаю, я тут тебе нужен, как собаке второй хвост. Лучше потопаю-ка я к своему активу, сообща еще кое-что обмозгуем.

Он, оставив задумавшегося Евсеева в тарантасе одного, покинул пределы сельской площади, самодовольно мурлыча под нос: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью...»

Поздно вечером по его просьбе Марфа пригласила в свой дом Сову с Соловьем. Трое мужиков, действительно, долго что-то обсуждали, рисуя на столе кончиком ножа план колхозных земель, после чего просохшие от долгого спора глотки хорошенько промочили жидкостью из совиного бутыля. И вскоре все трое во весь голос запели: «Мы рождены, чтоб сказку сделать былью...»

Хорошая, однако, песня.

15

Прошло еще два с половиной дня и в среду к обеду— о чудо!—моховцы завершили обмолот. По рассказам людей среднего и старшего возраста, такого не бывало со дня создания колхоза. Мало того, одновременно Алексей и Серафима Соловьевы, работая со своими детьми-плугарями посменно круглые сутки, в лучшие сроки подняли зябь. До этого, естественно, вся солома, оставшаяся после комбайна, была убрана в скирды. И хотя впереди предстояло еще немало трудных дней, ибо картофель и свекла занимали чуть ли не сотню гектаров, никого это уже не страшило. Ведь в расчете на каждого трудоспособного корнеплодов выходило не более двадцати соток. Разве это проблема для заинтересованного крестьянина?

Архаров в эти горячие дни не раз задумывался над тем, куда же в девяностых годах подевались люди из таких вот сел. Ведь тогда в каком-нибудь подобном Мохове окажется не полторы тысячи, а самое большее сотен пять людей, и то в основном преклонного возраста. Признаться, сама по себе проблема эта ему была, как говорится, до фени, но больно уж не хотелось в промозглый октябрь выезжать на картошку.

Впрочем, не об этом приходилось голову ломать.

В понедельник Евсеев, вернувшись из района, тут же заехал на ток к Архарову и подробно рассказал о беседе с Ненашевым. Секретарь райкома вроде бы дал отсрочку на неделю с тем, чтобы не будоражить моховцев во время несения трудовой вахты по выполнению заданий партии, правительства и лично товарища... И не только моховцев, а и всех жителей района, поскольку слух о самозваном представителе области, заставляющем раздать хлеб колхозникам, дважды оказавшем сопротивление органам и продолжающем бесчинствовать в таком же духе, разошелся далеко за пределы села. Взамен отсрочки Евсееву было приказано, чтобы руководящая тройка села сама организовала задержание Архарова, после чего колхозу окажут помощь «для ускоренной вывозки второго плана». Тогда, дескать, многие грехи председателя забудутся. Если же в течение недели приказ не будет выполнен, Ненашев грозился прислать в Мохово целую роту, которая не только арестует самозванца, но и выскребет все колхозные сусеки и прихватит с собой десяток-другой мужиков, активно помогавших Архарову. Якобы список таких людей уже составлен и лежит на столе начальника райотдела НКВД.

— Лева, ты хоть понимаешь, в какое положение меня поставил?—с дрожью в голосе сказал Евсеев.—Я ведь, получается, не только не обеспечу людей хлебом, но и способствую тому, что у них последние зернышки отберут. При этом сколько детей останутся сиротами. Вот и думаю теперь, надо ли нам упорствовать, ежели овчинка выделки не стоит.

— Ты не тушуйся, председатель,—успокоил его Архаров.—Во-первых, у тебя впереди целая неделя. За это время ты можешь все переиграть. Во-вторых, для моей сабли рота ходячего мяса что червяк под лезвием. Ты только ускорь строительство башни, чтобы я мог побольше территории перекрыть. А в-третьих, мы сделаем все, чтобы тебя поддержало абсолютное большинство колхозников. Против всего народа не попрешь.

— Сказал тоже — «против всего народа». Моховцы — это еще не весь народ. А ежели бы и народ, кто будет с ним считаться? Руководитель — человек, который командует всеми, ему не след обращать внимание на мнение подчиненных,—не согласился Евсеев. Однако, похоже, все-таки немного успокоился.

— Интересный ты человек,—заметил Архаров.—Хочешь сделать людям добро, а сам не желаешь считаться с их мнением. Ну да ладно, не о том пока речь. Ты, председатель, главное, гулянку организуй как положено. Чтоб медовухи было навалом, жратвы. И тогда мы все твои проблемы решим в одночасье.

— Решить такие проблемы с нашими людьми?—скептически усмехнулся Евсеев.

— Решим!—твердо обещал Архаров.—Ты даже не представляешь, как резко меняется русский человек после хорошей выпивки. Подозреваю, революцию запросто совершит.

Поверил ли, нет ли Евсеев, но команду быстрее строить башню дал. Мало того, к ударному объекту прикрепил еще с десяток местных мужиков, умеющих держать в руках топор. И начала подниматься башня хоть и не по часам, но по этажу за день.

Тем временем, как уже говорилось, был завершен обмолот. И через день с утра началась подготовка к массовому гулянию. Она постороннему, может, и не бросалась в глаза, а чувствовалась повсюду. Почему-то, к примеру, колхозная столовая пока не закрывалась. И варили там щей и пшенной каши по несколько котлов. Марфа, как и некоторые другие женщины, с утра выпекла калачи, хотя

лично у нее не было ни горстки пшеничной муки. Калачи у нее получились пышные, но тугие: сжимались, как губка, но, как только отпустишь, принимали прежнюю форму.

— Как твои тити,— похоже, неудачно пошутил Архаров. Однако такое сравнение Марфе пришлось явно по душе. Она даже зарделась, разрумянилась, как только что вытащенный из печи и смазанный топленым маслом калач.

Жены Совы и Гришы Менялы в это время процеживали сусло. В сарае уже стояли две наполненные пивом десятиведерные бочки. Сам Гриша с зятем Перцева съездил куда-то на полуторке и привез дешевого бочкового вина. Вовсю расстарался Михаил Егорович. Даже Евсеев предполагать не мог, что у него на пасеке остается столько неподотчетного меда. Еще где-то стряпали пироги, где-то пекли хлеб. Вовсю дымили восстановленные в овраге «ничьи» винокурни, благо никто этому не мешал. Ненашев пока держал слово, в Мохово в эти дни не заглядывал даже участковый милиционер, а представитель райкома ВКП(б), исполкома райсовета и райкома комсомола Кнутов после позорной ретировки отряда Гремучего в колхозе вообще не появлялся. Говорили, будто бы отрядили его уполномоченным в лесничество, где почему-то не выполнялся план по заготовке лыка и веников. Ради правды стоило бы упомянуть, что местная номенклатура, включая налогового агента Петухова, конечно, все знала о происходящих в селе подвижках, но, по неписаным законам, в таком деле даже с их стороны до поры до времени предательство не допускалось.

И вот он наступил, миг желанный, миг долгожданный! К обеду из села к лесу потянулись беспрерывной цепочкой люди. Их обгоняли тарантасы председателей колхоза и сельсовета, повозки бригадиров, старшего конюха, заведующих фермами, простые повозки, груженые котлами, бочками, ящиками, большими и малыми свертками. Казалось, происходит вселенское переселение. И весь этот поток начисто поглощался густым смешанным лесом, так что когда, наконец, попали в его объятия последние крестьяне — отставшие из-за немощи своей старики и пара старух, вроде все утонуло, словно в дрыгву. Однако ежели бы кто заглянул на ближайшую поляну, увидел бы, как, словно муравьи, кишели здесь люди. Прямо на земле, на расстеленных прямоугольником циновках, были накрыты праздничные столы. Какие на них яства и напитки — читатель, наверное, догадывается сам, ибо уже под-

робно перечислялось, что и как готовили моховцы к гулянке. Большинство из них, похоже, никогда не видело такого изобилия. Потому, как только Евсеев поздравил колхозников с успешным завершением уборки хлебов, ровно в два раза, а может, и больше рук, чем самих людей за этими «столами», замелькали с такой частотой, поднося ко рту то стопку самогона или вина, то ложку со щами, то кусочек пирога, то яйцо вкрутую, то картошку круглую, то соленый огурчик, что показалось, не муравьи здесь кишат, а многотысячная стая саранчи.

Поддавшись общему настроению, усиленно работали челюстями и Евсеев, и сидевшие рядом Архаров, Сова, Соловьев. Почуявшие в последнее время что-то неладное, Перцев с Пряниковым держались подальше от председателя, однако по части застольной работы от него не отставали.

— Думаю, пора сообщить народу о наших задумках,— сказал Евсеев, опрокинув третью по счету стопку.—Вскоре люди перестанут соображать.

— Еще рано!—не согласился Архаров.—Позволь в этом деле командовать мне. Уж я-то хорошо знаю, когда душа пьющего человека просто размягчится, а когда наступит беспредел.

— Ну, гляди,— многозначительно отозвался Евсеев и потянулся к кружке с пивом. Все-таки крепка оказалась самогонка, без запивки жгла желудок.

Но вот звон посуды стал потише, вместо этого потихоньку начал возрастать гомон переговаривающихся людей, то и дело раздавались шутки, смех. Руки реже стали тянуться к чашкам и тарелкам, только стопки, стаканы и кружки продолжали продвигаться по кругу с прежней же скоростью.

— Вот теперь пора! Люди стали благодушными, в то же время еще сохраняют ясность в голове,— заключил Архаров.—Давай, председатель, ораторствуй.

Он постучал ложкой по графину. Вообще-то стекло отозвалось слабо, но люди обратили внимание на его особую звень. Так городской житель отличает в грохоте трамваев, троллейбусов и автомашин писк неизвестно как оказавшегося в комнате комара.

— Внимание, товарищи! Прошу внимания!

Оказывается, Евсеев тоже при случае мог гаркнуть весьма внушительно. Или он слово «ораторствуй» понял как просьбу громче орать? Как бы ни было, гомон тут же прекратился, все повернули головы в одну сторону.

Убедившись во всеобщем внимании, Евсеев начал речь:

— Дорогие мои земляки! Товарищи колхозники и колхозницы, а также трудовая интеллигенция! Позвольте выразить всем вам огромную благодарность за ваш небывалый ударный труд на уборке урожая. Под руководством мудрого вождя пролетариата и трудового крестьянства товарища Сталина, родной партии и родного правительства мы нынче отлично провели социалистическое соревнование, все работы по уборке хлебов сумели осуществить вовремя и качественно. И хотя урожай, может, был не самый, так сказать, однако же за счет предотвращения потерь в амбарах его оказалось больше, чем в прошлые годы. И вот решили мы на правлении: нынче ограничимся сдачей государству одного плана. Зато колхозникам их самоотверженный труд оплатим натурой сполна. Чтобы, значит, сделать очередной большой шаг к коммунизму — светлому будущему всего человечества. Вот и все, что я желал сказать.

Люди сначала аж остолбенели. Некоторые мизинцами проковыряли свои уши: дескать, не ослышались ли? Нет, в речи председателя вроде все было привычно. И Сталина вспомнил, и партию, и правительство, и социалистическое соревнование. Однако прозвучало и что-то непривычное. Что именно — чуточку хмельные люди сразу никак не могли сообразить. Но вот до кого-то наконец дошло, и он тихонько себе под нос воскликнул: «Натурой! Сполна!..»

— Натурой! Сполна!— подхватили его десятки голосов.

— Мужики! Бабы! Слыхали, с хлебом будем нынче!

— Ура председателю!

— Качай его, ребята!— начали одобрительно кричать со всех сторон.

Качать, правда, не стали. Для этого пришлось бы подняться с сидячего по-турецки или даже лежачего положения, а спиртное, как известно, размягчает не только душу. Тем не менее долго еще раздавались хвалебные возгласы в адрес председателя. Надо полагать, впервые в истории.

— Однако!—послышался вдруг отчаянный дискант.— Однако, товарищи!

Все повернули головы в противоположную от председателя сторону.

— Однако этот вопрос с партбюро не согласован!— резко крикнул Пряников, сняв очки и начав протирать

вспотевшие от волнения стекла. При этом люди в первый раз увидели его глаза. Они оказались маленькими, совершенно невыразительными, бесцветными.— Я вынужден напомнить вам, уважаемый Иван Евсеевич, и всем вам, уважаемые товарищи колхозники и колхозницы, что вами перед всем районом взято обязательство сдать государству два плана. Вынужден также предупредить, что для советского человека интересы партии и государства всегда должны быть превыше всего. Так учили нас основатель партии товарищ Ленин и гениальный продолжатель его дела товарищ Сталин. А кто думает иначе — тот враг Советской власти и прямой пособник злейшего врага всего трудового человечества — империализма. И я от имени партии и правительства заявляю: в веренном мне колхозе анархии не допущу!

На какое-то время наступила мертвая тишина. Хотя нет. Отчетливо стало слышно, как поют птицы, недалеко выстукивает азбуку Морзе дятел, с шелестом перелетают гонимые небольшим ветерком свежеопавшие листья. Лишь люди ошарашенно молчали. Возразить секретарю партбюро — об этом ни у кого даже мысли не появлялось. Но упустить вот-вот готовую оказаться в руках жар-птицу счастья тоже не хотелось. И когда неожиданно, заставив всех вздрогнуть, раздался крик, больше похожий на львиный рык, люди облегченно вздохнули. Тем более человек не только гаркнул, при этом еще сказал:

— А я не допущу, чтобы всякими глупостями шельмовали колхозников! Ясно?

Головы всех опять повернулись в противоположную от Пряникова сторону, то есть к Евсееву. Только гаркнул-то не он, а сидевший рядом с ним Архаров. Впрочем, он уже встал, и все поняли, у кого такой мощный рык.

— А я не допущу, чтобы всякими глупостями шелъмовали колхозников!—повторил Архаров.— Просветите-ка нас, уважаемый Варсонофий Абрамович, кто хозяин в нашей стране?

— Трудящийся народ. Рабочие, крестьяне и трудовая интеллигенция,—с вызовом ответил Пряников.

В подобных дискуссиях он чувствовал себя, как рыба в воде, потому в душе уже торжествовал победу над этим нахальным самозванцем. После чего, естественно, сторонники Евсеева будут повержены и... И наконец-то, кажется, для Пряникова найдется место в аппарате райкома. Редко бунтуют председатели колхозов, отличиться в таких ситуациях — единственный шанс пойти в гору для человека,

у которого просто нет мохнатой поддерживающей руки.

— А кто хозяин на заводе?—продолжал наивно спрашивать Архаров.

— Известное дело — рабочие, гегемон, так сказать.

— А в колхозе?

— Колхозники, разумеется,— начал раздражаться Пряников.—Только не пойму я, к чему эти вопросы. Ответы на них известны даже учащимся начальных классов.

Архаров обвел взглядом притихших людей, с интересом прислушивающихся к спору двух грамотных, то бишь образованных людей.

— Тогда вдвойне удивительно,—насмешливо сказал Архаров,—почему это вы, учитель, вмешиваетесь в дела колхоза. Мало того, говорите, что чего-то вроде бы не допустите, не позволите. А ведь все обстоит гораздо проще: как решат сами колхозники, то есть хозяева колхоза, так и будет.

— Ан не-ет!—уверенно возразил Пряников.—Я не колхозник — это правда. Но я состою в колхозной парторганизации. Следовательно, как коммунист защищаю интересы членов сельскохозяйственной артели. А вот вы чьи интересы защищаете, хотел бы я знать?

— А поручали вам члены сельскохозяйственной артели защищать свои интересы?—не сбавил наступательного порыва Архаров.—И каковы они, их интересы, вы знаете?— Он тут же обратился к народу:—Мужики! Бабы! Не слушайте никого. Колхоз — это ваше коллективное хозяйство. Коли вы желаете излишками продукции распорядиться по своему усмотрению, никто вам не указ. Так что глядите сами. Не захотите больше нищенствовать, сидя на мешках с хлебом,— слушайтесь своего председателя. А я вам гарантирую полную безопасность. Если, конечно, доверите мне защищать ваши интересы. А о моих возможностях, надеюсь, сарафанное радио успело сообщить всем. И еще. Чтобы не было обиняков, признаюсь: никакой я не представитель области. Я просто пришелец из будущего. Вполне авторитетно заявляю: не бойтесь вы ни Сталина, ни Берию, ни черта рогатого. Скоро от них духу не останется. А как пойдет дальнейшая жизнь — будет зависеть прежде всего от вас самих.

Пока Архаров держал речь, Сова пустил по кругу его рубль из девяносто первого года. Металлическая монета, как когда-то и его самого, и Евсеева, убеждала людей лучше любого документа. И люди начали воспринимать слова Архарова вполне серьезно, стали оживленно обсуж-

дать между собой его не очень красную речь. Некоторые старушки, вознеся очи к небу, осеняли себя крестным знамением, одновременно благодарили Господа Бога за то, что услышал наконец их мольбы и послал на грешную землю своего ангела восстанавливать справедливость.

— Председатель, скажи, по сколь нам досталось бы на трудодень? Может, там граммы одни, а мы из-за них будем жизнями рисковать?—перекрывая шум, спросил Гриша Меняла.

Евсеев начал размышлять вслух:

— Ну, ежели мы засыпим на семена, на фураж, да еще страховой фонд, останется... Та-ак. Трудодней у наших колхозников набирается в год около восьми тысяч... Ежели не считать выданного аванса, выходит еще по два-два с половиной кэгэ на трудодень.

— Еще по два-два с половиной?!—ахнула соседка Совы Валентина и тоже вслух подсчитала:—Стало быть, ежели мы всей семьей наберем хотя бы триста трудодней... Батюшки-светы, этта же.. почти пятьдесят пудов! Мы такой хлебушек только до колхоза и видели...

Тут не удержались и другие, кто морща лоб, кто загибая пальцы начали подсчитывать свои будущие доходы. Многие остались довольны. Правда, были и такие, кто разочаровывался и махал рукой, приговаривая про себя что-то наподобие: «А-а, пущай тешутся. Все одно государство этого не допустит».

— Вопросик можно?—перебив общий гул, спросил Петухов.—Скажите, пожалуйста, пришелец из будущего, в дальнейшем налоги следует собирать аль они вами отменяются?

— Пока ничего отменять не будем. Идти против государства — все равно, что плевать против ветра. Но мы за то, чтобы оно тоже признавало свои же законы. По ним выходит, что излишками продуктов должны распоряжаться те, кто их производит. Кстати, о налогах. Сколько вы их платите конкретно? Я хочу подсчитать и выяснить, насколько они справедливы. Тогда со временем подумаем и о них.

— А вы, пришелец, разве не спросили у своей хозяюшки, какие она налоги платит?—ухмыльнулся Пряников.— Или с ней у вас разговоры лишь об одном?

Марфа сидела недалеко от Архарова. Она резко вскочила, легонько встряхнула с подола платья хлебные крошки.

— Варсонофий Абрамович! Не вам бы говорить о налогах. Вы интеллигент, освобождены от многих из них. А я... Я скажу, сколько чего отдаю. Кроме тех денег, которые отбирает у меня Петух, я еще должна государству двести яиц, два пуда мяса, три кило масла, пять кило шерсти. А у меня, кроме порося да пяти кур, никакой живности во дворе. Разве это справедливо? Насчет же того, о чем мы говорим с Львом Борисовичем... Его ко мне на постой определил председатель. А вы прошлым летом сами хотели квартирантом моим стать. Хотя имеете свой дом. Хорошо я супруге вашей успела сообщить...

Дружный хохот перекрыл последние слова Марфы. Теперь уже вскочил Пряников, желая то ли как следует отбрить Марфу, то ли сказать что-то веское в свое оправдание. Но сообразив, что все это в данной ситуации выглядело бы нелепо, махнул рукой и отошел в сторону, в кусты, чтобы освободиться от излишка пива.

— Мил человек, хотелось бы все же знать, каким таким макаром ты собираешься защитить нас. Говорят, не боишься целой армии, потому как есть у тебя чудо-оружие. А ежели, скажем, йоропланы прилетят бомбить?— спросил тут один старик.—Что тогда?

— Тогда что? Тогда-а...

Архаров оглядел людей, с неподдельным интересом ожидавших ответа, затем осмотрелся вокруг, взглянул на небо.

— Сова, подай-ка сюда аккумулятор,—сказал тихо, расчехляя свой аппарат, похожий на небольшой жестяной бачок с длинной тоненькой трубочкой с одной стороны и со шнуром с другой. Впрочем, читатель знает, что это и есть сабля-луч, с которой он теперь не расставался.

Подсоединив аппарат к аккумулятору, а к аппарату — бинокль, Архаров еще раз взглянул на небо, спросил:

— Люди, видите, высоко в небе парит ястреб? Видите, стало быть. Ну-ка, скажите, кто воевал, собьют его с одного раза зенитчики, будь это самолет?

— Скажете тоже,—послышался мужской голос.—Тут стрелять да стрелять.

— А теперь глядите...

Архаров взял аппарат в руки, направил его трубочкой вверх, чуть прицелившись, нажал на кнопку. Из трубочки к ястребу тут же потянулся молнисто-яркий (аж в глазах зарябило) луч. Архаров чуть-чуть поводил им и вдруг ястреб стал падать, словно превратился в камень. Народ и ахнуть не успел, как птица глухо ударилась оземь где-

то совсем рядом с поляной. Несколько молодых людей, подогретых интересом и самогоном, тут же вскочили и побежали на поиски. Вскоре они притащили довольно-таки крупного ястреба с размахом крыльев чуть ли не в два аршина. Более пожилые люди начали внимательно изучать его, то и дело восхищенно восклицая:

— Вот это да-а!

— Гляди, голову как бритвой срезало.

— С одного-единственного раза...

Архаров тем временем как ни в чем не бывало разобрал аппарат, зачехлил его. Обслуживающий его вторым номером Сова, наоборот, был восхищен беспредельно, сиял от радости, словно это он придумал чудо-оружие.

В этой обстановке лишь возбудивший весь этот ажиотаж старик («Это мой свекор Николай Макарович»,—успела предупредить Марфа) оставался спокойным.

— Что и говорить, ружье твое чудесное,—сказал он в раздумье.—Однако на свете и ночь бывает, и метели, когда ни зги не видно.

— Дедушка, уважаемый Николай Макарович! Уж не думаешь ли ты, что государство наше станет воевать со своими трудящимися гражданами? Из-за чего? Из-за того, что они на деле начнут строить провозглашенный вождями социализм?—сказал Архаров.—Если все-таки это случится... Мое оружие позволит противостоять любой силе. Оно в пределах видимости поражает все. Броню разрежет, как нож масло. Действует безотказно. А насчет ночи или метели... Что ж, придется организовать дежурство, если понадобится. Пару-другую ночей в году не поспать ради достойной жизни — плата, думаю, небольшая. А, люди?

— Итого более трех килограммов на трудодень — это вам не кот начхал,—напомнил при этом Евсеев.

— Чего тут мудрить? Колхоз на то и колхоз, чтобы все сообща решать!— крикнул Меняла.—Даешь оплачиваемый трудодень! Даешь свободу распоряжаться излишками продуктов!

Пряников, вернувшийся из-за кустов в прямом и переносном смысле облегчившимся, решил снова взять бразды правления дискуссией в свои руки.

— Что вам скажет в таком случае рабочий класс?— грозно прикрикнул он.—Знает ли ваш пришелец из так называемого будущего, что в городах все еще хлеб выдают по карточкам. По полкило на работающего. А на членов семьи и того меньше...

— Эх, нам бы эти полкило!—с завистью пробормотал кто-то.

Но уши Пряникова не были настроены на подобные реплики.

—...И рабочий класс не допустит, чтобы крестьяне пошли за недобитыми кулаками, так и знайте!—пригрозил секретарь парторганизации.—Не спасет вас никакое чудооружие. Вообще это — лишь фокус. Знаете, есть в городах такие места, где они каждый день показываются. Цирк называется. Подозреваю, гражданин Архаров никакой не представитель области, никакой не пришелец из будущего, а просто шарлатан, неудачник, мошенник, авантюрист, выгнанный из того самого цирка. Морочит нам голову, показывая якобы какие-то изобретения. Партия давно разоблачила таких лженаучных деятелей, придумывающих кибернетику и всякие другие антиматериалистические штучки. Гениальный мудрец и вождь товарищ Сталин сам лично пригвоздил их к позорному столбу. Так что глядите, народ: опомнитесь — ан поздно будет. А требования железной социалистической дисциплины вы знаете.

Люди от долгого спора, похоже, стали уставать. У некоторых, кажется, пересохло в горле, хотя как раз они в основном помалкивали, лишь прилежно поворачивая головы в стороны выступающих. Как бы то ни было, люди с пересохшими горлами потянулись кто к четвертям с зеленым змием, кто к чайникам с медовухой или к кувшинам с пивом.

— Раз такое дело, не о чем и речь вести.

— Не приведи Бог, еще рабочие продотряды пришлют,—вполголоса переговаривались они между глотками желанных напитков.

Однако пришелец из будущего или просто шарлатан, неудачник и т. д. оказался башковитым малым. Нашел что ответить даже партийному секретарю, который, как казалось моховцам, всегда говорил так правильно, что никто ничем ему возразить не мог. Правда, до многих смысл сказанного им дошел не сразу.

— Мужики! И женщины наши дорогие! Заметил я, некоторым стало скучно от наших споров,—улыбнулся Архаров.—И правильно. Не для заумных разговоров мы собрались сюда. Мы гуляем сегодня! Во всю ивановскую! Потому как имеем право. Потому как здорово поработали. Так что налейте кому что по нутру, выпейте за наши дальнейшие успехи!

Повторить просьбу второй раз не пришлось. Все вы-

пили по... скажем так, несколько чарок того, другого, третьего, закусывали огурцами так, что некоторое время над поляной стоял такой хруст, будто по утреннему снегу в сорокаградусный морозец проходит нестройным шагом рота солдат. Когда не осталось ни одного не покрасневшего человека, Архаров и ответил Пряникову.

— Теперь оторвись, народ, на минуту от бокалов и закусок, передохнем,—сказал он.—Заодно послушайте, что я вам скажу насчет кулаков. Битых и недобитых. Вот вы вырастили хороший урожай, вовремя его убрали, с государственным планом рассчитались, в свои закрома на хозяйственные нужды заложили тоже достаточно. И у вас еще осталось немало зерна. Скажите, уважаемый Варсанофий Абрамович, вашему колхозу надо было вырастить урожай поменьше?

— Вы что дурачком прикидываетесь?— рассердился Пряников.— Коллективные хозяйства для того и созданы, чтобы эффективно использовать каждый гектар, чтобы...

— Хорошо, хорошо, с этим ясно,—перебил его Архаров.— Теперь допустим, что колхоз «Красный коммунизм» получил бы еще больше зерна. Что бы в таком случае делало государство?

— Колхоз сдал бы три плана! Это наш долг перед партией и народом!—торжественно заявил Пряников.

— А ваши земляки опять остались бы голодными?

— Это чистейшей воды демагогия! Это открытая дискредитация курса партии! Вы ответите за это. Вы за все ответите!—перешел на фальцет Пряников.—Вы хотите оставить советский народ без хлеба. Это — саботаж!

— Да ла-адно! Кончай пороть ахинею! А колхозники, что, не народ?—сказал Архаров и с презрением отвернулся от него. Это произвело на разгоряченных слушателей куда более сильное впечатление, чем возможные сверхлогичные доказательства.—Люди, скажите, вы можете съесть больше, чем вмещает ваш желудок?

— Ну что ты!

— Пузо лопнет.

— Не свиньи же...—послышались реплики.

— Тогда что вы будете делать с излишками зерна?

— Скотину вырастим.

— Продадим на базаре...— ответили главным образом мужчины.

— Что будете делать с излишками мяса, молока, когда вырастите скотину?

— Опять же на базар снесем...

— Во! Что и требовалось доказать,— сказал Архаров.—Все равно вы излишки продадите. Тому же рабочему классу. Только не за так. И на вырученные деньги купите себе одежду, обувь, утварь. В общем, что вам надо. Кому будет плохо от этого?

— Дак хорошо же всем, елки-моталки!— восторженно воскликнул Гриша Меняла.— Это же золотая жила!

— Никакая это не золотая жила. Это — возврат к капитализму!—попытался настоять на своем Пряников, но его уже никто не слушал.

— Даешь оплачиваемые трудодни!

— Даешь!— начали раздаваться со всех сторон возгласы.

— Так и будем жить в дальнейшем!—подытожил Сова, поскольку Евсеев этого вслух сказать не смел.—И председателю нашему постановим исполнять волю народа. Давайте, мужики и бабы, все оформим чин-чином. Тут почти все члены нашего колхоза. Так что проведем сейчас же собрание и напишем решение. И все будет по закону.

Сказано — сделано. Избрали в президиум Евсеева, Архарова, Сову и через пять минут при одном голосе против не члена колхоза Пряникова и нескольких воздержавшихся без всякого обсуждения составили постановление, согласно которому решено было отныне и присно хлеба сверх плана государству за так не продавать, излишки раздавать колхозникам на трудодни.

Тут такое начало-ось! Люди на радостях стали обниматься, иные полезли аж целоваться, из-за чего некоторые мужики, привыкшие ревностно оберегать своих жен, начали даже скандалить. Впрочем, все искорки тушились быстро «мировыми» чарками. Только Пряников не захотел больше радоваться вместе со всеми, сразу же после голосования ушел, опустошив на посошок целый стакан самогона и прихватив на закуску куриную ножку.

Архаров же неожиданно для себя тормознул. Он вдруг вспомнил о своем аппарате, о необходимости постоянно быть начеку и больше не стал тягаться со своими друзьями в выносливости.

16

Говорят, поле — с глазами, лес — с ушами. О собрании колхозников колхоза «Красный коммунизм» на следующий же день стало известно властям районного центра.

Очень трудно сохранять тайну, если ее знает весь народ.

Выражаясь современным языком, реакция властей была мгновенной. «Я вам покажу кузькину мать!—будто бы воскликнул Ненашев и потряс пухленьким кулачком в сторону села Мохово.— Всех переснимаю! Всех пересажаю!» И тут же попросил секретаршу соединить с райотделом НКВД.

Весть о том, что срочно надо созвать общее собрание колхозников, свалилась на Евсеева как мешок с мякиной: вроде бы и не шибко ударила, а из колеи выбила.

Когда правленческая техничка принесла телефонограмму, он с Архаровым, Совой, Соловьевым и Менялой сидел у Марфы и как раз приступал к лечебной процедуре по восстановлению здоровья, говоря проще, начал опохмеляться. Похмелье у всех, кроме Архарова, было тяжелое. Будто головы залиты чугуном и по ним беспрестанно лупят кувалдами.

— Что это? Откуда?— тупо уставился Евсеев в протянутую техничкой бумагу.—Мужики, может, у кого башка свежее. Прочтите-ка, о чем здесь...

Читать пришлось Архарову.

«Телефонограмма.

Председателю колхоза «Красный коммунизм» тов. Евсееву.

Секретарю партбюро тов. Пряникову.

Председателю Моховского сельсовета тов. Перцеву.

Завтра, в двенадцать часов дня, обеспечьте общее собрание колхозников. Требуют неотложного обсуждения важнейшие вопросы. Явка для всех колхозников обязательна. За кворум несут персональную ответственность товарищи Пряников и Перцев.

Первый секретарь райкома ВКП(б)
Ненашев.»

— Что бы это значило?— всполошился Евсеев.

— Давайте-ка сначала пропустим по стаканчику, опосля будем думать. Иначе ничего не выйдет,—предложил Сова.

Все поддержали разумное предложение, насилуя так и норовящие выпрыснуть все обратно желудки, выпили, кряхтя и охая, захрумкали солеными огурцами. Когда наконец в утробе кое-как улеглось, а в голове зашумело, будто ставший хрупким чугун превращался в зернистый шлак, Евсеев еще раз спросил:

— Что бы это значило?

— А это значит, председатель, что тебя собираются выпороть, а колхоз, как всегда, ободрать до ниточки, после чего меня, заодно, может, и Сову с Соловьем, забрать с собой и упечь туда, где Макар телят не пас. Не удивлюсь, если и ты составишь нам компанию. Не случайно нет твоей фамилии среди ответственных за кворум.

— Типун тебе на язык!—поморщился Евсеев. Чуть подумав, вполне серьезно добавил:—А что, очень даже может быть. Ох, и связался же я с вами на свою голову, ой-й!

И он от отчаяния сжал виски. Начали мандражить и Сова с Соловьевым. Даже Меняла, учуяв, что дело, затеянное ими, пахнет керосином, заерзал на табуретке.

— Вот это зря!— осуждающе покачал головой Архаров.— Если решил стать настоящим председателем, то есть настоящим хозяином и радетелем своих крестьян, так будь им!

— Легко сказать,—вздохнул Евсеев.—А они возьмут и скинут меня. И все дела.

— Кто — они? Райкомовцы, что ли? Насколько я понимаю, тебя не они, а народ выбирал,—возразил Архаров.

— Что народ!—махнул рукой Евсеев.—Поднимут руки — и все. Хоть «за», хоть «против»—им все одно.

Тут ему возразил Меняла.

— Вот здесь ты, Иван Евсеевич, ошибаешься,—обиженно сказал он.—Да, в общем-то нам было все равно, потому как будь председателем Иванов ли, Петров ли, Сидоров ли, нам все одно пришлось сушить зубы на полках. Но вот Евсеев дал хлеба... Не-ет, думаю, теперча мало кому будет все равно.

— А ведь Гришка прав,— поддержал его Архаров.— Так что не тушуйся, председатель. Раз взялся за гуж, так сдюжь. А мы тебе поможем. Только нам надо соблюдать несколько условий. Мужики, слушайте все сюда...

И он почти что шепотом стал излагать свой план.

...Узнав о срочном созыве собрания, моховцы встревожились не меньше председателя. Сколько себя помнили, их в это время в мирные годы никто не тревожил. Тем более такие сборы никогда не проводились на току. Обычно они проходили летом на площади перед правлением, а зимой — в коридоре местной школы-семилетки, поскольку в клубе, размещающемся в доме раскулаченной родни Менялы, мест не хватало и для одной бригады. И вдруг на тебе — собраться на току! От такой вести любопытство начало разбирать даже тех, кому, как говорится, хоть кол

на голове теши. И в назначенный час на току собралось народу, ей-ей, не меньше, чем на гулянку. Если считать пришедшую со взрослыми детвору, может, и гораздо больше.

Не меньше других удивился и Ненашев, когда по прибытии в Мохово его с сопровождающими Кнутовым и Гремучим пригласили на ток.

— Час от часу не легче!—проворчал он. Однако дал команду шоферу газика, на котором приехал в этот раз, без промедления взять курс на указанный объект.

Прибыв на место, Ненашев первым делом обратил внимание на странное, пока, кажется, недостроенное сооружение.

— Это что такое?—строго спросил он, обращаясь непонятно к кому из сопровождающих.—Почему не знаю? Вы что, без нашего ведома начали строить? Варсанофий Абрамович, в чем дело? Почему не доложили?

— Извините, но я вижу этот объект первый раз. Только четыре дня назад побывал здесь, тогда ничего не было,— попытался оправдаться Пряников.

— Иван Евсеевич, ты, вижу, решил прямо на току и мельницу поставить. Может, и пекарню построишь? И начнешь, минуя государство, спекулировать хлебом на базаре? Будешь обирать героический рабочий класс,—то ли пошутил, то ли начал отчитывать Ненашев.

«Ведь дело говорит. Мельницу и пекарню хорошо бы...»— подумал Евсеев, но вслух не произнес ни слова. Ибо помнил: глухонемые в лагеря для политзаключенных не попадают.

— Анатолий Михайлович, мне кажется, сюда перетащили солнечный дом,—заметил следовавший тенью за секретарем райкома Кнутов.—Насколько я знаю, больше в колхозе никакого стройматериала нет.

— Ка-ак?!—буквально взорвался Ненашев.—Рушить дом коммунизма? Без моего ведома?! Да за такие дела, знаешь!.. Ну, председатель, погоди!

Он, словно бы изучая, как лучше сносить странное сооружение, со всей свитой обошел его.

— Понимаете, Анатолий Михайлович, мы всей душой хотели построить солнечный дом. Попробовали и так и сяк. Но ничего не получается,—попытался объяснить Евсеев.— И чтобы лесоматериал не пропал даром, правление решило из него поднять пожарную вышку. На самом важном объекте и на самом высоком месте.

— Вместо дома коммунизма — пожарную вышку?!

Возмущению секретаря райкома не было предела. Впрочем, надо отдать ему должное, он быстро взял себя в руки и наконец-то пошел к народу, громко поздоровавшись, приказал Пряникову немедленно открыть собрание.

Уже по тому, что Евсеев в президиум не попал, моховцы поняли: вчера и сегодня председательский актив совсем не случайно предупреждал их быть твердыми, как кремень. Сова, Соловьев, Меняла, еще несколько мужиков и сейчас, незаметно передвигаясь между наспех сколоченными скамейками, что-то нашептывали людям на ухо.

Между тем собрание шло своим чередом. Вот уже Пряников предоставил слово для доклада первому секретарю районного комитета, члену областного комитета партии, депутату районного и областного Советов депутатов трудящихся... Ненашев дожидаться перечисления своих должностей не стал, энергично размахивая руками, с воодушевлением начал расписывать, как победоносный советский народ под руководством товарища Сталина, партии и правительства успешно восстанавливает разрушенное небывалой в истории человечества войной народное хозяйство, какой вклад в это священное дело вносят трудящиеся района, жертвуя во имя общих целей своими личными интересами, личным благополучием.

— В такое судьбоносное время находятся люди, которые пытаются на временных трудностях страны завоевать себе дешевый авторитет, свои амбиции ставят выше общественных интересов, стараются вбить клин между партией и народом, чтобы укрепить свою пошатнувшуюся власть. Я имею в виду вашего председателя товарища Евсеева!—рубанув в очередной раз воздух рукой, выкрикнул Ненашев.— Это он решил помешать вам выполнить социалистическое обязательство, запретив продавать государству хлеб в счет второго плана. Это он стремится вызвать в вас всякими посулами мелкобуржуазные чувства собственника и частника, тем самым отвлекая от строительства самого справедливого, самого гуманного в мире социалистического общества. Одновременно гражданин Евсеев берет под свое покровительство врагов народа и агентов международного империализма. Так, он рьяно защищает предателя, уже в начале войны добровольно перешедшего на сторону фашистских гадов. Он же защитил некоего гражданина Соловьева, оскорбившего представителя районных властей при исполнении служебных обязанностей. И уж совсем непонятна его дружба с прохо-

димцем и шарлатаном, мошенником и авантюристом по фамилии Архаров. Сами подумайте: человек представляется то представителем области, то пришельцем из будущего, то фокусником. При этом всячески чернит Советскую власть, пророчит нашему любимому вождю скорую погибель, подбивает людей на противозаконные, преступные действия. Даже в разговоре он чуть ли не через каждое слово вспоминает Бога. И ваш председатель доверился советам такого, с позволения сказать, человека! Есть сигналы, что они частенько выпивают вместе... Так что мы тут подумали вместе с партийно-хозяйственным активом вашего хозяйства и пришли к единому мнению о несоответствии товарища Евсеева занимаемой должности. Бюро райкома партии поддержало такое решение. Мы понимаем, что по нашим самым гуманным в мире законам следовало бы возбудить против него уголовное дело. Однако, учитывая его прошлые заслуги перед Родиной как участника Великой Отечественной войны, думаем, можно ограничиться одновременным наказанием его по партийной линии за развал порученного дела. Но это, товарищи, впредь должно служить всем нам хорошим уроком!

Напоследок погрозив всем пухленьким пальчиком, Ненашев сел, вытер лицо и шею платком не первой свежести.

— Ну что, товарищи, вопрос ясен. Время сейчас горячее, потому, чтобы не задерживать вас долго, давайте голосовать. Кто за то...

За что голосовать — этого уже никто не слышал, поскольку в это время народ сильно зашумел. А у Пряникова голос хотя иногда и прорезывался, но не настолько, чтобы перебить такой мощный гул. Может, оттого и не поднялся он до сих пор на районную ступень.

— Постой-ка, мил человек,—сквозь шум обратился к Пряникову сидевший впереди Николай Макарович.—Давай послушаем самого Ивана Евсеевича. Не цыпленок же, чтобы раз — и под зад. Даже на суде, кажись, дают последнее слово подсудимому.

Пряников переглянулся с сидевшим рядом Ненашевым. Тот пожал плечами, затем нехотя кивнул головой.

— Иван Евсеевич, есть у тебя что сказать народу?— спросил тогда Пряников. Тут же намеком предупредил:— Только прошу учесть, от твоих слов может зависеть твое будущее.

Евсеев встал, чуть подумав, прорвался вперед, повернулся лицом к народу. Все враз смолкли, навострили уши.

— Имеющий глаза да видит: живем мы с вами, дорогие односельчане, как-то не так. На фронте я все думал: вот, мол, разобьем фашистов, восстановим справедливость в мире и сами начнем жить по справедливости. И когда вы, дорогие односельчане, доверили мне колхоз, я с радостью согласился. Потому как хотелось быстрее поднять хозяйство на ноги. Чтобы все зажили, как и подобает человеку. Ведь полсела мне тут приходится родней, а все остальные — друзья и товарищи. Это пришлым председателям было все равно, что мы едим, во что одеваемся, в каких избах живем...

Тут Ненашев недовольно поморщился. Видимо, решил, что камешек в его огород.

— А как подобает жить человеку? Думаю, фронтовики, дошедшие до Европы, это знают. Пусть они меня остановят, коли услышат неправду... Ежели бы вы, друзья мои, видели германские деревни, хутора, дома немецких крестьян, вы бы подумали, что оказались в сказке. Улицы мощеные, дома — что игрушки: просторные, красивые. Везде электричество. Вода подается прямо на кухню. Даже сортиры есть в избе, и кругом порядок в них.

Тут Ненашев толкнул в бок Пряникову и тот прервал Евсеева:

— Иван Евсеевич! Тут не место для прокапиталистической пропаганды. Все мы знаем, что буржуи живут, как сыр в масле. Прекрасно знаем также, на чьей шее они сидят, за счет какой эксплуатации жиреют... Вы лучше о колхозных делах говорите.

Евсеев посмотрел на президиум, на народ, подумал еще немного и возражать не стал.

— Хорошо, скажу о колхозных делах...— согласился он.—Так вот, я хотел, чтобы и крестьяне Мохова зажили получше. Чтобы электричество у нас было, на столе — хлеб, и не только. Чтобы дома, значит, поднимались новые, просторные... Но не выходит ничего. Электростанцию построили — заставили закрыть. А ведь какую она нам нынче пользу дала... Хлеб выращиваем — все отдаем под метелку...

— Ты думаешь, партия, Сталин не хотят, чтобы вы жили хорошо?!— прикрикнул на него Ненашев.—Надо же видеть чуть дальше собственного носа. Сначала надо накормить народ! Потом уже печься о себе.

Евсеев хватанул полную грудь воздуха, решив было ответить как следует, но тут же остыл, безнадежно махнул рукой и сказал:

— В общем, дорогие колхозники и колхозницы, я хотел, чтобы хоть однажды за последние десять лет вы перезимовали сытыми. Что касаемо всего народа, план колхоз выполнил. А так — как знаете.

По току снова прошелся гул, показывая, что даже если народ заговорит вполголоса, шуму будет много.

— Товарищи! Теперь вы сами воочию убедились, что председатель гнет антинародную линию. Ну что, будем голосовать?—безуспешно стараясь перекричать всех, предложил Пряников.

— Сам ты антинародная линия!—бросил ему Сова.— Тебе-то, конечно, все одно, сытые мы аль голодные. Ты на деньги работаешь, да еще муку тебе дают как служащему. Да еще дрова бесплатно привозят как учителю. А ты спросил у вдов, сидящих здесь, каково им приходится?

Вслед за репликой Совы снова волной пронесся гул. Причем явно одобрительный, что настораживало. Пряников растерянно взглянул на Ненашева, а тот скосился на Кнутова и Гремучего, сидящих напротив, в первом ряду. Кнутов тут же поднял руку и, не дожидаясь разрешения, протиснулся к столу президиума, повернувшись в пол-оборота так, чтобы одновременно видеть и Ненашева, и собрание, начал говорить:

— Товарищи! Я просто поражен вашей политической близорукостью. Разве можно так спокойно выслушивать антипартийные, антисоветские изречения? Вы хоть понимаете, что с вами случится, если последуете примеру подобных авантюристов, как гражданин Сова?

— Он не только авантюрист, он — предатель народа!— крикнул с места Гремучий.—Он в первые же дни войны добровольно перешел к фашистам. За это гражданин Сова после собрания будет подвергнут аресту. Дело его рассмотрит военный трибунал.

Последовавший за этой репликой гул снова потерял определенный оттенок, что несколько успокоило президиум.

Выждав, когда народ утихнет, Кнутов продолжил речь:

— Я прекрасно понимаю, откуда дует ветер. Всеми антинародными переменами в Мохове руководит гражданин Архаров. Самозванец и шарлатан, сначала назвавший себя представителем несуществующей организации областного масштаба, затем прикинувшийся пришельцем из будущего. Я с первых встреч раскусил его, ибо он нет-нет да и выдавал свое поганое нутро неосторожными словами против партии, государства, народа, против Советской

власти. Он, страшно подумать, осмеливается даже утверждать, что наш любимый вождь, продолжатель дела коммунизма, начатого Лениным, может умереть. Разве можно его после этого считать нормальным человеком?

— Архаров — продажный агент международного империализма!—выкрикнул опять Гремучий.— Сегодня мы увезем его вместе с Совой и другими членами антисоветской группы вашего населенного пункта. Уж будьте уверены!

— Я понимаю, скрытые враги народа только и ждут появления таких вожаков как Архаров. Но не понимаю, почему за ним идет и уважаемый товарищ Евсеев. Мне не хочется назвать его врагом народа. Пока не хочется. Однако ясно, что руководить колхозом он больше не может, поскольку не оправдал доверия партии,—закончил наконец речь Кнутов.

Народ загудел еще раз. И гораздо сильнее. Надо полагать, на него больше воздействовали реплики Гремучего, нежели речь Кнутова. Ибо слова словами, а арест — дело серьезное. Потому многие, кажется, начали колебаться. Заметив это, к народу вышел Архаров, чуть подумав, подошел к Гремучему и встал перед ним, как вкопанный. Его поступок многим показался неожиданным, так что все враз смолкли.

— Стало быть, вы утверждаете, что арестуете нас после собрания и увезете?—спросил он у Гремучего. Тут же приподнял его за ворот, крикнул строго:—Ну? Арестуешь?

Гремучий потянулся правой рукой к кобуре, но Архаров опередил его, зажав локоть следователя, вынул пистолет и забрал себе.

— Так будет вернее,—сказал он, опустив Гремучего на скамейку, и повернулся к народу.—Люди, теперь слушай сюда. Вы поймите одно. Все в этой жизни зависит от вас. Только от вас. Ни Гремучий, ни его любимый вождь вам не помогут наладить достойную жизнь. Но и ничего не сделают, если вы за такую жизнь будете бороться сообща. Ибо они такие же смертные, как все. Только более смердячие. Сильны они лишь тогда, когда скопом по головкам. Когда вот так открыто арестовывают лучших ваших людей, а вы при этом не смеете даже сокрушенно вздохнуть. Так вот, чтобы вы не смалодушничали, я вам заявляю: да, я действительно пришел из будущего; и я в случае чего не дам вас в обиду. А так — решайте, что лучше: с хлебом жить или без него?

Архаров резко повернулся и пошел... к строящейся

вышке, скрылся в двери, обитой железом, тщательно запер ее изнутри.

— Я тебя, гад, достану и там!—запоздало крикнул ему вслед Гремучий.—Нападение на сотрудника НКВД— это ж... За все ответишь сполна, будь спок, выродок международного империализма.

— Карл Филимонович,—остановил его Пряников,—с ним вы после сами разберетесь, никуда он от вас не денется... Народ, давайте решать главный вопрос повестки дня. Дорогие мои односельчане, я вас призываю к благоразумию. Освободим товарища Евсеева от должности председателя подобру-поздорову. Поверьте, мы ему желаем добра. Только добра. Иначе он ведь тоже может загреметь вслед за Архаровым и Совой в известные места.

— Сначала вы попробуйте отправить их!

— А кто взамен Евсеичу придет?—раздались голоса.

— Председателем райком рекомендует проверенного товарища, хорошо знакомого вам Кнутова Егора Кузьмича,—сообщил Ненашев.—Он хорошо изучил все ваше хозяйство, так что, как говорится, сразу возьмет быка за рога.

— У-у!..

— Ха-ха-ха, возьмет, как же!

— Этот о нас позаботится!—откровенно рассмеялись многие.

Ненашев, сверля взглядом, внимательно начал всматриваться в присутствующих. Но это не помогло. Народ откровенно высмеивал новоиспеченного кандидата на пост председателя. Тогда Ненашев подозвал к себе Гремучего, что-то шепнул ему на ухо. Тот послушно кивнул головой и побежал к машине секретаря райкома. Вскоре газик скрылся с глаз.

— Люди!—обратился тем временем к собранию Соловьев.—Хватит дурью маяться, пошли по домам. Ведь договорились завтра выйти на картошку. До этого хоть в своих огородах покопаемся чуток.

Весело переговариваясь между собой, люди начали подниматься. Но тут неожиданно послышался гул моторов. Со стороны большака к току подъехали газик Ненашева и три бортовых ЗИС-5 с... солдатами. Последние тут же спешились, по команде Гремучего цепью окружили собрание и встали с автоматами ППШ наперевес. Только что весело улыбавшиеся моховцы так и замерли. Многие даже забыли закрыть рот, у некоторых уже затряслись

поджилки. Все почувствовали, что дело принимает более чем серьезный оборот.

— Товарищи колхозники! Прошу садиться!—предложил Ненашев.—Вопрос повестки дня еще не решен.

Когда люди медленно и тихо расселись, секретарь райкома повел собрание сам.

— Вы на солдат не обращайте внимания,—сказал он вполне дружелюбно.—Человек с ружьем страшен только для людей с нечистой совестью. И приехали солдаты не собрание проводить, а изолировать от нашего социалистического общества врагов народа. Окружили же собрание, вернее, ток, чтобы не упустить их. А то некоторые возомнили, будто им все дозволено. Даже сопротивление властям оказывают. Нет, дорогие мои, у государства нашего — ежовые рукавицы, из них просто так не вырвешься. Если же еще кто другой надумает пойти против линии партии... Впрочем, надеюсь, таковых среди вас больше нет. Правда, товарищи? Ну вот, договорились. Итак, давайте голосовать. Кто за то...

Но тут неожиданно откуда-то сверху раздался мощный звериный рык. Он тянулся долго и зловеще, заглушая все на свете и заставив всех, в том числе и солдат, задрожать животным страхом.

— Остановись, секретарь!—услышали все после этого голос Архарова.—Народ не хочет голосовать, и я не позволю его насиловать. Потому предупреждаю: даю вам ровно минуту. Если за это время не уберетесь к чертовой матери, за последствия будете отвечать вы! Чтобы слова мои не показались пустым звуком, для начала я ликвидирую вашу персональную машину.

Вдруг над вышкой вытянулся ввысь тонюсенький яркий луч, тут же резко наклонился вниз и через секунду-другую впился в газик. Машина на глазах развалилась на две части, словно ее мясник топором раскроил, и тут же взорвалась, загорелась огромным факелом. Все — кто восхищенно, кто сокрушенно, кто ошарашенно — ахнули. Быстрее всех в этой обстановке, как им и подобает, опомнились военные. Гремучий подал команду, и с ближайшей машины застрочил по вышке пулемет. Впрочем, строчил он недолго, уже через секунду с ЗИС-5 произошло то же самое, что и с секретарским джипом. Однако Архаров на этом не остановился, на всякий случай раскроил и взорвал оставшиеся две машины.

— Солдаты!—крикнул он после этого.—Сложите оружие у ног и, не заходя в село, строем отправляйтесь об-

ратно. Прихватите с собой и свое смердячее начальство. Иначе с вами случится то же самое, что и с вашей техникой.

Для пущей убедительности он провел лучом по земле перед стоящими в цепи солдатами. И их не пришлось больше уговаривать. Увидев, как легко загорается даже сырая земля, они проворно скинули автоматы и, правда, без всякого строя, бегом, как на марш-броске, помчались подальше от тока. Впереди всех, как и положено, бежал командир — старший лейтенант Гремучий. За солдатами, озираясь с опаской, попятились Ненашев с Кнутовым и Пряниковым.

А на току сотни людей ликующе кричали ура.

17

Весть о позорном поражении Ненашева, имевшего за спиной два взвода приданных автоматчиков во главе со следователем райотдела НКВД, разнеслась по области со скоростью птичьего полета. Дошла она и до областных органов власти. Если победа безоружных крестьян над представителем партии, выражающей интересы всего народа, у простых людей почему-то вызывала ликование, которое они, правда, держали при себе, совсем по-другому реагировали на случившееся руководители всех рангов. Они, откликаясь на «требования масс», решили немедленно и решительно выдрать с корнем росток антисоветского образа жизни, внезапно появившийся в Мохове, дабы не дать распространиться мелкобуржуазной заразе в нашем стерилизованном обществе. В течение нескольких суток телефонные провода, соединяющие Верхоград с районным центром Краснобай, накаливались добела от напряженных переговоров областного начальства с районным подначальством. В результате было принято соломоново решение: область присылает войска, а операцию по умиротворению Мохова возглавит сам майор запаса Ненашев. При этом недвусмысленно предупредили: от успеха операции зависит, останется он во главе района и вообще в партии или поедет перевоспитываться вслед за Гремучим, которого уже отчислили из органов и превратили в северного лесоруба. Ненашев, естественно, взялся за дело с полным пониманием ответственности. Прежде всего он при поддержке вышестоящих органов организовал полную информационную бло-

каду Мохова. О событиях в колхозе «Красный коммунизм» строжайше было запрещено писать даже в районной газете. Постепенно, по мере прибывания войск, организовывалась и территориальная блокада. Когда же закончится переброска одного стрелкового и одного танкового батальонов, решено было начать наступление на Мохово одновременно с четырех сторон. Операцию предусматривалось завершить полным захватом села, восстановлением в нем законной власти по рекомендации райкома партии и отправкой агентов мировой буржуазии в лице каждого второго гражданина мужского пола на ликвидацию и перевоспитание.

Между тем в Мохове жизнь шла своим чередом. Началась, как образно пишут наиболее талантливые журналисты, массовая копка картофеля. Да и на свекольном поле закопошились люди. Часть клубней тут же отправляли на железнодорожную станцию. Обозы блокирующими войсками не задерживались, однако сопровождающие их солдаты не разрешали моховцам перекинуться парой-другой слов даже с заготовителями. Тем не менее возчики и грузчики успевали все замечать, все видеть, все слышать и привозили весьма ценные информации и разведданные. Именно они узнали или догадались о предстоящем наступлении войск. После получения сообщения об этом собрался срочно организованный военный совет и в Мохове. Члены совета — Архаров, Евсеев, Сова, Соловьев, Меняла и еще несколько мужиков, имевших опыт войны, быстро разработали план обороны. В первую очередь была создана караульная служба. По всем требованиям Устава. Весьма пригодились для этого автоматы, оставленные двумя взводами солдат. Военный совет решил, что ни днем ни ночью, ни летом ни зимой, ни в пургу ни в дождь, а в остальное время тем более в село извне без проверки не должна проникать ни одна мышь. В тот же день для караула были закуплены в магазине сельпо все имевшиеся в наличии фонари карманные и «летучая мышь». Особо тщательно решили охранять электростанцию, ибо без нее, лишь на одних аккумуляторах, саблялуч могла действовать недолго. Главное же, несмотря на нехватку рабочих рук на полях, в срочном порядке достроили пожарную вышку, которая фактически стала больше похожей на старинную крепостную башню высотой примерно с пятнадцатиэтажный дом. Это, конечно, по оценке Архарова, ибо из моховцев мало кто видел подобные махины даже в Европе. На башне Архаров поставил

по углам четыре прожектора, а в середине на шарнире установил свое грозное оружие. Сам он до лучших времен решил жить здесь же, на первом этаже, так как наступление частей Советской Армии могло начаться в любую минуту и требовалось быть начеку. По той же причине организовали постоянное дежурство на башне самых зорких людей. Видно было оттуда далеко-далеко, в ясную погоду даже Краснобай просматривался весь как на ладони, хотя до него двадцать с гаком километров. Да и ночью мощные прожекторы позволяли наблюдать со свежей головой — на расстоянии пяти-шести, а со среднего похмелья — трех-четырех верст.

Марфа теперь носила обеды Архарову открыто. Скрывай — не скрывай свои отношения, а пузо уже начало слегка выпирать. Об аборте и думать было нечего — человеколюбивый Сталин жестоко карал за это. Впрочем, такая определенность благотворно сказалась на Архарове. У него появилось какое-то труднообъяснимое чувство. Ответственности, что ли, перед этой простой в общем-то женщиной. Да и не только перед ней, а и перед тем, кого она носила в себе. Подумать только! Это же его, Архарова, кровинушка появится на свет. Появится и посмотрит, каков его отец. А он... Да, неприглядная получится картина, если сыночек застанет его уткнувшимся носом в тарелку, стоящую среди опорожненных бутылок... Бр-р-р! Даже представить страшно. И Архаров в последние дни резко отказался от спиртного, даже от казенки, ссылаясь на необходимость круглосуточной боевой готовности.

Впрочем, его собутыльники тоже посерьезнели. Похоже, этому поспособствовала поимка диверсанта. Караул обнаружил его у электростанции, как раз в момент закладки взрывчатки под опору плотины. Только теперь многие до конца осознали, что значит для них электростанция. И вообще, за какое серьезное дело взялись. Иных даже начал точить червь сомнения. Дескать, правильно ли они поступили, послушавшись этого Архарова. А вдруг не устоят против армии? Она же такая силища! Пол-Европы пало ниц перед нею. А тут какое-то махонькое село. Несерьезно как-то. Ах, если бы в свое время не помутило разум желание желудка... Да, поздно теперь ахать да охать. Лучше погибнуть, как Стенька Разин или Емельян Пугачев, чем в кировских лесах под конвоем лес рубить и чахнуть потихоньку от туберкулеза.

Пойманного диверсанта привели к Евсееву. Будучи старшим по званию, Иван Евсеевич являлся главным и в

военном совете, который тоже располагался в башне, на втором этаже. Диверсант оказался довольно норовистым старшиной сверхсрочной службы. Отвечать на вопросы категорически отказался.

— Не буду я вступать в разговоры с предателями народа,—презрительно бросил он и больше, действительно, не проронил ни слова.

— И что нам делать с тобой?— спросил под конец у него Евсеев.

Старшина лишь равнодушно пожал плечами.

Что бы с ним стало — трудно сказать, но тут заявился Меняла.

— Иван Евсеевич, солдаты наш обоз возвернули!—с порога крикнул он.

Хотя план по отправке картофеля колхозом был выполнен, Евсеев в разведывательных целях продолжал посылать через день небольшие обозы на станцию.

— Та-ак,— многозначительно изрек председатель и вышел из-за стола.—Значит, противник готовится к каким-то решительным действиям. Этого следовало ожидать. Два батальона, ясное дело, просто так не пришлют.

Он нервно заходил по комнате.

— Последние денечки для вас остались,—вдруг ехидно заговорил диверсант.—Раздавят вас, агентов буржуазии, как вшей.

Меняла, услышав старшину, пристально посмотрел на него.

— Сашка!— радостно воскликнул он.—Сашка Усач! Черт этакий, живой!

Старшина изумленно взглянул на Менялу и тоже начал меняться в лице. Вскоре он радостно засиял. Даже потянулся было обниматься, но опомнился.

— Иван Евсеевич, мы же однополчане с ним!—тут же объяснил Меняла удивленному Евсееву.—Вместе в разведке, в одном взводе вшей кормили. Усы у него были знатные, вот и прозвали Усачом. А так он — Волгин. С Волги, понимаешь... Саш, где же твои знаменитые усы? Я тебя ведь и не признал сразу.

— Женился я,—вполне дружелюбно ответил Усач.—А ей усы не понравились. Мешают, видите ли, и колются...

Они еще повспоминали о том о сем, известном только им, и посмеялись, и погрустили. Но, как ни крути, пришлось вернуться к действительности.

— А как ты оказался здесь, Саша?—спросил Меняла.—Ты хоть знаешь, зачем вас сюда послали?

— Объяснили,—буркнул Усач и, как бы опомнившись, замкнулся.

— Я не знаю, что вам объяснили,—сказал Меняла.— Но, если желаешь, могу растолковать тебе, как другу, что здесь происходит.

Евсеев посмотрел на них и вышел из помещения. А Меняла подробно рассказал обо всех событиях, происшедших в последнее время в Мохове и вокруг него.

— Понимаешь, мы ведь никому не мешаем. С государством рассчитываемся сполна. Соблюдаем все законы. Однако при этом хотим и себя чувствовать людьми. Разве не за это мы воевали?—заметил он в конце.

Встречаются, хоть и редко, политработники высокой пробы, которые способны убедить простых людей даже в том, что голодание им лишь на пользу, а начальство терпит мучения в виде объедания деликатесами исключительно ради здоровья народа. Но слова друга, с которым ты делил все, что можно и что нельзя делить, включая даже смерть, все же убедительнее речей самых искусных и бессовестных профессионалов-пропагандистов и агитаторов. Так, по крайней мере, подумалось, когда наконец Усач пораженно воскликнул:

— Вон оно что-о!..

Тут как раз кстати вернулся Евсеев, попытался возобновить разговор. И получился совсем другой коленкор. Хотя Усач, в общем-то, ничего нового сообщить не мог. Что село окружили два батальона — это уже известно. Поскольку моховские мужики почти все так или иначе были людьми военными, по штатному расписанию подразделений с точностью до человека и до ствола высчитали реальную силу противника. А о конкретных планах боевых действий старшина, хоть и был разведчиком, сам не знал. Но... Но он знал, что наступление начнется тотчас после взрыва электростанции! И эта «мелочь» могла оказаться важней самых важных штабных информаций.

Пока Гриша Меняла угощал — а угощал от чистого сердца — своего друга первачком и, по сравнению с армейским, довольно-таки богатым поздним ужином, Евсеев немедленно созвал военный совет. Он предложил устроить ожидаемый противником взрыв. Буквально рядом с электростанцией. Чтобы военные не усомнились и начали наконец свое наступление, ибо такое неопределенное положение начало изрядно нервировать людей. Но устроить взрыв не ночью, а рано утром, когда рассветет и с башни можно будет контролировать территорию радиусом хотя

бы пять-шесть верст. Решение приняли традиционным «единогласно». И члены военного совета тут же разошлись, чтобы готовиться к бою. Хоть и гарантировал Архаров неприступность, все же могло статься, что часть войск прорвется к селу, потому решили собрать ополчение и, вооружив охотничьими ружьями и косами для рукопашного боя, держать его в резерве. Само собой, весь состав караула с автоматами находился в полной боевой готовности.

Взрыв раздался ровно в 4 часа 58 минут утра по московскому времени. Почему именно в 58 минут? Потому что часы Евсеева спешили на две минуты. К этому времени на востоке уже показалась половина красного диска, впрочем, на глазах светлеющего. Несмотря на осень, стояла сухая, ясная погода, которая называется на Руси бабьим летом.

— Пошли!— крикнул через пять минут Евсеев, наблюдавший за противником в бинокль.—Танки впереди... Пехота сзади цепью. С четырех сторон... Молодцы какие, любо-дорого смотреть! Действуют по всем правилам военного искусства. Вот так бы в сорок первом...

Вместе с ним на башне стояли лишь Архаров с Совой, который тоже был обучен обращению с саблей-лучом и частенько дежурил по ночам, потому как и в темноте видел почти как днем. Да внизу под башней сидели быстроногие ребятишки — связные.

— Стало быть, уважают нас, если так серьезно относятся,—довольно заметил Архаров.

— Что, командир, подпустим их поближе? Как, бывало, на фронте,— спросил Сова у Евсеева.

— Нет, братцы, близко подпускать танки никак нельзя,—не согласился Евсеев.— Они ведь могут стрельбу открыть по селу. Так что коси их, Лева, пока не достигли прицельной досягаемости до нас.

Архаров деловито припал к прицелу, сделанному из бинокля, чуть поводил аппаратом и нажал на кнопку. Тоненький яркий луч мгновенно потянулся к идущему впереди с южного направления танку. Тот вспыхнул сразу, а затем раздались сильные взрывы, громкие хлопки от которых в утренней тиши донеслись даже до Мохова. Похоже, взрывались снаряды. Но Архарову некогда было наблюдать за возникшим фейерверком, он прицелился уже к другой машине, с которой через пару секунд случилось то же самое, затем — к третьей...

— ...восемь... одиннадцать... шестнадцать,—бесстраст-

но считал Сова, и без бинокля видевший отлично. Хотя не заметить такие фейерверки было просто невозможно.— Двадцать два... двадцать семь... тридцать, тридцать один! Все!—Тут Сова не выдержал, заорал что есть мочи:— Урра-а!

— Что будем делать с пехотой?—спросил Архаров у Евсеева.

— А пехота сама пятится раком!—сказал вместо Евсеева Сова.—Куда ей деваться!

В бинокль, действительно, было видно, как следовавшие за танками цепи залегли и начали отползать на исходные позиции.

— Все! Пошли праздновать победу,—предложил Сова.— Больше они не сунутся.

— Погоди, не спеши пировать,—остудил его Евсеев.— Хоть и не осталось у них танков, есть еще целый батальон пехоты.

— Ни-ни,—убеждал Сова.—Пехоту после такого ни за какие посулы не поднять в атаку. Это ведь должно быть страшнее артобстрела. Без боя, без взрыва бог весть откуда появившаяся ниточка пронизывает броню, как иголка материю, и в течение секунды нет танка. А в течение нескольких минут — целого батальона. Кто же после такого осмелится... Разрази меня гром, у них сейчас у всех штаны мокрые!

Все-таки для пущей надежности понаблюдали еще. Но вплоть до горизонта никакого движения не замечалось. Лишь через час стало видно, как роты подтягиваются в три пункта, после чего, сев в машины, укатили в направлении Краснобая.

Оставив двух востроглазых из числа связных в качестве наблюдателей, тройка победителей спустилась вниз и, после того как Архаров запер свой аппарат в чулан, направилась к колхозной столовой. Вскоре туда вызвали поваров. Затем начали подходить свободные от караула ополченцы. Откуда-то появились четверти с известным зельем. Как говорится, в селе высохнет последний колодец, а самогонный родничок останется. И пошла гульба! Гульба такая, когда дым стоит коромыслом. Не удержался и Архаров, пропустил-таки две стопки первачка. Потянулся и за третьей, но тут с вычищенным яйцом в руке подошла Марфа.

— Закуси, Левушка,—ласково сказала она, при этом взглянув ему в глаза так, что от теплоты ее чувств сердце могло растаять.

И расхотелось Архарову выпить третью стопку. Вместо этого он поднялся, незаметно подмигнув ей, потихоньку вышел из столовой. Минут через пять вышла и Марфа. Архаров спустился в овраг, по нему прошел за огороды, остановился в густом ивняке. Вскоре туда подошла и Марфа.

Земля, постеленная свежеопавшими листьями, была мягкой, как перина. Воздух был теплый, словно в разгар лета. Тело Марфы было горячее, будто после бани, отчего разгорячился и Архаров. Такой прилив жара бывает разве что у пятнадцатилетнего юноши после первого крепкого поцелуя с девушкой... И не было вокруг ни одного чужого глаза. Разве не счастлив человек, если у него есть хлеб, свобода и любимая женщина?

Ей-ей, за всю свою жизнь Архаров не чувствовал себя таким приподнятым.

Вернулись в столовую они уже под вечер. Вернулись отдельно: сначала Марфа, потом — совсем с другой стороны — Архаров. Сделано это было, сами понимаете, в целях конспирации. Хотя в селе отношения между людьми — карты совершенно открытые, да и сами Лев с Марфой, как уже говорилось, не очень скрывали симпатий друг к другу. Но уход на пару в разгар гулянки в Мохове все равно выглядело бы осудительно даже для законных супругов. Впрочем, осуждение и запрет лишь подслащивают любовь.

К счастью, на этот раз никому не было дела до Архарова с Марфой. Разгоряченные спиртными напитками люди до хрипоты спорили о дальнейшей своей жизни. Известно, русский человек отличается от своих, скажем, европейских сородичей прежде всего тем, что для него во сто крат важнее будущее, нежели настоящее. Во имя прекрасного, сказочного будущего с молочными реками и кисельными берегами он сегодня готов на любые жертвы, включая лишения себя жизни.

— Я считаю, лучше коммунизма на свете ничего нет и быть не может!—услышал Архаров еще при входе категорическое утверждение Николая Макаровича.

— А ты видал его?—язвительно спросил у него Меняла.

— Кого?

— Не кого, а коммунизма своего. Жил ты при нем?

— Во дает...—растерялся Николай Макарович.—Будто сам не ведаешь. Дак хорошо же должно быть, когда каждому по потребностям.

— И когда общие бабы под одним одеялом,—хихикнул кто-то.

— Хватит зубоскалить!— остановил всех Сова.— Вот перед нами человек из будущего. Как-никак из девяносто первого года к нам явился. Давайте послушаем, каков он, коммунизм. За сорок лет, чай, построили уже его.

Архаров не заставил себя долго уговаривать.

— Насчет коммунизма не скажу. Обещали его к восьмидесятому году, но так и не построили. А вот насчет общих баб под одним одеялом...

— Батюшки-светы, неужто так и будет?—раскрыл рот в изумлении Михаил Егорович.

Все так и грохнули со смеху.

— Ну ты даешь, дядя Миша!—сквозь хохот заметил Меняла.—Годы-то у тебя... А все об том думаешь? Неужто мед для этого дела так пользителен?

— Тю-у! Типун тебе на язык,—обиделся Михаил Егорович.—Я же из интереса спрашиваю.

— Да, в девяностых годах бабы вполне могут быть под одним одеялом,— подтвердил Архаров.—Не потому, что так хочется иным мужикам, а потому, что одеял на всех не хватит.

— Вот тебе, дядя Миша, и коммунизм,— опять подтрунил Меняла.

— Чья бы ни мычала...—махнул на него рукой Михаил Егорович.—Ты-то давно при коммунизме живешь. Небось, через твои руки проходит товаров больше, чем через весь наш сельмаг. Так что навару у тебя...

— Не больше, чем у тебя от колхозной пасеки,—не остался в долгу Меняла.

— Эй, друзья ситные, черту не переходить!—прикрикнул на них Соловьев.—Нам сейчас только междоусобицы не хватает. Поймите вы, черти полосатые, прутик один сломать — плевое дело, а сломай-ка метлу!

Люди, одобряя Соловьева, согласно закивали головами. Впрочем, Гриша с Михаилом Егоровичем и не думали спорить всерьез. В знак примирения они тут же опустошили по бокалу медовухи. Их примеру охотно последовали другие, включая и женщин, коих тут находилось немало. Вдовы, будучи главами семейств, в общественных делах участвовали наравне с мужской половиной населения, которой, половины то есть, на самом деле едва ли было треть.

— А как надо жить, чтобы одеял хватало на каждую

бабу?—спросила Серафима, на мгновение легонько прижавшись к мужу.

— Очень просто,—сказал Архаров.—Не дожидаться, что кто-то приготовит вам всего «по потребностям», а все сделать самим. И распоряжаться этим «всем» тоже самим. Чтобы не сидели на шее крестьянина с сошкой семеро с ложкой.

— Это как же, и налоговых агентов не должно быть?—встревожился Петухов. Решив, что ветер сейчас дует со стороны Архарова, он потихоньку уже пристроился к его группе.—Кто тогда бюджет станет делать?

— Может, и председатель не нужен?—почему-то обиделся и Евсеев.

— Наверное, нужен. Если он не станет наместником Большого Председателя или какого-нибудь вождя всех времен и народов,—успокоил его Архаров.—Но если мы историю продолжим так же, как она уже прошла по первости, людей с ложками в девяностых годах наберется чуть ли не двадцать миллионов, вместе с семьями—все восемьдесят. И прокормить такую ораву станет невмоготу даже всем миром. К тому же те, кто с ложками, требуют и самые жирные куски. А сами гирями висят на ногах человека с сошкой. Уясняете ситуацию? Вот и кумекайте.

— Это все общо. Как, по-твоему, нам, моховцам, жить дальше?—спросил Сова.

— Кто его знает,— простодушно пожал плечами Архаров.—Если нравится, живите так же, в колхозе. Я лично, если бы знал крестьянское дело, завел бы свое хозяйство. Быть самому себе головой, по-моему, для нормального человека лучше всего. В любом случае начальства оставляйте столько, сколько необходимо для дела. Не мною сказано: одна голова — хорошо, две — лучше, а три — совсем плохо.

— Это как же? Колхоз, что ли, распустить? А председателя — под зад?—аж подскочил Евсеев.

— Это уж как решат колхозники...

— Ну вот что, народ!—крикнул Евсеев.—Так мы можем черт знает до чего договориться. Давайте-ка выпьем лучше по одной на посошок — и по домам. И чтоб караул по-прежнему стоял начеку! И на башне чтоб дежурство было! Не забывайте, в какое положеньице мы с вами влипли. Так что без головы, без руководства, то есть, пока не обойдетесь... А от тебя, Лев Борисович, я такого не ожидал.

Впрочем, кроме председателя колхоза, дискуссию ни-

кто всерьез не воспринял. Все расходились, перекидываясь друг с другом шутками да прибаутками. А женщины — так вообще взялись за озорные частушки:

Наш Ненашев — бог и царь,
Он же — первый секретарь.
Только нам такой указчик —
Как глухому пономарь...

И то. Мало ли что наговоришь по пьянке. Придумана-то она для веселья.

18

Ночью Архаров проснулся от сильной встряски и оглушительного шума.

— Послушай, что о нас говорят. Послушай!

Это Сова приставил к его уху свой допотопный радиоприемник. Впрочем, включенный на всю громкость, он мог оглушить и с расстояния. Архаров недавно переделал его на потребление энергии от сети и теперь Сова в свободное от дел и гулянки время только тем и занимался, что слушал радио.

— Послушай же!

Архаров, спавший прямо в одежде, приподнялся и сел на краешек топчана, протерев глаза, прислушался.

«...Как стало известно, военные силы численностью до двух полков были разгромлены в считанные минуты. При этом повстанцы применили сверхновое оружие, которое по общей поражаемости, вероятно, уступает только ядерному, однако по прицельной поражаемости не имеет себе равных ни в одной армии мира. За несколько минут уничтожены по крайней мере более двухсот танков. Из компетентных источников стало также известно, что после провала прямой атаки командование военного округа, которому поручена ликвидация мятежа, начало разрабатывать новый план...»—говорил диктор с заметным английским акцентом.

— Это же не про нас. Стоило за это будить...—недовольно проворчал Архаров.

— О нас, Лева, о нас! Прямо так и сказали: «мятеж в селе Мохово Верхоградской области».

— Помилуй, откуда тогда взялись разбитые полки?

— Это мелочи. Не видать же им оттуда, полки это были или батальоны. Ты слушай дальше,—предложил Сова.

«...Было предложено несколько вариантов,—вещало тем временем радио.—По мнению политотдела округа, на Мохово следует сбросить атомную бомбу тактического действия и стереть село с лица земли. Однако, как выяснилось, пока у Советов каждая ядерная бомба на счету, а тактической в американском понимании нет вообще. В связи с чем при применении самой маломощной ядерной бомбы будет выжжен весь район, а территории соседних районов окажутся зараженными радиоактивными веществами. Начальник штаба округа предложил подвести к селу несколько дивизионов так называемых «Катюш» и расстрелять его реактивными снарядами. Но при анализе состоявшегося боя оказалось, что повстанцы каким-то образом контролируют территорию вокруг своего села радиусом в пятнадцать-двадцать и более километров. В свою очередь командующий военно-воздушными силами округа высказал мнение, что наибольший эффект даст массированный авиационный налет на позиции мятежников с последующей высадкой десанта. Было, правда, и четвертое предложение, согласно которому село предполагается задушить блокадой. Но оно, как выяснилось, отвергнуто самим Иосифом Сталиным как путь долгий, потому неприемлемый, поскольку сельское население уморить голодом трудно, к тому же есть опасность быстрого распространения «дурного примера».

Командующему округом предстоит нелегкий выбор.

Между тем прогрессивная общественность всего мира внимательно следит за происходящими в Верхоградской области событиями...»

Оказалось, это была передача «Голоса Америки».

— Е-мое!—воскликнул Сова.— Почему они называют нас мятежниками и повстанцами? Мы же против власти ничего не делали.

— Как не делали? Танковый батальон уничтожили — это тебе шуточки?— напомнил Архаров.

— Так мы просто защищались. Зачем на нас было лезть? Все планы колхоз выполнил. Все законы Советской власти соблюдаются. Даже председателя своего защитили согласно Примерному Уставу сельскохозяйственной артели. Он же не нами, начальством в Москве составлен.

— Эх, Митяй! Долго тебе объяснять. Скажу лишь одно. Лет через тридцать пять, может статься, объявят вам демократию, гласность, перестройку и тому подобные приятные на слух слова. Но как только наивные люди по-

верят в них и захотят хоть в чем-то жить по-своему, их начнут давить прежде всего те, кто все это обещал. Я полагаю, свобода никогда сама не придет. Так что... Знаешь, Митяй, ползать — грязно, противно, но безопасно, бегать — приятно, быстро, но рискованно. Человек сам должен выбирать свой образ жизни.

Сова долго смотрел на него с завистью.

— Да, ученый ты, однако. А я вот малограмотный. Евсеич говорит — я ему верю, Ненашев скажет — тоже, а тебе подавно доверяю. А где она, настоящая правда — поди разберись.

— Ладно, эту антимонию мы как-нибудь позже еще пожиже разведем, — перебил его Архаров.—Сейчас надо срочно созвать военный совет. Так что давай дуй к Ивану Евсеевичу. А я на всякий случай поднимусь наверх. Черт его знает, а вдруг противник начнет нас бомбить прямо этой ночью.

Несмотря на чрезвычайную ситуацию, члены военного совета собирались медленно. Большинство было с глубокого похмелья, соображало вяло. Правда, некоторые уже успели «подлечиться» и вели себя по-детски весело и беззаботно... Одним словом, Евсееву удалось открыть заседание лишь с восходом солнца. Ей-ей, осуществись за это время хотя бы один из переданных «Голосом Америки» вариантов, Архарову пришлось бы действовать на свой страх и риск.

С информацией о сообщении «Голоса Америки», как прослушавший его от начала до конца, выступил Сова. Будучи докладчиком на таких мероприятиях впервые в жизни, он почувствовал, как от важности момента приподнялся его дух, так что казалось, вот-вот и сам возвысится непонятно куда. Естественно, в связи с этим разыгралась творческая фантазия, и Сова добавил в свою информацию множество сногсшибательных деталей, о которых Архаров слыхом не слыхал. Однако опровергать Сову он тоже не мог, поскольку начало радиопередачи прослушал. В частности, по радио будто бы выступал маршал Жуков и посетовал, что победить Мохово очень сложно, потому как в составе обороняющихся, видимо, много спецов партизанской войны. А какой-то полковник запаса молдаванин Леонид Брежнев сказал, что действия моховцев напоминают ему оборону Малой земли. Известно, в конечном счете именно там решалась судьба Великой Отечественной войны. Может статься, и в боях за возврат

Мохова в лоно Советской власти будет решаться судьба всей страны.

Впрочем, судьбоносность момента понимали и сами члены военного совета. В конце концов именно от того, сумеют они отстоять свою свободу или нет, зависело, будут они получать на свои трудодни по три-четыре килограмма зерна или по-прежнему будут довольствоваться жирными чернильными палочками в ведомостях, будут есть настоящий хлеб, и черный, и белый, или будут продолжать уминать в основном лишь картошку. И это сладкое слово «хлеб» перебарывало все: и трепет и перед коммунистической партией и ее гениальным вождем, и страх перед самой сильной в мире Советской Армией, и нежелание быть осужденным всей остальной сознательной частью советского народа. К тому же в ходе заседания не совсем здоровые члены военсовета постепенно начали отходить. Казалось, под угрозой потери хлеба желудки людей брали все недуги, связанные с похмельем, на себя, тем самым освободив мозги для их прямой работы. А когда командует желудок, мозг даже самого квелого человека начинает шевелиться быстрее. И посыпались предложения.

ЕВСЕЕВ: Нам надо каким-то макаром предупредить представителей власти, что мы в целях предосторожности будем уничтожать любой вид оружия в пределах досягаемости.

СОЛОВЬЕВ: Правильно! А чтобы досягаемость была еще дальше, надобно башню поднять еще выше. Хотя бы дополнить вышкой метров на пятнадцать-двадцать.

МЕНЯЛА: Чтобы легче выдержать блокаду, надо организовать менку. То есть менять продукты на вещи.

СОВА: Желательно, чтобы народ нас понимал с полуслова, потому надобно ему все как след разъяснить.

Люди более пожилые, как и положено, оказались и более скептическими, подтверждая непреложный закон природы о возрастании консерватизма по мере старения человека.

— А как разъяснить, ежели нам не дают ступить ногой за пределы территории колхоза?—спросил Михаил Егорович.

— А как организовать менку, коль кругом частокол из серых шинелей?—резонно заметил и Николай Макарович.

На что Меняла не менее резонно ответил:

— Дак на серые шинели, к примеру, и будем меняться. Наш солдат — он ведь самый бедный в стране и в мире

человек. У него ничего своего нету, даже жалованье — курам на смех. Полагаю, за самогон или за хорошую жратву при удобном случае он отдаст все, что можно укр... то есть, поможет укрепить связи армии с народом. А ежели доберемся до старшин и до замкомов по хозчасти! Эти за руб... то есть, за руку дружбы все отдадут. Я за это ручаюсь.

Нашелся ответ и по проблеме информации населения.

— Если у вас есть кузнецы, способные блоху подковать, я с их помощью запросто превращу приемник Совы в приемо-передающую радиостанцию. По мощности, она, может, с «Голосом Америки» и не сможет потягаться, но пробить советские глушители и довести наш голос до ушей народа и его любимых руководителей сумеет,—пообещал Архаров.

После долгих споров военный совет решил, что кузнецы блоху подковать, возможно, и не сумеют, ибо она, в отличие от аглицкой, живая и ее ну никак не удержать в спокойном состоянии. Однако с клопом, к примеру, они наверняка справятся. На что Архаров сказал, что и такие мастера сгодятся.

— Все это так. Все это хорошо. Но...— тяжко вздохнул Евсеев.

Все насторожились, услышав традиционный, ничего хорошего не обещающий оборот.

— Но мы не предусмотрели защиту от возможного нападения с воздуха,—продолжил Евсеев.—А вдруг все же решат нас просто разбомбить?

— Ерунда,—усмехнулся Меняла.—Лева какой хошь аэроплан сшибет.

— Вот именно — какой хошь,—укоризненно покачал головой Евсеев.—А нам какой хошь нельзя. Нам надобно военные самолеты сшибать. А у них, у самолетов, на лбу не написано, военные они аль гражданские. Случись налет почью, тем более ни хрена не различишь. Так что... моей головы не хватает, чтобы решить такую задачу.

Теперь озадачились все. Немногочисленные предложения не удовлетворяли даже самих авторов. Так бывает, к примеру, у журналиста, написавшего по заданию очерк про передовую доярку, когда сам он знает, что ее успехи — всего лишь результат арифметических действий по сложению надоев от двадцати коров и деления суммы на пятнадцать... Казалось, решение вопроса зашло в тупик. Но вдруг Архаров радостно воскликнул:

— Друзья мои, а ведь все очень просто!

— Как, то есть, просто? Расскажи!—воодушевился Евсеев.

— А так! Нам надо объявить суверенитет села, закрыть воздушное пространство над своей территорией — и все дела.

— Сувере-ни-тет? А что это такое и с чем его едят? — раскрыл рот Соловьев.—Слово-то, кажись, ненашенское.

— Ничего, через сорок лет оно станет истинно нашенским, как песок начнет хрустеть на зубах: каждую секунду будешь плеваться — не выплюнешь. Означает оно полную независимость государства как во внутренних, так и во внешних делах. Ясно?

— Это как же? Мы станем, что ли, отдельным государством?—ошарашенно вымолвил Евсеев.

— Что ли,— невозмутимо подтвердил Архаров.

— Это все понятно. Но как мы закроем над собой небо?—по-деловому спросил Михаил Егорович.—Чай, столбы на него не забьешь, забор высотой до престола господнего не поставишь.

Пришлось Архарову объяснить, что означает закрытие воздушного пространства.

— Таким образом, после предупреждения о своем решении мы начнем сбивать все летающие аппараты, оказавшиеся в воздушном пространстве нашего суверенного села,—сделал он вывод.—И мы не будем виноватыми, если среди сбитых самолетов окажутся гражданские, даже с пассажирами на борту.

— Однако...— почесал затылок Евсеев.

— Никаких однако,—категорически отверг его сомнения Архаров.—В истории нашей большой державы будет еще случай, когда собьют оказавшийся в воздушном пространстве страны пассажирский лайнер соседнего государства. И за сотни людских жизней военные получат лишь похвалу. Так что не надо ничего бояться.

На том и порешили. И разошлись бы, если бы не запуда Николай Макарович.

— Мы-то здесь все люди решительные,—сказал он.— Но в народе всякое говорят.

— Что — всякое? Ты давай конкретнее,—приказал Евсеев.

— Многие сомневаются, что мы правильно поступаем. Считают, что зря ввязались в эту борьбу. Дескать, овчинка выделки не стоит. Мол, все одно за труд дадут одни гроши, а от государства больше ни шиша не получим.

Да, такие разговоры велись. Об этом знали все члены военного совета, только вслух никто не напоминал.

— Ну, друзья-товарищи, что будем делать? Ежели народ начнет роптать — нам хана. Может, в самом деле оставить, пока не поздно, эту затею с суверенитетом и сдаться на милость властям?—то ли предложил, то ли просто порассуждал вслух Евсеев.

— Сдаться — уже поздно,—сказал Сова.—Секир башка нам обеспечен.

— Я вам так скажу. От внешнего лиха я вас защищу,—напоминая о сабле-луче, по-лошадиному мотнул головой вверх Архаров.— А с народом вы сами ищите общий язык. По-моему, пора уже подсчитать окончательно и объявить во всеуслышание, по сколько и чего достанется колхозникам на один трудодень. Желательно, чтобы окончательные цифры были больше объявленных на гулянке. Не мешало бы также запланировать, как лучше заинтересовать людей в дальнейшем. Может, отдать фермы животноводам, землю — полеводам? Хотя бы в аренду. А если кто захочет сам отдельным хозяйством жить— выделить ему долю земли и имущества колхозного. В девяностых годах именно так будет решаться вопрос. Так чего тянуть? Зачем лезть в тупик, в конце которого нас всех старушка с косой дожидается?

— Стало быть, колхоз разрушать?—сердито нахмурил брови Евсеев.—Пойти назад, к эксплуатации? А ведь мы только колхозом и сможем дойти до коммунизма.

Соглашаясь с ним, закивали головами и другие мужики. Кроме Совы и Соловья. Архаров отнесся к этому весьма спокойно.

— Вообще-то это ваше дело,—сказал он.—Я лишь предскажу, что будет потом. Кремлевские светлые головы на весь мир объявят, что построят коммунизм в СССР к восьмидесятому году. А через несколько лет после этого срока весь народ окажется таким же нищим, как вы сегодня. Как говорится, откуда начали, туда и пришли.

— Что-то, парень, очень круто ты загнул,—с сомнением покачал головой Михаил Егорович.—Сам Сталин борется за коммунизм, и нас всех за собой ведет. Да и Ленин до самой смерти толковал об том же. Ведь светлая была голова. А ты, хоть и смекалист, однако ж не вождь. И самогон глушишь наравне с нами.

— Хотите — верьте, хотите — нет. Я сказал то, что знаю, что видел собственными глазами и испытал на своей шкуре,—равнодушно ответил Архаров.—Но насчет ком-

мунизма ты, дед, прав. Вообще-то он наступит. Только не для вас. А для Ненашевых. Знаю я одного такого. Из-за него и влип в эту историю. Но это особый разговор.

— Это все, положим, можно допустить,—вмешался Евсеев.—Однако кем стану я, ежели колхоз распустится?

— Кем хочешь,—пожал плечами Архаров.—Стань тем же фермером, раз на земле живешь. Покажешь другим на деле, как надо вести хозяйство. А можешь остаться и председателем. Не такого колхоза, а кокого-нибудь кооператива фермеров. Будешь помогать крестьянам выгодно продавать хлеб, мясо, мед. Выгодно покупать тракторы, машины, удобрения. В последние годы там, в будущем, шумная говорильня велась как раз об этом. А в загнивающих странах давным-давно так живут. И процветают.

— Так, стало быть,—неопределенно хмыкнул Евсеев и, нахмурившись, замолк.

Чувствовалось, он собирался мыслями, чтобы сказать что-то веское. Но в этот момент наверху, на площадке башни, забили в рельс. Тревога! Архаров тут же вскочил и прытко побежал вверх по лестнице. За ним тянулся грохот деревянных ступенек. Это, оставив свои споры внизу, поднимались другие члены военного совета.

Оказавшись на площадке, Архаров первым делом подбежал к сабле-лучу, подготовил аппарат к работе.

— Вот, стервец, прямо сюда заходит,—показал тем временем дежурный наблюдатель рукой на юго-запад.

Оттуда, тарахтя еле слышно, в сторону Мохова приближался тихоходный У-2.

— А куда он направлялся?—спросил Архаров.

— Сначала летел в сторону Краснобая. Затем вдруг резко свернул, и я забил тревогу,—доложил дежурный.

— Правильно сделал,—похвалил его подоспевший Евсеев.—Странно, что ему здесь нужно? Может, это просто какой-то санитарный или почтовый самолет?

— Летали они здесь раньше?—спросил Архаров.—Как думаешь, есть над вашим селом какая-нибудь воздушная трасса?

— Аллах его знает... Вообще-то самолеты здесь — редкость. Ежели и летают в Краснобай почтовые или санитарные, они должны бы подходить к нему из Верхограда с противоположной стороны, так что мы невооруженным глазом вряд ли увидели бы их.

— Может, это разведчик?—предположил Соловьев.

— А что, если он вооружен? И сбросит бомбы?

Это беспокоился Сова.

— Насчет бомбы — не думаю,—сказал Евсеев.—Много груза он не потянет. Пулеметик вот у него вполне может быть. Так что, Лева, гляди в оба. Как только раздастся первый выстрел, разрежь его пополам к чертовой матери.

Самолет находился уже почти над головой и начал барражировать по кругу. Сомнений не оставалось: это был разведчик. Ни стрелять, ни бомбить он не стал, но, постепенно снижаясь, сделал целых шесть кругов. Видимо, летчик понял, что, пока он ведет себя мирно, никто не собирается его трогать. Затем самолет резко взмыл вверх и улетел в сторону Краснобая.

— Теперь надо быть начеку,—сказал Евсеев.

Это понимали все.

— Митяй, я сейчас начерчу кое-какие детали. А ты отнеси чертежи кузнецам и помоги им. Как и чем — я по ходу дела тебе все объясню. Думаю, самому мне не следует оставлять пост,— сказал Архаров и попросил Менялу принести снизу бумагу и карандаш.

Потом члены военного совета ушли организовывать колхозные дела, поскольку еще оставалось гектаров десять неубранного турнепса, а фермы чуть ли не полностью оказались под навозом. Архаров же с Совой битый час корпели над составлением чертежей. Вернее, корпел и одновременно объяснял Архаров. А Сова лишь головой кивал беспрерывно, словно заведенный, а потом, оставив свой приемник на башне, заспешил в кузню.

Уже на следующее утро старший кузнец принес заказанные детали, а Сова — инструменты, и Архаров, не отлучаясь от башни, начал мастерить из небольшого радиоприемника целую радиостанцию. Одновременно внизу плотники заготовляли детали надбашенной вышки, которую затем должны были собрать и поставить на площадку.

— А хватит у нашей радиостанции сил вещать на весь мир?— усомнился в какой-то момент Сова.—Я помню, в армии были куда большие ящики, а покрывали не свыше пяти верст.

— На весь мир, точно, не хватит,—согласился Архаров.—Но нас услышат и в Верхограде, и в Москве. Во-первых, наша станция будет одночастотная, с мощным блоком усиления. Во-вторых, антенну мы установим как можно выше, на шпиле будущей вышки. Так что она окажется на уровне антенны телебашни.

— Какой башни?—не понял Сова.

— Это я потом объясню,—отмахнулся Архаров, продолжая мастерить.

На следующий день плотники установили вышку. С нее жутко было даже смотреть, особенно вниз. С непривычки слегка кружилась голова. К тому же человек всем нутром чувствовал, как качает всю эту махину, страх так и норовил уходить в пятки и заставить человека дать стрекача. Однако Архаров освоился быстро. Видимо, сказалась привычка работать в высотных домах. Как бы ни было, теперь радиус обзора удлинился еще на пять-шесть километров. Правда, противник мог ночью скрытно подвезти и установить дальнобойные пушки в лесу, где когда-то неизвестно каким образом очутился Архаров, но там постоянно находились разведчики Михаила Егоровича.

А У-2 снова прилетел и кружил, кружил над головой. Архаров даже видел в бинокль, как старательно фотографировал местность сидевший сзади пилота человек в форме. Да, военные готовились обстоятельно. Не иначе как цели намечали. Для артобстрела или бомбометания. Стало быть, приходилось торопиться с радиопередатчиком, чтобы предупредить противника об объявленном суверенитете и о возможных последствиях его нарушения. Проще бы сделать это по телефону, но его, к слову сказать, отключили с первого дня блокады... Потому Архарову пришлось провести еще одну бессонную ночь, возясь с разобранным приемником Совы. Даже когда Марфа принесла не остывший еще ужин и предложила сначала «для аппетиту» пропустить стаканчик чистого, как коровья слеза, первачка, он, к ее удивлению, лишь отрицательно мотнул головой.

А под утро, страшно перепугав безмятежно спавшую на топчане Марфу, Архаров вдруг зычно закричал: «Есть! Есть передача, мать вашу так!» и под очумелым взглядом женщины пустился в диковинный пляс. Откуда было ей знать, что «Ламбада» была одним из самых распространенных танцев восьмидесятых-девяностых годов... Потанцевав таким образом минут пять-десять и прокричав что-то невразумительное о япошках, которых в чем-то запросто можно обогнать, Архаров рухнул рядом с Марфой, как сдутый с копны сноп, и заснул мертвецким сном.

Проснулся он от сильного удара грома. Разряд показался по-весеннему кратким. Пока Архаров сидел в пустой комнате, очумело соображая над этой странностью, ударило и тряхнуло еще раз. Всю башню. О, черт! Это же...

Архаров как был в кальсонах и босиком (видно, Марфа раздела его), так и помчался наверх. А подниматься

надо — ой-ой-ой! «Нужно скоростной лифт наладить!»— подумал Архаров, вылезая на площадку, откуда оставалось еще взобраться на вышку.

— Артобстрел!—коротко сообщил дежуривший у сабли-луча Сова.

— Пока еще обстрела нет,—уточнил его напарник, видимо, бывший артиллерист, судя по возрасту, отслуживший уже в послевоенные годы.—Пока идет только пристрелка.

— Откуда стреляют?—спросил Архаров.

— Во-он оттуда, из-за сталинской посадки,—вытянув руку, показал Сова на жиденькую лесную полосу километрах в семи-восьми. Такие полосы, призванные защитить поля от ветровой эрозии, вырастали в те годы во многих местах страны.

— Если видишь, почему даешь стрелять?—возмутился Архаров.— Ждешь, пока не накроют башню и нас вместе с ней?

— Дак ведь...—пожал плечами Сова.

Но договорить не успел, так и присел с пожатыми плечами: как раз в этот момент прямо над головой провыл снаряд и взорвался метрах в ста, забросав крытый ток комьями земли.

— Ах, ты!..— выругался Архаров и, оттолкнув Сову, припал к прицелу гиперболоида.

— Дак ведь самой пушки не видно,—попытался оправдаться Сова.

— Но в бинокль видно, откуда стреляют. Вон дымок стоит. Надо было срезать в этом месте всю посадку вместе с пушкой к чертовой матери!

— Разве можно и так?—удивился Сова.—Неужто у этой коробки хватит мощи на это?

Архаров больше объяснять не стал, прицелился получше и нажал на кнопку. Тоненькая ниточка мгновенно потянулась как бы в бесконечность. И вдруг темноватая полоса посадки на глазах начала валиться. А вот и взрывы показались. Видно, огненная нить пронзила боеприпасы.

— Следи, не станут ли стрелять еще,—приказал Архаров бывшему артиллеристу.—Может, там не одна пушка стоит. А ты, Митяй, спешно организуй разведку в лесополосу. Надо же, мы могли опростоволоситься на такой ерунде!

К счастью, выстрелов больше не последовало. Видимо, противник для начала, не выдавая себя, решил унич-

тожить башню, являвшуюся одновременно и наблюдательным пунктом, и огневой точкой.

Подождав для верности еще полчаса, Архаров отпустил Сову, дав еще одно поручение: передать Евсееву, чтобы он срочно провел совместное заседание правления колхоза и исполкома сельсовета, где надо принять декларацию о суверенитете Мохова. Он намеревался немедленно передать ее по радио, после чего действовать соответствующим образом. Чтобы на территорию колхоза «Красный коммунизм» и села Мохово, действительно, ни одна мышь, ни одна птица не могли пробраться без разрешения.

Вскоре пришла Марфа, накормила Архарова и дежурного наблюдателя. Обед оказался королевским: щи из свежей капусты с курицей, жаркое, соленые как-то по-особому огурчики, чай из мяты. В довершение ко всему— пара чарок казенки.

— Что это ты сегодня расстаралась?—нежно погладив Марфу по голове, спросил Архаров.

— Дак радостную новость услышала. На правлениито подсчитали и решили выдать на трудодень аж по четыре килограмма зерна. Да гороху по кило. Да свеклы по пять. И соломы будет в достатке,—сообщила Марфа.— Вот я на радостях и решила вас попотчевать.

— Тогда и сама выпей с нами,—предложил напарник Архарова, сын Михаила Егоровича.

— Ни-и,—мило улыбнулась Марфа, инстинктивно погладив живот.—Нам теперча не можно.

— Интересно, сколько же у тебя трудодней этих набирается?—спросил Архаров.—Неужто можешь разбогатеть?

— Двести с лишним уже набралось,—самодовольно ответила Марфа.—К тому же ваших почти столько же.

— Как?—удивился Архаров.—Мне тоже начислены эти ваши палочки? Кстати, почему так много? Я здесь живу-то четвертый месяц.

— Были палочки, Лев Борисович. А теперча, с вашим появлением, с има жить можно. А много, потому что правление решило каждый день вашей работы за два с половиной считать. Вот какое вам уважение. Как трактористам.

От такого сравнения Архаров чуть было не расхохотался. Хорошо, в этот момент заявился Сова. Вид у него был удрученный. Сам он, весь взъерошенный, походил больше на ежа, чем на птицу, чью фамилию носил. Так что веселое настроение как ветром сдуло.

— Митяй, ты что так долго? Давай быстрее декларацию. У меня уже и радиостанция настроена,—заторопил Архаров друга.

— Какую-такую еще декрара... деклала...—тьфу ты!—хреновину бумажную?—зло ответил Сова.—Заседают они все, власть никак не поделят!

— Кто — они? Какую еще власть?—не понял Архаров.—Мне нужен текст декларации о суверенитете.

— Что ты орешь на меня? Что орешь?!—вспылил Сова.—Иди сам и растолкуй им, какая бумажка тебе нужна. А с меня хватит, мать вашу так...

Выругавшись длинно и смачно, Сова вроде бы чуточку остыл и коротко рассказал-таки, как проходило совместное заседание правления колхоза и исполкома сельсовета.

Поначалу все шло гладко. Быстро объявили в интересах народа суверенитет. Это означало, что все имеющееся на территории колхоза и сельсовета, под и над нею отныне полностью принадлежит гражданам Мохова и неприкосновенно для других. Государственным языком объявляется моховский диалект, и все делопроизводство отныне должно вестись только на нем. Все эти пункты члены правления и исполкома утвердили единогласно. Но когда дошли до правил пользования землей, разгорелись споры. Коммунисты во главе с Пряниковым признавали лишь колхозную форму собственности на землю и, соответственно, коллективную форму пользования ею. Иначе, как они утверждали, можно докатиться до возврата в лагерь мировой помещичьей буржуазии. Евсеев и его сторонники вообще-то признавали, что землю можно отдать и отдельным крестьянам, доказавшим свою способность самостоятельно работать на ней. Но это, как они считали, может произойти не скоро, лет эдак через пятнадцать. Именно столько осталось Евсееву до пенсии, которая ему была положена как номенклатурному работнику. А пока, дескать, надо жить как бы в переходном периоде, тщательно готовясь к земельной реформе: заготовить в достаточном количестве межевых столбов, создать комиссию по землеустройству и выработать для нее инструкцию, утвердив для этого другую комиссию, подсчитать, сколько гектаров приходится на душу населения. Тогда выступил Соловьев и сказал, что на эту подготовку хватит трех недель. По его мнению, землю надо раздать желающим взять ее и немедленно. Тогда она начнет рожать так же, как и до четырнадцатого года, то есть примерно раза в два больше,

чем сейчас. Якобы только таким путем можно создать изобилие всего. Сам он, к примеру, готов, оказывается, продать будущий излишек будущей ржи и купить патефон, затем и велосипед. Пряников его тут же обвинил в буржуазном уклоне, в отходе от самой верной линии самой верной партии и его самого верного вождя товарища Сталина. Упрекнул Соловьева и Евсеев, сказав, что его заявление о высоких урожаях написано вилами на воде. Тогда попросил слово котирующийся в ранге приглашенного Сова. Он привел цифры и факты о работе американских фермеров, почерпнутые из передач «Голоса Америки». Его тут же научно высмеял Пряников, выступая уже как историк. По его словам, Америка по производительности труда ушла недалеко, и то лишь потому, что не участвовала в войне. Зато трудящиеся там от голода мрут, как мухи, потому что девяносто девять процентов национального богатства принадлежит одному проценту буржуев, жиреющих на нещадной эксплуатации тех же фермеров... В итоге всей дискуссии ни одна из соперничающих сторон не получила большинство. Пришлось создать согласительную комиссию.

И совсем зашло в тупик заседание, когда перешли к вопросу о власти. Совершенно неожиданно Перцев признал требования о суверенитете законными и справедливыми. Раз так, будто бы само собой выходило, что руководить новой суверенной республикой должен председатель исполкома сельсовета, поскольку он избран единогласно всем совершеннолетним населением, за исключением нескольких лишенцев. На что Евсеев резонно заметил, что народ избрал Перцева просто в состав сельского Совета, а председателем исполкома он стал лишь по воле депутатов, то есть по воле пятнадцати человек. А вот самого Евсеева председателем колхоза народ избрал непосредственно. Причем в выборах могли участвовать все члены колхоза, включая и лишенцев, и несовершеннолетних. Но Перец он и есть Перец, его дело — горчить. Он тоже вполне резонно начал утверждать, что колхозники — это еще не все население Мохова, что в селе есть еще две семьи единоличников, учителя, медфельдшер и медсестра, зав. клубом и библиотекарь, техслужащие школы, медпункта, клуба и самого сельсовета. И вообще, дескать, знаем мы, как избираются председатели колхозов, на что Евсеев ответил не совсем парламентским выражением, смысл которого примерно таков: той же штукой и тебе по тому же месту... Главное, при голосованиях, которые

проводились через каждый час ожесточенных споров, никто из них не мог набрать большинства...

Да, похоже, Архарову следовало вмешаться в затянувшуюся дискуссию самому. И он, учитывая сложность внешней обстановки, оставил вместо себя у сабли-луча Сову, а сам, учитывая сложность внутренней обстановки, заспешил в правление колхоза, где происходило вышеупомянутое историческое заседание.

Подоспел Архаров как раз к моменту, когда начал выдыхаться очередной круг спора и приближалось новое голосование. Послушав в общем-то известные доводы соперников и оценив реакцию на них членов правления и исполкома, он понял, что участникам заседания разойтись мирно не удастся. Тогда Архаров попросил слова сам.

— Уважаемые товарищи и граждане! Из опыта конца восьмидесятых — начала девяностых годов я вам могу предложить единственный выход из создавшегося тупика: вам надо ввести в вашей суверенной республике президентское правление. И избрать президента всеобщим тайным голосованием из числа альтернативных кандидатов.

— Это еще какие такие кандидаты?—возмутился Прянников.—Нам такое буржуазное слово не подходит. Нужен один кандидат — кандидат блока коммунистов и беспартийных.

— Пусть даже так. Но пусть изберут его тайным голосованием,— посмотрев на часы, согласился Архаров.— А сейчас назначьте дату выборов, утвердите уже согласованную часть декларации о суверенитете — и на этом завершайте на сегодня. И еще. Чтобы не было обидно второму претенденту на пост президента, ему надо предложить должность премьер-министра. Если же есть и третий претендент, его можно избрать председателем Верховного Совета. Нетрудно найти подходящие должности и для других. Главное сейчас, мужики,—жить дружно.

Измученные члены правления и исполкома охотно согласились с ним, быстренько проголосовали за документ исторической значимости, договорились и о дате выборов и, мирно прикуривая друг у друга цигарки, разошлись с сознанием выполненного перед народом долга.

А Архаров через полчаса уже передавал в эфир:

— Внимание! Говорит радиостанция «Голос свободы». Передаем декларацию о суверенитете республики Мохово...

Эх, кабы знать, где упасть... Нет, не знал этого Архаров, потому и не постелил соломы.

Не ведал он, что его предложение о президентском правлении, высказанное лишь затем, чтобы завершить бесплодные споры на совместном заседании правления колхоза и исполкома сельсовета, вызовет столь большой ажиотаж.

Между тем предвыборная кампания в Мохове разворачивалась вовсю. Самое скверное, оба главных претендента в пылу соперничества за кресло непонятно что означающей должности совершенно забыли о своих обязанностях руководить жизнью колхоза и села в целом. А обстановка складывалась чрезвычайно серьезная.

Только успел Архаров передать в эфир декларацию о суверенитете Мохова, «Голос Америки» тут же сообщил:

«Центральные власти России во главе с Генеральным секретарем ЦК ВКП(б), Председателем Совета Министров СССР, Генералиссимусом Советского Союза Иосифом Сталиным крайне озабочены событиями, развернувшимися в глубинном населенном пункте Мохово, что в Верхоградской области. Согласно сообщению ТАСС, за политические ошибки, выразившиеся в допущении бунта колхозников, первые секретари Верхоградского обкома и Краснобайского райкома сняты с занимаемых должностей. Им же предъявлено обвинение в государственной измене, выразившейся в потворствовании жителям села Мохово, другим преступным элементам района и области, в установлении связей со многими капиталистическими странами, в результате чего моховцы завладели самым совершенным оружием и оказывают сопротивление ограниченному контингенту Советской Армии.

Если верить ТАСС, особое возмущение у советского народа вызвало объявление о суверенитете так называемой республики Мохово. Как стало известно в кругах, близких к правительству, Сталиным отдан приказ в течение трех суток смести с лица земли все село, а оставшихся в живых жителей, если таковые окажутся, всех до единого депортировать в отдаленные края Сибири и Казахстана».

Казалось бы, в течение этих трех суток Евсеев с Перцевым вообще должны забыть о своем соперничестве и стать как бы братьями-близнецами, делать все мыслимое и немыслимое, чтобы сохранить республику, президентом

которой они собираются стать. Однако оба председателя даже ухом не повели на информацию о готовящейся операции Советской Армии по стиранию Мохова с лица земли. Перцев, никаким боком не связанный с обороной села, лишь рукой махнул, а Евсеев сказал: «Ты уж, Лева, сам организуй все, что надо. Я тебе и твоему оружию доверяю полностью. Иначе ни за что не согласился бы заварить эту кашу».

Хотя это ведь тоже своего рода приказ. Как известно, приказы отличаются по форме в зависимости от того, кто их дает, а по осуществлению — в зависимости от того, кто их исполняет. Самое замечательное в этой классической академичности то, что такое положение в случае неудачи дает вам шанс оправдаться: приказодателю — за счет «плохих исполнителей», исполнителей — за счет «плохих приказов». Вся беда, однако, в том, что от этого Архарову не легче. Он обязан выиграть бой в любом случае. Проигрыш для него означает не просто гибель, как, скажем, для тех же претендентов на пост президента. В конце концов,—Архаров это знает точно,—их гибель с прошествием времени превратится в геройство. Это все-таки лучше, чем ничего. Архарова же ожидает именно ничего. Потому как он — житель девяностых годов, стало быть, не мог умереть в пятьдесят первом, когда, как говорится, еще в проекте не существовал. И его гибель превратится лишь в позорное исчезновение из жизни, ибо известно, что говорят в таких случаях о людях его пошиба.

И Архаров взял руководство обороной на себя.

Прежде всего он попросил кузнецов смастерить большое «ухо», а дежурить около него заставил лучших слухачей — гармонистов и балалаечников. Все-таки стояла глубокая осень. Небо то и дело сплошь покрывалось густыми свинцовыми тучами, нет-нет да и покрапывал дождик. А противник наверняка решил уничтожить село с воздуха, раз другие способы не дали положительных результатов. Но как увидишь самолеты из-за туч? Их можно только услышать и стоять наготове, чтобы как только спикируют для атаки, тут же и сбить, не дав прицельно сбросить ни одной бомбы или расстрелять башню. Архаров резко усилил разведку. Воздух воздухом, а возможность наступления по суше тоже нельзя было отбрасывать со счетов. Самые лучшие в Советском Союзе советские танки могли ходить и по бездорожью. Одновременно Архаров предупредил население, чтобы с наступлением заварухи тут же все хоронились в подвалах и погребах.

Командование Советской Армии, видно, решило не испытывать судьбу, оставляя выполнение приказа Самого на последний срок. К обеду второго дня дежурный слухач, парнишка лет пятнадцати, на мгновение как-то неестественно замер и вдруг ка-ак закричит:

— Самолеты! Дядя Лева, самолеты идут!

Через жестяное «ухо» уловил шум в небе и Архаров. Гул двигателей нарастал с каждой секундой. Шел он с юго-запада прямо на Мохово. Сомнений быть не могло: начиналась операция по сметанию села с лица земли.

Хоть и ожидали все этого момента, первая тройка самолетов вынырнула из-за туч как бы совершенно негаданно. Не очень хорошо знавший историю советской авиации Архаров полагал, что налет совершат штурмовики, знакомые по кинофильмам о Великой Отечественной войне. Однако самолеты оказались реактивными! И Архаров успел прицелиться и «выстрелить» лишь в ведущего тройки, который тут же взорвался и разлетелся на куски. Ведомые же пронеслись над головой, сбросив по несколько бомб как раз в районе башни. Видимо, летчики до вылета на задание хорошо изучали местность по снимкам с воздуха. Однако, выйдя на цель из-за туч буквально рядом, они в силу большой скорости не успели точно прицелиться, и взрывы раздались далеко сзади, в широком овраге, разделяющем ток от села. Но это стало ясно после. Пока же Архаров не стал обращать внимания на пролетевших, поскольку тут же появилась вторая тройка. На этот раз удалось сбить два самолета. Причем Архаров даже не целился, только водил, словно мечом, перед самолетами лучом. И такое заграждение удалось проскочить лишь одному. Вернее, он просто успел увильнуть в сторону. Само собой, и бомбы сбросил на пустое поле, рядом с лесом, где летом росла гречиха. С третьей тройкой Архаров уже знал, что делать. Он водил лучом дугообразно, и ни один самолет не смог увернуться от его разящей силы. Вместо быстроходных машин на небе запестрели парашюты.

— Командир, может, взять нам этих летчиков?—предложил стоявший внизу начальник караула.

— А зачем?

— Ну, чтобы допросить. Узнать их секреты.

— Ни к чему нам их секреты,—ответил Архаров.— Мы ведь не собираемся пойти на них войной. А пленные станут для нас лишней обузой. Пускай уберутся подобру-поздорову и благодарят Бога и нас за то, что оставили

в живых. Мне ведь ничего не стоит разрезать их парашюты.

То ли под действием мощных взрывов в воздухе, то ли из-за того, что «сабля-луч» разрезал их на куски, тучи тут же начали рассеиваться. За какой-нибудь час они оставили все небо над суверенной территорией Мохова. И вовремя. Обескураженный неудачей противник вскоре запустил на село, похоже, целый авиаполк. Причем самолеты, не боясь столкнуться друг с другом, шли со всех сторон одновременно. Однако Архаров тоже не просидел этот час спустя рукава. Поняв пользу вращательного движения луча, он поставил аппарат на конусообразную шестерню, которая приводилась в движение от другой, вращаемой рукояткой. Таким образом огненный луч успевал делать за секунду чуть ли не десятки оборотов, при этом окольцовывая все воздушное пространство над территорией колхоза. Естественно, такой заслон не могли преодолеть ни самолеты, ни птицы, ни насекомые. Хорошо хоть радиус круга на высоте бомбометания равнялся трем-четырем километрам и взрывающиеся или просто разрезанные на куски воздушные машины не дотягивали до села. Иначе быть бы непоправимой беде и без бомб, от одних только обломков.

Правда, появилась другая опасность. В какой-то момент небо вокруг Мохова сплошь покрылось парашютистами. Можно было подумать, что идет крупная высадка десанта. Если опустившиеся на землю летчики вдруг пошли бы на село, еще неизвестно, чем бы все это кончилось. Ведь они, хоть и лишь пистолетами, но все же вооружены. Пришлось срочно выставить за село заградительные посты, вооруженные трофейными автоматами, охотничьими ружьями и сельхозинвентарем. Но, слава Богу, летчикам, похоже, и в голову не приходила мысль об атаке. Рожденный летать ползать не будет!

Вскоре кругом стало тихо. Лишь медленно опускались, словно одуванчики, последние парашюты да на небе кое-где расползались сизые дымки, оставшиеся от взорвавшихся самолетов. Неизвестно, какие выводы сделает после этого боя командование военно-воздушных сил округа да и всей Советской Армии. Ясно одно: в ближайшие несколько дней новых налетов наверняка не предвидится. Как-никак, военным следовало сначала изучить причины столь сокрушительного поражения и выработать новую тактику действий, а может быть, и стратегию, если они поймут, что Мохово — орешек крепкий и раскалывать его

придется долго. К такому выводу пришел мудрый военный совет Мохова, и его руководители, уповая на всесилие и могущество «сабли-луча» Архарова, решили полностью использовать образовавшуюся передышку для предвыборной агитации. При этом каждый претендент бил соперника одним и тем же оружием, лишь удары старался наносить более изощренно. Евсеев доказывал, что Перцев не сможет наладить экономику суверенной республики, тем более в условиях полнейшей блокады, так как никогда не работал на хозяйственных должностях. А Перцев утверждал, что Евсеев в условиях той же блокады не справится с государственными делами, поскольку не имеет опыта работы в Советах. Тем более, что к тому времени в Мохове возникли национальные проблемы. Вдруг оказалось (хотя это было известно и раньше), что кузнец, так мастерски помогавший Архарову в строительстве радиостанции,—человек цыганских кровей. Он требовал, чтобы государственным языком Мохова, наряду с моховским диалектом, считали и цыганский. При этом вполне обоснованно доказывал, что цыгане живут во всем мире и со всеми народами находят общий язык. Потому, дескать, он является таким же международным, как и английский, и правовое государство, каковым хочет стать новая республика, ни в коем случае не вправе его игнорировать.

В итоге все шло к тому, что республикой, как и предлагал Архаров, станут руководить два руководителя: президент и премьер-министр, поскольку оба претендента не могли победить друг друга квалифицированным большинством, как того требовали члены правления колхоза и исполкома сельсовета. Но тут нежданно-негаданно, спутав все карты, появился третий кандидат. Им оказался... сам секретарь парторганизации Пряников, то есть товарищ, когда-то начисто отрицавший даже саму мысль о самостоятельности колхоза хотя бы на грамм. Сам он такую метаморфозу объяснил на предвыборном собрании следующим образом:

— Бывая часто за пределами колхоза и сельсовета (он один-единственный из моховцев беспрепятственно пропускался солдатами через линию блокады), я внимательнее стал присматриваться к жизни. И понял: некоторые вопросы нашими колхозниками и гражданами, действительно, ставятся правильно. Наверное, за труд все-таки чуток надо платить. Не забывая, однако, в каком труднейшем положении все еще находится наша страна. И самые совершенные в мире наши принципы демократичес-

кого управления надо совершенствовать и дальше, чтобы народу жилось еще лучше и вольготнее, чтобы мы, идя верной дорогой, указанной вождями марксизма-ленинизма и их верными продолжателями, быстрее дошли до самого справедливого в мире коммунистического общества. Тогда возникает естественный вопрос: кто должен возглавлять эту самую главную борьбу? Тут же само собой появляется и наиболее верный ответ: партия трудящихся, партия, выражающая волю всего народа. И только она, единственно она, любимые мои односельчане, сможет привести вас к желанной победе. Потому я, посоветовавшись с товарищами, как секретарь парторганизации, решил выставить свою кандидатуру на пост президента от имени блока коммунистов и беспартийных.

Пряникова страстно поддержал Петухов. Поскольку он все еще оставался налоговым агентом, многие, особенно из среды малоимущих, не осмелились ему перечить. По крайней мере вслух. А тут еще выступил ряд коммунистов, комсомольцев и беспартийных активистов, побывавших накануне на именинах уважаемой супруги Пряникова. Они тоже были людьми далеко не рядовыми, хотя в анкетах скромно писали о себе: колхозник(ца). К примеру, заведующий молочнотоварной фермой утверждал, что ежели послушаться первых двух претендентов, может статься, в колхозе вообще перестанут держать коров в одном месте. Это, дескать, неминуемо приведет к снижению их продуктивности, ибо корова — скотина стадная и только в стаде способна проявить себя с лучшей стороны. По мнению кладовщика, сельскохозяйственные продукты лучше хранятся именно в общих амбарах и подвалах. При хранении же в индивидуальных хозяйствах они портят свои лучшие вкусовые и товарные качества. А ведь и Перцев, и особенно Евсеев, вполне допускают, что в будущем в Мохове, наряду с коллективным, могут иметь место и крестьянские хозяйства. Бригадир полеводческой бригады на примерах истории вполне, можно сказать, доказал, что русские крестьяне жестоко эксплуатировались в течение тысячи и более лет. В результате они кормили не только Россию, но и чуть ли не всю Европу. Только после Великой Октябрьской социалистической революции крестьяне наконец стали свободными, начали работать на свою страну. Нет сомнений, что, объединенные в колхозы и совхозы, под руководством Коммунистической партии и ее мудрого вождя товарища Сталина в скором будущем они смогут накормить все население СССР хотя бы чер-

ным хлебом... Само собой выходило при этом, что только товарищ Пряников способен обеспечить дальнейшее правильное руководство колхозом и селом, поскольку он придерживается мудрых взглядов коллективного вождя — партии, а ошибки Евсеева и не воспрепятствовавшего ему Перцева уже привели моховцев к кризису международного масштаба, к конфронтации с центром, к возрождению мелкобуржуазных инстинктов давно побежденной частной собственности, к национальной розни, что само по себе чревато.

И напрасно пытался Евсеев объяснить, что он никогда не был против колхоза, что, еще лежа в утробе матери, мечтал именно о коллективном хозяйстве, что вообще не может быть против, ибо в таком случае как председатель рубит сук, на котором сидит. И напрасно доказывал Перцев, что он сам лично двадцать лет назад выселял из села злейших врагов колхоза—кулаков, что новая власть зиждется именно на коллективизме, подавляя всякий индивидуализм. Их мало кто слушал, ибо большинству людей хотелось еще при жизни хотя бы чуток вкусить прелести коммунизма, когда работать надо будет только по способностям, а получать — уже по потребностям. А на потребности у нас фантазии более чем достаточно, в этом мы можем дать любую фору буржуину, не говоря уже об эксплуатируемых ими бедных и истерзанных трудящихся.

Одним словом, председатель военного совета, председатель колхоза, член исполкома сельсовета, бывший член райкома ВКП(б) Евсеев после очередного предвыборного собрания заявился к Архарову весь расстроенный. Пребывавший в прекрасном расположении духа Архаров этого, правда, не заметил, но принесшая ему в башню ужин и себя Марфа сразу воскликнула:

— Что случилось, Иван Евсеевич? На вас лица нет!

— Пока не случилось. Но случится непременно,— мрачно предрек Евсеев и грузно опустился на топчан, где только четверть часа назад хозяева...

Впрочем, не о том речь.

— Плохие вести с Большой земли?— согнав с лица благодушную улыбку, спросил Архаров.

— Это было бы полбеды,—тяжко вздохнул Евсеев.— Тут свои такую карусель закрутили, что все наши старания, все наши жертвы вот-вот пойдут коту под хвост.

— Батюшки!—всплеснула руками Марфа.

— Ты бы лучше угостила человека. Как-никак, прямо

с собрания, а там, небось, не кормили, не поили,—остудил ее Архаров.

— И то правда!— засмутилась Марфа и начала накрывать на стол.

Архаров тем временем разлил остатки первачка: себе, уже бывшему навеселе,— чуток, гостю — почти полный стакан.

— Евсеич, давай выпей и расскажи обо всем с толком, с расстановкой,—попросил он.

По-мужицки смачно разжевывая хлеб с картошкой и громко хрумкая солеными огурчиками да квашеной капустой, Евсеев довольно-таки подробно обрисовал все, что произошло сегодня на собрании избирателей.

— Да, положение неважнецкое,—согласился Архаров, выслушав гостя.—И все же, как это однообразно до безобразия!

— Что однообразно?—не понял Евсеев.

— То самое... Желание одних воспользоваться плодами борьбы других. Но это так, к слову, глядя, так сказать, с высоты истории. А вот тебе, Евсеич, действительно, надо срочно что-то предпринять. Иначе сковырнут тебя, как пить дать. И предпринять ты должен нечто неординарное, чтобы соперники твои не смогли ответить тем же.

— Что, что?

— Ну, нечто редкое, неожиданное для противников.

— Скажешь тоже: редкое, неожиданное...—горько усмехнулся Евсеев.—Пряников, небось, все призывы ко всем праздникам наизусть выучил. Хоть что скажи — он тут же в ответ лозунгом шарахнет или цитату какую ввернет. Не-ет, словами мне его не перебить. Одно жалко: ведь развалит колхоз. Снова все будет, как при жизни без суверенитета.

— Потому и влез он в борьбу за президентство. Полагаю, не без чьей-то подсказки,— заметил Архаров.—И все же... Ты, Евсеич, действуй на народ не лозунгами, а делом. Таким, какое ни Пряников, ни его наставники никогда не совершали и, судя по истории будущего, не совершат по крайней мере вплоть до девяностых годов.

Евсеев от удивления аж жевать перестал, будто в ожидании чуда, уставился на друга с полураскрытым ртом даже не боясь, что оттуда что-то может вывалиться.

— Ты оплати людям их труд наконец. И полной меркой. Не забывая, конечно, про расширенное воспроизводство и прочие штуки экономики.

— Мы же и так договорились по итогам года выдать

по четыре килограмма зерна на трудодень,—разочарованно сказал Евсеев.—Но это будет в январе. А пока на дворе ноябрь.

— Так ты приблизь расчеты. Да подсчитай получше. Может, еще можно чуток прибавить? Не зерна — так чего-то другого. В сущности, как я понимаю, сельскохозяйственный год почти завершен...

Евсеев долго сидел молча, все думал, думал. Потом вдруг резко поднялся, оживленно заходил по комнате.

— Все! Лева, я принял твое предложение. Завтра же отдам распоряжение бухгалтеру. Чтобы за два дня высчитали натуроплату на каждого колхозника. Тогда мы посмотрим, чья возьмет!— торжествующе крикнул он и, забыв даже попрощаться, ушел так же внезапно, как и пришел.

Эх, кабы знать, где упасть... Нет, не знал этого Архаров, потому и посоветовал такое Евсееву. Впрочем, не советовать тоже не мог. Иначе было бы непонятно, зачем он здесь, в прошлом, вообще.

А пока...

— Ну их всех!— весело махнул он рукой в сторону села и запер за гостем дверь.—Марфа, поди сюда...

И потушил свет. Вернее, выключил электрическую лампочку, светящуюся пока только здесь, в башне, построенной вместо солнечного дома.

20

Весть о решении правления раздать хлеб по трудодням разнеслась по селу за одно утро даже без подворного оповещения бригадирами.

Это утро было началом пятого дня после успешного отражения авиации противника. Наступило очередное воскресенье. Стояла редкая в ноябре солнечная погода. Если бы не оголившиеся деревья да начавшая разлагаться пожухлая трава, даже не подумаешь, что на дворе осень. С высоты в бинокль наблюдалось все пространство вплоть до отодвинувшегося на многие километры горизонта, и ничто не предвещало никаких осложнений.

Поднявшийся на вышку больше по привычке, чем по надобности, Архаров долго стоял, любуясь первозданной природой, которую пока мало испортила рука бездарного человека. Ничего подобного в своем девяносто первом он не видывал: ни отливающую голубизной чистую речку, ни луга на ее поймах, ни тот лес, в котором оказался в

первый день своего появления в пятьдесят первом году и где был сильно удивлен пением множества птиц, ни полей,— они сейчас пустые, а летом — разноцветные, богатые перепелами и жаворонками. Действительно, даже самый большой гений не сможет создать картины, способной соперничать по красоте с творением матери-природы.

Но вот внимание привлекло оживление на дороге. Это из села сюда, на ток, кто на конных повозках, а кто с ручными тележками прибывали люди получать заработанный хлеб. Их весело обгоняла полуторка: это Сова попросил своего преемника, зятя Перцева, помочь отвезти причитающуюся ему долю.

Вскоре показался и председательский тарантас. Выездной конь Васька резво обгонял одного за другим своих сородичей и на току оказался вторым за полуторкой. Но Евсеев не поехал к амбарам, а прикатил прямо к башне. Перед раздачей должен был состояться митинг. Ради чего и была затеяна вся эта кутерьма.

Впрочем, митинг прошел скоротечно, но бурно, как потоки послеливневой воды. Сообщение Евсеева о том, что правление сочло возможным выдать на трудодень аж по четыре с половиной килограмма зерна, вызвало неописуемый восторг у всех, даже сторонников Перцева и Пряникова. А когда председатель сказал, что отныне так будет всегда, раздались даже крики ура. Правда, взявший слово вслед за ним Пряников несколько охладил возбужденных людей, заявив, что так всегда быть не может, ибо колхоз должен развиваться, а не прожирать все выращенное. И одеваться надо людям, и строиться, на все это нужны деньги, а их можно достать, лишь продав хлеб, картофель, мясо, молоко и другие продукты. Потому, дескать, и забирает пока государство у колхозников многое, чтобы встал на ноги весь народ, и это надо понимать... Третий претендент Перцев подгорчил радость момента напоминанием о блокаде. Она якобы не даст наладить нормальную торговлю, как бы ни трепались сторонники Евсеева о возможности обойти ее. Так что не пройдет и года, как кончатся у людей соль, спички, мыло. Вроде бы мелочи, однако без них и хлеб не хлеб, и дом не дом, да и человек не человек. Оба претендента от оппозиции просили людей понять, что Евсеев ведет чисто авантюристическую политику, потому на выборах не надо голосовать за него даже после этой вычистки колхозных амбаров.

Не ожидавший такого поворота, Евсеев заметно расте-

рялся. К тому же он, конечно, знал, что в словах Пряникова и Перцева немало правды. Способом, предложенным Менялой, полнокровную торговлю не наладишь. Он-то судит по себе, считает, что барышом любого человека можно подкупить. Но в армии Жукова дисциплина строгая, даже самый жадный старшина вряд ли рискнет головой ради не очень ясных выгод. Ведь не деньги он получит от моховцев, а натуру, которая ему, живущему на всем готовом, сама по себе ни на фиг не нужна. А блокаду моховцам, действительно, не пробить. Тут не поможет и сверхмощный аппарат Архарова.

Подумав так, Евсеев невольно взглянул вверх, на площадку башни, откуда Архаров с интересом наблюдал за митингом. Причем понял, что его друг председатель может потерпеть фиаско, даже если раздаст людям все колхозное добро. Ибо, как уже говорилось, русского человека почему-то больше всего волнует далекое будущее, чем сегодняшнее. За первое он готов отдать жизнь, свою и всего народа, а за последнее, когда оно становится совсем уж невыносимым, в крайнем случае покрыть кого-то трехэтажным матом в своем кругу, ежели оказался в подпитии и успел развязать язык... И когда Евсеев вопросительно взглянул на него снизу вверх, Архаров воспринял это как призыв о помощи.

Чтобы не надрываться (башня все-таки чертовски высока), Архаров решил воспользоваться «ухом» противовоздушной обороны вместо рупора, направил его вниз и гаркнул:

— Граждане!

Эффект превзошел все мыслимые ожидания. Голос Архарова, и так не обделенный Богом, усилившись в десятки раз, буквально пригвоздил людей к земле. Многие женщины от неожиданности аж присели в своеобразной позе, а Валентина, укрывшая своих детей под подол, даже перекрестилась для страховки, подумав, что заговорил сам Господь Бог.

— Граждане!—снова повторил Архаров.— Здесь некоторые говорили о будущем вашего колхоза. Позвольте и мне высказаться по этому поводу.

Люди, потихоньку приходя в себя, задрали головы высоко вверх, хотя для этого приходилось неестественно вытягивать шеи.

— Говори, Лев Борисович, да только без этой штуки! — крикнула Серафима Соловьева.—Горла у тебя и так хватает.

Пришлось «ухо» поставить на место.

— Вот тут некоторые утверждают, что у вашего колхоза не станет будущего, если вы сегодня начнете жить лучше. Я вам хочу сказать: это будущее в ваших руках и зависит прежде всего от вас самих. Я же со своей стороны могу помочь кое-каким делом и некоторыми советами, ибо знаю, что может произойти вплоть до девяностых годов.

И Архаров обрисовал свое видение завтрашнего дня, основанное отчасти на опыте истории, отчасти — на событиях последних лет своей прошлой, то есть будущей жизни, отчасти на своей фантазии, которой ему тоже не занимать.

Прежде всего он обещал моховцам полную электрификацию села. Тогда в домах и на улицах по ночам станет светло, как днем. Электричество взвалит на себя самые тяжелые и сложные работы. Например, с его помощью на фермах будут доить коров, кормить свиней, убирать навоз. Естественно, животноводов потребуется в несколько раз меньше, поскольку даже пасти коров станет электропастух. Освободившиеся люди могут заниматься другими делами, оказывать всякие услуги друг другу. Скажем, строить дома, в которых не надо ни печь топить, ни воду таскать, даже сортиры будут теплые и чистые, как больничные палаты...

Тут его ехидно прервал Пряников:

— Гражданин Архаров. Про чудеса электричества мы, конечно, наслыханы. Сам основатель нашей партии и государства товарищ Ленин говорил, что коммунизм — это, стало быть, Советская власть плюс электрификация всей страны. Так что ничего нового вы нам не открыли. Скажите, однако, а как вы будете строить новую электростанцию или, допустим, реконструировать старую? Ведь кругом же блокада. Мы уже сейчас гвоздя ржавого не можем получать у государства. Вот в чем гвоздь вопроса.

— Так вот!— поддакнул ему Перцев.—Блокада для нас — что петля на шее.

— Как раз это, думаю, не предмет осложнений,—спокойно ответил Архаров.—Вы ведь знаете, сколько самолетов валяется в окрестностях вашего села. Хотя они все, конечно, разбиты, осталось же у каждого из них кое-что целехонькое. Мы соберем эти целые части и будем иметь все, что необходимо для строительства электростанции. Кстати, на наших полях осталось также немало парашю-

тов. Ребята уже притащили сюда несколько штук. Скажу вам, отличнейший шелк. Из него мы сошьем прекрасную одежду для женщин и детей...

Теперь насчет блокады. Говорят, дурной пример заразителен. Думаю, хороший тоже. Когда другие села и деревни увидят наши успехи, они наверняка возьмут с нас пример. Жиреть от хорошей жизни хочется всем. Тогда появятся новые свободные сельсоветы, районы, области. И блокада сама собой рассосется. А пока для ее преодоления мы построим из обломков самолетов еще и пару вертолетов.

— А что это такое?— спросил стоявший на площадке рядом Сова. Он поднялся сюда на время митинга просто так, из любопытства.

— Вертолет — это, товарищи, прекраснейший летательный аппарат. Он поднимается прямо с места, в воздухе может висеть на одном месте, как стрекоза, при надобности опустится даже на крышу бани. Если, конечно, крыша выдержит,—объяснил Архаров всем, не меняя тона.—И тогда, сами понимаете, мы можем торговать где угодно. Вооруженный «саблей-лучом» вертолет никто не сможет остановить.

Затем он, увлекшись, даже обрисовал, каким представляет себе колхоз в будущем.

— Он станет союзом свободных фермеров, объединенных в кооператив,—заявил он тоном большого спеца, всю жизнь занимавшегося вопросами кооперации.— В нем каждый волен жить так, как желает. Но жить он будет лишь за счет своего труда, результатами которого распоряжается сам.

Архаров хотел было поговорить заодно и об образовании, здравоохранении, социальном обеспечении в суверенном Мохове, но, подумав, решил все это оставить до следующих разов. На сегодня главное, как ему думалось,— повернуть мозги людей в сторону Евсеева.

Эх, кабы знать, где упасть... Не стал бы он тогда так выступать. Но, известное дело, русский мужик испокон веков силен задним умом. А пока Архаров торжествовал. Как и Евсеев, широким купеческим жестом пригласивший колхозников к амбарам, где кладовщик уже налаживал напольные весы.

Если бы Архаров не просмотрел, в какой момент и как началась эта заваруха, он, возможно, сумел бы ее предотвратить. Но в том, как радостно возбужденные люди вытаскивали наполненные зерном мешки из амбаров, тут

же взвешивали их и торопливо, словно боясь, что вот-вот кто-то попросит вернуть обратно, клали на воз, чтобы быстрее отвезти невиданное богатство под свою крышу, особо интересного ничего не было. И Архаров, отпустив Сову получать хлеб, вернулся к наблюдению за более отдаленным пространством. Ведь по-прежнему приходилось быть начеку. По мнению Би-Би-Си, Сталин и вожди поменьше ни за что не смирятся с существованием суверенного Мохова в самом центре России. Они пойдут на все, положат всю армию, уничтожат половину населения страны, а занозу эту постараются вытащить. Ибо от нее может начаться гангрена всего режима.

Пока, продолжая наблюдать, Архаров вспоминал прослушанную прошлой ночью вместе с Марфой передачу «вражеского голоса», под башней возник довольно-таки сильный шум. Он все возрастал и возрастал, вскоре отдельные резкие выкрики начали таранить уши. Архаров поневоле отставил свое наблюдение и взглянул вниз. Батюшки! Там творилось что-то невероятное. Половина толпы плотным кольцом окружила полуторку. Многие, особенно женщины, визгливо кричали, грозя кому-то кулаками. А несколько мужиков взобрались в кузов и начали сбрасывать на землю полные мешки Совы. Сам Сова отступал под напором другой половины толпы к башне. Вместе с ним пятился назад и Евсеев, одновременно безуспешно пытаясь что-то сказать людям. Но ему не внимали. Вообще, никто никого не слушал, все только выкрикивали каждый свое, возмущенно сотрясая воздух кулаками. Однако, похоже, дело могло принять крутой поворот, потому как люди распалялись все больше и больше. Наиболее темпераментные, особенно разъяренные почему-то больше всех женщины, норовили уже ткнуть в лица Евсеева и Совы кулаками. Те наконец не выдержали такого напора, повернувшись, дали стрекача и шмыгнули в башню. Вскоре они, запыхавшиеся, покрасневшие от злости и обиды, поднялись на площадку.

— Что случилось?—встревоженно спросил у них Архаров.

— Бабы взбунтовались,—выдохнул Евсеев.

— Да и мужиков среди них полно,—уточнил Сова.— Науськали их.

Оказывается, когда Сова начал грузить свой хлеб в кузов полуторки, кто-то насмешливо бросил: «Во, бабоньки, глядите, какая теперча будет справедливость. Кто-то машинами будет отвозить, а у вас на ручную тележку не

потянет». Воистину, сказанное тише слышно громче. Тут же Сове посыпались вопросы:

— Митяй, откуда у тебя столько зерна?

— Кажись, и аванс ты на машине отвозил.

Сова попытался было объяснить, что у него вышло почти пятьсот трудодней за год, но кто-то опять тихо заметил: «Во дают, а. В году-то триста шестьдесят пять дней, а у него полтысячи трудодней...» И тут пошло-поехало!

— Почему это так, а?

— Я тож по каженному зову бригадира выхожу, а и двухсот не набрала.

— Да чего его допрашивать! Давай сюда председателя, пущай растолкует все,— начали кричать женщины.

— Зачем вам председатель? Они все из одной шайки, хотят на чужом горбу в рай войти,—теперь уже громче заявил тот же знакомый голос. Это был двоюродный брат Петухова. У него самого полученного зерна едва набиралось на тележку, что, видимо, неудивительно: Петухов-второй всегда выполнял минимум тютелька в тютельку и после колхозными делами себя не утруждал. В последнее время он все больше ошивался в общем овраге, где самогонные аппараты курились почти каждый день. В селе вообще-то его никто всерьез не принимал, но, поди же, в раскаленной обстановке и гнилая солома добавляет жару. После его реплик всем захотелось поговорить о том о сем именно с председателем. Напрасно пытался Евсеев объяснять всем известные вещи: что трудодни не обязательно должны совпадать с выходо-днями, что за некоторые работы, в зависимости от сложности и тяжести, могут начисляться несколько трудодней за день, что Сова к тому же в последнее время выполнял ответственные поручения по защите суверенной республики. Его мало кто слушал.

В это время возмутителю спокойствия шепнул что-то на ухо Пряников, после чего Петухов-второй снова, теперь уже во весь голос, гаркнул:

— Бабоньки! А вы посмотрите, сколько получают Соловьевы. Эти враги Советской власти... Аль вы меньше Серафимы глотаете пыли? Да просто тут все: в одной шайке они с Евсеевым...

И толпа не на шутку стала наседать на председателя и Сову...

Конечно, второпях не все подробно они успели расска-

зать, но Архаров суть дела понял быстро. И, нагнувшись вниз, крикнул во всю свою луженую глотку:

— Народ! Чего вы хотите?!

Его мощный зык заглушил даже шум толпы, отчего она сразу и замолкла.

— Чего вы хотите?—еще раз спросил Архаров.—Скажите кто-нибудь один.

После некоторого замешательства вперед выдвинулась боевитая на вид женщина. «Сестра Петухова Александра»,— шепнул Сова.

— Мы хотим справедливости,—крикнула она, как и брат, не обиженная голосом.—Почему это одни хлеб увозят машинами, а другие — ручными тележками?

— Потому что каждый получает по труду. Объяснил же вам председатель,—спокойно ответил Архаров.

— Разве для того создана Советская власть, чтобы одни богатели за счет других? Вы что же, оставаясь у власти, и дальше будете придерживаться такого принципа?—крикнул уже соперник Евсеева Пряников.

Видя, что председатель от расстройства соображает плохо, ответил опять же Архаров:

— Мы за то, чтобы в дальнейшем все жили хорошо. Люди, вы же до сих пор за труд вообще ничего не получали. А сейчас все имеете достаточно хлеба, чтобы перезимовать сытно и спокойно. В будущем, я уже говорил, жизнь с каждым годом станет улучшаться. Чего вам надо еще?

— А такое неравноправие, когда одним — мешок, другим — десять, сохранится?

Это спросил все тот же Петухов-второй. Правда, без подсказки.

— Обязательно!— твердо подтвердил Архаров.— Кто будет работать больше, тот и будет жить лучше! Сами поймите, иначе какой смысл трудиться изо всех сил.

— Слышали, народ? Вот для чего нужна им президентская власть. Они хотят отдалить нас от коммунизма! Хотят опять разделить людей на богатых и бедных. Неужели мы допустим такого диктатора к власти?—как бы подытожил Пряников.

Тут народ снова заколыхался, поскольку подошли те, кто справился с добром Совы. Вновь прибывшие, слышавшие лишь последние слова Пряникова, возмущенно закричали:

— Долой Евсеева!

— Всю эту клику — на свалку!

— У них главный — Архаров, агент империализма!

— Смерть агенту мировой буржуазии!..

— Да здравствует сталинский социализм — самое справедливое общество в мире!

Пришлось Архарову рыкнуть в стиле лучших времен. После чего он попытался все еще спокойно объяснить:

— Народ, вам опять пудрят мозги. Вы изберете президента, вы же его, соответственно, можете отозвать, если он вам не понравится. Так что никакой он не диктатор.

Но тут его одернул Евсеев:

— Ты что, в своем уме? На кой хрен мне власть, откуда могут отозвать простые люди?

— Это же демократия. Власть служит народу,— шикнул на него Архаров.—Так что пока не возникай.

— И ты, значит, предаешь,—обиделся Евсеев и, плюнув, отошел в сторону.

А внизу все настойчивее кричали:

— Слыхали мы эти сказки! С семнадцатого говорят о нашем праве!

— И эти туда же!

— А мы из-за них пошли на такое...

Тут кто-то как закричит почти детским дискантом:

— Ликвидировать их как классовых врагов! Сжечь вместе с их дурацкой башней!

— Ликвидировать!

— Сжечь!

— Долой!—поддержало его тут же несколько голосов. Правда, большинство людей смолкло в нерешительности. Уж слишком неожиданным оказался поворот. Но решительные нашлись. Они, не долго думая, принесли соломы, сложили ее у двери.

— Братцы! А он нас своим огненным мечом не того?— перепугался Петухов-второй и начал отступать вглубь толпы.

— Не посмеет!—успокоил его, заодно себя и других сомневающихся Пряников.—Я его давно раскусил: не из большевистского он теста.

— Все же не стоит так-то, а?—растерянно сказала Александра Петухова.

Но солому уже подожгли. Она вспыхнула, как порох. Огонь тут же перешел на башню, облизывая смолистые сосновые бревна, пополз вверх. Теперь уже было поздно рассуждать. Тут бессильными оказались бы даже пожарники девяностых годов с их эффективнейшими средствами тушения.

— Лева! Милый! Ты же все можешь! Почему позволяешь такое? Да убей ты всю эту нечисть!—истошно завопила Марфа и, подняв небольшие свои кулачки, кинулась на толпу; однако, поняв, что это бессмысленно, тут же повернулась и побежала к башне.

— Куда, дура баба!—остановили ее тут же.—Ведь сгоришь заживо. Да и дверь заперта крепко, пробовали уже торкнуться.

Тут Марфа завыла, как волчица, на глазах которой казнили любимого волка, и, потеряв сознание, рухнула на землю. Мужики тут же оттащили ее подальше: становилось горячо.

Тем временем наверху, на площадке, командовал Архаров:

— Мужики, там, в углу — два парашюта. Берите и прыгайте с другой стороны, пока пламя нас кругом не охватило! Там разберетесь, как дальше быть.

Евсеев долго размышлять не стал, тут же побежал за парашютом.

— А ты как же?—крикнул Сова, хватая Архарова за руку.

— Обо мне не беспокойся,— спокойно ответил Архаров.—Знать, судьба такая.—Но, видя, что такой ответ не удовлетворил друга, беззаботно добавил:—Да не тяни ты время, прыгай! Я спасусь. Неужто не веришь в мои силы?

Этого оказалось достаточно. Сова тоже стремглав побежал за Евсеевым.

А огонь карабкался все выше и выше, постепенно начал облизывать башню со всех сторон. Стало припекать. И все-таки Архаров боялся не смерти. Жалости к себе у него почему-то не было. Он, как ни странно, жалел тех, кто стоял внизу.

— Эх, дурачки вы, дурачки,—прошептал он, сквозь огонь уже не видя никого из них.

И в этот момент откуда-то сверху раздался знакомый насмешливый голос:

— Ну что, Лев Борисович, сумел ты изменить жизнь нашу?

«Шу, шу, шу...»—раскатилось по всему свету.

— Нет, не сумел. Ваша взяла,—понуро опустил голову Архаров, защищая рукавом лицо от жара.

— Сдаешься, стало быть?—спросил голос.

— Вынужден сдаться...— пробормотал Архаров, чувствуя, как сильно обожгло шею.

Тут же его резко приподняла какая-то неведомая сила и потянула вверх, в небеса. А народ, увидев вознесение Архарова, как по команде припал на колени и начал исступленно молиться, прося прощения за сотворенное и у него, и у самого Господа Бога. Только Марфа, как раз очнувшаяся, отчаянно крикнула:

— Лева! Возьми меня с собой!

Но Лев Борисович Архаров никого из пятьдесят первого года уже не слышал.

* * *

— А-а-а-а-!— неожиданно раздался ранним воскресным утром львиный рык в многосемейной малосемейке.— А-а-а-а!

Отвыкшие от этого будильника, жильцы буквально были оглушены. А дети — те просто заметались от испуга.

Однако взрослые быстро пришли в себя. Видимо, у них где-то в мозговых извилинах еще сохранился условный рефлекс четырехмесячной давности.

— Вернулся-таки, подлец! Ну нет, больше не дам ему измываться,—как никогда решительно заявил Евсеев, нижний сосед Архарова, и пошел собирать людей, чтобы быстрее оцепить дом.

Остальные жильцы тоже были возмущены не меньше, потому за дело взялись быстро и профессионально. И все пошло по знакомому уже нам сюжету: оцепление дома, звонки по ноль-два и ноль-три...

И к тому моменту, когда рык пошел на убыль и начал укладываться в терпимые децибелы, к дому почти одновременно подъехали две воющие и мигающие машины: одна — с голубой, другая — с красной каемочками на боках. Люди в милицейской форме и в белых халатах одинаково быстро помчались к указанной жильцами квартире.

— Он обычно запирается, так что не церемоньтесь, сразу ломайте дверь,—еле поспевая за гостями, по ходу объяснял Евсеев.

Каково же было удивление всех, когда дверь оказалась не только не запертой, а открытой настежь. Сам хозяин встречал всех гомерическим хохотом. Кому как, а людям в белых халатах это объяснило все. Они быстренько и ловко накинули на него балахон без рукавов, так же ловко связали со всех сторон и потащили вниз, к машине

с красной каемочкой. Впрочем, их подопечный не сопротивлялся, лишь продолжал хохотать, время от времени приговаривая:

— Дурачки вы, люди...

Вскоре машина с красной, за нею и машина с голубой каемочками, не воя и не мигая, отъехали. Жильцы облегченно вздохнули, договорившись добиваться, чтобы непутевого соседа больше ни за что не пущать в дом, разошлись досматривать свои воскресные сны.

А на окраине города, в большом солнечном доме за забором с колючей проволокой, говорят, появился самый честный, самый справедливый президент. И будто бы там образовалась удивительная суверенная республика, где каждый занят работой с утра до ночи, никто не завидует друг другу, и все довольны жизнью.

1991 год
Гор. Чебоксары

ОБ АВТОРЕ

Звезда Николая Максимова засияла на литературном небосклоне в середине семидесятых годов, когда он опубликовал в чувашских журналах «Ялав» и «Тăван Атăл» один за другим рассказы «Вдова» («Пĕччен хĕрарăм») и «Легко катиться вниз» («Анаталла анма çăмăл»). Вскоре в журнале «Тăван Атăл» появилась и его первая повесть «Сквозь дожди и ветры» («Çил-çумăр витĕр»). Произведения сразу привлекли к себе внимание как читателей, так и критиков. Прежде всего, несмотря на сравнительный молодой возраст автора (ему тогда было 31 год), глубоким показом жизни и человеческих характеров. Наверное, этому в значительной степени поспособствовало то, что путь писателя на литературный Олимп несколько отличался от ставшего традиционным маршрута для большинства молодых литераторов: школа — вуз — редакция журнала или книжное издательство. Николаю Максимову, начавшему свой трудовой стаж с 15 лет, пришлось к тому времени поработать в колхозе, заведующим сельским клубом, учителем, прослужить три года в армии, пройти путь от заведующего отделом до редактора райгазеты. Постоянные встречи с самыми разными людьми, непосредственное восприятие их горестей и радостей, падений и успехов, нахождение всегда в гуще происходящих событий, конечно же, дают больше знаний о жизни, чем изучение ее по газетным материалам.

В этой связи интересен такой факт. Писателя Николая Максимова считают «своим» и канашцы, и ибресинцы, и козловчане, и жители Комсомольского района Чувашии. И все — обоснованно. Действительно, Николай Николаевич родился 6 января 1944 года в деревне Кошнорув Канашского района в семье учителей. Но так сложилось, что будущий писатель вскоре переехал вместе с отцом, вернувшимся с фронта, в деревню Айбечи Ибресинского района,

где и провел детство и которую считает своей родиной. Ибо настоящая родина, как и мать, та, которая тебя вырастила. А в Козловке он оказался в начале семидесятых годов. Туда перевели его из ибресинской райгазеты «Çĕнтерӳшĕн» («За победу») редактором районной газеты «Знамя» («Ялав»). «Свой» он и в Комсомольском районе, откуда, как говорится, есть пошел род Максимовых. Здесь, в селе Шерауты, дед писателя, выпускник Симбирской чувашской школы Н. Максимов, после работы в известной Ходарской школе учителем стал священником местной церкви. И хотя в 1930 году его арестовали как врага народа (после чего многочисленная семья о нем уже ничего не слышала), тяга к учебе, к знаниям, заложенная им в детей, не пропала. Видимо, она передалась по наследству и внукам. Не случайно будущий писатель уже в пять лет пошел в школу, в двенадцать окончил семилетку с похвальной грамотой и со сложившейся мечтой стать писателем. И когда окончил канашскую среднюю школу рабочей молодежи № 2, без колебаний поступил на отделение русского языка и литературы историко-филологического факультета Мордовского государственного университета им. Н. П. Огарева.

Впрочем, со временем Николаю Максимову довелось окончить и отделение журналистики престижной в те годы Высшей партийной школы в Горьком. После чего, начиная с августа 1977 года, он работал собственным корреспондентом, заведующим отделом культуры, литературы и искусства республиканской газеты «Коммунизм ялавĕ» («Знамя коммунизма»), главным редактором сатирического журнала «Капкăн», заместителем председателя правления Союза писателей Чувашской АССР. Но, как признает сам писатель, где бы он ни работал, для него главным уже навсегда являлся труд литератора. Что подтверждается и списком написанных им за эти годы произведений. Это романы «Напряжение» («Тапă»), «Беда» («Синкер»), «Место в жизни» («Пурнăçри вырăн»), «Сон шизофреника» («Тайлăк çын тĕлĕкĕ»), десятки повестей и рассказов, пьесы и киносценарии.

Н. Максимов не ограничивает себя жанровыми или тематическими рамками. Уже названные романы «Напряжение», «Беда»—произведения исторические, они многопланово охватывают самый смутный период в истории страны — начало двадцатого века. «Место в жизни» показывает совершенно другое время — время начала так называемой перестройки восьмидесятых годов. «Сон ши-

зофреника»— зеркало сельской жизни пятидесятых. В то же время у автора есть целый цикл фантастических повестей и рассказов (книга «Однажды, в XXIV веке»). Историческая драма «Под одним крестом» рассказывает о событиях середины XVI века, когда часть чувашей присоединилась к России. Повести «Миллион алых роз», «И подо льдом река течет»— о жизни молодежи... Следует заметить, полученное неплохое образование и обширный кругозор в сочетании с природным талантом художественного мышления позволили автору одинаково успешно завершить все эти и многие другие произведения. При этом стоит, наверное, отметить и такой момент. Писатель разнообразен не только в жанрах и тематике, но и в стиле. Он то художник эпического плана, то лирик, то философ, то сатирик. И отличный мастер композиции и сюжета. Впрочем, прочитав помещенные в книге два романа, думается, читатель и сам убедился в этом.

Несмотря на множество созданных произведений, Н. Максимов издал пока лишь девять книг. Между тем у него есть немало интересных и талантливых вещей, до сих пор не вышедших книгой. Среди них — замечательная повесть «Любовь под крестом», где автор впервые в советской (тогда) литературе вторгся в мир сложных взаимоотношений плененных врагов и советских людей в лице чувашей, на земле которых располагался один из эвакогоспиталей по лечению военнопленных. Конечно, в те времена повесть, где, вопреки сложившимся штампам, наши противники изображены отнюдь не в образах плакатных фашистов со звериным оскалом, вряд ли могла появиться отдельным изданием. Хотя главной причиной «непубликуемости» писателя, похоже, явилось нечто другое, а именно сложные взаимоотношения с власть предержащими. Ведь будучи главным редактором сатирического журнала «Капкăн» Н. Максимов осмеливался критиковать не только «стрелочников» и чиновников низших рангов, но и высокое начальство вплоть до министров и прокурора республики, что тогда не позволялось даже партийным газетам. А выход первым среди писателей Чувашии из рядов КПСС и вовсе перечеркнул его в глазах высокого начальства как автора, достойного издания. Но времена меняются, история все расставляет по своим местам. И вот появилась десятая книга автора, произведения которого никогда не оставляют читателей равнодушными.

Было бы неверно, если бы мы не отметили особо публицистику Николая Максимова. Появление его статей в

газетах и журналах всегда вызывает споры, дискуссии, прибавляет число как друзей, так и противников. Это и понятно. Публицист затрагивает, как принято говорить, самые жгучие вопросы политики, экономики, культуры, межнациональных отношений. Не оставаться в стороне от современных, сегодняшних событий, которые, возможно, будут определять судьбу народа на многие десятилетия — кредо жизни Николая Максимова. И нет ничего неожиданного в том, что после известных событий августа 1991 года он согласился возглавить «Советскую Чувашию»— одну из ведущих газет республики, где и работает по сей день.

Однако напомним еще раз, что заслуженный работник культуры Чувашской Республики Н. Максимов все же считает главным для себя литературный труд. Сейчас он работает над романом о событиях тридцатых годов, который вместе с ранее опубликованными «Напряжением» и «Бедой» составит как бы трилогию. Трилогию, которая с исторической правдивостью покажет, как Октябрьская революция, совершенная большевиками на основе обмана и шельмования народа, игры на самых низменных чувствах обывателей, а также последующее строительство «социализма» привели к деградации общества, к слому судеб тысяч и тысяч людей. Есть у него мечта написать и современный политический роман. Думается, ему, волею судьбы оказавшемуся в водовороте известных событий последних лет, знающему подноготное многих перипетий борьбы самых различных политических сил, удастся и это.

СОДЕРЖАНИЕ

МЕСТО В ЖИЗНИ (перевод с чувашского автора) 3
СОН ШИЗОФРЕНИКА 383
Об авторе 570

Николай Николаевич
Максимов

место в жизни

сон шизофреника

Романы

Редактор А. П. Павлов
Художник В. М. Ширшов
Художественный редактор Г. С. Самсонова
Технический редактор Л. Н. Кондрашкина
Корректоры А. И. Елисина, З. И. Гаврилова

ИБ 2831

Сдано в набор 23.09.94. Подписано к печати 29.12.94. Формат 84×108¹/₃₂. Бумага типографская № 1. Гарнитура литературная. Печать высокая. Усл. печ. л. 30,24. Усл. кр.-отт. 30,24. Учетно-изд. л. 33,9. Тираж 3000 экз. Заказ 1596. Изд. № 69. Цена «С» 58.

Чувашское книжное издательство,
428000, г. Чебоксары, пр. Ленина, 4.
Типография № 1 Министерства информации и печати Чувашской Республики,
428019, Чебоксары, пр. Ивана Яковлева, 15.

Максимов Н. Н.

М 17 Место в жизни. Сон шизофреника. Романы.—Чебоксары: Чуваш. кн. изд-во, 1994.—574 с.

Включенные в книгу романы, совершенно разные по стилю изложения, описывающие события, весьма далекие друг от друга как в историческом, так и в интеллектуально-нравственном плане, на самом деле органично дополняют один другого. Они— о месте человека в жизни. Они — о том, почему наша жизнь стала похожей на сон шизофреника. Как и другие произведения известного писателя, и эти романы Н. Максимова остросюжетны и философичны, лиричны и полемичны, поэтому они читаются с интересом и заставляют задумываться.

ББК 84 Чув 7—4

М $\frac{\text{4702710201—58}}{\text{М 136(03)—94}}$ **—69—04**

ISBN 5-7670-0788-8

2.400 =